АЗБУКА ВЕРЫ

Всеволод Владимирович Крестовский

Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо

Художественная литература · azbyka.ru

Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/krovavyj-puf-kniga-1-panurgovo-stado

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо

Всеволод Владимирович Крестовский

Часть первая

I. Воля

Наступил день 19-го февраля 1861 г.

Миллионы труждающихся и обремененных осенили крестом свои широкие груди; миллионы удрученных голов, с земными поклонами, склонились до сырой земли русской. С церковных папертей и амвонов во всеуслышание раздалось вещее слово. По всем градам и весям, по всем пригородам и слободам, по деревням, посадам и селам церковные колокола прогудели, по лицу всея земли Русской, благовест воли.

Русская земля отпраздновала первый день своей всенародной свободы.

А между тем…

В воздухе было что-то давящее, плавало что-то смутное, серое, неопределенное. На горизонте собирались какие-то зловещие, свинцовые тучи.

* * *

— А что, Волгой не возят?

— Покинули… дней с двенадцать, как покинули… Береговым трактом валят.

— Да ведь еще не ломало ее?

— Не ломало, а только вздулась, почернела вся… Под Василем-Сурским, слышно, стон уже дала: надо быть, скоро тронется.

Этими словами молодой человек, выглядывавший из приподнятого воротника бараньей шубы, перекинулся с мужичонкой корявого вида, который сидел за кучера на передке дорожного возка. Возок, по всем приметам, был помещичий, не из богатых, а так себе, средней руки. Его тащила по расхлябанной, размытой и разъезженной дороге понурая обывательская тройка разношерстных кляч.

Был апрель месяц — урочное время, когда по нашим первобытным дорогам нет пути ни на колесах, ни на полозьях. Молодой человек ехал на обывательских, по вольному найму.

Дорога близилась к Волге.

Моросило сверху, слякотило снизу. Время стояло непогожее, а между тем, на дороге было заметно какое-то необычное оживление… То и дело плелись мужики — кто в одиночку, кто по два, по три, а то и целыми гурьбами, душ в десять и более; иные тащились на розвальнях, иные верхом на поджарых, мохнатых клячонках, то и дело понукая их болтающимися ногами, когда те вязли в бесконечной, невылазной грязи. И все это как-то оживленно, озабоченно толковало промеж себя, все это как будто торопилось куда-то и плелось по одному и тому же направлению, в ту самую сторону, куда тащился и помещичий дорожный возок.

Корявый мужичонко, ровняясь время от времени с пешеходами, иногда приподнимал свой несуразный малахай и кивал головою. Иные из пешеходов, в свою очередь, отвечали ему поклонами. Видно было, что все эти люди более или менее знакомые, из ближней окрестности.

— Стигней! А Стигней! Куда те прет? — окликнул корявый мужичонко одного из поравнявшихся с ним мужиков.

— В Снежки! — Махнул он рукою вдоль по направлению своей дороги: — Все в Снежки махаем.

— За коим лешим в Снежки?

— Да ты отколева? Нешто не слышал?

— Как не слыхать!.. Да рази не покончили?

— Зачем кончать… Там, слышно, теперича воля заправская. Сказывали, будто с Питера енарал наехал в Снежки — будет мужикам снежковским волю вычитывать… И мы, значит, слухать идем.

— Да ведь батька в церкви чел уже?

— Мало чего нет!.. Теперича, баяли, самую заправскую и выложат. А то, слышь ты, снежковский немец-то крестьян снова на барщину погнал — какая ж эта воля?

Корявый мужичонко зацмокал, занукал, замахал в воздухе кнутиком — животы принатужились, рванулись понуро вперед — и возок опередил попутного Евстигнея.

До села Высокие Снежки оставалось верст пяток, не более. Молодой человек закутался покрепче в свою баранью шубу и уютно откинулся в глубь возка, на мягкие деревенские подушки. В Снежках ему предстояло переменить лошадей, чтобы плестись с грехом пополам далее, в губернский город, который на фантастической карте Российской империи, существующей в воображении читателя, отмечается довольно крупным кружком с подписью при оном: Славнобубенск, — стало быть, и губернию, существующую в нашей фантазии, мы назовем Славнобубенскою.

Молодой человек, с которым мы повстречались на дороге, принадлежал к числу средней руки дворян Славнобубенской губернии. Читателю необходимо знать, кто он; поэтому автор должен рекомендовать его. Это обыкновенно неизбежное место всевозможных повестей и романов. Сознавая это, автор постарается быть по возможности кратким. Зовут его — по фамилии Хвалынцев, по имени Константин, по отцу — Семенов. Ни в имени, ни в фамилии, как видит читатель, ничего особенно примечательного не оказывается. Хвалынцев с полным правом может называться молодым человеком, потому что ему только что минуло двадцать два года. Он высок и мускулист, сложен крепко и красиво. Если бы спросили о его лице, я бы сказал, что это лицо русское, совсем русское, отмеченное своеобразною красотою. От его открытой улыбки, от его светло-серых больших глаз веяло чем-то симпатичным. Теперь два слова о его общественном положении и о том, зачем он едет по дороге. Кроме того, что уже известно читателю, а именно, что Хвалынцев принадлежит к числу дворян и средней руки землевладельцев Славнобубенской губернии, надобно знать еще, что он четвертого курса университетский студент и ездил недавно на родину хоронить одинокого дядю да разделиться с сестрой своей оставшимся после покойника наследством. Теперь он возвращается в Петербург, но предполагает по делам остаться некоторое время в Славнобубенске. Вот и все «скучное», что пока необходимо было знать читателю о молодом человеке.

Возок поднялся на пригорок — и перед Хвалынцевым в версте расстояния развернулись то скученные, то широко разбросанные группы серых изб, сараи, амбары, овины и бани. Там и сям, над этими группами, поднимались силуэты обнаженных деревьев и белелась каменная церковь с высокой пирамидальной колокольней. Это было село Высокие Снежки.

Широкая площадь между церковью и старым господским домом сплошь была покрыта густыми толпами народа. Во всей этой массе виднелись только одни мужские головы. Бабье и ребятенки жались больше по окраинам площади, поближе к избам и, промеж своих собственных разговоров, пассивно глазели на волнующуюся массу крестьянского люда, над которой гудел, как шмелиный рой, какой-то смешанный, тысячеголосный говор.

Едва Хвалынцев въехал на эту площадь, как возок его вмиг окружен был толпою, и кони стали, за невозможностью двинуться далее.

— Енарал!.. Енарал приехал! — пробежало из уст в уста по кучкам толпы — и головы ближайших к возку мужиков почтительно обнажились. Но это длилось не более полуминуты… разглядели слишком молодое лицо приезжего, его баранью шубу и решили, что генералу таковым быть не подобает. Обнаженные головы снова накрылись, хотя возок и продолжал еще возбуждать любопытство толпы.

— Братцы! Дайте проехать! — высунулся Хвалынцев вперед из-под кузова.

— Да тебе куда, милый человек! — отозвался чей-то голос.

— На стоялый двор… а потом мимо,

— Мимо… стал быть не к нам… А нашто тебе на стоялый?

— Лошадей порядить.

— Стало, на вольных едешь?

— На вольных.

— Ну, значит, зашабашить надо! Теперь не порядишь: не повезут.

— А что так?

— Да где уж везти! Не такое время… Каждый мужик на миру нужен: енерала с Питеру ждем.

Между тем, корявый мужичонко кое-как попытался прокладывать себе дорогу; удавалось это ему с величайшими затруднениями — толпа расступалась туго, тысячи любопытных глаз пытливо засматривали под кузов! Наконец, добрался-таки до стоялого двора, который тут же, на краю площади, красовался росписными ставенками.

Не успел Хвалынцев оглядеться, распустить дорожный ременной пояс да заказать самовар, как к нему вошли несколько мужиков и с поклонами остановились вдоль стены у дверей. Бороды по большей части были сивые, почтенные.

— Что вам, братцы? Чего вы?

— К твоей милости, батюшко! Заступись! Обижают…

— Да я-то что же?.. Я, братцы, проезжий.

— Ты, батюшко, сказывали, питерского енарала передовой… Рассуди, кормилец! Волю скрасть хотят у нас! То было волю объявили, а ныне Карла Карлыч, немец-то наш, правляющий, на барщину снова гонит, а мы барщины не желаем, потому не закон… Мы к тебе от мира; и как ежели что складчину какую, так ты не сумлевайся: удовлетворим твоей милости, — только обстой ты нас… Они все супротив нас идут…

— Кто все? — полюбопытствовал Хвалынцев.

— Да все, как есть: и становой, и исправник; Корвинской барин — предводитель — тоже за немца; опять же офицер какой-то с города наехал — и тот за немца… Одна надежа на енарала на питерского… Пошто же мужиков обижать занапрасно!

Только что стал было Хвалынцев убеждать их, что он к питерскому генералу никакого касательства не имеет, что он просто сам по себе и едет по своей собственной надобности, как вошел новый посетитель — жандарм, во всей своей амуниции.

— Который здесь проезжий?

— Я проезжий. А что?

— Пожалуйте… полковнык требують.

— Какой полковник? Зачем?.. Что ему?

— Не могу знать, — приказано… Пашпорт свой прихватите.

Хвалынцев недоумевая пошел вслед за жандармом.

Пришли в прихожую старого и давно уже нежилого господского дома. Там помещался другой жандарм, и тоже во всей своей амуниции. Хвалынцева пропустили в залу, а солдат почтительно-осторожной, но неуклюже-косолапой походкой на цыпочках пошел докладывать во внутренние покои.

Хвалынцев машинально стал оглядывать залу: узкие потускнелые зеркала с бронзовой инкрустацией; хрустальная люстра под росписным потолком; у мебели тонкие точеные ножки и ручки, в виде египетских грифов и мумий; давным-давно слинялый и выцвевший штоф на спинках и сиденьях; темные портреты, а на портретах все Екатерининская пудра да высочайшие Александровские воротники, жабо да хохлы, скученные на лоб. Над диваном потрескавшаяся большая картина с каким-то мифологическим сюжетом и обнаженными полногрудыми женами. Все это как-то таинственно переносило в другой мир — отживший, некогда блестящий, все это веяло каким-то домашним преданием, семейной хроникой, и светлыми, и темными, но ныне уже потускневшими красками.

В одной из смежных комнат, куда удалился жандарм, раздавались людские голоса. Через полминуты он вышел и, сказав мимоходом Хвалынцеву, чтобы обождал, удалился в прихожую.

— Угол от пяти… полтина очко… пять рублей мазу! — послышалось из внутреннего покоя, сквозь неплотно припертую дверь, когда скрип солдатских шагов затих в передней и воцарилась прежняя тишина.

"Что ж это такое?" — не без удивления подумал себе Хвалынцев.

— Болеслав Казимирыч, да вы хоть талию-то кончите… Успеет еще!..

Студент отвернулся к окну и сквозь двойные стекла, от нечего делать, стал глядеть на двор, где отдыхал помещичий дормез, рядом с перекладной телегой, и тут же стояли широкие крытые сани да легкая бричка — вероятнее всего исправничья. А там, дальше — на площади колыхались и гудели толпы народа.

В зале послышались шаги.

Хвалынцев обернулся и увидел синий расстегнутый сюртук и, с широкими подусниками, характерные усы высокого штаб-офицера, который шел прямо на него.

— Кто вы такой? — осведомился офицер с официально-начальственно-вежливой сухостью, остановившись от него в двух шагах расстояния.

Хвалынцев назвал себя.

— Ваш вид?

Тот достал из дорожной сумки, висевшей у него через плечо, свое университетское свидетельство.

— Зачем вы приехали в Высокие Снежки? — продолжал офицер, наскоро пробежав глазами поданную ему бумагу.

— Проездом в Славнобубенск.

— Гм… проездом… так-с… А зачем же непременно в Снежки?

— Затем, что дорога на Снежки лежит.

— Гм… дорога… А разве нельзя было мимо объехать?

— Ну, об этом надо спросить, полковник, моего извозчика: он это, конечно, лучше меня знает, а мне здешние пути не знакомы.

— Вы разве не знаете, что в Снежках восстание, бунт крестьянский, и едете прямо в Снежки!

— Откуда же знать мне? Я — человек проезжий.

— То-то я и вижу, что проезжий… А зачем вы сейчас мужиков к себе собирали?

Хвалынцев объяснил ему, как было дело.

— Ваша подорожная?

— Я еду по вольному найму на обывательских.

— Гм… на обывательских… без подорожной… Так-с.

Офицер смотрел на Хвалынцева пристальным, испытующим взглядом: он, очевидно, не доверял его словам.

— Вы… извините, — начал он со вздохом, спустя некоторое время. — Я должен задержать вас… тем более, что и так вы все равно не достали бы себе лошадей… не повезут, потому — бунт.

В это время в залу вошли из того же внутреннего покоя еще четыре новые личности. Двое из вошедших были в сюртуках земской полиции, а один в щегольском пиджаке Шармеровского покроя. Что касается до четвертой личности, то достаточно было взглянуть на ее рыженькую, толстенькую фигурку, чтобы безошибочно узнать в ней немца-управляющего.

Пиджак переглянулся с Хвалынцевым, и оба как будто узнали друг друга.

— Господин Хвалынцев, если не ошибаюсь? — с изящной вежливостью прищурился немножко господин в пиджаке.

— Не ошибаетесь, — столь же вежливо поклонился студент.

— Имея удовольствие видеть вас на похоронах вашего дядюшки… мы хоть и разных уездов, но почти соседи и с дядюшкой вашим были старые знакомые… Очень приятно встретиться… здешний предводитель дворянства Корытников, — отрекомендовался он в заключение и любезно протянул руку, которая была принята студентом.

Штаб-офицер передернул характерными русыми усами и недоумело поглядел на того и другого.

— Послушайте, — таинственно взяв под руку, отвел он предводителя в сторону, на другой конец залы, — студиозуса-то, я полагаю, все-таки лучше будет позадержать немного… Он хоть и знакомый ваш, да ведь вы за него ручаться не можете… А я уж знаю вообще, каков этот народец… Мы его эдак, под благовидным предлогом… Оно как-то спокойнее.

— Как знаете, — пожал плечами предводитель, — это уж ваше дело, полковник.

— То-то; я думаю, что лучше позадержать… Вот он — едва приехал, а к нему уж мужичье нагрянуло советов просить. Ну, а я уж знаю вообще эти студентские советы!..

— Господин Хвалынцев… извините… это — маленькое недоразумение! — с любезной улыбкой начал офицер, направляясь к студенту и подшаркивая на ходу. — Вот ваш вид; но все-таки, я полагаю, вам лучше бы переждать немного… Во-первых — сами изволите видеть — время тревожное, ехать не безопасно… Мало ли что может случиться… Это, во всяком случае, риск; а во-вторых — смею вас уверить — вы здесь никак теперь лошадей не достанете, не повезут… До того ль им теперь!.. Мы и сами вот как бы в блокаде содержимся, пока до прибытия войска.

Хвалынцев поблагодарил предупредительного полковника, но при этом все-таки выразил желание попытаться — авось либо и удастся порядить лошадей.

— Мм… сомневаюсь, — покачал головой полковник, — да если бы и удалось, я все-таки не рискнул бы отпустить вас. Помилуйте, на нас лежит, так сказать, священная обязанность охранять спокойствие и безопасность граждан, и как же ж вдруг отпущу я вас, когда вся местность, так сказать, в пожаре бунта? Это невозможно. Согласитесь сами, — моя ответственность… вы, надеюсь, сами вполне понимаете…

Хвалынцев ничего не понял, но тем не менее поклонился.

— Ну, нечего делать, — пожал он плечами, — пойду на стоялый.

— Нет, уж на стоялый не ходите, — торопливо предупредил офицер, — это точно также не безопасно… Ведь уж к вам и то забрались мужики-то наши…

— Да что ж им во мне? Ведь не против меня бунтуют.

— Вы полагаете? — многозначительно, глубокомысленно и политично сдвинул полковник брови и с неудовольствием шевельнул усами, — Это бунт, так сказать, противусословный, и я, по долгу службы моей, не отпущу вас туда.

— Но как же мне быть, господин полковник?

— Остаться здесь до времени.

— Но мои вещи.

— Жандармы перенесут ваши вещи.

— Но, наконец, я есть хочу, отдохнуть хочу…

— Все это к вашим услугам. Вот — Карл Карлыч, — рекомендательно указал он рукою на рыженького немца, — почтенный человек, который озаботится… Вот вам комната — можете расположиться, а самовар и прочее у нас и без того уже готово.

Хвалынцева внутренно что-то передернуло: он понял, что так или иначе, а все-таки арестован жандармским штаб-офицером и что всякое дальнейшее препирательство или сопротивление было бы вполне бесполезно. Хочешь — не хочешь, оставалось покориться прихоти или иным глубокомысленным соображениям этого политика, и потому, слегка поклонившись, он только и мог пробормотать сквозь зубы:

— Я в вашей власти.

— Очень приятно! Очень приятно-с! — ответил полковник с поклоном, отличавшимся той невыразимо любезной, гоноровой «гжечностью», которая составляет неотъемлемую принадлежность родовитых поляков. — Я очень рад, что вы приняли это благоразумное решение… Позвольте и мне отрекомендоваться: полковник Пшецыньский, Болеслав Казимирович; а это, — указал он рукой на двух господ в земско-полицейской форме, — господин исправник и господин становой… Не прикажете ли чаю?

— Да, я прозяб и хотел бы согреться.

— В таком случае, пойдемте с нами, — предложил ему предводитель, указав на дверь во внутренний покой, — и все отправились по указанному направлению.

Здесь предстало Хвалынцеву новое зрелище. То был старинный барский кабинет, с глубокими вольтеровскими креслами, с пузатым бюро, с широкой оттоманкой от угла в две стены. Хроматические гравюры, висевшие тут, изображали охотничьи сцены из английской жизни да сантиментальные похождения Поля и Виргинии. Посередине комнаты стоял ломберный стол, на котором валялись мелки и карты — атрибуты неоконченного штосса. В углу, на другом столе, помещался вместительный самовар с чайною принадлежностью, лимоны, бутылка коньяку, графин с водкой, селедка и сыр. Вся эта снедь и пития малым остатком красноречиво доказывали, что присутствующие успели уже неоднократно оказать им достодолжную честь.

Едва вошел Хвалынцев в эту комнату, как на него злобно зарычали два мордастые бульдога, которые были привязаны сворой к ножке пузатого бюро. Но немец-управляющий внушительно цыкнул на них, и они замолчали. Кроме яствий и карт, Хвалынцева немало удивило еще присутствие в этой комнате таких воинственных предметов, как, например, заряженный

револьвер, лежавший на ломберном столе, у того места, на которое сел теперь полковник Пшецыньский; черкесский кинжал на окошке; в углу две охотничьи двухстволки, рядом с двумя саблями, из коих одна, очевидно, принадлежала полковнику, а другая — стародавняя, заржавленная — составляла древнюю принадлежность помещичьего дома. Вообще, эти «злющие» бульдоги на своре, этот заряженный револьвер, и ружья, и кинжал, и сабли ясно доказывали, что все эти господа действительно почитали себя в самой серьезнейшей блокаде, и намеревались недешево продать русским мужикам свое драгоценное существование, если бы те задумали брать приступом господскую твердыню.

— Когда же вы меня отпустите отсюда, полковник? Когда я буду свободен? — спросил Хвалынцев, volens-nolens[1] располагаясь на старой оттоманке.

— О, помилуйте, вы и теперь свободны, но... только я не могу отпустить вас раньше окончательного укрощения; когда волнение будет подавлено, вы можете ехать куда угодно.

— А когда оно будет подавлено?

— Это зависит от прибытия войск. Вчера мы послали эстафету, сегодня — надо ожидать — прибудут.

— Да что это у вас за восстание такое? Как? Почему? Зачем? Объясните, пожалуйста, — обратился Хвалынцев к предводителю.

— О, это презапутанная и вместе пренелепая история, — с изящным пренебрежением выдвинул предводитель свою нижнюю губу. — Никаких властей не признают, Карла Карлыча не слушают... Какой-то вредный коммунизм проявился... Imaginez vous,[2] не хотят понять, что они должны либо снести те усадьбы, которые стоят ближе пятидесяти саженей к усадьбе помещика, либо, по соглашению с помещиком, платить за них выкуп. Не хотят ни того, ни другого. "Усадьба, говорит, и без того моя была!" (Предводитель, ради пущей изобразительности и остроумия, крестьянские реплики в своем рассказе передразнивал на мужицкий лад; Вот и толкуйте с ними! И теперь, à la fin des fins[3] вышли на площадь, толкуют Dieu sait quoi[4] о том, что волю у них украли помещики, и как вы думаете, из-за чего? Для их же собственной пользы и выгоды денежный выкуп за душевой надел заменили им личной работой, — не желают: "мы-де ноне вольные и баршшыны не хотим!" Мы все объясняем им, что тут никакой барщины нет, что это не барщина, а замена выкупа личным трудом в пользу помещика, которому нужно же выкуп вносить, что это только так, пока — временная мера, для их же выгоды, — а они свое несут: "Баршшына да баршшына!" И вот, как говорится, inde irae,[5] отсюда и вся история... «Положения» не понимают, толкуют его по-своему, самопроизвольно; ни мне, ни полковнику, ни г-ну исправнику не верят, даже попу не верят; говорят: помещики и начальство настоящую волю спрятали, а прочитали им подложную волю, без какой-то золотой строчки, что настоящая воля должна быть за золотой строчкой... И вот все подобные глупости!

— Но для чего же они на площадь повыходили? — спросил Хвалынцев.

— Вот, слухи между ними пошли, что "енарал с Питеру" приедет им "волю заправскую читать"... Полковник вынужден вчера эстафетой потребовать войско, а они, уж Бог знает, как и откуда, прослышали о войске и думают, что это войско и придет к ним с настоящею волею, — ну, и ждут вот, да еще и соседних мутят, и соседи тоже поприходили.

— М-да... «енарал»... Пропишет он им волю! — с многозначительной иронией пополоскал губами и щеками полковник, отхлебнув из стакана глоток пуншу, и повернулся к Хвалынцеву:

— Я истощил все меры кротости, старался вселить благоразумие, — пояснил он докторально-авторитетным тоном. — Даже пастырское назидание было им сделано, — ничто не берет! Ни голос совести, ни внушение власти, ни слово религии!.. С прискорбием должен был послать за военною силой… Жаль, очень жаль будет, если разразится катастрофа.

Но… опытный наблюдатель мог бы заметить, что полковник Болеслав Казимирович Пшецыньский сказал это «жаль» так, что в сущности ему нисколько не «жаль», а сказано оно лишь для красоты слога. Многие губернские дамы даже до пугливого трепета восхищались административно-воинственным красноречием полковника, который пользовался репутацией хорошего спикера и мазуриста.

— Необразованность!.. — промолвил господин становой семинарски-малороссийским акцентом. — Это все от нэобразования!

— Русски мужик евин! — ни к селу, ни к городу ввернул и свое слово рыженький немец, к которому никто не обращался и который все время возился то около своих бульдогов, то около самовара, то начинал вдруг озабоченно осматривать ружья.

— Н-да, это грустный факт! — изящно вздохнул предводитель. — Я никак не против свободы; напротив, я англичанин в душе и стою за конституционные формы, mais… savez vous, mon cher[6] (это "mon cher" было сказано отчасти в фамильярном, а отчасти как будто и в покровительственном тоне, что не совсем-то понравилось Хвалынцеву), savez vous la liberté et tous ces reformes[7] для нашего русского мужика — c'est trop tôt encore![8] Я очень люблю нашего мужичка, но… свобода необходимо требует развития, образования… Надо бы сперва было позаботиться об образовании, а то вот и выходят подобные сцены.

Хвалынцеву стало как-то скверно на душе от всех этих разговоров, так что захотелось просто плюнуть и уйти, но он понимал в то же время свое двусмысленное и зависимое положение в обществе деликатно арестовавшего его полковника и потому благоразумно воздержался от сильных проявлений своего чувства.

— Да, — заметил он с легкой улыбкой, — но дышать-то ведь хочется одинаково как образованному, так и необразованному…

Предводитель тоже своеобразно улыбнулся и, не возразив ни слова, сосредоточенно стал крутить папироску. Зато Болеслав Казимирович очень нехорошо передернул усами и, пытливо взглянув искоса на студента, вышел из комнаты.

— Лев Александрович! — многозначительно кивнул он предводителю из-за двери, — и тот сейчас же удалился.

— А что, не отлично я разве распорядился с арестацией этого студиозуса? — вполголоса похвалился полковник. — Помилуйте, ведь это красный, совсем красный, каналья!.. Уж я, батенька, только взгляну — сейчас по роже вижу, насквозь вижу всего!..

— Н-да, но что толку арестовать-то его?.. Только нас стесняет… Ну, его! пускай себе едет!

Пшецыньский удивленно выпучил глаза и покачал головою.

— Ай-ай-ай, Лев Александрович! Как же ж это вы так легкомысленно относитесь к этому! "Пускай едет!" А как не уедет? А как пойдет в толпу да станет бунтовать, да как если — борони Боже — на дом нахлынут? От подобных господчиков я всего ожидаю!.. Нет-с, пока не пришло войско, мы в блокаде, доложу я вам, и я не дам лишнего шанса неприятелю!.. Выпустить его

невозможно.

Полковник, очевидно, очень трусил неприятеля. Будучи храбрым и даже отважным в своей канцелярии, равно как и в любой губернской гостиной, и на любом зеленом поле, — он пасовал перед неведомым ему неприятелем — русским народом. Но боязни своей показать не желал (она сама собой иногда прорывалась наружу) и потому поторопился дать иное, но тоже не совсем для себя бесполезное, значение вызову предводителя на секретное слово.

— А что я вас хотел просить, почтеннейший Лев Александрович, — вкрадчиво начал он, улыбаясь приятельски-сладкой улыбкой и взяв за пуговицу своего собеседника. — Малый кажется мне очень, очень подозрительный… Мы себе засядем будто в картишки, а вы поговорите с ним — хоть там, хоть в этой комнате; вызовите его на разговорец на эдакий… пускай-ко выскажется немножко… Это для нас право же не бесполезно будет…

Предводитель помялся, поморщился, но не сделал ни малейшего возражения полковнику.

— Ваше высокобородие! Генерал требуют! — громогласно доложил жандарм, в эту самую минуту показавшись в передней.

— Как генерал?!.. разве уж приехал? — оторопело спохватился Пшецыньский.

— Сычас зволыли прибыть.

— Ай-ай, батюшки мои!.. Живей мундир!.. Поворачивайся, каналья!.. Скорее!..

Полковник со всех ног бросился облекать себя в полную парадную форму.

II. Великое и общее недоразумение

Как только в городе Славнобубенске была получена эстафета полковника Пшецыньского, так тотчас казачьей сотне приказано было поспешно выступить в село Высокие Снежки и послано эстафетное предписание нескольким пехотным ротам, расположенным в уезде на ближайших пунктах около Снежков, немедленно направиться туда же.

Не доходя верст пяти до Высоких Снежков, военный отряд был опережен шестеркою курьерских лошадей, которые мчали дорожный дормез. Из окошка выглянула озабоченная физиономия генерала, мимолетом крикнувшего командиру отряда, чтобы тот поспешил как можно скорее. Рядом с генералом сидел адъютант, а на козлах и на имперьяле — два ординарца из жандармов. Через несколько минут взмыленная шестерка вомчалась в село и остановилась на стоялом дворе, в виду волнующейся площади.

Тысячегрудое и долгое "ура!" загремело над толпой народа, но вновь прибывшим лицам трудно было впопыхах разобрать настоящий смысл и значение этого могучего приветствия. В эту минуту, под впечатлением обстоятельств нынешнего и прошлых дней, им понятнее была одна только оглушительная, грозная сторона крика, та сторона, которая заставляет скорее мелькать в воображении представления о бунтовщиках, кольях, топорах, дубинах… Новоприбывшие скрылись за дверью в горницу. Ординарцы, вслед за ними внесли тут же чемоданы и прочую дорожную принадлежность. Генерал тотчас же послал за Пшецыньским.

А между тем к нему, точно так же, как и к Хвалынцеву, вздумали было нахлынуть сивобородые ходоки за мир, но генеральский адъютант увидел их в окно в то еще время, как они только на крыльцо взбирались, и не успев еще совершенно оправиться от невольного впечатления, какое произвел на него тысячеголосый крик толпы, приказал ординарцам гнать ходоков с крыльца,

ни за что не допуская их до особы генерала.

Но пока он сам одевался и обчищался, да пока одевался и шел к генералу, в сопровождении жандарма, полковник Пшецыньский, с неизменным револьвером в кармане, — впечатление внезапного испуга успело уже пройти, и адъютант встретил в сенях Пшецыньского, как подобает независимому адъютанту, сознающему важность и власть своего генерала.

— Вы, полковник, наделали Бог знает что! — внушительно и даже отчасти строго начал он, когда Пшецыньский не без некоторой заискивающей почтительности поклонился ему. — Зачем вы изволили потребовать войско?.. Разве вы не могли обойтись и без этой крайней меры?.. Зачем вам военная сила, когда вы должны были укрощать силой вашего личного авторитета... Его превосходительство недоволен вами... Все, что говорю я, — я передаю вам от лица его превосходительства... Что это здесь за исправники! Что это за земская полиция, которая допускает подобные беспорядки!.. Это ни на что не похоже-с!.. Так, ей-Богу, служить нельзя!

— Помилуйте, истощены все меры кротости... ни голос религии, ни сила власти, ничто... — зарапортовал было Пшецыньский, отчасти смутившийся столь начальственным и бесцеремонным тоном адъютанта, на обер-офицерских погонах которого сидело всего только три звездочки. Но адъютант, почти не слушая Болеслава Казимировича, отворил дверь и жестом пригласил его войти, для личных объяснений, к его превосходительству, а сам, даже с некоторым похвальным бесстрашием, вышел на крыльцо — сделать рекогносцировку относительно настроения и положения в данный момент бунтующей толпы. Он сам в душе даже приятно пощекотал себя похвалою за это бесстрашие, по поводу которого вдруг почувствовал себя, в некотором роде, героем.

Почти перед самым крыльцом был теперь поставлен столик, которого прежде адъютант не заметил. Он был покрыт чистой, белой салфеткой с узорчато расшитыми каймами, и на нем возвышался, на блюде, каравай пшеничного хлеба да солонка, а по бокам, обнажа свои головы, стояли двое почтенных, благообразных стариков, с длинными, седыми бородами, в праздничных синих кафтанах.

Едва ступил адъютант на крыльцо, как многие головы в крестьянской толпе мгновенно обнажились, а старики, стоявшие у хлеба, почтительно отвесили ему по глубокому поясному поклону.

Поручик, юный годами и опытностью, хотя и знал, что у русских мужиков есть обычай встречать с хлебом и солью, однако полагал, что это делается не более, как для проформы, вроде того, как подчиненные являются иногда к начальству с ничего незначащими и ничего не выражающими рапортами; а теперь, в настоящих обстоятельствах, присутствие этого стола с этими стариками показалось ему даже, в некотором смысле, дерзостью: помилуйте, тут люди намереваются одной собственной особой, одним своим появлением задать этому мужичью доброго трепету, а тут вдруг, вовсе уж и без малейших признаков какого бы то ни было страха, выходят прямо перед ним, лицом к лицу, два какие-то человека, да еще со своими поднесениями! Поручик возжелал с первой же минуты показать свою твердость и силу, коими сам в душе намеревался немало полюбоваться, возжелал, что называется, сделать впечатление, или "faire une juste impession",[9] как подумал он в буквальной точности.

— Эт-та что такое?! Что это значит?! — резко и строго возвысил он голос, указывая то на каравай, то на бороды выборных.

— От мира! Хлеб да соль вашим милостям! — проговорили старики, сопровождая слова свои вторичным поклоном.

— Вы кто такие?.. Откуда? Какие люди? Как смели вы!

— Мы выборные, батюшко, от мира…

— Какой я вам «батюшка»! Не видите разве, кто я? — вспылил адъютант, принявший за дерзость даже и «батюшку», после привычного для его дисциплинированного уха "вашего благородия". При том же и самое слово «выборные» показалось ему зловеще многознаменательным: "выборные… власти долой, значит… конвент… конституционные формы… самоуправление… революция… Пугачев" — вот обрывки тех смешанно-неясных мыслей и представлений, которые вдруг замелькали и запутались в голове поручика при слове "выборные".

— Бунтовщики!.. Обмануть надеетесь!.. Задобрить хотите! — закричал и затопал он на стариков. — Тут с бунтовщиками угощаться не станут! К вам приехали порядок водворять, а не есть тут с вами!.. Вон отсюда!.. Убрать все это сейчас же!.. Вот я вас!

Старики оторопели и в величайшем недоумении переглянулись друг с другом.

— Ну! что же вы стали?.. Непокорство!.. Эй, ординарцы! Взять их!

И по слову адъютанта, два жандарма вмиг распорядились как следует с выборными. Столик с салфеткой, и с блюдом, и с караваем тотчас же исчез куда-то, словно бы его и не бывало, — и одно только недоумение все более и более разливалось на старческих лицах.

После столь энергического приступа к делу поручику показалось, что он уже достаточно задал предварительного страху и что теперь мужики будут чувствовать к его особе достодолжное уважение.

Кончив объяснение с Пшецыньским, генерал вышел на крыльцо. Полковник как-то меланхолически выступал за ним следом, держа в руках «Положение». На крыльце генерала встретили только что подошедшие в это время становой с исправником и предводитель Корытников, на котором теперь вместо Шармеровского пиджака красовался дворянский мундир с шитым воротником и дворянская фуражка с красным околышем.

Предводителя генерал удостоил поклона и даже рукопотрясения, а становому с исправником буркнул сквозь зубы одно только: "Стыдно, господа, стыдно!"

Но те решительно не поняли, почему это им должно быть стыдно.

— Ну, не шуметь, ребята! — громко закричал генерал толпе. — Я с вами говорить желаю… Смирно!

Толпа стояла тихо: в ней улегались волны и гул последних движений; она, казалось, напряженно ждала чего-то. Шапки все более и более слетали с голов.

— Тихо!.. тихо, ребята!.. Слухай!.. Сейчас верно заправскую читать будет! — пробегал по толпе сдержанный говор.

— Смирно! — еще громче повторил генерал. — Пускай ко мне выйдут несколько человек. Я с ними буду говорить, а они потом пусть всем остальным сообщат мои слова.

В толпе опять заколыхались и минут через пять более десятка толковых мужиков вышли из массы и, без шапок, с видом явного уважения, подошли к генералу.

— Вы видите, кто я? — начал он, указывая на свою грудь и плечи.

— Видим, батюшко, енарал! Видим! — поклонились те.

— Понимаете, кто я?

— Как-ста не понять!.. Понимаем… все понимаем.

— Ну, то-то же!.. Теперь скажите мне, зачем вы бунтуете, властям не покоряетесь?

— Где же мы бунтуем, батюшко, ваше благородие! — заговорили мужики. — Эк ли люди-то бунтуют!.. Мы только обиду свою ищем, а бунтовать не желаем… Зачем бунтовать?.. Мы бунтовать не согласны! Обстой ты нас, батюшко! будь милостивцем!

— А зачем вы толпами на площадь собрались? Это разве не мятеж, по-вашему? — продолжал генерал.

— Собрались мы, кормилец, затем, чтобы всем миром от тебя самого волю услышать… От нас настоящую-то волю скрали.

— Как? Что? Какую волю?.. Вам была уже читана воля — чего же вы еще хотите?

— Какая ж это воля, батюшко, коли нас снова на барщину гонят… Как, значит, ежели бы мы вольные — шабаш на господ работать! А нас опять гонят… А мы супротив закона не желаем. Теперь же опять взять хоть усадьбы… Эк их сколько дворов либо прочь сноси, либо выкуп плати! это за што же выкуп?.. Прежде испокон веку и отцы, и деды все жили да жили, а нам нако-ся вдруг — нельзя!

— Дураки! для вашей-же пользы! — пояснил генерал, — Ведь вы неравно помещику дом сожжете, потом чересполосица выходит, а вам не все ль равно? Тут один помещик только в убытке!

— Да как же мужику без усадьбы — сам посуди ты, ваше благородие! — загалдели переговорщики. — Мужику без усадьбы да без земли никак невозможно! А иной из нашего брата и сам себе усадьбу-то ставил за свой кошт, а теперича за нее плати… Этого мы несогласны!

— Да ведь земля господская! — снова пояснил генерал.

— Нет, батюшко, мы — господские, точно, что господские, — а земля наша! Искони нашей была! потому без земли уж какой же это мужик? Самое последнее дело!

— Земля по закону — господская, и вы если не хотите сносить с нее усадьбу, должны выкуп платить по соглашению. Затем, перехожу я к душевому наделу: для вас же, дураков, для вашей же собственной пользы и выгоды, чтобы вам же облегчение сделать, вместо платежа за землю по душевому наделу, вам пока предлагают работу, то есть замену денег личным трудом, а не барщину, и ведь это только пока.

— Поймите вы различие между личным трудом и барщиной! — поучающим тоном вмешался адъютант, обратясь особо к нескольким личностям из той же кучки переговорщиков: — Личный труд никак не барщина; личный труд это — личный труд… Все мы несем личный труд — и я, и вы, и… и все, а барщина совсем другое; она только при крепостном праве была, — понимаете?

— Да ведь это по нашему, по мужицкому разуму — все одно выходит, — возражали мужики с плутоватыми ухмылками. — Опять же видимое дело — не взыщите, ваше благородие, на слове, а только как есть вы баре, так барскую руку и тянете, коли говорите, что земля по закону господская. Этому никак нельзя быть, и никак мы тому верить не можем, потому — земля завсягды земская была, значит, она мирская, а вы шутите: господская! Стало быть, можем ли мы верить?

— Ваше превосходительство! явное недоверие!.. даже к словам вашего превосходительства! — подшепнул Пшецыньский. — И это ли еще не бунт!?.. Это ли не восстание!?

— Значит, вы мне не верите? — спокойно спросил генерал.

— Да что ж, коли ты, батюшко, по-нашему выходит, совсем не дело говоришь-то!

— Да ведь закон… — вмешался было Пшецыньский.

— Да что закон! — перебили его в кучке переговорщиков: — Ты, ваше благородие, только все говоришь про закон; это один разговор, значит! А ты покажи нам закон настоящий, которым, значит, за золотою строчкою писан, тогда и веру вам дадим, и всему делу шабаш!

— Любезные мои, такого закона, про какой вы говорите, нет и никогда не бывало, да и быть не может, и тот, кто сказал вам про него — тот, значит, обманщик и смутитель! Вы этому не верьте! Я вам говорю, что такого закона нет! — убеждал генерал переговорщиков.

— Эва-ся нет!.. Как нет!.. Мы доподлинно знаем, что есть. — возражали ему с явными улыбками недоверия. — Это господа, значит, только нам-то казать не хотят, а что есть, так это точно что есть! Мы уж известны в том!

Несколько времени длились еще подобные споры. Одна сторона тщетно старалась убедить в несуществовании закона за золотою строчкою; другая же крепко стояла на своем, выражая явное недоверие к словам своих убедителей. И дело, и взаимные отношения обеих сторон, с каждой минутой, запутывались все более, так что в результате оставалось одно только возрастающее недоразумение. Утомленный продолжительностью и полнейшею бесплодностью всех этих переговоров, генерал почти безнадежно махнул рукой и ушел на некоторое время в горницу освежиться от только что вынесенных впечатлений и сообразить возможность и характер дальнейших своих действий. Дело, на его взгляд, все более и более начинало принимать оборот весьма серьезный, с исходом крайне сомнительного свойства.

На крыльце остались адъютант с Пшецыньским да почти совсем пассивная и безмолвная группа, составленная из предводителя и станового с исправником.

Пшецыньский, с особо энергическим красноречием, укорял мужиков-переговорщиков за то, что те выказали такое недоверие к словам генерала, а адъютант продолжал доказывать, что личный труд — отнюдь не барщина. Мужики же в ответ им говорили, что пущай генерал покажет им свою особую грамоту за царевой печатью, тогда ему поверят, что он точно послан от начальства, а не от бар, а адъютант на все его доводы возражали, что по их мужицкому разуму прежняя барщина и личный труд, к какому их теперь обязывают, выходит все одно и то же. Недоразумение возрастало. Юный поручик все более и более терял необходимое хладнокровие и начинал не в меру горячиться.

— Да уж что толковать! — порешили, наконец, переговорщики, почесав затылки. — Деньги мы, так и быть, платить, пожалуй, горазды, а на барщину не согласны.

— Кто не согласен? — перебил адъютант и обратился к одному из кучки: — Ты не согласен?

— Я-то ничего, да мир не согласен; значит, все, батюшко, высокое твое превосходительство, все, как есть все не согласны — весь мир, значит! — ответствовал тот.

— Я не про всех спрашиваю! Я спрашиваю тебя: ты не согласен?

— Да я что ж, батюшко, — я человек мирской — куды мир, туды, знамо дело, и я.

— Отвечай мне, каналья! — грозно затопал поручик. — Ты несогласен?

— Виновата, батюшко! — поклонился оторопевший, но все-таки уклончивый мужик.

— Что такое «виновата»! Что это значит "виновата"!? Я тебя в последний раз спрашиваю: ты не согласен?

— Несогласен… — тихо и путаясь, ответил допрашиваемый.

— Взять его! — мигнул поручик жандармам, — и мужика вытащили из кучки и увели в калитку стоялого двора.

— Ты не согласен? — обратился адъютант к следующему.

— Не согласен, ваше благородие.

— Взять и этого!

— Ты?

— Не согласен.

— Туда же!

— Да все не согласны! весь мир не согласен! — закричали из толпы те передние ряды, которым была видна и слышна расправа адъютанта.

— Братцы! да что ж это он мужиков-то хватает? — недоумело стали поговаривать там. — За что же это?.. А волю-то не читает!..

— Ваше благородие! — громко выкрикнул чей-то голос оттуда. — Не томи ты нас! будь милостивцем! вычитай ты нам волю-то скорее!..

— Волю! Волю! — подхватили из той же толпы несколько сотен.

— Кто смел закричать "волю"? — поднял адъютант к толпе свою голову. — Кто зачинщики? Выходи сюда!

В толпе никто не шелохнулся.

— Господин становой пристав, отыщите и возьмите зачинщиков!

— Помылуйтэ, ни як нэ можно! — расставя ладони и пожимая плечами, флегматически залепетал было становой.

— В противном случае, вы будете строго отвечать перед законом! — начальнически-

отчетливым тоном пояснил адъютант, выразительно сверкнув на него глазами и безапелляционно приглашающим жестом указал ему на толпу.

Физиономию господина станового передернуло очень кислой гримасой, однако, нечего делать, он махнул рукою под козырек и потрусил к толпе. Там поднялось некоторое движение и гул. Становой ухватил за шиворот первого попавшегося парня и потащил его к крыльцу. Парень было уперся сначала, но позади его несколько голосов ободрительно крикнули ему: "не робей, паря! не трусь! пущай их!" — и он покорно пошел за становым, который так и притащил его за шиворот к адъютанту.

Парень стоял без шапки, смирно и почтительно.

— Ты зачинщик?.. ты крикнул "волю"? — напустился на него рьяный поручик.

— Нет, не я... я не кричал, — ответил тот, почти без всякого смущения.

— А! запираться!.. Я тебя заставлю ответить!

— Что ж, ваше благородие, — твоя воля! — подернул тот плечами. — Мы люди темные, ничего не понимаем, — научи ты нас, Христа ради! Мы те во какое спасибо скажем!

— Отвечай, кто зачинщики! — настаивал между тем поручик.

Тот молчал, понуро потупясь.

— Взять его! — скомандовал он жандармам — и парня утащили в калитку.

Увы!.. этот блестящий и, в своем роде — как и большая часть молодых служащих людей того времени — даже модно-современный адъютант, даже фразисто-либеральный в мире светских гостиных и кабинетов, который там так легко, так хладнокровно и так административно-либерально решал иногда, при случае, все вопросы и затруднения по крестьянским делам — здесь, перед этою толпою решительно не знал, что ему делать! Он чувствовал, так сказать, полнейшее отсутствие почвы под ногами, чувствовал какую-то неестественность, неловкость в своем положении, смутно сознавал, что слишком увлекся и чересчур зарвался, так что походил скорее на Держиморду, чем на блестящего, современного адъютанта. Куда девался весь либерализм, все эти хорошие слова и красивые фразы! И что досаднее всего, — это держимордничество проявилось как-то так внезапно, почти само собою, даже как будто независимо от его воли, и теперь, словно сорвавшийся с корды дикий конь, пошло катать и скакать через пень в колоду, направо и налево, так что юный поручик, даже и чувствуя немножко в себе Держиморду, был уже не в силах сдержать себя и снова превратиться в блестящего, рассудительного адъютанта. Держимордничество — как часто случается в иных людских, а особенно в кадетских натурах — словно порывистый вихрь, подхватило его, как оторванную от корня ветвь, и закружило и понесло по своему произволу... Он не знал что говорить, что предпринять, на что решиться, чувствовал, что ему лучше всего было бы с самого начала ничего не говорить и ни на что не решаться, но... теперь уже поздно, теперь уже зарвался — и потому, начиная терять последнее терпение, адъютант все более и более горячился и выходил из себя. Мужики не понимали его, он — мужиков. Точно так же не понимали они и генерала; генерал же, в свою очередь, не мог уразуметь их в том пункте, что земля, признаваемая законом собственностью помещика, со стороны крестьян вовсе таковою не признается, а почитается какою-то искони веков ихнею земской, мирскою собственностью: "мы-де помещичьи, господские, а земля наша, а не барская".

Это было одно всесовершенное, общее, великое недоразумение.

До этой минуты либеральному поручику приходилось толковать о русском народе только в приятных гостиных, да и толковать-то не иначе, как с чужих слов, с чужих мыслей. Теперь же, когда обстоятельства поставили его лицом к лицу с этою толпою, — русский мужик показался ему бунтовщиком, мятежником, революционером… Он вспомнил, что в русской истории был Стенька Разин и Емельян Пугачев. Да и не один он, а и все эти представители власти чувствовали себя как-то не совсем ловко, и всем им хотелось как-нибудь наполнить время до решительной минуты, когда войско уж будет на месте. Многие из них ждали, что один грозный вид военной силы сразу утишит восстание и заставит толпу покориться и выдать зачинщиков.

— Читайте им «Положение»! Об их обязанностях читайте! — обратился полковник Пшецыньский к становому, испытывая точно такую же неловкость и не зная сам, для чего и зачем тот будет читать.

Становой глянул на него недоумелыми глазами — дескать: ведь уж сколько же раз было им читано! — однако выступил вперед и раскрыл книгу.

По толпе опять пробежал смутный гул — и она замолкла чутко, напряженно…

Толпа жадно слушала, хватая на лету из пятого в десятое слово, и ничего не понимала. В ней, как в одном человеке, жило одно только сознание, что это читают "заправскую волю".

* * *

Ковыляя по грязям и топям большой дороги, форсированным маршем приближалась к Высоким Снежкам военная сила! В голове серевшей колонны колыхался частокол казацких пик, а глубоко растянувшийся хвост ее терялся за горою. Вот, осторожно ступая по склизкому скату, кони спустились на плотину у мукомольной мельницы, прислонившейся внизу, у ручьистого оврага, перебрались на противоположную сторону, — и казачий отряд, разделясь на две группы, тотчас же на рысях разъехался вправо и влево, и там и здесь растянулся широкою цепью, отделяя от себя где одного, где пару казаков, окружил село и занял все выходы. Вот близ того же оврага остановилась пехота. Люди стянулись, сомкнули стройные ряды и оправились. Через несколько минут марш колонны направлялся уже по широкой, опустелой улице села. Одни только собаки тявкали из подворотень на незнакомый им люд, да иногда петухи, своротив на сторону красные гребни, как-то удивленно оглядывали с высоты крестьянских плетней это воинственное шествие. Здесь как будто вымерла вся людская жизнь, и только на задах кое-где, да на выходах, между соломенными кровлями и древесными прутьями, торчало там и сям стальное острие казацкой пики… Весь народ — стар и млад — гудел вдали на широкой площади.

Раздался барабанный бой. Отряд входил уже на площадь и строился развернутым фронтом против крестьянской толпы, лицом к лицу. Толпа в первую минуту, ошеломленная рокотом барабанов и видом войска, стояла тихо, недоуменно…

Рыженький немец-управляющий, с рижской сигаркой в зубах, флегматически заложив за спину короткие руки, вытащил на своре пару своих бульдогов и вместе с ними вышел на крыльцо господского дома — полюбоваться предстоящим зрелищем. Вслед за ним вышел туда же и Хвалынцев. Сердце его стучало смутной тоской какого-то тревожного ожидания.

— Что же, вы поняли, что читали вам? — обратился к толпе Пшецыньский.

Толпа молчала.

Тот повторил вопрос, на который ответом последовало, опять-таки, то же самое недоумелое

молчание. Адъютант окончательно вышел из себя. Он отказывался верить, чтоб смысл читаемого, столь ясный для него, был непонятен крестьянам.

— Бунтовщики! Вы отвечать не хотите! — закричал он. — Хорошо же! с вами найдут расправу!

Генерал снова появился перед народом.

— Батюшко! не серчай! — завопили к нему голоса из толпы. — А дай ты нам волю настоящую, которая за золотою строчкою писана! А то, что читано, мы не разумеем… Опять же от барщины ослобони нас!

— Ваше превосходительство! — в почтительно-совещательном тоне обратился адъютант к своему принципалу. — Мне казалось бы, что не мешало бы распорядиться послать за попом — пусть увещевает… Надо первоначально испытать все средства.

Через несколько минут привели священника, с крестом в руках, и послали увещевать толпу. И говорил он толпе на заданную тему, о том, что бунтовать великий грех и что надо выдать зачинщиков.

— Да какие же мы бунтовщики! — послышался в толпе протестующий говор. — И чего они и в сам деле, все «бунтовщики» да «бунтовщики»! Кабы мы были бунтовщики, нетто мы стояли бы так?.. Мы больше ничего, что хотим быть оправлены, чтобы супротив закону не обижали бы нас… А зачинщиков… Какие же промеж нас зачинщики?.. Зачинщиков нет!

— Как нет?.. Что они там толкуют? — почтительно косясь и оглядываясь на генерала и видимо желая изобразить перед ним свою энергическую деятельность, возвысил голос Пшецыньский, который сбежал с крыльца, однако же не приближался к толпе далее, чем на тридцать шагов. — Должны быть зачинщики! Выдавай их сюда! Пусть все беспрекословно выходят к его превосходительству!.. Вы должны довериться вашему начальству! Выдавай зачинщиков, говорю я!

— Да все мы зачинщики!.. Все, как есть! — дружно грянуло над толпою. — Все здесь! всех бери!

Пшецыньский торопливо попятился и неловко споткнулся о камень. В толпе раздался хохот.

— Я шутить не стану! — строго заметил генерал. — Господин исправник! господин предводитель! прошу отправиться к ним и повторить мои слова, что никакой другой воли нет и не будет, что они должны беспрекословно отправлять повинности и повиноваться управляющему, во всех его законных требованиях, и что, наконец, если через десять минут (генерал посмотрел свои часы) толпа не разойдется и зачинщики не будут выданы, я буду стрелять.

— Надо будет стрелять, ваше превосходительство! — почтительнейше подшепнул Пшецыньский, успевший уже вернуться на крыльцо. — К сожалению, надо будет стрелять!.. Иначе ничего не сделаем… Необходим разительный пример.

Генерал ничего не ответил, но в душе был согласен с опытным полковником: все это по внешности, действительно, казалось бунтом весьма значительных размеров, тогда как на самом деле оставалось все-таки одно лишь великое обоюдное недоразумение. По соображениям власти, медлительность и нерешительность ее, ввиду того тревожного, исполненного глухим брожением в народе, времени, которое тогда переживалось, могла отозваться целым рядом беспорядков по обширному краю, если оказать маломальское

потворство на первых порах, при первом представившемся случае. Таковы были соображения власти.

Между тем, исправник и monsieur Корытников отправились в толпу передавать слова генерала, а сам генерал поспешил к неподвижно стоявшему войску.

— Ребята! — обратился он к солдатам. — Помните, что ружье дано солдату затем, чтобы стрелять!.. Перед вами бунтовщики, поэтому будьте молодцами.

— Рады стараться, ваше-ство-о! — откликнулся фронт.

А в толпе все рос и крепчал гул да говор... волнение снова начиналось, и все больше, все сильнее. Увещания священника, исправника и предводителя не увенчались ни малейшим успехом, и они возвратились с донесением, что мужики за бунтовщиков себя не признают, зачинщиков между собою не находят и упорно стоят на своем, чтобы сняли с них барщину и прочли настоящую волю, и что до тех пор они не поверят в миссию генерала, пока тот не объявит им самолично эту "заправскую волю за золотою строчкою".

— Стрелять, стрелять необходимо, ваше превосходительство! — снова подшепнул со вздохом, подвернувшийся под руку, Пшецыньекий, и вздох его явно стремился выразить последнюю, грустно безвыходную решимость крайнего отчаяния.

Либерально-почтительный адъютант был того же мнения и в душе даже как будто подбодрился тем, что в такую минуту близ него есть люди, разделяющие его собственное убеждение. "Imaginez vous,[10] - мог бы потом он рассказывать в петербургских гостиных, — огромная толпа... с другой стороны войско... и вдруг залп!.. О, это была ужасная, поразительная картина!.. Это был своего рода эффект, которого я никогда не забуду!" По странному сочетанию мыслей в голове поручика в эти минуты главнейшим образом рисовалось то, как он будет рассказывать в Петербурге о том, чему предстояло совершиться через несколько мгновений. Он не думал, как именно все это совершится, но знал, что он будет потом рассказывать об этом очень красивыми, изобразительными фразами.

— Господин майор! — закричал меж тем генерал батальонному командиру. — Изготовьтесь к пальбе!

— Батальон, — жай! — раздалась с лошади зычная команда командира, — и мгновенно, блеснув щетиной штыков, ружья шаркнулись к ноге. Шомпола засвистали и залязгали своим железным звуком в ружейных дулах. Крестьянская толпа в ту ж минуту смолкла до той тишины, что ясно можно было расслышать сухое щелканье взводимых курков.

Этою-то минутою думал было не без эффекта воспользоваться ретивый поручик.

— Ваше превосходительство! позвольте испытать... в последний раз... последнее средство! — быстро забормотал он, обратясь к генералу, и затем, почти не дожидаясь ответа, повернулся к толпе.

— На колени! — повелительно закричал он. — На колени!.. Покоряйтесь, или сейчас стреляют!

— Что ж, стреляй, коли те озорничать хочется! — ответили ему из толпы. — Не в нас стрелишь — в царя стрелять будешь... Мы — царские, стало и кровь наша царская!..

С крыльца махнули в воздух белым платком. Вслед за этим знаком отчетливо пронеслась команда: "батальон — пли!" — и залп холостым зарядом грянул.

Толпа вздрогнула, но молчала. Передние, совершенно молча, внимательно огляделись вокруг себя: никто не пал, никто не стонет — все живы, целы, стоят, как стояли. Первая минута смущенного смятения минула. Мужики оправились.

— Эге, робя! никак шутки шутят! — громко заметил один молодой парень. — Небось, в царских хрестьян стрелять не посмеют!

— Это они только так, гороху наперлись! — ответил какой-то шутник.

В толпе захохотали.

Снова мелькнул в воздухе белый платок.

Рой пуль просвистал над головами.

Толпа инстинктивно пригнулась. Опять осматриваются — опять ни единый человек не повалился.

Это уже породило недоумение: свист нескольких сотен пуль был явственно слышен, — отчего ж никого не убило?

— Братцы! мужички почтенные! — раздался чей-то голос. — Сам Бог за наше сиротское дело: пули от нас отгоняет!.. не берут! Стой, братцы, на своем твердо!

— Стоим!.. стоим! Постоим за мир!.. Господи благослови! — пронеслись по толпе ответные крики.

Раздался первый роковой залп, пущенный уже не над головами. И когда рассеялось облако порохового дыма, впереди толпы оказалось несколько лежачих. Бабы, увидя это с окраин площади, с визгом бросились к мужьям, сынам и братьям; но мужики стояли тихо.

— Ну, пошто вы, ваши благородия, озорничаете!.. Эка сколько мужиков-то задаром пристрелили! — со спокойной укоризной обратился к крыльцу из толпы один высокий, ражий, но значительно седоватый мужик. — Ребята! подбери наших-то! свои ведь! — указал он окружающим на убитых. — Да бабы-то пущай бы прочь, а то зашибуть неравно... Пошли-те вы!..

И затем, выступив на несколько шагов вперед, снова обратился к группе, помещавшейся на крылечке:.

— Ну, а ты, ваше благородие, теперича стреляй!

Раздался второй боевой залп — и несколько мужиков опять повалились... А когда все смолкло, и дым рассеялся, то вся тысячеглавая толпа, как один человек, крестилась... Над нею носились тихие тяжкие стоны и чей-то твердый, спокойный голос молился громко и явственно:

"Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежать от лица Его ненавидящие Его"...

Заклокотала короткая дробь третьего залпа.

Крестьяне не выдержали: шарахнулись, смешались и бросились куда кому попало.

В гуле и стоне можно было расслышать иногда крики: "воля!.. воля!" — с которыми все это бежало вон из села.

Но там ожидали казаки.

III. Расправа

Восстание было укрощено.

Мужики, не пущенные на выходах казаками, разбежались кое-как по избам, а крестьяне соседних деревень, окруженные конвоем, были согнаны на господский двор, и там — кто лежа, кто сидя на земле — ожидали решения своей участи. Казачьи патрули разъезжали вокруг села, за околицами, и не выпускали из Снежков ни единой души.

Завечерело, и с сумерками стало подмораживать к ночи. На площади зажглись яркие костры: батальон расположился там бивуаком. Людей постереглись до времени ставить постоем к бунтовщикам, пока не была еще произведена окончательная расправа. Окна помещичьего дома — немые и темные Бог весть с коих пор — тоже осветились, точно как в те умершие старые годы, когда там ликовала широкая барская жизнь. И ныне, как в оны дни, на дворе стояли разнокалиберные экипажи и бегала дворовая прислуга, военные денщики, вестовые, ординарцы, и стучали ножи на кухне. В этом опустелом доме нашли себе временный приют офицеры батальона и все наехавшие сюда власти, господствия и силы. В одном из особых флигелей поместился полковник Пшецыньский и, вместе с генеральским адъютантом, запершись во временном своем кабинете, озабоченно строчил официальное донесение. Это донесение должно было завтра же лететь в Петербург.

Поручик чувствовал себя не совсем-то в духе. Теперь, когда прошло уже несколько часов с той минуты, как на площади раздавались залпы, — мужицкая кровь наводила на него некоторое уныние и тревожную озабоченность о том, как взглянут на все это там, в Петербурге. Пока еще не раздались эти выстрелы, адъютант почему-то воображал себе, что все это будет как-то не так, а иначе, и как будто легче, как будто красивее, а на деле оно вдруг оказалось совсем по-другому — именно так, как он менее всего мог думать и воображать. Дело было слишком свежо для того, чтобы в памяти поручика стерлись некоторые эпизоды и сцены мужицкого бунта. Особенно как-то странно и вместе с тем смутно-зловеще для него самого звучали ему недавние слова: "не в нас стрелищь — в царя стрелять будешь; мы — царские, стало и кровь наша царская". Какое странное слово в устах бунтовщика! Какая странная мысль в голове революционера!.. Чем больше думал поручик, тем больше становилось ему все как-то не по себе, было как-то неловко… быть может, отчасти перед собственной совестью.

Зато Болеслав Казимирович Пшецыньский не беспокоился нимало. Он бойко и живо строчил рапорт к своему начальству, и энергическое красноречие его лилось каскадом. Он особенно поставлял на вид, как были истощены все возможные меры кротости, как надлежащие власти христианским словом и вразумлением стремились вселить благоразумие в непокорных, — но ни голос совести, ни авторитет власти, ни кроткое слово св. религии не возымели силы над зачерствелыми сердцами анархистов-мятежников, из коих весьма многие были вооружены в толпе топорами, кольями и вилами.

Когда, прочитывая свой рапорт адъютанту он дошел до этого последнего места, поручик остановил его легоньким возраженьицем, что кольев он, сколько ему помнится, не заметил.

— Нет-с, были! были! наверное были! — с живостью заспешил заверить Пшецыньский. — Но… видите ли, очень легко могло случиться, что вы с его превосходительством и не обратите на это внимания, собственно по недостатку времени, — пояснил он с иезуитски-кроткою, простодушною улыбочкою. — А я сидел здесь до вашего прибытия двое суток и, поверьте мне, — видел, своими собственными глазами видел. Иначе зачем же мне было ходить с

заряженным револьвером? Наша жизнь подвергалась большой опасности, и этим-то… — Пшецыньский приостановился и, не спуская пристальных глаз с поручика, постарался особенно подчеркнуть смысл своих последующих слов, — этим-то я и объясняю наши крайние меры.

Поручик понял Пшецыньского и одобрительно кивнул ему головой. Пшецыньский, с своей стороны, тоже понял поручика.

— Конечно, мы имели и причины так действовать и… тово… полномочия, — начал последний, как-то заминаясь и пережевывая слово за словом: очевидно, он затруднялся высказать прямо начисто его тайную, тревожную мысль о своем опасении. — Но… знаете… такое время… эти разные толки… этот «Колокол» наконец… понимаете ли, как взглянуть на это?

— О, что касается до этого, — с оживлением предупредил Пшецыньский, — мы можем быть спокойны… Есть печальные и опасные события, когда крайние меры являются истинным благодеянием. Ведь — не забудьте-с! Волга, — пояснил он с весьма многозначительным видом, — это есть, так сказать, самое гнездо… историческое-с гнездо мятежей и бунтов… Здесь ведь раскольники… здесь вольница была, Пугачевщина была… Мы пред Богом и совестью обязаны были предупредить, подавить… В таком смысле я и рапорт мой составлю.

Последние слова были тоже особенно подчеркнуты, по примеру прежних.

Адъютант еще раз одобрительно кивнул ему головой. Опасения его за Петербург — город слишком далекий от Волги вообще и от Славнобубенска в особенности — стали проясняться. Болеслав Пшецыньский успел очень ловко внушить ему свою программу и дать направление к объяснению сегодняшних действий.

* * *

А между тем в вечернем сумраке, при зареве солдатских костров да при тусклом свете фонарей, на площади происходила другая сцена. Там распоряжалась земская полиция.

Раненые были давно уже прибраны; насчет же убитых только что "приняли меры". Они все были сложены рядком, а политая кровью земля, на тех местах, где повалились эти трупы, тщательно вскапывалась теперь солдатскими лопатами, чтоб поскорей уничтожить эти черные кровавые пятна.

В темноте, вслед за тускло-мигавшими огоньками фонарей, длинным рядом двигались человеческие фигуры. На рогожках да на носилках солдаты выносили покойников из села на отдаленный пустырь, где только что рыть кончили глубокую общую могилу.

Ни плачу, ни причитаний не было слышно; ни знакомых, ни сродников не было видно — один только вооруженный конвой сопровождал этот погребальный вынос, и во мглистой тишине одни только солдатские шаги шлепали по лужам деревенской улицы, едва затянувшимся в ночи тонкой ледяной корой.

У могилы ожидал уже церковный причет и священник в старенькой черной ризе. Убитых свалили в яму и начали петь панихиду. Восковые свечи то и дело задувало ветром, зато три-четыре фонаря освещали своим тусклым колеблющимся светом темные облики людей, окружавших могилу и там, внутри ее, кучу чего-то безобразного, серого, кровавого.

Скоро была съедена солдатская крупа, и костры стали гаснуть, оставляя после себя широкие пепелища с красными тлеющими угольями. Батальон гомонился и засыпал на своем холодном

бивуаке. Все село казалось в темноте каким-то мертвым: нигде ни голоса людского, ни огонька в оконце. Вдалеке только слышался топот казачьих патрулей, да собаки заливались порою.

В господском доме тоже мало-помалу потухли огни.

Рыженький немец спокойно удалился в свой флигелек, пропустил на сон грядущий рюмочку шнапсу, закусил его домодельною ветчиною, которую запил куфелем домашнего пива, и, закурив рижскую сигарку, стал размышлять… вероятнее всего, о дикости русского народа.

В одном только покое адъютанта долго еще светился огонь, потому что долго ходил адъютант по комнате и ломал голову над композицией своего донесения. Впрочем, на случай какого-либо чрезвычайного затруднения, обязательный Пшецыньский был под рукою.

Не спал еще и Хвалынцев. Все ощущения и впечатления дня навели на него какую-то темную тоску и лихорадочную нервность. Он не знал, зачем его арестовали и потом словно бы оставили и позабыли про него, не знал, что делать завтра или, лучше сказать, что с ним намерены делать, а между тем дела требовали его в Славнобубенск. Это глупое, фальшивое положение и эта неизвестность нагоняли на него досаду и хандру. Он, лежа на оттоманке, по другую сторону которой безмятежно храпел monsieur[11] Корытников, жег в темноте папиросу за папиросой. Тоскливая досада и неулегшиеся впечатления давешних сцен далеко отгоняли сон его.

* * *

А между тем в глубокой темноте, около солдатского бивуака, потайно, незаметно и в высшей степени осторожно шныряла какая-то неведомая личность, которую трудно было разглядеть в густом и мглистом мраке; но зато часовые и дежурные легко могли принять ее за какого-нибудь своего же проснувшегося солдатика, тем более, что неведомая личность эта была одета во что-то не то вроде крестьянской, не то вроде солдатской сермяги. В течение получаса этот шныряющий человек, то там, то здесь, в разных концах бивуака, осторожно подбрасывал какие-то свернутые бумаги, из которых иные были даже запечатаны в особые пакеты.

* * *

Наутро началась расправа с мятежниками. Судили их на месте, в порядке быстром, то есть безусловно административном и притом — военном. Солдат, в награду за неудобно проведенную ночь, приказано было, по совету Пщецыньского, расставить по крестьянским избам, в виде экзекуции, с полным правом для каждого воина требовать от своих хозяев всего, чего захочет, относительно пищи и прочих удобств житейских. Предварительно, впрочем по совету все того же Пшецыньского, не забыли поблагодарить батальон за его молодецкое поведение, но при этом начальство осталось несколько недовольно тем обстоятельством, что ответное "рады стараться" пробежало по фронту как-то вяло, раздумчиво и словно бы неохотно. Неудовольство начальства еще более усилилось, когда было доложено ему о приключениях, случившихся в батальоне в течение этой ночи: один солдатик найден в овине повесившимся на своих собственных подтяжках, а двое дезертировали неизвестно куда, несмотря на бдительность казачьих патрулей.

Однако время не терпело проволочек; надо было позаботиться об окончательном укрощении и умиротворении взволнованной местности, а потому надлежало произвести немедленный суд и при этом явить примеры внушительной строгости.

Крестьяне опять были собраны на площади, но на этот раз не добровольно. Тут же стояло

около тридцати обывательских подвод и несколько возов розог: часть батальона еще ранним утром отряжена была в лес нарезать приличное количество прутьев. Сек батальонный командир под руководством исправника и станового. Приговорены были к наказанию и к ссылке в Сибирь несколько десятков народу, вместе с зачинщиками, в числе которых были два старика, подносившие хлеб-соль, молодой парень, вытащенный вчера становым в качестве зачинщика, и тот десяток мужиков, которые добровольно вышли вперед переговорщиками от мира.

Между тем раненым надо было подать хоть какую-нибудь первую помощь. Начальство, отправляясь сюда, не предполагало, что придется стрелять, и потому не позаботилось о докторе, за которым Пшецыньский догадался послать только ранним утром, когда трое из раненых уже отдали Богу душу. Разговор об этом происходил в присутствии Хвалынцева. Занимаясь естественными науками, он неоднократно con amore посещал клинику, видел многие перевязки и вообще имел об этом деле некоторое маленькое понятие. Поэтому, на время до прибытия медика, он предложил исправнику свои посильные услуги. Этот последний, имея в виду трех уже умерших и нескольких человек умирающих, посоветовался с полковником, а тот доложил выше — и предложение Хвалынцева великодушно было принято, только с условием, чтобы все это осталось под секретом. Вместе с деревенским священником принялся он кое-как ухаживать за ранеными.

А наутро наехало в Снежки несколько окружных помещиков, бурмистров, управляющих — все за тем, чтобы поразведать о вчерашних происшествиях. Приехала, между прочим, и пожилая вдова помещица, которая во всем околотке известна была под именем Перепетуи Максимовны. Фамилии ей как-то не полагалось, а мужики, сами по себе, издавна уже окрестили ее «Драчихой», по причине сорокалетней слабости ее к ручной расправе. Становой сообщил ей, что в числе раненых есть один из ее Драчихиной деревни, Драчиха непременно пожелала видеть "мятежника".

— А, хамова душа твоя! — с каким-то самодовольно торжествующим видом обратилась она к больному. — Так и ты тоже бунтовать! Я тебе лесу на избу дала, а ты бунтовать, бесчувственное, неблагодарное ты дерево эдакое! Ну, да ладно! Вот погоди, погоди! выздоравливай-ка, выздоравливай-ка! Вы, батюшка, доктор, что ли? — обратилась она вдруг к Хвалынцеву.

— Нет, сударыня, не доктор.

— Ну, так верно фершал?

— Положим, хоть и так. А что?

— А то, что, пожалуйста, лечи ты мне эту каналью поисправнее. Уж я сама поблагодарю тебя прилично, только вылечи ты мне его беспременно.

— А зачем вам, сударыня, это так нужно?

— А у меня, мой батюшка, в том свой интерес есть; для того что, как он выздоровеет, так чтобы наказать его примерно.

— Ну, теперь-то наказывать вам самим, пожалуй что, и не придется: он уж и так наказан, — заметил с подобающею скромностью священник.

— Как, батюшка, не придется! — всполошилась Драчиха. — Да что ж я, по-твоему, не власть придержащая, что ли? Сам поп, значит, должен знать, что в писании показано: "властям

придержащим да покоряются", — а я, мой отец, завсегда власть была, есть и буду, и ты мне мужиков такими словесами не порти, а то я на тебя благочинному доведу!

Священник, при имени благочинного, извиняющимся образом развел руками и замолкнул.

— А как теперь, батюшка, душевой-то надел тех, что убиты, в чью пользу пойдет? — тут же обратилась Драчиха к становому.

— В точности неизвестен, а надо так думать, что в пользу помещика, ежели полного тягла не окажется, — пояснил становой

— А моих мужичков-то много ли убито? — с живостью поинтересовалась Драчиха.

Но не все помещики оказались одного толка с Драчихой. Многие из приехавших ради любопытства приняли раненых из своих деревень на свое собственное попечение и доставили им всевозможные удобства.

А на площади, между тем, раздавались крики, стоны и бабий плач с причитаньями. Одних наказывали и отпускали домой, других сажали на подводы и объявляли сибирскую ссылку. Тут было широкое место для раздирающих душу сцен расставанья с отцами, с братьями, с сыновьями… Многие жены, с грудными ребятами, добровольно шли в ссылку за своими мужиками. Почти каждый из ссыльных, прихватя в заплечный мешок кое-что из одежины да из домашней рухляди, завертывал в особую тряпицу горсть своей исконной, родной земли, с которою отныне расставался навеки, и благоговейно уносил с собою эту горсть в неведомую, далекую сторону.

Быстро сотворя суд над зачинщиками, начальство уехало обратно в Славнобубенск, распорядясь оставить в Снежках целый батальон, на неопределенное время, в виде экзекуции, и предоставя окончательное умиротворение исправнику да становому.

Пшецыньский вместе с Корытниковым вскоре тоже отправились. Впрочем, перед отъездом штаб-офицер благосклонно разрешил Хвалынцеву ехать куда ему угодно и даже с видом скорбяще-благодарной гуманности рассыпался перед своим вчерашним пленником в извинениях по части ареста и в благодарностях по части ухаживанья за ранеными.

— Такое печальное событие… так мне это больно! — наедине и притом оглядываясь, говорил он, с грустными ужимками и даже вздохами. — Я никак не мог предполагать, что дело дойдет до этого… но… но… мы люди подчиненные! (Глубокий вздох). Во всяком случае, за человечество благодарю вас от лица человеколюбия… Только, пожалуйста, не разглашайте этого никому, а то могут быть к нам придирки, зачем допустили к делу постороннего человека… Ведь вы знаете, какие у нас на матушке Руси порядки!.. Формалистика, батюшка! Что делать!..

И говоря это, Болеслав Казимирович обеими руками крепко, долго и горячо потрясал руку Хвалынцева, который с своей стороны был весьма доволен своим отпуском из плена и, ввиду всего совершившегося, не почел особенно удобным добиваться у полковника объяснения причин своего непонятного ареста.

С величайшим трудом, при помощи священника, наконец-то удалось ему за учетверенную плату порядить себе лошадей и отправиться вслед за отбывшими властями.

IV. "Пошла писать губерния!"

По всему граду Славнобубенску ходили темные и дикие вести о снежковских происшествиях, и, можно сказать, с каждой минутой слухи и вести эти росли, ширились и становились все темнее, все дичее и нелепее. Одни слухи повествовали, будто власти сожгли деревню дотла и мужиков, которых не успели пристрелить, живьем позакапывали в землю. Другие пояснили, что между адъютантом и Пшецыньским какая-то японская дуэль происходила и что Болеслав Храбрый исчез, бежал куда-то; что предводителя Корытникова крестьяне розгами высекли; что помещица Драчиха, вместе с дворовым человеком Кирюшкой, который при ней состоит в Пугачевых, объявила себя прямой наследницей каких-то французских эмиссаров и вместе со снежковскими мужиками идет теперь на город Славнобубенск отыскивать свои права, и все на пути живущее сдается и покоряется храброй Драчихе, а духовенство встречает ее со крестом и святою водою.

Таких-то необычайных и фантастических вестей и слухов был полон Славнобубенск, когда прикатили в него герои снежковского укрощения.

Губернатор тотчас же полетел к генералу, вице-губернатор туда же; первые вестовщики порядочного общества — прокурор де-Воляй и губернаторский чиновник Шписс, бросились к губернатору и, не застав его дома, махнули к Пшецыньскому; Корытников проскакал к губернскому предводителю князю Кейкулатову, князь Кейкулатов опять же таки к генералу; полицмейстер и председатель казенной палаты к Корытникову, градской голова к полицмейстеру; графиня де-Монтеспан к губернаторше, madame[12] Чапыжниковой, madame Ярыжниковой и madame Пруцко к графине де-Монтеспан; Фелисата Егоровна и Нина Францовна к madame Ярыжниковой и madame Чапыжниковой; г-жи Иванова, Петрова, Сидорова к Фелисате Егоровне и к Мине Францовне; разные товарищи председателей, члены палат секретари и прочие бросились кто куда, но более к Шписсу и де-Воляю, а де-Воляй со Шписсом ко всем вообще и в клуб в особенности.

Лихой полицмейстер Гнут (из отчаянных гусаров) на обычной паре впристяжку (известно, что порядочные полицмейстеры иначе никогда не ездят как только на паре впристяжку), словно угорелый, скакал сломя голову с Большой улицы на Московскую, с Московской на Дворянскую, с Дворянской на Покровскую, на Пречистенскую, на Воздвиженскую, так что на сей день не успел даже завернуть и в Кривой переулок, где обитала его Дульцинея.

Словом сказать — "пошла писать губерния!". Треск и грохот, езда и движение поднялись по городу такие, что могло бы показаться, будто все эти господа новый год справляют вместо января да в апреле.

Какое широкое, блестящее поле открылось monsieur Корытникову и Болеславу Храброму для самых героических рассказов! Каждый из них, наперерыв друг перед другом, старался везде и повсюду втиснуть прежде всего свое собственное я, я и я. Зуд любопытства, с каким их слушали, доходил до своего рода чесотки. Болеслав Храбрый, впрочем, прохаживался более все насчет истощения всех мер кротости и вселения благоразумия, причем ни голос совести, ни слово религии, и прочее, и прочее, что уже давно известно читателю. Зато monsieur Корытников, в своем пестром галстухе и щегольском Шармеровском пиджаке, являл из себя истинного героя. Он повествовал (преимущественно нежному полу) о том, как один и ничем не вооруженный смело входил в разъяренную и жаждущую огня и крови толпу мятежников, как один своей бесстрашною грудью боролся противу нескольких тысяч зверей, которые не испугались даже и других боевых залпов батальона, а он одним своим взглядом и словом, одним присутствием духа сделал то, что толпа не осмелилась его и пальцем тронуть.

— Конечно, — прибавлял Корытников, — я знал, что иду почти на верную смерть, я понимал всю страшную опасность своего положения; но я шел… я шел… puisque la noblesse oblige…[13] Это был мой долг.

— Ну и что ж? — чуть не задыхаясь, вопрошали его.

— Ну, и ничего, comme vous voyez![14] Но, знаете ли, как бы ни была раздражена толпа, на нее всегда действует, и эдак магически действует, если против нее и даже, так сказать, в сердце ее появляется человек с неустрашимым присутствием духа… Это покоряет.

Короче сказать, выходило что monsieur Корытников чуть ли не один, своей собственной персоной, усмирил все восстание. Нежный пол и без того питал элегантную слабость к его Шармеровским пиджакам, а теперь стал питать ее еще более, по поводу неустрашимости. Monsieur Корытников в глазах нежного пола сделался героем. Нельзя сказать однако, чтоб и в своих собственных глазах он не был бы тем же. И только один раз смешался и сконфузился он, когда кто-то сообщил ему, что в его отсутствие по Славнобубенску пошли было слухи, будто крестьяне снежковские его немножко тово… розгами посекли. Но покраснев, он с негодованием отвергнул такое невероятное предположение, и даже сам потом, при встречах и разговорах, всем и каждому, в виде предупреждения, торопился высказать:

— Представьте себе! On parle qu'on m'a rossé!.. Qu'on m'a rossé!..[15] Слыхали ли вы об этом?

К вечеру весь город уже знал, приблизительно в чертах, более или менее верных, всю историю печальных снежковских событий, которых безотносительно правдивый смысл затемняли лишь несколько рассказы Пшецыньского да Корытникова, где один все продолжал истощать меры кротости, а другой пленял сердца героизмом собственной неустрашимости.

Общество Славнобубенска разделилось на две партии. Одна, к которой принадлежали весь высший административный мир и несколько крупных дворян, поздравляла водворителей порядка и готовила несколько оваций. Другую партию составляли, в некотором роде, плебеи: два-три молодые, средней руки, помещика, кое-кто из учителей гимназии, кое-кто из офицеров да чиновников, и эта партия оваций не готовила, но чутко выжидала, когда первая партия начнет их, чтобы заявить свой противовес, как вдруг генерал с его адъютантом неожиданно был вызван телеграммой в Петербург, и по Славнобубенску пошли слухи, что на место его едет кто-то новый, дабы всетщательнейше расследовать дело крестьянских волнений и вообще общественного настроения целого края. Обе партии остановились в нерешительности ожидания.

V. En petit comité[16]

И вот, в один прекрасный день, славнобубенский губернатор, действительный статский советник и кавалер Непомук Анастасьевич Гржиб-Загржимбайло, что называется, en petit comité, кормил обедом новоприбывшего весьма важного гостя. Этим гостем была именно та самая особа, которая, по заранее еще ходившим славнобубенским слухам, весьма спешно прибыла в город для расследования снежковского дела и для наблюдения за общественным настроением умов.

Барон Икс-фон-Саксен казался особой вполне блистательной и являл из себя перетянутую в рюмочку смесь петербургского haute volée[17] дендизма и государственной мудрости. Он старался казаться человеком, которому наиближайшим и самым доверенным образом известны все высшие планы, предначертания, намерения и решения, который "все знает", потому что посвящен во все государственные и политические тайны первейшей важности, но

знает их про себя, и только порою, как бы вскользь и ненароком дает чувствовать, что ему известно и что он может… И вместе с тем барон так мил, так любезен, так галантен, так изящен, барон в дамском обществе осторожно и с таким тактом дает чувствовать, что он тоже большой руки folichon,[18] пред которым тают и покоряются сердца женские…

Очаровательная и обольстительная madame Гржиб (она по всей губернии так уж известна была за очаровательную и обольстительную) казалась в этот день, перед петербургским светилом, еще очаровательней и еще обольстительней — если только это было возможно. Madame la generale[19] все скучала по Петербургу; провинциальная жизнь и губернская скука расстраивали ей нервы и причиняли страдание, которое она называла «тиком». Ей только и оставалось одно развлечение это — музыка и "ея бедные": и бедных, и музыку она очень любила; но теперь madame Гржиб так рада, в таком восторге, в таком восхищении, что приехал из Петербурга блистательный барон Икс-фон-Саксен, с которым можно сказать "человеческое слово".

Сам monsieur Гржиб всетщательнейше старался показаться наилюбезнейшим хозяином, опытнейшим и твердым администратором и наидобрейшим человеком, у которого душа и сердце все превозмогают, кроме служебного долга. Притом же повар у него был отличный, выписанный из московского английского клуба, а купец Санин поставлял ему самые тонкие вина и превосходные сыры и сигары.

Остальными членами этого petit comité были: губернаторский чиновник по особым поручениям, маленький черненький Шписс (вероятнее всего из могилевеких жидков) и губернский прокурор Анатоль де-Воляй — прелестный молодой правовед, славнобубенский лев и денди, который пленял сердца своим высоким тенором и ежедневно свежими перчатками. Всегда усердно преданный Шписс и пленительный Анатоль составляли высший цвет славнобубенекой молодежи административно-аристократического мира и состояли неизменными членами и адъютантами гостиной madame Гржиб-Загржимбайло.

Итак, если взвесить все эти ингредиенты, в виде Шписса, Анатоля, сыров и сигар, вин, повара, любезности хозяина и очаровательности самой хозяйки, входившие в состав совокупного угощения, то нет ничего мудреного, что блистательный гость, барон Икс-фон-Саксен, чувствовал себя в самом благодушнейшем настроении и расположен был питать и к Шписсу с Анатолем, и к Непомуку Анастасьевичу, и тем паче к самой прелестнейшей Констанции Александровне самые нежные, благоуханные чувствования.

Обед был кончен, и общество перешло в гостиную, меблированную, как и все губернаторские гостиные, или что одно и то же — как и все губернаторские дома, где мебель и вся принадлежность, заведенные на казенный счет лет сорок тому назад, всецело переходят по наследству от одного губернатора к другому. Но в этой меблировке, само собою разумеется, все явно било на известного рода представительность. Гостиная даже была не без комфорта. Все общество уселось вокруг камина, куда были принесены и поставлены на маленьких столиках кофе и различные ликеры.

Madame Гржиб, полнокровно-огненная и роскошная брюнетка, постоянно желала изображать из себя создание в высшей степени нервное, идеально-тонкое, эфирное и потому за столом кушала очень мало. Это, между прочим, она делала для того, чтобы не портить своего голоса, который и Анатоль со Шписсом, и весь элегантный мир Славнобубенска находили безусловно прекрасным, а в данную минуту Констанция Александровна намеревалась еще произвести своим пением решительный эффект перед блистательным гостем.

Между Шписсом, Анатолем и самою генеральшей уже успело образоваться нечто вроде

маленького заговора. Ее превосходительство желала, чтобы дорогой и блистательный гость унес с собою самое приятное воспоминание о своем пребывании в Славнобубенске, и потому они сразу проектировали в будущем — загородный пикник на картинном берегу Волги, два вечера, один бал и «благотворительный» спектакль с живыми картинами в пользу "наших бедных", в котором должны были принять участие исключительно только благородные любители. Сама Константция Александровна предназначала для себя главные две роли: одну в тургеневской «Провинциалке», где прелестный Анатоль должен был изображать графа; другую — роль Татьяны в оперетке "Москаль Чарывник", ибо тут madame Гржиб могла показать всю силу и гибкость своего очаровательного голоса. Черненький Шписс поспешно вызвался при этом сыграть подьячего Финтика. Что касается до живых картин, то тут madame Гржиб должна была появиться, во-первых, в виде "молодого грека с ружьем", потом "царицей ночи" и наконец полупрозрачною "Вакханкой у ручья". Словом сказать, блистательный барон должен бы был уехать из Славнобубенска не иначе как вконец очарованным.

Послеобеденным разговором почти безраздельно владел дорогой гость. Губернаторша только задавала вопросы, прилично ахала, вставляла сожаления о своей собственной славнобубенской жизни и оживленно восхищалась рассказами барона, когда тот, в несколько небрежном тоне, повествовал о последней великосветской сплетне, о придворных новостях, о Кальцоляри и Девериа, да о последнем фарсе на Михайловской сцене.

Вдруг вошел дежурный жандарм, неизменно пребывающий в губернаторской прихожей, и подал губернатору пакет: "стахета вашему превосходительству".

Непомук, для показания возможной быстроты в делах службы, не терпящих вообще ни малейшего отлагательства, очень спешно сорвал печать и, многозначительно нахмурив брови, принялся за чтение. Едва добежав глазами до половины бумаги, он засопел и всполошился.

— Боже мой! Опять!.. Опять бунт!.. Мятеж... восстание!.. И это у меня!.. У меня! в моей губернии!.. Второй бунт!.. Вот до чего уже дошло!.. Вот они, плоды... — говорил он с видом встревоженного Зевеса, но дошел до «плодов» и запнулся, ибо спохватился, что новоприбывший гость взирает на эти «плоды» со стороны самой либеральной.

Между тем барон, не подымаясь даже с кресел, лениво протянул к нему руку за бумагой и, не выпуская из зубов сигары, стал читать самым спокойным образом.

Это была эстафета от полковника Пшецыньского, который объяснял, что, вследствие возникших недоразумений и волнений между крестьянами деревни Пчелихи и села Коршаны, невзирая на недавний пример энергического укрощения в селе Высокие Снежки, он, Пшецыньский, немедленно, по получении совместного с губернатором донесения местной власти о сем происшествии, самолично отправился на место и убедился в довольно широких размерах новых беспорядков, причем с его стороны истощены уже все меры кротости, приложены все старания вселить благоразумие, но ни голос совести, ни внушения власти, ни слова святой религии на мятежных Пчелихинских и Коршанских крестьян не оказывают достодолжного воздействия, — "а посему, — писал он, — ощущается необходимая и настоятельнейшая надобность в немедленной присылке военной силы; иначе невозможно будет через день уже поручиться за спокойствие и безопасность целого края".

Окончив чтение, барон умеренно рассмеялся в том роде, как смеются взрослые над детскими страхами.

— Ха, ха, ха! — изящно смеялся он, немножко в нос и немножко сквозь зубы, как только и умеют смеяться после обеда одни высокоблаговоспитанные люди. — Бунт, восстание!.. ха, ха,

ха!.. Этот полковник, должно быть, большой руки трус… Зачем он там?.. Да и вообще, скажите мне, что это? Я давеча не успел хорошенько расспросить у вас.

— Да помилуйте, барон, — горячо начал Непомук, как бы слегка оправдываясь в чем-то, — третьего дня мы получили от тамошнего исправника донесение, что, по дошедшим до него слухам, крестьяне этих деревень толкуют между собой и о подложной воле, — ну, полковник тотчас же и поехал туда… дали знать предводителю… исправник тоже отправился на место… а теперь вдруг — опять бунт, опять восстание!..

— Ха, ха, ха! — в том же тоне продолжал гость. — И сейчас уже войско!.. И к чему тут войско?.. будто нельзя и без войска делать эти вещи!.. Тут главное — нравственное влияние своей собственное личности, а не войско. Я уверен, что все это пустяки: просто-напросто мужички не поняли дела; ну, пошумели, покричали — их за это наказать, конечно, следует… внушить на будущее время, но зачем же войско!

— Ах, барон! Но ведь вы не знаете, — с фешенебельным прискорбием вмешалась генеральша, — вы не знаете, что это за народ! эта прислуга, например! Ну, на что уже я — губернаторша — и я даже несколько терплю от моей прислуги, и я не могу узнать ее за последние годы… Конечно, со мной они еще не очень уж забываются, но… вообще эта эмансипация их совсем разбаловала… Нет, на первых же порах надо, непременно надо показать им меры строгости, — иначе мы все небезопасны!

Барон только улыбнулся и рыцарски поклонился ей в ответ на эту тираду — дескать, сударыня, пока я здесь — можете почивать покойно.

Губернаторша поняла смысл этого поклона, — и гость был награжден за него улыбкой самого обворожительного свойства.

— Вообще я уверен, что все это пустяки, — авторитетно продолжал барон, — эти господа не умеют говорить с народом; я поеду туда… я покажу им… Помилуйте, как с какими-нибудь мужиками не управиться!.. ха, ха, ха!..

— Comment!.. et vous aussi!..[20] Вы тоже хотите ехать туда? — не без страшливого участия расширила на него глаза генеральша.

— Непременно… и даже сегодня… Мой долг — быть там! — немножко рисуясь, ответил барон, внутренно весьма довольный собою по двум причинам: во-первых, что успел отчасти заявить свою будущую неустрашимость, а во-вторых, тем, что возбудил участие и даже опасение за свою личность такой прелестной особы. В эту минуту он почувствовал себя, в некотором роде, героем.

— Так стало быть, вы, барон, полагаете, что войска посылать не следует? — совещательно обратился к нему Непомук, заранее изображая выражением своего лица полнейшее и беспрекословное согласие с мнением блистательного гостя.

Блистательный гость немножко призадумался. "А ну, как там и в самом деле черт знает какая кутерьма?" — мелькнуло у него в уме в это мгновение.

— Мм… нет, уж надобно послать, — ответил он совершенно равнодушным тоном. — Потому — видите ли — этот полковник, вероятно, успел уже там и мужикам погрозиться войском… так, собственно, я полагаю, на всякий случай надо послать… для того единственно, чтобы в их глазах авторитет власти не падал.

Непомук вполне согласился с этим мнением.

"А так-то оно все как будто ненадежнее", — подумал про себя барон фон-Саксен и через несколько времени откланялся губернаторше, пожелавшей ему всяких успехов, и удалился сделать некоторые распоряжения к предстоящему отъезду, как нельзя более довольный собою и даже полный мечтами о предстоящих гражданских подвигах.

В этот вечер он решительно казался самому себе героем.

Губернаторша втайне была о нем того же мнения.

Сам Непомук никакого мнения не выразил, но Шписс вместе с прелестным Анатолем помчались по всему городу и потом в клуб рассказывать интересные новости о том, как они обедали нынче у губернатора вместе с бароном Икс-фон-Саксен, и что при этом говорил барон, и что они ему говорили, и как он отправился в Пчелиху самолично укрощать крестьянское восстание, и что вообще барон это — un charmant homme,[21] и что они от него в восторге.

Весь город Славнобубенск необыкновенно интересовался новоприезжим блистательным гостем. Про него уже кое-где начинали даже ходить своеобразно-фантастические легенды. Однако же, увы! барону не удалось ни в Пчелихе, ни в соседних с нею Коршанах проявить свое гражданское мужество. Прискакав на место, он, вопреки своим ожиданиям, не нашел ни площади, залитой массами народа, ни яростных воплей мятежа, ни кольев, ни дубин с топорами: мужики самым обыденным порядком справлялись у себя, по своим дворам, около домашнего обихода, и ничто ни малейшим образом не подавало намека на то, о чем столь красноречиво извещало донесение. Барона это озадачило. Он застал еще на месте исправника и полковника Пшецыньского, который с кисловатой физиономией собирался, подобру-поздорову, уезжать восвояси.

Дело было таким образом: между крестьянами Пчелихи и Коршань, действительно ходили темные слухи о подложной воле, о грамоте "за золотою строчкою". Бдительное начальство тотчас же не упустило, конечно, заявить об этом. Приехал Пшецыньский, велел собрать на площадь всю деревню. Когда деревня была собрана, он энергически стал укрощать бунтовщиков, но бунтовщики, по обыкновению, за бунтовщиков себя не признали, и потому полковник прибегнул к укрощению еще более энергическому с помощью десятка казаков, которые, как известно, имеют обыкновение носить при себе нагайки. Мужики при этом самовольно разбежались по избам, вследствие чего полковник и послал эстафету с требованием военной силы. Мужики, проведавши об этом и вспомня кстати Высокие Снежки что называется, воем взвыли и послали к полковнику выборных со слезным прошением не губить их животишек. Полковник потребовал выдачи «зачинщиков». Мужики опять взвыли, потому что зачинщиков указать не могли по той довольно простой причине, что таковых и не было между ними. Кто же пустил слухи о золотой строчке? А Христос его ведает кто! Сказывали, будто в кабаке какой-то прохожий не то парень, не то дворовый человек по виду. А кто сказывал? Сказывал Гаврилка Косой да Степан Бурлаков. Подать сюда Косого и Степана Бурлакова! Они-то, значит, и есть первые распространители смутительных слухов! Подали Гаврилку со Степаном. Вы распространяли? Виновати, батюшка! В колодки их да в острог на следствие! Забили в колодки и отправили под конвоем, а в деревне все тихо и спокойно. Полковник не доверяет и ждет волнения, но о таковом и в помине нет. Полковник все-таки ждет, — волнение не приходит. Он начинает сердиться, потом приходит в некоторое уныние, физиономия его окисляется недовольством — и Болеслав Казимирович приказывает закладывать себе лошадей, как вдруг в эту минуту, нежданно-негаданно, приезжает блистательный барон Икс-фон-Саксен, в своем выразительном военном мундире. Полковник поражен, полковник озадачен, но все это длится не более минуты: вдохновение свыше осенило

его голову — и с сияющим лицом он почтительнейше докладывает его превосходительству, что сколь ни трудно было ему, Пшецыньскому, при усердном содействии местной власти, водворить порядок, тишину и спокойствие, но, наконец, меры кротости совокупно с увещанием св. религии воздействовали — и авторитет власти, стараниями их, восстановлен вполне. Барон остается очень доволен усердием и действиями местных властей и в особенности столь почтительного к его особе полковника и уезжает с твердым намерением исходатайствовать этому усердию достодолжную награду, в сладостной надежде на которую уезжает вслед за ним и Пшецыньский.

VI. Накануне тризны

— Monsieur Хвалынцев! Monsieur Хвалынцев! — закричал и замахал с дрожек monsieur Корытников, встретясь со студентом под вечер, на Дворянской улице.

Тот остановился.

Корытников спрыгнул к нему на тротуар.

— Не хотите ли участвовать? Подпишитесь-ка!

— В чем участвовать? На что подписаться прикажете?

— На обед. Мы, от всего нашего общества — ну, и администрация тоже — устраиваем обед в клубе, по подписке — пятнадцать рублей с персоны.

— Да ради чего же это?

— Mais comment[22] "ради чего"! Обед в честь барона фон-Саксена — понятное дело!

— Извините, monsieur Корытников, немножко не понимаю, — недоумевая, возразил Хвалынцев. — Зачем же это в честь барона?

— Ну-у! Voilà la question!..[23] Надо же выразить ему наше... Э-е... наше сочувствие... нашу признательность. Ведь целый край в опасности... Ваши собственные интересы: да и вы сами наконец, comme un membre de la noblesse,[24] можете пострадать, если бы не Саксен, — ведь почем знать, — все еще может случиться!..

— Да; но покамест-то он еще ровно ничего не сделал такого, за что мы могли бы заявлять нашу признательность: человек только что едва приехать успел.

— Ну, вот, как вы все понимаете! — чуть-чуть подфыркнул предводитель. — "Не сделал!" ну, все равно сделает! Это все равно. Так как же? Подпишетесь?

— Нет, уж увольте! — суховато поклонился Хвалынцев.

— Mais pourquoi pas?[25] — удивился Корытников.

— Да так. Я ведь не из крупных собственников, и, коли вы уж так хотите знать причину, для меня и пятнадцать рублей — деньги.

Предводитель не мог скрыть легкой, пренебрежительной и как бы сожалеющей усмешки.

— А жаль! — процедил он сквозь зубы. — Обед проектирован прекрасный, чтоб уж лицом в

грязь не ударить: и музыка, и спичи будут, и все такое…

— Ну, желаю вам приятного аппетита, — поклонился Хвалынцев и повернувшись пошел себе далее.

"Эге! так вот ты из каких гусей!" — с некоторой злобой оскорбления подумал ему вслед Корытников, в маленьком замешательстве прыгая на свою щегольскую эгоистку.

"И это предводитель!.. Этот пробковый манекен для Шармеровских костюмов!" — не без горечи подумал, в свою очередь, Хвалынцев.

— Ба!.. Приятель!.. Дружище!.. Какими судьбами? — растопырив объятия, загородил ему вдруг дорогу маленький плотный человек, плотно выстриженный под гребенку.

— Господи помилуй!.. Устинов!.. Да ты ли это? — радостно изумился Хвалынцев.

— Как видишь! Самолично, своей собственной персоной!.. Вот встреча-то!.. Ну, облобызаемся!

И приятели обнялись, и мягкие, немного влажные губы Устинова влепили три звонких поцелуища в розовые щеки Хвалынцева.

— Ты никуда теперь особенно не торопишься? — спросил Устинов.

— Ровнехонько никуда. Просто вышел себе пошататься.

— Ну, так — правое плечо вперед и — марш ко мне в мое логово! Испием сначала пива, по-старому, а потом потолкуем. Повествуй мне, как, что, почему и зачем и давно ли ты здесь?

— Можно! — согласился Хвалынцев. — Да скажи, пожалуйста, какими ты-то судьбами?

— Э! ангел мой! Я уже тут около года — прямо с университетской скамейки. Учительствую, славнобубенское юношество математикой просвещаю. Славные, черт возьми, ребята! Да, кстати! — ударил он себя по лбу. — Ты ведь, конечно, с нами завтра?

— То-есть где это с вами? Когда?

— Да разве не слышал? Завтра, в четыре часа, после вечерни, у Покрова панихида служится по убитым в Снежках.

— А! да? Но что ж это только теперь хватились?

— Не знаю доподлинно, — так уж вышло. Будут гимназии, семинарии, из офицерства кое-кто и еще кое-кто из порядочных людей… Там будешь?

— Конечно, да! — с охотой подтвердил Хвалынцев. — А ты слышал? завтра обед в клубе.

Устинов кивнул головой.

— А ведь в Питере, пожалуй, и в самом деле, подумают, что здесь и невесть какие красные страсти были, особенно как распишут-то! — Через минуту примолвил он в грустном раздумьи: — Ведь этого мужика нашего там-то теперь, гляди, хуже чем поляка в стары годы почитать станут!

VII. Панихида

На другой день, в четвертом часу пополудни, в городе было значительное движение, особенно по Большой и Покровской улицам. И там, и здесь катились экипажи, сновали извозчичьи пролетки и безобразные дроги, на которых вмещалось по три и по четыре человека седоков. Дамы, не имеющие счастья принадлежать к сливкам славнобубенского общества, но тем не менее сгорающие желанием узреть интересного барона Икс-фон-Саксена, несмотря на весеннюю слякоть, прогуливались по Большой улице, вместе со своими кавалерами, роль которых исполняли по преимуществу господа офицеры Инфляндманландского пехотного полка, вконец затершие господ офицеров батальона внутренней стражи.

День был солнечный, весенне-яркий. Воробьи на голых прутьях да по заборам вертелись и трещали самым задорным образом. Мутные ручьи бежали по улицам. Капель звонко падала с крыш на шапки да на носы прохожему люду. Извозчичьи пролетки и «собственные» экипажи, представительно гремя по камням мостовой, обнажающимся из-под ледяной коры, останавливались перед дверьми разных магазинов, по преимуществу у первого в городе парикмахера-француза, да у единственного перчаточника, и потом, иногда, на минутку, подкатывали к клубному подъезду. Простые же, несуразные дроги направлялись более все на Покровскую улицу. Туда же торопились и пешеходы, между которыми мелькали красные околыши гимназических фуражек и шинели семинаристов.

Двери Покровской церкви были открыты. Кучка народу из разряда «публики» стояла на паперти. Частный пристав уже раза четыре успел как-то озабоченно прокатиться мимо церкви на своих кругленьких, сытых вяточках. Вот взошли на паперть и затерялись в «публике» три-четыре личности, как будто переодетые не в свои костюмы. Вот на щегольской пролетке подкатил маленький черненький Шписс, а через несколько времени показался в церкви и прелестный Анатоль де-Воляй.

Кучка «публики», ожидавшая на паперти, понемногу прибавлялась. В середине стоял высокого роста господин, в синих очках и войлочной, нарочно смятой шляпе, из-под которой в беспорядке падали ему на плечи длинные, густые, курчавые и вдобавок нечесаные волосы. Клинообразная, темно-русая борода как нельзя более гармонировала с прической, и весь костюм его являл собою несколько странное смешение: поверх красной кумачовой рубахи-косоворотки на нем было надето драповое пальто, сшитое некогда с очевидной претензией на моду; широкие триковые панталоны, покроем à la zouave[26] небрежно засунуты в голенища смазных сапог; в руке его красовалась толстая суковатая дубинка, из породы тех, которые выделываются в городе Козьмодемьянске.

Подле него, как моська перед слоном, вертелся, юлил, хлопотал и суетился крошечный, подслеповатый блондинчик, с жидкими, слабыми волосенками и мизерной щепотью какой-то скудной растительности на подбородке. Это маленькая тщедушная юла была то, что называется, золотушный пискунок и принадлежала к породе дохленьких. Пискунок состоял чем-то вроде добровольного адъютанта или ординарца при особе своего плечистого соседа в кумачовой рубахе и в разговорах относился к нему с приятельским почтением. Остальные члены этой кучки составляли народ, более или менее знакомый и между собою, и с двумя изображенными господами.

— Что ж это плохо собираются! — суетливо пищал дохленький блондинчик, — то обращаясь к окружающим, то на цыпочках устремляя взгляд вдаль по улице. — Ай-ай, господа, как же это так!.. *Наши* еще не все налицо... Пожалуйста же, господа, смотрите, чтобы все так, как условлено!.. Господа!.. господа! после панихиды- чур! не расходиться!.. Пожалуйста, каждый из вас пустите в публике слух, чтобы по окончании все сюда, на паперть: Ардальон

Михайлович слово будет говорить.

При этом блондинчик самодовольно, однако не без почтительности, искоса бросил взгляд на кумачовую рубашку.

— А какое слово-то! — на ухо обратился он к одному из кучки. — То есть я тебе скажу — огонь!.. огонь!.. Экая голова-то!..

— Анцыфров! — окликнул Ардальон Михайлович своего адъютантика, который тотчас же подбежал к нему с таким видом, что необыкновенно живо напомнил собою кобелька, виляющего закорюченным хвостиком. — Ты что это, болван, болтаешь-то там!.. Не можешь на полчаса подержать за зубами!..

— А… я, Ардальон Михайлович… ведь свои же — надобно, чтобы знали… да я, впрочем, что же… я, в сущности, ничего, — оправдывался дохленький.

— Ну, то-то!.. Ты гляди у меня!.. А вот что скверно, — значительно понизил он тон, — серого-то народу почти совсем нет, чуек-то этих мало.

— Мало, Ардальоша, мало! — пожав плечами, вздохнул Анцыфров. — А для виду-то, для представительности не мешало бы…

— Так ты чего же спал-то! Ведь говорил вчера, чтобы по кабакам, да по харчевням…

— Да я, Ардальоша… упрекнуть ты меня, кажись, не можешь! Я не то что по харчевням, я и по базару пошатался.

— Пошатался! — передразнил его собеседник. — Слизняк ты, братец, вот что! — добавил он ему с весьма откровенным и презрительным пренебрежением.

Анцыфров как-то неловко помялся да искательно ухмыльнулся в ответ на эту выходку, но не возразил ни слова.

В эту минуту мимо церкви проходили два какие-то зипуна.

Ординарчик, словно пущенный волчок, мигом сбежал к ним со ступеней и остановил обоих.

— Братцы! — обратился он к ним. — Зайдите в церковь!.. Помолимтесь вместе!

Те удивленно оглядели его с головы до ног.

— Помолимтесь!.. за своих… за наших, за родных братьев! продолжал меж тем дохленький.

— За каких те братьев? — спросил его зипун.

— Слыхали про Высокие Снежки? как в Снежках генералы в мужиков стреляли? Так вот, по убитым теперь панихиду правим… Зайдите, братцы!

— Панафиду?.. Нашто же это панафиду?

— Как на что! Ведь Христовы мученики, братцы! Помолимтесь за упокой… Ведь это братья ваши!

— Да мы не снежковские — мы с Чурилова погоста, возразил другой зипун. — Нам-то что!

— Все равно, братцы!.. Все мы — христиане, все в Бога веруем... все по Христу-то ведь братья! — приставал меж тем блондинчик. — Сегодня генералы в снежковских стреляли, — завтра в вас стрелять будут, — это все равно!

— В на-ас? — недоумело ухмыльнулся мужик и снова оглядел с головы до ног Анцыфрова. — Что ты, шалый, что ли!.. Пойдем, Митряй; что толковать-то! — кивнул он своему спутнику. — Пусти, барин, недосуг нам.

И мужики прошли мимо ардальоновского ординарчика, который стоял словно не солоно похлебавши и наконец медленно стал подыматься на паперть.

— Вот, сам видишь! — как бы оправдываясь, тихо обратился он к Ардальону. — Нейдут, а отчего — черт их знает!

— Оттого, что ты дурак! — с неудовольствием перекосив брови, буркнул тот ему под нос.

— Ну вот, и всегда так... — обиженно пробормотал в сторону ординарчик, разведя руками.

Подошло еще несколько публики и между прочим две-три молодые дамы, да три-четыре девицы, из которых половина была с остриженными волосами — прическа, начинавшая в то время сильно входить в употребление в кружках известного рода.

— Здравствуйте, Анцыфров!.. Полояров, здравствуйте! — обратилась одна из них к ординарцу и его патрону, протягивая обоим руку.

Полояров оглядел ее, но не поклонился и руки не подал.

— Полояров! я вам кланяюсь, я вам руку протягиваю, — не видите, что ли? Или не узнали? — широко улыбаясь, заметила ему девица.

— Нет, вижу-с и узнал-с, — возразил Ардальон. — А руки не подаю — потому терпеть не могу этих барских замашек! На кой вы черт перчатки-то напялили? аристократизмом, что ли, поразить нас вздумали? ась?

Девушка немножко сконфузилась и торопливо сдернула свои свеженькие перчатки.

— Ну, вот теперь статья иная! Давайте сюда вашу лапу! — менторски-одобрительным тоном похвалил Ардальон и крепко потряс руку девушки.

— Да что ж это богомокрицы эти нейдут панихиду козлогласовать-то нам! — обратился он к окружающим, видимо желая порисоваться и щегольнуть пикантностью своей последней фразы, впрочем целиком почерпнутой из «Колокола». — Анцыфров! слетай за ними, пригласи, что пора, мол! — публика собралась и ждет спектакля.

Анцыфров полетел за священниками.

— Послушайте, Полояров, я сейчас заглянула в церковь, — обратилась к Ардальону та самая девица, которой он сделал выговор по поводу перчаток, — вы говорили вчера, что в этом примет участие народ — там почти никого нет из мужиков?

— Ну, так что же-е? — хмуро повел брови Полояров. — Да ведь это... как хотите — совсем не то выходит.

— А по-вашему, что же?.. Вы-то собственно чего же хотели бы?

— Да я… я было думала… я уверена была, что все это дело народное.

— Вы, Лубянская, все глупости думаете!.. Когда я вас отучу от этого?.. Народ! Да разве мы с вами не народ?

— Но я думала, что мужики…

— "Мужики! Мужики!" — что такое "мужики"?.. Мужики — это вздор! Никаких тут мужиков нам и не надобно. Главная штука в том, — значительно понизил он голос, наклоняясь к лицу молодой девушки, — чтобы демонстрацию сделать… демонстрацию правительству — поймите вы это, сахарная голова!

— Но если бы с нами и мужики…

— Если бы да ежели бы, так и люди-то не жили бы! — перебил ее Полояров. — Слыхали вы про это, аль нет? Однако, пойдемте в церковь — вон уж и козлы спешат, рубли себе чуют, — прибавил он, кивнув на приближавшегося священника с дьяконом, вслед за которыми, перепрыгивая по грязи с камушка на камушек, поспешала и маленькая фигурка Анцыфрова.

И вот, минут через пять после этого, священник с дьяконом вышли из алтаря, в черных ризах, и начали панихиду. На двух клиросах помещались хоры, составившиеся тут же из публики. На правом пели преимущественно взрослые воспитанники семинарии; на левом — кое-кто из учителей, офицеров, гимназистов, чиновников. Между присутствующими виднелось несколько чуек, сермяг и полушубков, но очень и очень немного, да и то в число их же приходилось включить и тех трех-четырех господ, которые явились сюда переодетыми в чужие костюмы.

— Эх, черт возьми! досадно! — бурчал себе сквозь зубы Ардальон, поглядывая на это скудное количество субъектов, долженствовавших изображать собою простой "народ". — Ослы! илоты!" Ничем не прошибешь их!..Рассея-матушка!

"Но… ничего: благо, и эти-то есть! — успокоительно подумал он. — Все-таки отпишем, что церковь-де была полна народом, — а там поди, поверяй нас!.. Штука-то все-таки сделана, и штука хорошая!"

Мерцание восковых свечек в руках присутствующих как-то странно мешалось с яркими лучами солнца, которые врывались за решетку церковных окон и радужно позлащали ароматные струи ладана.

Хвалынцев с Устиновым стояли, прислонясь к стене, а рядом с ними стала старушка и молоденькая девушка, при появлении которых учитель молча отвесил почтительный поклон. Обе были одеты в черное. Лицо этой девушки невольно остановило на себе внимание Хвалынцева. Нельзя сказать, чтобы оно кидалось в глаза своей красотой, — далеко нет; но в нем было нечто такое, что всегда заставило бы человека мыслящего, психолога, поэта, художника, из тысячи женских лиц остановить внимание именно на этом. Живая душа в нем сказывалась, честная мысль сквозилась, хороший человек чувствовался — человек, который не продаст, не выдаст, который если полюбит, так уж хорошо полюбит — всею волею, всею мыслью, всем желанием своим; человек, который смотрит прямо в глаза людям, не задумывается отрезать им напрямик горькую правду, и сам способен столь же твердо выслушать от люден истину еще горчайшую. Знакомы ли вам тонкие, нежные черты белокурых женских лиц, в которых, несмотря на эту тонкость и в высшей степени женственную нежность, чуется здоровая мысль, характер твердый, настойчивый и сила воли энергическая? Таково именно было лицо этой молодой девушки. На вид ей казалось лет семнадцать, но она была

старше: ей пошел уже двадцатый год. При небольшом росте, маленькая изящная фигурка ее отличалась гибкою стройностью. Лицо было бледно, с легким, чуть-чуть сквозящимся румянцем; на висках тонкие жилки голубели; но что придавало этому лицу особенную прелесть — это бархатно-густые, темные, длинные ресницы над выразительно-большими глазами. Когда она задумчиво опускала веки, ресницы ее кидали тень, придавая какую-то таинственную глубину взору.

Стояла эта девушка, облитая веселым солнцем, которое удивительно золотило ее светло-русые волосы, — стояла тихо, благоговейно, и на лице у нее чуть заметно мелькал оттенок мысли и чувства горького, грустного: она хорошо знала, по ком правится эта панихида... Лицо ее спутницы-старушки тоже было честное и доброе.

Хвалынцев во время службы несколько раз останавливал глаза на обоих; но лицо девушки тянуло к себе его взоры более и чаще. Раза два их взоры скрестились и встретились — и чувствовал он, что выходит это невольно, как-то само собою.

Девица Лубянская и с нею две ее стриженые подруги стояли рядом с Полояровым и о чем-то все хихикали да перешептывались между собою. Немало утешал их дохленький Анцыфров, который все время старался корчить умильные гримасы, так, чтобы это выходило посмешнее, и представлялся усердно молящимся человеком: он то охал и вздыхал, то потрясал головою, то бил себя кулаками в грудь, то простирался ниц и вообще желал щегольнуть перед соседними гимназистами и барышнями своим независимым отношением к делу религии и церковной службы. Поэтому, проделывая все свои штуки, он после каждого пассажика искал себе глазами по сторонам одобрительных, поощряющих взглядов, и в таковых недостатка не было.

Полояров тоже ощутил в себе некоторое присутствие веселого настроения и все задувал свечку соседки своей Лубянской, а та поминутно ее зажигала и, наконец, в отместку стала задувать и его свечку. Вообще, в этой группе то и дело раздавалось смешливое фырканье и довольно громкие, бесцеремонные разговоры. Несколько впереди их стоял частный пристав, катавшийся все время мимо церкви на своих вяточках и теперь нашедший нужным появиться в храм — "на случай могущих произойти беспорядков". У дверей торчали три-четыре полицейские солдата и помощник пристава, которые вошли сюда вместе со своим принципалом.

Частный уже неоднократно оборачивал взоры на хихикавшую группу, с выражением внушительной строгости, но его Юпитеровские взгляды возбуждали еще более веселость компании. А эта веселость поддерживалась немало также и тем обстоятельством, что несколько школьников сбрызгивали капли талого воска на спину не догадывающегося об этом блюстителя порядка.

— Эх, господа гимназисты стоят-то позади его, — сказал Полояров тихо, но так, что близ стоявшие мальчики очень хорошо могли его слышать. — Что бы догадаться кому — стать бы эдак на коленки да словно бы невзначай и поджечь пальтишко, — вот бы комедия вышла!

Такая мысль не могла не прийтись по вкусу гимназистам, и потому исполнение ее нимало не замедлилось. Один шустрый мальчуган пробрался как раз к частному, стал совсем близко его и — точь-в-точь по рецепту Полоярова — опустясь с земным поклоном на колени, приблизил свечу свою к краю форменного пальто пристава. Толстый драп тотчас же задымился и распространил вокруг себя запах смрадной гари.

Частный озабоченно и недоумело поднял голову и, внюхиваясь, поводил впереди себя носом. Гимназисты фыркали в кулак, а компания Полоярова корчила серьезные мины и кусала губы, чтобы вконец не расхохотаться.

Вдруг подожженный частный обернулся и поймал школьника на месте: тотчас же он его цап за руку и кивнул своему помощнику. Но так как помощник не замечал начальничьего кивка, то частный самолично повел мальчугана из церкви.

Перетрусивший гимназист побледнел и упираючись забормотал какие-то извинения.

Двое из учителей, вместе с товарищами мальчугана, да кое с кем из публики засуетились.

— Господа!.. господа! — захлопотал и забегал маленький Анцыфров. — Полиция… полиция делает беспорядки, полиция первая, которая нарушает!.. Это наконец черт знает что!.. Этого нельзя позволить… Это самоуправство… Это возмутительно!..

В церкви поднялось заметное движение. Священник несколько раз оборачивался на публику, но тем не менее продолжал службу. Начинался уже некоторый скандал. Полояров стоял в стороне и с миной, которая красноречиво выражала все его великое, душевное негодование на полицейское самоуправство, молча и не двигаясь с места, наблюдал всю эту сцену — только рука его энергичнее сжимала суковатую палицу.

— Полояров!.. Полояров! — шептала Лубянская, дергая за рукав своего соседа. — Послушайте, ведь ему, пожалуй, плохо будет, — надо заступиться.

— Заступятся! — равнодушно, но с уверенностью ответил Ардальон Михайлович.

— Пойдемте вместе… все пойдемте… отнимемте его!

— Отнимут и без нас.

— Но глядите: его уже взяли полицейские… его уводят!

Действительно, двое городовых, поспешившие наконец на призыв частного, подхватили мальчугана за руки и всем своим наличным полицейским составом повели его вон из церкви, несмотря на осаждавшую их публику. Значительная кучка этой публики пошла вместе с ними считаться на воздух с частным приставом и выручать пойманного школьника.

— Полояров, подите и вы! Надо, чтобы вы заступились, — приставала меж тем Лубянская.

— Я-то? — отозвался Ардальон с тою снисходительною усмешкою, какою взрослые улыбаются маленьким детям. — Вы, Лубянская, говорю я вам, вечно одни только глупости болтаете! Ну черта ли я заступлюсь за него, коли там и без меня довольно! Мой голос пригодится еще сегодня же для более серьезного и полезного дела — сами знаете; так черта ли мне в пустяки путаться!

— Но что же теперь будет с ним, с бедненьким?

— Что?.. А ничего больше, что выпорят маленько, да и вся недолга!

— Но ведь это ужасно!

— Чего-с ужасно? Порка-то? Ничего! Это ихнему брату даже полезно иногда бывает. Нас ведь тоже посекали, бывало, — это ничего!.. Оно, знаете ли, эдакое спартанское воспитание, пожалуй, и не вредит: для будущего годится, потому- мальчишка после этого, гляди, озлобится больше, а это хорошо — злоба-то!

— Но ведь может быть и хуже: его могут исключить из гимназии.

— Ну и исключат — так что же? Эко горе!.. Коли есть башка на плечах, то и без гимназии пробьет себе путь, а нет башки — туда и дорога!

Между тем двое учителей да кое-кто из публики частью угрозами, частью просьбами и убеждениями успели-таки отратовать мальчугана у полиции и с торжеством привели его обратно в церковь.

Движение, возбужденное всем этим происшествием, затихло, угомонилось, и присутствующие довольно благообразно достояли до конца панихиды. Многие явились в эту церковь с чистым, сердечным желанием помянуть убиенных, и между ними были Устинов с Хвалынцевым, да та молодая девушка со старушкой, которые стояли рядом с ними. Многие пришли так себе, ни для чего, лишь бы поболтаться где-нибудь от безделья, подобно тому, как они идут в маскарад, или останавливаются поглазеть перед любой уличной сценой; многие прискакали для заявления модного либерализма; но чуть ли не большая часть пожаловала сюда с целями совсем посторонними, ради одной демонстрации, которую Полояров с Анцыфровым почитали в настоящих обстоятельствах делом самой первой необходимости.

Внимание молодой соседки Хвалынцева было слишком исключительно и серьезно приковано к церковной службе, так что она мало обратила его на скандальчик, происшедший по поводу подожженного пальто частного пристава.

Между тем пропели вечную память. Священник удалился в алтарь разоблачаться, а к соседке Хвалынцева, самым галантным образом, вдруг подлетел прелестный Анатоль де-Воляй и развязно раскланялся.

— Как, и вы тоже здесь? — подняла на него девушка свои непритворно изумленные взоры.

— А почему же бы нет? — отчасти самодовольно порисовался Анатоль.

— Да что вам здесь делать, monsieur де-Воляй.

— Mais, mademoiselle… mes simpaties… mes convictions,[27] - замялся чуточку правовед.

— Et monsieur a aussi des convictions?[28] — слегка улыбнулась девушка.

— Я человек своего поколения, — пожал плечами Анатоль, несколько сконфузясь от столь откровенного вопроса.

— А monsieur Шписс!.. ведь вы с ним, что называется, les inséparables…[29] Его тоже привлекли сюда симпатии и убеждения? — продолжала она все с той же легкой улыбкой, замечая, что ее вопросы начинают коробить прелестного правоведа.

— Шписс — сам по себе! — процедил тот сквозь зубы.

— По своей особой части, значит.

— То есть, как это по особой?.. Я знаю Шписса за порядочного человека, — вступился де-Воляй за своего приятеля.

— Oh, oui! un homme parfaitement comme il faut![30] Я в этом никогда не сомневалась, — подтвердила девушка. — Ну, а на обеде вы будете сегодня?

- Человеку сродно питать себя — заботиться о стомах, так сказать, — попытался Анатоль

вильнуть в сторону.

— Нет, я спрашиваю про клуб — на обеде в клубе?

— Буду, — нехотя отвечал он, свернув глаза куда-то в пространство.

— И тоже par la conviction?[31] — прищурясь, улыбнулась девушка.

— Н-нет, далеко не так… по… по… обязанности… та position…[32] это, как хотите, обязывает… Не могу же я! — неловко оправдывался вконец сконфуженный Анатоль, явно ища случая, как бы поскорее удрать отсюда, и проклиная себя внутренне за то, что дернула же его нелегкая подойти "к этой пьявке". - Mais… cependant il est temps de partir… Bonjour, mademoiselle! Je vous salue, madame![33] — торопливо откланялся он девушке и старушке и, спешными шажками, поскорей удрал вон из церкви, кивнув за собою по пути и черненькому Шписсу.

— Однако, высекли же вы его! — обратился к девушке Устинов.

— Ничего, тем вкуснее пообедает, — отвечала она и, протянув учителю свою маленькую изящную ручку, направилась к выходу.

— Кто это? — почтительным полушепотом спросил вслед ей Хвалынцев.

— Татьяна Николаевна Стрешнева, а старушка — тетка ее, — пояснил Устинов.

— Какое у нее славное лицо! — как бы про себя заметил студент, не отрывая глаз от стройной фигурки удалявшейся девушки.

— Одно слово: хороший человек она — вот что я скажу тебе, мой ангел! — заключил Устинов, и приятели тоже удалились.

* * *

На паперти, волнуясь до известной степени, стояла довольно значительная кучка публики, посреди которой, опершись на суковатую палицу, возвышалась фигура Полоярова. Пальто его было распахнуто и широко раскрывало на груди красную рубашку, шляпа надвинута на глаза, и вся физиономия, вся поза Ардальона выражала грозную решимость гражданского мужества.

Плюгавенький Анцыфров шнырял туда и сюда, протискиваясь между локтями и боками собравшейся публики, и все убеждал не расходиться.

Частного пристава уже не было. Он еще раньше поскакал к полицмейстеру.

Полояров выжидал минуту, когда и помощник отвернулся куда-то в сторону, оставя паперть в ведении только трех городовых.

— Зачем здесь полиция?! Долой полицию! — возвысил голос Ардальон, грозно стукнув палицей о каменный помост паперти. — Долой сбиров! к черту алгвазилов!

— Долой!.. долой полицию! к черту! Вон! — довольно дружно подхватили в кучке, но городовые продолжали себе стоять, как ни в чем не бывало, словно бы и не понимая, что эти возгласы, в некотором роде, до них касаются, и только время от времени флегматично замечали близстоявшим, чтобы те расходились — "потому — нэможно! начальство нэ велыть!".

— Господа! — снова возвысил голос Полояров. — Господа! Я обращаюсь ко всем вам, ко всем честным людям, у которых наше рабство не вышибло еще совести! Выслушайте меня, господа!.. Немецко-татарский деспотизм петербургского царизма дошел до maximum своего давления. Дальше уже терпеть нельзя… невозможно — или надо задохнуться!

— Молодец! Не трусит!.. Вот это так! По-нашему! Открыто, гласно! — одобрительно отозвались ему в толпе слушателей.

Полояров с самодовольною гордостью обвел всех глазами и подбодрился еще более.

— Я говорю, господа, о факте… о тысяче вопиющих фактов, — начал было он снова, как вдруг, в эту самую минуту, лихо подкатила к паперти полицмейстерская пара впристяжку — и с пролетки спрыгнул экс-гусар Гнут вместе с жандармским адъютантом. Гремя по ступенькам своим саблями, спешно взбежали они на паперть и… красноречие Полоярова вдруг куда-то испарилось. Сам Полояров даже как будто стал немножко поменее ростом, и пальто его тоже как-то вдруг само собою застегнулось, сокрыв под собою красный кумач рубашки.

— Господа! покорнейше прошу расходиться! Этого нельзя-с! Это беспорядок! — резко авторитетным тоном закричал полицмейстер, направляясь прямо в толпу.

В кучке загалдели, задвигались, загомонились… Кто-то закричал по-петушиному, несколько человек свистнули и зашикали, многие рассмеялись, но в этом хохоте слышна была выделанная натяжка, нечто неискреннее и весьма принужденное.

Полицмейстер еще резче и строже повторил свой внушительный возглас. Значительная часть публики нерешительно и медленно стала расходиться.

— Господа!.. Не поддавайтесь!.. — Не поддавайтесь!.. то там, то здесь, позади других, подуськивал да подшептывал Анцыфров, стараясь однако же не быть замеченным.

В это время совершенно случайно проходил по улице взвод Инфляндманландского пехотного полка. Но стоявшей кучке не была известна эта случайность. Кто-то крикнул "войско идет!" — и это слово как-то жутко подействовало на многих: вскинули глаза вдоль улицы и, действительно, увидели несколько штыков. Анцыфров внимательно стал отыскивать глазами своего патрона и друга, но друг его, Полояров, неизвестно куда успел уже исчезнуть.

Через несколько минут церковная паперть, без всяких особых понуждений, уже очистилась, и полицмейстер с адъютантами укатили.

VIII. Генеральное кормление с музыкой и проч

Когда публика шла из церкви, к подъезду клуба подкатывали первые экипажи. Съезд только что начинался. Костюмированный швейцар, в чулках и треуголке, надетой по-генеральски, отдавал входящим честь своей булавою. Лестница была покрыта парадным красным сукном и уставлена цветами. Прислуга оканчивала последние приготовления. Метрдотель Кирилла, гладко выбритый и пузатый, сиял самодовольной гордостью и чувством сознания собственной важности и достоинства. Он индийским петухом прохаживался по всем комнатам в своем белом жилете "при цепочке", в белом галстуке и в белых нитяных перчатках, а два лакея следовали за ним сзади и на раскаленную плитку поливали амбре, дабы распространить повсюду подобающее благоухание. Дежурный старшина и распорядители обеда были все налицо и важно совещались около стола с hors-d'oeuvres.[34] Музыканты на одной стороне хор настраивали свои инструменты, а в газетной — советник губернского правления г.

Богоявисенский громко читал по бумажке свой будущий спич, который через час он должен будет произнести наизусть, по внезапному, так сказать, вдохновению и от полноты сердца. Теперь же наедине советник делал "последнюю репетичку". Хоры, противоположные той стороне, где поместились музыканты, начали понемногу наполняться дамами, между которыми были исключительно сливки да сметана славнобубенского mond'a.[35] Все взоры, надежды и ожидания славнобубенских матрон, сильфид и фей, и Диан, и весталок стремились к нему, к ожидаемому гостю, к интересному и блистательному герою этого празднества. Но пока — матроны и весталки созерцали только большие столы, составленные покоем (П), на которых сверкал граненый хрусталь, зеленели ветки цветущих камелий и возвышались серебряные вазы, пирамидки да корзинки с конфектами и фруктами, в ожидании коих некоторые лакомые матроны нарочно понадевали платья с карманами более глубокими.

Но вот зала все более и более наполняется гостями. С вышины хор движущиеся фраки кажутся чем-то вроде ползающих мух. Там и сям сверкает золото или серебро на густых и не густых эполетах, эффектно мелькают регалии — от смеющегося Станиславчика в петличке или медальки до какой-нибудь красавицы-звезды, целомудренно прячущейся за борт черного фрака. То и дело идут поклоны, рукожатия, причем дамы на хорах очень удобно могут наблюдать, сквозь свои лорнеты, прически и спины мужей и знакомых. Вот прическа с украшениями, вот гладкая, без украшений, вот благонамеренная, а там либерально взъерошенная; вот показалась и элегантно-парикмахерская куафюра прелестного Анатоля; и курчавенький Шписс мотает головкой; а вот блестят и лоснятся гладко вымытые лысины и плешины: одна сверкает, как бильярдный шар, другая молодой репе, а третья ноздреватому гречишному блину уподобляются. По зале идет какое-то сдержанное жужжанье разговоров, и по этому жужжанью видно, что все чего-то ожидают и все очень голодны.

Вот по гостям пробежали некий гул и движение: его превосходительство Непомук Анастасьевич прибыть изволил. Все бросаются к его превосходительству. Спины сгибаются, прически и лысины преклоняются, улыбки украшают уста, и некая светящаяся влага теплится во взорах. Его превосходительство любезно протягивает руку толстому откупщику, препрославленному по всей губернии своим либерализмом и патриотизмом, затем тучному градскому главе и вице-губернатору, затем советникам, председателям, разным товарищам и господам дворянам, однако же не всем без исключения. Остальной мир он обводит глазами и кланяется общим поклоном.

Новое движение между присутствующими; губернский предводитель князь Кейкулатов появился в зале. Непомук "наилюбезнейше и наипочтительнейше" приветствует князя; в свою очередь князь точно тем же платит Непомуку, — и оба довольны друг другом, и оба в душе несколько поругивают друг друга; тем не менее взаимное удовольствие написано на их лицах.

Утробы все более и более ощущают своего рода желудочную Sehnsucht[36] по вкусным яствиям и питьям, которые предлежат им вскоре. Непомук взглядывает на часы. Кажись, все уже в сборе? Дело стало за одним только дорогим гостем. — "Скоро ли же приедет! Хоть червячка заморить бы пока!" — начинают уже роптать почтенные гости, — но... неловко, неприлично и даже непочтительно морить червяка до появления светила. Однако, некоторые не выдержали и сбегали в буфет, где по секрету добыли-таки себе "по рюмчонке".

Но вот сугубо-зашевелились и приободрились гости, иные крякнули в руку, иные бакенбарды пригладили, иные жилетку подергали книзу. Желанная минута наступила. Светило еще только подкатывало к клубу, как особый вестовой, роль которого, ради пущего параду, возложена была на квартального надзирателя, оповестил об этом событии. Дежурный старшина махнул на хоры белым платком, от которого распространился крепкий запах пачули, — и оркестр торжественно грянул величественный полонез.

Блистательный барон Икс-фон-Саксен вошел в залу под аккомпанемент этой музыки. Он опоздал ровно на столько, на сколько требовали того приличие и, вместе с тем, выдержка собственного достоинства. Толпа гостей, с Непомуком и Кейкулатовым во главе, встретила его почти у самых дверей. Спины, лысины и прически тотчас же изобразили самое почтительное согбение, лики осветились сугубо радостными улыбками. Шписс и де-Воляй протискались вперед и держались поближе к кучке самых крупных губернских тузов, которым барон протягивал полную руку, и старались все время держаться на виду. Но… увы! барон — все как-то не замечал их. Физиономии двух достойных друзей начало уже кисло коробить и передергивать от опасения: а ну, как он вдруг, при всех-то, нам и не подаст руки? Самая сладостная улыбка неоднократно уже появлялась на их лицах, спины и головы неоднократно уже пытались сотворить почтительное согбение, и сами обладатели этих голов из сил выбивались улучить подходящую минутку, чтобы подвернуться под баронские взоры. Но взгляд барона совершенно равнодушно и мимолетно скользил по их физиономиям, словно бы по незнакомым, — и физиономии приятелей снова начинало передергивать: самолюбие их уязвлялось, — они ведь всему городу успели протрубить уши, что барон с ними знаком чуть не приятельски. Но, наконец, подвернулись-таки под глаза: фон-Саксен заметил их четвертый поклон и удостоил обоих легкого полупожатия. Лики инсепараблей просияли, самолюбие было спасено.

Не станем изображать читателю, как гости истребляли закуски, как приналегли они на желудочные, тминные, листовки и померанцевки, как задвигались и загремели стулья, с какими плотоядными улыбками расселись все на подобающее каждому место, как величественно священнодействовал у особого стола клубный метрдотель Кирилла, направляя во все концы столов ряды лакеев с многоразличными яствами, за коими в порядке следовали многоразличные пития, — скажем только одно, что барон сидел на самом почетном месте, между Непомуком и князем Кейкулатовым, и что сам Кирилла никому не пожелал уступить честь прислуживать этим трем лицам: редкий и высший знак почтения со стороны амбициозного Кириллы. Гости кушали и пили, пили и кушали, и снова кушали, и снова пили; все сие свершалось в достодолжном порядке, благочинно и вполне добросовестно, как и подобает благонамеренным гражданам, которые еще с утра специально воспитывали желудки к восприятию подобного обеда.

Был уже пир в полупире и хмель в полухмеле, как говорится в старых сказках. Губернатор и предводитель успели уже провозгласить все официальные тосты, на которые вся зала ответствовала «ура», а музыка громогласными тушами. Но вот поднялся с места советник губернского правления, г. Богоявисенский, обвел все общество маслено-заискивающими взорами, как бы прося себе снисходительного вниманиями наконец остановил эти взоры на блистательном госте, с какою-то сладостно-восторженною почтительностью. Он помещался как раз насупротив барона. Все общество встало, замолкло и навострило уши.

— Милостивые государи, — начал советник слегка дрогнувшим голосом, — в настоящее время, когда…

— И так далее! — подшепнул, на дальнем конце стола, одному из своих соседей, привилегированный губернский остряк и философ тучно упитанный и праздно проживающий, Подхалютин. Известно ведь, еще по традициям былого времени, что каждый губернский город необходимо должен иметь своего собственного, местного остряка и философа, который уж так полагается тут словно бы по штагу.

— В настоящее время, — продолжал меж тем оратор-советник, — когда Россия, в виду изумленной Европы, столь быстро стремится по пути прогресса, общественного развития и всестороннего гражданского преуспеяния, по пути равенства личных прав и как

индивидуальной, так и социальной свободы; когда каждый из нас, милостивые государи, чувствует себя живым атомом этого громадного тела, этой великой машины прогресса и цивилизации, — что необходимо… я хочу сказать — неизбежно должно соединять нас здесь, за этой дружественной трапезой, в одну братскую, любящуюся семью, — какое чувство, какая мысль должны руководить нами?

— Бр-р-р-рава! — вдруг одиноко рявкнул откуда-то подгулявший недоросль из богатых дворян.

Полицмейстер Гнут, изобразив на лице своем суровую строгость, смешанную с ужасом, и тихонько отставив стул, на осторожных цыпочках предупредительно направился в ту сторону, откуда раздалась эта неуместная "брава".

— Одно чувство, одна мысль, милостивые государи! — витийствовал меж тем оратор. — Любовь и польза, польза и труд и надежда на радостное созерцание будущих плодов его. Любовь к ближним и к общественному благу, труд на пользу общую — это-то и есть совокупляющее нас чувство и единящая нас мысль.

— Так! так!.. Браво!.. Превосходно!.. Слушайте, слушайте! — одобрительно пробежало из уст в уста по толпе состольников — и несколько смущенная доселе физиономия оратора облегчительно прояснилась.

— Мы знаем друг друга, милостивые государи! — снова полился поток обеденного спича. — Да! мы знаем себя; мы все воодушевлены лучшими стремлениями нашего прогрессивного времени. Мы пробудились от сна и бодро шествуем ныне вперед и вперед!

— Браво!.. Бр-р-р-ава!.. Тсс!.. слушайте, слушайте!

— Будем же стремиться к тому, чтобы поддерживать друг друга, каждый индивидуально и все вообще, на пути служения нашего пользе общественной и интересам гражданственным! Будем стремиться ко всестороннему развитию, будем ценить и по достоинству награждать труды и усердие каждого, и да присоединятся к ликованию нашему наши меньшие братья, наш добрый, русский, православный мужичок!

Глаза оратора, при сих последних словах, умаслились некоею сантиментальною, сахаристою влагою, а в том конце стола, где присутствовал остряк Подхалютин, как будто послышалось одно многозначительное, крякающее: "гм!"

— Но, милостивые государи, — выпрямился и от преизбытка чувства глубоко вздохнул оратор, — для того, чтобы мы могли бодро и стройно, подобно музыкальному чуду нашего века, называемому «органом», шествовать по пути развития, цивилизации и прогресса, что прежде всего необходимо нам, воспрошу я вас? Необходим нам неуклонный и бдительный надзор просвещенного начальства, необходим нам строгий и твердый порядок, дабы каждый из нас мог, так сказать, мирно сидеть под своею смоковницей, в вертограде той деятельности, к коей призван, и в лоне семейства своего вкушать скромные, но сладкие плоды своей гражданской деятельности. Без порядка орган лишится своей стройности. Нарушители мирного течения реки прогресса могут вредоносно воздействовать на все наши жизненные отправления, лишить нас дружества и братства, ввергнуть нас во все ужасы Франции конца XVIII столетия, подвергнуть опасности не только лоно семейств и домашних очагов наших, но и всю машину общественного строя, но и самую жизнь нашу, столь необходимую ныне для пользы всеобщего преуспеяния, и чрез то — страшно вымолвить! — рушить внезапно величественное здание цивилизации!.. Итак, милостивые государи, — торжественно подняв бокал и обтерев на лбу обильный и крупный пот, заключил оратор, — скажем наше доброе русское спасибо тому

доблестному мужу, который мощною рукою сумеет водворить порядок, тишину и спокойствие в нашей взволнованной местности, коей почти еще только вчера угрожала столь страшная опасность! Я торжественно подымаю мой признательный бокал и провозглашаю задушевный тост во здравие его превосходительства барона Адольфа Христиановича!

— Бр-р-раво-о!.. Ур-ра-а!.. Ура-а! Туш! туш! — загремело по зале. Двиганье стульев, крики, учащенное звяканье ножей и вилок о края тарелок и чокание бокалов смешались с громогласным треском труб и литавр. Некоторые чувствительные гости источали слезы умиления от усердного чоканья, шампанское выплескивалось за края бокалов, и многие фраки и жилеты были уже обильно облиты нектаром вдовы Клико. Упорный недоросль, не внимая увещаниям лихого Гнута, бил кулаком по столу и белугой ревел свое энергическое "бр-р-рава! Удружил!" и к этим двум восклицаниям пьяненько прибавлял еще: "бал-дар-рю! балдарю, советник!.. балдарю!.." Толпа состольников наперерыв стремилась удостоиться чести и удовольствия чокнуться с блистательным бароном, который горячо потрясал чрез стол руку красноречивого спикера, не упустившего, при виде протянутой к нему баронской длани, предварительно обтереть салфеткой свою собственную, чересчур уже запотелую (от усердия) руку. Непомук от полноты душевных чувств ничего не вымолвил, но чокнувшись и тоже пожав руку Саксена, только просопел очень выразительно. Князь Кейкулатов начал было в эдаком роде: "позвольте, мол, барон, и мне, как представителю, от лица благородного дворянства", но запнулся, смешался, улыбнулся и завершил неожиданным словом: "чокнемтесь!" Откупщик и патриот Верхохлебов неистово «биял» себя в грудь и восклицал: "Отчизна!.. Сыны! братцы! благодетели!.. Я ваш и вы мои!.. П-цалуемся!" Градской глава начинал уже придумывать, какое с него теперь «пожертвование» взлупят и какую медаль за это пожалуют, — "а что взлупят, так уж это безотменно". Много благодарностей, рукопожатий, чоканья и лобызаний досталось и на долю оратора. Один из первых подлетел к нему умиленный Болеслав Казимирович Пшецыньский.

— Благодару!.. благодару! — напирал он на советника с своим польским акцентом. — Особливо за то, что не забыли замолвить словечко о награждении за труды службы и усердие. Это, знаете, и генералу должно понравиться. Прекрасная речь! Высокая речь!.. И чувство, и стиль, и мысль, и все эдакое!.. Вы, пожалуйста, дайте мне ее списать для себя: в назидание будущим детям, потомкам моим оставлю!.. Благодару! благодару вам!

И полковник с чувством обнял спикера и облобызал его дважды, причем мокрые от вина полковничьи усы оставили свой влажный след на гладко выбритых, лоснящихся щеках советника.

Засим поднялся некоторый, впрочем еще довольно скромный и приличный, кавардак. Бокалы то и дело наливались и дополнялись. Губернатор снова предложил тост за дорогого гостя, а дорогой гость ответил тостом за здоровье почтенного, многоуважаемого, достойного и всеми любимого начальника губернии; начальник губернии — за здоровье князя Кейкулатова, князь Кейкулатов — за здоровье начальника губернии и опять-таки дорогого гостя; дорогой гость за князя Кейкулатова; Пшецыньский за Корытникова, Корытников за Пшецыньского; откупщик за голову, голова за откупщика; вице-губернатор за советников, советники за вице-губернатора; Шписс выпил за Анатоля, Анатоль за Шписса и потом каждый сам за себя. На конце стола какая-то кучка приятелей испивала за здоровье недоросля. Пили и многие другие здоровья: и за присутствующих, и за отсутствующих, и за прекрасный пол славнобубенский, и за того, кто любит кого, и за гражданственное преуспеяние, и за развитие кого-то и чего-то, и за прогресс нашего времени, и за цивилизацию, и наконец даже за здоровье клубного метрдотеля Кириллы. Словом, тут было широкое и раздольное поле для всяческих излияний и прочего благодушества, — душа выходила нараспашку. В одном конце стола кто-то предложил уж было составить и послать телеграмму. Мысль одобрена, но в исполнении своем остановилась за тем

лишь, что решительно никто не мог придумать, кому бы, в самом деле, и зачем, и о чем именно послать телеграмму? Другие предлагали изобразить все это торжество достойным образом во всех столичных газетах, а начать с губернских ведомостей, — и эта мысль тоже понравилась. Взоры многих уже начали с заимствующей надеждой ласково обращаться на красноречивого оратора. Третьи заявляли, что хорошо бы было адрес благодарственный или хоть признательный представить барону и основать в честь его какую-нибудь стипендию. Насчет стипендии дело пошло зажимисто и разыгралось более как-то в молчанку, потому что идет оно скорее по части именитого купечества да на счет откупщика и головы градского; а вот мысль об адресе признана весьма не дурною, и тем паче, что адрес — дело вполне современное и для кармана не убыточное. Анатоль де-Воляй соблазнительно подбивал уже добрую компанию отправиться с ним к какой-то Альбертинке, которая, по его уверениям, была просто "смак-женщина".

Наконец все власти, важности и почтенности встали из-за стола, и дело перешло в гостиные, по части кофе, чаю, сигар и ликеров. Но многие из публики остались еще за столом допивать шампанское, причем кучка около недоросля все увеличивалась. На хоры понесли корзинки и горки фруктов с конфектами да мороженое угощать матрон и весталок славнобубенских. Туда же направился своею ленивою, перевалистою походкою и губернский острослов Подхалютин. Он любил "поврать с бабами", и это было целью его экспедиции на хоры.

— Пелагея Ивановна, — обратился он с онику к одной отменно скупой, преклонных лет матроне, которая торопливо, но усердно старалась нахватать себе возможно более дарового угощения, — а, Пелагея Ивановна! Если у вас — сохрани Господи — карманы малы окажутся, так вы сделайте одолжение, без церемонии, все, что не влезет, мне препоручите: у меня просторно; а я доставлю вам всецело.

Матрона побагровела от злости и прошипела что-то невнятное, а острослов и философ остался весьма доволен тем, что успел взбесить матрону.

— Скажите, пожалуйста, — обратилась однако к нему матрона, успевшая уже через минуту оправиться и одуматься, — какими это судьбами вы-то — ведь вы у нас такой либерал, демократ, прогрессист — и вдруг на этом обеде!.. Ведь вы за мужиков всегда, на словах-то.

— А что ж? Я, сударыня, тризну, сиречь поминки справляю, — поклонился Подхалютин, — ведь я — сами изволите знать — по философской части отчислен, — а это у нас все равно, что по запасным войскам, — ну так значит, и взираю на это дело с моей философской точки зрения.

— Какая ж это точка? — захихикали некоторые дамы, ожидая, что острослов, вероятно, отрежет им что-нибудь скабрезно-пикантное, — а славнобубенские дамы, надо заметить, вообще питают некоторую слабость к скабрезно-пикантному.

— Философская точка, милостивые государыни, — начал пояснять присяжный остряк, — это самая простая и естественная, а потому самая верная, настоящая точка. Вы думаете, что мы и взаправду чествуем этого благородного барона из остзейской стороны? Вы полагаете, что все эти спичи и прочее суть заявления нашей симпатии и признательности? Если вы мыслите так, то плохо же вы, сударыни, знаете ваших мужей и братьев, скажу я вам! Все эти спичи и симпатии — дело совсем постороннее: так себе сбоку припека. Ничего этого у нас, в сущности, нет и не было, а вся штука в том, что мы все, во-первых, добрые, очень добрые, и сердце у нас какое-то мягкое, слюноточивое; а второе дело, что все мы больно уж на брюхо горазды.

— Фи! какие мерзости!.. Quelles phrases lâches, que vous nous exprimez![37] — с притворным жеманством запищали некоторые матроны и сильфиды; но острослов, нимало не смутясь,

продолжал в том же роде. Он хорошо знал свою аудиторию.

— Да! именно на брюхо больно горазды. Все эти спичи по части прогресса, развития там симпатий, заявлений и прочего — все это то же самое, что бешемель при телятине, то есть нечто, к самой сути дела, пожалуй, вовсе и не идущее. Это мы только, что называется, черту кочергу ставим, мимоходом отдаем дань Ваалу нашего времени, а главная-то суть у нас всегда была, и есть, и будет неизменно все одна и та же: это — жратва! да, жратва, милостивые государыни! Мы, благочестивые россияне, при всяком удобном случае жрем: на родинах — жрем, на поминках — жрем, на крестинах чавкаем, на именинах лопаем, на свадьбах трескаем и рады-радехоньки каждому случаю, коли он подает нам самый маленький повод собраться вкупе и пожрать. Так точно и нынче: остзейский барон и чувства признательности за будущие его подвиги — это только случайный предлог к жратве, то есть та же бешемель. Мы и чувства наши, и самого-то барона, пожалуй, завтра же забудем, а вот стерлядей аршинных да олонецких рябчиков долго вспоминать станем, до первой новой… ну, хоть экзекуции или еще какой-нибудь там эмансипации, которые обе безразлично тоже будут удобным предлогом. Потому-то вот я и присутствую на этом обеде, коли вы знать хотите, да и все-то мы здесь только поэтому — ей-Богу!

Изложив таким образом свое объяснение, острослов тем более охотно перешел в область скабрезно-пикантного, что дамы начали уж находить его чересчур скучным, — и через минуту на хорах раздавалось уже веселое хихиканье.

IX. Cegla wielkiego budowania[38]

К девяти часам вечера большинство почтеннейшей публики уже разъехалось из клуба — кто в театр, кто на боковую, кто к разным своим подругам с левой стороны. Остались только те, которые давно уже выступили бойцами на зеленом поле.

Болеслав Казимирович Пшецыньский вышел вместе с лихим полицмейстером Гнутом.

— Махнем-ка, полковник, в театр! — предложил отчаянный экс-гусар. — Нынче Шмитгов в водевильчике, то есть — я вам скажу — прелесть, что такое!.. Ножки, ножки эти — канальство!

— Н-нет, знаете… голова что-то болит, — поморщась, солидным тоном отклонился полковник. — Я лучше прокатиться немножко поеду.

И они расстались.

Полковник вскочил в свои крытые дрожки и приказал кучеру ехать совсем не в ту сторону, куда в сущности сам намеревался отправиться. Околесив две-три улицы, он указал наконец вознице своему настоящий путь и вскоре подъехал к высокому забору, за которым в глубине двора ютился в палисаднике каменный одноэтажный домик, рядом с небольшим католическим костелом, построенным во вкусе тех quasi-греческих зданий, которыми было столь богато начало нашего столетия. Дворник растворил ворота, и полковничьи дрожки подкатили к крылечку небольшого домика. Ставни были плотно закрыты, но Болеслав Казимирович смело, привычною рукою, дернул за ручку звонка. Отворить ему дверь вышла со свечой в руке молодая, смазливая женщина, из породы тех, которых очень характерно называют «вкусными» и "сдобными".

— Пан ксендз дома? — спросил Пшецыньский, игриво и ласково кивнув ей головою.

— Дома, дома! уж давно ждет пана полковника, — радушно ответила сдобная женщина, с

удовольствием встретив гостя приветливой улыбкой.

Полковник сбросил шинель и вступил в покои священника.

Приемная комната ксендза-пробоща более чем скромно была меблирована простою дубовою мебелью, без мягких сидений, без малейшего намека на какой бы то ни было комфорт. Единственным украшением ее было простое, даже бедное Распятие над окошком.

Навстречу Пшецыньскому вышел неслышною, дробною походочкою, потупив в землю глаза, плотно-кругленький мужчина лет сорока, в длинной черной сутане. Широкое лицо его светилось безмятежно довольной улыбкой. Видно было, что человек этот живет покойно, ест вкусно, пьет умеренно, но хорошо, спит сладко и все житейские отправления свои совершает в надлежащем порядке. "Всегда доволен сам собой, своим обедом и… женой", — сказали бы мы, если б католические ксендзы не были обречены на безбрачие.

— Пану Болеславу! — поклонился он кротко, но вполне приятельски, — и гость вместе с хозяином, взяв друг друга обеими руками под локти, облобызалися дважды.

— Ну, пойдем до кабинета: там теплее и покойнее… потолкуем… Я давно уж с нетерпением ждал пана, — радушно говорил ксендз, предупредительно пропуская Пшецыньского в смежную комнату. — Сядай, муй коханы, сядай на ту фотелю… ближе к камину!.. Ну, то так ладне!.. Чем же мне подчивать пана?

— Ну, уж ничего не могу — прямо с обеда! — отказался Пшецыньский.

— Э, нет, у нас так не водится! — расставил ксендз свои руки. — Не пий з блазнем, не пий з французом, не пий з родзоным ойцем, з коханкой не пий, а з ксендзем выпий — таков мой закон! Я дам пану добрую цыгару, а Зося подаст нам клубничного варенья и бутылочку венгржины, у меня ведь — сам знаешь, коханку, — заветные! От Фукера из Варшавы выписываю, — отказаться не можно!

Взгляд у пана ксендза был мягонький, тихенький, но немного как будто кошачий и в душу заползающий, и голос тоже был тихий, мягкий, немножко тягучий и отчасти сладкий. Говорил он словно бы гладил вас по шерстке бархатною кошачьею лапкою, так что приятное щекотанье на душе от его слов ощущалось. И вот пошел он распорядиться насчет дружеского угощенья, а полковник снял и поставил в угол свою саблю, с подергиваньем поправился насчет шаровар, в силу старой кавалерийской привычки, расстегнул сюртук и в самой покойной позе погрузился в глубокое, мягкое кресло, перед пылающим камином.

Этот уютный кабинет, или так называемый у ксендзов «лабораториум», был любимою комнатою ксендза-пробоща Ладыслава Кунцевича. Мягкий ковер застилал крашеный пол, а зеленые рисованные гардины, кидая на все колорит мягкого полусвета, прикрывали большие окна, на которых помещались розы, олеандры, левкои и магнолии. Широкий письменный стол, освещаемый висячею лампою под молочным колпаком, был покрыт бумагами, книгами и множеством таких безделушек, которые можно встретить разве на столе очень красивой женщины или записного великосветского денди; но в этих безделушках ничто не оскорбляло вкуса и благопристойности, ничто не нарушало строгого порядка и своеобразной симметрии. Перед широкой оттоманкой расстилалась на полу роскошно выделанная медвежья шкура. По одной стене были протянуты полки с рядами книг, между которыми виднелись сочинения Севуа, известные высшею строгостью религиозных требований, несколько почтенных фолиантов и толстых томиков, переплетенных в желтовато-белую телячью шкуру, от которых веяло почтенной древностью. По другой стене висело большое Распятие из черного дерева, с

фигурою Христа, очень изящно выточенною из слоновой кости, и несколько гравюр: там были портреты св. Казимира, покровителя Литвы, знаменитой довудцы графини Эмилии Плятер, графа Понятовского, в уланской шапке, геройски тонущего в Эльстере, Яна Собеского, освободителя Вены, молодцевато опершегося на свою «карабелю», св. иезуита Иосафата Кунцевича, софамильника пана Ладыслава, который почитал себя даже происходящим из одного с ним рода, и наконец прекрасный портрет Адама Мицкевича. На камине между фарфоровыми вазочками стояли две гипсовые фигурки, из которых одна изображала Джузеппе Гарибальди, а другая — Тадеуша Костюшку в чамарке и конфедератке. В глубине комнаты возвышался молитвенный аналой с высоким подколенником, для того, чтобы необременительно было стоять на коленях во время молитвы. На аналое помещались: бревиарий, два вазончика с букетами искусственных цветов, изящное мраморное изображение Мадонны и над нею металлическое маленькое Распятие. Несколько других картинок изображали все аллегорические да исторические сценки из истории Литвы и Польши, вроде любовных объятий Немана с Вилией, страдания каких-то католических святых и две Богородицы: Остробрамскую и Ченстоховскую. Но замечательнее всего по художественной части в этой комнате являлись два портрета, вделанные, под стеклом, в золоченые рамки и висевшие прямо перед рабочим столом хозяина. На одном портрете очень рельефно вырисовывались энергические черты покойного императора Николая; другой изображал государя императора Александра II.

Вкусная Зося, все с той же игриво-приветливой улыбкой, принесла на подносе хрустальную вазочку с вареньем и темную бутылку, на поверхности которой являлись почтенные следы стародавнего пребывания в Фукеровских подвалах.

— Добрым людям добрую венгржину не подобает пить из простых стаканов, — докторально заметил пан ксендз, — а потому мы достанем две фамильные дедувки: еще Ржечь Посполиту помнят!

И он не без самодовольной гордости добыл из маленького шкафчика две серебряные стопки изящной старопольской работы.

— То еще моему деду, пану Богушу Кунцевичу, сам яснеосвецоны пан ксионже Адам Казимерж Чарторыйский на охоте в Пулавах презентовал на памёнтек, бо пан дед Богуш (тенчас еще млоды чловек) добрже забил недзьведзя с едней карабелей! — с особенным уважением пояснил пан ксендз, поднося к пану Болеславу свои стопки, чтобы тот полюбовался на их отменную чеканку.

Пан ксендз, с приемами истого знатока и любителя, серьезно освидетельствовал поданную бутылку; неторопливо и аккуратно откупорил ее, обтер и обчистил салфеткой горлышко, с улыбкой истинного наслаждения, тихо прижмурив глаза, глубоко потянул в себя носом ее ароматный букет, затем стал тихо лить вино, любуясь на его чистую, золотистую струю, и, словно бы прислушиваясь к музыкальному шелесту и бульканью льющейся влаги, отхлебнул от края и подал стопку своему гостю. Потом с точно таким же наслаждением он наполнил другую для самого себя и, придвинув возможно ближе свое кресло, уселся как раз против Пшецыньского, затем, тихо дотронувшись обеими ладонями до его коленей и пытливо засматривая в его глаза, спросил каким-то нежно-ласковым, как бы расслабленным и в то же время таинственно-серьезным тоном:

— Ну, и цо ж, мой коханы?

— Ну, и ниц! — пожал плечами полковник.

— Як-то ниц?!.. Ведь стреляли?

— В Снежках стреляли, а в Пчелихе нет, и в Коршанах нет... Да это что! Этих глупых баранов даже и пулей не озлобишь! Крепки они очень, мой ксенже канонику!..

И Пшецыньский подробно и обстоятельно, час за часом, шаг за шагом, передал своему собеседнику всю историю пчелихинских и снежковских восстаний и укрощений. Ксендз слушал серьезно и внимательно, время от времени отхлебывая маленькими глотками из своей стопки. По временам выражение лица его принимало многозначительно-довольный вид, и он одобрительно поддакивал Пшецыньскому кивками. Когда же полковник окончил свой отчет, ксендз-пробощ Кунцевич вздохнул как-то особенно легко, выразительно-крепко пожал руку гостю и с многодовольной улыбкой сказал ему:

— Терпение, терпение, муй коханы брацишку!.. Я доволен паном: пан действовал хорошо! Ойчизна неподлеглая, вольная, не забудет послуги паньскей!.. Каждое такое действие, как было в Снежках, это новый кирпич в фундамент велькего будованя!

И ксендз, воодушевленный заветною мыслью, встал с места и зашагал по комнате, отчасти взволнованною, но вечно неслышимою, беззвучною походкою.

— Терпение, говорю я, — продолжал он, потирая руки, — терпение, терпение!.. Это ничего, что это быдло кричало: "мы царские и что кровь наша царская!" — важно то, что в них стреляли, что они видели убитых братьев, что они крови понюхали, — вот что важно! Такие моменты не должны проходить даром, — человеческая память не должна их забывать! И ты, муй коханы панку, придержался тут доброй политики: дело сделал, совет подал, а сам в стороне. Этих псов ведь только науськать надо, а уж грызть они пойдут сами! Кто таков в их глазах посланец? Правительство! Сегодня они кричат: "мы царские!" — завтра перестанут, лишь бы на нашу бедную долю доставалось побольше таких добрых посланцев! Нужды нет, что это быдло не будет с нами: нам его и не нужно; оно будет само по себе и само за себя; лишь бы поднялось одновременно с нами — и тогда дело наше выиграно! Мы разом дадим шах и мат! Они для нас дрова, которые мы сжигаем. Но... будем казаться пока братьями... Это нужно! Вот я покажу пану одну штуку! — продолжал ксендз, отперев свое бюро, в котором подавил незаметную пружину, раскрывшую потайной ящичек. — Вот я не далее как на днях еще, в полнейшее подтверждение наших собственных мыслей и планов, получил от бискупа с забранего края маленькую цидулу... я ведь писал туда. Тут и маппа[39] приложена. Эту маппу составил один из наивысших филяров велькего будованя, пан грабя Скаржиньский. Пан, конечне, слыхал про пана грабего и знает, цо то есть за дроги человек!.. Вот что пишет бискуп:

"Недоразумения между хлопами и панами, вследствие царства тьмы и дьявола, должны усложняться, и уже сильно усложнились по всему забранему краю. Паны, как добрые обыватели, остаются в стороне, а дело идет через посессоров, экономов, арендаторов и в особенности через пакцяжей.[40] При первых недоразумениях, и нам и им (разумею добрых панов), подобно Понтию Пилату, надлежит умывать руки и (политично для холопских глаз) стараться ввести в дело войско и власть наезда. Эмиссары делают свое дело и по корчмам пускают слухи, что московский царь, чрез своих катов и гицелей-желнержей, душит и панов, и хлопов вместе; что паны рады бы дать хлопам и волю, и землю, да Москва мешает: москали не хотят воли. Озлобление на ржонд московский, по сведениям нашим, сильно растет между хлопами, — Бог и свентый Казимерж помогают свентей справе. Пан грабя систематично наметил на маппе, от пункта до пункта, где, как и когда должны происходить воинские экскурции. Он строго и обдуманно расчел, что если в пункте А произошло столкновение между хлопами и быдлом наяздовым, то до каких географических пределов может и должен распространиться в народе слух и молва об этом столкновении. Тогда последовательно

избирается новый пункт В, и так далее. Такие округи помечены на маппе особыми кружками, а направление молвы и слухов приблизительно определено в виде радиусов, расходящихся от известного центра особыми красными лучами и линиями. Эту маппу я рекомендую преимущественно пану, для зависящих соображений, а если можно, то и для распоряжений. Для успеха нашего дела было бы весьма желательно, чтобы подобные явления повторялись чаще и систематичнее во всей коренной России, а особенно на Волге, где край, по нашим сведениям, преимущественно склонен к волнениям. Первой задачей, при совершившемся разрешении крестьянского или хлопского вопроса, которое разрешение, в принципе, является для нас, как для людей шляхетных, все-таки фактом весьма печальным, — должно быть с нашей стороны старание поселить в народе недоверие к правительству и затем возбудить ненависть и вражду к нему. Остальное сделают Бог, время и неусыпные труды добрых патриотов наших, по преимуществу же труды и усилия свентего костела и нашей свентей вяры. Надобно из самаго зла извлекать для себя возможную пользу: потщимся и силу дьявольскую эксплуатировать в пользу костела! Минута благоприятствует, и посему не теряйте времени, да не застанет вас всех во тьме слепыми и спящими великий Судия и Решитель судеб, как тать в ночи приходящий, но да предстанете пред Него бодрствующими, с горящими светильниками веры в руках и опоясанныя поясом любви к ойчизне. Борьба наша есть борьба царствия света с царством тьмы дьявола; а Христос сказал: "созижду церковь Мою на камне крепком, и врата адовы не одолеют ее". Ergo: победа за нами! Шлю вам мое пастырское благословение и, любя вас во Христе, пребываю — смиреннейший раб рабов — к вам всегда благосклонным. "Benedicat vos Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen".[41]

Подписи не было.

По прочтении письма и гость и хозяин сосредоточенно погрузились в некоторую задумчивость.

Вдруг за печкой сверчок цвирикнул.

Пшецыньский в тот же миг насторожил уши и, сделав ксендзу рукою жест, который в точности выражал предупредительное междометие "тсс!" — прислушиваясь осторожно и чутко, закусил себе нижнюю губу, внимательно осмотрелся вокруг и особенно покосился на окна и двери. Но сверчок цвирикнул вторично — и полковник успокоился.

— Через кого получено? — поднял наконец он голову, с облегчительным вздохом, когда Кунцевич подлил из бутылки в обе стопы.

— Конечно, частным путем. Новый эмиссар приехал перед вашим отъездом в Снежки, — таинственно сообщил хозяин, — он и привез мне это.

— Кто такой? — столь же таинственно полюбопытствовал Пшецыньский.

— Некто Францишек Пожондовский, молодой, но надежный человек; из казанского университета... был на Литве, оттуда прямо и приехал... послан к нам, в нашу сторону.

— По-русски хорошо говорит?

— Як сам москаль! Человек годящийся.

— Ну, то добрже!.. А еще не начал?

— Юж! — махнув рукою, тихо засмеялся ксендз-пробощ. — И теперь вот, я думаю, где-нибудь по кабакам шатается! На другой же день, как приехал, так и отправился в веси. Лондонских прокламаций понавез с собою — ловкий человек, ловкий!

— А ведь я к пану за советом! — после небольшого молчания начал Пшецыньский, закурив новую сигару. — Ксендз каноник знает, что сегодня у Покрова служилась панихида по убитым в Снежках?

Кунцевич в ответ кивнул головою, как о деле досконально ему известном.

— Я посылал туда адъютанта, да и кроме того мне донесли о всех почти, кто там находился, — продолжал Пшецыньский. — Только не знаю, как лучше сделать теперь: донести ли сейчас или как-нибудь помягче стушевать это происшествие?

Ксендз отхлебнул из стопки и, многозначительно уставив глаза в землю, с раздумчивым видом пошевелил и подмокал губами.

— Мм… Донести! Я так полагаю, что непременно надо донести, и чем скорее, тем лучше, — порешил он. — Не забывай, коханы пршияцелю, — назидательно промолвил он, — что мы люди подлегальные, а потому нам всегда следует прятаться под легальность.

— Но ведь потом, вероятно, арестовать придется? — возразил Болеслав Казимирович.

— Ну, и цо ж! Ну, и арестовать!.. Надо только донести с разбором и арестовать с разбором. Людей одиноких, безродных, из тех, которые покрасней да позадорливей, мы не тронем, — развивал ксендз свою теорию, — те нам и самим еще впредь пригодятся. А тех, у которых есть родня, знакомства, семейства и, главное, которые менее энергичны в деле, — тех позабираем и отправим до казематов. Таким способом мы двух зайцев убьем! Хе, хе, хе! — тихо посмеивался избоченившийся ксендз-пробощ, ласково хлопнув полковника по колену и плутовато подмигивая ему глазом. — Все-таки двух зайцев разом! — продолжал он. — Все, что пригодно, то останется, а о тех, которые будут забраны, и в семьях, и в обществе, пойдут толки, сожаления, сетования да ропот… Недовольство станет возростаться, все-таки лишняя капля горечи в чашу, а Панургово стадо не ослабеет, если несколько баранов будут зарезаны!.. Надо только, чтобы бараны были так себе, не важные, из не особенно тонкорунных. Это нам, душечко, все на добро да на пользу! Не надо нигде упускать своих нитей!

Полковник благодарно обнял и звучным поцелуем от души облобызал своего глубокотонкого и политичноумного советника. Недаром оба они называли себя цеглой велькего будованя.[42]

Приятели роспили заветную бутылку; ксендз вдосталь полакомился вареньем, и Пшецыньский стал прощаться. Опять они взялись под локти и взаимно облобызались дважды.

— Ах, да!.. Чуть было не забыл! — остановил Кунцевич своего гостя, провожая его в прихожую. — Если пан увидит завтра утром пани Констанцию, то пусть скажет, что я заеду к ним часов около трех; надо внушить ей, пускай-ко постарается хоть слегка завербовать в стадо этого фон-Саксена… Он, слышно, податлив на женские речи… Может, даст Бог, и из этого барона выйдет славный баран! — с обычным своим тихим и мягким смехом завершил Кунцевич, в последний раз откланиваясь Пшецыньскому.

Они расстались, но оба в тот вечер не закончили еще свою деятельность на приятельском разговоре. И тот и другой долго еще сидели за рабочими столами в своих кабинетах. Один писал донесение по своему особому начальству, другой — к превелебному пану бискупу с забранего края.

X. Сходка

Дня два спустя после панихиды в нумер к Хвалынцеву заглянул Устинов.

— А я к тебе на минутку, — начал он, снимая калоши и разматывая гарусный шарф. — С тобой желает познакомиться одна милая девица... Лубянская. Может, ты заметил? стриженая; стояла около этого Полоярова, что в кумаче-то ходит.

— Что же этой милой девице нужно от меня? — лениво проговорил Хвалынцев, лениво подымаясь с дивана.

— Ну, как "что?" Ты ведь, в некотором роде, интересная личность, новый человек здесь, да еще и в Снежках был... Нет, она в самом деле добрая! Если хочешь, отправимся нынче вечером, — я забегу за тобою.

— Да ведь скука, поди-ко? — поморщился было Хвалынцев.

— Нет, ничего! Увидишь разных народов... Между прочим, Татьяна Николаевна Стрешнева будет, — как бы в скобках заметил учитель.

— Ах, это — та! — воскликнул студент, не сумев воздержаться от хорошей, открытой улыбки.

— Она самая.

— Ну, пожалуй, поедем!.. Я не прочь.

- Â кстати, слышал ты самую новую новость? — серьезно; спросил Устинов, собравшись уже уходить от приятеля. — Говорят, что нынче ночью арестовали нескольких человек из бывших на панихиде.

Хвалынцева слегка покоробило, словно бы и за самим собою почувствовал он возможность быть арестованным.

— Что ж, мудреного ничего нет, — пожал он плечами.

— Штука скверная... и довольно грустная. Вечером, вероятно, услышим кой-какие подробности, — заключил Устинов, подавая руку на прощанье.

* * *

На весьма скромной и порядком-таки пустынной улице, называемой Перекопкой, стоял довольно ветхий деревянный домик о пяти окнах. Наворотная жестянка гласила, что дом сей принадлежит отставному майору Петру Петровичу Лубянскому. В калитку этого самого дома, часов около восьми вечера, прошли двое наших приятелей.

Почти в самых дверях из прихожей в небольшое зальце Хвалынцева встретила миловидная брюнеточка, в простом люстриновом платье темного цвета, с пухленьким личиком в том характере, который наиболее присущ брюнеткам чисто русской породы.

— Хвалынцев? — вскинула она на него улыбающиеся глазки, не прибавя к его имени обычного прилагательного "господин".

— Хвалынцев, — подтвердил ей студент с поклоном.

— Ну, здравствуйте! Я хотела познакомиться с вами. Пожалуйста, без церемоний, — можете делать что захочется: хотите — садитесь, хотите — курите, молчите или разговаривайте — как найдете для себя удобнее, хотя мне собственно хотелось бы более, чтобы вы разговаривали; но… это, впрочем, для вас нисколько не обязательно.

Прощебетав все это довольно быстро, девушка отошла к большому креслу пред рабочим столиком и уселась за какое-то шитье.

— Папахен, — закричала она в другую комнату, — ступай сюда, познакомься! К нам новый гость пришел!

Из смежной комнаты послышалось шлепанье туфлей — и в дверях показался, в чистом стеганом халатике, сивенький старичок с очень добродушным лицом, которое носило на себе почтенную печать многих походов и долгой боевой жизни.

— Очень приятно!.. очень приятно! — приветливо заговорил он, с видимым радушием сжимая и тряся обеими руками руку Хвалынцева. — Извините старика… что я к вам эдак… по-домашнему.

— Ну, папахен! ты это оставь! Хвалынцев, конечно, знает пословицу, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Студент немножко сконфузился, почувствовав при этих словах маленькую неловкость: показалось оно ему больно уж оригинальным; но он тотчас же и притом очень поспешно постарался сам себя успокоить тем, что это, мол, и лучше, — по крайней мере без всяких церемоний, и что оно по-настоящему так и следует.

— Я гостей своих не рекомендую друг другу, — обратилась Лубянская к Хвалынцеву из-за своей работы, — это одне только скучные официальности, а коли угодно, каждый может сам знакомиться.

Студент молча поклонился и, снова ощутив некоторую неловкость, рассеянно перевел глаза на обстановку комнаты.

Небольшое зальце было убрано весьма просто, кое-какая сборная мебель, кисейные занавески, старые клавикорды, а по стенам портреты Ермолова, Паскевича, Воронцова и две литографии, изображающие подвиги простых русских солдатиков: умирающего рядового, который передает товарищу спасенное им полковое знамя, да другого, такого же точно солдата, с дымящимся фитилем пред пороховым погребом, в то время, когда малочисленные защитники укрепления почти все уже перебиты да перерезаны огромными полчищами горцев. В этих портретах, да в этих литографиях, быть может, заключались лучшие, самые заветные и самые теплые воспоминания старого майора.

Приятели наши застали уже здесь кое-кого из гостей. В углу дивана помещался в развалисто-небрежной позе и в неизменной красной рубахе — Ардалион Полояров, а рядом с ним сидела дама лет двадцати семи, весьма худощавая, однако не без остатков прежней миловидности. Волоса ее точно так же были острижены; но то, что довольно еще шло к молодому личику хозяйки, вовсе уж было не к лицу ее двадцатисемилетней гостье, придавая всей физиономии ее не то какой-то птичий, не то — деревянно-кукольный и даже неприятный характер. Дама эта — по имени Лидинька Затц — вместе с Полояровым жгла папиросу за папиросой и, время от времени, кидала на него, исподтишка, довольно нежные взоры.

Маленький Анцыфров, заложа в карманы руки и на ходу постукивая каблуком о каблук, без

всякой видимой надобности, скучно слонялся из угла в угол по комнате.

Майор, усадив Хвалынцева, как-то застенчиво удалился в свою комнату, запахивая халатик, а Полояров при этом довольно бесцеремонно оглядел усевшегося студента пристальным взглядом; но из-под синих очков характер этого взгляда не мог быть хорошо замечен, так что Хвалынцев скорее почувствовал его на себе, нежели увидел.

— Вы студент? — начал наконец Ардальон, повернув к нему голову и продолжая свое рассматривание.

— Это видно по моему синему воротнику, — слегка улыбнулся Хвалынцев.

— Синий воротник, батюшка, ничего не доказывает. Вон и у жандармов тоже синий воротник. Синий воротник — это одна только форма, а я спрашиваю: по духу студент ли вы?

Хвалынцеву показалось это достаточно наглым.

— А что вас так интересует? — впадая в тон Ардалиона, в упор спросил он его.

— То есть меня-то, собственно, оно нисколько не интересует, — уставя глаза в землю и туго, медленно потирая между колен свои руки, стал как-то выжимать из себя слова Полояров, — а я собственно потому только спрашиваю, что люблю все начистоту: всегда, знаете, как-то приятней сразу знать с кем имеешь дело.

— Но ведь приятель мой доселе, кажется, не имеет с вами никакого дела? — довольно мягко вступился Устинов.

Этот нежданный отпор слегка озадачил Полоярова.

— Все равно! — поправился он в ту же минуту. — Мы вот вместе в гостях теперь у Лубянской, стало быть, вот уж вам и есть, в данный момент, общее дело.

— Ну, коли это так интересно знать, я пожалуй успокою вас, — помирил учитель все с тою же деликатно-снисходительною улыбкою. — Я вполне уважаю моего приятеля. Довольно с вас этого?

Полояров исподлобья бросил косой взгляд на Хвалынцева и, в знак удовлетворения, с какою-то медвежьего угрюмостью слегка кивнул головою.

— Стало быть, вы наш. Это хорошо! — пробурчал он после некоторого молчания.

— Вы ведь, кажется, помещик здешний? Я так слышала что-то… — прищурясь на Хвалынцева, спросила Лидинька Затц, все время не переставшая уничтожать папироски.

— Помещик, сударыня.

— Гм… Стало быть, собственник. Это нехорошо! — ввернул свое слово Полояров.

Студента начинало покоробливать от всех этих расспросов и замечаний, так что он уже стал недоуменно и вопросительно поглядывать на Устинова: что, мол, все это значит? куда и к кому, мол, завел ты меня?

— Анна Петровна, — обратился учитель к хозяйке, намереваясь сразу повернуть разговор в другую сторону, — слыхали вы, нынче ночью аресты сделаны?

— Да, да! Представьте, какая подлость! — вдруг разгорячась и круто повернувшись на каблуках, запищал и замахал руками плюгавенький Анцыфров. — Это… это черт знает что! — Действительно, арестовано множество, и я не понимаю, какими это судьбами уцелели мы с Ардальоном Михайловичем… Впрочем, пожалуй, гляди, не сегодня завтра и нас арестуют.

Анцыфров, видимо, желал порисоваться, — показать, что и он тоже такого рода важная птица, которую есть за что арестовать. Полояров, напротив, как-то злобно отмалчивался. По сведениям хозяйки оказалось, однако, что забрано в ночь вовсе не множество, на чем так упорно продолжал настаивать Анцыфров, а всего только четыре человека: один молодой, но семейный чиновник, один офицер Инфляндманландского полка, племянник соборного протопопа, да гимназист седьмого класса — сын инспектора врачебной управы.

Устинов и стриженая дама весьма удивились: все четверо хотя и присутствовали на панихиде, но были люди далеко не бойкие и едва ли в чем особенно замешанные.

— Это все Пшецыньский! все он!.. Но я вам, напротив, говорю, что взято множество! вы еще не знаете! — продолжал между тем Анцыфров. — Этот Пшецыньский — это такая продувная бестия…

— А еще поляк! — с горьким упреком заметила г-жа Затц. — Бесчестит польское имя!

— Ну, уж я вам доложу-с — по моему крайнему убеждению вот как выходит, — заговорил Полояров, — я поляков люблю и уважаю; но коли поляк раз вошел на эдакую службу, так уж это такой подлый кремень, который не то что нас с вами, а отца родного не пощадит! Это уж проданный и отпетый человек! в нем поляка ни на эстолько не осталось! — заключил Ардальон, указывая на кончик своего мизинца, — и все безусловно согласились с его компетентным мнением.

К воротам подкатила крытая колясочка в одну лошадь, и через минуту в комнату вошла Татьяна Николаевна Стрешнева.

Лицо Хвалынцева заметно прояснилось и даже заиграло ярким румянцем. Он вообще очень плохо умел скрывать свои ощущения. И сам не ведая, как и почему, он неоднократно, в течение этих двух суток, вспоминал ее разговор в церкви с Анатолем и всю ее изящную, стройную фигурку, и эти воспоминания безотчетно были ему приятны.

Вот и теперь вошла она так просто, так хорошо и спокойно, в простом, но очень изящном наряде, со своими честными, умными глазами, со своею безмятежною улыбкою, и Хвалынцеву стало хорошо и весело при ее появлении.

Весело, но немножко принужденно встретила ее Лубянская. Старый майор нарочно вышел к ней в залу и здороваясь душевно поцеловал ее русую головку, причем Полояров никак не удержался, чтобы не буркнуть про себя: "скажите, пожалуйста, какие нежности!" Устинов, который, по-видимому, был с нею в очень хороших отношениях, представил ей Хвалынцева, и Хвалынцев при этом покраснел еще более, за что, конечно, остался на себя в некоторой досаде.

— А вы никак в своем экипаже приехали? — адресовался к ней Ардальон, подойдя к окну и заложив большие пальцы рук за пояс.

— В тетушкином, — удовлетворила его любопытству Татьяна Николаевна.

— Так-с!.. Аристократничаете, значит.

Стрешнева оглядела его спокойно, но холодно.

— Желаете папироску? — продолжал Ардальон, подавая ей вынутую пачку.

— Вы, кажется, знаете, что я не курю.

— Я, кажется, знаю это, — подтвердил он, — но терпеть не могу, когда люди вообще сидят, ничего не делая! Папироску сосать — все-таки какое-нибудь занятие. Вот и Лубянскую приучаю, да плохо что-то. Все это, доложу я вам, жантильничанье!.. Женственность, изволите видеть, страдает; а по-нашему, первым делом каждая порядочная женщина, то есть *женщина дела*, должна прежде всего всякую эту женственность к черту!

Ардальон попал на одну из любимейших своих тем и потому пошел расписывать. Анцыфров то и дело поддакивал, мотая белобрысенькой головенкой.

— Нам нужна женщина-работник, женщина-товарищ, женщина-человек, а вернее сказать — женщина-самка, — продолжал Полояров, — а эта гнилая женственность, это один только изящный разврат, который из вашего брата делает кукол. Это все эстетика! (последнее слово было произнесено с особенным презрением). Лубянская, хотите, что ли, папироску? Бавфра, что называется, Сампсон крепкий.

Лубянская не посмела отказаться от предложенного курева и морщась стала втягивать в себя струю крепкого дыма. Полояров глядел на нее забавляючись и самодовольно улыбался.

Вскоре пришли еще двое новых гостей: доктор Адам Яроц и учитель латинского языка Подвиляньский. Подали чай. Подвиляньский отозвал в сторону Полоярова и таинственно показал ему из бокового кармана сложенный печатный лист.

— Новый нумер, вчера только что получен; преинтересная статья есть, — сообщил он тихо.

Ардальон кивнул доктору.

— Послушайте, Яроц, — начал он тише чем вполголоса, — уведите-ка глупого старца, да засядьте с ним в шашки, чтобы не мешал, а мы тут почитаем пока.

Яроц ответно мигнул на это: дескать, смекаем, приятель, и политично отправился к майору.

Но оказалось, что майора теперь, пожалуй, не скоро сдвинешь с точки его разговора. Петр Петрович тоже попал на любимую свою тему и завербовал в разговор Татьяну Николаевну да Устинова с Хвалынцевым. Он толковал своему новому знакомому о воскресной школе, которую, наконец-то, удалось ему, после многих хлопот и усилий, завести в городе Славнобубенске. Эта школа была его создание и составляла одну из первых сердечных его слабостей.

— Вот, спасибо Татьяне Николаевне да Андрею Павлычу (старик указал на Устинова), помогают доброму делу! Сам я кое-как грамоте обучаю; закон Божий — пречистенский дьякон, отец Сидор, ходит преподавать; Андрей Павлыч по арифметике, а Татьяна Николаевна с Анютой мне, старику, насчет грамоты помогают, да вот тоже которые девочки есть у нас, так тех рукоделию разному обучают. И пока, надо благодарить Бога, отлично шло дело: восемнадцать мальчиков да одиннадцать девочек обучаются — итого двадцать девять человек-с! Уж сколько благодарностей от родителей получали. Бедные люди-с, за ученье платить не из чего, ну, и благодарят... И теперь вот много желающих есть, да поместиться-то негде: помещение у нас тесновато, вот и все тут, как видите! (Старик указал на комнату и обвел ее по стенам глазами). Уж мы тут что себе надумали: хорошо бы да концертик какой с литературным

чтением в пользу школы устроить! Если бы только рублишек полтораста собрать, так можно бы и пособий кое-каких купить: грифельных досок, букварей, катехизисов, да вот по соседству тут за сто рублей в год просторную квартиру уступают, вот бы и нанять ее под школу-то: человек до ста могло бы обучаться! Уж я решил отправиться к губернаторше; она, говорят, добрая; буду просить ее покровительства да содействия насчет концертика-то. Как вы полагаете? Авось, Бог поможет! а?

— А я вам доложу-с, что вы это насчет школы не тово, — вмешался в разговор подошедший в это время Полояров, — у вас совсем не рационально-с ведется дело.

— Как это, то есть, не рационально, — уставился на него недоумелыми глазами Петр Петрович.

— А так-с! Нет настоящего прынцыпа, здорового направления нет в преподавании. Кабы я повел это дело, я бы сейчас с самого же начала побоку этого вашего отца Сидора.

— Это почему?! — изумились разом и старик, и Устинов со Стрешневой.

— А потому, что глупый человек. Что он их эти молитвы вдолбяжку заставляет учить да побасенки рассказывает! Тут нужно не того: нужно им разъяснять это дело внастоящую! В корень! Нужно здоровую почву подготовить, закваску хорошую дать.

— Конечно, по Штраусу и по Ренану? — с легкою иронией заметила Стрешнева.

— Пожалуй, даже менее по Ренану, а вот по Штраусу-то не мешало бы, — подтвердил Полояров. — Потом в этом же направлении можно бы, пожалуй, отчасти допустить и естественные науки, в самом популярном изложении, а главное насчет развития: нужно бы чтение здоровое дать.

— А что это вы понимаете под здоровым? — слегка нахмурясь спросил старик.

— Ну, уж это мы про себя разумеем, — отклонился Полояров, — разное есть.

— Нет, батюшка, извините меня, старика, а скажу я вам по-солдатски! — решительным тоном завершил Петр Петрович. — Дело это я почитаю, ровно царскую службу мою, святым делом, и взялся я за него, на старости лет, с молитвой да с Божьим благословением, так уж дьявола-то тешить этим делом мне не приходится. Я, сударь мой, хочу обучать ребят, чтоб они были добрыми христианами да честными русскими людьми. Мне за них отчет Богу давать придется; так уж не смущайте вы нашего дела!

— Да нет, это так невозможно оставить! в вашу школу необходимо ввести освежающий элемент, а без того все это ни к черту! Эдак-то вы нам только ребят перепортите!

Петр Петрович рукой лишь махнул с затаенной досадой и ушел в свою комнату.

Доктор Яроц улучил подходящую минуту и предложил ему партию в шашки. Старик не отказался.

А тем часом, осторожно притворив дверь его комнаты, Подвиляньский с таинственно-многозначительным видом вынул из кармана свернутый печатный лист и, торжественно держа его над головою, показал всему обществу.

— Колокол! — проговорил он нежно-почтительным и даже священно-благоговейным шепотом.

Все общество необыкновенно живо подвинулось к столу, за которым уселся Подвиляньский, и жадно, нетерпеливо приготовилось слушать с тем чувством живейшего интереса, который уже переходил в лихорадочный зуд любопытства.

Подвиляньский начал чтение своим нежно-мягоньким, тихим голосом. Полояров в иных местах выражал одобрение довольно сдержанным мычаньем, а неодобрение поцмокиваньем да хмурыми гримасами; зато Анцыфров каждый раз просто взвизгивал и подпрыгивал от преизбытка наслаждения.

— Нет, черт возьми, это все не то! — не выдержал, наконец, Ардальон Полояров. — Этого Александра Иваныча пора уж и в архив бы сдать: выдыхаться начинает, сердечный! Да и глуп стал! Ну, что он тут дураком-то эдаким приветствует все эти реформы!.. Какие тут, у черта, реформы!.. Тут реформа одна только — во! (И он выразительно выдвинул при этом напоказ свой кулак). Тут реформа — топор!.. Кровопусканьице маленькое учинить нужно господам дворянам да собственникам, тогда и реформы сами собою явятся, а без того — все комедь да сапоги всмятку!..

Хвалынцев наблюдал, какое впечатление производят на присутствующих вещания Ардальона. Все общество, за исключением Стрешневой да Устинова, слушало его с весьма страшной верой и раболепным благоговением. Самоуверенность, с какою обыкновенно изрекал свои приговоры Ардалион Полояров, показывала, что он давно уже привык почитать себя каким-то избранником, гением, оракулом, пророком, вещания которого решительны и непогрешимы; он до такой степени был уже избалован безусловным вниманием, уважением и верою в его слова, что требовал от всех и каждого почтительного благоговения к своей особе, принимая его в смысле необходимо-достодолжной дани.

Стрешнева слушала, слушала и наконец не выдержала. Довольно явная ироническая усмешка заиграла на ее хорошеньких губках, а глаза глядели на вещателя с беспощадным пониманием всей его внутренней сути.

Тот это заметил. Его покоробило и передернуло под ее спокойным взглядом; брови насупились, и на лицо выступила багровая краска.

— Вы!.. Стрешнева! послушайте! — начал он тем нахальным тоном, который уже прямо сбивался на явную и предумышленную, дерзость.

— Во-первых, господин Полояров, прежде чем я вас послушаю, — перебила она его совершенно спокойно и не меняя характера своей прежней улыбки, — я охотно желала бы напомнить вам, что у меня есть имя. Зовут меня Татьяной Николаевной.

— Да кто там будет еще помнить все ваши имена!.. Моей голове нет лишнего времени заниматься такими пустяками!

Полояров все более и более терял необходимое хладнокровие.

— В таком случае, чтобы не утруждать себя, — продолжала девушка, — вы бы могли очень просто прибавить к моей фамилии маленькое слово «госпожа». Это ведь не трудно и вежливо.

— Ну, я насчет галантерейностей не мастер! Это все рутина-с!.. Я, извините, забываю все, что в вас эта барская закваска сидит. Я хотел только спросить, чего это вы так ухмыляетесь, на меня глядючи? Изволили вы найти в моих словах что-нибудь смешное и несообразное? Любопытно было бы знать, что именно?

— О, если это вам так любопытно, так извольте!

— Потрудитесь объясниться.

Полояров избоченился и приготовился слушать с тем высокомерным, Зевесовским достоинством, которое почитал убийственным, уничтожающим для каждого дерзновенного, осмелившегося таким образом подойти к его особе. А между тем в нем кипела и багровыми пятнами выступала на лицо вся его злоба, вся боль уязвленного самолюбия. В ту минуту у него руки чесались просто взять да прибить эту Стрешневу.

Татьяна Николаевна очень хорошо видела и понимала его внутреннее состояние: он не прощал ей этого упорного отсутствия всякого поклонения его особе, и в тот момент ей сильно захотелось, что называется, порядком проучить Ардалиона Полоярова.

— "Ухмыляюсь" я, как вы выразились, тому, — начала она еще с большим спокойствием, — что мне жалко вас стало. Ну, что вы нас, девчонок, удивляете вашим радикализмом!.. Это не трудно. А жалко мне вас потому, что вы сами ведь ни на горчичное зерно не веруете в то, что проповедуете.

— Мое дело не расходится с моим словом! — с гордым презрением и будто неуязвимым достоинством перебил Полояров. — За меня факты-с!.. Я, милостивая государыня, не далее как два дня назад с паперти говорил народу!

Анцыфров, который было смирненько съежился при словах Стрешневой, теперь вдруг просиял и, потирая руки, даже слегка подпрыгнул на своем стуле. "Что, мол, взяла!" Он торжествовал победу своего друга.

— Эх, Ардальон Михайлович, полноте! — с горьким сожалением покачала головой девушка. — Слышала я и видела, что вы говорили и что делали! Улучили минутку, когда квартальный куда-то отвернулся, а подъехала полицмейстерская пара впристяжку... Извините, но я бы очень хотела знать, что случилось с вами и с вашим красноречием в ту самую минуту?

Устинов не выдержал и рассмеялся. Легкая улыбка покосила и губы Хвалынцева; Анцыфров же снова примолк и съежился. Остальные сидели молча, пригнетенные, словно бы ожидая, что вот-вот сейчас разразится гроза и буря. Одна только Стрешнева была совершенно спокойна и улыбалась своей ясной, безмятежной улыбкой.

Пунцовый Ардальон вдруг побледнел и поднялся с места. Это уже было слишком. Этого он даже и от Стрешневой не ожидал. Кулаки его судорожно были сжаты! Губы нервически подергивало злобственною усмешкою. Он видимо боролся с собою, стараясь сдержать и подавить в себе какое-то нехорошее чувство, и потому угрюмо зашагал по комнате.

Все молчали, и всем это молчание было особенно тягостно; но никто не чувствовал ни возможности, ни желания заговорить о чем бы то ни было — первым.

— Так по вашему убеждению я струсил? — с иронической гримасой, но уже гораздо мягче и на несколько тонов ниже заговорил наконец Полояров, остановясь пред Стрешневою. — Нет-с, Татьяна Николаевна, ошибаться изволите!.. Не трусость, а благоразумие во мне говорило! Эта самая голова-с (и он не без поползновения на эффект указал на свою кудластую шевелюру), да! эта вот самая-с башка пригодится еще и впредь на что-нибудь более серьезное... В наше время каждый честный деятель обязан поберечь себя до решительной минуты. Поживете, так увидите; а не увидите, так услышите! веско и многозначительно закончил он с легким полупоклоном, — и фигурка Анцыфрова снова просияла, да и все присутствовавшие

почувствовали словно камень какой с плеч у них скатился.

Ардальон с удовольствием заметил, что авторитет его снова восстановлен, и ему теперь захотелось хоть чем-нибудь поскорее сгладить последние следы недавнего настроения своих поклонников, чтобы окончательно закрепить в их глазах полную незыблемость своего авторитета. Поэтому он подошел к Подвиляньскому и, хлопнув его слегка по плечу, сказал с улыбкой:

— Ну, пане-брате, воспроизведи-ко что-нибудь на фортоплясе!

Подвиляньский не заставил долго просить себя и на разбитом фортепиано стал брать какие-то аккорды.

— Что это такое вы играете? — спросил его кто-то.

— Польское, — отвечал он тихо, но гордо. — Это наш гимн: "ze dymen pozarôw".[43]

Все удвоили внимание и прослушали гимн с видимым удовольствием и большой симпатией. Анцыфров захлопал в ладоши и пристал повторить.

— Нет, постойте! — перебил Полояров. — Я вам спою штуку! Играй-ко, пане-брате, помнишь, я учил тебя онамедни, на голос: "Я посею ль, молода-младенька". Слыхали вы, господа, русскую марсельезу?

— Браво! Браво! — завизжал Анцыфров.

Подвиляньский взял несколько новых аккордов, а Полояров, видимо рисуясь, стал в размашисто-ухарскую позу, откинул назад свои волосы, обдергал книзу кумачовую рубаху и запел звучным басом:

"Долго вас помещики душили,
Становые били,
И привыкли всякому злодею
Подставлять мы шею.
В страхе нас квартальные держали,
Немцы муштровали,
Про царей попы твердили миру..."

Но в эту самую минуту из кабинета показался майор в своем халатике.

— Ну, нет, батюшка, у меня в доме таких песен не пойте! — остановил он Ардальона прямо и решительно. — И как это вам не стыдно: взяли хорошую солдатскую песню да на-ко тебе, какую мерзость на нее сочинили! Перестаньте, пожалуйста!

— Ха-ха-ха! — расхохотался Полояров. — Что это вы, батенька, никак Пшецыньского испужались?

— Что-с? Пшецыньского? — слегка прищурился на него старик; — я, сударь мой, турка не пугался, черкеса не пугался, да англичанина с французом не испугался, так уж вашего-то Пшецыньского мне и Бог да и совесть бояться не велели! А песню-то вы все-таки не пойте!

— Стало быть прынцыпы, убеждения не позволяют? Ась? — аляповато подтрунил Полояров.

— Да уж там какие ни есть убеждения, а свои, не купленые! — отрезал ему Петр Петрович. — Я, сударь мой, старый солдат!.. Я, сударь мой, на своем веку одиннадцать ран за эти свои убеждения принял, так уж на старости-то лет не стать мне меняться.

— Ну, папахен! Что это такое! — с неудовольствием фыркнула Лубянская.

— Что, моя милушка? Что, голубчик?

— Уж и песню наконец нельзя петь!.. Это чистые глупости! Это деспотизм!

— Песню, дружок, пой сколько хочешь, а мерзостей петь да слушать не следует.

— Ну, хорошо, хорошо!.. — с многозначительною сухостью подхватила девушка, — я с тобой *потом* поговорю! Теперь не время.

Это походило на какую-то угрозу. Взволнованный старик в замешательстве, с невыразимою тоскою бросил тихий взгляд на свое детище. По всему было видно, что он любит свою дочку беспредельно, до безумия, до всякой слабости.

— Ну, ну, полно, — забормотал он, словно бы извиняясь. — Ну, Господь с тобой, Нюточка!.. Разве я тебя стесняю в чем!.. Пой себе, коли охота такая, только дай мне уйти прежде, я уж этих песен слушать не стану.

И с тихим, подавленным вздохом он ушел из комнаты.

Полояров снова было запел как ни в чем не бывало, но Татьяна Николаевна тотчас же поднялась с места, мигнула Устинову и громко стала прощаться со своей подругой. Вслед за ней поднялись и Устинов с Хвалынцевым. Подвиляньский, обладавший большим тактом, чем его приятель Полояров, перестал аккомпанировать и тоже взялся за шляпу.

Лидинька Затц подошла к Ардалиону и попросила проводить себя.

— Ну, нет! уж увольте! — отклонился он, значительно поморщась, и вслед затем прибавил тише чем вполголоса: — я хотел бы лучше уж здесь как-нибудь остаться на ночь.

Лидинька бросила на него взгляд вопросительного и несколько ревнивого свойства.

— Это для чего-с? Скажите пожалуйста?! — тихо прошипела она очень нервичным голосом.

— Да так… не хотелось бы дома, — замялся Ардальон, — неровно и в самом деле полиция… жандармы… Уж лучше эти дни кое-где по чужим местам переждать бы… Спокойнее!

— Ступайте к нам ночевать! — охотно и поспешно предложила Затц.

— Да ведь ваш благоверный…

— Это ровно ничего не значит… Он теперь в клубе… Мы, кажется, всегда вам рады.

— Ну, ин быть по-вашему! Куда ни шло! — махнул наконец рукой Ардалион, после некоторого колебания, и стал прощаться.

Лубянская крепко сжала его руку, и Устинов заметил, что она с каким-то опасением, полустрахом и полунадеждой проводила его за порог тревожными и влюбленными глазами.

На душе Хвалынцева, особенно после маленькой истории с песней, было как-то смутно и неловко, словно бы он попал в какое место не вовремя и совсем некстати, так что, только очутившись на свежем воздухе, грудь его вздохнула легко, широко непокойно.

Вышли на улицу почти все разом. Подвиляньский с доктором кликнули извозчика и укатили. Полояров закутался, поднял воротник пальто, упрятал в него нос и бороду и низко надвинул на глаза свою шляпу. Очевидно, после сегодняшних арестов, он даже и ночью боялся быть узнанным. Стриженая дама повисла на его руке.

— Анцыфров! — обернулся он на своего адъютанта, — я нынче не ночую дома — можешь располагаться свободно.

— Как же так?.. Ведь хотели же вместе?.. Это собственно как же? — заегозил оторопевший пискунок, который совсем не ожидал такого пассажа.

— Как знаешь… Мне-то что!

— Но… как же это так, ей-Богу!.. Одному-то?.. Уж лучше бы как-нибудь вместе… Я тоже не хочу домой к себе… У меня тоже ведь не безопасно… Уж право лучше бы вместе…

— Ну, ладно! Проваливай к черту! — порешил Полояров и, без дальнейших церемоний, пошел себе со своей дамой, не обращая на злосчастного пискунка ни малейшего внимания.

Тот постоял с минуту в самой затруднительной нерешительности и, нечего делать, скрепя сердце, потрусил кое-как восвояси.

Ночь стояла ясная, тихая и сухая, с легким морозцем.

— А хорошо бы пройтись!.. у меня, ей-Богу, даже голова заболела, — сказала Стрешнева, и Хвалынцев предложил ей руку, а Устинов пошел рядом с ней сбоку. Крытые дрожки шагом ехали сзади.

— А, кажется, недолюбливает вас этот Полояров, — начал Хвалынцев.

— Обоих недолюбливает, — улыбнулась девушка, — и меня, и Андрея Павлыча; но меня более.

— За что же такая немилость.

— А так. Мне, видите ли, немножко известно его прошлое.

— Но разве это прошлое такого свойства, что за него можно не любить тех, кто знает его?

— Отчасти, да. Мне, конечно, Бог с ним, какое мне до него дело! Но Анюту жаль. Она добрая и хорошая девушка, а этот барин ее с толку сбивает. Ведь он у всех у них в ранге какого-то идола, полубога. Ведь ему здесь поклоняются.

— Но… странное дело! — заметил студент. — Сколько могу судить, он, кажется, и не особенно умен.

— Э, помилуйте! А наглость-то на что? Ведь у него что не имя, то дурак, что ни деятель не его покроя, то подлец, продажный человек. Голос к тому же у него очень громкий, вот и кричит; а с этим куда как легко сделать себя умником! — Вся хитрость в том, чтобы других всех ругать дураками. Ведь тут кто раньше встал да палку взял — тот и капрал.

— Ну, а прошлое-то его какое? — полюбопытствовал Хвалынцев.

— По питейной части служил, когда Верхохлебов в Сольгородской губернии откуп держал, а потом очень недолгое время становым был, но… что называется с "начальством не поладил". Впрочем, Ардалион Михайлович о своем прошлом не любит распространяться.

— А теперь-то он что же? — продолжал Хвалынцев, которого после всего этого заинтересовала несколько личность Полоярова.

— Теперь?.. А вот, великим деятелем стал, статьи разные пишет, в журналы посылает.

— Ну, и печатают?

— Отчего ж не печатать! Поди-ко, сперва раскуси человека! Ведь там не знают его. Но это бы все Бог с ним! А мне Анюту жаль и старика-то жаль. — Хороший старик.

— Да неужели же она не видит и не знает?

— Какое! и слушать ничего не хочет, и не верит. Ведь он, — говорю вам, бог для них. Совсем забрал в руки девочку, так что в последнее время со мною даже гораздо холоднее стала, а уж на что были друзьями.

Вскоре наши путники дошли до дому, где жила Стрешнева со своей теткой. На прощанье она совсем просто пригласила Хвалынцева зайти как-нибудь к ним, буде есть охота. Тот был рад и с живейшею благодарностию принял ее приглашение. После этого он вернулся домой, в свою гостиницу, чувствуя себя так легко и светло на душе и так много довольный даже и нынешним вечером, и собою, и своим приятелем, и ею — этою хорошей Татьяной Николаевной.

XI. Кто предполагает и кто располагает

На другое утро Петр Петрович составил и чистенько переписал коротенькую докладную записку о разрешении литературно-музыкального вечера в пользу его школы; затем напялил свой отставной мундир, со всеми регалиями, и отправился помолясь к губернаторше.

Констанция Александровна деловые приемы свои назначала обыкновенно во втором часу. Гораздо ранее этого времени Петр Петрович сидел уже на стуле в ее приемной. Он попросил доложить о себе. Лакей угрюмо покосился на него и хотел было пройти мимо; но майор тоже знал достодолжную в этих случаях сноровку и потому, подмигнув лакею, сунул ему в руку двугривенничек. Ее превосходительство выслала сказать майору, чтоб он обождал — и Петр Петрович ждал, испытывая томительное состояние просительской скуки.

Несколько раз мимо его промелькнула горничная; дежурный чиновник промчался куда-то; гувернантка повела на прогулку пару детей madame Гржиб, а майор все ждет себе, оправляясь да покрякивая при проходе каждого лица, и все с надеждой устремляет взоры на дверь, ведущую в покой губернаторши.

Вот смиренно-мягкою, неслышною походочкою прошел за эту заветную дверь славнобубенский ксендз-пробощ Кунцевич, и о его приходе, по-видимому, никто не докладывал. После него майору пришлось еще сидеть, по крайней мере, около часу. Просительская скука начинала в нем уже переходить в просительскую тоску, как вдруг лакей с какою-то особенною официальностью распахнул двери — и из смежной комнаты послышался шорох тяжелого шелкового платья.

Майор молитвенно вздохнул, перекрестился мелким крестиком, поклевав сложенными пальцами между третьей и четвертою пуговицами своего мундира и, в некотором волнении, поднялся с места.

Губернаторша вошла довольно величественно, распространив вокруг себя легкий запах лондонских духов, и с официально-благосклонною снисходительностью остановилась перед майором. От всей позы, от всей фигуры ее так и веяло губернаторшей, то есть в некотором роде правительницей, власть предержащею.

— Отставной майор Лубянский, — отрекомендовался Петр Петрович и протянул вперед руку с докладной запиской.

Констанция Александровна ответила величественным кивком и устроила на лице такую мину, которая ясно говорила, что она готова благосклонно выслушать.

— К вашему превосходительству… зная ваше доброе сердце… во имя просвещения и человеколюбия… — неловко заговорил Петр Петрович, сбиваясь на фразах заранее обдуманной речи.

Старик умел служить и точно исполнять приказания, умел когда-то стойко драться с неприятелем и стоять под огнем, но никогда, во всю свою жизнь, и ни о чем не умел просить какое бы то ни было «начальство» или какую бы то ни было «знатность». Поэтому и в данную минуту он почти совсем переконфузился, особенно встречая на себе этот неотводный, вопросительный взгляд губернаторши.

— Мы учредили воскресную школу, — продолжал он кое-как свои объяснения, — бедные дети… кое-как обучаются, но скудость средств, помещения… Тут, впрочем, все это обстоятельно изложено, — добавил он, указывая на докладную записку.

Губернаторша опять кивнула головой и продолжала вопросительно глядеть на него.

— Для поддержки дела осмеливаюсь просить ваше превосходительство принять его, в некотором роде, под свое покровительство… Мы предположили литературно-музыкальный вечер… надобно разрешение… и потом если бы ваше превосходительство пожелали помочь нам своим сочувствием и участием… и вот тоже по части раздачи или рекомендации билетов, то наша школа процвела бы, благодаря вашему превосходительству.

Склеив кое-как эти фразы и развернув их наконец пред губернаторшей, майор вздохнул свободно, словно бы груз какой сбросил с своей шеи.

— Вы хотите, чтоб я приняла что-нибудь в концерт? — спросила г-жа Гржиб, которая, будучи очарована собственным голосом, никогда и нигде почти не упускала приличного случая похвастаться им перед публикой.

— О, ваше превосходительство!.. я даже и не смел бы подумать… но если вы столь добры и великодушны, то это *все,* чего мы только могли бы желать!.. ведь бедные дети, ваше превосходительство… ведь это для них тот же хлеб насущный!..

— Хорошо. Я подумаю… Все, что могу, сделаю для вас непременно… Я постараюсь; будьте уверены! — проговорила губернаторша самым благосклонным тоном и отпустила майора, наградив его новым кивком величественного свойства.

Майор ушел необыкновенно довольный собою и вполне счастливый таким результатом своей

просьбы, после которого он, в простоте душевной, считал существование школы вконец обеспеченным.

* * *

Возвратившись от духовной своей дщери, имевшей обыкновение, во всех почти делах своих, прибегать к пастырскому совету, ксендз Ладыслав тотчас же написал маленькую записочку к учителю Подвиляньскому, в которой убедительнейше просил его пожаловать к себе в возможно скорейшем времени. Записка эта была отправлена с одним из костельных прислужников.

Подвиляньский не замедлил явиться и был принят в скромной приемной комнате, потому что комфортабельный «лабораториум» предназначался у ксензда-пробоща только для самых коротких приятелей. Впрочем, и на этот раз дверь в прихожую была тщательно приперта самим хозяином.

— Припомнил я, — начал Кунцевич, усевшись поближе к своему духовному сыну, — пан поведал мне раз, что имеет знакомство с майором Лубяньским. Цо то есть за чловек тэн пан майор Лубяньский?

— Москаль… и самый заядлый москаль, — отрекомендовал учитель своего знакомца.

Кунцевич, в каком-то соображающем размышлении, многозначительно поднял брови над опущенными в землю глазам ми.

— Гм… так и думал!.. Так и думал!.. — раздумчиво прошептал он, как бы сам с собою. — Гм… А как он вообще до дела… безвредный?

— Н… не думаю, — усомнился Подвиляньский. — Дочка его — та годится, а сам — не думаю.

— Что же он?

— Старый солдат… заядлый схизматик… на царя своего Богу молится… Нет, человек не годящийся!

— А на школу имеет влияние?

— О! И пребольшое! — сам учит, сам над всем надзирает… Учит, конечно, в своем, в московском духе.

— Гм… вот как!.. Это неудобно… неудобно! Ну, а если б от него перенять как-нибудь школу в другие руки, понадежнее?

— Для дела вообще это было бы хорошо. И люди нашлись бы. Я так думаю.

Ксендз внимательно поднял глаза на своего собеседника.

— А есть на примете? — спросил он.

Учитель в знак утверждения склонил голову.

— Из наших? — продолжал Кунцевич с легкой улыбкой.

— То есть нет, из стада — пояснил Подвиляньский; — люди завзятые; повели бы дело бойко.

Ксендз опять опустил глаза в землю и на несколько времени задумался.

— А что, не отказался бы пан, — пытливо начал он, — кабы начальство вмешалось в дело и передало бы пану администрацию этой школы?

Подвиляньский немножко изумился и, в свою очередь, задумчиво стал глядеть на пол.

— Хоть бы на первое время, продолжал каноник, — лишь бы только дело поставить как следует, а там можно будет передать с рук на руки другому надежному лицу из наших; сам в стороне останешься, и опасаться, значит, нечего!

Учитель, в нерешительности, задумчиво пожал плечами.

— Это — дело совести, — спокойным и строгим голосом проговорил каноник, не сводя пристальных глаз со своего духовного сына. — Это — дело Бога и… ойчизны, — прибавил он тихо, но выразительно: ни единым хлебом жив будет человек! надо глядеть в будущее…

Подвиляньский подумал и согласился.

— Только как же мы устроим это? — спросил он.

Ксендз загадочно улыбнулся и слегка развел руками.

— Подумаем и придумаем, с Божьею помощью! — сказал он, покорно склоняя голову, как пред высшей волей Провидения. — Сказано: толцыте и отверзится, ищите и обрящете — ну, стало быть, и поищем! А если что нужно будет, я опять уведомлю пана.

Подвиляньский смиренно подошел к нему под благословение и они расстались.

XII. Иллюзии и разочарования старого майора

В самом счастливом настроении духа, ретиво принялся майор за свои хлопоты. Съездил к старшинам клуба и выпросил залу, околесил полгорода, приглашая участвовать разных любителей по части музыки и чтения, заказал билеты, справился, что будут стоить афишки, с бумагой, печатанием и разноской по городу, и, наконец общими усилиями с Устиновым и Стрешневой, составил программу литературно-музыкального вечера. Оставалось только губернатору разрешить, цензору пропустить, полицмейстеру подписать и затем — печатать и выпускать афишу.

Но судьба готовила майору несколько разочарований, и первое из них наступило для него в ту минуту, когда он приехал к полицмейстеру получить от него разрешенную и подписанную программу.

— Ее превосходительство поручила мне передать вам, — сообщил ему полковник Гнут, — что она по особым и непредвиденным обстоятельствам не может участвовать у вас в концерте; поэтому я уже самолично распорядился вычеркнуть ее имя.

— Эх!.. Как же это так! — с раздумчивым сожалением прицмокнул да покачал головою опешенный Петр Петрович. — Ну, жаль, очень жаль!.. Ее превосходительство была так милостива, сама даже предложила… Мы так надеялись… Очень, очень жаль… А участие ее много помогло бы доброму делу… Много помогло бы!

Он говорил это как-то рассеянно и равнодушно, глядя в переносицу Гнуту, но словно бы и не

видя его.

— Н-да! Но… что же делать! — пожал тот плечами. — Ее превосходительство весьма сожалеет и… даже извиняется; но… она тем не менее готова всячески помочь вам и потому поручила мне взять от вас несколько билетов для раздачи.

— Ее превосходительство сама раздать желает? — осведомился старик.

— Н-да… то есть нет! Она поручила *мне* распорядиться этим делом… Да вы не беспокойтесь — уж я как-нибудь постараюсь.

С скрипучим чувством на душе вышел майор от полицмейстера.

"Вот те, бабушка, и Юрьев день!.. вот те и сочувствие! — с горечью помыслил он; — эдак-то и без вашего превосходительства обошлись бы… Выходит, что просить не стоило!"

Майор однако не унывал. Тридцать билетов он отправил к полицмейстеру да несколько штук вручил для раздачи Устинову с Татьяной Николаевной да самолично позавозил еще кое к кому и весьма многим разослал в конвертах вместе с афишами. И тут-то вот для него начались новые разочарования. Иные отказывались от билетов, говоря что возьмут потом, или что уже взяли, другие поприсылали их обратно — кто при вежливо извинительных записочках, выставляя какое-нибудь благовидное препятствие к посещению вечера, а кто, то есть большая часть, без всяких записок и пояснений, просто возвращали в тех же самых, только уже распечатанных конвертах, чрез своего кучера или с горничною, приказав сказать майору, "что для наших, мол, господ не надо, потому — не требуется". И майор очень сердился на то, что почти все кучера, возвращавшие билеты, переминаясь просили у него же "на чаек-с".

— Ну, уж это и в самом деле, черт знает что! — разводил он руками; — словно бы ты у них для самого себя на бедность выпрашиваешь! Эдакое английское равнодушие! (майор полагал, что вообще англичане все очень равнодушны). Ведь общественный же интерес! Ведь свое же родное, русское дело!.. Тьфу, ты, что за народ нынче пошел!

— Да-с, вот то-то оно и есть! — в ответ на это поддразнивал его Полояров, который почти дня не пропускал без того чтобы не побывать у Анны Петровны и, заодно уж, позавтракать там, либо пообедать, либо чаю напиться. — А кабы *мы-то* делали, так у нас не то бы было.

— Вы!.. Да что такое вы? — досадливо горячился Лубянский.

— Мы-то?.. А мы сила живая — вот мы что. А вы — сила мертвая, ваша песенка спета, оттого и общественного сочувствия вам нет.

— Ну, батенька, пошли! Поехали!

Петр Петрович только рукой махал на это.

Суток за двое до назначенного дня вдруг стало известно по городу, что графиня де-Монтеспан большой «раут» у себя делает, на котором будет весь элегантный Славнобубенск и, как нарочно, дернула же ее нелегкая назначить этот «раут» на то самое число, на которое и майор назначил свой вечер. Вольной или невольной причиной этому явилась все та же очаровательная Констанция Александровна, которая давно уже собиралась к графине, а теперь совсем и из ума ей вон про майорский концерт! — По забывчивости же сама же назначила ей день этого "раута".

Майор просто в отчаяние пришел. Что тут делать! Отложить вечер! Но афиши уже напечатаны да и клуб уступил ему залу только на это именно число. Хоть совсем отказывайся от заветной идеи! Но… и отказываться было уже поздно: все необходимые предварительные расходы уже сделаны, деньги затрачены, а Лубянский вообще был далеко не из числа обладателей излишних капиталов. Оставалось положиться на авось да на волю Божию. Так он и сделал. А тут еще — новый сюрприз: в самый день концерта, часа за два до начала, полицмейстер возвратил ему, из числа тридцати, девятнадцать билетов нераспроданными, извиняясь при этом, что, несмотря на все свои старания, никак не успел рассовать почтеннейшей публике более одиннадцати билетов. Зато в это время, среди всяческих горечей, довелось майору познать и сладость маленького утешения: Болеслав Казимирович Пшецыньский не только не отказался от посланного ему билета, но еще прислал за него, сверх платы, три рубля премии, при очень милой записке, в которой благодарил Петра Петровича за оказанное ему внимание и присовокуплял, будто почитает себя весьма счастливым, что имеет столь прекрасный случай оказать свое сочувствие такому истинно благому и благородному делу, как просвещение русского народа.

— Вот, и судите тут после этого! Ругают человека за то только, что жандармский мундир носит! — горячо увлекался

Петр Петрович, показывая всем и каждому из своих друзей письмо полковника, — а он, хоть и поляк, а посмотрите-ка, получше многих русских оказывается!.. А вы ругаете!

И действительно, друзья Петра Петровича находили поступок жандарма прекрасным и вполне достойным каждого порядочного человека. Особенно ценили в нем, в жандарме, это никем не жданное сочувствие "такому принципу". Один только все отрицающий Полояров умалял значение штаб-офицерского великодушия.

— Эка штука три рубля! — говорил он фыркая и задирая голову. — Оттого и сочувствует, что у Петра Петровича и у самого-то преподавание-то идет почитай что на тех же самых жандармственных принципах; а небойсь, кабы мы вели эту школу, так нам бы кукиш с маслом прислал! Эта присылка только еще больше все дело компрометирует.

— Ну, батенька! Опять пошли-поехали! На вас не угодишь! — отмахивался Петр Петрович.

XIII. В пользу славнобубенской воскресной школы литературно-музыкальный вечер, с участием таких-то и таких-то

В ярко освещенной зале довольно много пустых мест, особенно в первых рядах, но все-таки нельзя сказать, чтобы было уже пусто. Публика мало-помалу набиралась. Приехали даже на короткое время многие из приглашенных на «раут» графини де-Монтеспан, куда явиться было слишком еще рано. Поэтому несколько дам блистали своими чересчур открытыми плечами (славнобубенские жены и дщери вообще очень любят декольтироваться), а мужчины черными фраками и белыми галстуками, — обстоятельство, придававшее майорскому вечеру несколько официально-парадный характер. Задние ряды в зале были даже полны: поддержали господа офицеры Инфляндманландского полка да чиновничество второй и третьей руки, которые преимущественно разбирали билеты при входе, а уж о хорах нечего и говорить: там было битком набито, и душно, и говорно, словно в пчелином улье, ибо верхами почти безраздельно владели гимназисты с семинаристами. Цены, кроме первых рядов, майор поназначал весьма дешевые и потому теперь с живейшим удовольствием стал замечать, что в убытке никак не останется, а кажись еще и желаемую сумму соберет. То были блаженные времена, когда всякие литературные вечера не успели еще утратить своей свежести, своей отчасти "прогрессивно-либеральной" моды.

Вышел Устинов и прочел что-то из Гоголя. Ему умеренно похлопали.

Вышла какая-то дебелая барышня и громко отбарабанила нечто из Мендельсона-Бартольди. И ей тоже похлопали.

Хвалынцев прочитал "Развеселое житье" из щедринских рассказов, а за ним появилась другая барышня и, под аккомпанемент Лидиньки Затц, пропела довольно сносно арию из "Карла Смелого" и романс "Я очи, знал, о, эти очи", составлявший тогда модную слабость града Славнобубенска. И барышне, и Хвалынцеву похлопали дружнее, чем прочим.

Затем на эстраде появился высокий гимназист седьмого класса, Иван Шишкин, который очень хорошо читал стихи. Гимназист был встречен громом рукоплесканий на хорах, и бойко наизусть продекламировал некрасовского «Филантропа», по окончании которого, чтеца вызывали раза три или четыре, причем он форсисто, но неловко раскланивался.

Затем играли, читали и пели разные любители, и публика всех их награждала благодушным хлопаньем. Майор хлопал благодушнее всех остальных и, сидя в уголке, на особом стуле, просто сиял от восторга: тут воочию сбывалась заветная мечта о расширении и преуспеянии его родного детища, его воскресной школы. Он все время находился в какой-то ажитации: то порывисто срывался с места и убегал в смежную «артистическую» комнату, предназначенную для участвующих, то озабоченно приказывал человеку поправить какую-нибудь свечу или лампу, то снова торопился сесть на свое место, чтобы не пропустить начала какого-нибудь нумера и успеть похлопать при встрече исполнителю! А в "артистической комнате", смежной с клубным буфетом, кипел самовар и стоял лимонад с оршадом. Сюда специально прикомандировались Полояров с Анцыфровым и Подвиляньский, которые совсем почти не показывались в зале. Полоярова все эти дни куда как сильно подмывало с эффектом показать свою особу на публичной эстраде; но... хотя боязнь ареста и поуспокоилась в нем, однако же не на столько еще, чтобы рискнуть появлением пред публикой, и Полояров к тому же полагал, что уж если *он* заявит себя, то должен заявить не иначе как только чему-нибудь сильно "в нос шибательным". А это находил он не совсем-то удобным в рассуждении полковника Пшецыньского.

Подвиляньский потребовал из буфета бутылку шампанского и предложил Полоярову с Анцыфровым распить ее по-приятельски. В это время подвернулся на глаза ему гимназист Шишкин.

— Господин Шишкин, пожалуйте-ка сюда- кликнул его учитель. — Вы что еще будете читать?

— "Клермонский собор", Майкова, — словно на экзамене, отчетисто отчеканил юноша, в силу давно уж усвоенной ученической привычки.

— И тоже наизусть будете?

— Наизусть... Я всегда наизусть.

— А не хотите ли для храбрости?

— Чего это-с?

— А вот, стаканчик сладенького?

— Нет-с, покорно благодарю, — смутился юноша.

— Э, полноте! Ведь мы не в классе! Не бойтесь, я не скажу инспектору! — приятельски улыбнулся Подвиляньский, подавая ему полный и довольно уемистый стакан. — Пейте-ка, пейте! Это ведь легонькое винцо, слабое, совсем дамское... Ну, хватите-ка!

— Да я... извините... признаться сказать... принимая стакан, замялся немножко гимназист, ободренный внутренно такою приятельскою фамильярностью своего учителя, — признаться сказать, я уж тут... по секрету... два стакана пуншику хватил... Не много ли-с будет уж?

— Но, что за вздор!.. Не маленький ведь, не свалитесь!.. Сами, батюшка, бывали когда-то в вашей шкуре; знаем, как пьют гимназисты! Ну-ну! для храбрости! без разговоров!

Вконец уже ободренный и подзадоренный юноша, которому сказали столь лестную, хотя и косвенную похвалу, насчет того, как умеют пить гимназисты, слегка поклонился и залпом вылил в себя стакан шампанского. Ему хотелось показать пред учителем и пред этими двумя господами, что он совсем молодец.

— Вот так! по-нашему! по-ученому! — похвалил Подвиляньский. — Берите-ка стул да присядьте.

Гимназист развязно двинул стул и опустился на него совсем уже бойко, что называется, по-гимназически, "с форсом".

— Славно читает стихи, — кивнул на него Подвиляньский, обращаясь к Анцыфрову и Полоярову. — Вы знакомы, господа?

— Еще бы! Ивана Шишкина да не знать! — подхватил пискунок, — ведь на серебряную медаль кончает!.. А?.. Каков?

— Может, и на золотую дернем! не без самодовольно-гордой заносчивости похвалился юноша, покосясь на барышень. Он уже начинал понемногу хмелеть и все более чувствовать себя молодцом.

— А славно, ей-же-Богу, славно декламирует! — воскликнул Подвиляньский и даже прижмурил глазки, будто при воепоминании о том наслаждении, какое доставляет ему декламация Шишкина. — Он... ведь вы с ним не шутите. Он помнит черт знает сколько запрещенных стихов. Кажется, всю "Полярную звезду" наизусть выучил. Память-то богатая какая!.. А?.. Каков?!.. Из "Полярной"-то!" из "Полярной"!.. Послушайте, душечка Шишкин, — искренно и ласково примолвил он, хлопнув гимназиста по колену, — скажите-ка нам "Орла!" А? Не бойтесь! Ничего! Ведь между своими... никто не услышит... шпионов нет, кажись. Прелесть, господа, что за стихи, послушайте!.. Ну, Шишкин, валяйте!

— Да я... не помню... слегка озираясь, отклонился юноша.

— Ну, вот вздор какой, "не помню"!.. На прошлой неделе читал же у меня в классе, а тут вдруг "не помню"!.. Э, батюшка, я не знал, что вы такой трус!

Последнее слово окончательно уже подожгло гимназиста. Он предварительно крякнул и прочел "Орла".

— Браво! Браво!.. молодец, — пискнул было Анцыфров и тихонько захлопал в ладоши.

Полояров в сосредоточенном молчании взял руку гимназиста и выразительно потряс ее.

Подвиляньский, успевший уже мигнуть, чтобы подали вторую бутылку, налил еще стакан юному декламатору, который и не замедлил порядочно из него отведать.

— А вот бы штука-то была, — с оживлением начал учитель, словно под наитием внезапно блеснувшей мысли, — если бы этого самого «Орла» да дернуть сегодня на публичном чтении?

— Браво! браво!.. Отлично! великолепно! — запищал и заерзал на стуле Анцыфров, подслеповато отыскивая свой налитый стакан.

— А что ж? Я бы прочел, да... выдерут, пожалуй? — сомневающимся тоном тихо спросил гимназист, уже полурешившись на эту выходку.

— Выдерут? — угрозливо насупился Полояров, — а вот этого не хотят ли? Пущай попробуют — вкусно ли пахнет!

— Ну-у, где выдрать! — солидно возразил учитель, — теперь и вообще-то не дерут, а тут еще ученик на выпуске. Разве так что-нибудь... в карцер посадят на недельку, и только.

— Так я хвачу!.. Ей-Богу хвачу! — с живостью подхватил Шишкин, срываясь с места.

— Ну, вот вздор какой! Я ведь только так... — пошутил, отклонился учитель, все в том же солидном тоне.

— Отлично бы хватить, да не хватите! — вздохнул Анцыфров.

— Не хвачу? А почему... позвольте узнать... почему вы думаете, что не хвачу.

— Да так, смелости не хватит.

— Смелости?.. У меня-то? У Ивана-то Шишкина смелости не хватит? Ха-ха?! Мы в прошлом году, батюшка, французу бенефис целым классом задавали, так я в него, во-первых, жвачкой пустил прямо в рожу, а потом парик сдернул... Целых полторы недели в карцере сидел, на хлебе и на воде-с, а никого из товарищей не выдал. Вот Феликс Мартынович знает! — сослался он на Подвиляньского, — а вы говорите смелости не хватит!.. А вот хотите докажу, что хватит? Мне что? Мне все равно!

— Нет-с, тут, батюшка, не парик и не жвачка, — оппонировал пискун, — тут нечто побольше да посерьезнее, да и подоблестнее-с!.. Тут гражданское мужество нужно-с!

— А вот увидим, коли так! Увидим! — хорохорился гимназист, у которого голова ходенем пошла с двух стаканов шампанского.

— Ну, нет, не делайте глупостей! — стал было солидно урезонивать Подвиляньский, и эта солидность оказалась у него очень искусно сделанною, так что даже на посторонние глаза ее смело можно бы было принять за солидность настоящую и вполне искреннюю.

— Чего там не делайте! — обернулся на него Шишкин, — они меня за труса считают, так нет же, черт возьми! Я им докажу!

— Господин Шишкин! Господин Шишкин! — хлопотливо вбежал в комнату Петр Петрович. — Пожалуйте поскорее, ваш черед!

Шишкин бойко и самоуверенно взошел на эстраду. Полояров, Анцыфров и Подвиляньский с любопытством ожидания подошли к дверям и приготовились слушать.

— "Орел!" — раздался звучный голос декламатора. Анцыфров пискнул, хихикнул и даже присел от удовольствия.

— Молодец!.. Ей-Богу, молодец!.. Я никак не думал, — прошептал он.

По зале понеслись звучные строфы:

"Я нашел, друзья, нашел,
Кто виновник бестолковый
Наших бед и наших зол!
Виноват во всем гербовый,
Двуязычный, двухголовый
Всероссийский наш орел!"

И пошел, и пошел все дальше да дальше… По зале понеслось волнение, шепот, недоумение; удивление, слушатели оглядывались друг на друга и вокруг себя, иные опасались за смелого чтеца, иные искали глазами, не слушает ли где-нибудь полиция…

Эффект вышел полный и неожиданный.

Лубянский побледнел и стоял, словно бы на него столбняк нашел. Взволнованный и перетревоженный, в страхе за чтеца, он искал глазами Пшецыньского, но того не было в зале. Полковник ограничился только присылкою премии, а сам не почтил вечера своим присутствием.

Но в сущности легче ли было от этого? Изменило ли его отсутствие хоть сколько-нибудь участь пьяного Шишкина? И едва кончил он, как раздался взрыв неистовых криков и топанья. Особенно отличались хоры, шумевшие по двум причинам: первая та, что читал свой брат гимназист, которого поэтому "нужно поддержать"; а вторая, читалось запрещенное — слово, вечно заключающее в себе что-то влекущее, обаятельное.

Большинство вопило "браво!" и требовало "bis!". Только немногие сохраняли необходимую сдержанность и приличие, и в числе этих немногих между прочим были доктор Адам Яроц и сам Подвиляньский, незаметно проскользнувший в залу. Теперь он старался держаться на глазах у всех и с видом серьезного равнодушия оглядывал неиствовавшую часть публики.

Одурманенный вином и успехом, Шишкин шел уже на эстраду с тем, чтобы повторить «Орла», как вдруг из одного конца залы смело раздалось резкое шиканье.

Все обернулись в ту сторону. Там, приложив щитком руки к губам, что есть мочи шикал один только человек. И этот один, к удивлению многих, был Устинов.

— Молчать!.. Не шикать!.. Кому не нравится, так вон!.. Не мешайте слушать!.. Долой шикальщика!.. A bas le siffleur![44] с разных концов залы раздалось несколько ретивых, задорных голосов.

Устинов, не обращая внимания, продолжал свое дело.

К счастию, Шишкин не был допущен на эстраду. Майор, удержал его за руку и почти насильно увел в "артистическую комнату".

— Что вы наделали!.. Господи! Что вы наделали! — в ужасе качал он головою, заслоняя собою гимназисту проход в шумевшую залу.

— Вы думаете, выдерут? Не бойсь, не посмеют!.. В карцер разве, а это — нет! Пустите меня, публика требует! — порывался тот, стараясь выскользнуть из рук Лубянского.

А публика все еще шумела, стучала, хлопала… Скандал был полный и всесовершенный.

Частный пристав возвысил было голос, — несколько человек вытолкали его вон из залы и наглухо захлопнули входную дверь.

Майор был в отчаянии и поспешил выслать на эстраду двух барышень: поющую, и вопиющую, которые громогласным дуэтом хотели заглушить стук и крики. Некоторое время длилась борьба между пением и шумом, но храбрые и стойкие барышни преодолели публику — и она наконец снисходительно замолкла.

Вечер кончился как-то странно. Одни выходили из залы в недоумении, другие, то есть большинство, весьма шумно. Там и сям, как последние выстрелы отступающих солдат, раздавались еще выкрики, "Шишкина!.. *Орла*! Bis!.. Браво!.. Шишкина!"

— Это с какой стати вы шикать изволили? — дерзко вызывающим тоном обратился к Устинову Полояров.

— С такой, что если раз уже сделана глупость, то не следует повторять ее! — решительно отчеканил Устинов, не смутясь от полояровского взгляда.

— А в чем эта глупость, по-вашему, и почему это не повторять ее, позвольте полюбопытствовать?

— Глупость в том, что она вредит хорошему почтенному делу, а повторение ее могло бы отозваться еще более горькими последствиями для Шишкина.

— Все это вздор! Никаких последствий не будет и быть не может! Тут голос общественного мнения-с!

— В таком разе напрасно сами вы не вышли вместо гимназиста и не прочли «Орла». Скажите, пожалуйста, отчего это вы пропустили такой прекрасный случай?

Последний вопрос был предложен с весьма чувствительною едкостью и попал прямо по назначению. Полоярову нечего было ответить и потому, промычав ироническое "гм!", он отвернулся от Устинова.

XVI. Кому досталось расхлебывать кашу

На другое утро к воротам майорского домика прискакал казак и привез Петру Петровичу повестку из губернаторской канцелярии.

Эта повестка вызывала его прибыть к его превосходительству в одиннадцать часов утра. Лаконизм извещения показался майору довольно зловещим. Он знал, он предчувствовал, по поводу чего будут с ним объяснения. И хуже всего для старика было то, что не видел он ни малейших резонов и оправданий всему этому делу.

Когда майор вступил в губернаторскую залу, там уже толкались кое-какие силы официального мира. Правитель канцелярии и несколько чиновников ожидали со своими докладами; лихой полицмейстер Гнут расхаживал с рапортом; дежурные — канцелярист и квартальный суетились около каких-то шнуровых разграфленных книг и сортировали только что полученные

пакеты. Лихой Гнут попытался было мимоходом окинуть майора внушительно-строгим, соколиным взглядом; но того этот взгляд не смутил нимало. В своем мундире, тщательно вычищенном и щеткой, и метелкой, при всех регалиях, стоял майор у окна и с тайной смутой на сердце ожидал что-то будет.

Пробило одиннадцать, — губернатор не показывается.

Пришел черненький Шписс, небрежно мотнув головой на поклоны некоторых чиновников, фамильярно подал руку правителю канцелярии и приятельски заболтал с подполковником Гнутом о вчерашнем «рауте» графини. Пришли и еще двое чиновников по особым поручениям, из которых один обладал весьма либеральной бородой, либеральными усами, либеральной прической и либеральными панталонами. Он небрежно поигрывал стальною цепочкою от часов, которая изображала собою в некотором роде кандалы, с ядром и "мертвою головою". Либеральный чиновник желал обратить внимание присутствовавших на свою цепочку и, действительно, лихой Гнут вскоре заметил ее:

— Посмотрите, господа, какая оригинальная цепочка!

И все кинулись рассматривать цепочку либерального чиновника. Один только ничему не причастный майор по-прежнему оставался у окна.

— Это — Жан-Вальжан, цепь каторжных галерников, — самодовольно пояснил чиновник, — совсем новая новинка! Только что получены.

— Где? где? скажите пожалуйста! У кого это? — хором насели на него заинтересованные чиновники.

— В Сарептском магазине… Целая партия прислана.

— А! надо купить!.. непременно надо! Отличная штука!

И чиновники долго еще любовались Жан-Вальжаном своего либерального собрата.

Пробило половину двенадцатого — нейдет губернатор. Чиновники по особым поручениям либерально расхаживают по зале вместе с «правителем» и Гнутом, тогда как все почтительно дожидаются, не двигаясь с места.

Вот на минуту растворилась дверь, и вышел из нее, вполне серьезный, полковник Пшецыньский, представительно бряцая шпорами и поддетою на крючок саблей, причем кисточки его серебряных эполет болтались весьма эффектно. Он на ходу ответил любезным склонением головы на общий поклон чиновников и, с озабоченным видом, прошел в прихожую, мимо майора, которого хотя и видел, но будто не заметил.

Пробило двенадцать. Опять на минуту растворилась дверь, и губернаторский лакей пронес на подносе корзинку с хлебом, да два пустые стакана после кофе.

Либеральные чиновники продолжают расхаживать, болтая о «рауте», о madame Пруцко, о Людовике Наполеоне, об Шмитгоф, о какой-то статье в «Современнике», о внезапном повышении по службе какого-то Кузьмы Демьяновича, о новом рысаке Верхохлебова… и о многих иных, подобных предметах, о которых вообще и всегда, от нечего делать, болтают губернаторские чиновники в ожидании своего патрона.

Но вот раздался кабинетный звонок, и дежурный канцелярист, застегивая последнюю

пуговицу вицмундира, со всех ног бросился на призыв его превосходительства. По прошествии некоторого времени он опять показался в зале и собственноручно открыл самым торжественным образом половину двери. Послышались веские шаги, с легким скрипом — и в дверях появился Непомук Анастасьевич Гржиб-Загржимбайло.

— Где? — лаконично произнес он, обратив вопросительный взгляд на дежурного.

Тот указал рукой на майора.

Губернатор, отдав всем общий поклон, вышел на середину залы и остановился. Он не позвал майора в кабинет, но нарочно хотел «распушить» его в зале при всех, дабы все видели непомуковскую строгость и высшую благонамеренность.

— Пожалуйте-ка сюда, господин Лубянский! — издали обратился он к Петру Петровичу тем официально-деревянным тоном, который не предвещал ничего доброго. Старик и чувствовал, и понимал, что во всяком случае ему решительно нечего говорить, нечего привести в свою защиту и оправдание, и потому он только произнес себе мысленно: "помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!" и, по возможности, твердо и спокойно подошел к губернатору.

— Что это у вас такое произошло! грозно загнусил и засопел его превосходительство. — Воззвание к бунту!.. Демонстрации!.. Порицание правительственного принципа!.. И вы думаете, что я это потерплю? Вы думаете, что со мною можно безнаказанно такие шутки шутить?.. Да знаете ли, милостивый государь, что я вас административным порядком в двадцать четыре часа из города вон в Тобольскую упрячу!.. Вы у меня народ агитировать, молодежь развращать!.. Я вырву с корнем это гнусное семя!.. Стыдитесь! вы — старик, штаб-офицер; на вас эти кресты, эти медали — и вы… вы…

Последний незаслуженный упрек был слишком горек и обиден старому солдату. Он Побледнел и задрожал от волнения,

— Ваше превосходительство… ваше превосходительство! — возвысил он голос, — в вашем положении оскорбить человека легко-с. Но… я за двух моих государей двадцать пять лет мой лоб и мою грудь подставлял… я одиннадцать ран имею-с, так не мне, на старости лет, подуськивать на бунты!

И повернувшись, он твердыми шагами пошел из комнаты.

— Стойте! — закричал ему вслед губернатор.

Майор словно бы и не слышал.

— Стойте же, говорю я вам!.. Я еще не кончил… Остановите его.

Дежурный квартальный преградил ему выход.

Потухшие глаза майора вдруг сверкнули нестарческим огнем. Если бы полицейский офицер только дотронулся до него… было бы не хорошо. Петр Петрович на мгновение замедлился перед ним, словно бы соображая, на что ему решиться. Улыбающееся личико дочери вдруг мелькнуло в его воображении — и этот спасительный образ, к счастию, удержал его от многого…

— Потрудитесь вернуться… и выслушать! — кричал между тем Гржиб-Загржимбайло.

Лубянский подошел к нему твердым шагом.

— Из уважения к вашим сединам, я не хочу лишить вас покоя и потому оставляю в городе, — продолжал Непомук уже гораздо сдержаннее. — Но за подобные вещи отдают, по крайней мере, под строгий надзор полиции… После этого я не имею права дозволить вам учить детей и не могу оставить школу в ваших руках. Но я не хочу также, чтобы бедные дети, которые ни в чем не виноваты, благодаря вам, лишились того образования, которое уже они получали; поэтому я учреждаю над школой административный надзор, и вы потрудитесь передать заведывание ею тому благонадежному лицу, которое будет мною назначено!.. Ему же передадите вы отчет и сумму от вчерашнего вечера. Теперь можете идти!

И он вежливым, но очень выразительным жестом указал на дверь майору.

Старик, почти не помня себя, вышел на улицу убитый, оскорбленный, уничтоженный и разом лишенный лучшего и заветнейшего дела своей тихой и честной старости.

XV. Конференция совета гимназии

Объявление, положенное на столе сборной учительской комнаты, извещало господ учителей об экстренном заседании совета гимназии, которое имеет быть сегодня, в два с половиною часа пополудни. Учителя более или менее знали уже о чем пойдет речь на этом заседании.

В половине третьего, по окончании классов, когда гурьба гимназистов с гамом и шумом высыпала на улицу, учителя собрались в конференц-залу, по стенам которой стояли высокие шкафы с чучелами птиц и моделями зверей; на шкафах — глобусы и семь мудрецов греческих; на столах и в витринах около окон — электрические и пневматические машины, вольтов столб, архимедов винт, лейденские банки, минералогические и археологические коллекции. По средине залы стоял длинный стол, покрытый красным сукном, и вокруг него ряд кресел. На площадке, перед этой комнатой дожидалась чего-то бедно одетая старушка и молча, но с невыразимо-тоскливой мольбой во взоре провожала каждого входившего в дверь конференц-залы. Пока еще директор не занял председательского места, члены совета в группах разговаривали между собою. Устинов отозвал Подвиляньского в сторону и сказал ему тихо:

— Я надеюсь, Феликс Мартынович, вы употребите все усилия, все старания, чтобы облегчить участь Шишкина… Это — долг вашей совести, Феликс Мартынович! — прибавил он с удобопонятною для Подвиляньского выразительностью.

— Конечно… все, что могу… — процедил тот сквозь зубы.

Раздался призывный колокольчик — и учителя заняли свои места.

— Предварительно обсуждения главного вопроса нынешней конференции, начал директор, видимо стремившийся усвоить себе парламентские формы, — я должен сообщить вам, милостивые государи, вот что: сегодня приглашал меня к себе его превосходительство Непомук Анастасьевич для совместного обсуждения весьма важного вопроса о воскресной школе. После всего происшедшего во вчерашний вечер, его превосходительство полагает совершенно невозможным оставить заведывание школой в руках майора Лубянского, ни дозволить ему дальнейшее преподавание. Это крайнее и последнее решение. Его превосходительство намерен предложить администрацию и наблюдение за ходом преподавания в школе господину Подвиляньскому и спрашивал меня о благонадежности Феликса Мартыныча в политическом и нравственном отношении. Я, с своей стороны, конечно, мог дать только самый лестный отзыв.

Подвиляньский при этом слегка поклонился с скромной улыбкой благодарности.

— Что касается меня, — продолжал директор, — я не нашел ничего против предложения его превосходительства и в принципе совершенно соглашаюсь с ним. Остается только узнать на этот счет решение самого Феликса Мартыныча, и если Феликс Мартыныч согласен, то…

— Я соглашаюсь, — подхватил Подвиляньский. — Конечно… у меня есть много занятий, но… для пользы такого дела… просвещение народа — вы сами, конечно, понимаете… я не считаю себя вправе отказаться.

— В таком случае я извещу об этом Непомука Анастасьича, а вы потрудитесь завтра утром отправиться к его превосходительству, и он сообщит вам некоторые инструкции.

Феликс Мартынович поклонился вторично в знак полного и покорного своего согласия.

— Как!.. Позвольте-с? — поднялся с места озадаченный и даже ошеломленный Устинов; — но ведь эта школа — дело совершенно частное; какое же тут вмешательство…

— Разрешение на школу дано все-таки администрацией, — решительно перебил директор, — и если направление преподавания или дух школы идет вразрез с правительственными видами, администрация всегда имеет полное право…

— Но ведь надо же сперва узнать, надо исследовать, по крайней мере, все дело! Ведь так нельзя же! Ведь это что ж такое, наконец!!.. Вредный дух школы — да Господи Боже мой! взгляните прежде…

— Я ничего не знаю; это касается администрации; можете к ней адресоваться, — настойчиво прервал директор Устинова. — Администрация во вчерашнем происшествии имеет налицо достаточно красноречивый факт, против которого я не нахожу возможности спорить, и если заговорил об этом, то для того только, чтобы передать Феликсу Мартынычу решение, до него лично касающееся. Засим дебаты об этом предмете я считаю оконченными и предлагаю перейти к главному нашему вопросу.

Будто почувствовав важность этой минуты, все как-то подбодрились, оправились, подвинули ближе к столу свои кресла и приготовились слушать.

— Вам, милостивые государи, — начал директор, вздохнув с печально важным видом, — известно уже вчерашнее грустное происшествие; поэтому я избавлю себя от прискорбного труда повторять вам сущность его. Все вы и без того хорошо знаете дело. Антон Антоныч, — обратился он к инспектору, — как распорядились вы с Шишкиным?

— С утра еще посажен в карцер, на хлеб и на воду.

— Это хорошо-с. Теперь, господа, вашему обсуждению предлежит вопрос: что сделать с ним? Господин Шепфенгаузен, вы, как младший, потрудитесь изложить нам ваше мнение, — отнесся председатель к учителю чистописания, черчения и рисования.

— С большинства загля-асен, — сгибая коленки и оскаля глупой улыбкой свою лошадиную челюсть, приподнялся скромный и немногоглаголивый господин Шепфенгаузен.

— Очень хорошо-с. Господин Краузе?

— Висекать и вигонать, — решил учитель немецкого языка.

— Очень хорошо-с. Monsieur Фуше! Votre opinion.

— Oh, oui! розг, et cachot, et вигани-и… et tout! ce que vous voulez! O, c'est un grand gaillard ce Chichkin!..[45] Эти сквэрн мальшишк! Tout, ce que vous voulez, monsieur le directeur! et вигани, et cactôt, et розг — voilà mon opinion![46] — жестикулировал учитель французского языка, который точил против Шишкина старый зуб еще за прошлогодний бенефис с жвачкой и сдернутым париком.

— Очень хорошо-с. Не угодно ли вам, господин Подвиляньский?

— С большинством согласен, уклончиво ответил учитель латинского языка.

— То есть, позвольте-с! как же это с большинством? — сказал Устинов, в упор и строго глядя в глаза ему; — до сих пор большинство за розги и исключение? И вы тоже на стороне большинства?

— Господин Фуше имеет свои основания подать мнение этого рода, — опять-таки уклонился Подвиляньский, обращаясь не к Устинову, но ко всем вообще. — Я прошу позволения напомнить совету, что прошлого года этот самый Шишкин высидел полторы недели в карцере за грубые дерзости, которые он позволил себе относительно господина Фуше.

— Я нахожу, что напоминание ваше едва ли уместно, — покраснев от негодования, сдержанно проговорил Устинов. — Были другие, которые были виноваты гораздо более Шишкина, но Шишкин не захотел выдать товарищей и на самом себе понес все наказание. Я нахожу, что это черта весьма благородная.

— Итак, Феликс Мартынович, ваше мнение? — обратился председатель к Подвиляньскому.

— Остаюсь при прежнем, — коротко поклонился тот.

Устинов поглядел на него честными, изумленными глазами.

— Вы что скажете, Андрей Павлович? — повернулся директор к Устинову.

— Я скажу одно, — поднялся меленький математик, — пощадите, господа, молодого человека!.. Если у вас есть в сердце хоть капелька человеческой крови — пощадите его! Он виноват — не спорю. Ну, выдержите его в карцере, сколько вам будет угодно; ну, лишите его домашних отпусков до конца курса; ну, постарайтесь представить пред собранием товарищей весь позор, всю глупость его проступка; но только, Бога ради, не выгоняйте его!

— Это будет весьма недостаточное наказание: поступок его заражает большинство весьма дурным примером, — заметил инспектор.

— Эх, Антон Антонович! — возразил Устинов. — Видно, что своих детей у вас нет и никогда не было!.. Как это все легко говорится!.. Ведь Шишкин способнейшая, даровитая голова! Ведь он у нас который год первым учеником идет! Ну, натура у него немножко широкая, русская, увлекающаяся натура, но ведь он честный юноша! Ведь ему через два месяца курс кончать, из гимназии выходить, а вы вдруг хотите лишить его всего, — всего, за одну глупость, которую вдобавок и сделал-то он, как я не без основания подозреваю, по чужому внушению.

Подвиляньский, при этих словах, отчасти изменился в лице и стал сосредоточенно обмахивать обшлаг своего вицмундира, словно бы в нем засела какая-то упрямая пылинка.

— Господа! — продолжал Устинов, — здесь, за дверью, как жизни или смерти ожидает вашего решения несчастная старуха-мать этого Шишкина. Ведь вся ее радость, единственная надежда, единственный кусок хлеба на старости лет… Пощадите же Христа ради!

— Для чего же вы сами шикали вчера! — ехидственно спросил Подвиляньский.

Устинов, прежде чем ответить, посмотрел на него холодно-презрительными и строгими глазами.

— А я вас спрошу, начал он веско и размеренно: — для чего *вы* подуськивали его?

— Как!.. Позвольте, милостивый государь. Где? Когда я подуськивал его! — горячо сорвался с места Феликс Мартынович. — Я?.. Я, напротив, удерживал, отговаривал его, у меня есть свидетели, очевидцы… Я представлю доказательства!.. Я не позволю никому оскорблять меня таким образом! Я не могу допустить, чтобы так нагло клеветали на мою благонамеренность!.. Это уже называется подкопами…

— Обвинение столь важно, перебил председатель, — что я полагаю лучше допросить об этом первоначально самого Шишкина… Пусть он нам скажет внушал ли ему кто или нет. Антон Антонович, распорядитесь, пожалуйста, чтобы привели его сюда из карцера.

Чрез несколько минут подсудимый стоял пред ареопагом своих наставников и воспитателей. Едва успел он войти, как Подвиляньский, упреждая возможность первого вопроса со стороны директора, к которому арестант, естественно, не мог быть подготовлен, стремительно поднялся вдруг с кресла и с особенною торопливостью обратился к гимназисту:

— Господин Шишкин! Как *честный человек,* скажите откровенно, останавливал ли я вас, чтобы вы не делали этой глупости? Скажите по совести!

Шишкин поглядел на него пристально и твердо ответил:

— Да, говорили… Останавливали.

Подвиляньский с гордым презрением вымерял торжествующим взглядом Устинова.

— Повремените немного! — сказал ему последний, очень хорошо поняв значение этого безмолвного торжества. — Господин Шишкин! Я не хочу допустить мысли, чтобы вы сделали ваш проступок без чьего-нибудь постороннего побуждения. Скажите откровенно, кто подуськал вас на это? Или как, по крайней мере, вследствие чего пришла вам эта несчастная мысль прочесть "Орла"?

Подвиляньский опять почувствовал маленькую неловкость и опять было прибегнул к старательному обтиранию обшлага; но из этого беспокойного положения, к счастию, вывел его преподаватель географии Бенедикт Кулькевич.

Шишкин еще не собрался ответить, как уже раздался голос этого Бенедикта.

— Я полагаю, — начал он, — вопрос господина Устинова не совсем уместен; мы здесь, во-первых, не следственная по политическим делам комиссия…

Последняя фраза была сказана с такою едкою иронией, которая прямо била на то, чтобы подействовать на щекотливую струнку самолюбия членов.

— Да, но мы здесь тем не менее решаем судьбу молодого человека! — горячо перебил его Устинов.

— Во-вторых — продолжал Кулькевич, не обратив внимания на это возражение, — мне кажется, что такой вопрос даже оскорбителен для самого господина Шишкина. — По крайней мере, если б я был на его месте, я бы оскорбился за мое самолюбие: господин Устинов как будто предполагает в господине Шишкине совсем глупенького неразумного ребенка, мальчишку, дурачка, которого так вот вдруг можно взять да и подуськать на что-либо; как будто господин Шишкин недостаточно взрослый и самостоятельный юноша, чтобы действовать по собственной инициативе? Впрочем, это только мое личное мнение; может, кто и «подуськивал» его, я не знаю. Об этом он сам, конечно, лучше знает.

Сказано все это было как нельзя более кстати, и расчет оказался верен. Шишкин, как один из лучших и притом бойких учеников, естественно, был самолюбив. Кулькевич знал за ним это качество и его-то именно решился задеть в нужную минуту. Восемнадцатилетний юноша переживал то время, когда школьнический гимназический мундир становится уже тесен, мал и узок на человеке, когда самолюбие тянет человека на каждом шагу заявить себя взрослым, когда он, так сказать, борьбою добывает себе эту привилегию на взрослость в глазах тех, которые продолжают еще считать его мальчишкой и школьником.

— Меня никто не уськал… Я сам читал, по своему побуждению, — с достоинством проговорил юноша. Честный малый — он даже был убежден в эту минуту, что свершает некий подвиг гражданского мужества.

— Хорошо-с, можете отправляться обратно в карцер! — сухо ответил ему на это директор.

Когда арестант удалился, Подвиляньский, весь пылая чувством гордого и удовлетворенного достоинства, смело и твердо поднялся с места.

— Господа! — возвысил он голос, — после того, что сказано здесь самим Шишкиным, я не считаю нужным отвечать на обвинение господина Устинова: пускай он сам назовет его достойным именем.

— Я остаюсь при прежнем своем мнении — стойко и не смутясь ответил Устинов, — и только прибавлю к нему одно, что *легально* вы остались совершенно правы, с чем вас и поздравляю.

— Так после же этого!!.. — запальчиво вскочил было Феликс Мартынович, но председатель прекратил их прение настойчивым призывом к порядку и продолжал отбирать мнения членов совета.

Большинство трех голосов оказалось на стороне исключения. Два из них принадлежали самому председателю, который некоторое время колебался было, отдать ли эти два голоса в пользу устиновского предложения, или в пользу его противников, но из столь затруднительного колебания его опять-таки все тот же находчивый и предусмотрительный Феликс Мартынович Подвиляньский.

— Господа, — сказал он с видом величайшей искренности, положив руку на сердце. — Верьте моей совести, я от души рад бы был сделать все возможное, лишь бы только облегчить участь молодого человека, я вполне сочувствую господину Устинову и прочим, которые подали голоса против исключения, но, господа!.. все это вполне бесполезно! Проступок Шишкина не такого рода, чтобы администрация оставила его без внимания: доказательство — сегодняшнее решение господина губернатора. Они уже знают об этом! Если мы не исключим Шишкина, его

все-таки заберет в свои лапы жандармерия и, стало быть, все-таки, volens-nolens,[47] он будет исключен, а мы, между тем, можем подвергнуться со стороны министерства серьезному замечанию в потворстве… заподозрят благонамеренность нашего направления — и что ж из того выйдет? Какая польза, я вас спрашиваю? Ни себе, ни ему! Лучше же умыть руки, сделать достодолжное и — дальнейшее предоставить администрации: как там себе хотят, так пусть и делают, абы мы в стороне были!

Этот взгляд, бесспорно, имел на своей стороне много эгоистически-успокоительного и, стало быть, весьма подкупающего, а потому председатель и отдал свои голоса в пользу исключения.

Конференция окончилась. Члены совета оставляли залу и выходили на ту площадку, где ожидала скромно одетая старушка.

Едва показался инспектор, как она, в величайшем напряжении ожидания, в борьбе между страхом и надеждой, молча, но с выразительным вопросом в глазах и во всем лице своем подступила к Антону Антоновичу.

— К сожалению, ничем не могу утешить вас, сударыня! — грустно пожал он плечами: — большинством голосов ваш сын присужден к исключению из гимназии. Завтра утром можете явиться за его бумагами.

Старуха страшно побледнела, нижняя челюсть ее вдруг как-то бессильно отвалилась от верхней, подбородок заметно запрыгал, задрожал и сама она вся затряслась, да как стояла, так и хлопнулась на месте о каменные плиты помоста.

— Господин Подвиляньский! — с силой схватил вдруг Феликса за руку взволнованный Устинов.

Он говорил с трудом, почти задыхаясь. В его зрачках сверкало вдохновение бешенства. Феликс оробел и попятился.

— Господин Подвиляньский, — повторил он, все крепче сжимая его руку между локтем и кистью, — вы… вы подлец!

Это страшное слово было громко и смело брошено ему в лицо в присутствии всех сотоварищей по службе, и после этого слова Устинов с презрением, даже более, с омерзением, словно от какой-нибудь холодной и склизкой гадины, отдернул от него свою руку.

— Господа!.. господа!.. вы слышали? — взволнованно забормотал потерявшийся учитель. — Я этого не могу так оставить… Мое имя… моя честь… Я требую сатисфакции!.. Сатисфакции!

— К вашим услугам! — сходя со ступенек и, по-видимому, уже спокойно, с полным самообладанием, обернувшись к Феликсу, поклонился Устинов.

XVI. Вызов

Скромно пообедав обычным образом за четвертак в кухмистерской на Московской улице, но невольно найдя все три блюда какими-то пресными, безвкусными, Андрей Павлович Устинов отправился восвояси напиться чаю да отдохнуть часок-другой пока до вечера. После давешней крутой сцены он чувствовал какую-то усталость, какой-то упадок в груди; весь он как-то был утомлен, разбит, словно бы после длинного перехода или после непомерно долгой верховой езды, но только это была усталость и разбитость не совсем физическая, а более моральная, душевная, — ощущения, которые, впрочем, почти всегда сопровождают и сильную усталость физическую. Организм просил сна, покоя, отдохновения, потому что экстаз бешенства

непременно обессиливает человека.

Послеобеденное время было обыкновенного порою, когда Хвалынцев заходил поболтать к Устинову. Так уж делал он раза три или четыре. Подходя к дому, учитель и сегодня почти у самых ворот столкнулся со старым своим приятелем. Нынче он обрадовался ему более, чем когда-либо: для человека очень часто есть томительная потребность поделиться с другою сочувствующею душою своими чересчур уж сильными ощущениями и мыслями, которые переполняют вместилище его внутреннего мира. Тем отраднее потом, после этого влияния, будет отдохновение, несущее с собою мир и покой душевный.

Но не успели приятели распить по стакану чая и не успел еще Устинов окончить свой рассказ, как в дверь его постучались.

— Войдите, — пригласил учитель с недовольной миной.

Вошел Полояров вместе с Анцыфровым, и оба, не снимая ни пальто, ни галош, подошли к Андрею Павловичу.

— Мы к вам от Подвиляньского, — тотчас же начал Ардалион, не садясь по приглашению, но опираясь на свою дубину, — и предваряю, по весьма нелепому поручению, которому я, по моим принципам, нисколько не сочувствую, но не отказался единственно из дружбы. Он вас вызывает на дуэль, а мы вот секунданты его.

И проговорив это, Полояров засмеялся, словно бы сказал или услышал самую наивную глупость.

Устинов тоже слегка улыбнулся и, в ожидании, что из этого воспоследует далее, слегка поклонился.

— Ну-с? — проговорил он, видя что Полояров как-то переминаясь комкает свою серую шляпу.

— Да что «ну-с»… "Ну-с" по-немецки значит орех! А я нахожу, что все это глупость! Какая тут дуэль? По-моему просто: коли повздорили друг с другом, ну возьми, друг друга да и потузи сколько душе твоей угодно!.. Кто поколотил, тот, значит, и прав!.. А то что такое дуэль, я вас спрашиваю? Средневековый, феодально-аристократический обычай! Ну, и к черту бы его!.. Но в этом в Подвиляньском все-таки этот гонор еще шляхетский сидит, традиции, знаете, и прочее… Так вот, угодно что ли вам драться?

Устинов пожал плечами.

— Может быть, оно и очень глупо, отвечал он с усмешкой, — и спорить об этом мы с вами, конечно, не станем, но… если меня вызывают, я не считаю себя вправе отказаться, чтобы не подать повод, хотя бы даже и господину Подвиляньскому, обозвать меня малодушным трусом. Передайте ему, господа, что я согласен.

Это неожиданное согласие видимо озадачило обоих секундантов: они словно бы и не ожидали получить его.

— Подвиляньский, впрочем, требует, — торопливо вмешался пискунок Анцыфров, — чтобы вы при всех учителях извинились перед ним и взяли назад свои слова. Он только в крайности, ежели бы вы не согласились на это, предлагает вам дуэль… В противном случае, он поручил передать вам, что он найдет свою собственную расправу.

Учитель вспыхнул от негодования.

— Ну, я хоть и мал да крепок, возразил он весьма внушительным тоном, — и меня застращивать да запугивать нечего! Расправа, о которой вы говорите, будет для господина Подвиляньского пожалуй что поубыточнее чем для меня! Но… я, во всяком случае, извиняться не стану, и сколь ни находит это глупым господин Полояров, предпочитаю дуэль, и принимаю ваш вызов.

Оба приятеля опять на некоторое время остались вполне озадачены таким решительным поворотом дела, и не то недоумело, не то совещательно переглянулись между собою.

— Когда же вы намерены драться? — спросил Ардальон после минутного раздумья.

— Это совершенно все равно. Когда ему будет угодно.

— Он хотел бы завтра утром, так, часов в восемь.

— Ну, в восемь так в восемь, я ничего не имею против.

— А на чем вы воевать желаете?

— И это точно так же совершенно все равно для меня: я ни на чем не умею.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-а! Эх, вы воители!.. Как же это так-то?.. Ну, не лучше ли же по-моему на кулачьях?.. Ха-ха-ха!..

— Впрочем, Подвиляньский желал бы лучше на пистолетах, опять вмешался пискунок не без некоторой многозначительности в тоне. — Вы как на этот счет думаете, господин Устинов?

— Ну, на пистолетах, так на пистолетах.

— И будете стрелять? — недоверчиво, но шутливо спросил Полояров.

— Вас, конечно, не попрошу за себя.

— Ха-ха-ха!.. Да я и не пошел бы. Нашли дурака!.. И то уж и в секунданты-то, так только, по дружбе. Ну, а кто же у вас секундантом-то будет?

— Я буду, — отозвался Хвалынцев.

— Вы?.. Ну, очень приятно!.. Значит, по крайности, выпивку после того хорошую устроим, ась?

— Нет, уж пить вместе с господином Подвиляньским мы не станем, сухо и резко возразил Устинов. — Довольно с него и этой чести, что я не отказываюсь от его вызова.

— Ну, ладно! — была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил! Так так-то-с? Значит, воюем? Ну-с, а вы, господин секундант, заезжайте ко мне, либо я к вам зайду; прощаясь обратился Полояров к Хвалынцеву; — надо ведь еще насчет места условиться.

Студент обещал заехать в девять часов вечера, и секунданты Феликса Мартыновича удалились.

— Как тебе нравится еще эта милая выходка? — обратился, по уходе их, учитель к своему приятелю.

— Ничего из этого не выйдет! — с полною уверенностью отвечал тот; — просто-напросто запугать хотел.

— Ну, не на таковского напал, дружочек!.. Я, признаться, с первого же слова, почувствовал это. Однако, что ж теперь делать? — в недоумении пожал плечами учитель, — ведь вся эта штука очень сильно глупостью попахивает.

— Так-то оно так, — согласился Хвалынцев, — и потому-то вот до времени ровно ничего не следует делать. Погоди, вот в девять часов я поеду к нему, тогда поглядим, а теперь ложись-ка спать; тебе успокоиться надо.

Устинов охотно последовал совету старого товарища и, проводив его от себя, завалился на свою кушетку. Не прошло еще и пяти минут, как он уже храпел глубоким и темным сном сильно усталого человека.

XVII. В ожидании роковой минуты

— Ну, брат Андрюша, вставай! просыпайся! — разбудил учителя Хвалынцев, вернувшись к нему в половине десятого: — дело всерьез пошло!.. Как ни глупо, а драться, кажись, и взаправду придется.

— Был у Полоярова? — протирая глаза, потянулся и зевнул Устинов.

— Сейчас только оттуда. Деретесь завтра, как назначено, в восемь часов, в овраге… знаешь, там, в этой роще за Духовым монастырем.

— Ну что ж, в овраге так в овраге! И прекрасное дело! — с напускным равнодушием сказал учитель, подымаясь с постели. В сущности же в эту минуту нечто жуткое слегка стало похватывать его за душу.

— Стало быть, не отказывается? — вопросительно остановился он пред Хвалынцевым.

— Куда тебе!.. — махнул тот рукою, — говорят, теперь и слышать не хочет! У них уже там и пистолеты приготовлены: достали откуда-то. Анцыфров так и старается около них!

Легкая усмешка, выражавшая не то полупрезрение, не то полуравнодушие, покривила чуть-чуть губы учителя.

— Ну, и пускай!.. Ну, и черт с ними! — пробурчал он, принимаясь шагать по комнате.

Около четверти часа прошло в совершенном молчании, Хвалынцев сидел и барабанил ногтями по столу, а Устинов все еще продолжал расхаживать, и только время от времени та же самая полупрезрительная, полуравнодушная усмешка появлялась на его губах. Порою самому ему казалось, будто он совершенно равнодушен ко всему, что бы ни случилось, и, действительно, в эти мгновения на него вдруг наплывало какое-то полнейшее, абсолютное равнодушие; а порою это жуткое нечто, этот невольный инстинкт молодости, жизни, самохранения опять-таки нойно хватал и щемил его сердце. В эти-то последние минуты на губах его и появлялась та принужденная усмешка, посредством которой силился он если не прогнать и рассеять, то хоть не выдать свои ощущения.

— Послушай, — прервал наконец Хвалынцев это молчание, и от внезапного звука его голоса Устинов как-то чутко вздрогнул, — ты совсем-таки не умеешь стрелять?

— Всесовершеннейше не умею.

— Гм!.. Это не удобно!.. Но зачем же, в таком случае, ты не отказался? Ведь выбор оружия на твоей стороне.

— Э, Боже мой! Да не все ли равно? Ведь я ж говорю тебе, что ни на чем не умею… Разве только "на кулачьях", как говорил Полояров, да и на тех не пробовал.

Опять на некоторое время сосредоточенное молчание сменило кратковременный разговор их.

— А вот что было бы не дурно! — придумал студент по прошествии некоторого времени. — У меня там, в нумере, есть с собою револьвер, так мы вот что: завтра утром встанем-ка пораньше да отправимся хоть в ту же рощу… Я тебе покажу как стрелять, как целить… все же таки лучше; хоть несколько выстрелов предварительно сделаешь, все же наука!

Устинов махнул рукой.

— Чего ты махаешь?

— Не стоит, мой ангел, ей-Богу не стоит! — промолвил он с равнодушной гримасой; — ведь уж коли всю жизнь не брал пистолета в руки, так с одного урока все равно не научишься. Да и притом же… мне так сдается… что в человека целить совсем не то, что в мишень, хоть бы этот человек был даже и Феликс Подвиляньский, а все-таки…

Хвалынцев молча согласился с этим мнением.

— А ты вот что, — предложил ему учитель, — коли хочешь, так оставайся ночевать у меня, я тебе в той комнате свою постель уступлю, а сам на кушетке… А завтра встанем пораньше и отправимся. Идет, что ли?

Студент согласился, и кое-как скоротали они остаток вечера. Устинов взялся за книгу. Хвалынцеву тоже попался какой-то истрепанный нумер «Современника», и они принялись за чтение, изредка перекидываясь между собою кой-какими незначащими фразами и замечаниями. Разговор в этот вечер, вообще, как-то не клеился между ними. Наконец, студент пожелал учителю спокойной ночи и удалился в его спальню, а тот меж тем долго и долго еще сидел над своей книгой; только читалось ему нынче что-то плохо и больно уж рассеянно, хотя он всеми силами напрягал себя, чтобы посторонней книгой отвлечь от завтрашнего дня свои не совсем-то веселые мысли.

Поутру он проснулся первым, умылся, оделся и совсем бодро и даже довольно весело пошел будить Хвалынцева, объявляя ему, что уж половина седьмого и самовар уже подан.

Хвалынцев быстро, на босую ногу, вскочил с постели, взял за плечи учителя и, повернув его к свету, стал вглядываться в лицо ему.

— Чего ты смотришь? — удивился тот.

— Ничего… Молодец! Как и быть надлежит! Одним словом, свеж и душист! и дух бодр, и плоть не немощна, так и следует! Ca ira! ca ira![48] — весело подпел он в заключение, предполагая, что его веселость поддержит в товарище достодолжную твердость и необходимое спокойствие духа. В несколько минут он был уже одет, и приятели уселись за чай.

— Однако, распорядился ли ты? — озабоченно спросил студент.

— То есть, что это? Насчет извозчика? Найдем!

— Какой там "извозчик"!.. Я спрашиваю… ведь всяко может случиться… почем знать!..

— То есть коли подстрелят?

— Ну, хоть и так!

— Так что ж такое?

— Ну, все ж таки… письмо к кому какое… завещание там, что ли… родные, может…

Устинов искренно рассмеялся.

— Эка, о чем заботится… А мне и невдомек! Нет, ангел мой, вздохнул он, — писать мне не к кому, завещать нечего… ведь я, что называется, "бедна, красна сирота, веселого живота"; плакать стало быть, некому будет… А есть кое-какие должишки пустячные, рублей на сорок; там в бумажнике записано… счет есть. Ну, так ежели что, продай вот вещи да книги, да жалованья там есть еще за полмесяца, и буду я, значит, квит!

— А больше ничего? — пытливо взглянул на него Хвалынцев.

— Больше?.. Да что больше-то? Больше ничего. Кланяйся хорошим людям… Татьяне Николаевне кланяйся, — прибавил учитель как-то застенчиво и словно бы нехотя.

Хвалынцев бросил на него быстрый и скользящий взгляд еще пытливее прежнего; ему почуялось, что в голосе приятеля дрогнула, при этих последних словах, какая-то нотка, более нервная и теплая, чем та, которую могло бы вызвать чувство одной только простой дружбы.

— Да впрочем, признаться сказать, — промолвил Устинов, — я и сам не знаю почему, только совсем не рассчитываю нынче быть убитым. Вчера казалось, будто и *да*, а выспался — как рукой сняло!

— А что, и в самом деле, — схватился с места студент, — как вдруг этот Подвиляньский возьмет да и не придет на дуэль-то? — Вот будет штука-то!

— Ну, уж это было бы глупее всего. Мы-то тогда уж совсем дураков из себя разыграем, добрым людям на потеху. Впрочем, нет, уверенно прибавил Устинов, — не думаю, он хоть и мерзавец, а этого не сделает.

В это время кто-то постучался в двери. Приятели изумленно переглянулись: "кто бы мог быть в такую пору столь ранним посетителем?"

Вдруг, к удивлению их, вошли вчерашние секунданты.

— Что же, господа, вы за нами что ли, — пошел к ним навстречу Хвалынцев. — А мы думали встретиться с вами там?

— Нет-с, мы там не встретимся, — сухо и вскользь поклонился Полояров, не подавая руки.

— Господин Устинов! — самым официальным образом обратился он к Андрею Павловичу. — Наш друг, Подвиляньский, поручил передать вам, что после всего того, что мы узнали об вас вчера самым положительнейшим образом, он с вами не дерется: порядочный и честный человек не может драться со шпионом Третьего отделения. И оскорбление ваше, значит, само

себя херит!

Ошеломленный Устинов не успел еще опомниться и прийти в себя, как Полояров со своим спутником уже удалились самым поспешным образом. В этой поспешности, конечно, немалую роль играло серьезное опасение за несокрушимость своих шей, боков и физиономий.

Хвалынцев раньше его собрался с мыслями после столь неожиданного поражения и, как сидел на кушетке, так и покатился со смеху.

— Чему ты заливаешься?

— Ха, ха, ха, ха, ха!.. Вот тебе и шляхетский гонор!.. Вот тебе и бретер!.. Ха, ха, ха!.. Однако, выкинул же, бестия, штуку!.. Увернулся!.. Находчиво, нечего сказать, весьма находчиво!.. Ах, какой же это мерзавец однако!..

— Н-да! — с раздумчивой усмешкой проговорил Устинов. — Вот тут и вспомнишь невольно Александра Сергеевича Пушкина: "Вы храбры на словах, попробуйте ж на деле"... Однако... что ж это, в самом деле!.. Уж и шпионом... Тьфу ты! Какая гнусная мерзость! — с презрительным отвращением сплюнул он в сторону.

XVIII. Au profit de nos pauvres,[49] Спектакль благородных любителей с живыми картинами

Ее превосходительство madame Гржиб-Загржимбайло, все время, пока длились рассказанные нами происшествия, была в больших хлопотах и заботах. Пикник на картинном берегу Волги, бал и спектакль благородных любителей — вот сколько важных и многообразных вещей надлежало устроить ее превосходительству, создать их силою своего ума, вдохновить своей фантазией, осветить своим участием и сочувствием, провести в общество и ходко двинуть все дело своим желанием, своим "я так хочу". Madame Гржиб разочла, что лучше всего начать благородным спектаклем, продолжить пикником и завершить балом, и таковой план явился у нее плодом известного рода стратегических соображений. В спектакле она успеет поразить дорогого гостя разнообразием своих блестящих талантов и прелестями своей наружности, которые предстанут пред ним в эффект нескольких положений и костюмов. Ко времени пикника, сердце барона, пораженное эффектом прелестей и талантов огненной генеральши, будет уже достаточно тронуто, для того чтоб искать романа; стало быть, свобода пикника, прелестный вечер (а вечер непременно должен быть прелестным), дивная природа и все прочие аксессуары непременно должны будут и барона и генеральшу привести в особенное расположение духа, настроить на лад сантиментальной поэзии, и они в многозначительном разговоре (а разговор тоже непременно должен быть многозначительным), который будет состоять большею частию из намеков, взглядов, интересных недомолвок etc., доставят себе несколько счастливых, романтических минут, о которых оба потом будут вспоминать с удовольствием, прибавляя при этом со вздохом:

"А счастье было так возможно,
Так близко"...

Отношения их, без всякого сомнения, останутся в области чистого платонизма — так, по крайней мере, предполагала сама Констанция Александровна. Наконец, все эти удовольствия достойно увенчаются балом, который, так сказать, добьет милого неприятеля, ибо на бал madame Гржиб явится в блестящем ореоле своей красоты, прелестей, грации, своих брюсселей и своих брильянтов — и блистательный гость расстанется с городом Славнобубенском, а главное с нею, с самой представительницей этого города, вконец очарованным, восхищенным

и… как он станет потом там, в высоких сферах Петербурга, восторженно рассказывать о том, какой мудрый администратор Непомук Гржиб и что за дивная женщина сама madame Гржиб, и как она оживляет и освещает собою темные трущобы славнобубенского общества, как умеет благотворить, заботиться о "своих бедных" и пр. и пр.

Весь Славнобубенск встрепенулся и оживился при вести о благородном спектакле, а в Славнобубенске вести разлетаются с непомерною быстротою. Все эти mesdames Чапыжникова, Ярыжникова, Пруцко и Фелисата Егоровна, Нина Францевна и Петровы, и Ершовы, и Сидоровы переполошились и засуетились, и забегали друг к дружке, к каждой порознь и ко всем вообще, словно посыпанные бурой тараканы. Но более всех растревожился шестерик княжон Почечуй-Чухломинских, которых острослов и философ Подхалютин довольно метко прозвал княжнами Тугоуховскими. Известно, что ни один губернский горед, не обходящийся без своего местного острослова, не может обойтись и без своих собственных княжон Тугоуховских. Княжны Тугоуховские необходимо должны быть в каждом добропорядочном губернском городе Российской империи, и притом в количестве не менее шести. У княжон необходимо есть князь-papâ и княгиня-maman; был у них и князь-дедушка, которого они знают только по закоптелому фамильному портрету и который был очень богат и очень знатен, но жизнь вел чересчур уже на широкую ногу и потому оставил князю-papâ очень маленькое наследство, а князь-papâ, служивший некогда в гусарах, постарался наследство это сделать еще менее, так что шестерик княжон, в сущности, причитается к лику бедных невест, и две старшие княжны наверное уже на всю свою жизнь останутся невестами неневестными. Но, в силу своего княжеского титула, они всегда стараются держаться около высших властей губернских и составляют "высшее общество"; и каждый губернатор, каждый предводитель считает как бы своей священной обязанностью доставлять княжнам скромные развлечения, приглашать их в свою ложу и на свои вечера; причем княжон привозят и отвозят в карете того, кто пригласил их, потому что у князя-papâ нет своей кареты. По скромности состояния княжны Тугоуховские не могут жить в Москве (о Петербурге нечего уж и говорить) и принуждены прозябать и увядать в противном Славнобубенске, где у них находится еще покуда, как остаток прежнего величия, старый деревянный дом, во вкусе старинных барских затей, с большим запущенным садом.

Итак, шестерик княжон Почечуй-Чухломинских переполошился чуть ли не более всех остальных дам и девиц славно-бубенских. Большая часть матрон, диан и весталок втайне тревожились неизвестностью, получат ли они *от самой* madame Гржиб приглашение на любительский спектакль или не получат, что конечно будет для них величайшим афронтом. Иным хотелось самолично участвовать в спектакле, в числе действующих лиц, дабы публично обнаружить свои таланты и прелести, причем особенно имелся в виду блистательный и дорогой гость: каждая мечтала так или иначе затронуть его баронское сердце, и поэтому каждая наперерыв друг перед дружкой изощряла все силы остроумия и фантазии насчет туалета: madame Чапыжниковой хотелось во что бы то ни стало перещеголять madame Ярыжникову, а madame Пруцко сгорала желанием затмить их обеих, поэтому madame Чапыжникова тайком посылала свою горничную поразведать у прислуги madame Ярыжниковой, в чем думает быть одета их барыня, а madame Пруцко нарочно подкупила горничных той и другой, чтоб они сообщали ей заранее все таинства туалета двух ее приятельниц. Положение княжон Тугоуховских было печальнее, чем можно себе вообразить. Всем шестерым непременно хотелось участвовать и в спектакле, и в живых картинах, и они знали, что неизбежно будут участвовать и в том и в другом, а особенно в живых картинах, потому что madame Гржиб, и графиня де-Монтеспан всегда к ним очень благосклонны, княжны так наивно и так котячьи-нежно умеют к ним ласкаться и лизаться, и чмокаться. Дело, конечно, не обойдется без участия княжон Почечуй-Чухломинских, хотя бы ради одной представительности, заключающейся в их княжеском имени, — ну, да и madame Гржиб, с высоты своего губернаторского величия, никогда не забывала протежировать бедным, но

титулованным невестам и потому при всяком подходящем случае выдвигала их на выставку. Но вот в чем главная беда и величайшее горе: к спектаклю и особенно к живым картинам неизбежно придется делать новые костюмы, свежие туалеты, а там еще, — черт его возьми, бал в виду имеется, значит, опять-таки шей свежие платья, а тут на прошлой неделе князь-papâ изволил в клубе проиграться, и денег в виду никаких и ниоткуда! Ни модистка Уазо, ни портниха Боришина, ни купец Ласточкин, того и гляди, не отпустят в кредит материала; придется просить, выпрашивать, уверять, кланяться и, может быть, все это понапрасну. Поэтому весь княжеский дом был преисполнен вздохов, охов, истерических всхлипываний и бранчивых возгласов. Княгиня-maman нервно корила князя-papâ в том, что он не отец своим детям, а прямой расточитель, что он не хочет счастья своих дочерей, губит их молодость, их судьбу, их карьеру. Князь-papâ пыхтел из своего длинного черешневого чубука и громко желал себе провалиться в преисподнюю из этого каторжного дома. Две старшие невесты неневестные поругались с maman, поругались с papâ, поругались с сестрицами, со своею злосчастною горничною, которая наконец просто очумела, оглупела и сбилась с толку от беготни, хлопот, подшиванья, глаженья, брани и крика. В заключение невесты неневестные переругались между собой и теперь обе лежали в истериках, а младшие княжны продолжали свое: кто вертелся перед зеркалом в зале и «тра-ла-лакая» повторял *па* вальса, кто продолжал еще доканчивать прежнюю брань и крики и слезы. Словом сказать, князь-papâ был совершенно прав, когда назвал дом свой каторжным, а всю эту чепуху и сумятицу сущим Содомом.

Анатоль со Шписсом изрыскали весь город, объявляя повсюду, что один играет в тургеневской «Провинциалке» графа, а другой будет Финтиком в "Москале Чаривнике". Анатоль целые утра проводил перед зеркалом, громко разучивая свою роль по тетрадке, превосходно переписанной писцом губернаторской канцелярии, и даже совершенно позабыл про свои прокурорские дела и обязанности, а у злосчастного Шписса, кроме роли, оказались теперь еще сугубо особые поручения, которые ежечасно давали ему то monsieur Гржиб, то madame Гржиб, и черненький Шписс, сломя голову, летал по городу, заказывая для генеральши различные принадлежности к спектаклю, то устраивал оркестр и руководил капельмейстера, то толковал с подрядчиком и плотниками, ставившими в зале дворянского собрания временную сцену (играть на подмостках городского театра madame Гржиб нашла в высшей степени неприличным), то объяснял что-то декоратору, приказывал о чем-то костюмеру, глядел парики у парикмахера, порхал от одного участвующего к другому, от одной "благородной любительницы" к другой, и всем и каждому старался угодить, сделать что-нибудь приятное, сказать что-нибудь любезное, дабы все потом говорили: "ах, какой милый этот Шписс! какой он прелестный!" Что касается, впрочем, до «мелкоты» вроде подрядчика, декоратора, парикмахера и тому подобной «дряни», то с ними Шписс не церемонился и «приказывал» самым начальственным тоном: он ведь знал себе цену.

Наконец, роли кое-как были розданы, причем не обошлось без огромнейших затруднений. Что касается до «Провинциалки» и «Москаля», то насчет этих пьес не могло уже быть ни малейших возражений и разговоров, ибо сама прелестнейшая madame Гржиб взяла на себя главную роль как в той, так и в другой, и закрепила постановку их своим беспрекословным "я так хочу". Но беда произошла с водевилем: все дамы непременно хотели играть первую роль, и не иначе как первую, но никто не желал играть старуху; еще менее того нашлось желающих взять на себя роль горничной, которая была единогласно сочтена за роль предосудительную и унизительную. Супруга одного уездного предводителя не на шутку обиделась, когда Шписс предложил ее дочери взять на себя "эту рольку". Молоденькой барышне сильно хотелось заявить свой талант, хотя бы даже и в роли горничной, но маменька наотрез запретила ей даже и думать о спектакле, сочтя все это дело за желание со стороны губернаторши пустить ей шпильку, и усмотрела в нем даже оскорбление всему дворянскому сословию, почему и поспешила заявить Шписсу, что отныне нога ее не будет не только что в спектакле, но и в доме самой губернаторши. Напрасно клялся, уверял и распинался злосчастный Шписс, напрасно

хныкала барышня, — гордая уездная предводительша осталась непреклонною и очень сухо откланялась черненькому Шписсу. Шписс уехал в отчаянии: приходилось просто хоть самому играть и старуху, и горничную. Наконец-то подыскали для горничной какую-то бедную сироту, из чьих-то безгласных племянниц или воспитанниц, а старуху почти что приказали сыграть супруге какого-то частного пристава — и любительский спектакль, слава Богу, был окончательно обставлен. Маленький Шписс впервые вздохнул свободно.

Начались репетиции, которые так любят артисты-"любители" вроде прелестного Анатоля, и так не жалуют ревнивые супруги иных «любительниц». Во все дни, пока продолжаются любительские репетиции, — блаженное время для влюбленных, заинтересованных и ухаживающих, — городские сплетни начинают разрастаться и идут все crescendo и crescendo, завершаясь в конце концов обыкновенно несколькими ссорами и даже скандалами. Madame Чапыжникова начинает зорко наблюдать за madame Ярыжниковой и за ее «халахоном», madame Ярыжникова следит за «предметом» madame Чапыжниковой, и глядь, на другой день, madame Пруцко, которая тоже под сурдинку придерживается той пословицы, что "грех сладок, а человек падок", начинает повествовать по секрету Фелисате Егоровне: "Душечка моя, слышали вы, срам какой! Эта противная Ярыжникова, представьте! вчера-то на репетиции в темной кулисе целоваться изволила с своим aman'ом, а потом без стыда без совести уехали вдвоем кататься куда-то за город... Это ночью-то, ночью! И при всех! Думают, что все так глупы и слепы, что никто ничего не замечает!" Фелисата Егоровна в ужасе качает головой, и идет рассказывать — как противная Ярыжникова, в неприличной позе, за кулисами шепталась и целовалась, и обнималась со своим аманом, а на следующий день весь город уже уверял, что madame Ярыжникова делала в кулисах такое, про что и сказать невозможно.

Сама губернаторша имела обыкновение часом и даже двумя опаздывать на репетицию, причем все остальные должны были кротко и терпеливо дожидаться прибытия ее превосходительства. Являлась она не иначе как в черном платье, в черных гипюрах, в черных перчатках, с черными четками на шее, с которых спускался на грудь черный крест, сделанный так, что имел вид креста, сломанного. Ни единой цветной ленточки не было заметно в строго-траурном наряде генеральши, только из-под четок сквозило серебро небольшой брошки, которая изображала одноглавого орла с поднятыми крыльями. Тридцатидвухлетняя madame Гржиб, надо отдать ей полную справедливость, в своем одноцветном и строго обдуманном наряде казалась очень эффектной женщиной и была даже хороша. Славнобубенцы заметили, что с некоторого времени это черное платье и эти украшения сделались неизменным обыденным костюмом губернаторши. Графиня де-Монтеспан, — единственная женщина, которая дерзала еще ставить себя почти на одну доску с нею, — из подражания ей, тоже облекала себя в черное, сообщая вначале, до разъяснения дела, что это «англомания». И шестерик княжон Почечуй-Чухломинских, само собою, не отставал от своих протектрис, благо черные платья, сшитые еще два года назад, когда померла их тетка, нашлись под рукою. Теперь они были только почищены да переделаны на более модный, современный фасон. И глядь, чрез некоторое время, почти все, что только имело претензию причислять себя к славнобубенскому "порядочному обществу", необыкновенно возлюбило черные платья, найдя этот цвет чрезвычайно изящным выражением высшего comme il faut.[50] Особенно жены чиновников стремились подражать губернаторше. Мода вообще заразительна, а мода, инициатива которой исходит от власти, становится почти обязательною для каждой благонамеренной чиновницы. В Славнобубенске же мода эта особенно пошла в ход после одного маленького случая. Madame Пруцко явилась на одну из репетиций в ярком цветном платье, в яркой сетке и в ярких перчатках. Губернаторша только молча покосилась на эту праздничную яркость и перекинулась взглядом с графиней де-Монтеспан, которая изобразила на губах пренебрежительную усмешку. Когда madame Пруцко подлетела к ним с поклоном, графиня, суховато протянув руку, спросила ее как-то сквозь зубы:

— Что это вы, ma chiгe, именины сегодня празднуете?

Madame Пруцко нашла себя очень «афрапированною» таким странным вопросом, и, весьма удивленная, с живостью ответствовала:

— Именины?!.. Нет. А что?

Графиня не договорила и только плечами пожала в заключение.

— А что же? Это платье Уазо мне шила по зимней картинке, — возразила Пруцко.

— О, я в этом уверена! — подхватила Монтеспан, — но… но эта яркость… знаете ли, ma chiгe, такое ли теперь время, чтобы радоваться, носить цветное!.. Помилуйте! — вспомните, что на белом свете творится!.. Люди страдают, мученики гибнут, везде слезы, скорбь… Знаете ли, ma chiгe, скажу я вам по секрету между нами, в таких обстоятельствах, нечему нам особенно радоваться… Черный цвет приличнее… и тем более, что это мода… Взгляните например, на Констанцию Александровну: не выходит из черного цвета.

Madame Пруцко хотя и не совсем-то ясно уразумевала, где эти слезы и скорбь, и какие именно мученики гибнут, однако, убежденная последним аргументом касательно губернаторши, на другой же день облеклась в черное и, по секрету, разблаговестила всем приятельницам о своем разговоре с графиней.

И вскоре после этого элегантный Славнобубенск щеголял уже в трауре, отыскивая по всем галантерейным лавкам черных крестов и четок, а Славнобубенск не элегантный покамест все еще продолжал костенеть в своем невежестве.

За неделю до спектакля билеты почти уже все были разобраны. Это показывает, во-первых, насколько Славнобубенск интересовался игрою "благородных любителей", а во-вторых, объясняется тем, что предварительную продажу билетов взяла на себя сама Констанция Александровна, задние же ряды были поручены полицмейстеру, а тот уже "принял свои меры", чтобы все билеты были пораспиханы, и в этом случае, — хочешь не хочешь, — отдувалось своими карманами преимущественно именитое купечество. Всякий благонамеренный гражданин, желая заявить свое усердие, спешил воспользоваться случаем, чтобы лично, из ручек ее превосходительства, заполучить билетец. Ее превосходительство распорядилась назначить цену местам вообще довольно высокую и при этом печатно заявила, что всякое пожертвование будет принято ею с благодарностью. После этого, понятное дело, ей только и оставалось изъявлять благодарности.

Приезжает к ней, например, какой-нибудь господин с визитом. Первым делом, после нескольких слов незначащего разговора, она приступала к гостю:

— Ах, да! monsieur такой-то, вы, конечно, будете в нашем спектакле?

Monsieur такой-то спешит любезным склонением головы подтвердить ей полное и всенепременное свое намерение присутствовать на любительском представлении.

— В таком случае позвольте предложить вам билет, ведь вы не запаслись еще?

И генеральша, — тут как тут, — вытащила уже карточку, изящно отпечатанную на глазированном пергаменте. Monsieur такой-то с любезною застенчивостью осведомляется что это стоит?

— О, это вполне зависит от вашего доброго желания — предупреждает губернаторша; — чем больше, тем лучше! Ведь это в пользу моих милых бедных. Вы доброе дело сделаете!

Прелестная женщина произносит эти слова с таким грациозно-прелестным выражением просьбы, доброты и человеколюбия, что monsieur такой-то тотчас же изображает улыбкою своею полнейшую и вселюбезнейшую готовность заклать самого себя в пользу милых бедных губернаторши. И вот, в шкатулку ее превосходительства прячется синяя или красная депозитка, за место, стоящее два или три рубля. Ее превосходительство благодарит так мило и, грациозно протягивая для пожатия свою благоухающую руку, прибавляет с такою очаровательною кокетливостью:

— Смотрите же, хлопайте мне, ведь я сама играю!

И господин уезжает, обещая не жалеть для нее ни перчаток, ни ладоней.

С другими же господами, которые, что называется, на карман туговаты, Констанция Александровна принимала тактику иного рода, и эту тактику мы могли бы назвать милым нахальством. Получив билет, осведомляется, например, господин о выставленной цене своему месту и вытаскивает из кармана какие-нибудь две желтенькие бумажки. Генеральша тотчас же встречает их своим кокетливым удивлением.

— Что это! Только-то! Это в пользу моих-то бедных? — произносит она с милою, недовольною гримаскою; — фи, какой вы не добрый! Какой вы скупой! Извольте жертвовать больше, чтоб я могла поблагодарить вас, а то когда бы знала я это, так и билета не дала бы вам.

Господин конфузится, неловко улыбается и, нечего делать, вытаскивает добавочные деньги.

А с иными, которые желали жертвовать рубля два или три сверх номинальной цены, но, не имея при себе мелких бумажек, подавали губернаторше для сдачи какую-нибудь красную, а не то и лиловую депозитку, она обращалась еще с большею: бесцеремонностью:

— Что это, сдачу хотите? (при этом следовал все тот же мило и грациозно-удивленный взгляд). Но у меня нет мелких; я не имею сдачи, значит уж надобно жертвовать все… Я вас буду очень, очень благодарить за это, от лица моих милых бедных!

И генеральша с невыразимою любезностью, с невыразимо-приятным взором и улыбкой потрясает руку невольно-щедрому жертвователю.

И таким образом, еще задолго до спектакля в ее роскошной шкатулке накопилась уже весьма и весьма порядочная сумма.

Наконец наступил и парадный час "благородного спектакля". Нечего рассказывать о том, что зала была битком набита публикой, среди которой собрался цвет славнобубенского общества, что madame Гржиб в роли madame Ступендьевой была встречена громом рукоплесканий, причем ей был подан из оркестра прелестный букет — плод особенных стараний находчивого Шписса. Скажем только, что Ступендьева блистала изяществом своих манер, прелестный Анатоль явился прелестнейшим графом, и все прочие артисты хотя далеко уступали в изяществе, зато роли свои выдолбили превосходно: нельзя же иначе — потому играют с губернаторшей, и само высшее начальство на их игру взирать изволит. "Москаль Чаривник" прошел столь же блистательно. Майор Перевохин, командир батальона внутренней стражи, изображал солдата и явился пред публикой истинным бурбоном, что было весьма характерно и все время сопровождалось аплодисментами. Madame Гржиб, в роли казачки Татьяны, пленила всех своим костюмом и своим пением. Цель ее была достигнута: барон Икс-фон-Саксен плавал

в масле восторга и все время щурился на нее сладостными взорами. Но когда усердно-преданный Шписс, в виде приказного Финтика, выполз из-под печи, весь перепачканный сажей, и смиренно пополз на коленках, восторгам и хохоту не было конца. Предводитель князь Кейкулатов даже расчихался от смеху, а Непомук хохотал всей утробой и всем сопеньем своим, так что трудно было решить чего издает он более: хохоту или сопенья? Непомук в тот же счастливый миг решил, что Шписса необходимо нужно представить к следующей награде. Водевилю аплодировали менее, потому что губернаторша в нем не участвовала, а игру частной приставши даже многие весьма раскритиковали, хотя приставша отличалась ничуть не хуже прочих.

Наконец, пошли живые картины — главное поприще шестерика княжон Почечуй-Чухломинских, madame Пруцко и mesdames Чапыжниковой с Ярыжниковой. Три старшие княжны изображали собою трех граций, причем две невесты неневестные стояли боковыми грациями. Весь шестерик кое-как уладил свои затруднения относительно костюмов. Купец Ласточкин, действительно, не возжелал отпустить им материи, а madame Oiseau[51] не бралась шить и ставить приклад, но княжны заявили о своем слезном горе Констанции Александровне, — и ее превосходительство в ту же минуту откомандировала Шписса к непокорному невеже Ласточкину, с приказанием немедленно отпустить подобающее количество разных материй, по приложенному реестру княжон, а модистку Oiseau велела позвать к себе, переговорила с нею о чем-то наедине — и madame Oiseau в три дня пошила костюмы на весь шестерик. Таким образом княжны были и обуты, и одеты, и напоказ публике поставлены. "Трех граций" княжны изображали хотя и не совсем верно с оригиналом, тем не менее весьма многие любители нашли их удовлетворительными: они выставили себя перед публикой в кисейных туниках, чего собственно для граций не полагается. От этого, конечно, пострадала мифологическая истина, зато выиграла девическая скромность. Это были грации вполне целомудренные. Засим mesdames Ярыжникова, Чапыжникова и Пруцко аллегорически изобразили из себя три реки: "Вислу, Оку и Волгу", «Висла» печально, но гордо стояла поодаль, а «Волга» принимала «Оку» в свои объятия. Одна из средних княжон Почечуй-Чухломинских предстала в виде «Свободы», одетой в красную фригийскую шапку, и острослов Подхалютин довольно громко заметил при этом, что «Свобода» ничего бы себе, да жаль, что больно тощая. — Замечание это найдено иными неприличным, а иными иносказательным. Вслед за этим madame Гржиб показала себя в неге, полупрозрачной "Вакханкой у ручья", и никак не воздержалась, чтобы не метнуть при этом на Саксена взор весьма выразительного свойства. Непомук, увидя супругу свою в таком соблазнительном виде, опустил глаза долу и поскорее полез в задний карман за золотой табакеркой, чтобы в медленной понюшке табаку найти себе приличное занятие, пока длится эта красноречивая картина. Добавить ли, что появление супруги в таком виде сказалось ему втайне не совсем-то удобным ощущением? Зато Саксен чуть не подпрыгнул в кресле от преизбытка сладострастного восторга; зато публика встретила полупрозрачное позорище своей начальницы восторженными рукоплесканиями; зато усердно-преданный Шписс замирал от почтительного и в то же время дерзостного (до известной степени) наслаждения. После "Вакханки у ручья" следовала картина под названием "Фонтан невинности". На картине стоял картинный барашек, а подле барашка вторая средняя княжна; Почечуй-Чухломинская с опрокинутой урной в руках, из которой примерно истекала фольговая вода. Подхалютин пришел в некоторое недоумение и спросил, где же тут собственно невинность: в княжне или в кувшине, и если в кувшине, то напрасно княжна Тугоуховская столь безрасчетно тратит ее, и что напрасно не участвует в этой прекрасной картине mademoiselle Сидорова. Сидевшая рядом с ним подруга Сидоровой, ради которой собственно и была пущена острословом эта неприличная выходка, ничего ему не возразила, но зато весьма коварно и не без удовольствия улыбнулась. Были и еще две или три картины, вроде "Пляски с тамбурином", "Ангела ночи", "Амура и Психеи", которые все до единой приняты публикой с полным одобрением. Один только Подхалютин оставался не совсем доволен, но и то потому,

что на предварительном совещании относительно картин не было принято его предложение.

— Помилуйте, — говорил он, — я предлагал им поставить две русские и очень поучительные картины. Обе из басен Крылова. Одну — "Лягушки просящие царя", а другую — «Квартет». — "Помилуйте, — говорят мне: как же это лягушек вдруг изображать? кто же станет лягушками?" — Как, Боже мой, кто! А madame Пруцко? а Чапыжникова с Ярыжниковой? а Фелиса-та? да и мало ли их тут? И чем же не годятся? а что касается до «Квартета», то тут даже и костюмов не надо: возьмите просто членов губернского правления и поставьте — целиком, как есть, будет картина в лицах! И притом очень поучительно!

Но блистательнее всего было заключение этого спектакля. Madame Гржиб заранее еще задумала поразить почтеннейшую публику неожиданным сюрпризом. Никто не ожидал ее появления, как вдруг, при громе удалой мазурки поднялась завеса — и изумленным очам зрителей предстала ее превосходительство в польском национальном костюме... Малиновая конфедератка с белым султаном лихо была взброшена набекрень, рукава белого кунтуша еще лише откинуты назад, красные сапожки со шпорами изящно облекали икры вкусных ножек генералынн, в руках бельгийский штуцер, сбоку блистающая сабля. Констанция Александровна произвела решительный фурор. Даже сам Непомук, несмотря на всю свою солидную осторожность, не выдержал и усиленно захлопал в ладоши, а Саксен просто ослабел от избытка наслаждения и упоенно втягивая в себя воздух, как-то шипяще вздыхал "charmant!.. charmant"!..[52] Пшецыньский не хлопал, но сладко улыбался и залихватски покручивал да пощипывал русый ус: он был очень доволен неожиданным сюрпризом. Зато лихой полицмейстер Гнут, вообще ценитель женской красоты — упоенный жгучими прелестями ее превосходительства, надседался всею грудью, стучал каблуками, и саблею, — и проводил все это без малейшей задней мысли, но вполне бескорыстно, восхищенный, так сказать, одной эстетической стороной дела. Эта неожиданная картина пошла у генеральши взамен "Молодого Грека с ружьем".

В спектакле благородных любителей проявилась весьма заметная, но едва ли случайная особенность: очень много дам, которые составляли чуть ли не большинство славнобубенского общества, явились на этот спектакль в строго черных нарядах. Между ними были даже и такие, которых никто никогда и не запомнил, чтобы они носили черное, а теперь и эти вдруг блистают мрачным цветом своего костюма.

— Астафий Егорыч, обратился в антракте к Подхалютину один из его знакомых. — Что это, батенька? замечаете вы, почти все в черном? Словно бы траур у них!

— Да траур и есть, подтвердил славнобубенский философ.

— Господи помилуй! Но по ком же, однако?

— А здравый смысл погребают. Это одно; а второе — крепостное право только что схоронили: как же тут не плакать?

— Э, да вы все *свое* городите! Нет, я вас спрашиваю всерьезную, ведь это, взгляните сами, просто в глаза бросается!

— А и в самом деле любопытная штука! — пробурчал себе под нос философ, окинув внимательным взглядом всю залу, — мода это что ли завелась у них такая? Пойду спрошу у Марьи Ивановны, благо и сама тоже в черном: она ведь человек компетентный.

И острослов направился своею лениво-перевалистою походкою к одной полной, пожилой даме,

которая, невзирая на двух взрослых и рядом с нею сидящих дочерей, все еще стремилась молодиться и нравиться, и разговаривая с людьми, глядела на них не иначе как сквозь лорнет.

— Здравствуйте, маменька! — подсел к ней Подхалютин. — Скажите мне на милость, зачем это вы на такое блистательное позорище явились вдруг чуть не в трауре? И барышни тоже вот в черном, — промолвил он, кивнув на двух ее дочек.

— А вы инспектируете наряды?.. Это скорее бы дело полиции! — слегка колко, но очень мило ответствовала маменька.

— Нет, я только любопытствую, — оправдывался философ, — и прошу просветить меня, в темноте ходящего. Что это, мода у вас нынче такая, или что?

— Не мода, а обязанность, долг наш! — довольно гордо и не без самодовольной рисовки ответила одна из барышень.

Немало изумленный Подхалютин выпучил глаза.

— До-олг?.. Обязанность? — недоуменно протянул он; — то есть как же это?

— А вы хотите, чтобы мы радовались, когда родина наша страдает? — с задорливой искоркой застрекотала другая дочка.

— Э, барышня, что это вы такое говорите! — снисходительно усмехнулся Подхалютин, — ну, где там страдает! Наша родина вообще страдает только тремя недугами: желудком после масленицы, тифом на Святой, по весне, да финансовым расстройством, en générale, которое, кажется; нынче перейдет в хроническое. Вот и все наши страдания.

— Да, это ваша родина, может быть, но ваша не наша, — продолжала та же барышня.

— Так по-вашему Польша не страдает? — подхватила другая сестрица.

— Польша?.. Да какое нам с вами дело до Польши? — удивленно пожал плечами Подхалютин. — Вы разве польки?

— Польки! — гордо ответили каждая за себя, обе барышни.

— Вот сюрприз-то! — Подхалютин даже с места вскочил при этом. — Марья Ивановна! Маменька! — обратился он к полной даме, — да что это они у вас за вздор говорят?

— Ничуть не вздор — возразила та, — мы, действительно поляки.

— Давно ли это? — продолжал все более изумляться Подхалютин.

— Вот вопрос! всегда поляками были!

— Ну, полноте, маменька!.. Уж вы не шутите ли надо мною?

— С какой же стати! Да и что же за шутки? Разве такими вещами можно шутить?

— Господи помилуй! — пожимал плечами философ. — Поляки… В первый раз слышу!.. Так и папенька ваш, Матвей Осипыч Яснопольский, тоже поляк?

— Разумеется! — амбициозно подфыркнули барышни.

Подхалютин перекрестился обеими руками.

— Господи Боже мой! — продолжал он, — двадцать лет знаю человека, встречаюсь каждый день, и все считал его русским, а он вдруг, на тебе, поляк оказывается! Вот уж не ожидал-то! Ха-ха-ха! Ну, сюрприз! Точно что сюрприз вы мне сделали! А ведь я какое угодно пари стал бы держать, что славнобубенский стряпчий наш Матвей Осипыч — русак чистокровный!.. Ведь я даже думал, что он из поповичей!

— Это нам очень грустно, если вы нас за русских считаете — сухо ответствовали ему барышни.

Подхалютин внимательно посмотрел на них, полуиспытующим, полусоображающим взглядом, молча отвесил почтительный поклон и отретировался.

— Ольга Назаровна! — подошел он вслед за тем к одной старушке, сидевшей на противоположном конце того же ряда, — уж и вы, матушка, тоже не полька ли?

— Что такое? — не расслышав или не поняв, прищурилась на него старушка.

— Я спрашиваю, не полька ли вы?

— Полька?!. Да что ты, мой батюшка, очумел что ли? Какая я тебе полька!

— А зачем же вы тоже в черном, вы, которая так любите и розы, и алые ленты, и цветные материи? а?

— В черном? — Старушка оглядела самое себя и обдернула свое шелковое платье. — Да как тебе сказать это, мой батюшка!.. Все вишь, нынче носят черное, ну так и я заодно уж надела.

— По пословице, значит: куда люди, туда и мы?

— По пословице, родной, по пословице. А ты, мой батюшка, все шалберничаешь, — погрозила она ему пальцем; — а нет того, чтобы зайти к старухе посидеть!.. Приходи что ли; в бостон по старой памяти, поиграем. А мне кстати из деревни медвежьи окорока прислали, ты ведь любишь пожрать-то?

— Это мы можем, потому на том живем! — согласился Подхалютин, и в знак благодарности поцеловал ее ручку.

Через день после спектакля, в неофициальном отделе славнобубенских губернских ведомостей на первом месте красовалась статейка под названием: "Благотворительный спектакль благородных любителей с живыми картинами". Статейка эта умиленно отдавала дань признательности и восхищения всем участвовавшим; но на первом плане, конечно, стояла ее превосходительство, супруга достойного начальника губернии, Констанция Александровна Гржиб-Загржимбайло.

"В настоящее время, когда вся Россия спешит обновиться и обогатиться плодами прогресса и европейской цивилизации, — вещала эта статейка, — и наш далекий город Славнобубенск тоже не отстает от других своих собратов, раскинутых на всем могуче необъятном пространстве нашей родной, широкой матушки-Руси. И мы славнобубенцы, в нашем мирном далеком уголке, тоже стремимся положить свою лепту в общую сокровищницу, и мы тоже порой умеем веселиться и поднимать свой нравственный и интеллектуальный уровень истинно-эстетическими удовольствиями". Засим следовало цветистое описание самого спектакля, "который почтило своим присутствием наше славнобубенское общество в лице всех лучших его

представителей". Тут отдавалась вполне справедливая дань талантам Анатоля, Шписса и гарнизонного майора Перевохина. "Наши милые и достойно уважаемые дамы, — говорила далее статейка, — неожиданно и очень приятно поразили нас своим искусством и дарованиями, коим могла бы истинно позавидовать не одна столичная артистка. Нельзя не поблагодарить также молодых княжон Почечуй-Чухломинских, которые украсили собою превосходно поставленные живые картины. Присутствовавшая избранная публика вполне оценила и отдала им должную дань справедливости, похвал и одобрения. Г-жи Ярыжникова, Чапыжникова и Пруцко с грацией, достойной их наружности, пленили зрителей картинным сочетанием и эффектно поставленной аллегории трех рек славянских. (В этом месте по описке или по невежеству усердствовавшего автора было поставлено прежде «русских», но Непомук, к которому для просмотра и одобрения была предварительно доставлена корректура, зачеркнул слово «русских» и собственноручно вместо его изволил написать "славянских"). Но более всех оживила наш скромный спектакль, — продолжал автор статейки, — это, без сомнения, ее превосходительство, достойная супруга г-на начальника губернии, Констанция Александровна Гржиб-Загржимбайло. Исполненная ею роль Ступендьиной в тургеневской «Провинциалке» не оставляет желать ничего лучшего. Звучный тембр ее сильного гибко-страстного, выразительного и отлично обработанного органа, в роли Татьяны из "Москаля Чаривника", приводил всех в истинный и неподдельный восторг и, казалось, переносил мечтающую и упоенную душу зрителя в какой-то иной, неведомый, дивно-фантастический и волшебно-сказочный мир... Казалось, как будто в самом воздухе веяло роскошными, ароматными степями блаженной Украины, столь божественно воспетой Гоголем". Воздав достодолжную дань поклонения артистам-любителям, автор в заключение перешел к благотворительной цели спектакля: "Теперь, — восклицал он, — благодаря прекрасному сердцу истинно-добродетельной женщины, благодаря самоотверженно-неусыпным трудам и заботам ее превосходительства, этой истинной матери и попечительницы наших бедных, не одну хижину бедняка посетит и озарит внезапная радость, не одна слеза неутешной вдовицы будет отерта; не один убогий, дряхлый старец с сердечною благодарностью помянет достойное имя своей благотворительницы, не один отрок, призреваемый в приюте, состоящем под покровительством ее превосходительства, супруги г-на начальника губернии, вздохнет из глубины своей невинной души и вознесет к небу кроткий взор с молитвенно-благодарственным гимном к Творцу миров за ту, которая заменила ему, этому сирому отроку, нежное лоно родной матери. И все они: эта убогая вдовица, этот согбенный и сирый старец, этот отрок невинный благословят от чистого сердца своего ангела-утешителя".

Словом сказать, статейка вышла очень трогательная.

Неусыпно-деятельный и трудолюбивый Шписс составил отчет о спектакле. В отчете в этом сбор был показан по номинальным ценам, и из этого сбора, за покрытием всех издержек, в число коих входили неоднократные чаи, закуски, конфекты и лимонады с оршадами для любителей, во время репетиций, осталось чистой выручки 127 р. 32 3/4 коп. сер. Эти деньги, при форменном отношении, и были препровождены в приказ общественного призрения.

XIX. De funduszu zelaznego[53]

А между тем, в шкатулке ее превосходительства хранилось около тысячи рублей, собранных ею из вольных пожертвований сверх номинальной цены.

В кабинете Констанции Александровны дверь была весьма предусмотрительно заперта на задвижку. Тяжелая портьера вплотную закрывала ее собою. Шторы на окнах тоже были опущены, так что ничей нескромный глаз не мог бы подглядеть и ничье постороннее ухо не могло бы подслушать того, что делалось в данную минуту в комфортабельном кабинете славнобубенской губернаторши.

Прелестная женщина сидела на бархатном пате, перед раздвижным столиком, а против нее, за тем же столиком, помещался на мягком табурете ксендз Кунцевич. Пред обоими стояло по чашке кофе, а между чашками — изящная шкатулка губернаторши, очень хорошо знакомая всем ее вольным и невольным жертвователям "в пользу милых бедных". Ксендз, изредка прихлебывая кофе, очень внимательно выводил на бумаге какие-то счеты. Констанция Александровна с неменьшим вниманием следила за его работой.

— Так. Теперь верно, — тихо сказал наконец каноник, кладя карандаш. — Негласной офяры переправлено мною 110 рублей; от лотереи в пользу приюта уделено 230; от публичных лекций Кулькевича и Подвиляньского 50 рублей; костельного кружечного сбора 31 рубль 50 копеек; старогорский исправник Шипчиньский с пяти волостей, из сбора на погорелых, уделил тогда 20 рублей; от пана Болеслава получено мною 15, да ныне 941 рубль: итого выходит 1,397 рублей 50 копеек. В пять месяцев с одного только Славнобубенска — дали Буг, не дурно!

И ксендз с удовольствием потер свои мягкие, белые ручки.

— Я хочу, — поднялась с места губернаторша, — я хочу, чтобы на нынешний раз мы отправили уж так-таки полную тысячу. Пусть там получат они круглую сумму! Поэтому я офярую из своих собственных пятьдесят девять рублей, да страховых с весовыми двенадцать.

И она достала из своего бюро и подала ксендзу счетом семьдесят один рубль.

Кунцевич благоговейно благословил ее подающую руку и с видом теплой благодарности присоединил эти деньги к полновесной пачке, перевязанной тесемкою.

— Как же переправить их? — озабоченно спросила пани Констанция.

Ксендз поклонился на это так, что поклон его явно выражал:

"Уж мы-де знаем! Вполне на нас положитесь!"

— Прямо до бискупа? — продолжала она.

— Ой, нет! Как же ж таки-так до бискупа? До бискупа дойдут своим чередом. Там уж у нас есть надежные люди — на них и отправим. А там уж передадут... Я думаю так, что рублей четыреста сам я пошлю, а об остальных попрошу пана Болеслава, либо Подвиляньский пусть поручит пану Яроцю, а то неловко одному переправлять такую большую сумму.

— Надо поскорее бы...

— Поскорей не можно... поскорей опять неловко будет: как же ж так-таки сразу после спектакля?.. Мало ль что может потом обернуться! А мы так, через месяц, сперва Яроц, а потом я. Надо наперед отправить наши росписки, то есть будто мы должны там, а деньги прямо на имя полиции; полиция вытребует кредиторов и уплатит сполна, а нам росписки перешлет обратно. Вот это так. Это дело будет, а то так, по-татарски — ни с бухты, ни барахты! — "Завше розумне и легальне и вшистко розумне и легальне!"

Ксендз допил кофе, бережно положил в боковой карман пачку денег и, благословив свою духовную дщерь, удалился, имея в нынешний день еще много работы. Он опустил шторы в своем «лабораториуме», приказал Зосе сказывать всем, за исключением разве Пшецыньского или Подвиляньского, что его нет дома, и уселся за письменный стол. Писал он долго, с видимым удовольствием:

"Превелебный пане!

"In nomine Dei et Filii et Spiriti Sancti[54] начинаю мое всенижайшее донесение. Не имею пока достаточных сведений, так ли идет в других городах и провинциях Московии, но у нас — успех за успехом, и каждый успех малый успехом большим. Вам уже известно происшествие в Высоких Снежках, пока еще не оправдавшее надежд насчет здешнего варварски-тупого народа, в сравнении с которым волк, огрызающийся на разящую его руку, является существом более свободолюбивым и более разумным. Впрочем, никак не следует отчаиваться. Здесь не теряют надежды: агитация по селам непременно должна сделать свое дело. Здешний центр, как уже было доносимо, организовался давно и необыкновенно счастливо: имея по правую руку высокопоставленную влиятельную женщину, а по левую доброго сына отчизны, можно действовать, соображать, наставлять и направлять по тройственному усмотрению. *Центр* хорошо спрятан, отлично смаскирован: его никто не знает, никто не подозревает. В недавнее время начинает и здесь идти в ход система *троек.*[55] Ни с правою, ни с левою рукою никто кроме главы, с благословения превелебной мосци поставленной, никаких сношений не имеет и о причастности их к центру не знает. В последние дни, после неспешной, но удачной подготовки, образовался центр подцентральный, который репрезентует себя в одной только особе некоего учителя, имеющего непосредственные и исключительные сношения с главою, но не знающего о содействии рук. Этот-то подцентральный центр служит для двух посвященных низшей степени осязаемым центром, и эти двое (доктор и другой учитель) почитают его в убеждении своем, как местный и притом единственный центр, облеченный самостоятельностью и независимостью. Эти последние *двое* успешно завербовали себе тройки, знающие, что местный центр, в *чьем-то* лице существует, но в чьем? — то пока остается для них непроницаемой тайной, да надеемся, таковою и навсегда останется. По сведениям, лица, составляющие эти тройки, каждое в отдельности, с успехом уже занялись вербованием следующих своих собственных троек. Решено было нарочито принять систему *троек,* а не *десятков,* в том предпочтении, что тройка, являющая собою единицу меньшую количеством чем десяток, наименее опасна для целости и стройности остальной организации, ежели бы кто по малодушию не удержал язык свой пред врагами.

Слово святого костела и тайна конфессионала сделали, с помощию Бога, то, что те лица и даже целые семейства, которые, живя долгие годы в чуждой среде, оставили в небрежении свой язык и даже национальность, ныне вновь к ним вернулись с раскаянием в своем печальном заблуждении и тем более с сильным рвением на пользу святой веры и отчизны.

Общество врагов растленно и легкомысленно, и та часть оного, которая наиболее оказывает сочувствие делу для нее чуждому, поистине наиболее достойна величайшего презрения. Польская земля, гордая любовию и верою сынов своих, покраснела бы от сраму и заплакала бы кровавыми слезами в тот день, когда из недр ее могло бы народиться столько отщепенцев, столько Искариотов! Но к счастью, Польша не Татария. Это отребье земли своей, эти псы богохульные, глумясь в гордыне безверия своего над Богом и над своею (хотя бы-то и схизматическою) верою, затеяли отслужить панихиду по убитым в Снежках. Сколько гнусного глумления, сколько франтовства своим неверием, достойных омерзительного презрения! Тем не менее, они сделали из своей панихиды добрую демонстрацию, и весьма значительная часть здешнего общества этой демонстрации сочувствует. В этом, конечно, для нас есть весьма много полезного. Их можно презирать, но ими необходимо пользоваться, ибо ныне они — сила.

Симпатии *к угнетаемой* все более и более высказываются в здешнем обществе: работа наших не пропадает даром. Все высшее общество (правда, хотя и из глупого подражания) облеклось в *жалобу:* черный цвет является преобладающим в женских нарядах; на языке у многих слова сожаления, сочувствия к нам и слова порицания своего российского правительства. Либералов

и красных распложается все более. Вредные до известной степени в родной среде поляков, красные в России являются нам полезным подспорьем.

К числу положительных приобретений надо отнести также и воскресную школу, находившуюся доселе в руках человека почтенного и честного, но, к сожалению, вредного своим противным и фанатическим направлением. Ныне, чрез вмешательство администрации, школа эта вверена благонадежному лицу из наших, которое само уже почти отстранилось от нее, а передало все дело в руки москалей из самых заклятых либералов. Работа с этим переходом пошла весьма успешно. Прежний же руководитель школы находится под надзором полиции. Один из преподавателей гимназии, а равно и воскресной школы, оказался человеком направления вредного; в то же время влияние его на учеников было достаточно сильно. Для пресечения вреда, могущего постоянно происходить от этого человека, авторитет его и, к сожалению, даже самое доброе имя необходимо долженствовали быть подорваны. Мера крайняя, но вполне необходимая, ввиду зла, имевшего парализовать многие добрые начинания.

Немалую силу (без сомнения, подлежащую борьбе) являет в лице своем здешний епархиальный архиерей Иосаф — оплот восточной схизмы, человек пользующийся большим влиянием на паству. Есть некоторые признаки, по которым заключаю, что он может быть вреден. Впрочем, это покажет будущее.

Был спектакль любителей, на котором особенно ярко проявились симпатии к распятой на кресте отчизне нашей. Вскоре на имя известных вам особ будет прислана do funduszu zelaznego тысяча рублей. Наперед вышлем на себя расписки. О дальнейшем донесу своевременно, а пока смиренно прошу благословения на дело неустанного служения своего".

Подписи не было, но вместо нее выставлен шифрованный знак «12–11», что в сущности означало «L-K», начальные буквы имени и фамилии ксендза-пробоща.

Не успел еще он, по окончании письма, выпить предобеденную рюмку настойки да закусить свежею молодою редискою со сливочным маслом, как в смежной комнате раздалось знакомое бряцание сабли полковника Пшецыньского, для которого ксендз-пробощ "всегда был дома".

— Век наш крутки — выпиемы вудки… А ну-бо! По килишку! — весело подмигнул хозяин только что вошедшему гостю.

Гость не отказался, и не выпил, но что называется «вонзил» в себя полную рюмку, после чего вкусно поморщился, как обыкновенно морщится от доброго глотка хороший гость, желая сделать этим комплимент хозяйской водке, и в заключение очень выразительно крякнул.

Ксендз ухмыльнулся и подмигнул вторично.

— Век наш не длуги, выпиемы по другей! — пустил он свою обычную прибауточку, — а потом возляжем за скромную монашескую трапезу!

От трапезы полковник отказался, но насчет недолгого века, по поводу которого надлежало выпить по другой, сказал по-русски, что умные речи приятно и слышать. И приятели хватили еще по килишку.

— Пан заехал кстати, — пожал Кунцевич руку Пшецыньскому: — у меня тут только что цыдула окончена. Если хочешь прочесть — вот она.

Полковник взял еще не сложенное письмо.

— Что ж, надо отправить? — спросил он, как о деле давно привычном и самом обыкновенном.

— С надписом: "конфиденциально", — пояснил пан Ладислав, изображая сложенными пальцами одной руки на раскрытой ладони другой как бы предполагаемую надпись. — Только будь так ласков, брацишку, отправь поскорее… в казенном пакете, за печатью… жебы вшистко было як сенподоба.

— На бискупа или на полицмейстера? — осведомился полковник.

— Как сам знаешь, — пожал плечами ксендз. — Только думаю, что на полицмейстера натуральнее; а то что за корреспонденция у жандармов с бискупами! На полицмейстера спокойнее будет: его превелебна мосц писал уже, чтобы так поступать нам, уж они там знают!.. Им это лучше известно!

Полковник приятельским кивком вполне одобрил соображения своего предусмотрительного друга.

— А, кстати! — вспомнил Кунцевич. — Пан еще ничего не сделал с тем… с гимназистом?

— Да ведь пан каноник сам же просил оставить пока, я и не трогал его.

— Ну, и лучше!.. Он, сдается мне, пригодится еще к делу.

— Мм… молод! — с кислой гримасой заметил Пшецыньский.

— Э, ничего, что молод! Подвиляньский аттестовал его подходящим. К чему терять лишние чужие руки? Пусть это будет на добро да на пользу.

Полковник взглянул к себе на часы и стал прощаться.

— Э, не, не! Почекай трошечку! — остановил его ксендз, наливая рюмки, — так не водится! Слухай коханы: "Жебы быц нам спулне на тым свеце, выпиемы, брацишку, по тршецей!"

И чокнувшись они опрокинули и закусили по третьей — на прощанье.

XX. Из-за "шпиона"

Андрей Павлович Устинов никак не ожидал тех последствий, которые произошли из его шпионства, импровизированного Подвиляньским. Молва о тайной миссии учителя математики очень быстро разнеслась по всему Славнобубенску, что, впрочем, и немудрено, так как она весьма ловко была пущена в среду гимназистов, которым пояснено, будто Устинов потому-то и шикнул Шишкину, что сам он шпион и что он-то собственно и погубил Шишкина своим шиканьем. Гимназисты разнесли молву по своим семействам, а те по своим знакомым, и, глядь, суток через двое весь Славнобубенск был уже убежден, что в среде его ходит, подглядывает и подслушивает весьма опасный агент тайной полиции — учитель Устинов. Очень многие стали чуждаться Андрея Павловича. Входит он, например, в сборную учительскую комнату, некоторые из сослуживцев многозначительно переглядываются между собою и прекращают разговоры. Поклоны их стали гораздо суше; иные избегали протягивать ему руку. Проходя из класса по гимназическому коридору, он встретил гурьбу учеников, которая, пропустив его мимо себя, вдруг единодушно зашишикала, и среди этого шума раздалось несколько голосов: "шпион! шпион! Устинов шпион!" Тот обернулся, обвел гурьбу изумленным взглядом и улыбнувшись прошел мимо.

В кухмистерской, на Московской улице, точно так же при входе его весьма многие из присутствующих, знавших его в лицо, прерывали некоторые из своих разговоров, переглядывались и перешептывались между собою и окидывали его иногда каким-то осторожным, неприязненным взором. При встречах на улице, очень многие из знакомых делали вид, будто не замечают его, и на поклон отвечали словно бы нехотя, вскользь, торопливо и с видимым смущением.

Вскоре и сам он заметил, что положение его становится каким-то глупым, неловким, неестественно-натянутым, и это стало то бесить, то сильно огорчать его. Но более всего горькою и обидною была потеря доверия и привязанности учеников. Взаимные отношения их, помимо его воли, как-то сами собою переменились; в них явилась холодность, неприязнь и даже школьнически-своеобразное презрение к нему, выражавшееся каким-нибудь безмолвным взглядом, свистом или возгласом «шпион», брошенным ему за спиною, и положительным отсутствием весело-доверчивых разговоров и расспросов, как бывало прежде.

Устинов сознавал, что все это было слишком мелко и чересчур уже глупо для того, чтоб обратить на подобные проявления серьезное внимание, а между тем новое положение втайне начинало уже очень больно и горько хватать и грызть его за сердце.

Кажется, во всем городе Славнобубенске только и осталось три-четыре человека, отношения которых ни на йоту не изменились к Андрею Павловичу, и это были: Хвалынцев, майор Лубянский да Татьяна Николаевна со своею старою теткою. Все остальное разом отшатнулось от учителя.

Раз как-то зашел он к майору. Анна Петровна, встретив его весьма сухим поклоном, тотчас же удалилась из комнаты. Зато майор обрадовался от чистого сердца.

— Ну, голубчик мой! Наконец-то! — протянул он ему обе руки. — Пойдем в мою келью, потолкуем-ка!.. Хоть душу отведешь с человеком!

Устинов глянул на старика и заметил, что он видимо изменился за последнее время: сивая щетинка на бороде уже несколько дней не брита, чего прежде никогда не случалось, лицо слегка осунулось и похирело, в глазах порою на мгновение мелькало легкою тенью нечто похожее на глухую затаенную кручину. При взгляде на Петра Петровича, Устинову стало еще грустнее.

— Ну, что, как живете-можете? — начал он, лишь бы отогнать немного свое тягостное чувство.

— Да что, голубчик, скверно старикам стало жить на свете, скверно! — с глубоким, сокрушенным вздохом покачал головой Лубянский. — Прежде людьми пренебрегали за какое качество дурное, за порок какой там что ли, а ныне за одну только старость пренебрегать начали. Иль я уж и в самом деле из ума выжил, или что, и сам не понимаю; а только вдруг, на шестом десятке, под сюркуп полицейский попал! Чуть что не каждый день вдруг квартальный стал шататься да житье-бытье мое поверять! "Вы, говорит, за неблагонамеренность под призор отданы, и я должен за поведением вашим наблюдать!" Легко ли это, я вас спрашиваю!.. Издеваются они надо мной, что ли? Да кто же дал им ныне это право такое над честным солдатом издеваться?.. До чего дожили, прости, Господи! Уж я этому квартальному, чтобы не часто шатался, грешный человек, дал по секрету трешницу. Школу отняли, самого оплевали… А слыхали вы, батенька, что со школой-то сталося? Слыхали? Вы не бываете там больше?

— Мне Подвиляньский прислал письмо, с извещением, что я могу прекратить мои дальнейшие занятия там, — сказал Устинов.

— Я так и знал! Так и знал я это! — махнул старик. — А с отцом-то Сидором что сделали? Не слыхали-с?

— Признаюсь, не слыхал еще.

— Ну, уж это чистое невежество! — развел майор руками. — Приходит он это в школу, а навстречу ему господин Полояров: "вы, говорит, зачем сюда?" — "Как зачем! Я закон Божий читаю". — "Теперь, говорить, я вместо вас закон Божий читаю, а вы, говорит, ступайте прихожан своих эксплуатируйте (так и сказал! Это самое слово!). Все вы, говорит, за зловредность направления отсюда уволены!" Это что ж такая за наглость-то наконец, я вас спрашиваю! До чего же это дойдет у них?!. Отец Сидор хочет владыке жаловаться, — да и в самом деле, ведь уж тут просто житья нет никакого! Нагнал это туда новый-то распорядитель учителей хороших: все эти Полояровы, да Анцыфровы, да Лидиньки разные... поди-ка, чай, хорошему научат!.. Уж они мне, батюшка, — вот они все где сидят-то мне! — указал старик на свое горло. — Ведь уж я терпелив, ну да и мое терпение лопнет скоро!

— Полояров-то бывает у вас? — спросил Устинов.

— Уж не говорите лучше! — с негодованием отплюнулся Петр Петрович, — не знаю как избавиться! И что это такое с Нюточкой сделалось, просто не понимаю! Не далее как год назад ведь это прелесть что за девочка была — сами, чай, помните! — а ныне (старик с боязливою осторожностью покосился на дверь и значительно понизил голос), ныне — Бог ее знает! какая-то нервная, раздражительная стала. Строптивость у нее какая-то вдруг... Что ни скажешь, ни сделаешь — все это не так, все это не по ней... одного только *этого... его-то* — только его и слушает. Начнешь говорить ей, — сейчас в раздражение: "вы говорит, меня стесняете, лишаете меня свободы!" Ты ей резоны представляешь, а она сейчас: — "произвол! насилие!.. Это, говорит деспотизм родительской власти"... Господи боже мой! Андрей Павлыч! (голос старика дрогнул от волнения) сами вы знаете — ну, стесняю ли я чем ее? Ну, могу ли я стеснять? Я... я души в ней не чаю, а она... деспот... деспотизм. Да что ж это такое, ей-Богу!..

Старик примолк и огорченно поник головою.

— Теперь хоть это: хорошо ли это с ее стороны? — продолжал он через минуту. — Отца осрамили, отцу учить запретили, под надзор полиции отдали, школу отняли, а она в этой школе продолжает учить, как ни в чем не бывало. С *этими-то...* с *этими-то* вместе учит, в одной компании... с врагами!.. Ведь они враги-с делу-то! Ну, прилично ли это? Отчего же Татьяна Николаевна сразу перестала, сама перестала, чуть только проведала про всю эту компанию?.. И я же еще стесняю ее! Я деспотствую!.. Эх, голубчик мой, горько мне все это! горько!.. И откуда на нас вся эта напасть? — продолжал старик, ходючи по комнате и закурив свою коротенькую трубочку. — Отчего же прежде у нас на Руси ничего такого не было? Иль уж и в самом деле все мы прежде до такой степени были глупы и слепы, и подлы, что на нас теперь и плюнуть не стоит порядочному человеку, или что — я уже и не понимаю. Думаешь-думаешь так-то вот себе ночью (нынче ночами-то что-то плохо спится мне). Только нет, думаешь себе, отчего же подлы? Отчего же глупы да пошлы? ведь и между нами были же и умные, и честные, и образованные люди — да вот, хоть взять теперь нам старика Алексея Петровича Ермолова, или например покойник Воронцов Михайло Семенович, — ведь это все какие люди-то! справедливые, твердые, самостоятельность-то какая! Ну, значит, были же и между нами доблестные граждане; умели же и мы любить свое отечество, и жили честно — не все же глупцы, да воры, да взяточники! За что же теперь-то все мы огулом охаяны да оплеваны? Ведь это обидно! Ведь и сами же *они* будут стариками — значит, и их заплюют? Да отчего же мы-то на своих отцов не плевали, отчего же мы любили и чтили заслуги их?.. Отчего ж это так вдруг все перевернулось у нас? Откуда это, я вас спрашиваю? И вот все это, голубчик мой, мучают

меня все эти неотвязные мысли проклятые, и никакого я себе ответа найти не могу!.. Эхе-хе! тяжело стало старикам на свете! — грустно заключил он, выколачивая в черепок золу из своей носогрейки.

Потолковал он и еще кое-что на ту же самую тему, а потом, чтобы разбить несколько свои невеселые мысли, предложил учителю партийку в шашки. Сыграли они одну и другую, и третью, а там старая кухарка Максимовна принесла им на подносе два стакана чаю, да сливок молочник, да лоток с ломтями белого хлеба. Был седьмой час в начале.

— А где же барышня-то? Что ее не видать? — спросил старик у кухарки.

— Барышни нетути. Аны еще давеча, как Андрей Павлыч пришли тольки, так ушли из дому.

— Куца же это? Не сказала?

— Нечего не сказывали; а только вышли одемшись и пошли.

— Ну, хорошо… Ладно; ступай себе!

— Вот, батюшка мой, — обратился майор к Устинову, когда кухарка вышла за дверь, — это вот тоже новости последнего времени. Прежде, бывало, идет куда, так непременно хоть скажется, а нынче — вздумала себе — хвать! оделась и шмыг за ворота! Случись что в доме, храни Бог, так куда и послать-то за ней, не знаешь. И я же вот еще свободы ее при этом лишаю!

Устинов посидел еще с полчаса и простился.

Вскоре после него вернулась домой Анна Петровна. На хмуром личике ее написано было молодое нетерпение поспешной решимости. Снимая перед зеркалом свою гарибальдийку и приглаживая короткие волосы, она даже ножкой досадливо топала. Видно было, что ей поскорее хочется решить что-то на *да* или *нет* и что на этот последний лад она кем-то настроена.

— Где была, Нюточка? — ласково и тихо обратился к ней Лубянский.

— Где была, там уж нету! — отвечала она с усмешкой. — А ты вот что, папахен… Мне с тобой надо поговорить серьезно нерешительно. Угодно тебе меня выслушать?

— Говори, дружочек… — еще тише промолвил старик, у которого вдруг упало сердце от этого тона речи. Он смутно предчувствовал что-то недоброе.

— Извольте-с. Я буду говорить, — начала она, с какой-то особенною решимостью ставши пред отцом и скрестив на груди руки. — Скажи мне, пожалуйста, папахен, для чего ты принимаешь к себе в дом шпионов?

— Шпионов?.. Каких это шпионов? — поднял на нее глаза Лубянский.

Из этого вопроса он уже понял о чем пойдет дело.

— Как каких? Как будто Полояров не при тебе говорил?

— Э, девочка! Мало ли что говорит Полояров…

— Но это все говорят!.. Весь город знает.

— Ну, мало ли что!.. Собака лает, ветер носит — слышала, чай, пословицу? У нас ведь чего не болтают?

— Но это не болтовня, это правда! Намедни у самого Пшецыньского спрашивали, так он только как-то странно улыбнулся на это и стал уверять, что вздор и выдумки. Одно уж это уверение достаточно подтверждает факт.

— Ну, Нюта, полно пустяки болтать!.. Ни в жизнь я таким вздорам не поверю и даже слушать-то про них не хочу.

— Ха-ха-ха!.. Это мило! Это мне нравится! — нервно потирая руки, зашагала она по комнате. — Ну, так я же тебе говорю, что я не желаю, не хочу — слышишь ли, папахен? — не хо-чу, чтоб у нас в доме бывал этот шпионишка! После этого к нам ни один порядочный человек и носу не покажет. Мне уж и то говорят все!..

— Кто говорит-то? какой-нибудь Полояров…

— Во-первых, — перебила девушка с ярко проступившею на щеках краской досады, — во-первых, Полояров вовсе не «какой-нибудь», а порядочный человек, которого я уважаю, и потому покорнейше прошу о нем так не говорить!

— Да ты сама-то, Нюта, как говоришь со мной, с отцом-то своим? Что ж, тебе Полояров ближе отца стал, что ли?

— Это вопрос совсем посторонний; и замечаний мне тоже не надо, а я тебя спрашиваю в последний раз: угодно тебе быть знакомым со шпионами?

— Я Андрея Павлыча за шпиона не почитаю и почитать не буду, — решительно и твердо ответил он на это, — и знакомства с ним от каких-нибудь нелепых сплетен не прерву. Вот тебе, Нюта, мое слово!

— Покорнейше благодарю! — иронически поклонилась она. — Я и не знала, что тебе этот барин дороже дочери и собственного доброго имени.

— Матушка! — покачал головой майор, — не Анцыфровым каким-нибудь дарить меня добрым именем, я его сам себе добыл; и не им его вырывать от меня! А о себе ты и не говори… Нюта, Нюточка! да неужто же ты не видишь, голубка моя, как люблю я тебя! — с глубокою нежностью протянул он к ней руки.

— Скажите, пожалуйста! Да в чем это любовь-то ваша? — с пренебрежением выдвинула она свои губки. — Велика заслуга — любовь! Каждое животное, собака — и та любит щенят своих: просто, животно-эгоистическое чувство и больше ничего! Это очень естественно!

Старик в каком-то ужасе поднялся с места.

— Нюта, Нюта! — горько покачал он головою. — И это ты!.. это ты говоришь такие вещи!.. Да кто это вселил в тебя мысли-то такие?.. Боже мой! Родительское чувство… отца вдруг с собакой… со псом приравняла!.. Да что ж это, ей-Богу!.. Нюта, это не ты говоришь… это чудится мне только!.. Нюта! родная моя!.. Поди ко мне.

— Оставь, пожалуйста, нежности, папахен! — мимоходом махнула она рукой. — Я тебе повторяю, если хочешь жить со мной в мире, то чтобы в доме у нас не было больше Устинова, а если он еще раз придет, то я наделаю ему таких дерзостей, каких он еще ни от кого не кушал.

— Ну, уж нет! Этого не будет! — опять-таки решительным тоном возразил Петр Петрович. — Гостя, каков бы он ни был, в моем доме оскорблять не позволю, потому что он гость мой.

— Ха-ха-ха! Это у тебя все твои эти кавказские, восточные правила! — насмешливо проговорила она; — да если этот гость шпионишка, подлец, мерзавец?

— Сударыня! да постыдись ты, Христа ради! — укорливо всплеснул старик руками, — ведь ты благородная девушка! Ну, что ты девичьи уста свои оскверняешь такими гнусными словами! Откуда все это? И что это за тон-то у тебя нынче? Где ж твоя скромность, голубка ты моя?!.

— Мне это наконец надоело! — топнула она ножкой, снова скрещивая руки и становясь перед отцом, — я хочу знать решительно: будут ли у нас бывать шпионы, или не будут?

— Шпионов не бывало и бывать не будет, — категорически ответил старик, поднявшись с места, — а Андрей Павлыч будет! И пока я жив, я никому не позволю оскорбить его в моем доме, и никто этого не осмелится!

— А, когда так, — так хорошо же! — взвизгнула Анна Петровна, заливаясь гневными слезами. — Это деспотизм... это насилие... это самодурство, наконец!.. Этого я выносить не стану!.. я не в силах больше!.. Терпение мое лопнуло, так и я не хочу, не хочу, не хочу больше! — возвышала она голос. — Слышите ли, не хочу, говорю я вам!.. После этого между нами все кончено! Прощайте, Петр Петрович!

И стремительно вырвавшись из комнаты, она мимоходом захватила гарибальдийку да бедуин, перекинутый через спинку стула, и бросилась вон из дому.

— Нюта! Нюточка! голубчик!.. Куда ты!.. вернись! вернись, Христа ради! — вдруг переполошившись схватился старик вдогонку за дочерью. Словно ошалелый, выбежал он за калитку и, как был в одном халате, без шапки побежал по улице.

Нюточка спешно обернулась на его голос и видя, что он ее, пожалуй, догонит, сама торопливо пустилась бежать от него, махая встречному извозчику, и, поравнявшись с его дрожками, с разбегу прыгнула в них.

— Пошел!.. Пошел живее! Поворачивай! — чуть не задыхаясь, толкала она своего возницу — и тот, в надежде на хорошую выручку, со всеусердием стал хлестать свою лошадь.

В эту минуту молодая девушка вся была в какой-то исступленно-нервной экзальтации. Ее душил прилив злостной досады избалованного, капризного ребенка; слезы ручьями катились по щекам; лихорадочная дрожь колотила все тело. Она сама не помнила и не понимала хорошенько, что с нею и что она делает.

Старик поглядел ей вслед и поник головою. Из разных окон на эту сцену уже глядели любопытные головы. "Господи! чужие люди видели!" — чем-то колючим отозвалось в сознании Петра Петровича, и он вдруг как-то оселся, сконфузился и, стараясь ни на кого не глядеть, побрел в свою калитку.

XXI. Без дочери

Не скоро пришел в себя старый Лубянский, но все-таки мало-помалу более спокойное, сознательное горе тихо овладело им, и среди этого горя нашлось еще место надежде. Надежда же явилась потому, что слишком велика была любовь его.

"И куда это поскакала она, сумасшедшая? — думал себе майор, слоняясь из угла в угол по всем комнатам; — к дурище к этой Затцихе, что ли? или к Татьяне Николаевне?.. Нет, та не того покроя, к той не поскачет!.. Неужели к Полоярову? — вдруг мелькнула ему жуткая, страшная мысль, которую он всячески постарался тотчас же отогнать от себя. — Нет, нет... нет, не может этого быть!.. Какие глупости бредут мне в голову!.. Это я расстроен нынче, это оттого все... Моя Нюточка, нет, нет, она этого не сделает... Верно у Затцихи... Она скоро вернется, утешал он себя баюкающею надеждою, — образумится и вернется... Она благоразумная ведь... не может не вернуться... Надо тогда поговорить с ней... Надо покротче, поласковее... Ведь и я уж тоже! Разве можно эдак-то круто?.. Этак нельзя... Надо уговорить, урезонить... Она поймет же ведь наконец...

А между тем время шло да шло себе, и пробило уже десять часов.

Майор снова начинал тревожиться и сердиться.

"Ведь эдакая, право, скверная, упрямая девчонка! Характер-то какой настойчивый!.. Это хочет, чтобы я покорился, чтобы я первым прощения просил да по ее бы сделал... Ну, уж нет-с, извините! Этого не будет! Этого нельзя-с!.. Да-с, этого нельзя-с!.. Из-за пустой поблажки да честных, хороших людей обижать, это называется бабством! А я не баба, и бабой не буду!.. Да-с, не буду бабой я! вот что!"

Майор, жестикулируя, размахивая руками и говоря сам с собою вполщепота, все к кому-то обращался, словно бы в этой комнате сидела воображаемая Нюточка.

"Нет, надо будет взять другие меры!.. Непременно другие меры!" — советовал он самому себе. — Но какие именно будут эти предполагаемые меры, старик не определял, и даже будто, избегал такого определения: он только как бы утешал и баюкал себя тем, что меры непременно должны быть другими. "Хорошо бы всех этих господ тово... в шею! — показал он выразительным жестом, — чтобы и духом их тут не пахло! тогда будет отлично... тогда все как нельзя лучше пойдет!.. Да-да, непременно другие меры".

"Но, Господи! Что же это Нюточка?!."

Пробило одиннадцать, а ее все нет еще. Вот и половина двенадцатого, вот и двенадцать, но Нюта не возвращается. Беспокойство все более и более овладевало стариком, и к этому беспокойству примешивалась и тоска, и страх безотчетный. Он решился ожидать до часу, и все время, в открытую форточку, напряженно и чутко прислушивался — не дребезжат ли на улице дрожки, не слыхать ли легких, приближающихся шагов... Он бы по чутью угадал звук походки своей дочери. И вот изредка послышатся чьи-нибудь шаги, — майор встрепенется, сердце его станет биться порывистей, напряженнее... но нет, — не она!.. все не она это! все другие посторонние: либо не доходя где-нибудь остановятся и затихнут в какой-нибудь чужой калитке, либо все мимо да мимо проходят, а ее все нет, как нет!.. И когда же, наконец, она будет? И когда затихнет и уляжется этот страх, эта тоска, все более и все мрачнее растущая в сердце старого майора? Но вот и час простонал глухой колокол на далекой соборной колокольне.

Майор с лихорадочною поспешностию стал одеваться и ушел из дому, к несказанному, но безмолвному удивлению заспанной Максимовны.

Спешным шагом, и почти что рысцой, направился он в Кривой переулок, где жила Лидинька Затц. Но в Кривом переулке все было глухо и тихо, и у одного только подъездика полицмейстерской Дульцинеи обычным образом стояла лихая пара подполковника Гнута, да полицейский хожалый, завернувшись в тулуп, калякал о чем-то с кучером. Майор поспешно

прошел мимо их, стараясь спрятать в воротник свое лицо, чтобы не видели его, словно бы, казалось ему, они могли и знать, и догадываться, куда он идет и кого отыскивает.

Лидинька Затц не спала еще и, понятное дело, с подобающим изумлением встретила посетителя, столь позднего, столь редкого и притом в такую странную, необычную пору. Она еще более удивилась, когда тот спросил о своей дочери. Лидинька не знала где она, и сегодня весь день даже не видала ее. Майор ушел еще более озадаченный и расстроенный.

— Не у Стрешневых ли она? — сказала Затц вдогонку ему, на лестнице.

— Не знаю… Побегу сейчас.

— А может быть…

Хотела еще что-то сказать она, но не договорила и замолкла. Видно было, что самое ее одолело вдруг какое-то сомнение.

— Что "может быть?" — жадно и тревожно обернулся на нее Лубянский.

— Нет… ничего, я так только…

— Что "может быть?" Говорите, не бойтесь! — настойчиво повторил он.

— М-м-может быть, она у Полоярова, — сомнительно высказалась Лидинька, которую засосал червячок ревности.

Старика словно ветром шатнуло, так что он едва успел ухватиться за перила. Это было слово, которого он сам себе не смел выговорить, предположение, которого страшился, вопрос, которого даже не дерзал он задать себе. Несколько секунд простоял Петр Петрович в немом раздумье и, наконец, снова повернулся к Лидиньке.

— Нет; этого нет и быть не может! — твердо сказал он ей решительным и поддельно уверенным тоном. — Это вздор!.. нелепость!.. Она… я знаю где, она — у Стрешневых.

— Ну, ступайте, ищите! Помогай вам Господи! — проговорила Затц, закрывая двери, и в голосе ее послышалась боль и насмешка уязвленной ревности и страдающего самолюбия…

Петр Петрович пошел в другую часть города, где жили Стрешневы. Но в окнах у них было темно: там, очевидно, все давно уже спали.

"Что ж стучаться-то, тревожить понапрасну, подумал себе майор, — стало быть ее там нет… Только один лишний скандал… Нечего и спрашивать!.. А кабы ночевать осталась, или заболела, так прислали бы сказать"…

"Куда ж теперь?" — спросил он себя мысленно. И стало ему вдруг страшно, жутко и холодно… Замерещилось, будто он, он сам жестоко обидел, оскорбил свое родное дитя, и оно, бедное, безумное, с горя пошло да в Волгу кинулось… утопилось… умерло… плывет теперь где-нибудь… или к берегу прибило волной его мертвое тело…

И полный этих черных мыслей, он, как к единственной надежде своей, бросился к Устинову.

Учитель еще не спал и работал, обложенный какими-то книгами да математическими вычислениями. В первую минуту он даже испуганно отшатнулся от своего нежданного гостя, до того было болезненно-бледно и расстроено лицо Лубянского.

— Петр Петрович! Что с вами?

Тот кое-как, с трудом рассказал в чем дело.

— Пойдем искать вместе… помогите мне… вместе скорее, может… как-нибудь… спасите ее! — говорил он урывками каких-то смутных мыслей, в какой-то полупомешанной растерянности.

Учитель молча, но поспешно стал одеваться, и в две-три минуты был уже готов.

— Куда же идти-то? — спросил он, выйдя на улицу.

— На Волгу… на Волгу идти… Она там верно… там… Где же больше? — бормотал майор, весь дрожа нервическим трепетом.

— Нет, Петр Петрович, этого быть не может, — самым уверенным тоном стал успокаивать его Устинов. — Я головой готов ручаться, что не может!.. Просто так подурила себе немножко, а это нет, это вы только напрасно себя беспокоите… Тут что-нибудь иное…

— Иное?.. Да что ж иное? Затц говорила… что у этого… у Полоярова… Но ведь Затц дура… она врет это… этого быть не может, — с одышкой сказал наконец Лубянский.

Устинову мелькнула вдруг новая мысль, новая догадка.

— А вы там были? у Полоярова-то? — осторожно спросил он.

— Нет, не был… Зачем же туда?.. Там ведь нету…

— Да все-таки… попытаемся, сходим… может, он знает.

Отправились к Ардальону. У ворот того дома, где обитал он, дремал дежурный дворник.

— Дома господин Полояров, не знаешь ты? — спросил Устинов.

— Нет его дома; не бывал еще.

— А не была тут вечером… молодая… девушка? — с трудом проговорил Лубянский.

— У Полоярова-то? — переспросил дворник.

— Да, да, у Полоярова…

— Какая это? Чернявенькая такая? Стриженая?

— Ну, да, да!.. Она самая… Не была?

— Вечером? так часу, значит, в девятом?

— Так, так; в девятом, в начале девятого.

— Была, приезжала, — подтвердил дворник. — Да она тут часто у него бывает.

— Где ж она? здесь? — перебил Устинов.

— Нет; таперя нет ее, уехамши…

— Как уехавши!.. Куда? — почти вскрикнул Петр Петрович.

— А не знаю доподлинно… Слышал, так, часу в одиннадцатом, рядили аны тут вдвоем извозчика за город, значит, как быдто в Гулянкину рощу… Сам-то, кажись, маленько выпимши был, а в точности не знаю, может, и не туда… потому, назад еще не бывали.

— Ну, спасибо, спасибо, голубчик, — заговорил Лубянский, торопливо порывшись в кармане и сунув в руку дворника какую-то монетку. — На, на, возьми себе! Пойдемте, Андрей Павлыч… Пойдемте отсюда… Что ж нам здесь делать?

И старик торопливым шагом побрел от ворот, где провожал его глазами удивленный дворник. Устинов пошел следом и стал замечать, что Лубянский усиленно старается придать себе бодрость. Но вот завернули они за угол, и здесь уже Петр Петрович не выдержал: оперши на руку голову, он прислонился локтями к забору и как-то странно закашлялся; но это был не кашель, а глухие старческие рыдания, которые, сжимая горло, с трудом вырывались из груди.

Учитель тихо отошел на несколько шагов в сторону, чтобы не мешать своим присутствием этому порыву глубокого горя, и в то же время не спускал внимательных глаз со старика, будучи готов при первой надобности подать ему какую-либо помощь. Прошло несколько минут, пока нарыдался Лубянский. Тихо отклонясь от забора, он, шатаючись, сделал два шага и присел на тумбу, подперев свой лоб рукою.

Минуло еще несколько минут, когда, наконец, учитель решился подойти к нему.

— Петр Петрович!.. а, Петр Петрович!.. Пойдемте-ко лучше домой… Я провожу вас, — осторожно и тихо сказал он, с участием дотронувшись до плеча Лубянского.

— А?.. что?.. как?.. — пробормотал тот, словно бы очнувшись. — А, это вы, голубчик?.. Что вы говорите?

— Я говорю, пойдемте домой… дома лучше… Что ж сидеть-то!..

— А?.. Домой?.. Хорошо, пойдем домой… Хорошо… пойдемте…

Устинов помог ему подняться с тумбы и под руку повел по улице. Старик видимо ослабел и даже слегка пошатывался.

Молча дошли они до самой калитки, и здесь Петр Петрович как будто приободрился немного.

— Спасибо вам, голубчик, спасибо, — сказал он сжимая руку учителя; — теперь уж я сам… Извините, что потревожил вас… Не беспокойтесь, я сам… я сам как-нибудь.

Учитель понял, что ему хочется остаться одному-одинешеньку со своей думой, со своим великим горем, и потому, не входя во двор, простился у калитки.

Столь же, по-видимому, бодро вошел старик и в комнату. Сонная кухарка зажгла ему свечу и поставила ее на стол, где еще с десяти часов вечера был собран холодный ужин, за который майор никогда не садился без дочери. Два прибора и закуска до сих пор оставались не тронутыми.

— Ступай, Максимовна, спи себе, ты не нужна мне, — обернулся он к кухарке, которая, зевая и почесываясь, стояла у дверей.

Оставшись, наконец, совершенно один, Петр Петрович долго стоял посредине комнаты не то в каком-то растерянном раздумье, не то в полном оцепенелом бессмыслии. Даже лицо его не выражало теперь никакого оттенка горя, тоски или думы, или другого какого ощущения, но не сказывалось в нем тоже и равнодушия, ни апатичной усталости, а было оно, если можно так выразиться, вполне безлично, безвыразительно.

С тем же тупым, безличным взглядом подошел он к столу, рассеянно налил рюмку водки, рассеянно пропустил ее сквозь зубы и, не закуся ни кусочком хлеба, медленно отошел на прежнее место.

Странное раздумье все еще владело им, и через несколько времени он опять повторил тот же маневр с рюмкой, словно бы и не помня, что одна уж выпита, и тихо, на цыпочках, прокрался в комнату дочери.

Перед благословенным образом покойной жены его тихо мерцала там лампадка, которую никогда не забывала зажечь на ночь старая Максимовна, и свет этой лампадки слабо озарял предпостельный столик со свечой и графином воды, кисейную занавеску, несколько книг на окошке, девическую кровать, застланную чистым, свежим бельем и тщательно, как всегда, приготовленную на ночь. Над кроватью висел небольшой портрет покойной жены Петра Петровича, умершей назад тому четыре года. Фотографический оттиск давно уже стал выцветать, но все еще довольно живо хранил добрые, мягкие, спокойные черты немного пожилой женщины.

Майор остановился и надолго застыл в раздумье пред постелью своей дочери.

Эта чистая, девическая постель еще в первый раз в жизни оставалась в такую глухую, позднюю пору ночи пустою и несмятою.

"Где *она?..* Что с *нею*"*?..*

Что-то колючее, как тонкая холодная игла, щекотно проникало старику в самую заповедную глубь сокрушенного сердца.

"Ушла… Сама ушла… И нет ее… и не будет больше… Кабы жива была покойница, может *этого* не случилось бы".

Словно больной, надоедливый зуб, сердце все ныло и ныло так тихо, но непрестанно, и так долго, так однообразно…

Майор присел на стул перед кроватью, около столика, безотчетно поправил отвернувшийся край простыни, подпер руками голову и без думы, без мысли, с одною только болью в сердце, стал глядеть все на те же былые подушки да на тот же портрет, смотревший на него со стены добрыми, безмятежными глазами. Так застали его первые лучи солнца. Он спал теперь сном глухим и тяжелым.

XXII. Великодушный Ардальон

В десятом часу утра, отправляясь в гимназию, Устинов нарочно дал крюку и завернул к майору проведать, что с ним теперь делается. Он очень опасался за его здоровье. Майор уже проснулся, вымылся, оправился и, судя относительно, глядел довольно бодро.

— Что же мне делать теперь, Андрей Павлыч? Научите, присоветуйте; я ведь просто голову потерял, — грустно говорил он Устинову. — Не знаю, хорошо ли это, но думаю пойти туда…

все-таки что-нибудь.

— А не подождать ли, может, сама вернется…

— Ах! да ведь сердце-то все мое изныло!.. Не могу я так, — тоскливо перебил старик. — Уж хоть бы знать что-нибудь положительное! Ну, умерла она — ну, так бы, по крайней мере, и знал, что умерла; а бросила — так бросила!.. Господь с нею!.. А то, эта неизвестное хуже всего! Ведь уж я измучился!

Устинов не нашел возражений против этого чувства, и старик вместе с ним вышел из дому. Один пошел на службу, другой к Ардальону Полоярову.

* * *

Анна Петровна проснулась давно и притом очень рано. Ей спалось плохо; перерывистый сон был смутен и тревожен; быть может, новизна места, а может, и новизна положения способствовали такому лихорадочному состоянию. Подобрав под себе ноги и плотно закутавшись в свой бедуин, она прижалась в уголок кожаного дивана, и раздумье о новом своем положении, о новой жизни, помимо ее собственной воли, неотступно брело в ее голову. У другой стены, примостившись кое-как на составленных креслах и стульях, спал Ардальон Полояров, и девушка порою влюбленно переводила взгляд на его рослую фигуру и долго, внимательно останавливала его на лице своего друга. В комнате было грязно и беспорядочно, и вся обстановка с первого взгляда показывала, что здесь живет холостой бобыль-бездомовник.

Ардальон потянулся, почавкал губами, зевнул, и, открыв глаза, приподнялся на локтях со своих стульев.

— А, матушка, уже проснулась? — улыбнулся он Анне Петровне. — А что самоварчик? Побаловаться бы горяченьким, а то смерть как скверно!

Самовар давно уже стоял на столе и давно парился на нем чайник, но новая хозяйка даже и не дотронулась до налитой чашки. Она молча подошла теперь к столу, налила стакан и подала Полоярову.

— Что это? Никак глазки на слезки? — спросил он, взглянув на смутное, опечаленное лицо девушки. — О чем это? Уж не о папеньке ли стосковались?

— Да, о нем, — ответила она очень серьезно.

— Э, барышня! Это надо же было предвидеть! Ведь рано ли, поздно ли, ты все равно должна же была оставить его.

— Да, но так оставить, как я оставила…

— Решительно все одно и то же. Важна сущность факта, а сущность законна, потому что естественна, а обстановка — так ли, или иначе совершился факт, это не суть важно; это пустяки!

— Но ведь дворник сказывал, что нас спрашивали… Это верно он был, — задумчиво проговорила девушка, отвечая не Полоярову, но как будто самой себе, на какую-то свою собственную, отдельную мысль.

— Всенепременно он… и должно быть с Устиновым, — подтвердил Ардальон.

— Я боюсь, что придет и сегодня, — сказала Нюточка.

— Ха-ха-ха! "боюсь"!.. Чего же тут бояться?.. Ну, и пусть его приходит!.. Я бы даже желал, чтобы он пожаловал.

— Это зачем? — подняла она удивленные взоры.

— А затем, чтобы поглядеть, как вы встретитесь. Это тебе, матушка, будет хороший оселок... что называется, проба пера. До сих пор все пустяки были, а теперь игра пойдет всерьезную. Вот ты и испытай, на сколько ты боец жизни! Теперь и узнаешь, есть ли у тебя настоящий характер или, просто, ты тряпица, кисейная барышня... Полно-ка, матушка, возьми лучше голову в руки и будь заправскою женщиною, а сентиментальничанье к черту, если хочешь, чтоб я уважал тебя! Коли перед всяким стариком киснуть, так что же ты станешь делать пред настоящим, пред серьезным-то делом?

В дверь заглянула квартирная хозяйка и объявила Ардальону, что его какой-то старичок спрашивает.

Лубянская смутилась и принужденной улыбкой хотела скрыть это чувство пред Полояровым, который, в свою очередь, окинул ее пристальным испытующим взглядом.

— Ну, Анютка... Смотри, молодцом у меня!.. Смелей! — подмигнул он ей и растворил майору дверь своей комнаты.

Петр Петрович сделал несколько шагов, но вдруг тревожным взглядом окинул всю обстановку и невольно попятился к дверям, смущенный, сконфуженный и как бы пришибленный какою-то внезапностью.

Он ожидал многого, но то, что увидел он здесь, было сверх его ожиданий.

Эта грязная, пропитанная табачным дымом комната, эти составленные стулья, этот диванишко с брошенной подушкой: этот расстегнутый ворот кумачной рубахи, и среди всей этой обстановки вдруг *она*, его чистая голубка, его родное, любимое детище... Майор смешался и сконфузился до того, что не мог ни глаз поднять, ни выговорить хоть единое слово.

Полояров вызывающим взглядом глядел на девушку.

Стараясь побороть в себе чувство смущенной неловкости она, с улыбкой напускного равнодушия, словно бы ничего особенного и не случилось с ней, направилась к отцу, стоявшему на пороге:

— А, это ты, папахен? Здравствуй!.. Что же ты не входишь?

— Нюта!.. Где ты?.. Что с тобой? — глухо проговорил он наконец, не двигаясь с места.

— Как, Боже мой, где? У Ардальона Михайловича — ответила она все с тою же деланною улыбкой. — Да чего ты такой странный, папахен? Ровно ничего такого особенного не случилось, чтобы в священный ужас приходить! Повздорили мы с тобой вчера немножко, ну что же делать, всяко бывает! Вчера повздорили, а сегодня помиримся.

Старик стоял и глядел на нее изумленно и недоверчиво, точно бы он и в самом деле не верил, что это дочь его.

— Да чего ты так глядишь на меня, — продолжала она, ласково положив на плечо ему руку, — своя, не чужая! Все та же, что и прежде. Ну, хочешь, поцелуемся?

— Нюта! Голубушка! Что это ты над собою сделала? — не выдержав наконец, зарыдал отец и припал на плечо дочери. — За что ты себя опозорила!.. Нюта… Нюта моя!..

— О, какие ты вздоры говоришь, папахен! — ласково засмеялась она. — Ну, чем же я себя опозорила? Что ж, я подлость какую сделала? украла? продала кого? В чем позор-то?

— У него… Нюта! у него на квартире… ночью… одна!.. Боже мой, Боже! До чего дожил я!

— Экая важность, что у него! — возразила девушка, успевшая уже оправиться и даже несколько успокоиться и облегчить себя тем, что отец так мягко встретил ее. — Что у него, что в другом месте, — не все ли равно? А зачем притесняешь меня? Кабы ты больше уважал мои человеческие права, я бы не ушла от тебя. А ушедши, куда же мне было деваться? Конечно к Полоярову, потому мы друзья с ним.

— Нюта моя! Пощади ты мою седую голову! Не говори ты таких слов ужасных!

И он вдруг упал пред ней на колени.

— Умоляю тебя!.. Господи! Кабы все это один только сон был! Кабы ничего этого не было!.. Я не верю… не могу верить… Нюта! скажи ты мне, ведь этого ничего нету? Да?.. да? Ведь нету?

— Да чего нету? О чем ты хлопочешь, папахен? Не понимаю тебя я!

— Ну… хоть обмани ты меня… но только… Да нет, неужели же все это правда?

И он мучительно, тоскливо схватил себя за голову.

Девушка, не зная что делать, что отвечать ему, недоумело пожала плечами и бросила взгляд на Полоярова, как бы прося его помощи и совета. Но Ардальон, закуря папироску, спокойно расселся на диване и, заложив ногу на ногу, безучастно созерцал эту сцену.

— Ах, да встань же ты, папахен! — досадливо принялась Анна Петровна подымать старика с колен. — Ну, что это, право, за глупости!.. Это, наконец, скучно!.. Я рассержусь, папахен, слышишь ли? И чего тебе от меня хочется, понять не могу!

— Хочется мне… хочется, Нюта… знать тебя чистой… не опозоренной… Ведь это все неправда? Ничего этого не было? Да?

— Старик заговаривается, — пробурчал Полояров.

— Я?.. Я? — поднялся вдруг Петр Петрович. — И ты еще осмелился!

И он в исступлении, порывисто кинулся на Ардальона.

— Стоп, машина! Стоп! Не ву горяче па! Полегче! — отстранил его Полояров. — Ведь вам не сладить со мной: я маленько посильнее буду, да и горячиться-то не из чего! А вы присядьте-ка, да успокойтесь, мы вам чайку нальем, пожалуй, да тогда и потолкуем как следует.

— Папахен, милый мой! — обняла Лубянского девушка, удерживая его дрожащие руки, — ей-Богу, все это напрасно! Ну, что за трагикомедия? И все из-за таких пустяков! Ну, можешь успокоиться: я все та же и люблю тебя по-прежнему. Довольно с тебя этого?

— Ах, Нюта, Нюта! Если б у людей не было памяти! — сокрушенно вздохнул он, понемногу приходя в себя. — Как вспомню, я с ума схожу!.. За что ты убила меня? что я сделал тебе? А вы! — обратился он к Полоярову. — Я принимал вас в дом к себе как честного человека, а вы вот чем отплатили!.. Спасибо вам, господин Полояров!.. И тебе спасибо, дочка!

— Эх, почтеннейший мой, Петр Петрович! — махнул рукойиАрдальон, — какую вы, право, ерунду городите, так даже слушать смешно! Ну, что же я такого бесчестного сделал против вас. Что дочка-то ваша пришла ко мне? Так не выгнать же мне ее! Ну, все равно, что пришел бы Анцыфров или Подвиляньский, то и она! Я ведь в этом ваших пошлых различий не делаю, да и не понимаю их. По мне, это все равно! Она такой же приятель мой, как и те. Ну, попросилась переночевать. Кабы меня была лишняя комната, я бы, конечно уступил ее, а нет комнаты, так где же мне взять?

— А по ночам в Гулянкины трактиры ездить с порядочною девушкою, это по-вашему не бесчестно? — презрительно и строго спросил его Лубянский.

— В трактиры?.. М-да! Это как на чей взгляд, конечно... По-моему, — не бесчестно; просто, погулять людям захотелось, ну и поехали. Самое естественное дело!

— Естественное дело позорить имя девушки!

— Имя!.. ну, что такое имя?.. Какое-то фиктивное понятие! Пишите ваше имя на вашей дверной доске, на вашей книге, на ваших векселях там, что ли, — это я все понимаю; а что люди погулять поехали, так причем тут имя-то? Все это, батюшка мой, одни только нелепые предрассудки! Эта песня стара, ее бросить пора. Ну, да уж так и быть! — с решимостью какой-то внезапной мысли, махнул вдруг рукой Полояров. — Хоть это и в корень противно моим принципам и убеждениям, но... уж куда ни шло! лишь бы только кончить эти скучные объяснения. Мне, пожалуй, все равно! Коли вы находите, что Анна Петровна опозорена мною, я, извольте, женюсь на ней! То есть формально сочетаюсь законным браком! Угодно вам этого? Ну уж, кажется, «благороднее» невозможно!

Девушка изумленно и радостно вскинула на него гпаза свои.

- Папахен! голубчик! Старикашка ты мой милый! — весело защебетала вдруг она, ластясь и увиваясь около отца. — Ну вот видишь ли, как все это вдруг хорошо устроилось! Ну, о чем же печалиться? Ну, улыбнись мне, что ли! Ведь чего же тебе еще больше? Ведь мы с ним любим друг друга!

"Вишь, заегозила, как про аналой-то услышала!" — молча и саркастически подумал себе Полояров. "Вот она, натура-то, и сказалась! Дрянь же ты, матушка, как погляжу я!.. Кисейная дрянь!"

Но старик не обрадовался. Великодушие Ардальона не произвело на него ни малейшего эффекта. Он стоял в глубоко-грустном и сосредоточенном раздумье, и только глаза его были устремлены на головку дочери, с какою-то болезненно-тоскливою нежностью.

— Пойдем, Нюта, домой! — грустно проговорил он, и в голосе его сказалась тихая мольба и полное прощение во имя неизбежной покорности пред судьбой и совершившимся фактом.

— А ты не будешь притеснять меня? Не станешь делать наперекор мне? — заторговалась вдруг она. В ней мигом проснулась капризно-своенравная, избалованная натура. — Я, пожалуй, вернусь, но только на вчерашних моих условиях! Не иначе!

— Пойдем, Нюта, домой! — тихо повторил старик, беря ее за руку. — Я ни в чем тебе… ни в чем не поперечу.

И лицо его нервно передернуло нечто горькое при этом последнем слове.

— И в самом деле, ступайте-ка вы лучше домой пока, охотно поддакнул Полояров. — Только уж, пожалуйста, Петр Петрович, вы ее не тово… Уж теперь мне, как жениху, предоставьте право следить за ее поступками; не вам, а мне ведь жить-то с нею, так вы родительскую власть маленько тово… на уздечку. Ха-ха-ха! Так, что ли, говорю-то я? ась?..

— Папахен! — защебетала снова радостная девушка, — да что же ты не сказал еще ни слова! Рад или не рад? Я рада! Ведь говорю тебе, я люблю его! Ну, скажи же нам, скажи, как это в старых комедиях говорится: "дети мои, будьте счастливы!" — с комическою важностью приподнялась она на цыпочки, расставляя руки в виде театрального благословения и, наконец, не выдержав, весело расхохоталась.

Старик глубоко вздохнул и покачал головою.

— Эх, милая моя!.. радоваться-то особенно нечему! — сказал он, — надо говорить правду: не такого жениха я всегда мечтал тебе — извините, господин Полояров… Ну, да коли любишь, выходи, Господь с тобою! Из двух зол это, конечно, все ж таки меньшее… Одевайся, голубка! Прощайте, господин Полояров.

И через минуту он увел свою дочь из этой безотчетно мерзкой для него квартиры.

XXIII. Нежданный ходатай

Первый час пополудни. В губернаторской столовой, за большим столом, сидит самое отборное общество града Славяобубенска и завтракает. По правую руку от хозяйки — графиня де-Монтеспан, по левую — барон Икс-фон-Саксен. На другом конце стола — хозяин, а около него ксендз Ладыслав Кунцевич и полковник Пшецыньский. Пространство по обе стороны между этими двумя полюсами занимают: княгиня-maman и князь-рара Почечуй-Чухломинские, шестерик княжон-дочек, маленький Шписс и Анатоль де-Воляй. Один только ни к чему не пригодный князь-рара, сник чему не нужною княгиней-maman составляли тут нечто вроде официально-неизбежного зла. Засим все остальное общество в наличном составе своем представляло самый интимный кружок губернаторского дома. Тут были все те, кого особенно жаловала madame Гржиб-Загржимбайло.

Констанция Александровна праздновала сегодня день своего рождения. Она хотела придать этому дню исключительно семейный характер и потому большого приема не делала. Служащие, кто повыше, оставляли в прихожей свои визитные карточки, а кто пониже, тот расписывался на особом листке, по которому Непомук потом определял степень благонамеренности и служебной доброкачественности славнобубенских чиновников. Ее превосходительство нарочно не желала обременять себя утренними приемами, чтобы сохранить надлежащую бодрость и свежесть к вечеру, так как сегодня у нее заранее условленный пикник на картинном берегу Волги.

Непомук Анастасьевич любил хорошо поесть и хорошо выпить в хорошей, интимной компании, а так как теперь собралась у него компания самая хорошая и самая интимная, и так как при этом все обретались в самом счастливом, в самом праздничном настроении духа, то Непомук достаточно успел уже оказать подобающую часть разным соленьям и сырам, пропустив предварительно две веселые рюмочки хорошей старой водки, которую «презентовал» ему

любезный ксендз-пробощ и теперь готовился оказать еще более подобающую честь огромному ростбифу, который будет запит великолепным английским элем.

И в эту-то минуту едва лишь начавшихся гастрономических наслаждений в столовой неожиданно появилась официальная фигурка дежурного канцеляриста.

Непомук вообще терпеть не мог, чтоб его беспокоили какими бы то ни было делами и официальностями в минуты наслаждения собственной его утробы, и потому он уже кинул выразительно-строгий взгляд на смущенного чиновника, осмелившегося заведомо нарушить губернаторские привычки, как вдруг тот почтительно доложил, что его преосвященство, владыко Иосаф, изволили пожаловать.

Визит был крайне редкий, вполне неожиданный, и потому показался всем несколько странным.

Непомук недоумело перекинулся взглядами с супругой. Что делать и как быть в столь экстренном случае? Прерывать свое упитыванье, лишь начавшееся при столь счастливых обстоятельствах, и прерывать его, быть может, на неопределенное время, для каких-нибудь деловых разговоров, это значило бы лишить себя одного из высших наслаждений благами жизни и погрузиться на весь остальной день в самое неприятное расположение духа. Отказать владыке в приеме — неловко, коли уж он раз приехал; заставить его дожидаться — еще неловче; а доброе впечатление завтрака во всяком случае уже испорчено этим неожиданным и притом, втайне, весьма неприятным гостем. Непомук порядком-таки недолюбливал владыку и между *своими* интимно называл его иронически «столпом» и "строгим ревнителем du pravoslavie".

Констанция Александровна, встретя вопрошающий взгляд супруга, своей миной и пожатием плеч послала ему ответ, что, мол, нечего делать, надо принять, и Непомук торопливо направился в залу.

Посреди белой залы резко выделялась черная высокая фигура владыки. Ряса тонкого сукна и клобук, с которого почти до пят спадали складки креповой наметки, составляли его наряд, всегда отличавшийся самою строгою простотою, наравне с любым рядовым монахом его епархии. Седая, длинная борода обрамляла его продолговатое, бледное и худощавое лицо. В тихих глазах светился ум, улыбка дышала кротостию, и только одни характерные углы губ давали чувствовать, что, в случае надобности, у этого человека найдется достаточно энергии, мужества, силы воли и твердости характера.

Молчаливый поклон, которым опривествовал он входящего Непомука, отличался простотой и достоинством.

— Ваше преосвященство! Чему обязан такою честью? — любезно заговорил Гржиб-Загржимбайло, подавая владыке руку (как католик, он не подходил под его благословение).

— Я, кажется, к вам не вовремя? — с видом извиняющейся предупредительности, осведомился Иосаф, заметив то особенное чавканье и чмоканье губами, которые всегда почти сопровождают речь только что евшего, но недоевшего человека.

— О, это решительно все равно! Такой почтенный гость всегда вовремя! — торопливо заговорил Непомук с несколько принужденною, но зато весьма изысканною любезностью. — Позвольте просить ваше преосвященство в кабинет…

И хозяин с вежливым поклоном сделал ему пригласительный жест по направлению кабинетной двери.

Славнобубенского владыку сильно недолюбливало все то, что интимно терлось около славнобубенского губернатора и особенно около губернаторши. Отношения их давно уже были натянуты. Как характеристику этих отношений, в Славнобубенске рассказывают один анекдот, сущность которого не подлежит, по отзывам славнобубенцев, ни малейшему сомнению. Однажды, по какому-то, чуть ли не официальному случаю, владыка должен был обедать у губернатора. Непомук, конечно, посадил Иосафа за столом рядом с собою. Подавались между прочим свиные котлеты. В это время у них завязался какой-то административно-деловой спор, а Непомук вообще терпеть не мог ничего делового за столом, во время упитывания. В досаде на владыку и желая разменять дело на шутку, чтобы потом уже больше к нему и не возвращаться, он, собственноручно наложив на тарелку свиных котлет, любезно подал их архиерею, говоря с самою приятною улыбкой:

— Ну, о деле мы, ваше преосвященство, после! А теперь — не угодно ли? "Примите и ядите!" так ведь это, кажется, у вас говорится?

Владыка на мгновение вспыхнул в лице и, смотря на губернатора, удивленно отклонился на спинку стула.

— Ваше преосвященство! я к вам обращаюсь! — говорил меж тем Непомук, держа перед ним котлеты. — Примите и ядите!

— Продолжайте, ваше превосходительство, продолжайте, — с очень вежливою улыбкой повернул Иосаф свое спокойное лицо к губернатору.

Так в лоск и положило сконфуженного Непомука, перед целым столом, это неожиданное, но наповал бьющее "продолжайте!"

Старик Иосаф был прежде всего твердый русский человек, который презирал всякую кривду, всякое шатание житейское, как умственное, так и нравственное, шел неуклонно своим прямым путем, паче зеницы ока оберегая русские интересы православной русской церкви и своей многочисленной паствы; он охотно благословлял и содействовал открытию воскресных и народных школ, но не иначе как под руководством священников или людей лично ему известных; к нему шел за советом и помощью всякий, действительно нуждающийся в совете либо в помощи, и никогда не получал себе отказа. Немногоглаголивое и не частое слово его, раздававшееся с епископской кафедры, звучало верой в Бога, любовью к православной России, надеждой на добрые плоды благих царских починов, которыми будет некогда красоваться земля свято русская. Это строгое, неблазное, самоуважающее слово порою умело чутко поднимать в массе ее русское народное чувство, ее веру в Бога и в свою силу и крепость, ее безграничное доверие и преданность Русскому государю. Сказать короче, в тех особенных обстоятельствах, в которых мы застаем город Славнобубенск, при тех призрачных надеждах, которые в то время вообще возбуждало Поволжье — владыка Иосаф на своем месте был человек положительно вредный. Понятно, почему недолюбливали его в салоне madame Гржиб-Загржимбайло. С ним нужно бы было бороться, и необходимость этой борьбы очень хорошо понимал и чувствовал ксендз Кунцевич; его, по-настоящему, надо бы было постараться как-нибудь выжить отсюда подальше, где бы он мог быть менее вреден, но как бороться и в особенности как выжить, если под него, что называется, иголки не подточишь, если этот старик на виду у всех, идет себе тихо, но верно своею прямою дорогою и честно делает свое дело! Задача не малая, которую, так или иначе, необходимо нужно было решить в свою пользу.

Но… там, где часто останавливаются великие силы, вдруг иногда помогают делу маленькие и совсем ничтожные, совсем пустые обстоятельства, лишь бы только ловкий ум сумел ими воспользоваться.

— Я ныне просителем к вашему превосходительству! — уже в кабинете тихо начал владыка, обращаясь к Непомуку. — Вы, конечно, позволите мне походатайствовать пред вами за одного из моей паствы?

— За кого это? — серьезно сдвинув брови, спросил губернатор, которому был уже не понутру самый разговор подобного рода, в то время, когда в столовой ждет эль и ростбиф.

— За старичка тут одного… за майора Лубянского, пояснил ему владыка. — Тем более, ваше превосходительство, — продолжал он, — что в этом деле, как мне достоверно известно, вы были даже в обман введены, а это, полагаю, дает мне тем более добрую возможность раскрыть пред вами истину. Вы конечно, не посетуете на меня за это?

— Я это дело хорошо знаю, ваше преосвященство; я *очень* хорошо знаю это дело! — отпарировал Непомук, которого задели за живое слова Иосафа.

"С какой стати и по какому праву мешается этот старик в непринадлежащую ему область гражданской администрации?" — подумал он в досаде на архиерея.

— Итак, ваше превосходительство не посетуете на меня, если я все-таки буду продолжать по предмету моего ходатайства, — говорил владыка; — я нарочно сам лично приехал к вашему превосходительству, потому что я очень беру к сердцу это дело. Под полицейский надзор отдан человек вполне почтенный, которого я знаю давно как человека честного, благонамеренного, — примите в том мое ручательство. Вам, полагаю, неверно доложили о нем.

— Ваше преосвященство, — начал оправившись Непомук, — я осмелюсь заметить вам на это, что я слишком хорошо знаю моих чиновников и, как начальник, обязан вступиться за их добрую славу: ни один из них *не может* сделать мне неверный доклад! И… наконец, я сам слишком подробно вникаю в мои дела, и потому не могу быть обманутым. Сфера нашей гражданской администрации, конечно, несколько менее знакома вашему преосвященству, чем мне, и потому… извините, ваше преосвященство! — я имею скромную претензию знать то, что творится в моем хозяйстве, и что касается до этого майора, то мы имели достаточно данных, основываясь на которых, обязаны были поступить так, а не иначе. Это может подтвердить и господин местный жандармский штаб-офицер!

— То есть, ваше превосходительство, хотите дать мне уразуметь, что я мешаюсь не в свое дело, — благодушно улыбаясь, заметил Иосаф; — но ведь я прошу только снизойти на просьбу, я в этом случае обращаюсь к сердцу человека.

— Ваше преосвященство, — возразил губернатор, — моему сердцу жаль его, может не менее, чем вам; но… сердце человека должно молчать там, где действует неуклонный долг администратора. Будучи сами администратором своей епархии, вы, конечно, поймете меня, и я, поверьте, весьма рад бы сделать все угодное вам, но в данном случае мой долг положительно воспрещает мне всякое послабление. Да самое лучшее вот что — домекнулся вдруг Непомук. — Дело это такого рода, что я сам ни за что не возьму на себя разрешать его согласно вашему ходатайству… И надо мной ведь тоже есть власти… А мы вот что, ваше преосвященство: у меня, кстати, теперь сидит барон Икс-фон-Саксен, как сами знаете, для общих наблюдений за направлением края. Чего же лучше! Мы вот спросим его мнения. Если он согласится, я сию же минуту исполню желание вашего преосвященства. Тогда я в стороне по крайней мере.

И прежде чем Иосаф успел что-либо вымолвить, губернатор бросился к дверям в столовую и позвал Саксена:

— Адольф Кристьянович!.. Извините!.. Пожалуйте сюда на минуточку! Дело есть!

Барон неохотно покинул свою прелестную соседку и небрежною походкою направился в кабинет.

— Что скажете, mon cher?

Непомук изложил сущность ходатайства владыки и свои затруднения удовлетворить его просьбе.

Немец фои-Саксен остался несколько недоволен тем, что владыка, при виде его, не выразил ему лично никаких особенных знаков почтения, и в душе отдал в этом отношении большое преимущество Кунцевичу, который всегда так видимо и почтительно умилялся пред особо поставленным блистательным положением барона.

— Я точно так же не возьму на себя решить этого, — с суховатым поклоном отклонился барон.

— Итак, ваше преосвященство сами изволите видеть! — пожал плечами Непомук. — Я говорил, что тут никакое послабление невозможно. Помилуйте, в этой школе его Бог знает что делалось.

— Не делалось, а делается, — с значительным ударением, скромно поправил владыка; — и вот именно, в качестве администратора моей епархии, на обязанности коего лежит, между прочим, блюсти за духовною нравственностью своей паствы, я считаю долгом своим обратить внимание вашего превосходительства на то, что ныне делается в здешней воскресной школе. Эта школа стала школой безбожия: там открыто проповедуются такие мысли и учения, от каких избави Бог каждого честного человека. Прежний законоучитель, человек достойный, которого я сам благословил на это дело, изгнан вдруг чуть не с позором, а на место его учит какой-то исключенный из службы становой, вопреки постановлению закона.

— Но почему же становой, хотя бы исключенный, не может быть хорошим учителем? — вмешался в разговор фон-Саксен. — Сколько я понимаю, это одно к другому не относится.

— Я и не говорю, что *не* может, — ответил владыка: — я говорю только, что этот человек открыто проповедует безбожие, читает там воспрещенные брошюры и делает на них свои комментарии, отвращает учеников от церкви, наконец… Вот что говорю я, ваше превосходительство!

— Н-да-а! Это, конечно, дурно! — небрежно протянул сквозь зубы фон-Саксен. — Хотя собственно говоря, в наш век более важно, чтобы церковь была построена в сердце человека, чтоб он в сердце своем имел церковь… Это, конечно, важнее, чем он будет ходить, ничего не чувствуя и не понимая, в видимую церковь.

Иосаф спокойно и несколько строго посмотрел на либерального Саксена.

— Да, ваше превосходительство изволили совершенно справедливо заметить, — сказал он тихо и медленно. — В наш век действительно появилось — к прискорбию истинной церкви — очень много людей, которые говорят, что их церковь в одном только сердце построена; но — странное дело! я сам знаю очень много подобных и почти всегда замечал при этом, что если церковь в сердце, то колокольня непременно в голове построена… и колокола вдобавок очень дурно подобраны.

И сказав это своим старчески-ровным, спокойным голосом, владыка поднялся с места.

— Извините, ваше превосходительство, что беспокоил вас, — поклонился он губернатору; — а

мне пора и к дому.

Непомук, не удерживая его, пошел провожать до передней.

Фон-Саксен был жестоко уязвлен словами Иосафа. В первую минуту он покраснел и закусил губы, но тотчас же овладев собою, изобразил одну только улыбку презрительного пренебрежения — дескать, эти слова оскорбить меня никак не могут: я слишком умен и слишком высоко стою для этого!

— Какая грубость! Malotru![56] — быстро вошел в столовую Непомук, выражая и лицом, и голосом, и походкой значительную степень негодования. Он словно бы желал показать, до какой степени возмущена вся его внутренность. — Это, наконец, чистое невежество!

— Ну, что ж! — с небрежною снисходительностью погримасничал Саксен, — на это ведь нельзя сердиться, он, во-первых, уже в тех пределах старости, за которыми все простительно, а во-вторых… во-вторых… чего ж вы хотите от людей его звания? Это вполне понятно!

Однако же, произнося все эти успокоительные фразы для внешнего ограждения своего достоинства, барон в душе весьма был зол на владыку, ибо самым живейшим образом отнес на свой собственный счет его последнее слово.

— Это, наконец, уж Бог знает что такое! — в прежнем тоне продолжал Непомук; — до которых же пор будут продолжаться эти вмешательства!.. Ведь я не вмешиваюсь в его управление, с какой же стати он в мое вмешивается? Этого, наконец, уже нельзя более терпеть, и я решительно намерен сделать представление об ограждении себя на будущее время.

— О чем это он просил, я хорошенько не понял? — не выказывая особенного любопытства, с обычною небрежностью спросил фон-Саксен.

— Mais… imaginez-vous, cher baron,[57] администрация отдает человека под надзор полиции за зловредность его действий, за явный призыв к неповиновению власти, за публичный скандал, за порицания, наконец, правительственного и государственного принципа, администрация даже — каюсь в том! — оказала здесь достаточное послабление этому господину, а его преосвященство — как сами видите — вдруг изволит являться с претензиями на наше распоряжение, требует, чтобы мы сняли полицейский надзор! Если мне на каждом шагу будут делать подобные загвоздки я ни за что не могу отвечать перед правительством!

— Н-да; его преосвященство беспокойный, очень, очень беспокойный человек, надо сознаться в том! — многозначительно шевельнув усами, с некоторым прискорбием заметил Пшецыньский.

— Помилуйте! — волновался губернатор, — я, из крайней необходимости, учреждаю над школой административный надзор, поручаю его человеку, лично известному мне своею благонамеренностью, человеку аттестованному с самой отличной стороны директором гимназии, человеку способному и прекрасному педагогу, а его преосвященство вмешивается в дело и видит в этом распространение каких-то зловредных идей, а сам вступается за господина, который устраивает антиправительственные демонстрации! Это наконец ни на что не похоже! При таких порядках, и особенно в настоящее смутное время, я решительно отказываюсь управлять губернией, если правительство не позаботится оградить меня! Или я губернатор, или я пешка!

— Но зачем же вы не делаете представления? Чего же ждать еще? — заметил фон-Саксен. — На вашем месте я давно бы постарался оградить себя.

— Ах, барон! — прискорбно вздохнул губернатор; — это не так-то легко, как кажется; у них там в синоде я не знаю какие порядки и какими соображениями они руководствуются: для нас это вполне terra incognita;[58] но... я очень рад, что все это случилось при вас, что вы сами были свидетелем... Теперь вы видите что это такое! Я непременно приму свои меры и приму их немедленно; а будет ли успех, ей-Богу не знаю!

— В успехе нечего сомневаться! — авторитетно решил барон. — В этом случае, если что будет зависеть от меня, я конеч но подтвержу одну только голую истину. Но этого, действительно, невозможно так оставить!

Непомук не продолжал, и разговор на этот раз прекратился. Веселое расположение духа его было поколеблено, и завтрак испорчен. Тем не менее, это неприятное приключение не изменило программу нынешнего дня, и пикник устроился своим порядком.

На другой день в почтовой конторе были приняты, с казенными печатями, четыре пакета для отправки в Петербург =- один от владыки, другой от губернатора, третий от жандармского штаб-офицера и четвертый от барона Икс-фон-Саксена.

XXIV. С неба свалилось

Прошло около двух недель с тех пор, как исключили Шишкина. Удар внезапного горя столь сильно подействовал на его старуху-мать, что она серьезно заболела. Дома лечить было не на что и пришлось отправиться в городскую больницу. Шишкин остался один в убогой квартиришке, за которую было уже заплачено хозяевам за месяц вперед. Старуха жила скудным пенсионом, да теми крохами, которые уделяли ей кое-кто из достаточных знакомых. Сын ее давал уроки в трех домах и получал за это ежемесячно двенадцать рублей, но после злосчастного «Орла» ему сразу отказали два дома, и молодому человеку пришлось остаться на четырех рублях в месяц, а на эту сумму не только в Славнобубенске, но даже и в каком-нибудь Енотаевске или Бузулуке особенно не разживешься, и потому Иван Шишкин начинал уже голодать. Занятий, или какого-либо дела он еще не подыскал себе и не знал пока что предлежит ему в дальнейшем будущем. Что можно было заложить из домашнего скарба, то он уже снес к армянке-ростовщице и часть денег отдал матери, на ее скудные больничные нужды, а остальное проел. Но вот опять стали подходить крутые обстоятельства — закладывать было почти уже нечего — и Шишкин в весьма грустном настроении духа похаживал по своей горенке. Он был зол и печален: нужда со всех сторон, а помощи ниоткуда и, как обыкновенно бывает с не особенно сильными людьми, в подобном положении, сам он терялся и решительно не мог придумать чем бы и как пособить своему горю. Положение казалось ему безвыходным и отчаянным. Был десятый час вечера. Молодой человек уныло ходил в темной комнате, потому что свечу купить было не на что. Один только луч масляного фонаря слабо закрадывался с улицы в его окошко и чуть светлой полосой ложился на стену. Благодаря его бесплатному свету, Шишкин мог еще кое-как ходить по комнате. Вдруг заметил он, что кто-то заглянул к нему в окошко, но сначала не обратил на это обстоятельство никакого особенного внимания и продолжал ходить по-прежнему. Через несколько времени темный облик чьей-то вглядывавшейся фигуры опять появился на том же месте. Шишкин вскинул глаза, быстро подошел к окну, но в эту самую минуту облик исчез. Он подождал, пригляделся и подумал, что это все только так ему показалось.

"Должно быть, нервы расстроены", решил он сам с собою.

Вдруг в сенях послышались чьи-то незнакомые шаги, очевидно, нащупывавшие пол, чья-то рука шарила по двери, отыскивая ручку, в ту же минуту незапертая дверь довольно быстро и смело отворилась.

— Господин Шишкин здесь? — спросил вполне незнакомый голос.

— Здесь. А что вам?

— Кажется, вы сами и есть?

— Да, это я. Что вам угодно?

— Письмо к вам. Извольте получить.

И незнакомый человек, которого ни наружности, ни костюма не мог разглядеть юноша, вручил ему запечатанный конверт.

— От кого это? — спросил он.

— Там написано… узнаете, — торопливо ответил этот *кто-то* и вдруг исчез из комнаты, плотно прихлопнув за собою дверь. В сенях послышалось поспешное шарканье быстрых, удаляющихся шагов.

— Да от кого же, однако? — закричал вдогонку ему Шишкин, взволнованно выбежав на двор, но чья-то тень без ответа мелькнула в калитке и скрылась на улице.

Экс-гимназист постоял в несколько тревожном раздумье и вернулся в горницу.

"Что ж бы это значило?.. И что за странная таинственность!" — думал он, ощупывая конверт. — "Прочесть его; да как прочтешь-то?.. Хозяева не дадут ведь свечки".

Но недаром говорится, что голь хитра на выдумки. Вспомнил он, что под кроватью валяется какая-то старая дощечка — дерево, стало быть, сухое. Он нашарил ее рукой и наколол лучины. Спички, слава Богу, тоже нашлись, и Иван Шишкин устроил себе освещение.

Посмотрел он на конверт — нет никакой надписи; недоверчиво сорвал печать, развернул письмо: из бумажки выпала двадцатипятирублевая ассигнация.

"Господи!.. да что ж это?.. благодетель какой-то неведомый!" вскрикнул он в радостном восторге, и веря, и не веря глазам своим. Ощупал поднятую бумажку, внимательно осмотрел ее перед огнем: так, действительно двадцать пять рублей, и эта цифра не подлежит уже ни малейшему сомнению. Что ж это значит?

Взглянул на почерк; рука была совсем незнакомая. Он жадно стал читать письмо:

"Ваш смелый поступок на литературно-музыкальном вечере доказал, что вы обладаете в достаточной мере гражданским мужеством. Ваше последующее благородное поведение побуждает нас верить, что вы человек честный, который действовал сознательно, из служения своему принципу. Хотите ли стать в ряды тех деятелей, которые несут с собою новое социальное устройство свободного общества? Хотите ли приносить пользу честному делу? Если да, то дайте ответ. Вам дается сроку два дня на то, чтобы подумать и решиться. Ответ вы можете дать следующим образом: завтра, или послезавтра, ровно в четыре часа пополудни, в городском саду, на повороте из главной аллеи в поперечную среднюю, против второй скамейки, начертите тростью на песке дорожки крест, так чтоб его можно было удобно заметить. Зная ваши временно стесненные обстоятельства, покорнейше просим не отказаться от *общественного пособия* из того фонда, который существует в нашем обществе для вспоможения его членов в их полезных предприятиях. Во всяком случае, — угодно ли вам

будет принять наше предложение, или нет — вы должны прежде всего хранить самое строгое молчание, под страхом неминуемой ответственности пред трибуналом общества".

Волнение от всей этой внезапности; радость при нежданных и весьма значительных для него деньгах; страх пред странным тоном письма и особенно пред заключительной и весьма-таки полновесною угрозой; заманчивость этой загадочно-таинственной неизвестности, за которою скрывается какая-то неведомая, но должно быть грозная и могучая сила (так по крайней мере думал Шишкин) и наконец это лестно-приятное щекотание по тем самым стрункам самолюбия, которые пробуждают в молодом человеке самодовольно-гордое сознание собственного достоинства и значительности, что вот, мол, стало быть, и я что-нибудь да значу, если меня ищут "такие люди". Вот мысли, чувства и ощущения, которые овладели восемнадцатилетним юношей по прочтении письма, неведомо кем поданного. Все это так странно, так неожиданно, внезапно, в такую пору, в такую минуту — кто же, и что же это такое? У Шишкина просто голова закружилась. Он отчасти испытывал ощущения человека, стоящего на самом краю площадки очень высокой башни. "А ну, как поймают, как все это раскроется, обнаружится? тогда что?.. Страшно, черт возьми!.. Страшно, но заманчиво. Служить честному, великому делу, быть членом... *самому* быть членом... Меня зовут... меня ищут... *они* первые обратили на меня внимание, они, а не я... значит, я стою того, если меня избирают!"

И он снова перечитал письмо, и старался вчитываться в отдельные, наиболее льстящие самолюбию фразы, повторяя их про себя по два и по три раза, и словно бы любуясь этими фразами, их смыслом, значением, их красивою сверткою.

Им овладело какое-то щекотно-щемящее, захватывающее, жуткое чувство. Самолюбие разыгрывалось все более. Он уже так живо стал воображать себя деятелем... чего? — это ему самому не было еще вполне ясно, — деятелем *чего-то,* но чего-то высокого, честного, благородного, деятелем, окруженным таинственностью грозной силы. "Новое социальное устройство свободного общества", кажется, так сказано в этом письме? — Да, так точно! Он воображал себя устраивающим нечто большое, пред чем все преклоняются, дивятся ему и завидуют... Он известен, он знаменит, имя его гремит во всех русских и европейских газетах и журналах, о нем говорят, им интересуются, ему удивляются... Его везде и повсюду встречает почет и любовь, и слава народная... Он говорит с народом, дает ему новые свободные права, народ избирает его своим диктатором... Наполеон... Ведь мог же Наполеон добиться всего этого! Простой артиллерийский поручик!.. Директор и инспектор гимназии приходят к нему и униженно вымаливают пощады, потому что на площади эшафот стоит... Он отсылает их на эшафот, но там, в самую роковую минуту, дарит им пощаду и жизнь, в виду восторженного народа, и даже награждает весьма значительными деньгами... хорошенькая племянница директора вне себя от радости, кидается ему на шею. Да что племянница! тут уж не племянница, а княгини и графини... Но нет! Он не унизится до брака с княгиней... Его жена (если уж жениться!) должна быть гражданкой, демократкой... А вдруг жандармы? вдруг Пшецыньский является?.. Обыск, арест, казематы... Его вывозят на площадь, читают приговор... Он гордо и смело всходит на эшафот... "Я умираю за вас!" — говорит он народу... На ногах его кандалы, на руках кандалы, на плечах каторжная сермяга с бубновым тузом... Длинная, бесконечно-длинная снежная пустыня... кандалы — звяк, звяк... песня долгая поется во всю широкую грудь... Тобольск прошли... Томск прошли... Иркутск прошли... Нерчинск. Так ведь, кажется? "Тобольск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Чита — главный город Забайкальской области", Бог знает, по какому сцеплению мыслей и почти машинально вспоминает Шишкин старый, давно уже наизусть заученный урок из географии. И он идет бодро и гордо... Он страдает, но не падает духом... "Я за вас страдаю", говорит он кому-то; "вы не признали, вы отвергли меня!.. Я гибну... Что ж? Ничего!.. Пусть гибну я, но я гибну за честное дело! за свободу!.. за свободу миллионов братий моих!"...

Так мечтал юноша. Мысль его перелетала от знаменитости и диктатуры к кандалам и Нерчинску; но одно его прельщало, другое же не пугало нисколько: в обоих случаях он чувствовал и мечтал себя героем... И все это казалось ему так просто, так легко и возможно — и яркое восемнадцатилетнее, золотое воображение заносилось все дальше и дальше, все выше, все привлекательней... Он почувствовал себя как-то жутко, болезненно-счастливым. Двадцатипятирублевая ассигнация лежала перед ним; он взял ее, и с тем особенным наслаждением, которое хорошо знакомо людям, очень редко имеющим в руках своих деньги, пощупал и пошурстел ею между кончиками пальцев. Он воображал себя почти богатым. "Теперь деньги будут!" — говорит он себе с непоколебимою уверенностью. "Теперь-то уж наверное будут!.. И много будет... У них вон фонд какой-то есть... для членов... значит, будут!.. Матушке надо рублей десять снести... То-то обрадуется!.. Скажу: заработал!.. "Молчать под страхом неминуемой ответственности"... Ну, еще бы тебе болтать! что я, мальчишка, что ли!.. Хорошо бы кумачовую рубаху завести, как у Ардальона Михайлыча... А ведь он верно тоже тово?.. Впрочем, нет, — где ему?! Только надо бы еще и поддевку... плисовую... Если когда случится *то,* так непременно такой указ надо издать, чтобы фраки и мундиры долой, а одне бы только поддевки"...

Но мечтая таким образом и быстро перебегая от одной мысли к другой, Шишкин вспомнил, что он сегодня очень плохо обедал, то есть, лучше сказать, совсем не обедал, а съел одну только трехкопеечную булку, которую купил на бурлацкой пристани. Желудок, при этом воспоминании, не преминул заявить о себе довольно чувствительным голодом. Юноша запрятал письмо в комод, отыскал шапку и весело отправился в трактир, аппетитно разрешая вопрос: чего бы лучше заказать себе, поросенка под хреном, или московскую селянку на сковородке?

Вернувшись домой уже сытый и притом с фунтом стеариновых свечей под мышкой, да с пачкой папирос в кармане, Шишкин почувствовал себя еще более довольным и счастливым. На сытый желудок, при ровном свете свечи и в струйках табачного дыму, лежа на постели, мечталось еще лучше. Он часто и так доверчиво улыбался широкою, мечтательною улыбкою на свои увлекательные фантазии, поминутно ворочался с боку на бок и очень долго не мог заснуть. Порою нечто острое и жуткое возвращало его из мира поэзии в мир действительности, и вставал пред ним серьезный и словно бы какой-то лотерейный вопрос: что же делать? Как быть? Ведь завтра или послезавтра!

"Ну, конечно, крест! Есть тут долго думать о чем!.." беззаветно порешил он себе.

"...Против второй скамейки, на повороте из большой в среднюю поперечную... Однако же, как подумаешь, Господи, как страшно все это!"

Наконец-то Шишкин заснул, и снились ему все те же грезы, — снилась широкая, снежная пустыня... снилось дарование новых прав и диктатура над Русскою землею, и уничтоженный инспектор, и директорская племянница, и плисовая поддевка... Это были золотые, счастливые, героические сны и грезы.

XXV. Крест начерчен

Шишкин с нетерпением ждал назначенного часа. На нынешнее утро раздумье почти уже не приходило ему в голову. Он решился: "была не была"! Утром сходил в больницу к матери и снес ей десять рублей, сказав, что получил два новых и очень выгодных урока по рублю за час. Старуха, действительно, и удивилась, и обрадовалась несказанно, да и сын-то был доволен, что успел доставить ей эту надежную радость.

— Теперь, маменька, вы только выздоравливайте! — утешал он ее, — а денег у нас с вами будет вдоволь! Вот погодите: заживем припеваючи.

Та слушала, и старое сердце ее дрожало любовью и слезами…

"А как же, если Сибирь… как же *она-то!*" — мелькнула ему неприятная, укорливая мысль, и он сам себе удивился, что до этих пор во всех его мечтах и предположениях, при всем их калейдоскопическом разнообразии, мысль о матери ни разу не пришла ему в голову.

"Как же мать-то?.. Что она тогда"? — думал он, и тотчас же утешил себя самым успокоительным заверением, что Сибирь — вздор! "Сибири не будет; надо только уметь молчать хорошо… Ведь уж *они-то,* при их силах, при их средствах, знают же что делают".

Кто были эти *они* — Шишкин не знал, и как ни бился со вчерашнего вечера, все-таки никак не мог определить себе их даже приблизительно; но при этом, в нем почему-то поселилось твердое убеждение, что они сила, ворочающая очень большими и могучими средствами.

Он ждал не дождался, когда-то, наконец, придут эти желанные четыре часа, и время сегодня казалось ему каким-то бесконечным. Уйдя от матери, он долго без цели бродил по городу, наконец, в два часа пообедал в трактире и прямо оттуда отправился в городской сад. Вот и условный перекресток, вот и вторая скамейка… на этой самой дорожке будет начерчен крест… Кто же заметит его? Кто прочтет этот ответ? Кто такой это будет? Теперь уже Шишкина завлекло лихорадочное любопытство разгадать поскорей, кто такие эти таинственные, неведомые они, которым он уже весь принадлежит и душою, и телом, на жизнь и на смерть (так ему думалось).

День был прекрасный. В саду пестрело много гуляющих. Юноша пытливо и при том с особенною выразительностью вглядывался во многие лица, стараясь разгадать: не один ли из них это идет мимо него.

Но вот, наконец, на соборной колокольне пробило четыре.

"Что ж, чертить, или нет?.."

"Или пан, или пропал!.. Все равно теперь!"

Он торопливо, но внимательно огляделся во все стороны: кажется никто не обращает на него особенного внимания. Встав со скамейки и приняв равнодушно-рассеянный вид, нервно-дрожащею рукою резко начертил он на песке крест и, посвистывая да поглядывая вверх на ветки и прутья, с независимым видом, и как ни в чем не бывало, пошел себе вдоль по дорожке.

А между тем лицо его было несколько бледно, и сердце билось шибко-шибко и немного болезненно.

"Ну, теперь уж кончено!.. Баста навеки!.. Теперь уж нет возврата" — думал он себе — и было ему, по-вчерашнему, так жутко и так радостно, только ощущения эти сказывались теперь еще ярче и сильнее.

Он прошел несколько раз по аллее, все ожидая, что вот-вот кто-нибудь сейчас подойдет к нему, дотронется легонько до плеча, шепнет какое-то условное, таинственное слово и поведет за собою, и приведет *куда-то,* и там будут *они,* и он всех их увидит, и начнут они сейчас "дело делать"…

Но тщетно прохаживался и ждал увлекающийся юноша, тщетно заглядывал в лицо чуть не каждому прохожему, — к нему никто не прикасался и не шептал таинственного слова.

Он прошатался по саду до позднего вечера, да так и не дождался, и ушел с досадой и почти что с полным разочарованием в сердце. Мечтам его на сей день не суждено было сбыться.

XXVI. Из тех или нет?

На другой день, навестив нарочно пораньше свою мать, Шишкин отправился, по-вчерашнему бродить по саду. Но все ожидания его точно так же были тщетны. Думая, что крест его либо не был замечен, хотя он очень хорошо видел две резкие черты, — либо никто *из них* не пришел вчера, вероятно, ожидая на сегодня крайнего назначенного срока, — он, едва лишь пробило четыре часа, начертил новый крест на том же самом месте, со всеми вчерашними предосторожностями, и отправился гулять по главной аллее. Предположив, что его прогулка мимо креста, выказывая известную степень ненужного любопытства, быть может, послужила причиной, что никто не подошел к нему, из понятной предосторожности, он на нынешний раз сделав должное, нарочно стал прохаживаться по другим дорожкам.

Но опять-таки и на сегодня, до самого позднего вечера были тщетны все его ожидания. Озадаченный и еще более раздосадованный, он решился на завтра целый день не выходить из сада, и точно: привел это решение к самому аккуратному исполнению, но результат оказался все так же безуспешен.

Тем не менее ретивый юноша решился продолжать ежедневно свои прогулки, до тех пор, пока не добьется чего-нибудь положительного.

"Ведь не может же быть, чтобы мистификация! Да и с какой же стати?" — рассуждал он сам с собою. — "Какой же дурак, ради одной шутки, станет посылать такие деньги? А если кто-нибудь и решился оказать мне помощь, так тот, конечно, не стал бы шутить и издеваться надо мною. Это было бы несообразно".

Заключения Шишкина были вполне рассудительны. Он гулял по саду, почти уже потеряв всякую надежду на осуществление нетерпеливой мечты своей, но все-таки ходил, почти из одного упрямства. Странная обстановка всего этого приключения положительно сбила его с толку. Он ломал себе голову над разрешением мудреной загадки и все-таки ни до чего не добился. Думал было в третий раз начертить условный знак, так как прежний был уже стерт ступнями гуляющего люда, но поостерегся, чтобы не подать этим кому-либо излишних подозрений. Уже четвертый день сряду проводил он в городском саду.

Был третий час в начале.

День стоял прекрасный. Теплое и весенне-яркое солнце высоко горело среди чистого весенне-синего неба. Молодая нежная поросль быстро прорезывалась из почек, и мягко-желтоватою зеленью запушила сочно налитые, упругие ветви, в которых свистали, заливались и перекликивались весенние птицы.

Иван Шишкин, уставши наконец шататься по дорожкам, сел в тени старого вяза на скамейку, помещавшуюся у площадки пред павильоном, куда на летний сезон переселился некий предприниматель и открывал там кафе-ресторан и кондитерскую. По краям площадки, перед скамейками стояли зеленые столики — признак того, что предприниматель уже открыл свою летнюю деятельность, к услаждению славнобубенской гуляющей публики. Экс-гимназист снял фуражку, обтер со лба пот, взъерошил немножко волосы и закурил папироску.

Вскоре на той же площадке появился какой-то молодой человек, довольно привлекательной наружности, лет двадцати пяти, в костюме совершенно безвыразительном, обыденно-сероватом, но вполне приличном, который, ничем особенным не кидаясь в глаза, точно так же ничем не отличался от тысячи городских костюмов, встречаемых на каждом шагу.

Шишкин сначала не обратил на него ни малейшего внимания.

Этот неизвестный господин присел на другой конец той же скамейки и стал отдуваться, как обыкновенно отдувается человек, утомленный ходьбою под солнечным жаром. Затем неторопливо скрутил он себе папироску, вставил ее в простой мундштучок и два раза искоса взглянул на своего соседа.

— Позвольте у вас попросить огоньку! — вежливо обратился он к Шишкину, подвигаясь ближе чем на полскамейки. Тот молча подал ему папироску, с обычною в таких случаях готовностью.

— Очень вам благодарен. Фу, батюшки, какая, жара сегодня!.. Это, кажись, еще первый день такой.

— Да, тепловато, — проговорил Шишкин, чувствуя как бы некоторую необходимость ответить на фразу, которая в данную минуту ни к кому, кроме него, не могла относиться.

— Даже и чересчур, я нахожу. Эй, человек! — закричал неизвестный сосед лакею, торчавшему на террасе павильона, — подай-ка мне сюда пива бутылку, да только холодного!.. Смерть пить хочется! — как бы в скобках заметил он, обращаясь вполвзгляда к Шишкину.

Тот ничего не ответил на это, кроме какого-то безотносительного "мг!", сопровождаемого легким кивком, и продолжал курить свою папиросу.

Прошла минута молчания. Незнакомец искоса поглядывал порою на соседа и раза два откашлялся.

— Извините... Если не ошибаюсь, вы, кажется, господин Шишкин? — вежливо и немного застенчиво спросил он.

— Так точно-с.

Гимназист оторопел и смутился.

"Вот оно!.. Это из них! из них наверно!.. Наконец-то!" думал он, силясь поскорей отделаться от своего неуместного смущения.

— Имел удовольствие слышать вас на публичном чтении, — продолжал незнакомый с легким, но приятным поклоном. — Ваше дарование... это, знаете, ведь надо особое искусство уметь читать... Вы им вполне обладаете.

Теперь уже Шишкин, в свою очередь, сделал легкий, но приятный поклон.

"Из них или нет?.. Из них или нет?" прыгал в уме его неотвязный вопрос. — "Как бы это разрешить себе поскорее! Как бы вызнать его?"

— Позвольте узнать, с кем имею удовольствие говорить? — полусклонясь, приподнял он свою фуражку.

— Василий Свитка, из хохлов, — как бы шутя, отрекомендовался незнакомый. — Бывший

казанский студент… теперь, в некотором роде, торговыми предприятиями занимаемся. Я еще недавно здесь, в Славнобубенске, — говорил он совершенно просто и добродушно; — по делам зятя моего.

— А ваш зять что такое? — бесцеремонно спросил юноша.

— А лесопромышленник… На Каме большая дача у него… Жду вот теперь плотов, по первому половодью погнали… Лес сплавляем до Астрахани, так надо вот встретить, проверку сделать… Да тут еще с купцом с одним заподрядиться надо… Вот и сижу пока.

"Нет, это не из тех, должно быть", сомневался юноша, пытливо рассматривая соседа и слушая его болтовню, простую и, по-видимому, вполне искреннюю, вполне лишенную всяких задних мыслей. "Нет, не из тех!.. Это просто так себе, добрый малый какой-то и только!" — решил он и успокоился.

Лакей принес на подносе бутылку.

— Не хотите ли? — предложил Свитка; — по жаре хорошо это, холодненького.

— Нет, благодарю вас, — замявшись, нерешительно отказался Шишкин.

— Пожалуйста, не церемоньтесь!.. Мне очень приятно… Эй, человек! Тащи еще стакан, да скорее!

— Для первого знакомства! — кивнул головой Свитка, дотронувшись краем своего стакана до налитого стакана Шишкина. — Мне очень приятно… Я здесь, знаете ли, совершенно один и никого почти не знаю, ни с кем не знаком… Должно быть, у вас тут в Славнобубенске скука ужасная?.. То ли дело, бывало, у нас, в Казани!.. Дивный город, я вам скажу! Вы не бывали?

— В Казани? Нет?

— А жаль. Вам бы понравилось. Вы, конечно, в университет намерены?

— Право, не знаю еще… как случится.

— Если поступать, так поступайте в Казанский, я вам советую.

— Да мне это довольно трудно… ведь я… замялся немного Шишкин, глядя в землю, — ведь я за это самое чтение исключен из гимназии.

— Как исключены!.. Быть не может! — сорвался с места неожиданно изумленный Свитка, — да за что же-с?

— А вот, за "Орла".

— Ну, что за мерзости!.. И за что же исключать-то тут? Ах ты, господи Боже мой!.. А я и не знал этого!

"Нет, это не из тех! совсем не из тех!" — окончательно убеждал себя в душе Иван Шишкин.

— Что ж вы намерены делать теперь? — с участием спросил Свитка.

— А право, не знаю… Я не решил еще.

Свитка призадумался.

— Гм!.. Это не хорошо. Мой совет все-таки в университет.

— Экзамен-то? Нисколько! Я экзамена не боюсь. Но… средства… Как добраться-то? У меня средств нет.

— А пешочком? — пояснил Свитка, искоса взглядывая пытливо на соседа, — и пешочком можно! Не вы первый, не вы и последний. По крайности, прогуляетесь, время теперь хорошее, с народом познакомитесь, а это ведь никогда не лишнее.

— Н-нет… Мне это неудобно, — отклонился экс-гимназист, вспомня о своей прикосновенности к какому-то "делу".

— Почему так? — с живостью спросил Свитка.

— Так… Я уж лучше тут как-нибудь устроюсь. А разве потом как-нибудь…

Тот как-то особенно и чуть заметно улыбнулся про себя и опять заговорил с прежним участием:

— Если хотите поступать, я могу объяснить вам все дело, как и что, одним словом, весь ход, всю процедуру… Научу как устроиться, заочно с профессорами познакомлю, то есть дам их характеристики… Ну, а кроме того есть там у меня товарищи кое-какие, могу познакомить, дам письма, это все ведь на первое время необходимо в чужом городе.

— Благодарю вас… я подумаю.

— Подумайте, подумайте!.. Вообще господин Шишкин, — прибавил он, радушно и любезно протягивая руку, — мне бы очень приятно было познакомиться с вами поближе… Извините, может быть вы примете это за навязчивость с моей стороны, но… я здесь один, просто, слова не с кем перемолвить.

Экс-гимназист охотно принял предложение этого знакомства.

— Я стою здесь в нумерах Щелкова, — пояснил Свитка. — Милости просим ко мне когда-нибудь, очень рад буду! Да самое лучшее вот что: вы ничего не делаете нынче вечером?

— Особенного ничего.

— Так приходите-ка ко мне!.. Поболтаем, закусим, а?

Шишкин согласился. Юноши этого возраста вообще очень легко и скоро сходятся с людьми.

Часу в восьмом вечера он уже сидел в гостях у нового своего знакомца. Тот рассказывал ему о Казанском университете, о жизни в Казани… Потолковали и о современном положении дел вообще, и о России в особенности. В речах Василия Свитки было очень много симпатий к Польше. Шишкин тоже вполне разделял это чувство.

— Я думаю, что и наша матушка-Русь тоже тово… накануне какой-нибудь большой революции, — заметил хозяин, бросая пристальный взгляд на гостя.

— Да вот уж в Высоких Снежках поднимались, там уже началось, авось и другие подхватят, — подтвердил ему Шишкин.

— Да, да; вообще в воздухе, кажись, сильно попахивает чем-то, — согласился Свитка; — но все-таки, мне кажется, что все эти бунты не приведут ни к чему большому без последовательной агитации… В этом деле, как и во всех других, нужна система, план; а без него будут одни только отдельные вспышки. Если бы тут какая-нибудь организация была, ну тогда другое дело.

— А может быть и есть уже организация, — задорливо возразил Шишкин.

Свитка быстро вскинул на него глаза и, не сводя с его лица своего внимательно наблюдающего взора, спросил:

— Организация?.. А почему вы думаете, что есть?

Юноша спохватился, что чуть было не сказал лишнего.

"Под страхом неминуемой ответственности пред трибуналом общества", отчеканилась в его сознании знакомая фраза.

— То есть, я… конечно, ни на чем собственно не основываю этого, пояснил он, — но… так, одно предположение… Почему ж и не быть ей? Если Италия, например… отчего ж бы и нам тоже?

— Нет-с, батюшка, мы, русские, слишком еще дураки для этого, авторитетно возразил Свитка с каким-то презрением;- вы говорите: Италия! Так ведь в Италии, батюшка, карбонарии-с, Италия вся покрыта сетью революционных кружков, тайных обществ, в Италии был Буонаротти, там есть — шутка сказать! — голова делу, Мадзини, есть, наконец, сердце и руки, Джузеппе Гарибальди-с! А у нас-то что.

— А Герцен? а Огарев? — горячо вступился Шишкин, юное самолюбие которого особенно задели за живое эти презрительные отзывы о дураках — русских.

— Ну что же!.. Конечно, Герцен-то есть, да ведь одна ласточка весны еще не делает!.. Ну, положим, что есть у нас и Герцен, и Огарев, и еще кто-нибудь кто их там знает! Да где же наши кружки? где наша организация? Я нигде и ни в чем не вижу ее пока! Ну, вот сойдемся, например, мы с вами и потолкуем по душе, и оба, кажись, одушевлены одними стремлениями, одними симпатиями, а что из этого выходит? Пуф! Словоизвержение одно, а чего-нибудь *действующего* мы все-таки никогда не составим, и эта недеятельность, эта апатия лежит в нашей национальной глупости, потому что мы, русские, — рабы по натуре своей и лучшего ничего не желаем! И организации у нас нет и никогда не будет!

Шишкина так и подмывало схватиться с места и сказать ему: "Ан, нет мол есть же! есть!" и показать в подтверждение полученное им письмо и деньги, и для окончательной убедительности признаться, что сам он член тайного общества и что, стало быть, русские не совсем уж круглые дураки и презренные рабы, какими изволит изображать их господин Свитка. Однако же попридержал на время свою прыть "под страхом неминуемой ответственности".

— Н-ну, как знать чего не знаешь! — процедил он сквозь зубы не без некоторой многозначительности в тоне.

Хозяин исподлобья оглядел его своим изучающим взглядом и улыбнулся про себя, как прежде, чуть заметною, странною усмешкою.

Этот взгляд и усмешка были замечены Шишкиным.

"Неужели из тех!" — быстро мелькнуло в его соображении; но все предшествовавшие обстоятельства их знакомства противоречили такому предположению. "Зачем же он так пытливо взглянул на меня? Чему он так улыбнулся?" — думал экс-гимназист. — "Боже мой! уж не шпион ли это какой-нибудь?.. Может, заодно с Пшецыньским... Может, он хочет выпытать меня?"

И Шишкин вдруг побледнел и тревожно забегал глазами по комнате.

— Однако прощайте... мне пора, — поднялся он с места, неловко и несколько смущенно протягивая хозяину руку.

— Куда же вы? — изумился тот. — А я думал, мы целый вечер проведем вместе, чаю напьемся, закусим... Останьтесь-ко, полноте!

— Нет, ей-Богу, пора!.. Не могу я больше... Прощайте-с.

— Ну, как знаете! До свиданья.

"И чего я так испугался?" — думал Шишкин, подходя уже к своей квартире. "Ведь я сам чуть не похвастался, что как знать чего не знаешь. Может, он оттого-то только и поглядел на меня эдак... а он ужинать приглашал!.. Дурак, право, дурак я! И с чего он вообразился мне то вдруг из тех, то вдруг шпионом, а он, кажись, просто так себе, добрый малый и очень не глупый... А я, как дурак, струсил!"

И на будущее время Шишкин решился уже не трусить более нового знакомца.

XXVII. В западне

На следующий день, около четырех часов пополудни, прохаживаясь по главной аллее городского сада, Шишкин, все еще не терявший надежды, что ожидания его увенчаются каким-нибудь успехом, вдруг завидел идущего навстречу Василия Свитку, который еще издали кивал ему головой и махал руками.

— Здравствуйте, батюшка, — сказал он, подходя к Шишкину. — А вы, кажись, частенько тут прогуливаетесь?

Тот немного смутился.

— Нет, я так только... от нечего делать.

Свитка подхватил его под руку и, дойдя до поворота в среднюю поперечную аллею, повернул туда как бы неумышленным и совсем машинальным образом.

— Фу? как устал я!.. Все время на пристанях шатался... Ходил плоты встречать. Присядьте-ко малость!

И он опустился как раз на вторую скамейку.

Шишкин опять слегка смутился. Некоторое сомнение закралось ему в голову: случайно все это, или нет? Из тех, или шпионит? Но взглянув внимательно на лицо своего знакомца и прочтя на нем полнейшее и открытое простодушие, он снова решил, что Свитка ни то, ни другое.

— Послушайте, Шишкин, — начал тот, усаживая подле себя экс-гимназиста;- простите мою нескромность, но я все думал об вас как вы ушли от меня, и знаете ли, что пришло мне в голову?

— Что такое?

— Ведь вы тут ровно ничего не делаете, ничем особенно не занимаетесь?

— Уроки кой-какие имею.

— Н-да, конечно это немаловажно… А я хотел было вам предложить прокатиться вместе со мной до Астрахани, сплавились бы на плотах, а там у меня есть знакомые из компанейских, так что назад на пароходе ничего бы не стоило. Отличное бы дело, ей-Богу? а? Прямо бы в Казань и предоставил, как раз к началу курса.

Шишкин задумался. Предложение имело свою заманчивую сторону, но… как же те-то? Как же отказаться от блестящей перспективы быть заправским, серьезным деятелем "такого дела" или, по крайней мере, хоть узнать бы прежде что-нибудь положительное: есть ли тут что или одна только мистификация.

— А скоро поедете вы? — спросил он.

— А право не знаю еще!.. Думаю, скоро, на днях.

— Н-нет, на днях-то мне неудобно.

— Отчего неудобно? — с живостью спросил Свитка.

— Да так!.. Не могу я.

— Отчего не можете?

— Да мало ли?.. Ну, уроки… ну, матушка у меня… нездоровая, — замялся Шишкин; да и вообще, просто не могу.

Оба примолкли.

— А я знаю, почему вы не можете! — веско и медленно начал наконец Свитка, смотря ему в глаза пристально и нагло.

Сердце юноши ёкнуло тревогой страха и ожидания.

— Почему? — едва мог проговорить он.

Тот, вместо ответа, взял от него трость и резко начертил ему крест на песке дорожки.

Шишкин побледнел. Чувство внезапности, удивление, испуг и страх, и радость разом отразились на его физиономии, на которую неотводно продолжал глядеть Свитка своим наглым взглядом.

— Дайте вашу руку!.. Вы человек годящийся! — похвалил он с видом покровительства.

Юноша не успел еще прийти в себя.

— Но зачем же вы только теперь!?. Зачем не сразу… не тогда, как я крест поставил?

Тот усмехнулся будто на ребяческое слово.

— Гм… Сразу ничто, мой друг, не делается. Надо было прежде дать вам срок, чтобы поглядеть, насколько серьезна ваша решимость, потом попытать вашу скромность, удостовериться, умеете ли вы держать язык на привязи, — ну, экзамен оказался удачен, значит теперь можно поздравить.

— Я ваш — и душой и телом! — восторженно воскликнул юноша. — Делайте со мной что хотите!.. Когда вы меня представите?

— Как это представите? куда? кому! — серьезно поморщился Свитка.

— Ну, понятно: членам нашего общества, — пояснил Шишкин.

— Членам? Да вы уже представлены: вас знают там. Разве без этого решились бы выбрать вас?

Этот ответ польстил самолюбию экс-гимназиста.

— Но когда же я увижу их? — оживленно спросил он.

— Кого это "их"?

— Ну, разумеется, членов!

— Полагаю, что совсем не увидите. Да это и не нужно. Вы знаете меня, и больше никого, и по всем делам будете сноситься только со мною.

— Стало быть, общества нет никакого?

— Напротив, есть, и весьма сильное, весьма многочисленное; но знать всех членов — это совершенно излишне и даже вредно; да наконец, и нет возможности: их слишком много, они рассеяны повсюду.

— Что же я обязан делать? — пожав плечами, спросил юноша. Дело выходило совсем не так, как мечтал он, и в мечтах оно казалось ему лучше, красивее как-то.

— Делать? а вот что делать, — пояснил Свитка. — Вы будете строго и неуклонно исполнять то, что вам укажут. Впоследствии, с моего разрешения, вы можете избрать себе двух помощников из надежных и лично вам известных людей, но кроме вас, они точно так же не должны ничего и никого знать, я и сам точно так же никого не знаю. Понимаете? И вот, все что вам предоставляется. Средства на ведение дела вы будете получать от меня, а за измену делу, предваряю вас, последует неминуемая кара.

— То есть, как же это? — оторопело спросил Шишкин.

— А так, что в один прекрасный день можно отправиться ad Patres, очень серьезно ответил Свитка. — Поэтому, будьте осторожны и прежде всего — язык за зубами. Назад уже, конечно, отступления нет; вы понимаете…

— Но… отправиться ad patres… Это легко сказать…

— Легко сказать, и не трудно исполнить, какая-нибудь маленькая доза стрихнину, укол

отравленною булавкой, да и, Боже мой! Мало ли есть средств для этого?

Свитка на первых же порах нарочно старался побольше запутать неопытного юношу, чтобы тем легче забрать его в руки и сделать ему невозможным поворот назад. Шишкин призадумался и даже приуныл немного. Он вдруг почувствовал себя в положении мышонка, попавшегося в мышеловку на кусочек свиного сальца.

— Ну, друг любезный! чур, головы не вешать! — хлопнув по плечу, весело подбодрил его Свитка. — Знаете, говорят, это вообще дурная примета, если конь перед боем весит голову. Смелее! Будьте достойны той чести, которую сделал вам выбор общества, будьте же порядочным человеком! Надо помнить то святое дело, за которое вы теперь взялись своею охотой!

— О, Боже мой, да я готов!.. Я готов! Неужели вы можете сомневаться? — воскликнул Шишкин. — Но в чем же дело? И только давайте поскорее!

— Дело в том, что дня через два-три мы отправимся с вами по Поволжью: где пешочком, где на лодочке, а где и конно, как случится; ну, и станем мужичкам православным золотые грамоты казать. — Понимаете-с? — прищурился Свитка. — Нынче вечером будьте у меня: я покажу вам экземплярчик, и вообще потолкуем, условимся, а пока прощайте, да помните же хорошенько все, что сказал я вам.

И пожав ему руку, Свитка быстро пошел из сада.

* * *

Перед вечером он постучался у двери ксендза-пробоща. Зося, отворив ему, объявила, что его мсстци нет дома. Свитка вырвал листок из записной книжки и, написав на нем несколько слов, тщательно свернул и отдал женщине для передачи по принадлежности, а вечером, возвратясь домой, ксендз Кунцевич не без труда разобрал на этом листочке следующее:

"Дело с гимназистом кончено наиуспешнейше, послезавтра, в ночь отправляемся".

"*Фр. Пожондковский*".

Через сутки, действительно, Шишкин исчез из города. На прощанье, он вручил матери еще десять рублей и уверил ее, что едет на вакацию к одному помещику приготовлять к гимназии его сына.

XXVIII. Жених

Ардальон Полояров, совсем неожиданно для самого себя, очутился в положении жениха. Он был, в некотором роде, жертва собственного великодушия. Зато Лубянская все время оставалась вполне довольна своею судьбою, в качестве будущей супруги Ардальона Михайловича. Но о самом майоре далеко нельзя сказать того же. В странных каких-то отношениях вдруг очутились между собою эти три лица, с той минуты, как слово великодушия нежданно-негаданно было произнесено Полояровым. Старик не перечил, но и не радовался; напротив, теперь чаще, чем когда-либо, он, из своего уголочка, подолгу стал засматриваться на дочку с молчаливою, но глубокою и тоскливою грустью. Хоть он и молчал, но по всему было видно, что сердце его и не чает для дочери ничего хорошего в будущем, и не ждет никакого счастья в этом браке. С Полояровым отношения его были суховато-вежливы: в них проглядывало такое чувство, как будто, подавая руку Ардальону или говоря с ним, старик боялся быть укушенным какой-нибудь гадиной или чем-нибудь запачкаться, — чувство, давно

не испытанное его простым, отзывчиво откровенным сердцем. Он как-то все не верил в чистоту полояровского великодушия, и порою казалось ему, будто брака этого никогда не будет, что впрочем нисколько его и не печалило, лишь бы только быть уверенным, что она, чистая голубка его, осталась такою же, как и прежде; но… этой-то уверенности и не хватало ему. Сам Полояров нимало впрочем не смущался подобным отношением к собственной особе; он, говоря его словами, "игнорировал глупого старца" и, как ни в чем не бывало, в качестве жениха, почти ежедневно ходил к нему то обедать, то чай пить, то ужинать. Только в отношении Нюточки тон его сделался еще резче и нахальнее. Когда же майор заметил ему это однажды, то Ардальон отвечал, что "как мы с нею теперь женихи, то особенно церемониться нечего, потому не с тоном жить, а с человеком".

Одна только Нюточка, по-видимому, казалась довольна и счастлива. Вера ее в Полоярова была безгранична: уж если он сказал, уже если он что сделал, значит, это так и должно, значит, иначе и быть ничего не может, и все, что ни сделает он, все это хорошо, потому что Полояров не может сделать ничего дурного, потому что это человек иного закала, иного развития, иного ума, даже просто, наконец, иной, совсем новой породы, тем более, что и сам он называл себя "новым человеком". Девушка привязалась к нему еще больше с той минуты, как он, ради нее, ради любви к ней, поступился даже самыми коренными из своих убеждений, предложив ей "формальным образом окрутиться вокруг аналоя". Она видела в этом величайшую, с его стороны, жертву, и жертва его льстила ее самолюбию.

С каким удовольствием бегала она в ряды, в гостиный двор, накупать то себе, то ему разные принадлежности к своему приданому. Каждая вещица, каждая наволочка, полотенце, каждая дюжина чулок или платков носовых, купленная на скромные деньжишки, прикопленные для нее майором, приводила ее в восторг. С какою радостью припасала она все это к устройству будущего своего хозяйства! Сколь светло мечтала о том, как это у них все так хорошо, так просто и мило будет устроено! С каким живым наслаждением показывала жениху все эти покупки и приготовления, сама любуясь и на них, и на него своими влюбленными глазами!

Но Полояров все эти радости и восторги встречал совершенно холодно: больно уж не по нутру они ему были. И именно в те самые минуты, когда она показывала ему новые свои покупки, рассказывая намерения и планы будущего житья-бытья, он глядел совсем равнодушно, как на нечто постороннее, и слушал вполне безучастно, а иногда с видимым даже раздражением и неудовольствием.

Все это искренно огорчало любящую девушку.

— Ардальон! да что это с тобой! — высказала она ему однажды с полудосадливым и полунежным упреком. — Я хлопочу, я бегаю, стараюсь, прошу твоего совета, одобрения, а ты глядишь на все это, словно бы совсем чужой, словно бы даже тебе неприятно это!.. Ей-Богу, хоть бы маленькое участие!.. Неужели же тебя это нисколько не занимает?

— Да чему тут особенно занимать-то?.. Есть на что радоваться! — фыркнул он, скосив губы; — ну, нравится тебе это, — ну и занимайся! Я не мешаю… Мне-то что!

Нюта поглядела на него пристально, решительным взглядом.

— Послушай, — начала она после некоторого молчания, — мне кажется, ты раскаиваешься в своем намерении… Пожалуйста, не стесняй себя; скажи мне прямо — ведь еще есть время…

Ардальон молчал и хмурился.

— Ну, вот видишь, ты молчишь, ты сердишься!.. Зачем все это! Не лучше ли прямо?.. (на

ресницах ее задрожали слезы). — Милый ты мой!.. Ты знаешь, что мне лично, пожалуй, и не нужно этого пустого обряда: я и без того люблю тебя — ведь уж я доказала!.. Мне ничего, ничего не нужно, но отец… ведь это ради отца… Я ведь понимаю, что и ты-то ради него только решился. Милый мой! я тебя еще больше полюбила ча эту жертву.

— Хм!.. Полюбить-то, пожалуй, и больше полюбила, — согласился он, по обыкновению, медленно и туго потирая между колен свои руки и глядя мимо очков в какое-то пространство пред собою. — Насчет любви — не знаю, может и так, а может и нет; но уважать-то уж, конечно, менее стала.

— Как!.. Почему это? — отклонилась девушка, широко раскрыв на него изумленные взоры.

— А потому, что за такие пассажики нельзя никого уважать, да и не за что!.. Разве ты можешь уважать человека, изменяющего своим принципам, идущего против убеждения? Ну, стало быть, и меня не уважаешь!

— Но, милый мой, это совсем другое…

— Э, матушка! одно и то же! — перебил Ардальон, с гримасой махнув рукою.

— Так не женись на мне! Кто ж тебя принуждает! — открыто и просто предложила она.

Полояров скорчил новую, досадно-нетерпеливую гримасу и несколько времени не отвечал ни слова, только по-прежнему тер себе ладони. Нюточка тихо заплакала.

— Ну, уж что сказано раз… так уж нечего говорить, пробурчал наконец Ардальон сквозь зубы, в каком-то раздумье. — Да, пожалуйста, слезы-то в сторону! — прибавил он, заметив, что невеста вытерла платком свои глаза; — терпеть не могу, когда женщины плачут: у них тогда такое глупое лицо — не то на моченую репу, не то на каучуковую куклу похоже… Чего куксишь-то? Полно!.. Садись-ка лучше ко мне на колени — это я, по крайности, люблю хоть; а слезы — к черту!

Нюта исполнила его желание, но с этой минуты отлетели от нее все счастливые мечты и планы. Она уже без удовольствия стала ходить в ряды и даже неохотно готовила себе приданое, никогда более не заставляя жениха любоваться на свои покупки. В душу ее закралось тяжелое и темное раздумье о своем сомнительном будущем…

Майор молчал и курил свою трубочку, но сердце его чуяло и родной глаз очень хорошо замечал все, что делается с девочкой.

Однажды она пошла в ряды и, сделав какую-то покупку, забежала "по пути" к жениху, хотя, собственно говоря, это было вовсе не по пути ей.

Полояров спал на диване. Нюта осторожно подкралась к нему и разбудила своим любящим поцелуем.

— Здравствуй, милый! Что я тебе скажу… — начала она весело и вместе с тем как-то таинственно и отчасти смущенно.

— Ну, ладно!.. После, после!.. Теперь я спать хочу… Убирайся, пожалуйста!.. Не мешай мне, или — коли хочешь — посиди, пожалуй, пока высплюсь, — пробормотал Ардальон, и калачом отвернувшись к спинке дивана, в ту же минуту сонно засопел с носовым присвистом.

Девушка постояла, посмотрела ему в спину, повернулась и ушла. С больным чувством обиды возвратилась она домой, уселась на полу, на маленькую скамеечку, за каким-то коленкором, который в тот день кроила, и, положив на колени подпертую ладонями голову, заплакала тихо, беззвучно, но горько.

Майор, запахнув халатик, подкрался на цыпочках к двери и осторожно заглянул на дочь из своей комнаты. Тревога отеческой любви и вместе с тем негодующая досада на кого-то чем-то трепетным отразились на лице его. Нервно сжимая в зубах чубучок своей носогрейки, пришел он в зальце, где сидела Нюта, не замечавшая среди горя его присутствия, и зашагал он от одного угла до другого, искоса взглядывая иногда на плачущую дочку.

— Ну, его к черту! — нервно дрогнул голос старика. — Брось, Нюта!.. брось!.. Не стоит!.. Не думай ты о нем больше!.. Право!.. Весь-то он, как есть, одной твоей слезинки не стоит!.. Ну его!.. Ей-Богу, говорю, — брось ты все это!

И он еще крепче защемил между зубами свой чубучок, потому что и у самого-то уже навертывались на глаза жгучие слезы обиды, боли и досады. Но Нюта, не подымая головы, только медленно и отрицательно покачала ею, и в этом движении было так много чего-то кручинного, безнадежного, беспомощного...

Она теперь уже ощущала внутри себя нечто новое, в чем ни за что не призналась бы старому майору.

XXIX. «Эврика» по-гречески значит: нашел

Ардальона разбудили вторично. Но на этот раз перед ним уже стояла не улыбающаяся Нюточка, а почтальон, принесший ему с почты письмо. На конверте значился петербургский штемпель. Заспанный Полояров однако же почти сразу догадался от кого было это послание.

"Все готово. Предприятие наше прочно поставлено на ноги, говорилось в письме, открываем типографию, швейную, переплетную, читальню и много еще другого. Если можешь, приезжай поскорее, ты был бы теперь здесь очень кстати...

"До свидания!

Весь твой Лукашка".

"Не многоглаголиво, но ясно!" — улыбнулся про себя Полояров. Письмо это заставило его призадуматься.

"Как же тут быть? Неужели и в самом деле жениться? Черта с два?.. Добро бы еще выгода какая", мыслил он сам с собою, "а то вдруг ни с того, ни с сего, — на тебе! Фю!.. взял да и окрутился! Честь имеем поздравить! Будущий отец семейства и славнобубенский домовладелец с улицы Перекопки, — приятная перспектива! очень приятная! — Нет, брат, Ардальон Михайлович! — широко вздохнул он с чувством гиганта, — тебя ждет дело посерьезнее и почестнее, так тут нечего бабиться! Женщина, или дело — тут для порядочного человека выбор один. Ради удовольствия добродетельного папеньки так вот взять да и пожертвовать принципами? Да что же я за дрянь-то после этого!.. Что же я за свинья-то!.. Любить... ну и любить!" продолжал он свои думы, вспомня о Нюточке, "я-то что же?.. Сама ведь шла, доброй волей; не пыткой принуждали же! Так чего тут? Коли ты, матушка, не дрянь, а женщина, так ты поймешь, что для людей нашего закала — дело, прежде всего, а потом уж любовь и прочее... Любишь, так и так любить будешь!.. Можешь как-нибудь приехать потом; а нет —

значит, дрянь, значит, замуж только хочется выскочить!.. Ну, и ищи себе подходящего субъекта, а я... пожалуй, и я не прочь любить, и все такое... да только не в такое время!.. Так и сказать ей это — небойсь, поймет барышня! — Одним словом, так или иначе, а этой канители, значит, шабаш!" окончательно решил Полояров.

Но вслед за тем пред ним вставали другие, гораздо важнейшие вопросы:

"Ехать... Конечно, надо ехать"! — размышлял он, — "об этом нечего и говорить, и чем скорее, тем лучше, а то еще гляди, пожалуй, окрутят как-нибудь... заставят... Начальство, власти и прочее... Ведь добродетельный папенька, пожалуй, и на это способен!.. Но как тут, черт возьми, уедешь!.. Занять бы у кого, что ли?.. Хм... Как же! поди займи в этом подлом обществе! Дадут черта с два! Дожидайся! Разве как-нибудь у Затц да у Нюточки прихватить?.. Сотнягу бы, что ли, — тогда хватит... Да беда, капиталы-то ведь у добродетельного папахена в шкатулке! Кабы у самой, так и говорить бы не о чем, а тут вот и ломай себе голову!"

И действительно, Ардальон Полояров упорно ломал голову над разрешением трудной задачи. При дальнейших размышлениях выходило, что и у Нюточки не совсем-то ловко взять деньги: станет подозревать, догадается, пойдут слезы, драмы и прочее, а лучше махнуть так, чтоб она узнала об этом только по письму, уже после отъезда; тогда дело короче будет. Оставалась одна только Лидинька Затц; но и тут встречалось некоторое сомнение: Лидинька и без того уже зла на него за Лубянскую, за его предполагаемую женитьбу. Но, положим, что на этот счет можно бы легко разубедить ее; для этого потребуется только немного нежности да бойкий разговорец в том духе и в тех принципах, которым поклоняется с некоторого времени Лидинька, и сердце ее умягчится, и прикажет она своему благоверному добыть ей, как бы то ни было, денег, и благоверный в этом случае не будет ослушником обожаемой супруги, только с получателя документец возьмет на всякий случай. Но главное сомненье не в этом. "А как дернет ее нелегкая", думал Полояров, — бросить благоверного? Да как ко мне на шею накачается: бери, мол, с собою! тогда что?.. Куда мне с нею?.. А это весьма легко может случиться!"

Возиться с Лидинькой Затц никак не входило в дальнейшие расчеты и планы Ардальона Михайловича, и потому он еще бродил в лабиринте своих сомнений и предположений, не останавливаясь ни на чем решительном относительно путей добычи.

Как часто бывает с человеком, который в критическую минуту полнейшего отсутствия каких бы то ни было денег начинает вдруг шарить по всем карманам старого своего платья, в чаянии, авось-либо обретется где какой-нибудь забытый, завалящий двугривенник, хотя сам в то же время почти вполне убежден, что двугривенника в жилетках нет и быть не может, — так точно и Ардальон Полояров, ходючи по комнате, присел к столу и почти безотчетно стал рыться в ящиках, перебирая старые бумаги, словно бы они могли вдруг подать ему какой-нибудь дельный, практический совет.

Принялся он за это занятие рассеянно, почти и сам не определяя и даже не зная цели, зачем и для чего это делает, и вот, перебирая машинально бумагу за бумагой, целый ворох писем и записок, адресов, рецептов, гостиничных и иных счетов, начатых и неоконченных статей, выписок, заметок, наткнулся он вдруг на одну свою старую и позабытую рукопись. Листы ее были залиты кофе и частью закапаны салом, но рукопись эта напомнила Ардальону то крутое время, когда откупщик Верхохлебов, после самоличной ревизии, прогнал вдруг его с очень вкусной и питательной должности. Она напомнила ему время, когда он только что стал мечтать о литературном поприще и принимался уже кое-что пописывать. Эта рукопись была даже чуть ли не первой его попыткой. Фигурировал в ней откупщик Верхохлебов — в те дни либерал и патриот сольгородский, как ныне все такой же либерал и патриот славнобубенский. Фигурировал он в этой рукописи своей собственной персоной, купно с сожительницей

законной и незаконной, со чады и домочадцы, и со всеми делами и помышлениями своими, со всем домашним обиходом, и явными, и тайными грехами и провинностями, по части откупных и иных не совсем-то светлых операций, которые сильно попахивали уголовщиной. Писал тогда Полояров эту рукопись под впечатлением свежих ран, причиненных ему лишением питательного места, под наплывом яростной злости и личного раздражения против либерала и патриота сольгородского, и следы сей злобы явно сказывались на всем произведении его, которое было преисполнено обличительного жара и блистало молниями благородного негодования и пафосом гражданских чувств, то есть носило в себе все те новые новинки, которые познала земля Русская с 1857 года, — время, к коему относилась и самая рукопись. Но так как в те поры Ардальон Полояров был еще писатель юный и начинающий, а известно, что юным и начинающим писателям весьма свойственен бывает пересол увлечения, то поэтому и он чересчур пересолил в своем произведении все благородные и гражданские чувства. Но в то время все это казалось ему безусловно прекрасным и возвышенным. Он гордился своим произведением и, желая полною неожиданностью поразить сердце Верхохлебова, переписал начисто и втихомолку отправил свое создание в одну из редакций. Долго ждал он после этого появления его в печати и даже писал письма в редакцию, но неизвестно почему редакция не воспользовалась созданием Ардальона Полоярова, которое так и погибло в ее непригодном хламе. Следующее произведение Ардальона, не касавшееся патриота с его сожительницами и домашним обиходом, было счастливее первого; а затем вскоре получил он место станового пристава и, среди новых впечатлений и занятий, позабыл про свою рукопись. Так она с тех пор и лежала черняком в его столе, изредка попадаясь случайно на глаза, при переборке бумаг, но уже не возбуждая собою никаких особых соображений. Впоследствии даже сам автор сознал в своем детище некоторые недостатки, и это сознание немало способствовало полному забвению, тем более, что и самые раны, нанесенные автору патриотом, от времени успели затянуться.

И вот теперь, в критическую минуту жизни, сидит Ардальон над своею рукописью и в рассеянной задумчивости перебирает поблеклые листы ее, прочитывая кое-какие места и переносясь мыслью в прошедшее

Вдруг его словно бы что-то кольнуло.

Быстро восклонясь от стола, он приложил палец к губам и серьезно задумался.

Затем на лице его отразилось некоторое колебание, мелькнула тень сомнения; затем скользнул яркий луч надежды и наконец все оно самодовольно оживилось лучезарною и радостною улыбкою.

— Эврика!.. эврика, по-гречески значит: нашел! — воскликнул он, целиком повторяя знаменитую фразу Михаилы Васильевича Кречинского.

Через полчаса после этого, Ардальон уже сидел за перепискою рукописи, в то же время значительно исправляя, сокращая и уснащая ее перцем и солью.

XXX. Игра в половинки

Через день вся эта работа была уже готова. Полояров отправился к Верхохлебову и приказал доложить о себе по весьма важному "для самого барина" и безотлагательно-нужному делу.

Либерал и патриот поморщился при имени Ардальона Полоярова, однако же, имея в соображении какую-то неведомую важность и безотлагательность, приказал впустить его.

Ардальон по мягкому ковру вступил в кабинет патриота, причем сопровождавший лакей не без презрительной злобы покосился на его смазные сапожищи.

Славнобубенский откупщик жил на широкую ногу. Кабинет его, как и весь дом, носил яркую печать аляповатой, но спесивой роскоши. Тут все блистало бархатом и позолотой: точеный орех и резной дуб, ковры и бронза, и серебро в шкафах за стеклом, словно бы на выставке, и призовые ковши и кубки (он был страстный любитель рысистых лошадей), дорогое и редкое оружие, хотя сам он никогда не употреблял его и даже не умел им владеть, но держал затем единственно, что "пущай, мол, будет; потому зачем ему не быть, коли это мы можем, и пущай всяк видит и знает, что мы все можем, хоша собственно нам на все наплевать!" По стенам, в роскошных золоченых рамах, висели разные картины весьма сомнительного достоинства, но тем не менее на дощечках при них красовались имена Кукука, Калама, Берне, Делароша и прочих. Все эти произведения искусства сбыл ему в Петербурге, за очень выгодный куш, некий аферист, и Верхохлебов необыкновенно был доволен покупкой, "по крайности, стены не будут голые и все же дому украшение". И в зале, и в гостиной, и в кабинете, — словом, повсюду, где только мог, либерал и патриот поразвешивал масляные и фотографические изображения собственной персоны, и не иначе как во всех своих медалях и регалиях "за пожертвования". Особенно в этом отношении отличались зало и кабинет, где висели портреты его во весь рост "в самой государственной позитуре", как говорил он. Слабость к регалиям доходила в нем до того, что он даже сделал какое-то пожертвование самому шаху персидскому, за что и получил большую звезду Льва и Солнца, которую неукоснительно возлагал на себя во всех важных и экстренных случаях жизни.

— Что скажете-с? — вполоборота и почти через плечо обратился он к Полоярову, встретя легким кивком его поклон.

— Скажу очень многое! — с многозначительной усмешкой ответил гость, нимало не изменяя своему обычному, так сказать, полояровскому достоинству. — У вас есть на час свободного времени?

— Это смотря как: иное дело и на два и на три есть, а иное — и на полсекунды нету.

— Ну, для моего, я надеюсь, найдется! — с полною уверенностью заметил Ардальон. — Дело, говорю вам, очень важное, и вы будете мне даже весьма благодарны за то, что я не пошел с ним помимо вас.

— Да в чем дело-то? Вы мне толкуйте прямо, а не с походцем, — сказал Верхохлебов, показывая знаки нетерпения.

— Своевременно узнаете, — спокойно возразил Полояров. — Нам нужно будет поговорить ладком, по-божьи, чтобы толком кончить. Прикажите-ка никого не принимать, пока я здесь.

— Да зачем же это? — с неудовольствием замялся откупщик.

— А затем, что присутствие лишнего человека будет для вас самих обременительно — вот увидите!

Верхохлебов позвонил и отдал требуемое распоряжение.

— Вот это так! Это хорошо! — одобрил нецеремонный гость. — Теперь уж не взыщите — я присяду, и вам посоветую сделать тоже, потому, знаете, стоя-то неловко.

И усевшись в малиновое бархатное кресло, он вынул из бокового кармана рукопись.

— Что это? Никак статья какая? — прищурился Верхохлебов. — У меня, сударь мой, времени нет. Это уж оставьте!

Но Полояров, раз уже добившись такого свиданья, решительно не желал и не мог даже оставить дело и уйти из этого кабинета без какого-либо положительного результата.

— Эй, Калистрат Стратилактович, смотрите, чтоб не пришлось потом горько покаяться, — предостерег он весьма полновесно и внушительно; — знаете пословицу: и близок локоть, да не укусишь; так кусайте-ка пока еще можно! Говорю, сами благодарить будете! Вы ведь еще по прежним отношениям знаете, что я малый не дурак и притом человек предприимчивый, а нынче вот не без успеха литературой занимаюсь. Полноте! что артачиться! А вы лучше присядьте, да выслушайте: это недолго будет.

— Проектец, что ли, какой? — недоверчиво спросил Калистрат Стратилактович.

— Н-да, пожалуй, в некотором роде, есть и проектец. Вот погляжу, как вы найдете… одобрите ли его. Прошу прослушать!

И комфортно рассевшись в глубоком кресле да заложив ногу на ногу, Ардальон Михайлович, не без внутреннего удовольствия, принялся за чтение, и читал, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой, наблюдая, время от времени, из-под своих очков, какое действие производит его статья на Калистрата Стратилактовича. Но вначале не было заметно никакого действия. Верхохлебов даже пренебрежительно перебил его:

— Что это? Никак повестулка какая-то?.. Это к нам не подходящее!

— Постойте, не торопитесь, — остановил Полояров. — Оно только вначале так кажется; "но подождем конца!" — сказал дурак какой-то. Вот и вы, батюшка, подождите: своевременно все выяснится, все-с обнажится!

И чтение продолжалось. И по мере того, как продолжалось оно, оказывалось и достодолжное воздействие его на либерала и патриота славнобубенского. Брови его супились, лицо хмурилось, губы подергивало нервическою гримаскою. Он то бледнел, то наливался пунцовым пионом и дышал тяжело, с каким-то сопеньем; на лбу проступали капли крупного поту, а в глазах выражение злобы и негодования сменялось порою выражением ужаса и боязни.

До этой минуты либерал и патриот славнобубенский ни разу еще в жизни своей не испытывал на собственной шкуре канчуков и плетей той "благодетельной гласности", за которую он столь часто и столь горячо распинался.

Полояров очень хорошо подмечал все, что с ним делалось, и это обстоятельство придавало ему еще более прыти. Он, не смущаясь нимало, читал еще с большим чувством, толком и расстановкой.

Опубликование подобной статьи, во всяком случае, было в высшей степени неблагоприятно, невыгодно для Калистрата Стратилактовича. Она, из тьмы винных подвалов и из-под спуда собственной его совести, выводила на свет Божий множество таких делишек, которые либерал и патриот считал безвозвратно канувшими в пучину забвения. А тут вдруг, нежданно-негаданно, всплывают они напоказ почтеннейшей и благосклонной публике, во всей своей неприкосновенности, во всем блистании своей подпольной красоты. Особенно некстати было все это именно в настоящее время, когда патриот только что сделал новое «пожертвование» и, чрез ходатайство фон-Саксена и иных сильных людей в Петербурге, ожидал получения святой Анны на шею.

Святая Анна! Боже мой!.. Он так давно и так сердечно мечтал о ней, так томился, ждал и надеялся, совершенно основательно полагая ее гораздо выше Льва и Солнца, "хоша Лев будет и не в пример показистее", — он уж даже призвал к себе живописца и заранее заказал ему перемалевать на портретах свои регалии, чтобы выше всех прочих начертить сердечно-приятную Анну, и теперь, когда Анна готова уже украсить собою его шею — вдруг, словно с неба, свалился — на-ко тебе! — эдакой позорный скандалище! "И хоть бы имя-то как-нибудь замаскировал, злодей, а то так-таки и катает прозрачным псевдонимом: вместо Верхохлебова, да вдруг Низкохлебов — ну, кто же не узнает? И для кого еще останется хотя малейшее сомнение? Но главное тут — Анна, святая Анна, которая столь привлекательно улыбается ему в недалекой перспективе, а после этой мерзости — того и гляди — придется навеки сказать ей нежное прости! И весь капитал, значит, пошел ни к черту! Верхохлебов уразумел теперь ясно, что по всем вероятиям придется ему теперь делать новое «пожертвование», только уж не в пользу казны, — и в тайнике сердца своего решил, что сделать его необходимо.

"Десяти тысяч не пожалею, думал он, — а уж этой пакости не допущу!.. Потому имя марает... Лишь бы более не запросил, каналья... В случае надобности, можно и поторговаться. А как упрется?.. Вот она штука-то!.. Коли упрется, пожалуй, что и уступишь... Эка напасть, помилуй Господи!.."

Полояров кончил.

Патриот отдувался, словно кузнецкие мехи и вытирал платком обильный пот со своей пунцовой физиономии.

— Как вы находите это, почтеннейший Калистрат Стратилактович? — не без гордой иронии отнесся к нему Ардальон Михайлович.

— То есть! что же-с? — пробормотал тот невнятно; — пашквиль какой-то... Значит, пашквилями заниматься изволите... Что ж, это похвально!

— Да не в том сила-с! — Каждый занимается чем может: кто от откупов наживается, плоть и кровь народную высасывает, а кто литературным трудом добывает; дело это, значит, от талантов и от способностей. А вы скажите-ка мне лучше, узнаете ли вы кого-нибудь в господине Низкохлебове?

— Почем же мне знать-с?.. Что вы там напишете, — я знать этого не могу... Откуда ж мне!..

— Э, полноте, батюшка! Чего тут политику-то эту!.. Давайте лучше дело начистоту: эта рукопись приготовлена мною для печати и отсылается завтра же в Питер, в самых верных и надежных руках. Вы знаете, что ведь меня все журналы печатают, а за эту штуку обеими руками ухватятся! Одна «Искра-то» чего стоит, а уж о других нечего и говорить!.. Впрочем я в «Искру» дам одно только извлеченьице, а всю эту штуку помещу в «Современнике». Скажите же откровенно: угодно вам, чтобы это все было целиком, как есть, пропечатано?

— Да мне-то что же-с!.. Конечно... я-то, собственно, не желал бы. Потому что ж это... марать отечественную литературу такими пашквилями. Дело зазорное-с!

Полояров нагло расхохотался.

— Да полноте вам, почтеннейший, вилять-то!.. Ведь мы отлично понимаем друг друга! — Не бойтесь, один другого не проведет! Скажите напрямик: я, мол, не желаю, чтобы это было напечатано! Тогда у нас и разговор пойдет настоящий, значит, по-Божьи!..

— Да ведь за это можно и к суду потянуть... Это ведь дело персональное-с, — погрозился патриот.

— Ге-ге! Куда хватили! — ухмыльнулся обличитель. — А позвольте спросить, за что же вы это к суду потянете? Что же вы на суде говорить-то станете? — что вот, меня, мол, господин Полояров изобразил в своем сочинении? Это, что ли? — А суд вас спросит: стало быть, вы признали самого себя? Ну, с чем вас и поздравляю! Ведь нынче, батюшка, не те времена-с; нынче гласность! газеты! — втемную, значит, нельзя сыграть! Почему вы тут признаете себя? Разве Низкохлебов то же самое, что Верхохлебов.

— Не то же, да похоже, — возразил сбитый с пункта Калистрат Стратилактович.

— Похоже да не с рожи, хоша к делу и гоже — знаете, как говорится это, по-простому! — подхватил Ардальон.

— Но я... я могу сказать, как дело было-с, как вы у меня в кабинете все это читали, как торговались...

— Можете! — согласился Полояров. — А где, позвольте узнать, — где у вас на все на это свидетели найдутся? Дело-то ведь у нас с глазу на глаз идет, а я — мало ль зачем мог приходить к вам! Кто видел? кто слышал? Нет-с, почтеннейший, ни хера вы на этом не возьмете! И мы ведь тоже не лыком шиты! А вы лучше, советую вам, эдак душевно, по-Божьи! Ну-с, так что же-с? — вопросительно прибавил он в заключение, — говорите просто: желаете, аль нет?

— Не желаю, — тихо и как бы стыдливо сказал, наконец, Верхохлебов, упорно глядя на ковер сильно потупленными глазами. В эту минуту у него просто дух захватило, "а ну, как хватит, каналья, сейчас такую цифрищу, от которой семь кругов огненных в глазах заколесятся?!"

— Не желаете? — прищурился Ардальон. Ну, так покупайте за тысячу рублей!

Верхохлебов чуть с места не вскочил, чуть в глаза не расхохотался своему мучителю, чуть дураком его не назвал. Но ярославская сметка молнией озарила его голову. Он тотчас же быстро сообразил положение противника, сравнительно со своим собственным, и солидно сдержал себя от всяких сильных и неуместных проявлений своих чувств и мыслей.

"Эге! подумал он. Малый-то, как видно, голяк, щелкопер... Ну, друг любезный, для тебя и тысячи, значит, уж больно много. Не к рылу тебе деньги такие... Не умеешь ты ими пользоваться!"

— Хе, хе, хе! — тихо засмеялся он в бороду, с чисто великорусским шильническим лукавством истого кулака. Тысячу!.. За что же-с тут тысячу?.. Как это вы легко такие крупные суммы валяете!.. У меня ведь не самодельная, чтобы на ветер, зря, по тысяче кидать!.. А вы не заламывайте — вы по душе скажите!

— Н-н... нет, менее тысячи нельзя, — запнувшись, сказал Полояров, и в голосе его явно дрогнуло внутреннее сомнение.

— Чего тут нельзя!.. Вам нельзя взять, а мне нельзя дать — у каждого, значит, свои расчеты. А вы возьмите половинку? пятьсот? ась? Пятьсот рубликов? Что вы на это скажете?

— Н-нет, пятьсот слишком мало... Пятьсот невозможно!..

— Эх, любезнейший! Ну, что вы мне говорите! Ведь напечатать-то, так вам за нее сущую пустяковину дадут! Знаем мы тоже, что вашему брату платят-то! Ну, что ж это такое? — говорил Верхохлебов, взяв рукопись и перелистывая ее да прикидывая на вес по руке. — Так себе, жиденькая тетрадочка... Ну, сколько тут листиков-то этих? Сущая безделица! Поди-ка, и всей-то бумаги на четверть фунта не будет, а вы вдруг — тысячу! Берите-ка лучше по чести пятьсот! Деньги хорошие! Ведь экие куши на панели не валяются... берите, что ль, а то я неравно рассержусь!

— Нет, пятьсот мало... Ей-Богу, нельзя, никак нельзя мне! — полусдавался колеблющийся обличитель.

— Ну, так печатайте! Мне все равно!.. Мне это равно что наплевать, коли вы чести не понимаете! — решительно махнул рукой Верхохлебов. — Прощайте! Извольте уходить отсюда!.. Извольте!.. Мне некогда тут с вами!.. Поважнее вашего дела есть. Ступайте, любезнейший, ступайте!

И он его выпроводил за двери.

"Что же, коли напечатать ее?" — грустно раздумывал Полояров, очутясь уже вне кабинета, "ведь тут не более как два с половиной листа печатных, а дадут за них... ну, много-много, коли по пятидесяти с листа... И то уж красная плата! Значит, за все сто двадцать пять, а гляди, и того меньше будет... Что ж, пятьсот рублей цена хорошая, ведь это выходит по двести с листа. Да такой благодати вовек не дождешься! Ну его к черту, помирюсь и на этом!"

И он направился обратно к кабинету.

А в это самое время Верхохлебова одолевали мысли и сомнения другого рода.

"А ну, как напечатает!" — волновался он в нерешимости. "Ведь скандал-то какой! Скандалище!.. А тут Анна... а тут срам, позор... да и следствие, пожалуй!.. Вернуть его нешто? Уж куда ни шла тысяча! Дам ему!"

И он тоже направился вдогонку за Полояровым.

Столкнулись они в самых дверях.

— А, вы еще здесь!.. Чего вам? — окинул его патриот притворно-удивленным взглядом, сразу смекнув, что фонды его не совсем еще плохи.

— Я, Калистрат Стратилактович, согласен, — угрюмо проговорил обличитель.

— То есть насчет чего-с это? — прищурился тот с обычным шильничеством.

— Да насчет пятисот... Уж так и быть! Для вас только!

— Ах, насчет пятисот!.. Да-с; ну, так что же?

— Вот вам рукопись, и позвольте деньги.

— Да-с... Рукопись? Очень хорошо-с. Так вы теперь согласны?.. Так-с, так-с... Да я-то вот, видите ли, не согласен уже: я раздумал.

— Как же это так, право! — почти жалобно простонал Полояров.

— А так, что надо было не привередничать, а сразу брать тогда, когда давал. Вот оно что-с, любезнейший!

— Да нет, это вы шутите!.. Давайте пятьсот и покончим!

— Нет-с, сударь мой, теперича уж я вам не дам пятисот, а не угодно ли помириться на половинке? — игриво предложил Верхохлебов.

"Да что ж это, дневной грабеж, просто!" — в отчаянии помыслил Ардальон, почувствовав себя, в некотором роде, к стене припертым.

— Нет, перестаньте, Калистрат Стратилактович! — уговаривал он уже чуть не просительным тоном. — Ей-Богу, клянусь вам, меньше пятисот никак невозможно!

— Не, не! Полно, любезнейший, полно! Что баловать-то! — отрицательно замахал откупщик. — Бери двести пятьдесят, а то через минуту и половины-то не дам!

Ардальон живо смекнул, что половина двухсот пятидесяти будет как раз сто двадцать пять, то есть maximum журнальной платы.

— Ну, нечего делать! Получайте рукопись! — с глубоко скорбным и досадливым вздохом сказал он. — Только не думал же я, Калистрат Стратилактович, чтобы вы были такой… Эх, право!

— Ну, а ты напредки думай! Это, значит, наука!

— Да уж что с вами!.. Вот вам тетрадка, давайте деньги.

Верхохлебов принял с рук на руки полояровский пасквиль и внимательно поглядел на рукопись.

— Да ведь это беляк? — спросил он.

— Беляк, Калистрат Стратилактович.

— Ну, то-то, я вижу что беляк. А вы мне, батюшка, чернячок пожалуйте, а без того нельзя. Мне и чернячок тоже нужен. Доставьте прежде чернячок, тогда и деньги получите.

— Да на что же вам черняк-то? Не все ли равно это?

— Нет, уж все-таки для спокойствия… Так-то поблагонадежнее будет.

Полоярова покоробило. Он понял, что этого гуся никак не проведешь.

— Хорошо-с, я вам доставлю завтра утром, — попытался вильнуть он в последнее.

— Э, нет, милейший, завтра уж будет поздно! — отрицательно развел руками патриот. — А вы мне его сейчас же доставьте, не медля ни секундочки, тогда и деньги с рук на руки.

Ардальон согласился и на извозчике полетел домой за черновою рукописью. Его душила злость и досада, но в тщетном бессилии злобы он только награждал себя названиями осла и дурака, а Верхохлебову посылал эпитеты подлеца и мерзавца. "Двести пятьдесят рублей — шутка сказать! — так-таки ни за что из-под носа вот прахом развеялись!.. Экой мерзавец! Чуть три половины не отнял! Три половины! Тьфу, подлец какой!"

Через четверть часа он опять уже стоял в откупщичьем ка бинете.

— Ну что, милейший, привезли!

— Привез, Калистрат Стратилактович! Извольте получить.

Верхохлебов взял черняк и тщательно проверил его с беловою.

— Да уж не беспокойтесь, верно! Не надую, поверьте слову! — убеждал его Ардальон Михайлович. — Вы мне деньги-то поскорее давайте!

— Позвольте, батюшка!!.. Деньги!.. Так дела не делаются. Своевременно и деньги получите; не задержу-с, не бойтесь! А вы сперва вот что, — солидно предложил он с видом вполне довольного, резонного человека. — Извольте-ка мне прежде выдать такую подписку, что вы обязуетесь ни на меня, ни на мое семейство никаких более пашквилей не писать во всю вашу жизнь, и что все написанное вами в переданных ныне статьях есть ложь и пашквиль, одна только ваша чистая выдумка, от которой вы, по совести, отказываетесь и нигде более ни письменно, ни устно повторять этой лжи не станете. Вот, как вы мне дадите такую подписку, я вам и деньги вручу-с. Понимаете?

Полояров увидел, что тут, как ни вертись, а ровно ничего не поделаешь, и потому присел к столу и под диктовку Верхо-=хлебова настрочил требуемую подписку.

Калистрат Стратилактович внимательно перечел ее, аккуратно сложил пополам и, вместе с двумя рукописями, запер в свой массивный несгораемый шкаф, ключ от которого неизменно носил в кармане. Оттуда же, из одной полновесной пачки (Ардальон очень хорошо заметил эту полновесность быстрым и горящим взором) отсчитал он две новенькие радужные бумажки да одну серую, и с полупоклоном подал их Полоярову.

— Таперича, значит, дело между нами чисто, — сказал он с облегченно-сияющей физиономией.

— Послушайте, Калистрат Стратилактович, — в минорном тоне заговорил Ардальон, кисло и жалостно пожимаясь, — ведь вы у меня, ей-Богу, за бесценок приобрели, сами понимаете!.. Ведь только одна крайность моя… Вы бы что-нибудь прибавили… право! Ей-Богу, не грех бы вам! Ведь не разоритесь!

— Ну, ну! не скрипи, не скрипи! Уж так и быть, куда ни шло, одну красненькую накину! — пренебрежительно утешил его патриот, выбрасывая на стол десятирублевую ассигнацию.

И вдруг захотелось ему, жестоко захотелось, до какого-то дьявольского зуда во всей воле и во всем помышлении, во всем сердце своем, беспощадно поддразнить Ардальона Полоярова.

Он выждал, пока тот положил деньги в карман и стал откланиваться.

— Постой-ка, милый, постой малость самую! — остановил он его. — Слово тебе хочу сказать еще одно.

И самодовольно растопырив ноги и фертом заложа в карманы панталон мясистые руки свои, с серьезным лицом, но нагло издевающимися глазами стал он глядеть в полояровскую физиономию.

— Что вам угодно? — угрюмо повернулся обличитель.

— А мне угодно сказать тебе, что ты дура! Как есть дура-баба несуразая! Ведь пойми, голова, что я тебе за этот самый твой пашквиль не то что тысячу, а десяти, пятнадцати тысяч не пожалел бы!.. Да чего тут пятнадцать! И все бы двадцать пять отдал! И за тем не постоял бы, кабы дело вкрутую пошло! Вот лопни глаза мои, чтоб и с места с этого не сойти, когда лгу… А потому что как есть ты дура, не умел пользоваться, так будет с тебя и двух с половиною сотенек. Вот ты и упустил всю фортуну свою! Упусти-ил!

И он весело и самодовольно расхохотался прямо ему в лицо своим широким, размашистым и неудержимым смехом. Полояров побледнел и даже зашатался от этого нежданного удара. Лицо его перекосила злостная судорога.

— У меня… все ж таки остались факты! — проговорил он с трудом и чуть не задыхаясь.

— Факты! — шильнически прищурился Верхохлебов. — Нет, брат, врешь! Вон они где, факты-то, у меня в шкапчике!.. И только, значит! пикни ты мне, так ничего не пожалею, а уж засужу! За бугры спровожу!.. И всю подписку твою целиком пропечатаю! Ну, да теперь уже кончено! Что с возу упало, то пропало! — благодушно-плутовски махнул он рукою. — Пошел, пошел отсюда! Проваливай, сударь! Недосуг мне с тобою!.. Ишь, сапожищами-то по ковру наследил как! У меня, брат, ковры дорогие, один, поди чай, стоит дороже тебя самого и со всеми-то потрохами твоими. Ну, убирайся же, с Богом, убирайся! Христос с тобою!

И он, без церемонии, деликатными, легонькими толчками выпроводил его из комнаты.

XXXI. Прощаюсь, ангел мой, с тобою

Как представить всю великую степень досады и злобы, которыми воспылал Ардальон Полояров, по выходе от Верхохлебова. Он, действительно, почувствовал, что лишился всей фортуны своей и кроме того еще дозволил насмеяться и надругаться над собою «какому-нибудь» Калистрату Верхохлебову, тогда как час тому назад он из этого самого Калистрата веревки мог вить, и Калистрат не пикнул бы. Хуже всего то, что сам Ардальон чувствовал и сознавал, как разыграл он жалкого дурака и упустил из рук своих львиную силу. "Как Исав… как Исав, за чечевичную похлебку!" — думал он; "да и тот-то поступил умнее, потому продал какое-то там фиктивное первенство, а я капитал… капитал!.. двадцать пять тысяч серебром продал за двести пятьдесят рублишек!" И на глаза его чуть слезы не проступали от боли всей злобы его.

После такого пассажа и тем паче невозможно было оставаться в Славнобубенске; Ардальону казалось (впрочем совершенно неосновательно), будто здесь каждая собака, каждый камень на улице будет знать, какого дурака разыграл он и как надругался над ним — шутка сказать, над ним, над Ардальоном Полояровым! — какой-нибудь кабатчик… Самолюбие вопияло. Надо было удирать поскорее. Он поехал на пристани узнать, когда отходят вверх пароходы. Оказалось, что Самолетский пойдет завтра в двенадцать часов дня, — "стало быть, с ним и поедем".

Вернувшись домой, Ардальон наказал хозяйке, что кто бы его ни спрашивал, а особенно Затц и Лубянская, говорить всем "дома нет и когда будет — неизвестно и комната его заперта, и ключ унес с собою". После таковой меры предосторожности, он спешно упаковался, уложил в чемодан все свои пожитки да бумаги и принялся за письмо к невесте.

"Лубянская! Вас, конечно, удивит, это послание, писал он, но удивляться тут в сущности нечему. Я получил извещение, которое немедленно призывает меня к делу. Надеюсь, вы поймете, что дело для нас прежде всего. Я бы позволил каждому назвать себя презренным эгоистом и подлецом, если бы ради моего личного комфорта и счастия, ради моих личных выгод, решился пожертвовать счастием миллионов и делом, которое составляет высшие

стремления людей нашего закала. Мой разум, моя совесть наконец решительно воспрещают мне думать исключительно о себе там, где надо бескорыстно служить делу. Думать и желать иначе было бы малодушно. Я люблю вас и, сколь ни горестно это, вижу тем не менее, что нам необходимо расстаться. Надолго ли? Это покажет будущее. Если со временем ваше чувство ко мне не остынет, можете приехать в Петербург, где я, вероятно, и останусь. Тогда от нас будет зависеть продолжать ли наши отношения или нет; тогда же, глядя по обстоятельствам, быть может, успеем и сочетаться законным браком Если же вам понравится кто-либо другой, можете спокойно назвать его своим супругом и быть уверенною, что я ни на минуту не позволю себе стеснять какими бы ни было обязательствами вашу судьбу. Во всяком случае, надеюсь, мы расстаемся друзьями. Пожелайте мне успеха в наших честных начинаниях, в нашем общем великом деле. Если все семена, брошенные мною на вашу почву, не пропали бесследно, то я с полным моим уважением буду считать вас женщиной дела, а как женщина дела, вы не имеете даже права выставлять на первый план ваши личные, эгоистические желания и чувства, и охотно покоритесь необходимости. Постарайтесь легко перенести нашу разлуку, быть может, только временную. Со временем, если обстоятельства позволят, повторяю вам, вы можете приехать. Вас ожидает тогда новая жизнь с неизменно преданным вам

Ардальоном Полояровым.

"P. S. Нарочно уезжаю экспромтом и даже не прощаясь с вами, чтобы избежать лишних слез и печалей. Дальние проводы — лишние слезы, знаете пословицу, а я слез, вообще, терпеть не могу, как вам уже хорошо известно. Верьте одному, что мне очень тяжело расставаться с вами. Кланяйтесь от меня всем добрым приятелям".

Заклеив пакет и надписав адрес, Ардальон отдал письмо хозяйке с точным приказанием отнести его к Лубянской завтрашний день, в три часа пополудни.

В двенадцатом часу он уже был на палубе и все старался держаться более за трубою, по ту сторону борта, которая обращена к Волге. Ему не хотелось, чтобы кто-либо из знакомых мог заметить его: он думал избежать обыкновенных в этих случаях расспросов.

Но вот уже раздался последний колокол, капитан с белого мостика самолично подал третий пронзительный свисток; матросы засуетились около трапа и втащили его на палубу; шипевший доселе пароход впервые тяжело вздохнул, богатырски ухнул всей утробой своей, выбросив из трубы клубы черного дыма, и медленно стал отваливать от пристани. Вода забулькала и замутилась под колесами. Раздались оживленнее, чем прежде, сотни голосов и отрывочных возгласов, которые перекрещивались между пристанью и пароходным бортом.

— Прощайте!.. Прощайте!

— Возвращайся скорей.

— Adieu-u!

— Adieu, ma chиre!..[59]

— Ы! черт, леший! Право, черт!

— До свиданья, Валентин Захарыч.

— N'oubliez pas!..[60]

— Эх! Опоздал! Савоха, ведь говорил те, дьяволу…

— Батюшки!.. батюшки!.. Я еще не села! Подождите! Не отчаливайте!

— Кланяйтесь ее превосходительству!

— Хорошо, хорошо!

— В Тетюшах не забудь, голова, забросить…

— Auf widersehen, mein liebster! auf Wiedersehen![61]

— Не плачь, бабонька! Ничаво!

— Ей!.. косушку!.. косушку-то!..

— Есть!

— Шерочка! dites àa la princesse, quand elle reviendra…[62]

— Маничку поцелуйте!..

И т. д. и т. д.

Головы кивали, некоторые руки крестились, белые платки кое-где мелькали в воздухе; рядом с ними крутились шапки в поднятых руках. Иные лица глупо улыбались, иные кисло слезливились и куксились. Полояров вздохнул совсем свободно и вышел из-за трубы.

— Ардальон Михайлыч! Ардальон Михайлыч! — раздались отчаянные голоса с пристани.

Он с неудовольствием метнул взор в ту сторону. Там, протискавшись к самому борту, стояли, вопили и махали ему руками запыхавшийся Анцыфров и удивленная Лидинька Затц.

Ардальон приподнял войлочную шляпу.

— Мы сейчас только что от вас, — кричала Лидинька. — Что это значит?.. Так внезапно!.. Куда это?

— К черту на кулички! — ухмыльнулся Полояров и сделал ей ручку.

— И даже не простившись!.. Хорош, батюшка!

— Чего там "не простившись"! Ну, прощайте!.. Прощаюсь, ангел мой, с тобою! — продекламировал он и захохотал своим несуразным смехом.

— Свинья! — злобственно буркнула ему Лидинька и оскорбленно отвернулась.

— Что ж это?.. Что ж это теперь?.. Как же я-то? — в недоумении расставляя руки, лепетал смущенный Анцыфров.

Лидинька не отвечала ему и с видом рассеянного равнодушия оглядывала суетню удалявшейся в город публики.

Анцыфров, как брошенный на берегу щенок, который, приподняв переднюю лапку, визгливо тявкает и смотрит, виляя хвостиком, на удаляющегося хозяина, провожал теперь глазами все далее и далее отходящий пароход и недоумело шептал себе:

"Господи!.. Как же я-то теперь, ей-Богу!.. Как же это, право!.."

— Володенька! — повернулась к нему Затц, когда на пристани почти уже никого не осталось, — давайте мне вашу руку. Объявляю вам, что отныне я назначаю вас бессменным адъютантом при моей особе.

Последние слова были сказаны ею не без игривого кокетства, что весьма удивило плюгавенького пискуна, ибо Лидинька никогда еще не обращалась к нему в подобном тоне.

— Ну, что же вы, хомяк эдакой! — дернула она его за рукав. — Слышали мое приказание? Давайте руку и пойдемте.

Анцыфров самодовольно пискнул, и крендельком подставив руку, на которую крепко и выразительно оперлась стриженая дама, задорным воробьем поскакал с нею вверх по сходням.

XXXII. В Жегулях

На левом берегу Волги, у протока Куньей Воложки, окруженной темными лесистыми горами, приютился городок Ставрополь со своими двумя каменными церковками. Начиная от этого городка, Волга берет прямо к востоку до двух совершенно однообразных, похожих одна на другую, каменистых гор, которые называются поэтому "Двумя Братьями". Один брат стоит на правом берегу, другой как раз насупротив его, на левом. С этого последнего места будет виднеться уже направо к югу, в голубоватой дали, город Самара. От Самары Волга круто пойдет на запад, вплоть до города Сызрани. Несколько выше Ставрополя, на правом берегу, лежит деревня Жегуля, и весь заворот Волги от Жегулей до Сызрани известен под именем Луки Самарской. В России редко найдется место красивее гор Жегулевских, известных просто под именем Жегулей. На всем протяжении их, верст на восемьдесят, Волга, сжатая между крутизнами, словно широчайший канал, течет ровно, прямо, стрелой. "Словно бы она тут тебе враз кнутом шибанута", говорят о ней местные поволжане, характеризуя прямолинейное направление своей "матушки".

Дичь, глушь, тишина и величие.

Вон потянулись они вверх, на восемьдесят и на сто сажен над речным уровнем, эти утесистые великаны: то целая сплошная масса ровно тянется с версту, словно вал гигантской крепости, заросшая дремучим, темным, непродорным лесом; то, глядишь, сплотился целый ряд скалистых конусов, покрытых, словно зеленой мерлушкой, кудрявым кустарником. Подъем туда, на эти вершины, почти неприступен: там гнездится сокол, плавает крупный крапчатый коршун да орел-белохвост. По девственным ветвям прыгает большая белка-белянка; при корнях серо-пестрый гад ползает, а ниже, меж водомоин и узких ущелий, в трущобах да в берлогах, да в каменистых пещерах, вырытых либо водой, либо временем, залегает черный и красноватый медведь, порскает лисица, рыщет волк понурый да ходит человек бездомный, которого народ знает под общим именем "куклима четырехсторонней губернии", а сам он себя при дознаньях показывает спокойно и просто "Иваном родства непомнящим".

Плывешь ты вниз по реке, а справа по горам точно развалины замков каких-то разбросаны: вон, точно столб какой или обломленная колонна высится, и на вершинке ее тонкое деревцо у самого края прилепилось. Вот, подпертые контрфорсами, выступают остатки стен какого-то замка с разрушенными башнями, и точно бы еще скважины бойниц и амбразуры окон видны там; вон целый бастион выдается углом вперед, и весь он украшен причудливыми нишами да колонками. И невольно даешь ты разгул воображению, которое на каждом шагу поражается этими обломками какой-то стародавней, фантастической, веками изжитой уже жизни... Но...

никаких замков, никакой особо фантастической жизни и ничего никогда тут не бывало, а все эти чудеса понаделала природа из скалистых известковых гор, да вечная Волга, которая прорыла да пробуравила в этих скалах множество причудливых пещер и водомоин. То насупятся тихие горы к самой воде почти отвесными скалами, то разодвинутся узким глубоким ущельем, в котором взор замечает другие, за другими третьи курчавые и сизо-темные лесистые вершины. Налетит ветер, и пойдет по горам ровный гул и мягкий шум и шепот между лесами. Набежит гроза, и посыплются трескучие, громоносные, долгие раскаты, которые переливисто подхватывает и несет по дальним ущельям гулкое, содрогающееся горное эхо. Жегулевский старец-отшельник перекрестится в ответ "Божьему гневу" и тихо зачитает про себя псалом: "Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небесного". В Жегулях, по природным пещерам, либо в нарочито вырытых землянках, спасаются иные старцы-отшельники; но все они принадлежат не "Никоновской церкви", все они люди "древнего благочестия". Скудно и сурово-подвижнически живет жегулевский старец, в посте и молитве, и дикий зверь его не трогает, и гад ползучий не жалит. По зорям выходит он молиться на восток, и мерно кладет земные поклоны. Вот пароход «бежит» мимо, старец долго машет ему белым рушником и шлет свое благословение странствующим и путешествующим. Вон понизу бурлаки с однообразным, протяжным стоном идут бечевою, старец с вершины горы своей благословляет труждающегося и обремененного человека, и бурлак, завидев святого старца, благоговейно на ходу обнажает свою облитую потом голову. А взобраться на вершину да глянуть окрест себя — Господи! что за кругозор откроется пред тобой! что за даль раскинется там верст на девяносто в окружности! Вон под ногами, внизу, эта полоса Волги, "кнутом шибанутая", а там, в далекой-далекой дали "Сенгилеевы Уши" виднеются. Обернись на юг, на запад — заметишь инде искры солнца на крестах церквей православных. Вон он, этот размашистый простор, эта необъятная ширь святорусская! Вон она!

И долго, до самого "Царева Бугра", до самых "Двух Братьев" тянется эта безлюдная, дико и сурово-прелестная пустыня. На всем протяжении ее приткнулись по редким лощинкам три-четыре деревни, и окрест этих серых деревушек место всегда такое хорошее, красивое, благодатное и покрытое тучной пашней, либо сочным, веселым лугом. Близ деревень, по берегу реки, у подножия некоторых скал, крестьяне местами жгут известь и промышляют ею. Сказывают тоже иные из усольских и жегулевских мужиков, будто в горах, кроме извести да серы, есть и золото самородное; но слова их никем еще не проверены на деле.

Теперь по Волге то и дело «бегают» пароходы, и потому бурлак спокойно себе тянет бечеву Жегулями и спокойно плывет мимо их расшива и беляна, а еще не далее как лет двадцать назад Жегули, это классическое место волжских разбоев, были далеко не безопасны. Вдруг, бывало, над гладью реки раздастся зычно молодецкое *сарынь на кичку!* — и судохозяин вместе с батраками, в ужасе, ничком падает на палубу и лежит неподвижно, пока в его суденышке шарят, хозяйничают да шалят вольные ребята.

Но если оживленнее стало на реке, то в горах, по-стародавнему — все та же тихая, дивно-дикая пустыня. Тут гулял некогда «батюшка», которого понизовские поволжане обзывают в рассказах то «Стенькой», то чествуют и величают по изотчеству «Тимофеичем». Вам и теперь укажут в Жегулях несколько гор и оврагов, которые называются Стенькиными горами и Стенькиными оврагами. Здесь всецело живут богатые преданья о понизовской вольнице, потому что и обселили-то эти места все больше беглые из помещичьих да монастырских крестьян, да кое-кто из служилого люда, словом, тот народ, который в устах своих теперешних потомков, когда их спрашивают про предков, характеризуется словами, что был, мол, это всякий сброд да наволока.

Над Жегулями собирались тучи. В лесу было сумрачно и так тихо, как будто все, что ни есть в природе, притаило дыханье. Лист шелестя упадет с дерева, птица пугливо затрепещет крылом,

сухая хворостинка хрустнет под ступнею зайца — все эти звуки чутко слышатся в пригнетенном, недвижном воздухе. Над горами скапливалась гроза — первая весенняя гроза. Дело шло к вечеру, был час восьмой в начале. По лесу брели два человека, одетые в простые сермяги, с небольшими котомками за плечами. Опираясь на свои самодельные дубинки, они ступали довольно бодро и видимо торопились добраться, пока до грозы, до какого-нибудь жилья.

Вдруг зашумело и загудело по лесу — и этот мерный и ровный гул, начавшись где-то издалеча, побежал по лесным пространствам, пригнетая деревья на вершинах и сердито воя по ущельям. Только на дне глубоких оврагов, залегших котловинами между гор, было все тихо и глухо: туда не залетал горный вихрь. Стрижи и чайки, учуя бурю, низко-низко замелькали зигзагами над рекой, черкая воду своим острым крылом. Вороньё тревожно закаркало и стаями с разных концов потянуло куда-то на юг, а гул все шел да шел по лесам и слышался в нем скрипучий и резкий треск ломающихся стволов и сучьев. Лесная сова одиноко гукала на каком-то дереве, и в этом гуканье было нечто такое жалобное и похожее на детский больной стон, что прохожих невольно хватала за сердце пугливая тоска. Вдруг в лилово-свинцовой туче какою-то судорогою затрепетала молния, и с быстро перерывчатым треском брызнул из нее белый огонь вниз на горную вершину. В ту же минуту, с того самого места, где упал он, пока еще громовые раскаты перекликались по ущельям, закурился белый дымок: какое-то дерево загорелось. Несколько тяжелых капель шлепнулись на листья. Дрогнула еще одна молния в другом конце неба — и сразу после нее зашумел частый и ровный ливень. С этим мгновением как будто немножко полегчало в природе: дождевая влага разрежала эту густую, насыщенную электричеством сухость воздуха.

Путники спускались в овраг. По глинистому дну его бурлил и крутился пенисто-мутный ручей, взбученный дождевой водой, и в нем кружились и стремительно неслись вниз оторванные листья, сучья, ветви, корни и комья земли да глины, сейчас только отмытые от грунта.

Вдруг, в середине ската, у подошвы каменистой скалы, путники заметили человеческую фигуру. Это был высокий, босой старец в длинной, холщовой рубахе, с обнаженной, лысой головой, который спокойно глядел на небо и медленно крестился. Ветер взвевал остатки его волос и длинную совсем седую бороду.

В первое мгновение оба путника даже вздрогнули и отступили шаг назад — до того было неожиданно и странно это внезапное появление такой необыкновенной человеческой фигуры, под страшною грозою, в этой дикой пустыне.

— Э! жегулевский старец! — оправясь от внезапного впечатления и отчасти обрадовавшись, сказал своему товарищу тот, который постарше.

— Гей! дедушка! — закричал он вслед за тем, силясь перекричать гул бури, — пусти, Христа ради, переждать грозу!

Тот повернул на крик голову и стал вглядываться да вслушиваться: кто зовет и что кричат ему?

— Грозу переждать пусти! — еще громче повторил спутник.

Старец призывно замахал им рукою и знаками силился указать им тропинку, по которой следует спуститься.

Путники уразумели, и хватаясь одной рукой за мокрые ветви, а другой опираясь на дубинки, осторожно стали сходить вниз по крутому и склизкому скату.

— У него верно тут землянка где-нибудь, — сказал старший. — Смотри, входя не забудь перекреститься, а то выгонит, пожалуй. С этим народом надо уметь ладить: народ нужный; уж я немножко успел изучить их!

Спутник не отвечал, но к сведению принял.

Еще не доходя нескольких шагов до старца, передний почтительно снял шапку и низенько поклонился; "лучше пересолить, чем недосолить", — подумал он. Товарищ его неукоснительно повторял все то, что проделывал набольший.

— Мир вам! — степенно и просто поклонился старец. — Переждите пока.

— Впусти, дедушка! Мы люди добрые, — молвил старший.

— Коли добрые, и того лучше, опять поклонился тот; — а и злой человек так все одно же: злому человеку взять с меня нечего! Войдите Бога-для! Милости просим.

— Благослови, дедушка!

И старший, склонясь перед стариком, прошел вместе с товарищем в узкий проходец, завешенный простой циновкой.

Это была пещера, высеченная самою природою в глубине известково-каменистой скалы. Внутренность ее слабо освещал огонек неугасимой лампады перед образами очень древнего письма, которые помещались на деревянной полочке, вделанной в каменную стену. По другой стене держались две другие полочки: на одной лежало несколько книг в древних кожаных переплетах с застежками; на другой — каравай пшеничного хлеба, да с десяток луковок и кой-какая скудная деревянная посудинка. В углу была свалена грудка картофеля. Обрубок пня, перетащенный сюда из лесу, заменял стол, а ворох сена, покрытый стареньким овчинным тулупом, служил постелью старцу-отшельнику.

— Вот гроза перейдет, разложим костерок, — сказал старец; — тогда обсушитесь, а пока — Господь с вами… Посидите, на постели-то…

— Эка непогодь! ужас просто! — заметил младший. — И с чего это вдруг поднялось!

— Божья благодать! — простодушно и кротко молвил старец. — Как хлеба-то пойдут!.. Земле прохлада и насыщение. Жарынь-то какая стояла все!..

И он пошел из пещеры.

— Дедушка, ведь тебя измочит всего?

— Э, милый! гроза — Божье дело!.. Бог с небеси, значит, всякую тварь земную святою водою своею кропит. В это время молиться надо.

И он скрылся по ту сторону циновки.

— Послушай-ко, Шишкин, штука хорошая! — шепотом начал Свитка, чуть лишь они остались одни. — Ведь эти старцы имеют огромное влияние на народ; к ним вот сюда и подаяние приносят, и за советом, и за поучением идут — святыми почитают — кабы этому старцу-то, что называется, очки втереть? Настроить бы полегоньку на такой лад, чтобы сам подходящую песенку запел?.. А?.. Что ты на это скажешь?

— А что ж, надо воспользоваться! — согласился Шишкин, — только с чего начать? Как приступить-то?

— Ну, там увидим! К чему-нибудь прицепимся.

Гроза все еще продолжалась. Но дождь шумел уже тише и ровнее, припускаясь иногда только на минуту с новою, тревожно-напряженною силою и опять ослабевая. Блеск молнии не залетал в пещеру, и громовые удары слышались в ней глухо. Казалось, будто вся эта сила гудит и гремит где-то там, выше, над землею, а здесь — такая тишина, мир и спокойствие в этом ровном, кротком, неколеблющемся мерцании лампады, озаряющей темные, сурово-строгие, святые лики. Но вот громовые удары стали все реже и глуше, и мерный шум дождя, все более слабея, почти прекратился.

Вскоре отшельник снова появился в келье.

— Ну, что гроза, дедушка?

— Перешла, слава Господу!.. Пошла теперь туда на востёк, на Самару, а на закате расчистило... Солнышко садится.

Путники выглянули из-под циновки.

В воздухе разнеслась живительная свежесть, вместе с тихою вечернею прохладою. Листва стала как-то крепче и темнее, словно вся она подбодрилась, вымылась, напилась и напиталась во время грозы, и теперь такая сочная, свежая и нарядная, спокойно готовится к ночи, на сон грядущий. Там, вдали на востоке и земля, и небо, и река, — все было темно и подернуто сизо-свинцовым колоритом. Уходящие тучи, в которых порою все еще судорожно вздрагивали зеленовато-белые и лиловые молнии, красовались теми разнообразно-суровыми и красивыми тонами, которыми всегда бывают окрашены разорванные облака удаляющейся сильной грозы. А на западе все небо, весь воздух, и вода и скалы, и верхушки деревьев были залиты ярко-розовым, золотистым блеском заката. Прямо над головою висело далеко-далеко ушедшее вглубь густосинее небо, по которому кое-где неслись еще разорванные клочья белых, полупрозрачных облаков. Вся природа бодро и тихо дышала какою-то неизъяснимою прелестью и могуче-спокойною силою молодой, обновленной жизни.

— Эка красота... красота-то какая! — с полным наслаждающимся вздохом раздался тихий голос позади путников.

Оба обернулись. За ними стоял старец и глядел вдаль, на закат, на горы и воды, играющие золотыми, струистыми полосами. На лице его стояла безмятежная, светлая улыбка.

— Ну, вот, детушки, теперь и костерок разложим, пообсушимся да картошки подварим, дело-то и ладно будет!

И он опустился на несколько сажен в овраг. Там находилась другая небольшая пещерка. На полу был сложен валежник, сухолистье да дрова, а под потолком сережками подвешены связки вяленой рыбы облы, которую поволжане зовут «воблой», мережи да лесы с удочками. Старик иногда занимался рыболовством. Он притащил теперь из своего запасного магазина связку сухой воблы да охапку хвороста и разложил костер на площадке, пред входом в свою келью. Две-три пригоршни прошлогодних листьев, подожженных с помощью трута, быстро занялись пламенем: огонек затрещал и побежал по прутьям, из костра закурился едкий белый дымок. Чрез несколько минут валежник горячо разгорелся. Старик подвесил над ним на треноге небольшой котелок с водой и картофелем и, вместе с гостями своими, присел на корточках,

поближе к огню, сушиться. Те ждали, что он начнет спрашивать их, что за люди, откуда и куда путь держат и зачем идут; но старик даже и не подумал предложить хоть один из подобных вопросов. Это все было для него дело постороннее, чуждое, мирское; он знал только, что к нему пришли два человека просить гостеприимства, и радушно предложил им все, что мог, как предложил бы каждому, кто пришел бы к нему за этим.

— Что, дедушка, хорошо в пустыне-то? — спросил Василий Свитка.

— Хорошо, милый человек, хорошо! Тихо!

— И не страшно тебе?

— Зачем страшно? Человек одного только гнева Божьего да дня судного страшиться должен.

— А зверь всякий? а змеи? Ведь тут их всего этого страсть! — подхватил Шишкин.

— Зверь не трогает и змея не кусает, потому им от Бога такой предел положен. Зверя ты не тронь, и он тебя не тронет. Он на этот счет тоже справедливый. Ну опять же кто Бога знает, тому по писанию "дадеся власть наступити на змию и скорпию и на всю силу вражию". Значит, чего ж тут страшиться? Надо только веру имати. Сказано: "от Господа вся возможная суть".

— И в мир не хочется? — спросил Свитка.

Старец тихо поглядел на него и взгляд его словно бы выразил: чего это малый пытает-то блазно?

— В мир? — молвил он, помолчав немного. — Да что в миру-то делать? Я и тут в мире… Вот он, мир Божий, окрест меня… и тих и прекрасен… Чего же еще-то?

— Да, чем дальше от людей, тем лучше, — заметил Шишкин. — Теперь в миру-то Бог весть что делается!.. Кажись, никогда еще такого не бывало… Веру, дедушка, обижают!

Старик внимательно посмотрел на юношу.

— Веру? Какую такую веру-то?

— Нашу, дедушка, нашу! Христианскую.

— Кто ж обижает-то?

— Как кто!.. Известно, начальство, власти…

Тот, прежде чем ответить, еще раз внимательно поглядел на обоих.

— За что ж им свою-то веру обижать? — возразил он. — Они, напротив того, блюдут свою веру-то; им не стать обижать ее.

— Да им это все одно, дедушка!

Старик тихо улыбнулся. "Молодо- зелено", — сказала улыбка его.

— Нет, чадушко, не все одно! — вздохнул он. — Ты какую веру разумеешь-то? Веры есть разные, и всяка себя православной нарицает. Кабы *нашу* веру обижать, ну, это дело иное, потому вера наша старозаконная. Она же просия древле с южных стран, от Киева-града. А

ныне пошла все вера искаженная ляшецами да щепотниками. Одни только наши отцы, что живут в немцах да в турках, прости Господи, остались невредимы в вере-то. А спаслись они по старым книгам, которые писаны прежде Никона патриарха, ходяще по образу Божию и по подобию его. А которые и по России живут, так и тех, слышно, ныне не трогают. Да и что же трогать, коли они, по писанию, крыяхуся в горах и вертепах, и в пропастях земных, и никому никакого зла не творят?

— Э, дедушка! да мало ли гонений на вас бывало! Так неужто же все это терпеть!.. Да до коих же пор?

— А что же, милый? Гоненьев точно что много было. Ну, гонимы — и терпим; хулимы — утешаемся о Господе нашем. Упование наше Отец, прибежище наше Сын, покровитель есть Дух Свят, и защита наша есть сам Спаситель, равно соцарствующий Святой Троице. Ты вот так строптиво мыслишь: до коих, мол, пор терпеть-то?.. А что сказано-то? Сказано: "претерпевый до конца, той спасен будет". Значит и терпи.

— Да; вот как поляки, например, те тоже так рассуждают, — сказал Свитка. — Их тоже в Польше уж как ведь мучают! И казнят и огнем жгут, и в Сибирь ссылают тысячами, а они все терпели и терпят… Только собираются всем народом в церковь Богу молиться за свое горе, чтобы Бог избавил их, а в них тут, в самом же храме Божьем, из ружья стреляют, штыками колют… и женщин, и малых детей, всех без разбору!

Старик сострадательно покачал головою.

— Кто ж это их так-то? — спросил он.

— Как кто!.. Да все наши же, русские! Солдаты… начальство.

— Ну, нет, милый! Это ты, должно, блазное слово молвишь! Чтобы русский человек малых ребят стал штыком колоть, этого ни в жизнь невозможно! Вот у нас, точно что бывало, злотворцы наши, чиновники земские понаедут, молельни позапирают, иконы святые отберут, иной озорник и надругательство какое сотворит, это все точно бывает об иную пору, а чтобы баб с ребятами в церкви колоть — это уж неправда!

— Чего неправда! — горячо подхватил Шишкин; — а вот недавно еще, с месяц назад, в Славнобубенской губернии, в Высоких Снежках, помещики да генералы с солдатами по мужикам стреляли! Сколько народу-то перебили, говорят! Страсти просто!

— Для чего ж это они стреляли? — недоверчиво спросил старец.

— А так вот! Здорово живешь!

Тот с видимым недоверием сомнительно покачал головою.

— Нет, что-нибудь да не так, — сказал он. — Здорово живешь стрелять не станут… Знавал я некогда и Высокие Снежки, хорошее село. Только там ведь больше все, почитай, народ никонианец живет. За что ж в них стрелять-то. Помещику своих крестьян морить — себе же убыток.

— А за то, за самое, что им теперь волю дали! Помещики злы на это!

— Хм… злы-то, оно может и злы, да ведь кто же волю-то дал? Ведь царь дал? А солдаты чьи? Все царские же? Так как же ж царь пошлет солдат бить крестьян за свою же волю? Это ты,

малый, невесть, что городишь! Тут, верно, что-нибудь да не так!..

— Да ведь бьют же, например, хоть тех же самых поляков, ни за что, ни про что! — подвернул Свитка свое слово.

— Поляка коли и бьют, так за то, что поляк бунтует, — уверенно возразил старик. — Он еще издревле мутит землю Русскую, все под свой римский крыж поддать нас хочет, за то его и бьют... Поляка, милый, бьют за дело. А впрочем, не нашему разуму судить про то! — решительно завершил старик, — и вы меня, милые, такими речами не блазните! не смущайте меня!.. Я этих самых дел не знаю, и не верю вам, и слушать не желаю!.. Мне не о том надлежит помышление иметь! А вот и картошка никак поспела! — заглянул он в котелок. — Вот и поедим с рыбицей. Ешьте себе, ничтоже сумнятся! Милости просим!

Он отделил себе в особую посудинку несколько картофелин, а остальные подвинул гостям своим. И все молча, с молитвой, по примеру старика, принялись за ужин.

Наступила уже ночь, а с ее тишиной стало ощутительным то особенное явление, которое летом всегда замечается на Волге: вдруг, откуда-то с юга пахнет в лицо тебе струя теплого, сильно нагретого воздуха, обвеет всего тебя своим нежащим, мягким дыханием, то вдруг вслед за тем, с северо-востока резким холодком потянет и опять, спустя некоторое время, теплая струя, и опять холодок, а в промежутках — ровная тишь и мягкая ночная прохлада. Из-за гор показался край полного месяца в темно-синем, чистом небе, и сквозь необыкновенно прозрачный воздух на золотистом диске этого месяца отчетливо и резко вырисовывались черные ветви молодых деревьев на той вершине, из-за которой он прорезывался. Где-то иволга тихо стонала; дикие утки крякали изредка под берегом, а по воде, волнистыми струями, начинали бродить прозрачные туманы. И тихое безмолвие жегулевской ночи нарушалось иногда только мерным шумом парохода, который выбрасывал из трубы мириады красных искорок, длинной полосой кружившихся змейками за кормою.

Путники улеглись в пещере, а на площадке долго еще молился жегулевский старец, кладя положенное число поклонов, и — пока до сна — рассеянное ухо молодых людей слышало слова благоговейной молитвы: "Боже, милостив буди ми грешному!.. Боже, направи мя на путь Твоея святыя истины и от злых избави и отврати помыслы от лукавого, да ничем же смущаем предстану пред Тобою!"

XXXIII. Золотая грамота

Утро встало тихое, сияющее. День был воскресный. Судя по солнцу, должно быть, был уже час одиннадцатый. Путники спускались с горы в лощину, где засела небольшая деревнюшка, дворов в сорок. Еще издали можно было легко отличить кабак по той пестрой кучке народа, которая стояла и галдела перед крылечком... Кабачная изба глядела наряднее прочих. Между сермягой и пестрядью ярко выделялся кое-где розовый, желтый и голубой ситец, давая чувствовать собою каждому, что день действительно был праздничный. У кабака стояла небольшая крашеная тележка в одну лошадку, в каких обыкновенно ездят малой руки управляющие, сельские попы, да приказчики хлебных торговцев, скупающие товар на месте. Сытая лошадка стояла без привязи, потупя голову и терпеливо отмахиваясь хвостом от докучливой волжской мошки. Встреченные лаем собак, отмахиваясь от них дубинками, вступили путники в деревню и прямехонько направились к кабаку.

— С праздником, господа честные! — мимоходом поклонились они кучке народа, взбираясь на крылечко.

— И вас с тем же! — ответили им. — Откуда Бог несет?

— С-под Новодевичья… Пока до Самары бредем.

— А что так?

— Да так… бурлачили, да животом заболели под Новодевичьим-то… Приказчик и покинул… Теперь бредем, пока Бог даст что.

— Ну, помогай вам Христос!

И они прошли в кабачную горницу, расселись в уголку перед столиком и спросили себе полуштоф. Перед стойкой, за которой восседала плотная солдатка-кабатчица в пестрых ситцах, стояла кучка мужиков, с которыми вершил дело захмелевший кулак в синей чуйке немецкого сукна. Речь шла насчет пшеницы. По-видимому, только что сейчас совершено было между ними рукобитье и теперь запивались магарычи. Свитка достал из котомки гармонику и заиграл на ней развеселую песню.

Шишкин молодецки хватил шкалик, подщелкнул языком, поморщился и крякнул, да закусил со стойки сухариком и залихватски запел под гармонику:

Как злодеюшка чужа жена,
Да прельстила добра молодца меня,
За колечушко я бряк! бряк! бряк!
А собачушка-то тяф! тяф! тяф!
А сердечушко-то иок! иок! иок!
А как муж во двор да скок! скок! скок!
Мою спинушку набухали,
Что четырьми ли обухами,
А как пятый-то кистень
По бокам свистел.
Ой, свист! свист! свист!
Плетка хлысть! хлысть! хлысть!

— Эка черти! Важно! важно! — крикнул приказчик, подернув плечом и стукнув кулаком по стойке. — Тетка! Ставь еще сладкой водки!

Заслыша звуки гармоники, в кабак повалила и та кучка народа, что галдела пред крылечком. Солдатка приветливо ухмылялась, чуя хорошую выручку. Путники меж тем, не обращая внимания на новых слушателей, продолжали свое дело. Свитка переменил песню и заиграл новую. Шишкин с той же молодецкой ухваткой, выразительно подмигивая нескольким молодицам да девкам, ухарски подхватил ее:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок!
Зачем рано встаешь,
Голосисто поешь,
Голосисто поешь,
С милым спать не даешь?
И я встану ли, младешенька,
Раным рано ли, ранешенько,
Я умоюсь ли, младешенька,
Белым мылицем белешенько,

Я взойду ли под насесточку,
Петушка возьму за крылышко,
За правильное за перышко,
Я ударю об насесточку:
Еще вот-те, петушок,
За ночной за смешок!
Зачем рано встаешь,
Голосисто поешь,
Голосисто поешь,
С милым спать не даешь!

— Ишь ты, как бурлаки-то песни играют! — восхищались в кучке народа. — Ай, ляд же дери их!.. Хорошо, биря!.. Что и говорить!.. И отколь это такие развеселые.

Песни, видимо, душевным образом располагали народ в пользу двух бурлаков. Надо было еще более завладеть этим хорошим, приветливым расположением, чтобы тем успешнее подготовить начало дела.

Шишкин подмигнул товарищу, налил еще немного из полуштофа и запел новую:

Ой, чоб! чеба-чоб,
Чеботочки мои!
Черевички невелички,
Алы бархатный!
Уж я вышла молода
За новыя ворота,
Черевички скрипят,
А молодчики глядят.
Ах, молодчики глядят —
Все гулять со мной хотят,
Меня в гости зовут,
В карман золото кладут.

— Ай, лихо играют!.. Молодца! ей-ей, молодца!.. Веселые! — замечали слушатели. — И с чего это их так раззудило?

— С воли радуемся! — обратился к мужикам Шишкин, — потому ноне, ребятушки, совсем уж пошла вольная воля! Слышали, братцы?

— Чего этта?.. Волю? — Как-ста не слыхать! По церквам читали.

— Ну, это не та, что по церквам — это совсем особая!

— Какая особая? — недоумело переглянулись в кучке.

— Напольёновская! Вот какая! — подхватил Свитка. — Император Наполеон Третий, Бонапарт, подарил эту волю.

— Эко чудовый парень! — ухмыльнулись некоторые из слушателей. — Банапар… анпиратор!.. Какой те Банапар? У нас в Расеи один государь Лександра Миколаич! Что толкуешь-то, несуразый!

— А то и толкую! Слышали, братцы, про Крымскую войну? про Севастополь-то?

— Как-ста, не слыхать!.. Некрутчина тогды большая была…

— Ну, так вот, против нас тогда воевал француз…

— И турка! — подсказал кто-то из кучки.

Свитка глянул туда и заметил отставного солдатика в заплатанном солдатском пальтишке.

— Ну да, и турка, — согласился он. — Так вот, Напольен с тем только и мировую подписал с нашим государем, чтобы мужичкам беспременно волю дать, а коли не дашь, говорит, так будем опять воевать, и все ваше царство завоюем.

— Ишь ты, как! — замечали озадаченные слушатели. — Да что ж это ему такая об нас забота? С чего это?

— Потому и забота, что он — добродетельный человек и хочет, чтобы все вольные были. Вот, сказывают, и поляков тоже ослободить велел.

— Поляков? — подхватил солдатик. — Ну, уж это совсем напрасно! Поляк глуп, его, напротив, в струне надо содержать, а без того сичас забунтует.

— Эх, голова! как это так легко сказать! — горячо вступился Свитка. — Если нам с тобой хорошо жить на свете, и никто нас не обижает, разве мы станем бунтовать? — да Господи помилуй! Зачем нам это?

— Ну, так то мы, а то поляки! — возразил солдатик.

— Да разве не все одно это?

— Нет, не все! Уж про поляка ты мне лучше и не говори. Поляка, брат, я знаю, потому в этой самой их Польше мы три года стояли. Первое дело — лядащий человек, а второе дело, что на всю-то их Польшу комар на хвосте мозгу принес, да и тот-то бабы расхватали! Это слово не мимо идет!

В кучке отзывчиво, дружно и весело раздался смех удовольствия. Очевидно, слово пришлось по сердцу.

У Василия Свитки при этом только слегка подернуло мускул справа над верхней губой.

— Н-да, вот там толкуй, как знаешь, — продолжал он, — а Напольён все-таки приказал волю дать, и дали! А кабы не он, быть бы нам вечно крепостными!

— Постой, парень!.. Постой… Ты это не тово! — разводя руками, вмешался в разговор захмелевший приказчик. — Мы тоже на этот счет не безызвестны!.. Нам старики тоже сказывали, как в двенадцатым годе этого самого Бонапартия мы метлой из Расеи погнали; и он, значит, за это за самое, опричь одной злобы, ничего к нам питать не может!

— Так то был дядя, сказывают! — возразил Свитка, — а теперь на троне сидит племянник, и он рассуждает по-христиански: ваши мужички, говорит, моего дядю обидели, а я хочу им за зло добром заплатить, и потому пускай все будут вольные. Вот он как рассуждает!

— Нет, брат, стой! — подошел к столу солдатик. — А зачем же он, коли так, эту Крынску кампанию свою затеял? Сколько народу-то покалечил у нас! Коли он такой сердобольный, так он бы лучше Богу молился. Вот что!

— Ну, уж это не нашего ума дело, а лучше скажи-ка ему спасибо за его приказ!

— Да кто ж это нашему государю может приказывать! — горячо стукнул солдат ладонью по столу. — Ты, брат, эти глупые речи покинь лучше, пока мы те бока не намяли! Песни вот ты хорошо играешь, а уж слова-то говоришь совсем как есть дурацкие!

— Постой, братцы! — перекрикивая всех, вмешался Иван Шишкин. — Чем по-пустому толковать, так лучше настоящее дело! Пускай всяк видит и судит. Вот что, братцы: как были мы под Новодевичьим, так при нас там вот какую грамоту читали и раздавали народу. Одна и на нашу долю досталася… Прислушайте-ко, пожалуйста!

И развязав свою котомку, он достал из нее сложенный вчетверо лист плотной бумаги и показал его присутствующим.

На листе красивым шрифтом, с золотом и киноварью, было отпечатано: "Золотая грамота".

— Это что ж такое? — с любопытством и недоумением пытали в кучке. Все придвинулись поближе к Шишкину.

— Это, братцы манифест! Царская грамота! — пояснил он. — Слушайте!

И стал громко и внятно читать:

"Божиею милостию, Мы, Александр Вторый, Император Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и проч. и проч. и проч.

В постоянной заботливости нашей о благе всех верноподданных Наших, Мы, указом в 19-й день февраля 1861 года, признали за благо отменить крепостное право над сельским сословием, Богом вверенной Нам, России. Ныне, призвав Всемогущаго на помощь, настоящим Манифестом объявляем полную свободу всем верноподданным Нашим, к какому бы званию и состоянию они ни принадлежали. Отныне свобода веры и выполнение обрядов ее церкви составят достояние каждого. Всем крестьянам, как бывшим крепостным, так и государственным, даруем в определенном размере землю, без всякой за оную уплаты, как помещикам, так и государству, в полное, неотъемлемое потомственное их владение".

— Это, значит, господа, помещикам больше ни копейки! как есть шиш один! — пояснил Свитка.

— О?! И в сам деле?.. Это, братцы, нам на руку! — с видимым удовольствием откликнулся кое-кто из кучки. — Это и очень нам любезно!.. Ну-ну! Валяй-ко дальше! Что еще там прописано?

"Полагаясь на верность народа нашего, — продолжал Шишкин, весьма подбодренный сочувственным отношением слушателей — Я, признал за благо для облегчения края упразднить армию Нашу! Мы отныне впредь и навсегда освобождаем Наших любезных верноподданных от всякого рода наборов и повинностей рекрутских; затем, солдатам армии Нашей повелеваем возвратиться на места их родины".

— Значит, некрутчине шабаш? — спросил кто-то.

— Шабаш! — подтвердил Свитка. — Отныне и навсегда шабаш и некрутчине, и наборам, и всякому войску! Ни одного солдата больше не должно быть в целой России! Все будут вольные! Всяк, значит, делай, что хочешь!

— Э?!. Это важно!.. А насчет повинностей как?

— А вот, слушай далее!

"Уплата подушных окладов, имевших назначением содержание столь многочисленной армии, со дня издания Манифеста, отменяется. Всем солдатам, возвращающимся из службы, также всем дворовым людям, фабричным и мещанам повелеваем дать без всякого возмездия надел земли из казенных дач обширной Империи Нашей".

— Э, робя! Это, ей-ей, хорошо!..

— Что и говорить! Чего лучше!.. Надо только Бога молить…

— Да только неужто же все это француз?

— Все он! — с непоколебимою уверенностью подтвердил Свитка.

— А как же насчет теперича лесу, ну и опять же всяко хозяйство надо обзавести себе, избу поставить, скотинку там, что ли — без того нельзя же ведь, хоша и солдату, али дворовому. Это-то как же? Сказано про то аль нет?

— Про это хоть и не сказано, а слышали мы так, будто все это брать от помещиков, — объяснил Свитка. — Помещик должен отдавать все беспрекословно, а ежели кто заартачился сейчас его своей расправой, и бери все, что хочешь!

— Это хорошо! — одобрил чей-то голос, но большинство не подхватило, а напротив того, о чем-то сомнительно раздумалось!

— Ну, да этого не сказано; это, должно, малый врет, а ты читай дале! — молвил какой-то мужик.

"В каждой волости, равно в городе, — продолжал Шишкин, — народ избирает четырех, пользующихся его доверием, человек, которые, собравшись в уездном городе, изберут совокупно уездного старшину и прочие уездные власти. Четыре депутата от каждого уезда, собравшись в губернский город, изберут губернского старшину и прочие губернские власти. Депутаты от каждой губернии, призванные в Москву, составят Государственный Совет, который с Нашею помощью будет управлять всею Русскою землею. Такова Монаршая воля Наша".

— Теперь, братцы, значит, сами управляться будем.

— Так, слышите, царь желает! — комментировал Свитка.

Мужики призадумались.

— И бумаги править нам же? — спросил один.

— И бумаги, и все, как есть, всем самим заправлять.

— Самим?.. Ну, это что-то не тово… Как же теперь стану я заправлять, коли я грамоте не знаю.

— А мозги на что?.. Есть мозги — значит, и валяй!

— Да все ж без грамоты не управишься. Тут, вона, мало ли чего нужно!..

— Ну, грамотных выбирайте…

— Так-то, оно так!.. И значит, это мужики всем царствием заправлять будут?

— Значит, будут.

— А господа-то куды же?

— А к черту! Куда хотят, туда и идут! А нет, и на сук можно вздернуть!

— Ишь, какой прыткой!.. На сук!.. За что же это на сук?.. Душа-то ведь тоже хрещеная!.. За эти дела и кнутьем на площади порят да в каторгу шлют. — Нет, это ты, брат, дуришь!.. Да ну, ладно! Читай дале!..

"Всякий объясняющий противное и не исполняющий Монаршей воли Нашей есть враг наш. Уповаем, что преданность народа оградит престол Наш от покушений злонамеренных людей, не оправдавших Наше Монаршее доверие. Повелеваем всем подданным Нашим верить одному Нашему Монаршему слову".

— Так вот, слышишь, любезный, что сам царь повелевает! — строго обратился Свитка к мужику, высказавшему некоторое сомнение. — Ты, значит, ослушник воле царской!.. За это в кандалы!.. За это вяжут да к становому нашего брата, а ты, значит, молчи да верь, коли это пропечатано!

— Да я что ж… я ничево… я так только… Известно, супротив царя не пойдешь, — опешил мужик и смущенно примолкнул.

"Если войска, обманываемые их начальниками, — продолжал меж тем Шишкин, — если генералы, губернаторы, посредники осмелятся силою воспротивляться сему Манифесту — да восстанет всякий для защиты даруемой Мною свободы и, не щадя живота, выступит на брань со всеми, дерзающими противиться сей воле Нашей. Да благословит Всемогущий Господь Бог начинания Наши! С Нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!" — громко и торжественно заключил Шишкин, вторично обращаясь к слушателям и показывая красиво расписанный лист.

На лист глядели с любопытством, но в каждой почти голове царило недоуменье и сомнение. Манифест давал уже так много, что невольно рождался в душе вопрос: да уж точно ли правда все это? — хотя быть может, каждый не прочь бы был воспользоваться его широкими посулами. Перспектива казалась заманчивою.

— Значит, коли начальство не согласно, — сейчас бунтовать? — спросил кто-то.

— Так, голова! Верно!.. Сейчас и бунтуй! — с полною уверенностью одобрили оба бурлака.

— А отчего ж это доселева за бунты-то все наказывали?

— Теперь, милый, другие порядки пошли. Теперь сам царь бунтовать велит.

Наступило новое раздумье и молчание.

— Други почтенные! братцы! — вдруг возвысил голос отставной солдатик. — Это, надо быть, и вправду француз всю эту штуку выдумал! Потом он, первым делом, в этой грамоте что говорит? — Говорит, что войско прочь, что солдатов больше не требуется! — Так ли?

— Так, так!.. Не требуется.

— А кто же Расею-то защищать будет? — продолжал он; — коли войска нет, сичас, значит, неприятель подошел, и сичас заполонил себе как есть всю землю. Это он под нас, значит, ловкую штуку подводит!.. Никак тому быть не возможно, без войска-то! Он, значит, только глаза отводит!..

— Э!.. И в сам деле! — одобрили в кучке. — Оно точно, что так... А то бы с чего ему сердобольствовать!

— Беспременно так, братцы!.. Опять же хоть это взять: сами, говорит, управляйтесь. Теперь будем говорить по-солдатски! Примером взять — батальон. Как же ж этта управится батальон без камандеров? Никакой команды нет, и не знаешь ни куда тебе идти, ни что делать. Солдат этому не обучен, а командер обучен, он всю эту штуку знает. В батальоне, теперича, только шестьсот, аль семьсот, а в Расее-то тьма народу! Как же ж тут-то управиться? Это, значит, француз под Расею всю эту штуку подводит, чтобы способней заполонить-то было! Ей-Богу, так братцы!.. Этому вы ничему не верьте.

— Э, друг любезный! Ты, стало быть, против царя! Ослушник воли царской! — напустился Свитка на солдата. — Братцы! Слышали, что царь насчет ослушников сказал? Чего глядите-то?

— Нет, ты погоди! — выступил вперед солдатик. — Нешто волю царскую так объявляют? Волю царскую по церквам, под колоколами читают, а не в кабаках! Царское слово через начальство, да через священство идет; а ты что за человек? По какому ты праву? а?

— Эй почтенные! Находка! — закричал вдруг приказчик.

Пока Шишкин читал, а Свитка делал пояснения, он подобрался к раскрытой котомке, из которой чуть-чуть высовывался край другой подобной же грамоты. Подобравшись и смекнув, что дело тут, кажись, не совсем-то чисто, он под шумок запустил в нее руку и достал целую пачку "золотых грамот".

— Вон сколько с ними добра! — кричал хмельной кулак. — Дело не чистое!.. Это, ребята, бунтовщики... Смуту варят!.. Бей их!.. Бей в мою голову!.. всех бей!.. Держи их, ребята!.. Вяжи по рукам, да к становому.

Агитаторы побледнели. Шишкин совсем почти растерялся, но Свитка не утратил присутствия духа. Минута была критическая. Люди, за несколько еще минут расположенные верить им, теперь готовы уже были кинуться на обоих и начать свою страшную расправу.

— Где твой кистень?.. Держись за мною!.. Не робей! — быстрым шепотом обратился к Шишкину Свитка и мигом достал из-за пазухи заряженный револьвер.

Солдатик, с криком "вяжи!" первый ретиво кинулся на него.

— Убью! — закричал тот и выстрелил почти в упор.

Пуля, вырвав клок сукна из левого рукава, шлепнулась в стену.

— Кто первый подступится, убью на месте! — грозно кричал Свитка.

И с этим словом, пятясь к дверям вместе с товарищем, он воспользовался минутным ошеломлением присутствующих и выскочил из горницы.

— Держи! держи! — раздались за ними крики. Но Свитка успел уже вскочить в тележку, Шишкин вслед за ним — и сразу захватил вожжи. Ударив ими, что было мочи, по лошадке, он отчаянно загикал, продолжая непрерывно хлестать ее — и озадаченная лошадь, дергая головою, быстро сорвалась с места и пошла вскачь — вон из деревни.

— Держи! держи! — раздавались меж тем громкие крики. Весь народ выскочил из кабака, и несколько человек погнались за беглецами.

Свитка, упершись коленом в сиденье, стоял, обернувшись назад к преследователям, и держал револьвер наготове.

— Удирай живей!.. Хлещи ее!.. Нагоняют! — задыхаясь, кричал он товарищу, и тот немилосердно гнал бойкую лошадку.

Один парень совсем уже почти хватался руками за задок тележки.

— Кистень!.. дай кистень сюда!.. живее — говорил

Свитка и, не отвращая лица от преследователя, протянул назад руку.

Шишкин торопливо вложил в нее требуемое оружие.

Парень уже держался за задок и на бегу старался заскочить в тележку. Свитка хватил его кистенем в лоб, — тот вскрикнул и опрокинулся на дорогу. Остальные, не преследуя беглецов, раздумчиво остановились над ушибленным парнем, который с посинелым лбом лежал без чувств поперек дороги.

Тележка меж тем скрылась в лесу, но Шишкин все еще гнал и бил вожжами лошадь.

Через час беглецы очутились уже верст за семь. Конь был вконец заморен и не мог уже двинуться с места. Они его покинули в кустах, вместе с тележкой, и покрались кустами же вдоль по берегу. Теперь опасность погони несколько миновала. На счастие их, неподалеку от берега стояла на воде рыбачья душегубка, и в ней мальчишка какой-то удил рыбу. Они криком стали звать его. Рыбак подчалил, беглецы прыгнули в лодку и за гривенник, без излишних торгов и разговоров, перебрались на левый берег, в Самарскую губернию.

Здесь, пока, они уже были вне опасности.

XXXIV. Последняя литургия

Прошло с небольшим месяц с тех пор, как владыка Иосаф приезжал к губернатору ходатайствовать за майора Лубянского. И вдруг теперь по городу Славнобубенску быстро пронеслась весть, что владыка покидает свою кафедру, на которой честно служил столько лет, и что он переводится на дальний север, в другое епископство. Эта неожиданная весть поразила многих. Большинство недоумевало. "Как? что? зачем и почему?" — пытал каждый, и в ответ встречал только пожатие плечами: никто почти не знал и даже не подозревал настоящей причины этого внезапного смещения. Весьма и весьма многие искренно сожалели об отъезде Иосафа: он никому не сделал никакого зла; напротив, сколько людей оставляло в сердце своем благодарное воспоминание о том добре, которое творил старик по силе своей возможности! Никто не мог укорить его в чем-либо недобром, и каждый сознавал в душе, что старик был глубоко правдивым и честным человеком. Тем страннее казался непосвященному большинству этот перевод в отдаленную, заброшенную полосу России, перевод, похожий скорее на какую-то ссылку.

По городу стало известно, что в следующее воскресенье владыка в последний раз будет литургисовать в кафедральном соборе. Эта литургия смущала несколько полковника Пшецыньского и Непомука. И тот и другой ожидали, что старик не уйдет без того, чтобы не сказать какое-нибудь громовое, обличающее слово, во всеуслышание православной паствы своей. И если бы такое слово было произнесено, положение их стало бы весьма неловким.

Но вот наступило и воскресенье.

Церковь была полнехонька, без различия каких бы то ни было каст и сословий. Между народом, поближе к кафедре, затершись в одном уголке, стоял Феликс Подвиляньский вместе с доктором Яроцем. Оба решились выстоять всю службу, чтобы самолично быть свидетелями того, что произойдет сегодня. Они тоже ожидали чего-то...

Владыка служил, как и всегда, величественно и просто. Ясность душевная и твердое спокойствие были написаны на его строгом и в то же время кротком лице. Слова молитвы произносил он тихо, но явственно, так что голос его отчетливо был слышен во всех концах древнего храма. Под впечатлением того сознания, что эта литургия уже последняя, прощальная, предстоящему народу служба владыки казалась еще величественнее, еще торжественнее. Но вот окончилась литургия. Все взоры напряженно обратились к алтарю, все ожидали появления владыки на кафедре, но кафедра оставалась пуста. При звуках "исполаети деспота!" разоблаченный архиерей взошел на амвон, посреди храма, и пение замолкло.

Перекрестясь на алтарь, он положил земной поклон Богу и храму его, с которым он ныне прощался навеки. Затем тихо отдал, на все четыре стороны, по одному глубокому поясному поклону. Это было безмолвное прощание его с народом.

— Прощайте, возлюбленные! Прощайте! — раздался его любящий, но твердый старческий голос. — Расставаясь с вами, скажу одно вам: будьте твердыми сынами нашей Православной Восточной церкви; будьте твердыми и честными людьми русскими! Ежели кого обидел или прегрешил я пред кем-либо из вас, простите мне ради Христа, простившего врагам своим свое великое поругание, свою страшную крестную смерть. Прощайте!

И с этим словом, благословив народ, он пошел из храма.

Все разом бросились к владыке. Каждый хотел получить от него еще одно благословение и в последний раз облобызать пастырскую руку. На многих глазах виднелись слезы.

Владыко уезжал почти нищим. Весь небольшой капитал, скопленный им из своего жалованья, около пяти тысяч, он пожертвовал на богадельню, больницы и народные школы своей бывшей епархии. Весть об этом пожертвовании как-то успела разнестись между предстоящими еще во время литургии, — и это бескорыстие еще более возвысило владыку в глазах покидаемой паствы.

— Виншуен'пану! — сойдя с паперти, обратился Подвиляньский к Яроцу. — Поздравляю!

И он, с многодовольной улыбкой, весело протянул и пожал руку своему приятелю.

— Выпендзяли, хвала Богу! — с таким же удовольствием ответствовал Яроц.

В это время мимо их сходил со ступенек Лубянский. Он был растроган и шел, уныло понурив голову.

— Пану пулковнику! — прелюбезно снимая шляпу и пресладостно улыбаясь, обратился к нему

доктор; — а когда же мы в шашки сразимся!

Подвиляньский тоже любезно раскланялся. Майор ответил обоим очень сухим поклоном.

— Как жаль, что архиерей покидает нас! — с гримасой сожаления продолжал Яроц, увязавшись за Лубянским и таща за собою под руку Подвиляньского. — И скажите пожалуйста, отчего это так внезапно?

— Добрые люди постарались! — нехотя ответил майор.

— Ай-ай-ай!.. Неужели так?!.. А говорят, он некоторую частичку из своих капиталов пожертвовал на что-то? Правда ли это?

— Не частичку, а все что имел! — выразительно поправил Лубянский; — и завещал нам еще быть твердыми и честными людьми русскими. Впрочем, это до вас, господа, не касается: вы ведь поляки. — И, проговорив все это довольно резким тоном, старик круто повернул от них в другую сторону.

XXXV. Бал у ее превосходительства

В тот же день вечером, перед губернаторским домом, был огромный съезд экипажей. Жандармы на конях, частный пристав пешком, квартальные и полицейские творили порядок и внушали достодолжное почтение толпе народа, собравшейся поглазеть на ярко освещенные окна. Это был бал по случаю скорого отъезда барона Икс-фон-Саксена, последний маневр, которым правительница губернии намеревалась "добить милого неприятеля".

Хозяйка и царица бала, она была совсем обворожительна. Брильянты на голове, брильянты на открытой шее, золото и дорогие камни на руках, парижские цветы, старые брюссели, беспощадно открытые, сверкающие плечи, обворожительная улыбка, полные, вкусно сделанные руки с розовым локотком, роскошное платье, представлявшее символическое соединение польских цветов, кармазинного с белым, — вот то сверкающее, очаровательное впечатление, которым поражала в первый миг прелестная женщина каждого, при входе в ее парадную большую залу.

Она как царица встречала своих гостей, окруженная своим собственным штатом, в составе коего неизменно стоял весь шестерик княжон Почечуй-Чухломинских.

Непомук, в черном фраке, из-за борта которого скромно выглядывала звезда, глядел совсем дипломатом и с каждым был необыкновенно любезен, ни на йоту, впрочем, не спуская своего губернаторского значения.

Прелестный Анатоль, первым делом, придя в сокрушительный восторг от эффектного вида губернаторши и не замедлив тотчас же сообщить ей самой об этом восторге, за что и был награжден очаровательной улыбкой, поспешил отправиться с такими же восторгами к другим представительницам славнобубенского mond'a. Черненький Шписс поспевал решительно повсюду, и насчет музыкантов, и насчет прислуги, и насчет поправки какой-нибудь свечи или розетки, и насчет стремительного поднятия носового платка, уроненного губернаторшей; он и старичков рассаживает за зеленые столы, он и стакан лимонада несет на подносике графине де-Монтеспан, он и полькирует с madame Пруцко, и вальсирует со старшею невестой неневестною, и говорит почтительные, но приятные любезности барону Икс-фон-Саксену; словом, Шписс везде и повсюду, и как всегда — вполне незаменимый, вполне необходимый Шписс, и все говорят про него: "Ах, какой он милый! какой он прелестный!" И Шписс доволен

и счастлив, и Непомук тоже доволен, имея такого чиновника по особым поручениям, и решает про себя, что Шписса опять-таки необходимо нужно представить к следующей награде.

Mesdames Чапыжникова и Ярыжникова, и Пруцко, и Фелисата Егоровна, и Нина Францевна, и Петровы, и Ершовы, и Сидоровы, все преуспевают по мере сил и способностей. Все очень нарядны, очень декольтированы, очень эффектны и прелестны (по крайней мере, каждая сама о себе так думает), и все надеются прельстить чье-нибудь слабое сердце… О сердце барона они отложили ныне уже всякое попечение, ибо это остезейское сердце оказалось давно уже в плену у губернаторши. Дамы злились, но признавали это совершившимся фактом.

О бароне нечего говорить: он, как и всегда, был блистателен.

Но зато внимание публики на этом бале сильно привлекала одна новая и притом весьма интересная личность.

Это был сосланный, по политическим делам, на жительство в Славнобубенск, граф Северин-Маржецкий. Он только что вчера, в ночь, был привезен сюда с жандармами. Еще недели за полторы до приезда графа, ему был нанят на его собственный счет целый дом с мебелью и всею утварью, так что приехал он на все на готовое. Привезли его ночью прямо к Непомуку. Констанция Александровна, спешно накинув свой изящный шлафрок, вышла сама к сиятельному изгнаннику.

Приложив руку к сердцу и делая глубокий реверанс, она в несколько торжественном тоне, весьма эффектно сказала ему приветливым голосом:

— Нех пршиймуе ясневельможны пан первше пршивитанье к краю непршияцельскем од кобеты польскей!

Растроганный граф поклонился ей с глубоким почтением и молча, но тепло поцеловал протянутую ему руку.

Его приняли здесь как родного. Пани Констанция сама принялась хлопотать насчет теплого чая и вкусной закуски для графа; а Непомук даже самолично проводил его потом в приготовленное ему помещение, в своей собственной карете.

Наутро, едва успел проснуться ясновельможный изгнанник, камердинер подал ему раздушенный пакетец. Это было особенное приглашение на сегодняшний бал, написанное по-польски рукою самой Констанции Александровны.

Граф был весьма польщен таким вниманием, таким теплым участием на далекой чужбине. Появление его вечером в губернаторской зале произвело решительный эффект. Все уже заранее знали о польском графе, привезенном "в наше захолустье" под надзор полиции. Ее превосходительство рассказала нескольким своим приближенным с таким участием о "еще одном новом политическом страдальце", и это придало еще больший интерес новоприбывшему графу. Все с нетерпением ожидали его появления.

И вот, вместе с оповестительным звонком из швейцарской, раздался громкий голос ливрейного гайдука, поставленного при входной двери в залу:

— Его сиятельство граф Маржецкий.

По зале пробежали некоторый гул и волнение. Все взоры обратились к двери. Хозяйка с хозяином пошли навстречу. И вот, наконец, в дверях появился и отдал почтительный, но

полный неизмеримого достоинства поклон хозяйке и хозяину высокий, плотный мужчина лет пятидесяти. Лицо его носило на себе печать истого поляка, а его выражение и вся фигура сразу показывали аристократический характер старого магната. Высокий, закатистый лоб, широкие скулы и щеки, полный достоинства, спокойный и уверенный взгляд светлосерых глаз, несколько орлиный нос и энергически выдавшаяся вперед нижняя скула, и круто загнутый подбородок придавали всей физиономии графа такой характер самоуверенной настойчивости и силы, которые легко и притом всегда могут относиться ко всему остальному миру с тонким, иногда удачно выставляемым, иногда же удачно скрываемым, аристократическим презрением. Закинутые назад короткие и вьющиеся волосы с серебристым оттенком и некогда черные, но ныне уже сивые усы придавали всей фигуре графа Маржецкого какое-то рыцарское, кавалерийское удальство и самоуверенность. Короче сказать, на пятьдесят первом году жизни это был еще бравый и видный красавец и, заметьте, как особенное свойство польского типа, — красавец-аристократ, красавец-магнат старопольский.

Можете представить себе, что сделалось со всеми этими mesdames Чапыжниковой и Пруцко, со всеми этими Фелисатами Егоровнами и Нинами Францевнами, со всеми Марьями Ивановнами и их невестами-барышнями!

Граф приковал к себе всеобщее внимание.

Судя по тому, как встретил его губернатор-хозяин и губернаторша-хозяйка, как вошел и поклонился им граф, как окинул он все общество равнодушно-холодным и в то же время снисходительным взглядом, который, казалось, говорил: "Какие вы все жалкие, мои милые! какие вы все, должно быть, глупые! Но я постараюсь быть с вами любезно-снисходительным" — и так, судя по всему этому, можно было сразу предположить, что сосланный граф Северин-Маржецкий займет одно из самых видных и уважаемых мест в славнобубенском обществе.

Констанция Александровна, во-первых, отрекомендовала его барону. Граф поклонился ему точно так же, как и хозяевам, то есть, почтительно и в то же время с неимоверным, хотя и притворно-скромным достоинством: "Древнеродовитый магнат, я нахожусь, по воле политических обстоятельстве, в отчуждении и несчастии, крест которых впрочем сумею нести на себе с полным человеческим и гордо-молчаливым достоинством" — вот что выражал молчаливый поклон его. Саксен весьма любезно пожал ему руку, с тою сочувствующею улыбкою, какую вызывает в благовоспитанных людях несчастие ближнего, который равен нам по общественному положению и имеет право на особенное уважение наше по своему несчастию.

На мужчин фигура графа тоже производила весьма заметное впечатление. В это время высланцы из Польши вообще были еще в диковинку по "нашим захолустьям", и всяк почти вменял себе как бы в священный долг сочувствовать "политическому страдальцу" (*люда* на это была такая). Мужчины, равно как и женщины, очень хорошо заметили изящного покроя лондонский великолепный фрак графа Северина и его брильянты, сверкавшие у него в запонках на тончайшей батистовой сорочке и на правой руке, с которой была сдернута перчатка. Чиновный люд, усматривая особенное внимание, оказываемое графу со стороны губернаторской четы, по долгу служебного рвения, утроил свою почтительность к политическому высланцу: это показывало и внутреннюю либеральность чиновничьего люда, и тонкое понимание служебно-дисциплинарных отношений, потому что "ежели сам губернатор, то мы и тем паче..."

Констанция Александровна представляла графу некоторых дам, а Непомук Анастасьевич кое-кого из служащих (позначительнее) и кое-кого из дворянства. И все представляемые были встречаемы графом Севериным все с одним и тем же выражением снисходительного

достоинства, сквозь которое просвечивала холодность и сдержанность человека, поставленного обстоятельствами в чуждую и презираемую среду, имеющую над ним в данный момент перевес грубой, физической силы: граф чувствовал себя членом угнетенной национальности, членом европейски-цивилизованной семьи, беспомощно оторванным силой на чужбину, в плен к диким, но довольно благодушным и наивным татарам.

Но замечательнее всего, что все те, которые имели честь быть представлены графу, в глубине души своей очень хорошо понимали и чувствовали, относительно себя, то же самое что чувствовал к ним и граф Маржецкий, — словно бы, действительно, все они были варвары и татары пред этим представителем европейской цивилизации и аристократизма; и в то же время каждый из них как бы стремился изобразить *чем-то,* что он-то собственно сам по себе, да и все-то мы вообще вовсе не варвары и не татары, а очень либеральные и цивилизованные люди, но… но… сила, поставленная свыше, и т. д. "Это, мол, она все, а не мы, а мы-то, собственно, что же? мы рады, но мы пока ничего не можем… мы вовсе не такие, поверьте! но… что делать, ваше сиятельство…"

Поэтому все лица, представляемые графу, имели на своих физиономиях какое-то извиняющееся выражение, словно бы они в чем виноваты пред ним и всею душою желают оправдаться, желают, чтоб он считал виноватыми не их собственно, а кого-то другого, постороннего. Это было почти всеобщее выражение и мужчин и женщин. Один только острослов и философ Подхалютин, по обыкновению, не воздержался от своеобычной выходки. Когда Анатоль де-Воляй подвел его с представлением к графу Северину, Астафий Егорович, вытянув руки по швам и почтительно сгибая спину, с выражением искренно-благоговейного сознания собственной виновности произнес вдруг самым серьезным и покаянным тоном:

— Виноват, ваше сиятельство!.. Извините!

Граф окинул его недоумелым и вопрошающим взглядом.

— Виноват-с! — повторил Подхалютин.

— То есть, в чем же? — медленно и с усилием произнес Маржецкий, показывая вид, будто ему очень трудно выражаться на чужом и почти незнакомом языке. Сказал он это "в чем же" все с тем же неизменным выражением снисходительности и величайшей, но холодной вежливости, которые более чуткому на этот счет человеку могли бы показаться даже в высшей степени оскорбительными, но "наше захолустье" вообще мало понимало и различало это.

— В чем же? — повторил граф с тем же усилием и затруднением.

— В чем? И сам не знаю, ваше сиятельство! — вздохнул и развел руками философ. — Но вы, как и я же, успели уже, вероятно, заметить, что здесь все как будто в чем-то виноваты пред вашим сиятельством; ну, а я человек мирской и, вместе со всеми, инстинктивно чувствую себя тем же и говорю: "виноват!" Я только, ваше сиятельство, более откровенен, чем другие.

Анатоль досадливо краснел и кусал себе губы. Граф, как будто немного смутился, не зная, как понять ему выходку Подхалютина: счесть ли ее за дерзкую насмешку или отнести к плодам русской наивности? Подхалютин очень хорошо видел досаду одного и смущение другого, и в душе своей очень веселился таковому обстоятельству.

Граф сидел в гостиной, окруженный дамами, которые являли собою лучший букет элегантного Славнобубенска. Ни тени какой бы то ни было рисовки своим положением, ни малейшего намека на какое бы то ни было фатовство и ломанье, ничего такого не сказывалось в наружности графа, спокойной и сдержанно-уверенной в своем достоинстве. Он весь был в эту

минуту олицетворенная польско-аристократическая вежливость и блистал равнодушною, несколько холодною простотою.

Графиня де-Монтеспан, как женщина, играющая после хозяйки первую роль в ее обществе, взяла на себя преимущественное право занимать графа Северина, избегая впрочем вопросов о его родине, ибо предположила себе, что воспоминания о Польше должны пробуждать в нем горькое и тяжелое чувство. Но некоторые из окружающих сильфид и фей славнобубенских были на этот счет менее проницательны, чем графиня, и потому поминутно принимались бомбардировать гостя вопросами именно этого рода. Графиня морщилась и старалась заминать такие разговоры, но матроны с сильфидами не унимались. Разговор, конечно, шел исключительно по-французски и, надо заметить, что графиня усердно старалась и заботилась об этом, дабы не утруждать гостя ответами на чуждом и притом враждебном ему языке, который ни в каком случае, казалось ей, не мог быть ему приятен. Но некоторые из сильфид, владея не совсем-то ловко французским диалектом и в то же время желая, во что бы то ни стало, быть любезными, то и дело мешали, по привычке, французское с нижегородским.

— Скажите, пожалуйста, граф, — приставала madame Ярыжникова, — правда ли, что у варшавянок у всех прелестные ножки?

Граф снисходительно улыбался и, в некотором затруднении пожав плечами, отвечал, что и славнобубенские ножки, сколько ему кажется, ничем не уступают варшавским.

Ярыжникова, принимая это на свой счет, кокетливо улыбалась и самодовольно-торжествующим взором обводила гирлянду своих приятельниц.

— Это ведь больше зависит от обуви, — заметила madame Пруцко, уязвленная до известной степени торжеством Ярыжниковой: — у иной и вовсе не хороша нога, но мастерские ботинки — и кажется, будто прелестная ножка, а она совсем не хороша… Это бывает!..

— А ведь Варшава славится своими ботинками, замечала Фелисата Егоровна. — У меня там кузен в гусарах служил, так когда он в отпуск приезжал, раз привез мне несколько пар… Превосходные!..

Граф отвечал только все одною и тою неизменною своею улыбкою.

— Мне кузен говорил, — продолжала Фелисата, — что Варшава очень веселый город.

— Был когда-то, — сдержанно заметил граф.

— Э алянстан? — вопрошала она. — Вузаве ля боку дэ театр, дэ консерт, э сюр-ту юн гранд сосьетэ! Он'парль ке се тутафе юн бург эуропеэнь![63]

— Там теперь не до веселья! — с благочестивым вздохом заметила, потупляя взоры графиня, желая изобразить этим известную долю сочувствия к предметам, близким сердцу графа Северина. Многие из дам, каждая по-своему, повторили ее прискорбный взор и жест, и тоже не без побуждения сделать этим приятное графу.

— Но неужели же ваши женщины совсем не веселятся? — спросила Чапыжникова.

— Они отвыкли от этого и не хотят, и даже забыли веселиться, — ответил Маржецкий.

— О, Боже мой!.. бедняжки, право, эти польские женщины! Как я от души сочувствую им! — жеманничая, говорила Чапыжникова, с видимым желанием придать себе мило-игривую и

детски-прелестную наивность. — И какие, право, противные эти наши русские!.. Зачем они их обижают!.. Я ведь, граф, большая либералка, предупреждаю вас! Я очень большая либералка! Мне уж и то мой муж говорит, что я как-нибудь попадусь в Петропавловскую крепость, право!.. Но я все-таки не могу не сочувствовать тому, что возвышенно и прекрасно... И скажите пожалуйста, — оживленно продолжала она свое щебетанье, — эти бедные наши польские сестры, что же они делают, если у них нет теперь никаких развлечений?

— Молиться и плакать — это все, что осталось им в настоящее время, — тихо, но отчетливо и медленно проговорил граф с благоговейным выражением глубокого почтения в лице, придавая тем самым значительную вескость своим серьезным словам, вместе с которыми встал с места и пошел навстречу хозяйке, показавшейся в дверях залы.

Граф Маржецкий в течение целого вечера служил предметом внимания, разговоров и замечаний, из которых почти все были в его пользу. Русское общество, видимо, желало показать ему радушие и привет, и притом так, чтобы он, высланец на чужбину, почувствовал это. Но главное, всем очень хотелось постоянно заявлять, что они не варвары, а очень цивилизованные люди.

Бал дотянулся до мазурки. Граф стоял в зале отдельно и одиноко, любуясь на Шписса и Анатоля, на майора Перевохина и экс-гусара Гнута. Гнут танцевал «по-гусарски», прохаживаясь более насчет пощелкиванья каблуками да позвякиванья шпорами, майор же выступал, как и всегда, истинным бурбоном, с таким выражением лица и всей фигуры, как будто подходил к фельдмаршалу на ординарцы. Шписс и в мазурке оставался все таким же усердно преданным чиновником особых поручений, а прелестный Анатоль выделывал свои *па* с тою небрежною самоуверенностью и в том характере, которым всегда почти отличаются в мазурке питомцы Училища Правоведения. О дамах нечего говорить: русские дамы вообще, за довольно редкими исключениями, не умеют танцевать мазурку и по большей части напоминают собою в это время то бегающих цыплят, то перевалистых уток в ту минуту, когда те шлепаются с берега в воду. Дирижировал фигурами Болеслав Казимирович Пшецыньский, почитавшийся первым мазуристом града Славнобубенска. Он выступал теперь в первой паре с губернаторшей. Констанция Александровна танцевала прелестно. Один из местных литераторов-обывателей, удостоенный приглашения на бал, глядя на нее, уже свертывал в уме своем фразу, по которой выходило, что "длинный шлейф ее блистательного платья грациозно и покорно следовал за своею царственною повелительницею". И действительно, это была королева мазурки. В ней сказывалась та живая жилка, та вдохновительная искорка, которые по натуре присущи в мазурке родовитой и красивой польке.

Граф Северин-Маржецкий любовался ею, и губернаторша танцевала от этого еще лучше, еще вдохновеннее, ибо знала и чувствовала, что ею любуются, что сегодня есть человек, который может артистически понимать ее...

Пшецыньский устроил, по ее просьбе, фигуру, в которой дама сама выбирает себе кавалера. В первый раз Констанция Александровна, предварительно устроив себе обворожительную улыбку, удостоила своим выбором тающего барона Икс-фон-Саксена, и барон прошелся с ней, как умел, то есть, немножко по-немецки, аккуратно и отчетливо, чем и вызвал легкую, едва скользнувшую усмешку на губах графа Северина.

Когда же снова дошла очередь до Констанции Александровны, она, выйдя на середину залы и будто отыскивая кого-то глазами, замедлилась на минуту и потом прямо направилась к одиноко стоящему графу. Тот в смущении и отчасти с испугом глядел на нее, как бы вымаливая себе пощады.

— Один тур! — грациозно слегка склонилась пред ним пани Констанция.

— Пощадите старость! — любезно пожав плечами, с поклоном пролепетал Маржецкий.

— Алеж-бо прошен' пана! — как-то порывисто и певуче прошептала она. — Ну!.. На погибель Москвы.

Граф покорно подал ей руку.

Несмотря на свои пятьдесят лет, он танцевал так, как никто не умел танцевать в Славнобубенске. Все теперь глядели на него, все только и любовались этой блестяще-артистической парой. Даже сам Болеслав Казимирович Пшецыньский, танцевавший отлично, с военно-кавалерийской искоркой, залюбовался на графа и должен был сознаться в душе, что пальма первенства остается за Маржецким. Тут было нечто выше чем военно-кавалерийская искорка, тут была и беззаветная старопольская удаль, и тонкое изящество; это танцевал поляк и аристократ. Последнего-то именно и недоставало Болеславу Казимировичу.

Ловко закрутив свою даму и еще ловчее опустя ее на ее стул, он почтительно поклонился и с равнодушным спокойствием отошел на прежнее свое место.

— Еще Польска не згинэла! — заметил при этом Подхалютин, обращаясь к кому-то из своих соседей, подобно ему любовавшихся на блистательную пару.

— Еще бы сгинуть, коли там люди умеют и вставать и страдать за свою свободу! — заметил ему этот кто-то, желая заявить некоторую либеральность.

— Нет, не страдать, а танцевать за свободу! — поправил славнобубенский философ. — И не згинэла Польска до тех пор, пока там будут уметь вот этак плясать мазурку.

Каждая из славнобубенских матрон и сильфид, порхавшая по этой зале, укрыла теперь в душе своей злостный умысел против графа: каждая решила наперерыв друг перед дружкой выбирать его своим кавалером, но Маржецкий как будто проник тайным уразумением их замыслы и потому вскоре незаметно удалился из залы.

За ужином по одну сторону подле хозяйки сидел барон Икс-фон-Саксен, а по другую граф Северин-Маржецкий.

— Граф, позвольте предложить вам тост, — вполголоса сказала она, выразительно глядя на своего соседа.

— В честь чего или кого? — спросил Маржецкий, внимательно склонясь к ней вполоборота.

— В честь того, чего мы более всего желаем, — тихо проговорила губернаторша, метнув на него еще более выразительный и восторженный взгляд. Граф понял, и чокнувшись залпом выпил бокал.

Потом она чокнулась и с бароном, со вздохом сожаления по случаю его скорого отъезда. Бал кончился в пятом часу утра, и многие, уезжая с него, делали свои соображения относительно ссыльного графа. Появление его на этом бале, внимание губернатора, любезность хозяйки, тур мазурки, место за ужином, некоторые фразы и уменье держать себя в обществе и, наконец, этот особенный ореол "политического мученичества", яркий еще тогда по духу самого времени, — все это давало чувствовать проницательным славнобубенцам, что граф Северин-Маржецкий сразу занял одно из самых видных и почетных мест "в нашем захолустье", что он

большая и настоящая сила.

XXXVI. В саду

Солнце садилось за низкую тучу и последним своим отблеском окрашивало ее в густой темно-розовый и почти багряный цвет с ярко-золотистыми скважинами в середине и излучинами по краям, сверкавшими словно растопленное золото. Волга местами тоже была подернута этим багряным отливом последних лучей, которые жаркими искрами замирали на прорезных крестах городских церквей и колоколен да на причудливых верхушках высоких мачт у расшив, и горели кое-где на откосах больших надутых парусов, которые там и сям плавно несли суда вниз по течению.

В воздухе было тихо и тепло. Порою легкий ветерок с Заволжья приносил воздушною струею свежий запах воды и степных весенних трав. Стояли последние дни мая.

В небольшой и легкой плетеной беседке, сплошь обвитой побегами павоя и хмеля, на зеленой скамье, перед зеленым садовым столиком сидела Татьяна Николаевна Стрешнева и шила себе к лету холстинковое платье. Перед нею лежали рабочий баул и недавно сорванные с клумбы две розы. По саду начинали уже летать майские жуки да ночные бабочки, и как-то гуще и сильнее запахло к ночи со всех окружающих клумб ароматом резеды и садового жасмина.

Девушка старалась шить прилежней, потому что чувствовала, будто сегодня ей как-то не шьется. Голова была занята чем-то другим; взор отрывался от работы и задумчиво летел куда-то вдаль, на Заволжье, и долго, почти неподвижно тонул в этом вечереющем пространстве; рука почти машинально останавливалась с иглою, и только по прошествии нескольких минут, словно бы опомнясь и придя в себя, девушка замечала, что шитье ее забыто, а непослушные мысли и глаза опять вот блуждали где-то!

"Господи! Да что это со мной сегодня?" — недоумело шептала она себе и снова, еще прилежней, принималась за работу.

Или вдруг начинала она пристально вглядываться и вслушиваться в садовую чащу, словно бы ожидая чьего-то прихода. Но заметив, что слух и глаза опять обманули ее, снова наклонялась к шитью, и только одна какая-то жилка в нервно-молодом, впечатлительном лице на мгновение вздрагивала досадливым нетерпением. Задумчиво-ясная улыбка появлялась порой на глазах и во взоре, и светло блуждала некоторое время по лицу, словно бы в эти минуты девушка вспоминала о ком-то и о чем-то, словно бы ей приходили на память чьи-то хорошие слова, чей-то милый образ, какие-то приятные мгновенья, уже перешедшие в недавнее прошлое, быть может только вчера, быть может еще сегодня… И она снова, нетерпеливо и выжидательно, начинала вглядываться в чащу.

Но в саду было совсем тихо, только комарик какой-то звенел недалеко над ухом, да соловей где-то рано начинал выщелкивать, да еще гуще пахло резедой и жасминами.

Вдруг по песку ближней дорожки послышались быстрые, легкие молодые шаги.

Девушка чутко вздрогнула, затаила светлую, всю душу выдающую улыбку и принудила себя наклониться к работе, стараясь сделать вид, будто она вся поглощена этим занятием.

"Нет! Чего лгать-то!" — мелькнула ей мысль, — и спешно отодвинув свой баул да холстинку, она нетерпеливо и радостно подняла глаза и вся ждала ими, вот тот, сию секунду появления пред собою кого-то, давно уже жданного и желанного.

Вошел Хвалынцев.

— Что так поздно? — с легким укором, но внутренно довольным тоном, спросила Татьяна Николаевна, протягивая ему руку.

— Да вот, только что с делами управился.

— Кончили?

— Совсем уже.

— И стало быть, завтра? — задумчиво проговорила она, опять устремляя долгий, блуждающий взгляд на Заволжье.

— Завтра… Прощайте, Татьяна Николаевна!.. — тоже задумчиво и не сразу ответил студент, садясь на зеленую скамейку.

— Ну, прощайте… Дай Бог вам…

Она не договорила и отвернувшись глядела все в ту же прозрачно-мглистую даль.

— А не хочется уезжать!.. ей-Богу, так привык я за все это время… заговорил он, глядя себе в ноги, словно бы боялся прямым взглядом на нее выдать свои ощущения,

— Нельзя, Константин Семенович… нельзя. Надо ехать. Надо дело делать.

— Эх, ей-Богу, и вы туда же! — с некоторою досадой махнул он рукой. — От всех вокруг только и слышишь «дело» да «дело», а какое дело-то?.. Как подумать-то хорошенько, так и дела-то никакого нет!

— А учиться?.. Разве это не дело?

— Положим и так; да что толку-то?

— Ну, коли о толке говорить, так это длинные разговоры пойдут. Надо, голубчик мой, чтоб у каждого человека какое-нибудь дело было, какая-нибудь задача в жизни.

— Вы, кажись, резонировать начинаете? — мягко улыбнулся Хвалынцев.

— Нет, а так мне кажется. Скучно без дела-то.

— Хм!.. Ну, возьмем к примеру вас хоть: какое у вас дело?

— А вот — как видите; платье холстинковое шью себе.

— И в этом задача жизни? — пошутил он.

— Вы к словам придираетесь. Задача, положим, и не в этом, а уметь самой сшить себе платье — дело не лишнее.

— Да ведь это все так себе, одни слова только или от нечего делать! Задача в жизни!.. легко сказать!.. И все мы любим тешить себя такими красивыми словами. Оно и точно: сказал себе "задача в жизни" — и доволен, как будто и в самом деле одним уже этим словом что-то определено, что-то сделано, а разобрать поближе — и нет ничего! Ну, какая, например, ваша

задача в жизни? Простите за вопрос! — улыбнулся Хвалынцев.

Татьяна Николаевна поглядела на него серьезно и просто.

— Очень не хитрая, — сказала она. — Быть честной женщиной.

— Понятие условное-с. Одни понимают его так, другие иначе. Да вот вам, для наглядного сравнения: мать Агафоклея потеряла жениха, пошла в монастырь, всю жизнь осталась верна его памяти, все имение раздала нищим и на старости лет имеет полное право сказать о себе: "я честная женщина"; ну, и наша общая знакомка Лидинька Затц тоже ведь с полным убеждением и совсем искренно говорит: "я честная женщина".

— Что ж, может быть, с своей точки зрения и Лидинька права, — пожала плечами Стрешнева, — как права и мать Агафоклея. Я, Константин Семенович, понимаю это дело так, — продолжала она. — Прожить свою жизнь так, чтобы ни своя собственная совесть, ни людская ненависть ни в чем не могли упрекнуть тебя, а главное — собственная совесть. Для этого нужно немножко сердца, то есть человеческого сердца, немножко рассудка да искренности. Ну, вот и только.

— Рецепт не особенно сложен, — возразил Хвалынцев, — и был бы очень даже хорош, если бы сердце не шло часто наперекор рассудку, вот, как у меня, например, рассудок говорит: поезжай в Петербург, тебе, брат, давно пора, а сердце, быть может, просит здесь остаться. Что вы с ним поделаете! Ну и позвольте спросить вас, что бы вы сделали, если бы, выйдя замуж да вдруг… ведь всяко бывает! — глубоко полюбили бы другого?

Стрешнева, прежде чем ответить, поглядела на него серьезно и несколько строго, словно бы желая определить себе, под каким побуждением был сделан этот вопрос. Хвалынцев глядел на нее, как и всегда, и серьезно, и с уважением.

— Что бы я сделала? — медленно проговорила она. — Во-первых, я бы не вышла иначе замуж, как только убедясь прежде в самой себе, что я *точно* люблю человека, что это не блажь, не вспышка, не увлечение, а дело крепкое и серьезное. Ну, и после этого… мне бы уж, конечно, не пришлось полюбить другого.

— Да если другой-то будет лучше!

— Тут нет, мне кажется, ни лучше, ни хуже, — столь же серьезно продолжала девушка. — Может быть, я даже могла бы полюбить и очень дурного человека, потому что любишь не *за что-нибудь,* а любишь просто, потому что любится, да и только. Знаете пословицу: не по хорошу мил, а по милу хорош. Но дело в том, мне кажется, что можно полюбить раз да хорошо, а больше и не надо! Больше, уж это будет не любовь, а Бог знает что! Одно баловство, ну, а я такими вещами не люблю баловать.

— Но как же после этого Лидинька-то права, положим, хоть и "с своей точки зрения"? — спросил Хвалынцев, думая поймать на слове собеседницу.

— Лидинька? Да Лидинька не понимает и никогда не понимала этого. И разве она виновата в том? Ведь человек не виноват, если родился слепым или безруким. О нем только пожалеть можно. То же самое и Лидинька.

— Однако, ведь этак и все оправдать легко? — сомнительно улыбнулся студент.

— Обвинить еще легче. Лидинька никогда не любила, а теперь уж едва ли и может полюбить

серьезно. Она "за свободу чувства", как говорит она, и совершенно искренно стоит за эту свободу, не понимая, что это такое; притом же Лидинька не убила, не уворовала вещи какой-нибудь, словом, не сделала ничего такого, что на условном языке называется «подлостью». Лидинька, к тому же еще "свои убеждения имеет", и потому с полным правом и с полною искренностью называет себя честной женщиной. Ей бы только, по-настоящему, замуж выходить не следовало, но… это ошибка ее родных; ее выдали, не спрашивая согласия, чуть не ребенком.

Хвалынцев задумался.

— Такой взгляд на серьезное чувство, бесспорно, хорош, — сказал он наконец, — но ведь с ним иногда рискуешь быть очень несчастливым в жизни.

— То есть, как это? — подняла голову девушка.

— А так, что если вы любите человека ветреного, увлекающегося, который разлюбит потом, который в каждом смазливом личике будет находить себе источник чувства или развлечения, тогда что?

— Да, тогда не хорошо, — согласилась Стрешнева. — Это бесспорно, величайшее несчастие, но это еще не достаточная причина, чтобы и самой делать то же.

— Опять маленькое резонерство! — подхватил Хвалынцев. — Это говорит голова или, пожалуй, сознание долга, но никак не сердце. Такого нестоящего человека как ни люби, а наконец все-таки станешь к нему равнодушною. Тогда что?

— Тогда? Уйти в свою улитку и затвориться.

— А коли душа снова запросит солнца, света, воздуха; коли кровь еще в каждой жилке будет напоминать про молодость?

— А сила воли на что?

— Но ведь это какое-то факирство! Это значит душить самоё себя!

— Потому-то вот прежде и надо прочувствовать хорошо свое чувство, а потом уже решаться, — серьезно сказала девушка.

— А если обманешься и, главное, выйдешь замуж, да потом увидишь, что дело-то плохо?

Она улыбнулась и собралась с мыслями.

— Вы, Константин Семенович, кажется, думаете, что я замужество полагаю первым и непременным условием серьезного чувства? — осторожно отчасти застенчиво спросила Татьяна Николаевна. — Скажу вам на это вот что: да, если я полюблю человека, то хотела бы любить его откровенно и прямо, не стыдясь глядеть в глаза целому свету, не прятаться, не скрывать свою любовь, а говорить всем: да, мол, я люблю его! Поэтому я во всяком случае предпочла бы быть женою, чем не женою любимому человеку. Предпочла бы еще и потому, что, мне кажется, я за себя могу ответить: уж если полюблю, так хорошо полюблю и не заставлю ни разу ни покраснеть за себя, ни пожалеть о том, что взял меня замуж! И, наконец, во власти самой женщины сделать так, чтобы человек всегда любил ее, чтобы ему и в голову не пришло о возможности увлечься другою. Это *может* сделать женщина. Надо только уметь любить прежде всего и… верить!.. В себя верить!

Она говорила с увлечением, искренно, горячо. Голубые глаза ее горели и щеки раскраснелись молодым и горячим румянцем.

Хвалынцев жадно слушал и любовался ею, ловя глазами каждый ее взгляд, каждое движение бровей, губ, улыбку, выражение лица и чувствовал, как нечто острое и жуткое идет где-то внутри его и проникает собою весь его состав.

Ему было хорошо в эту минуту. Он всем сердцем, всем рассудком, всею волею склонялся перед этой открытой простотой и беззаветной искренностью.

Разом обдав его своим ясным взглядом, девушка заметила, угадала и поняла все и, еще больше зардевшись, вдруг примолкла и тихо, немножко смущенно опустилась на прежнее место.

Разговор сам собой прекратился, да и не к чему было возобновлять его: на душе у обоих было так полно, так хорошо, так молодо и счастливо, что слова были излишни. Наступило полное и совсем спокойное молчание, в котором еще отчетистей звенел какой-то назойливый комарик или ночная пчелка, и перерывисто раздавались над уснувшим берегом яркие соловьиные раскаты. Она сидела, подпершись рукою, и в задумчивости небрежно перебирала лепестки розы, а он сосредоточенно курил свою сигару и тихо глядел на ее полуопущенную русую головку. С того самого раза, как Стрешнева пригласила его к себе, после сходки у Лубянской, он часто и почти ежедневно стал бывать в доме ее тетки. К нему скоро привыкли и перестали стесняться. Татьяне Николаевне незаметно даже стало нравиться его присутствие, он и ей, и старухе пришелся по сердцу. Девушка любила быть с ним и говорить с ним, а молодое весеннее чувство меж тем обоим закрадывалось в душу, и как это сделалось — они сами того не знали и не замечали; а оно шло все дальше и все глубже запускало в сердце свои живучие молодые корни. Они ни разу даже не подумали об этом чувстве, ни разу не позаботились заглянуть вовнутрь себя и дать себе отчет о том, что это такое; слово «люблю» ни разу не было сказано между ними, а между тем в этот час оба инстинктивно как-то поняли, что они не просто знакомые, не просто приятели или друзья, а что-то больше, что-то ближе, теплей и роднее друг другу.

Поняли и молчали.

— Итак, завтра едете? — прервала она, наконец, это молчание.

— Завтра… — проговорил Хвалынцев и бросил от себя окурок сигары.

— А в самом деле, грустно как-то расставаться, — задумчиво сказала она. — До последней минуты об этом и не думаешь, а тут — гляди — и грустно… Так все это хорошо было… время летело незаметно… и вдруг ничего этого не будет…

— Остаться разве? — нерешительно и робко отозвался Хвалынцев.

Девушка мельком взглянула на него, но тотчас же потупясь отвернулась и молчала, не отвечая ни словом, ни жестом.

— Остаться? — еще тише молвил он.

— Нет, нет! Поезжайте… поезжайте… Надо ехать! — быстро и решительно проговорила Татьяна Николаевна, как-то нервно и озабоченно принимаясь ощипывать лепестки своей розы, словно бы в этом занятии была теперь вся ее главная, сосредоточенная и серьезная забота.

— Значит, так и не увидимся больше? — спросил он, стараясь придать своему голосу спокойное

и даже равнодушное выражение.

— Зачем не увидаться? Приедете опять как-нибудь!.. А может, и мы с тетушкой по осени тоже в Питер соберемся… Вот и увидимся.

Опять наступило молчание.

— Таня! — громко раздался с террасы дома знакомый голос старушки. — Таня! где ты? Пора чай пить… Андрей Павлыч пришел!

— Устинов здесь, — тихо вымолвил Хвалынцев.

Девушка, ничего не ответя, быстро собрала шитье, надела на руку баул и поднялась с места. Глаза ее встретились с глазами Хвалынцева.

— Ну, прощайте! — тихо, но решительно сказала она, усиливаясь придать себе улыбку, тогда как щека ее нервно подрагивала и в груди колесом ходило что-то похожее на подступающие слезы.

— Прощайте… Нет, до свиданья! — прошептал Хвалынцев и, взяв протянутую ему руку, долго, тихо и горячо, не отрываясь, стал целовать ее.

— До свиданья… до свиданья… — вся слегка дрожа, тихо шептала и принужденно улыбалась девушка и глядела в его лицо, отрывая и в то же время не желая отрывать от его губ свою руку. — Ну, будет… будет… Пойдемте… Пора… Тетушка ждет к чаю…

И они молча пошли по дорожке в сумрак сада, сквозь который приветливо и весело глядел на них из-за ветвей яркий свет лампы в окнах хорошенького домика.

Часть вторая

I. В коптилке

18-го сентября 1861 года, утром, в половине девятого часа, Хвалынцев шел в университет. В этот день открывались лекции. Шел он бодро и весело, в ожидании встреч со старыми товарищами, с знакомыми профессорами.

"Что-то предстоит на нынешний год? Какие дела, какие интересы? Будет ли все так же, по-прежнему, процветать своя домашняя, университетская «публицистика»? Что Сборник студентский? Что «касса» сходки? Фишер, конечно, по-прежнему будет вещать, что "педагогика разделявается на три половины, из которых первая говорит о воспитании, но вторая равно о воспитании, а зато третья… тоже о воспитании". Ну, да впрочем Фишер — Бог с ним! А вот лекции Костомарова, Спасовича, Кавелина — тут уж вознаградим себя за все три половины! Еще один год — кандидатский диплом в руки — и гуляй себе Константин Семенович по белому свету, распоряжайся своею личностью, как признаешь удобнее!"

Весело мечтать таким образом, Хвалынцев почти и не заметил, как очутился перед университетским подъездом.

— А! Старая гвардия! — приветливо, как старого знакомого, встретил его в сенях, на площадке, почтенный университетский швейцар. — Старая гвардия! Добро пожаловать! С новым курсом, с новым счастьем!

— Здорово, Савельич! Спасибо тебе! А что нового?

— О, нового много, много нового! Полны карманы наложишь новостей, и то не оберешься! — махнув рукой, ухмыльнулся старый Савельич. — Письмо есть к вашей милости — несколько дней уж лежит.

И порывшись у себя на столике, где у него обыкновенно раскладывались письма, адресованные в университет, на имя студентов, он старчески внимательно, поодаль от глаз, разобрал надпись и подал Хвалынцеву запечатанный конверт.

— Ну, ладно, после прочтем на досуге, — проворчал себе под нос студент и, сунув письмо в боковой карман расстегнутого сюртука, повесил пальто и быстрыми шагами поднялся наверх, по лестнице. Как раз на верхней площадке, нос к носу, столкнулась с ним единая от полицейско-университетских властей.

— Ай, ай, господин Хвалынцев, опять воротнички! опять воротнички у вас выпущены! и в прошлом году воротнички, и в позапрошлом воротнички, и нынче опять воротнички! — говорила власть, тщетно стараясь принять авторитетный тон, ибо чувствовала, что в последние годы авторитет ее сильно расшатался.

— Ну да, Александр Иванович, и воротнички, и волосы длинноваты — это ведь мой всегдашний недостаток! Ничего, свои люди — как-нибудь сочтемся! — полушутя-полунебрежно ответил студент, проскальзывая в дверь мимо власти, которая только развела руками да головой вослед ему покачала.

В длинном университетском коридоре, там и сям, около аудиторий, слонялись довольно уже людные группы студентов. В этих слоняющихся группах даже непривычный глаз мог бы сразу отличить новичков от "старой гвардии", по выражению Савельича. Старая гвардия бойко ходила, громко говорила, весело смеялась и держала себя по-домашнему, "своими людьми", с видимою независимостью; новички же, тщательно застегнутые на все пуговицы, отличались несмелостью движений и взглядов, и в выражении лица всецело еще носили робкое и почти идеальное благоговение ко "храму науки".

Мимоходом кивнув кой-кому головою, кой-кому пожав на ходу руку, Хвалынцев миновал наконец длинный коридор и спустился вниз, в курильную комнату, прозванную студентами попросту «коптилкой». Там — все по-старому: те же грязно-желтые стены, те же две-три убогие скамьи, тот же дым и окурки, тот же подслеповатый сторож со своим запахом и тот же бородатый маркитант в синей поддевке, а у маркитанта все те же неизменные бутерброды с колбасой и сыром да слоеные пирожки с яблоками, вкус которых уже много лет отменно хорошо знаком всему университету.

Коптилка была полна молодежью. Кроме синих студентских воротников, составлявших, конечно, значительное большинство, тут в разных углах виднелось довольно-таки много военных усов, с офицерскими погонами, несколько черных чамарок и кавказских чекменей, несколько поддевок, партикулярных сюртуков и пиджаков. Несмотря на ранний час утра, табачный дым уже стоял коромыслом и не один десяток молодых звучных голосов кричал и надседался, что есть мочи, горячо стараясь перекричать всех остальных, чтобы подать свое личное мнение в каком-то общем споре. Что это был за спор, свежему человеку разобрать не представлялось ни малейшей возможности, потому что коптилка была преисполнена невообразимым гамом и гулом. В одной из групп, прислонясь спиною к окну, стояла молодая и довольно недурненькая собою девушка, с кокетливо отброшенными назад короткими волосами, в синей кашемировой юбке, без кринолина, и с узенькой ленточкой синего галстучка,

облегающего мужской воротничок батистовой манишки. Фланелевая темная гарибальдийка скрывала ее стройную талию. Девушка поминутно щуря, из-под синих очков, свои глазки, курила наотмашь папироску и горячо о чем-то говорила целой группе разношерстной молодежи. Подле нее, взмостившись на подоконник и свесив оттуда ноги, сидел и ораторствовал молодой студент в золотых очках. Выразительные глаза и красивое, но не совсем приятное лицо его носило в себе явный отпечаток еврейского типа. По его костюму, которому он тщательно старался придать демократическую небрежность, все-таки ясно можно было видеть, что студент этот — сын очень богатых родителей.

— А! Хвалынцев! Вот и он! здравствуй! Сюда, сюда! скорей сюда! дело есть! Слышал? — накинулось на студента несколько наиболее знакомых ему молодых людей, едва лишь он успел переступить порог коптилки.

— В чем дело, господа? какое дело? Гам такой, что и разобрать ничего невозможно.

— Общее дело! Петлю над нами затягивают! Мертвую петлю! Говорят, сходки запрещены! — кричали разные голоса.

— Как запрещены? Этого быть не может! — возразил удивленный Хвалынцев. — Запретить их мог тот, кто разрешал, а Высочайшего повеления не было.

— Обошлись и так! Да это не все: касса от нас отобрана, пособия из нее присуждаются не студентами, а инспектором; редакторов и депутатов будет избирать правление университета.

— То есть, университетский совет? — в виде наиболее точной поправки спросил Хвалынцев.

— Нет, не совет, а *правление,* то есть канцелярия: секретарь, синдик, казначей и чиновники.

— Вздор! Это не имеет смысла!

— О смысле не говорят, — говорят о факте.

Хвалынцев недоуменно пожал плечами.

— Вы нынче держали переходный экзамен? — спросил его с окошка студент с еврейским типом лица.

— Нет, не держал; а что?

— А то, что, значит, похерят из университета.

— За что? Коли я, по праву, могу не держать из третьего в четвертый!

— По праву? Было такое, да сплыло! Теперь если вы не держите экзамена, или не выдержали его — вон без дальних разговоров! Свидетельства о бедности тоже похерены: и бедный, и богатый — все равно, плати 50 рублей, а нет их — вон! Матрикулы какие-то вводят…

— Как… что… матрикулы?.. Это еще что такое? Что это за матрикулы?

— Черт их знает!.. Ясного понятия на этот счет не имеется.

— Господа, да этого быть не может! этому верить нельзя! — проговорил озадаченный Хвалынцев.

— Поверишь, как на собственной шкуре почувствуешь.

— Да вы что? Вы за правительство, что ли? — грубо вызывающим тоном обратился к нему один из близстоявших студентов.

Хвалынцев вспыхнул и, несмущенно глядя ему в глаза, произнес твердо и отчетливо:

— За здравый смысл и за законное право. Все это, повторяю, не имеет смысла. Кто вам сказал это?

— Да вы откуда сами-то? из Японии, что ли приехали? Кто сказал!.. Весь город говорит! В газетах официально отпечатано!

— А нам-то было ли объявлено официально, через попечителя, через ректора, через начальство?

— Начальство!.. Ха, ха, ха! Начальство струсило!.. Его и нет, оно и не показывается!

— Что же делать теперь?

— Об этом-то вот и толкуется!

Хвалынцев, по приезде из Славнобубенска, все лето, почти до вчерашнего дня, прожил у одного своего приятеля в тиши и глуши чухонской деревушки, на финляндском берегу, прожил без газет, без писем, без новостей, и теперь вернулся в Петербург к началу курса, не имея обо всех университетских переменах ни малейшего понятия. Все, услышанное в коптилке, ударило его как обухом. Здравый смысл отказывался верить, а не верить оказалось невозможно. Чувство досады и злобы охватило его. "Как, за что, почему, по какому праву?" — закипали в нем протестующие вопросы. — "Лишать права посылать из среды своей избранных депутатов для заявления студентских нужд — да кто же будет объясняться? Вся масса, что ли?? Инспектор может по своей прихоти утвердить или нет пособие моему товарищу из кассы, которая принадлежит исключительно самим студентам, которая создалась их собственною инициативой, которая сложилась и поддерживается на наши собственные гроши. И над этою кассой посторонний контроль, постороннее распоряжение ею! И это совершается в том самом месте, где голос профессора проповедует с кафедры о юридическом, о гражданском праве! И после этого можно верить в непреложность этого права! А эти 50 рублей — поворот к ограничению числа студентов; это значит сделать университет для большинства недоступным, сделать его достоянием касты, достоянием достаточных людей. И не нашлось человека, который бы поднял голос против этого! — Господи! Да что ж это такое!"

Так думал Хвалынцев, негодуя всем пылом юношеского увлечения, а число людей, наполнявших коптилку, с каждой минутой возрастало и общий шум становился все сильнее. Сделалось уже очень тесно и душно, табачный дым ел глаза, шум голосов, старавшихся перекричать друг друга, немилосердно раздирал барабанную перепонку. И все-таки невозможно было понять что-либо в этом гаме, и чем больше наполнялась коптилка, тем запутаннее становилось дело. Каждый в отдельности знал, какие причины вызвали эту сходку, но никто не понимал о чем, в сущности, в данную минуту идет весь этот гвалт, о чем и кто собственно спорит, чего кто хочет, что следует предпринять и на что решиться? Лекции уже читались в аудиториях, но об них не думали: большинство студентов было в коптилке. Ежеминутно то один оратор, то вдруг несколько зараз вскакивали на скамейки, на подоконники, кричали, махали руками, тщетно требуя слова — шум не умолкал. А если кому из этих ораторов и удавалось на несколько мгновений овладеть вниманием близстоящей кучки, то вдруг на скамью карабкался другой, перебивал говорящего, требовал слова не ему, а себе, или

вступал с предшественником в горячую полемику; слушатели подымали новый крик, новые споры, ораторы снова требовали внимания, снова взывали надседающимся до хрипоты голосом, жестикулировали, убеждали; ораторов не слушали, и они, махнув рукой, после всех усилий, покидали импровизованную трибуну, чтоб уступить место другим или снова появиться самим же через минуту, и увы! — все это было совершенно тщетно. Прошло уже около часу, а дело не пришло еще даже к намеку на какой-либо результат.

Хвалынцев стал приглядываться к группам спорщиков, стараясь уловить хоть в одной из них какую-нибудь нить настоящего серьезного дела и вдруг, к удивлению своему, увидел старую знакомую физиономию, которую никак не ожидал встреть здесь в эту минуту.

Посередине одной кучки, в красной кумачовой рубашке и в драповом пальто, стоял и разглагольствовал Ардальон Михайлович Полояров. Вокруг него раздавались разнородные голоса, но их нестройный хор, то и дело, покрывался басистым голосом Ардальона. Он собственно не говорил, а только время от времени перебивал говор других своими возгласами и замечаниями, по большей части, отрицательного свойства.

— Шесть лет мы пользовались правом сходок и правом узаконенным, — слышалось в его группе.

— Что сходки? Сходки вздор-с! — вдруг перебил Полояров, — не в сходках сила! Сила в нас самих, коли мы сила!

— Депутаты… — раздавался опять чей-то голос.

— И депутаты в сущности вздор! — еще решительнее и ровно ничего не выслушав, перебивал Ардальон. — Что такое депутаты?

— Да вы чего же собственно хотите? — уцепился за него один студент, видимо раздосадованный этим безусловным подведением всех студентских нужд и потребностей под категорию вздора.

— Я-то?.. А вы чего? — увертливо огрызнулся Полояров.

— Да мы-то знаем чего хотим, а вы все это отрицаете. Чего же, по-вашему, нужно? Что же не вздор?

— Что не вздор? А потрудитесь сами догадаться, — ответил Ардальон и, без церемонии повернувшись к студенту спиной, стал опять разглагольствовать:

— И ничего этого не нужно!.. Матрикулы… Вы говорите матрикулы?.. И матрикулы вздор! А надо показать, что мы сила, что с нами нельзя шутить безнаказанно… Действовать надо!

Ардальона никто не слушал, его мнения никто не спрашивал, но он насильственно врывался с ним в кружковый спор, и когда, несмотря на это громогласно насильственное вторжение, его все-таки не слушали, он продолжал колотить воздух словами, не обращаясь ровно ни к кому, и разражался всем этим словоизвержением единственно ради услаждения своей собственной особы. Ему очевидно, хотелось взять первенство в спорах, заставить всех внимать одному себе, порисоваться перед всею толпою, но толпе этой было теперь не до Полоярова, и потому, volens-nolens, он услаждался самим собою и ради самого же себя.

Но на одно мгновение ему удалось-таки приковать к себе почти всеобщее внимание.

В коптилку вошли два-три студента аристократика, гладко прилизанные, подвитые, с пробором на затылке, в белых жилетах, чистенькие, щепетильненькие, с тоненькими папиросками в зубах. Вошли они, очевидно, не ради сходки, а ради тоненьких папиросок и сладких пирожков.

— К черту аристократов! Долой беложилетников! — громовым голосом заорал Ардальон Михайлович, нарочно для этого вскочив на скамейку и гневно сверкая глазами.

— Арисштократы, вон! — ретиво подхватил с подоконника сын очень богатых еврейских родителей, во что бы то ни стало стремившийся быть "студентом волком", ибо «волки» составляли антарктический полюс "беложилетников".

— Долой! Вон! — еще более возвысил голос Ардальон, столь удачно поддержанный возгласом с подоконника. — Вон, аристократы! Им нет и не должно быть места между честным студенчеством!

Толпа вскинула взгляды на молодецкую фигуру Полоярова, затем перевела их на жиденькие фигурки аристократиков, и несколько десятков голосов завопили: "Вон! вон отсюда!" И аристократики удалились, впрочем, не без старания изобразить на лицах презрительную выдержку собственного достоинства.

— Господа! за что же? Разве они не такие же студенты? Разве они не товарищи наши? — попытался было Хвалынцев противостоять вопящим голосам. — Что за разъединение! Быть может, им также было бы близко и дорого наше общее дело! За что же мы лишаем их права принять в нем участие?

— За то, что они арисштократы! — ретиво возразил богатый студент еврейского типа.

— Но они студенты! — горячо вступился Хвалынцев. — Единодушия, господа, надо! Чем больше нас будет без различия каст и сословий, тем лучше!

Несколько крайних из "волчьей партии" взъелись на Хвалынцева.

— Заступник аристократов! Адвокат беложилетников! — раздались их негодующие возгласы. — Против всех! Против общественного мнения.

— Под суд! Под суд за это! — рявкнул чей-то голос.

— Под суд адвокатов и заступников! Под суд барских лизоблюдов! — подхватили несколько голосов. — Сходку собрать, сходку! Судить! Выгнать к черту! Это измена общему делу! Это подлость!

Хвалынцев побагровел от негодования.

— Кто произнес слово *подлость,* тот глуп! — смело и громко сказал он, обводя взором сомкнувшуюся вокруг него многочисленную кучку. — Если он не трус, то пусть выйдет сюда, и я докажу ему, почему я считаю его глупым. Суда же я не боюсь, потому что знаю, что я прав, а что я не барский лизоблюд, так это знают мои товарищи и порукою в том мое трехлетнее студентство. На такую выходку можно отвечать только презрением. Но, господа! — с жаром заключил он. — Умоляю вас, оставимте на время наши личные счеты: судить меня вы успеете и после; наперед подумаемте лучше о нашем общем деле! Да только потолковее!

— Браво! Браво! молодец!.. Дельно! Хорошо! — закричали и захлопали вокруг него в ладоши, и затем немедленно же поднялся прежний гам и шум, и споры, и опять потерялась всякая

возможность разобрать что-либо в этой кутерьме и безладице.

Хвалынцев, убедясь наконец, что сегодня тут никаких толковых результатов не добьешься, собрался уже подняться наверх и идти в аудиторию, как вдруг до его плеча кто-то дотронулся.

— Господин Хвалынцев… извините… позвольте вам напомнить о себе, обратился к нему высокий, но очень еще молодом человек, в сильно заношенном партикулярном платье. — Мы с вами виделись еще в Славнобубенске… помните, литературное-то чтение… Шишкина, может помните? Шишкина… Читали еще вместе… Я вот Шишкин-то самый и есть!

И он раскланялся с широкой, добродушно-приветливой улыбкой.

— А, как же, как же! Помню! — протянул ему руку Хвалынцев. — Какими вы судьбами здесь? Давно ли?

— С середины августа… Обстоятельства, знаете, некоторые заставили приехать. Я тут с одним товарищем, может знаете Свитка Василий? Ну, так вот я с ним… Поступил вольнослушателем.

— Ну, очень приятно встретиться! — еще раз пожал ему руку Константин Семенович, намереваясь удалиться.

— Господин Хвалынцев, хотя я и не знаю вас, но позвольте от души пожать вам руку! — подойдя к обоим, произнес молодой человек в черной чамарке.

Хвалынцев поглядел на него недоумевающим, удивленным взглядом.

— Ах, вот и кстати! Позвольте познакомить! — предупредительно вмешался Шишкин. — Мой товарищ, про которого я сейчас говорил, Василий Свитка! Вас называть не нужно: он уже знает вас.

— Да, подтвердил с поклоном товарищ Шишкина. — Хотя я только сегодня впервые узнал вас, но я вас уже уважаю.

— За что же это? — несколько смущенно пожал плечами Хвалынцев. — .

— За ваш честный и смелый поступок! — отчетливо и с приятно вежливой улыбкой проговорил Свитка, немного склонясь перед Константином Семеновичем. — Вы не задумались сделать вызов на объяснение тому глупцу, который оказался трусом! вы один, почти против всех, не задумались смело высказать ваше мнение в защиту этих аристократов. Действительно, никто не имел ни малейшего нрава и повода оскорбить их таким образом, пока они имеют честь носить студентский мундир. И вы один только против всех возвысили голос. Это с вашей стороны и смело, и честно. Позвольте за это пожать вашу руку!

Слова эти, хотя Хвалынцев и нашел их как-то выделанно фразистыми, весьма приятно пощекотали его самолюбие, и он добродушно, крепко и с видимым удовольствием стиснул протянутую ему руку.

Тонкий фимиам осторожной лести закрался в темный уголок его души. Хвалынцеву было и приятно, несмотря на подмеченную фразистость Василия Свитки, и вместе с тем почувствовал он себя как-то гордее, удовлетвореннее.

— Мы, конечно, будем встречаться здесь, — продолжал Свитка, — а потому мне было бы очень, очень приятно считать вас своим знакомым.

— Ну, так будемте знакомы! — охотно согласился Константин Семенович, в третий раз потрясая руку Свитки. — Будемте без фасонов, по-студентски!

— Ба, ба, ба! Знакомые все лица! — пробасил над самым его ухом голос Ардальона Полоярова. — Здравствуйте, Шишкин! Сегодня мы с вами еще не поздоровались. А ведь вы, кажись, господин Хвалынцев? — прищурился он на студента.

— Так точно, господин Хвалынцев, — с твердым ударением, сухо и в упор ему ответил Константин Семенович.

— Ну вот, я вас и узнал! Здравствуйте! Давайте лапку!

И не дожидаясь, чтобы студент протянул руку, он бесцеремонно взял его повыше кисти и хлопнул его ладонью по всей своей пятерне, в которой сжал и потряс пальцы Хвалынцева.

— Что за церемонии, помилуйте! Мы ведь не аристократы какие, — беззастенчиво возразил Полояров. — Что на душе, то и на деле.

— Все это прекрасно, только я-то, помнится, никогда не имел с вами фамильярного знакомства.

— Э, батенька, я ни с кем церемонных-то знакомств не имею! — махнул рукой Ардальон. — Я ведь человек прямой! Мы ведь с вами никаких столкновений не имели — так чего-же нам?! А что если я тогда был секундантом у Подвиляньского, так это что же? Дело прошлое! А я собственно ни против вас, ни против Устинова ничего не имею, да и все это, знаете, в сущности-то, одна только ерунда! Ей-Богу, ерунда! Порядочным людям из-за такого вздора расходиться нечего! Все это ce sont des[64] пустяки! Дайте-ка мне папиросочку.

Хвалынцев только и мог улыбнуться да пожать плечами на эту до наивности бесстыдную наглость, и желая поскорей отвязаться, подал ему раскрытый портсигар.

— Э, вишь ты, какая у вас богатая папиросница, — заметил он, вытягивая сигаретку. — Во всем-с видна дворянская-то струйка! А мы, батенька, по простоте: коли есть курево, так в бумажном картузике носим. Оно и дешево, и сердито! Вы долго еще пробудете здесь?

— До конца лекций.

— Ну, так верно еще встретимся. До свиданья!

Хвалынцев небрежно кивнул ему головою, подал еще раз руку Шишкину и Свитке и удалился из шумной и дымной коптилки.

II. Славнобубенские вести

Придя домой в самом скверном настроении духа, Хвалынцев вспомнил, что в кармане у него есть письмо. Взглянул на конверт: штемпель Славнобубенской почтовой конторы. — "Верно от Устинова", — подумал он, распечатывая, и не ошибся: письмо, действительно, было от него.

"Любезный друг

Константин Семенович!

Давно уже собирался писать тебе, долго раскачивался, раскачивался (то лень, то дело) и, наконец, раскачался. Приготовься выслушать мой длинный рапорт, если это тебя хоть сколько-

нибудь интересует. С чего начать бы только? По свойственному людям себялюбию, начну прежде всего с самого себя. Поживаю я отлично скверно, до того скверно, что бежал бы куда глаза глядят, да жаль, что некуда! И не то, чтобы был нездоров — нет, мать-природа в избытке наделила меня *вожделенным,* а просто жить скверно, в нравственном смысле. Едва ли поверишь ты, если я скажу, что глупая и пошлая клевета о моей принадлежности к тайной полиции получила самое широкое развитие, проникла во все углы и закоулки богоспасаемого Славнобубенска и въелась во всеобщее убеждение столь прочно, что шпионство мое стало на степень непреложного, несомненного факта. Это поставило меня в невыносимое положение, не лишенное, однако, самых комических сторон. Разные власти и чиновники, у которых рыльце в пуху, стали сильно меня побаиваться и оказывать всяческие любезности, но ты хорошо поймешь то чувство, которое заставляет меня уклоняться от восприятия их любезностей, а эта уклончивость еще более упрочивает в них убеждение, что я "тайный агент". Зачастую приходится мне получать безымянные письма, с просьбами "донести куда следует", иногда даже "во имя либерального прогресса и гуманности", или, как здесь более выражаются, "ради человечества". И если бы ты только мог представить себе, каких невообразимых мерзостей, каких изветов, подвохов и подкопов исполнены эти анонимные писания "во имя человечества!" Вся закулисная сторона славнобубенской жизни, от стола любого присутственного места до арестантской камеры, от приемной губернатора до спальной чужой жены — все это служит удобным материалом для этих писем, гнусных до примитивной, наивной, несознающей себя подлости! Хотя к заигрываньям властей и можно иногда относиться с комической точки зрения, но, воля твоя, жить в этой среде и знать, что каждый чувствует в тебе шпиона — это невыносимо! Я совершенно бросил общество, нигде не показываюсь, со всеми почти перестал кланяться, и все-таки тяжело! Ведь это приходится ежедневно выносить нравственную пытку. Я ретивее ударился в свои занятия, в учительство — но увы! Прежде столь сильное, нравственное влияние мое на учеников теперь совершенно исчезло: я ничего не могу поделать! Самолюбие, сознание человеческого своего достоинства, чувство долга, наконец, не позволяют мне смалодушничать, бросить все, признать себя побежденным и бежать отсюда; я еще борюсь, пока и буду бороться, но борьба, подчас, чересчур уже тяжела становится — тяжела потому, что бесцельна, потому что этим донкихотским боем с ветряными мельницами только свое я, свое самолюбие тешишь, а в результате бокам твоим все же больно! Как там ни презирай среду за ее баранью глупость и пошлость, а она вот все-таки деспотически давит тебя, и ты ежеминутно чувствуешь над собою силу ее гнета!

Но довольно пока о себе, поговорим вообще о граде Славнобубенске. Здесь — черт его знает! — какая-то невообразимая и очень странная кутерьма происходит. Возьмем, например, гимназию. На последнем учительском совете, Феликс Подвиляньский внес на всеобщее обсуждение вопрос: не признает ли совет благопотребным и даже необходимым, для наиболее успешного умственного и нравственного развития учеников, и для ознакомления их с ходом событий современной жизни России, в которой им придется быть деятелями, допустить в гимназии безпрепятственное чтение «Колокола» и прочих заграничных изданий? Комментариев я никаких не делаю, но скажу, что предложение это, пущенное на голоса, отвергнуто большинством одного только голоса, и то лишь из приличия. поданного председателем, против Подвиляньского. В чиновных и чиновничьих сферах проявился какой-то новый, особенный жанр: ругать наповал все, что носит на себе русское имя, дарить высокомерным презрением все, что отличается русскими симпатиями. Слово патриот стало у нас каким-то позорящим ругательством. Председатель казенной палаты однажды не на шутку обиделся, когда к нему обратились, чтоб он дал в каком-то вопросе свое мнение, "как добрый патриот", и отвечал, что он слишком считает себя развитым человеком, чтобы держаться таких узких, отживших понятий, как нелепое понятие о патриотизме. Особенно дамы преуспевают. Эти-то с чего? уж Господь их знает! Слышно, что кое-где по городу гуляют какие-то прокламации, под названием «Великорусс» и "К молодой России", но видеть их самому еще не

приходилось, а толки-то — толки об этом предмете идут горячие и нескончаемые! Впрочем, Славнобубенск вообще веселится. Здесь живет некто граф Северин-Маржецкий, высланный сюда на жительство по политическим делам. Я, конечно, его не знаю, но кажется, что это открытая, честная и добрая душа. Он очень богат и постоянно щедрой рукой помогает, без разбора, всем славнобубенским бедным. Его очень хвалят. Он живет открыто, бывает запросто у очень многих, даже и не из важных, а у себя задает еженедельно вечера, на которые съезжается, без разбору, чуть не весь Славнобубенск. Вот что значит цивилизованный человек: ссыльный и притом аристократ по происхождению, а ни тени ненависти к русским, ни тени кичливости в выборе своих знакомств — ровен, мил и любезен со всеми, без различия. А раза два видел его в городском саду: старик, а еще можно сказать, красавец. Наши барышни и барыни просто с ума по нем сходят и распевают какие-то польские гимны, которые у нас тут теперь в большой моде между барышнями. Ну, что ж бы тебе еще сказать о Славнобубенске? Ах, да! Жандармский полковник Пшецыньский, арестовавший тебя в Высоких Снежках, недавно получил Анну на шею за снежковское укрощение и по этому поводу лихо откалывал (с орденом на шее) мазурку на семейном вечере в летнем помещении клуба. Это обстоятельство может напомнить тебе мудрое изречение российских прописей, что "усердие не остается без награды".

"Все эти новости я знаю через Татьяну Николаевну, которая поручила тебе очень и очень кланяться. Ты, вероятно, вскоре увидишь ее в Петербурге. Они с теткой намереваются провести там зиму. А мне, стало быть, будет еще грустнее и темнее в моей и без того неприглядной жизни. Это ведь единственный дом, где я бываю, где я просто отдыхаю душой, где мне тепло и уютно, а теперь и этого не будет... Только и останется у меня один старый майор Петр Петрович. Да впрочем, и его-то жизнь не пригляднее моей. С дочкой-то его, кажись, что-то нехорошее. Она скрывает, отец не видит, а кончится чем-нибудь нехорошим. У меня просто душа болит за этого старика, да и ее-то бедную, жаль... Мерзавец Полояров!

"Наш бывший кружок совершенно распался; впрочем, это началось при тебе. Воскресная школа осталась без всякого призора, потому что с заведывателями ее случился некоторый скандалик. Заодно уж посплетничаю тебе и об этом! В последнее время заведовала ею знаменитая Лидинька Затц, вместе с плюгавеньким Анцыфриком. Только вдруг, в одно прекрасное утро, по Славнобубенску разнесся слух, что Анцыфрик (вообще, по отъезде Полоярова, ютившийся под ее крылышком) похитил Лидиньку от мужа; другие же рассказывали, что не Анцыфров Лидиньку, а Лидинька Анцыфрова похитила и увезла с собою в Питер, но при этом взяла от мужа обязательство в ежемесячном обеспечении, и тот, будто бы, дал таковое с удовольствием. Таким образом, видишь ли, сколько великих деятелей эмигрировали из Славнобубенска, и все это богатство достается на долю вашего Питера! Однако, довольно сплетничать. Скажи-ка лучше, что это за слухи о новых правилах, опубликованных для университетов? Чем вызвана такая явная несправедливость относительно бедняков, если только это справедливо? Ведь я, например, будь я в университете, я бы не имел возможности кончить курс. За что все сие бысть? Пиши мне, пожалуйста, обо всем об этом, а пока желаю тебе всякого благополучия.

Твой Андрей Устинов".

Это письмо изменило настроение Хвалынцева. Весть о скором приезде Стрешневой окрылила его, как птицу в ясном воздухе, светлою радостью. "Она приедет... Она не забыла своего обещания, она помнит его, велела ему очень, очень кланяться". — Хвалынцев еще и еще раз перечел это место из устиновского письма. — "Чего же более? Теперь-то и жить, теперь-то и работать!.. зная, что она тут, близко — она, такая светлая, умная, милая, хорошая, — что она будет награждать его труд своим вниманием, участием, дарить за него своей лаской. — Господи! да тут чего же не сделаешь! да тут почувствуешь силы атланта! Один, еще один

только год труда, — а там рука об руку, вместе, ступай, работай, наслаждайся и живи, живи, живи".

Хвалынцев вспрыгнул с кушетки и быстрыми шагами радостно заходил по комнате.

III. Прокламация и сходка 23-го сентября

Всю неделю в университете продолжались волнения. Большая и шумная сходка собралась 20-го сентября. Пред началом ее было вывешено воззвание, приглашавшее студентов к единодушию; но единодушия, столь желаемого в данных обстоятельствах, не было, хотя необходимость его сознавалась почти каждым членом университетской корпорации. На этой сходке, равно как и накануне, присутствовало в стенах университета очень много посторонних лиц, служащих и неслужащих, которые видимо, заявляли свое сочувствие студентскому делу. Сходка 20-го сентября не выработала никаких определенных положений, не привела ни к каким положительным результатам, кроме того, что всеобщее недовольство возросло еще более. Оно возрастало с каждым днем и у многих переходило в озлобление. Толковали, что всякие сходки положительно и безусловно воспрещены "Дополнением к министерским правилам от 21-го июня", но никто из начальствующих лиц не появлялся перед студентами с объявлением об этом воспрещении. Ни начальство, ни полицейско-университетские власти ни разу не появились ни на одной студентской сходке: они словно бы исчезли куда-то. Студенты же вполне за собою считали свое шестилетнее право сходок, пока им не объявлено прямо и формально о их воспрещении и пока не розданы еще вновь вводимые матрикулы. Все эти дни университет был полон народом и вмещал в стенах своих аудиторий до полуторы тысячи человек. Это были дни шумные, смутные и тяжелые для студентства.

* * *

23-го сентября, в субботу, с утра еще в сборной зале стояла огромная толпа. На дверях этой залы была вывешена прокламация, которая потом висела беспрепятственно в течение шести часов сряду. Ни единая душа из начальства, по примеру предыдущих дней, не появлялась даже в виду студентов.

Хвалынцев еще внизу, в швейцарской, услышал о какой-то прокламации и вместе с несколькими товарищами спешно направился в сборную комнату, из которой одни выходили, другие входили, так что отлив постоянно пополнялся новым приливом, и таким образом толпа ни на минуту не уменьшалась.

Не без труда пробрался Константин Семенович поближе к дверям, на которых висело воззвание, желая поближе разузнать в чем дело.

Один из студентов читал громко и явственно.

"Наш век железный, век царей,
Штыков, законов бестолковых,
Плодит без счету не людей —
Людишек, дряненьких, грошовых".

"Правительство бросило нам перчатку, теперь посмотрим, сколько наберется у нас рыцарей, чтобы поднять ее. На словах их очень много: куда ни обернешься — везде красные, только как бы вам не пришлось краснеть за них.

"*Студенты буйствуют, студенты своевольничают*", брюзжат седовласые столпы отечества

(прямые столпы), и вот являются перед глазами публики декреты: впускать в университет только платящих (выражаясь прямее: душить невежеством массу); запретить всякие сходки (то есть, dividere et imperare, а как imperare,[65] почувствуем впоследствии). Вот покуда два образчика нежности.

Этого мало? Да, конечно. Но это только цветики… но что же нам делать? Да ничего… молчать. И потому *молчите, молчите, молчите.*

Русский народ издавна отличался долготерпением. Били нас татары — мы молчали просто, били цари — молчали и кланялись, теперь бьют немцы — мы молчим и уважаем их… Прогресс!.. Да в самом деле, что нам за охота заваривать серьезную кашу? Мы ведь широкие натуры, готовые на грязные полицейские скандальчики под пьяную руку. Это только там, где-то на Западе, есть такие души, которых ведет на подвиги одно пустое слово — la gloire.[66]

Теперь нам запрещают решительно все, позволяют нам сидеть скромно на скамьях, слушать цензурованные страхом лекции, вести себя прилично, как следует в классе, и требуют не рассуждать, слышите ли — *не рассуждать!* Ха, ха, ха!"

По толпе пробежал громкий смех. Чей-то голос выкрикнул: "Слушаем, ваше превосходительство! рады стараться!" — и общий смех разлился еще дружнее.

"Но господа, — снова продолжал чтец, — если, паче чаяния, взбредет нам, что и мы тоже люди, что у нас есть головы — чтобы мыслить, язык — чтобы не доносить, а говорить то, что мыслим, есть целых пять чувств — чтобы воспринимать ощущение от правительственных ласк и глазом, и ухом, и прочими благородными и неблагородными частями тела, что если о всем этом мы догадаемся нечаянно? Как вы думаете, что из этого выйдет? Да ничего… Посмотрите на эпиграф и увидите что выйдет".

— Вздор! Неправда! Меж нами найдутся честные люди! Это незаслуженные укоры! — раздались там и сям протестующие возгласы.

"Все данные имеются у нас теперь, чтоб обмануться в наших словах", говорилось далее в прокламации.

— И обманетесь! обманетесь! Вы уже и обманулись! — громко отвечали на это слушатели.

Студент продолжал читать:

"Мы — легион, потому что за нас здравый смысл, общественное мнение, литература, профессора, бесчисленные кружки свободно мыслящих людей, Западная Европа, все лучшее, передовое за нас. Нас много, более даже, чем шпионов. Стоит только показать, что нас много. Теперь кто же против нас? Пять, шесть олигархов, тиранов, подлых, крадущих, отравляющих рабов, желающих быть господами; они теперь выворачивают только тулупы, чтобы пугать нас, как малых детей, и чтоб еще более уподобиться своей братии — зверям, но бояться их нечего, стоит только пикнуть, что мы не боимся; потом против нас несколько тысяч штыков, которых не смеют направить против нас. Вот и все. Что же тут страшного?"

Иван Шишкин, стоявший и слушавший в толпе, как-то вдруг почувствовал, что и точно ничего нет страшного.

"Итак все, кто не боится, пусть сплачиваются в массу и… пусть будет, что будет. Худого не может быть. Мы не за худое".

— Бояться!.. Х-хе! Чего бояться? Плевать! — с выразительной интонацией прибавил Ардальон Полояров и, ради пущей изобразительности, отменно хорошо плюнул на пол, словно бы этим самым действием торжественно и всенародно подтвердил, что и взаправду плевать на всех и вся. Его выходка некоторым весьма понравилась: ее встретили одобрительным смехом — обстоятельство, очень польстившее Полоярову.

"Главное, бойтесь разногласия и не трусьте энергических мер", вещала далее прокламация. "Имейте в голове одно: *стрелять в нас не смеют,* — из-за университета в Петербурге вспыхнет бунт. Уже теперь наши начальники твердят, покачивая головами: "*Столица не спокойна*". На наших мы менее надеемся, чем на *поляков.* В них более благородного самоотвержения; они умели смело покушаться несколько раз на приобретение своей свободы, умели без страха идти на пытку, в рудники, страдать за идею, и поэтому наш братский призыв к ним: принять самое деятельное участие в общем деле, поделиться с нами своей энергией".

Кое-где между слушателями послышался легкий говор и шепот сомнения. Сомневались в том, захотят ли и теперь поляки поддержать своим участием общее университетское дело. Сомневались исключительно почти одни только старые студенты, которые уже по трех-четырехлетнему опыту знали, что польские студенты всегда, за весьма и весьма ничтожными исключениями, избегали общества студентов русских и старались по возможности не иметь с ними никакого общего дела. Поляки строго держались всегда своего отдельного, замкнутого кружка, не хотели пользоваться студентской библиотекой, не обращались и не принимали пособий из студентской кассы, хотя многие из них доходили порою до последней крайности. Они избегали даже протягивать руку знакомым русским студентам, тогда как русские (и это могут подтвердить почти все бывшие в университете в промежуток между 1857-60 годами) неоднократно протягивали польской партии свои братские объятия, предлагая полное единение и дружеское слияние во имя науки и общих интересов. Вежливо холодное, сухое и гордое презрение, всегда слишком явно сквозившее в отношениях поляков к русским, было их постоянным ответом на эти беззаветно хорошие юношеские порывы. И вот поэтому давний опыт старых студентов породил в некоторых из них говор сомнения в эту минуту.

"Энергия, энергия, энергия!" гласила в заключение прокламация. — Вспомним, что мы молоды, а в это время люди бывают благородны и самоотверженны! не пугайтесь ничего, повторяем еще раз, хотя бы пришлось всему университету идти в келью богомольного монастыря.

Судите!.. Но не напонимайте собою эпиграфа".[67]

Когда окончилось это чтение, Хвалынцев пробрался в коридор, который был полон народом. Едва успел Константин Семенович перекинуться кое с кем из знакомых несколькими словами, как мимо него понеслась огромная гурьба, с криками: "на сходку! на сходку! в актовую залу!" Студенты бежали, опережая друг друга. Увлеченный общим потоком, и Хвалынцев направился туда же.

Комнаты, прилегающие к актовой зале, были битком набиты народом. В толпе пробегал сильный ропот: двери залы оказались запертыми. Начальство, думая помешать сходке, отдало приказ не отпирать их. Некоторые предлагали собраться, все равно, в XI-й аудитории, но XI-я аудитория, устроенная амфитеатром и самая обширная из всех остальных, не могла вместить в себе всего числа людей, желавших присутствовать на сходке. Напрасно прождав здесь долгое время и видя в этой замкнутой двери явное намерение помешать сходке, студенты подняли сильный ропот. Толпа оставалась в нерешительности, что ей делать и на что решиться, как вдруг кому-то пришла мысль направиться в коридор смежный с актового залой, куда выходили стеклянные двери. Толпа повалила на этот зов, — в коридоре раздался треск и звон

вышибленного стекла, чья-то рука через образовавшееся отверстие отодвинула задвижку, которою дверь запиралась — и препятствие было устранено. Шумный поток тесной и густой толпы хлынул в актовую залу и в минуту наполнил ее.

Тотчас же потребовали профессора, исполнявшего должность ректора, для объяснений касательно новых правил. Смущенный профессор, вместо того, чтобы дать какой-либо ясный, категорический ответ, стал говорить студентам о том, что он — профессор, и даже сын профессора, что профессор, по родству души своей со студентами, отгадывает их желания и проч. и проч., но ни слова о том, что студенты должны разойтись. Раздались свистки, шиканье, крики — профессор спешно удалился.

И вот, окончив таким образом расчет с исправляющим должность ректора, студенты на этой сходке окончательно решили: новым правилам не подчиняться, 50 рублей не платить, матрикулы, которые будут розданы, и билеты для входа уничтожить. Сходка, продолжавшаяся более получаса, разошлась шумно.

IV. Шествие в Колокольную улицу

25-го числа, в понедельник утром, придя по обыкновению на лекции, Хвалынцев был остановлен перед запертою дверью университета, около которой стояла все более и более прибывавшая кучка молодежи.

— В чем дело, господа? Чего вы тут стоите?

— А вот читайте, полюбуйтесь!

На дверях было прибито краткое объявление, гласившее, что чтение лекции в университете прекращено впредь до дальнейших распоряжений.

— Вот тебе бабушка и Юрьев день! — острил кто-то в кучке.

С университетского двора прошло несколько человек студентов, которые объявили, что точно такие же объявления вывешены на всех наружных дверях, и что — еще сюрприз! — лаборатория и студентская библиотека, как они сами в том убедились, точно так же закрыты.

— Ergo: университет закрыт! — почти единодушно решили в толпе.

А толпа с каждой минутой все прибывала и росла, так что до середины мостовой улица была занята ею. Среди молодежи были очевидцы, которые уверяли, что соседние здания Кадетского корпуса, Академии наук и биржи заняты жандармами, спрятанными на всякий случай. Известие это, весьма быстро передававшееся из уст в уста, иных встревожило, а иным весьма польстило самолюбию: а ведь нас-де боятся!

— Ничего, что жандармионы! Палки у нас здоровые! Справимся! — с молодцеватою самонадеянностью, громко заявлял Ардальон Полояров, потрясая, всем напоказ, своею козьмодемьянскою палицею.

— А! и вы, батенька, здесь! — заметив Хвалынцева, подошел он к нему.

— Да я-то здесь, это неудивительно, — отвечал тот, — а вот вам-то что здесь делать? Ведь вы не вольнослушатель?

— Гм… Хотя и не вольнослушатель, но посещаю. Я — друг науки! — с комически важной

улыбкой заявил Ардальон, словно бы ему и самому то казалось смешным, что он — друг науки. — Знаете, как это говорится: "amicus Plato, sed major amicus veritas", так ведь это, кажется? А уж я, батенька, за правду всегда и везде… Это уж мы постоим! с тем и возьмите! — говорил он, внушительно опираясь на свою дубину.

— А вы слышали, ваши славнобубенские друзья здесь, в Петербурге, — сообщил ему Константин Семенович.

— То есть какие это друзья? — нахмурясь и каким-то подозрительным тоном, нерешительно и неохотно спросил Полояров.

— Господин Анцыфров и госпожа Затц, — пояснил Хвалынцев.

— А! да, да! как же здесь! — с прояснившимся лицом подхватил Ардальон Михайлович. — Мы даже вместе живем: коммуну себе составили.

— Как это коммуну? — удивился Хвалынцев.

— А так, как есть, настоящую коммуну, на основании социалистов. Ведь вы, сударь мой, вероятно, маракуете кое-что в социалистах?.. Ну, там, знаете, Фурье, Сен-Симон, Бюхнер, Молешот, Прудон… ну, там, Фохт еще… ну, и прочие — маракуете?

— Положим, что "маракую", — удостоверил его Хвалынцев, с трудом воздерживаясь от улыбки при этом вавилонском смешении имен.

— А когда маракуете, так и нашу коммуну поймете. Самое любезное дело! Дайте-ка папироску. У вас хорошая.

Толпа студентов между тем возрасла до девятисот человек, увеличиваясь партикулярными лицами, так или иначе приобщившими себя к студентскому кругу. Улица была почти уже запружена, поэтому несколько наиболее влиятельных личностей, пользовавшихся авторитетом между товарищами, желая предупредить неуместное столкновение с полицией, подали мысль отправиться на большой двор, чтобы быть таким образом все-таки в стенах университета, не подлежащего ведению общей блюстительницы градского порядка, — и толпа хлынула в ворота.

Долго еще шумели, судили, рядили внутри двора, но никто еще не знал окончательно, на что следует решиться в данном положении. Наконец притащили откуда-то лестницу и приставили ее к стене. Эта лестница послужила трибуной для ораторов. Полояров вскарабкался на дрова, сложенные в большом количестве тут же на дворе и, с высоты своего поста, ежеминутно порывался вещать народу. Рядом с ним взгромоздились еще несколько личностей, и между ними та хорошенькая студентка, которую заметил Хвалынцев неделю тому назад в курильной комнате.

На лестнице то появлялись, то исчезали фигуры студентов: несколько ораторов сменяли один другого; толпа то слушала, то шумела среди всеобщих совещаний.

— Депутатов! Послать к попечителю депутатов за объяснением! — раздавались из среды ее громкие голоса.

— Нет, ждать на дворе, пока приедет попечитель! — кричали другие.

— Чего там ждать! просто всем, как есть всем, идти к попечителю и требовать объяснений! — взывали третьи.

— Требовать немедленного открытия университета! уничтожения матрикул! отмены платы! — слышались разные голоса.

— Господа! господа! — вопил на дровах Ардальон Полояров. — Господа, я прошу слова! Если мы общественная сила, господа, то надо действовать решительно и силой взять то, что нам принадлежит. Высадим просто любые двери и займем университет! И университет будет открыт и выгнать нас из него не посмеют. Войдемте, господа, силой!

Хвалынцев пробрался к лестнице, и после некоторых усилий ему удалось вскарабкаться на эту трибуну.

— Господа! громко и решительно начал он; — одну минуту терпения и внимания! Выслушайте меня!

Студенты в течение трех лет успели хорошо узнать Хвалынцева. В очень многих кружках он пользовался любовью, как добрый и честный товарищ, и уважением, как хороший, дельный, работящий студент. Поэтому, при появлении его на лестнице, толпа замолкла и приготовилась выслушать.

— Закон запретил нам выбирать и посылать наших депутатов для заявления наших нужд и потребностей, — начал он свою речь, — исполнимте закон, не станем ему противиться.

Кое-где зашикали, несколько голосов закричали: "Вон! долой!" но Хвалынцев не смутился.

— Между тем, нам надо знать, за что, как, по какому случаю закрыт университет? — продолжал он. — Наконец, если начальство нашло нужным прекратить чтение лекций, то зачем заперты университетская и наша собственная, студентская библиотеки? зачем заперта лаборатория, тогда как и те, и другая бывают открыты постоянно и даже во время каникул, когда нет лекций? Мы имеем полное и неоспоримое право знать, за что нас лишили лекций, лабораторий и библиотек? С нас взяли установленную плату за слушанье лекций, за право быть студентами; следовательно, мы имеем право на слушанье лекций и право на объяснение, за что и надолго ли нас лишили университета! Мы купили себе это право.

— Браво! браво! Так! Хорошо! — одобрительно закричали в толпе.

Хвалынцев выждал, пока умолк этот крик одобрения и продолжал:

— Но каким путем добиться необходимых объяснений? Депутаты запрещены; адресы письменные и запросы наши, как уже доказано фактом, не передаются по назначению. Что же делать? Мне кажется, что те, которые предлагают отправиться всем университетом к попечителю и требовать у него объяснений, имеют на своей стороне тот шанс, что это — единственный возможный нам путь, после запрещения депутатов. Но, так как в соседних зданиях спрятаны жандармы, то это явно показывает, что от нас ожидают уличных беспорядков и демонстраций. Господа! обманемте их добрые ожидания и надежды! Мы пойдем всем университетом к попечителю, но пойдем так, что никому не удастся, при всем желании, сделать из нас фрондеров и демонстраторов. Пока, мы еще не лишены права свободно и чинно ходить по улицам. Поэтому я, господа, предлагаю: отнюдь не выходя из пределов легальности, идти смирно, благочинно, не по улице, а по тротуару, по два, а много по три человека в ряд, на известном расстоянии пара от пары, чтобы не мешать посторонним прохожим и чтобы нас не могли назвать толпой. Курение папирос, громкие возгласы и прочее тому подобное строго устраняется. Согласны ли вы, господа, на мою программу.

— Браво! Хорошо! Отлично! Согласны! Все согласны! — дружно подхватили в толпе — и

Хвалынцев сошел с лестницы, приветствуемый горячими рукопожатиями многих своих товарищей.

— Хвалынцев! Господин Хвалынцев! — кричал ему с дров Ардальон Полояров. — Все это отлично, только легальность-то эта уж вовсе напрасно! А по-моему, коли идти, то так чтобы чертям было тошно! Дернуть бы эдак «Марсельезку», или "Долго нас помещики душили", а то что так-то! Идти каким-то пансионом благородных девиц! Ну, на черта ли это похоже! Надо, господа, заявить открыто, что мы — сила прежде всего! У нас за плечами вся Западная Европа стоит и смотрит на нас, а мы вдруг — пансионом благородных девиц! Ха, ха, ха, ха!

— Депутат! депутат от медицинской академии. Слушайте, смотрите, — зашумели в толпе. И действительно, на лестнице показался какой-то медико-хирургический студент и объявил, что он, от лица медиков, выражает сочувствие студентам университета.

Медику похлопали, покричали «браво», пожали руки в знак благодарности.

После него вскарабкался на лестницу какой-то офицер и тоже заявил, с своей стороны, сочувствие.

И офицеру тоже похлопали, покричали «браво» и пожали руки.

Офицер сошел с трибуны и присоединился к той группе, где стояло несколько чамарок, и между ними Василий Свитка с Иваном Шишкиным, которые тоже пожали ему руку, горячо и благодарно, как доброму и близкому знакомцу.

— Господа! Товарищи! — раздался на дровах звучный и полный увлечения женский голосок.

Толпа обернулась на этот зов: на дровах стояла и махала платком хорошенькая студентка.

— Желаю вам полного, счастливого успеха, — говорила она. — От всей души желаю! Только помните одно, господа — как можно более единодушия! Единодушие, единодушие и единодушие! Это мое последнее слово!

— Браво! браво, Попова! Браво студентка! Молодец Попова! Благодарим! — зашумела толпа и чинно тихо, в величайшем порядке, стала выходить с университетского двора на набережную.

Путь лежал через Дворцовый мост и по Невскому проспекту от Адмиралтейства до Владимирской.

Василий Свитка нагнал дорогою Хвалынцева.

— Спасибо вам, великое спасибо! — заговорил он, горячо пожимая ему руку. — Неделю тому назад вы показали благородную смелость против толпы, а сегодня показали хорошее умение владеть этою толпою и направлять ее. О, это золотое качество! Это драгоценное свойство, а я вижу, что вы им отлично владеете. И главное, умели направить-то с величайшим тактом и вполне легально. Вот что важно. От этого много зависит!

"Чего этот барин все комплименты мне говорит!" пробежала мысль в голове Хвалынцева; но самолюбие было опять-таки польщено и заглушило зародыш сомнения. — "А впрочем, он, кажется, хороший господин", успокоительно убаюкал себя Константин Семенович и не без удовольствия ответил приветом на горячее пожатие Свитки.

— Эх, право! — заговорил подошедший в эту минуту Полояров, — и на кой черт вы эту тишину

и спокойствие выдумали! Этим мы показываем им, будто боимся их. С «Марсельезкой-то» эффектнее было бы.

— Ну, ступайте на другой конец улицы и пойте себе, коли вам нравится! — досадливо оборвал его Хвалынцев.

— Кто? Я-то? — насмешливо прищурился Полояров.

— Да, вы-то!

— Да меня… полиция заберет.

— Ну, вот то-то же и есть. А вы не смущайтесь, вы покажите ей ваше гражданское мужество.

— Хе, хе… Оно конечно… Но знаете, один в поле не воин. Кабы все — другое дело; всех не тронут! А вы, господин Хвалынцев, я вас полюбил, ей-Богу полюбил! — продолжал Ардальон, отчасти в протекторском, отчасти в подлаживающемся тоне. — Я вас не знал прежде… Ведь я, признаться сказать, думал все, что вы шпион.

— Представьте, что я знал вас прежде и всегда думал, что вы дурак, — с дерзким смехом и твердо глядя ему в глаза, напрямик отрезал Хвалынцев.

Полояров отшатнулся назад и побагровел от злости. Он всегда был нагл с теми, кто смущался этим полояровским свойством, и чем кто более смущался, тем наглость его становилась сильней и назойливей; ею он постоянно брал верх и придавал себе тон авторитета. Но вдруг коса нашла на камень. Он никак не ожидал подобного отпора и осекся сразу. Он почувствовал ясно, что Хвалынцев не трусит и никогда ни в каком случае не струсит пред его внушительной особой. Даже вся закипевшая в нем злость в минуту оказалась бессильною перед твердым, прямым и спокойным взглядом студента. Он почувствовал себя как-то нравственно слабее Хвалынцева, почувствовал какую-то подчиненность более сильному и смелому человеку и потому сразу в душе возненавидел его. Но ни ненависти, ни даже оскорбления показать не решился, а так как эта, пилюля была им проглочена в присутствии других лиц, то Ардальон моментально сообразил за лучшее обратить все дело в шутку.

— Хе, хе, хе!.. Однако вы, батенька, тово!.. шутник… ей-Богу шутник! — принужденно улыбаясь мило-приятельской улыбкой, заговорил он. — Так-таки и дурак, по-вашему? Хе, хе, хе!.. Нет-с, батенька, кто знает меня поближе, тот не скажет, что Ардальон Полояров дурак, да и вы не скажете, когда узнаете… Но шутник, право шутник.

— За шутку шуткой, — отвечал Хвалынцев; — знаете пословицу: что посеешь, то и пожнешь.

— Да я не обижаюсь!.. Кто же вам сказал, что я обижаюсь? На все обижаться, так и печенок не хватит!.. Ведь брань на вороту не виснет, скажу я вам другую пословицу. Да это все ce sont des пустяки, а дайте-ка мне лучше папиросочку. Смерть, курить хочется!

— Ведь был же уговор — на улице не курить.

— Да что мне уговор! Я человек независимый и ливреи не ношу, хотя бы и студентской. А впрочем, коли скупитесь дать, мы и свою достанем.

И он, под благовидным предлогом курения, отстал от Хвалынцева.

— Как вам нравится этот субъект? — спросил последний у Василия Свитки.

— Знаю я его. Пустельга; ни к черту не годен! — с презрительной миной махнул рукой Свитка.

Колонна студентов чинно тянулась по Невскому проспекту. Множество встречных посторонних лиц, оглядывая с изумлением это собрание студентских фуражек, шинелей и пальто, спешили осведомляться, в чем дело, и присоединялись к шествию. Таким образом процессия тянулась почти на целую версту и все увеличивалась постоянно присоединяющимися партиями разных лиц, мужчин и женщин, военных, моряков, гимназистов, чиновников, кадетов и даже уличных разносчиков. Студенты меж тем, несмотря на возрастающее скопище народа, шли попарно, либо по три человека, чтобы не занимать весь тротуар, не производить замешательства на улице, и в некотором расстоянии между парами, дабы, по возможности, менее походить на корпоративное скопище. Но масса их синих околышей была столь велика, что старание это осталось совершенно тщетным, и шествие, невольно, само по себе, принимало видимый характер уличной демонстрации. На дороге встретился им попечитель, который ехал в университет. Он не остановился и проехал мимо. Но узнав, уже в университете, цель, с которою отправились студенты, поспешил вернуться домой. Городские власти, сведав об этой процессии, поскакали вслед за нею и, догнав студентов у Аничкина моста, вдруг поехали шагом позади колонны, следя и наблюдая за нею. Такой странный вид имел этот поезд на посторонние глаза каждого человека.

На Владимирской сопровождавшие власти вышли из экипажей и пошли пешком по другой стороне улицы. Один из представителей власти, спешными шагами достигнув головы процессии, стал поперек идущим студентам и крикнул внушительно и строго:

— Куда?.. Назад!

— Мы идем к попечителю! — отвечали в толпе.

— Его нет дома.

— Это нам сообщит лакей в его квартире. Впрочем ничего, мы подождем.

И продолжали идти дальше, наконец повернули в Колокольную улицу и здесь остановились перед домом, в котором жил попечитель.

У подъезда стоял полицмейстер, с казаком ординарцем, и потребовал, чтобы студенты немедленно же разошлись.

— Мы разойдемся тогда, — отвечали ему, — когда получим объяснение от попечителя, а если вам угодно, чтобы это случилось поскорее, то пошлите за ним своего казака.

Полицмейстер отказался и в бездействии продолжал стоять себе у подъезда.

Толпа запрудила всю улицу. Любопытные из публики взбирались на ступеньки соседних подъездов, на тумбы, на фонари, на фундамент ограды Владимирской церкви, чтобы с более возвышенного пункта видеть, что происходит в среде студентской толпы.

Через несколько минут приехал и попечитель.

Его окружили и стали требовать объяснений. Попечитель, совершенно справедливо находя неудобным объяснение с толпою на улице, просил ее разойтись. Ему предложили принять объяснение на квартире.

— Но, господа… у меня семейство, дети, — возразил он.

— Мы ручаемся, мы отвечаем за их безопасность! — кричали голоса из толпы.

В эту минуту показались на улице конные жандармы.

— Жандармы! давить будут! — вскрикнуло несколько человек — и вся толпа пришла в ярость. Забыто было и объяснение, и попечитель. Раздались свистки, шиканье и крики: "Вон! вон!"

Жандармы шагом двигались далее.

Толпа всей гурьбой кинулась к ним навстречу и охватила их с фронта и с флангов. Среди криков и шиканья, поднялись в воздух палки, в особенности знаменитая дубина Ардальона Полоярова работала исправно по мордам жандармских лошадей "ради пользы общественной". Жандармы удалились.

Студенты снова окружили попечителя и продолжали объяснение.

— Но что же вам угодно, наконец, господа? — в видимом затруднении спросил он.

— Долой матрикулы! долой министерство! долой пятидесятирублевую плату! — с трудом можно было расслышать крики в общем шуме и гвалте раздраженной толпы. С минуты одержания победы над жандармами спасительное благоразумие было забыто — дурные страсти и буйные инстинкты стали усиленно бродить и разгуливаться в толпе.

— Мы хотим знать, почему закрыт университет? — приступили к попечителю немногие из наиболее благоразумных и скромных в своих требованиях.

Попечитель пожал плечами. Студенты передавали потом друг другу, будто он отвечал, что не знает, почему университет закрыли. Но так ли это, или нет, а достоверно известно, что почти получасовые резоны и убеждения его имели тот смысл, что объясняться на улице он не может, а даст ответ в университете.

— Нет, на улице! Здесь же! Сейчас! — вопил Полояров. — Университета нет! университет закрыт, значит в университете нельзя давать объяснений! Требуйте, господа на улице! Напирайте, не спускайте!.. На улице, черт возьми, на улице! — завопил он, в заключение, что было мочи, во всю свою здоровенную глотку.

Многие подхватили его возглас.

Между тем в Колокольной заблистали медные каски пожарных, появились отряды городовых с револьверами, жандармов с саблями и рота стрелкового батальона, которая была остановлена на пути своем в крепость, куда шла для занятия караулов. Отряды эти загородили выход из улицы со стороны Владимирской.

— Войско! Сброд всякий! Сволочь полицейская! Гнать их отсюда! Вон! долой! — снова поднялись яростные крики и вопли, и толпа вторично готова была ринуться на войско, как вдруг раздался резкий звук сигнального рожка.

— Господа! нас атакуют!.. это атака!.. В нас будут стрелять! сейчас стреляют! — смутно пронесся по толпе тревожный говор. У многих вырвался короткий вопль ужаса. Ужас и томительная тоска ежемгновенного ожидания отразились на многих лицах. Многие побледнели, перепугались и, растерянные, заметались во все стороны. Поднялась суета, смятение, суматоха. Там и сям неприятно-резко послышался женский визг. Смущение и паника были написаны почти на каждой, мгновенно побледневшей физиономии. Ардальон

Полояров, бледный, дрожащий, перепуганный суетился чуть ли не более всех и, усердно работая руками и ногами, как можно скорее искал себе выхода из толпы и, наконец прорвавшись кое-как к тротуару, впопыхах опрокинул какую-то торговку с яблоками, рассыпал весь ее товар и, словно заяц под кочку, дал поскорее стрекача в первый попавшийся подъезд, в котором и скрылся благополучно за стеклянною дверью.

— Ах, трусы, трусы! — злобно и презрительно ворчал себе сквозь зубы Василий Свитка; — и тут постоять за себя не могут!.. "А для довершения эффекта хорошо, кабы разик горошком хватили", подумал он; "последствия, даст Бог, были бы добрые... поднялось бы скорей".

— Господа, чего вы! — стараясь придать себе спокойствие и хладнокровие, громко обращался к студентам стоявший рядом со Свиткой, Хвалынцев. — Не стыдно ли? Студенты, мужчины!.. Стреляют? Ну, что же, умейте стоять честными людьми, коли дело дошло до этого!

Его слова и спокойный вид подействовали на многих. Многим стало, и в самом деле, стыдно, особенно после того, как голос Хвалынцева был поддержан молодой девушкой студенткой.

Через минуту более половины этой толпы уже очнулось и было готово встретить огонь. "Ура!!" громко и радостно вырывалось из нее, вместе с другими ободрительными криками и возгласами.

— Господа! успокойтесь! опасного нет ничего! — снуя по толпе, убеждали между тем несколько офицеров. — Это не пальба и не атака, это сигнал "рассыпать цепь". Вас просто хотят окружить, оцепить все выходы и забрать удобнее.

Убеждения и доводы компетентных людей возымели достодолжное действие и на остальных студентов. И они тоже вскоре оправились от паники, вполне овладев собою. Вместе с этим вернулась прежняя самоуверенность, и вся толпа ринулась к жандармам.

Во всеобщей суматохе, жандармский офицер и два-три, солдата, спертые со всех сторон, обнажили сабли. Это уже переполнило чашу ярости и раздражения. Снова раздались крики: "Войско вон! полиция вон!" — и толпа уже смело двинулась к выходу из улицы.

Войско на несколько шагов подалось вперед, но попечитель, почтенный кавказский генерал, стал между солдатами и толпою — и этим быстрым, удачным движением ему счастливо удалось предупредить столкновение.

Войско расступилось и пропустило мимо своих рядов толпу студентов с попечителем, который шел во главе молодежи. Эта толпа направилась обратно в университет, где должно было произойти обещанное объяснение.

Между тем, весть об этом происшествии быстро разнеслась по городу. Толпы народа всех званий, возрастов и состояний затопили близлежащие улицы. Многие провожали это шествие, многие ограничивались простым любопытным глазеньем. Везде шли самые разноречивые толки. В иных кучках выражали сочувствие студентам, в других сочувствие полиции.

— Это, братцы, все дворяне, все помещичьи дети бунтуют, объяснял один зипун с солдатскими усами. — Это все за то, что царь крестьян у них отнял, да волю дал, так это они таперича за то за самое!

— Нет, это все поляки! Известно, на то и поляк, чтобы бунтовать! поляк завсегда бунтует! — объясняли другие зипуны и чуйки, и это последнее объяснение было наиболее общим, наиболее распространенным в простом народе.

— Это, братцы, они за то, что, слышно, ихнее заведение закрыли, — толковали иные извозчики. — Мы это доподлинно знаем, потому завсегда возим их на Остров в это самое заведение.

Уличные мальчишки бегали по улицам, висели на флангах студентской толпы и попрыгивая кричали: "Бунт! бунт!.."

Ардальон Полояров, убедясь наконец, что никакой серьезной опасности нет и не будет, покинул свое временное убежище в сенях за подъездом и, присоединясь к толпе студентов, уськал и натравливал мальчишек:

— Кричи, ребята: "режь *публику!*" "Режь публику" кричи! Жарь погромче! На пряники получите!

— Господин Полояров! Что вы глупости-то делаете! — обернувшись к нему, досадливо огрызнулся Хвалынцев; — или вам, в самом деле, угодно натравливать на нас полицию?

— А что же? Я — ничего! — осклабясь, оправдывался Ардальон. — Я их только добру учу, чтоб они «республику» кричали... Общественное мнение, знаете... Это ничего! это все пустое!..

Между тем студенты снова собрались на университетском дворе. Когда они подходили к цели своего путешествия, то увидели, что на площади, между университетом и академией, уже был отряд жандармов. За университетом тоже стояли солдаты, спешно вызванные из казарм Финляндского полка.

Начальство пожелало объясниться со студентами через депутацию.

— Но ведь депутации запрещены самою же властью, самим правительством? — возразили на это желание.

— Все равно — высылайте депутатов.

Это "все равно" породило в толпе недоумение: как же, мол, так? час тому назад депутаты запрещены, через час опять дозволены; закон меж тем не отменен, а два представителя власти говорят "все равно, высылайте". — Да что же это такое? где же черта, которая отделяет границу закона от личного произвола? — роптали студенты. — Что же такое было самое сегодняшнее шествие, как не прискорбная необходимость, вследствие лишения старого права? И теперь, когда эта уличная демонстрация сделана, когда, того и гляди, можно было ожидать ежеминутной кровавой стычки с полицией и войском, стычки, в которой, пожалуй, приняла бы участие в ту или другую сторону толпа посторонних людей, — когда все это совершилось, вдруг два представителя закона и власти говорят "все равно, высылайте!" — В этом "все равно" студенты явно увидели свою победу, свое торжество. Авторитет власти и закона был компрометирован этою непоследовательностью. Студенты уполномочили для переговоров бывшую редакционную комиссию и еще несколько других товарищей.

Объяснения депутатов с попечителем и столичными властями длились довольно долгое время. Толпа студентов на университетском дворе терпеливо ждала возвращения уполномоченных. К ней присоединилось много посторонних лиц: партикулярных и военных, моряков, медиков, юнкеров и воспитанников разных учебных заведений.

В это время на двор вошел седой как лунь адмирал, который приобрел себе всесветную почтенную известность своими учеными морскими путешествиями. Он шел мерными шагами, заложив руки назад и смотрел на толпу. Толпа почему-то нашла его взгляд гордым и

презрительным. Студенты встретили его смехом, а один из них, выступив вперед, назойливо обратился к нему шутовски-вежливым тоном:

— Ваше превосходительство! позвольте у вас попросить папироску! Ваше превосходительство, одолжите пожалуйста папироску! ваше превосходительство! а, ваше превосходительство! я прошу папироску! Я у *вас* прошу, ваше превосходительство! одну только папироску — не более, ваше превосходительство!

Студенты хохотали.

Старик внимательно поглядел на стоявших вблизи морских офицеров и, не сказав ни слова, пошел со двора.

Наконец появились депутаты. Толпа с нетерпением жадного любопытства бросилась к ним навстречу.

— Что? как? в чем дело? — раздалась со всех сторон перекрестная перестрелка тысячи вопросов.

— Господа! — объявили депутаты, — начальство поручило передать вам, что университет будет открыт 2-го октября.

— Браво! очень хорошо! Но зачем не сегодня? Зачем не сейчас? Мы требуем сегодня же! сейчас! сию минуту! без оттяжки, без разговоров! — раздались в толпе шумные замечания.

— А закрыт он пока, — продолжали депутаты, — как бы вы думали, для чего?

— Ну? ну?!

— Закрыт он пока только… для изготовления матрикул.

Толпа засмеялась. Натяжка этого объяснения была слишком очевидна. Сами студенты очень хорошо понимали настоящую причину закрытия.

— Библиотека и лаборатория будут открыты с завтрашнего дня, то есть с 26-го сентября, — передавали далее депутаты, — и никто из студентов арестован не будет. Нам дано честное слово в непременном исполнении этих обещаний…

Известие это было встречено одобрением толпы, но многие выразили недоверчивое сомнение.

— Засим мы передали попечителю и властям решение субботней сходки, — продолжали депутаты. — Мы объявили им, что студенты новым правилам ни в каком случае подчиняться не будут, и что если начальство не хочет отменить их, то пусть лучше не открывает университета, — а если начальство вздумает употребить старинную тактику, то есть, по одному заставлять подписывать матрикулы, то студенты, конечно, подпишут их, но правил исполнять не будут, так как в этом случае согласие их будет вынужденное. На это начальство отвечало, что с него требуют, чтобы матрикулы были подписаны, а потому оно должно настаивать на исполнении этого, а там студенты могут делать, что хотят.

Эти слова были встречены точно так же взрывом самых шумных одобрений в одной части студентов, тогда как другая часть была недовольна таким ответом: она требовала безусловного уничтожения матрикул самим правительством.

— Наконец, господа, депутация поручилась, что студенты тотчас же по выслушании ее ответа разойдутся, — завершили свой отчет уполномоченные. — Поэтому, господа, не ставьте нас и себя в ложное положение, — разойдемся спокойно.

Студенты, кучками, толкуя между собой, немедленно стали очищать университетский двор и расходиться в разные стороны отдельными группами. Очень многие были недовольны и не удовлетворены ответом.

— Браво! виктория! — весело шумел Полояров. — Почти полная виктория! То есть, так сказать, "ты победил, Галилеянин!"

V. Докладчик Центра

В этот же самый день, часу в восьмом вечера, Василий Свитка слез с извозчичьих дрожек на углу Канонерской улицы в Коломне и спешно поднялся по лестнице большого каменного дома. На одной из дверей, выходивших на эту лестницу, была прибита доска с надписью: "Типография И. Колтышко". Он постучался и спросил управляющего типографией. Рабочий, отворивший дверь, проводил его в типографскую контору. Там сидел и сводил какие-то счеты человек лет тридцати, довольно тщедушной, рыжеватой наружности.

— А! вот вы! Наконец-то! — нетерпеливо обратился он к вошедшему из-за своей высокой конторки. — Что такое было сегодня? Что за происшествие? Садитесь и рассказывайте скорее. Наши рабочие болтают, — бунт?

— Ну, бугт не бунт, а могло быть около того.

И Свитка рассказал историю нынешнего утра. Управляющий выслушал внимательно и пунктуально как бы формальное служебное донесение и спросил.

— А наши? Как держали себя наши?

— С величайшим тактом. Да ведь наши не дураки, лицом в грязь не ударят! — похвалил Свитка с самодовольной миной.

— Однако, что же они?

— Да что ж... После субботней сходки, мы вечером собрали свой сеймик. Утром там была прокламация... в наших заискивали. Мы положили — на время отбросить старую систему и сблизиться. Оно лучше; дело будет казаться более общим.

— Ну, а между вожаками были наши? — любопытно спросил управляющий.

— Ни одного! Дело вели русские.

— Ни одного?! Прекрасно! Если так, то действительно с тактом.

— Мы порешили еще на сеймике инициативу предоставить русским, а самим отнюдь не выдвигаться. Быть в толпе — дело другое. Мы честно были в толпе и честно вели себя, но в вожаки — а ни Боже мой!

— А относительно слияния, какое впечатление на русских? — спросил управляющий.

— О, еще бы! — подхватил Свитка. — Очень польщены! Многие ведь сомневались. Наши

вообще не балуют их общением, поэтому теперь те очень и очень довольны. О «братстве» кричат.

— Кричат? Гм… Ну, и пусть их кричат!

— На здоровье! Наших ведь оттого не убудет! Итак, пане Лесницкий, будут мне какие инструкции? — впадая в несколько официальный тон и с полупоклоном подымаясь с места, спросил Свитка.

— А как же, как же!.. Подождите, — торопиться еще некуда, — удержал его управляющий и, встав из-за конторки, заходил — руки в карманы — по комнате в сосредоточенном обдумывании чего-то.

На некоторое время наступило молчание, наполняемое мерным шумом типографской скоропечатной машины за стеною.

— Вот в чем дело, — медленно начал Лесницкий, как бы обдумывая каждое свое слово. — На днях в *Центре* было совещание… Решено, по возможности, осторожно и с обдуманным, тщательным выбором притягивать к делу и русских, то есть собственно к *нашему* делу, — пояснил он. — Обстоятельства еще покажут впереди, как выгоднее: направить ли их на свою особую деятельность, как уже направлена "Земля и Воля", а мы будем в этом случае только незаметно для них руководить и контролировать; или же из наиболее пригодных сделать прямых наших бойцов? Об этом теперь еще вопрос в Центре.

— Да разве мы сами не справимся? — с горделиво-уверенным достоинством спросил Свитка. — Разве петербургский Центр все еще не полагается на одне польские, народные силы?

— Э, нет, не в том дело! — перебил управляющий. — Во-первых, говоря откровенно между нами, русские имеют очень основательную пословицу насчет того, что выгодней чужими руками жар загребать. Мы на этот раз вполне верим их доброй пословице. Это одно. А другое вот в чем: русские бойцы в нашем деле очень хорошая декорация пред Европой, пред глазами западного общественного мнения.

— То есть, как же так? — сомневаясь и морщась, спросил Свитка.

— А, очень просто! Если уж москали, наши заклятые враги, наши палачи, сами идут очистительными жертвами в польский народный лагерь и бьются за польскую независимость, — разве этот факт не освещает еще более пред глазами всего мира наше святое дело? Нам нужен известного рода декорум. Если уже сами русские за нас, то Европа и подавно! Была бы общественная совесть на нашей стороне: нам облегчится победа! Присутствием русских бойцов правительство будет озадачено, сконфужено, оно не будет знать, кого, наконец, считать своими, где враги, где друзья его, оно вконец уже растеряется и рухнет… по крайней мере рухнет для Польши. Вот для чего нужны нам русские. Можете вы указать на кого-нибудь из подходящих между студентами? — заключил он вопросом, останавливаясь пред Свиткой.

Тот основательно подумал и назвал несколько имен.

— Но более всех, как мне кажется, — значительно промолвил он, — будет подходить один…

— Кто такой? — с живостью спросил Лесницкий.

— Студент Хвалынцев.

— А!.. Я немножко слыхал уж про него. Что ж, как вы его находите?

— Я наблюдал его и даже, так сказать, выщупывал слегка… вот в эти последние дни.

— Да? ну, и что ж?

— Да вот как скажу: человек смелый, решительный, в крутые минуты хорошо владеет собой… Говорит немного, но бойко и резко и при этом отлично умеет опираться на легальность… Я уже в нем эту черточку подметил. Все старается в колею легальности!

— А, это очень важно! — в скобках заметил Лесницкий.

— То-то же и есть! — не без самодовольствия отозвался Свитка. — На товарищей имеет влияние. Когда все думали, что будут стрелять, он стоял рядом со мною, ну, и он был один из немногих, которые нисколько не смутились… напротив, без излишнего азарта, совсем спокойно пристыдил товарищей, и те оправились… Да, да, имеет влияние!.. И в то же время на сознательное увлечение способен.

Свитка, в подтверждение своей характеристики, рассказал поведение Хвалынцева в коптилке и на университетском дворе.

— Ого! да этот совсем годится! Таких бы побольше! — подал свое мнение управляющий, не без удовольствия потирая руки. — Хорошо! Очень хорошо! Я сообщу о нем.

— Так что же, пане Лесницкий, вербовать? Даете благословение?

— Вербовать! Вербовать непременно! Найдите возможность показать нам его. Да и остальных, которых думаете, тоже вербуйте.

— Хорошо, а Хвалынцева покажу вам поближе при первом удобном случае.

— Очень желаю. А пока до свидания, теперь можете отправляться, — наскоро откланялся управляющий.

Свитка удалился, а Лесницкий, почти немедленно по его уходе, отправился во внутренние покои смежной квартиры, с экстренным докладом о только что полученных новостях.

VI. Сходка 27-го сентября

На другое утро многие студенты явились в университетскую библиотеку за книгами. Дверь была заперта, и на ней, равно как и на всех наружных выходах, прибито было объявление, что по случаю повторившихся беспорядков чтение лекций прекращено и вход в университет закрыт впредь до дальнейших распоряжений.

Тут же было узнано, что вся депутация, высланная вчера, и много других студентов арестованы в ночь и отправлены в казематы Петропавловской крепости. Некоторые очевидцы ночного арестования товарищей сообщили, что оно было производимо вне законных оснований: арестуемым не предъявляли предписания начальства, не объявляли причины ареста, а некоторых посторонних лиц будто бы брали по подозрению, что они разделяют студентский образ мыслей.[68]

Всех студентов, арестованных в эту ночь, было сорок два человека.

После некоторых совещаний, положено было собрать на завтрашний день новую сходку, в десять часов утра, на университетском дворе.

Студенты начали собираться в университете ранее назначенного срока, еще до девяти часов. Предполагалось вступить в новое объяснение с попечителем. Он вскоре приехал и был окружен в швейцарской толпою, которая стала упрекать его в несдержании слова. Попечитель объяснил, что все это не его распоряжения, что он любит университет и студентов, а доказательство тому было не далее, как третьего дня, в Колокольной улице, где, если бы не он, весьма легко могло бы произойти кровавое столкновение и что, наконец, депутаты арестованы административною властью в смысле зачинщиков всех происшедших беспорядков. Ему сказали, что начальство поступило бы еще лучше, если бы вовсе не призывало войска против безоружных людей, тогда, как теперь, вероятно, отсутствующему Государю дали знать в Ливадию, что студенты бунтуют, выставили их бунтовщиками и потому-де вынуждены были употребить военную силу. На это студенты получили ответ, что напротив в донесении о третьегодняшнем происшествии о них был дан отзыв с возможно лучшей стороны, и что этот отзыв принят министром за основание в донесении Государю. В это время приехал генерал-губернатор и вместе с попечителем удалился в университетскую канцелярию.

Между тем, студентов собралось довольно уже много, и сходка на дворе была открыта. На место арестованных явились новые руководители, и вот, после долгих прений, был принят большинством голосов адрес министру. Смысл адреса заключался в том, что в университете никаких зачинщиков нет и не было, что все студенты одного и того же мнения и действовали единодушно без чьих бы то ни было подстрекательств, и потому пусть начальство или освободит арестованных товарищей, или же заберет остальных. Прикатили откуда-то кадку, опрокинули ее вверх дном, положили на нее листы бумаги и приступили к подписке адреса.

Вдруг раздался барабанный бой. Это подходил Финляндский полк в полном составе. Часть его поместили у одних ворот университетского здания и часть у других. На набережной, перед воротами, разъезжали верхами, в касках с султанами, видимо озабоченные представители столичной власти и несколько других генералов, адъютантов и штаб-офицеров. Попечитель стоял в воротах, между студентами и войском. Он был в простом сюртуке и фуражке. Тротуар по набережной был занят массами самой разнородной публики и густою цепью городской полиции и жандармов.

Однако, невзирая на это грозное предупреждение, студенты решились не расходиться до окончания сходки и, в случае нападения войска или жандармов, стоять смирно и отнюдь не пускать в дело палок. Подняли вопрос, избрать ли депутатов для подачи адреса, или идти с ним опять всею массою, как третьего дня? Большая часть видела в последнем способе ручательство в том, что всех не арестуют, а коли брать, то пусть берут всех. Противная же партия говорила, что хотя очень вероятно, что депутатов и арестуют, но лучше арест нескольких человек, чем стычка с войсками. Многие не ручались за то, что они хладнокровно, без сопротивления, выдержат натиск солдат, а тогда все дело будет испорчено. И наконец, шествие массой останется еще в запасе как последнее, крайнее средство. Большинство голосов решило избрать депутатов.

В это самое время была отдана команда, и батальон стал входить на университетский двор.

В публике, стоявшей на набережной, раздались свистки, шиканье и громкие крики протеста и негодования.

Приказано тотчас же ударить отбой, и войска возвратились на прежнее место.

Студенты продолжали стоять и выбирать депутатов. Решили отправить их с адресом сейчас же и ожидать возвращения.

Едва успели те отправиться и дойти до ворот, как раздались крики: "Депутатов забрали! депутаты арестованы!" — и вся толпа ринулась к воротам выручать их.

Столичные власти старались успокоить взволнованную массу и убеждали, что депутаты никак не будут арестованы, а что они, власти, просто хотят только переговорить немного с ними и поэтому просят господ студентов нимало не беспокоиться, а возвратиться во двор и без опасений продолжать свою сходку.

Властям отвечают, что им не верят, потому что они арестовали же третьего дня ночью депутатов прошлой сходки, тогда как, по их же слову: "все равно высылайте", они были избраны.

Власти на это возражают, что хотя и точно депутаты арестованы, только никак не по их распоряжению, что они, власти, тут ровно ни при чем и не знают даже, как и кем произведены аресты депутатов, и что, наконец, если они и арестованы, то отнюдь не как депутаты, а как зачинщики и что поэтому пусть господа студенты пожалуйста нимало не тревожатся и сделают такое одолжение удалятся во двор и продолжают свои прения.

Студенты отвечают, что удаляться во двор они не желают, а чтобы сделать приятное властям, пожалуй, согласны отступить на несколько сажен.

Власти очень любезно соглашаются на эти несколько сажен и затем вступают в объяснения с депутатами, говоря, что они никак, ни под каким видом не могут пропустить их к министру. Депутаты отвечают, что в таком случае студенты пойдут всею массою. Шествия массы власти опять же никак не желают. Выборные говорят, что студенты точно так же его не желают, и поэтому надо пропустить их выборных. Власти отвечают, что пропустить их не могут. Бесплодный спор на эту тему длится около четверти часа; обе стороны говорят и много любезного, и много довольно резкого друг другу, но к соглашению прийти не могут. Наконец, власти соглашаются пропустить депутатов, но с тем условием, чтобы студенты не дожидались их ответа, а разошлись бы немедленно. Студенты на это не соглашаются и настаивают на пропуске безусловном. На безусловный пропуск опять-таки власти не соглашаются. Обе стороны спорят и выходят из себя. Наконец, власти объявляют, что они имеют приказ считать сборище студентов за обыкновенную толпу, так как университет закрыт и, следовательно, студентов не существует. Депутаты соглашаются, что и в самом деле закрыт и что поэтому власти, пожалуй, и могут думать, что студентов не существует, что они, депутаты, даже готовы на время согласиться в этом с властями, но в таком случае зачем же вы призвали убеждать нас попечителя? Ведь он, стало быть, нам больше не начальник! Власти обходят молчанием столь коварный вопрос и объявляют депутатам, что если студенты тотчас же не разойдутся, то чрез полчаса будет надвинуто войско. Депутаты объявляют об этом сходке, которая решает, что пожалуй, можно и разойтись, и говорит депутатам, что они могут отправиться с адресом в другое время, а буде кто желает узнавать новости касательно университета, то для этого, начиная с завтрашнего дня, ежедневно собираться в два часа пополудни на Невском проспекте, где и можно будет сговориться насчет плана действий. Но, расходясь, студенты требуют, чтобы войско, неизвестно для чего, отступило на сто шагов. Власти отдают приказ, чтобы никак не более, а ровно на сто. И войско ровно на сто шагов отступает. Студенты спокойно проходят мимо его рядов и расходятся. В это время приезжает в университет министр народного просвещения. Узнав о его приезде, многие с пути поспешают опять к университету и ждут его выхода перед подъездом, где опять собирается толпа, только на сей раз уже без полиции, властей и войска. Министр, наконец, выходит. Его встречают шиканьем и

свистом. Он садится в экипаж и уезжает, сопровождаемый этими звуками. Толпа снова расходится.

VII. "Синий день" на Невском

На следующий день, в два часа пополудни, Невский проспект представлял очень оживленное зрелище. Это было не то обычное оживление, каким он кипит ежедневно между часом и четырьмя. Такое оживление было на нем, конечно, как всегда, и в этот день, но оно носило на себе совершенно особый отпечаток, благодаря вчерашнему решению сходки.

К двум часам, там и сям стали появляться небольшие группы студентов. Они ходили обыкновенным прогулочным образом, встречались с другими подобными же группами, останавливались, горячо толковали между собою и расходились, или же составляли одну слитую группу, которая принимала совместную прогулку, разомкнувшись однако же на столько, чтобы к ней не мог придраться никакой полицейский хожалый. Тут происходили встречи с новыми кучками, с новыми группами; члены одних переходили на место других и снова расходились, и снова натыкались на новые кучки. Таким образом, между университетской молодежью шел обмен мыслей, замечаний, наблюдений и новостей, и все это, при помощи широких тротуаров Невского проспекта, живо передавалось из одной группы в другую, из другой в третью и т. д. Множество лиц, так или иначе близких студентству и принадлежащих университету в качестве вольнослушателей, любителей, студенток, и множество лиц к университету не принадлежащих, но почему-либо сочувствующих студентскому движению, явились тоже на Невский. У большей части из них, в каком-нибудь атрибуте костюма проглядывал синий цвет — цвет воротников студентской формы. У многих служащих были надеты синие галстуки, или синие ленточки на шляпе. Ардальон Полояров вывесил на свою скомканную войлочную шляпу широкую синюю атласную ленту, которой хватило бы на целый длинный кушак женского платья. Этой лентой он позаимствовал у Лидиньки Затц, и таким образом, с широко развевающимися позади его синими хвостами, разгуливал по Невскому, сожалея об одном, что его Козьмодемьянская дубина не могла быть, ради сей оказии, перекрашена в синий цвет. Женщины тоже отличались чем-нибудь синим: ленточкой, галстучком, шляпкой, платьем, зонтиком, или чем-нибудь подобным. Синий цвет долженствовал изображать собою видимый знак сочувствия студентскому делу и как бы давал право предъявителю его на участие в расспросах и прениях о студентских интересах.

Это был какой-то день синего цвета на Невском проспекте.

Разные официальные лица озабоченно и шибко катались в это самое время туда и сюда вдоль по Невскому. Сильная озабоченность и тревожное ожидание чего-то были, по большей части, написаны на их лицах. Они внимательно посматривали на бродячие кучки синих околышей, на группы служащих и женщин, отличавшихся какою-либо синей вывеской и, казалось, ожидали, что вот-вот сейчас что-то такое вспыхнет, что-то начнется…

Но ничего не вспыхивало и ничего не начиналось.

Время шло, начальство скакало, синие кучки шлялись, полиция, и явная и тайная, усердно наблюдала — первая наблюдала, занимая фронтовою вытяжкою свои посты, вторая — в различных образах шныряла тут и там, везде и нигде, принюхивалась, прислушивалась, старалась как-нибудь затесаться промеж синих кучек; и той и другой было здесь нынче количество изрядное, но… все-таки ничего не вспыхивало и ничего не начиналось…

Зачем озабоченно скачет и катается начальство, зачем сталкиваются и шатаются эти синие кучки, зачем шнырит и вытягивается во фронт полиция? Зачем и для чего все это делается?

Все эти вопросы, на глаза постороннего, беспристрастного и хладнокровного наблюдателя, могли бы произвести одно только недоумевающее пожатие плечами.

И Василий Свитка, и пан Лесницкий, и Иван Шишкин тоже гуляли по Невскому, но только без малейших внешних отличий синего цвета. Зато маленький Анцыфрик, вместе с Лидинькой Затц, пришпилили себе целые кокарды, один к мерлушечьей шапке, другая к левому плечу на бурнусе, и в таком виде, под ручку, прогуливались рядом с Ардальоном Полояровым, который сегодня решительно обращал на себя всеобщее внимание своими развевающимися по ветру лентами.

— Ба! Хвалынцев! Вот и вы, наконец, появились! — растопырив руки, загородил ему дорогу Полояров. — Слыхали-с? Университет-то?.. Казарму сделали! Рота солдат и день и ночь внутри дежурит, ворота все заперты, никого не впускают и даже те, кто живет-то там, так и те выходят не иначе, как с билетом… Вот оно, какие порядки!

— Что ж, этого надо было ожидать, — пожал плечами студент.

— Нет, но это… это черт знает что! Это свинство! Это возмутительно! — входят в пафос, продолжал Ардальон.

— Возмутительно! Свинство! Подлость! — пищал из-под руки его Анцыфров.

— Что ж прикажете делать?

— Что делать? А во! Идти и выгнать! — пояснил Ардальон, показав свою дубину.

— Поставят целый батальон.

— И батальоны выгнать!

— И батальоны выгнать, и всех выгнать, — поддакивал и горячился плюгавенький Анцыфров.

Хвалынцев, не желая продолжать пустых речей, махнул рукой.

— Ступайте и выгоните, — сказал он, надеясь поскорее от них отвязаться.

— Нет, господин Хвалынцев, — вмешалась Лидинька Затц. — В вас, я вижу, развит непозволительный индифферентизм, вы равнодушны к общему делу. Если вы порядочный господин, то этого нельзя-с, или вы не принадлежите к молодому поколению и заодно с полицией, а только такой индифферентизм… Вы должны от него отказаться, если вы честный господин и если хотите, чтобы я вас уважала.

И пошла и пошла Лидинька, как мелкой дробью, сыпать словами на эту тему.

Хвалынцев, не дослушав ее, вежливо приподнял фуражку и поднялся на лесенку к Доминику.

— Э? батенька! Постойте-ка минуту! На два слова! догнал его Полояров. — Вы куда? к Доминику?

— Как видите.

Они пошли в ресторан. Хвалынцев уселся за особым столиком и спросил себе котлетку. Полояров поместился тут же подле него и потребовал себе того же.

— Н-да-с, я вам скажу, пришли времена! — со вздохом начал он вполголоса, подозрительно и сурово озираясь во все стороны. — Знаете ли что, будемте-ка лучше говорить потише, а то ведь здесь, поди-ка, и стены уши имеют… Все, везде, повсюду, весь Петербург стоит и подслушивает… весь Петербург! — Я вам скажу, то есть, на каждом шагу, повсюду-с!.. Что ни тумба, то шпион, что ни фонарь, то полицейский!

— Так лучше не говорить, если вы так опасаетесь. Да не к чему: все без того хорошо известно, нового ничего ведь не скажем, — заметил Хвалынцев.

— Как знать-с, может, что и новое в голову придет, — возразил Ардальон — мысль требует обмена. Теперича я вот как полагаю: времена-с, батюшка мой, такие, что все честные деятели должны сплотиться воедино, — тогда мы точно, будем настоящею силою. Каждый на это дело обязан положить свою лепту… Тут рядом идут принципы экономические, социальные и политические — знакомы вы с социалистами?

— Вы уж мне предлагали однажды этот вопрос.

— Да-да, помню!.. Ну, так стало быть, с вами толковать можно. Мы, батенька, проводим в жизнь эти самые принципы, для нас они дело плоти и крови-с!

— То есть, кто же это "мы"? — спросил студент.

— Мы! то есть я, например… я, Анцыфров, Затц… Вот приятель есть у меня один, Лукашка, — у, какая у бестии богатая башка, я вам скажу! — Ну, вот мы… и еще есть некоторые… Люди-то найдутся! У нас, сударь мой, слово нейдет в разлад с делом.

— О! В самом деле? — улыбнулся Хвалынцев.

— Да вы не улыбайтесь сомнительно! — подхватил Ардальон. — Я вам не пустяки болтаю. Да вот как скажу вам: прежде всего — принципы экономические и социальные. Нужно весь строй этого глупого и подлого общества радикально изменить, переделать, сломать и уничтожить; все это должно рушиться!

— И что же будет тогда? — спросил студент, с наивно-невинным видом.

— А будет то, чему уже положено некоторое начало, — утвердительно сказал Полояров. — Да вот, хоть наша коммуна, к примеру сказать. Это — дело прочное-с, и оно привьется, оно пойдет в жизнь, потому у нас все общее: общий труд, общий фонд. Я, например, литератор (это слово произнес он с оттенком горделивого достоинства), ну, занимаюсь литературным трудом, пописываю статейки там в разных журналах и получаю, значит, свою плату; другой коробки клеит, третья при типографском деле: каждый свое зарабатывает — и в общий фонд, на общей потребности. Квартира у нас общая, чай-сахар общий, стол общий, а главное — убеждения общие. Тут, сами видите, принцип экономический тесно связан с социальным. Это, батюшка мой, разумный и явный протест против эксплуатирующего собственничества, протест за право каждого на святой труд и борьба против обособляющих элементов.

— То есть, что же вы разумеете под обособляющимися элементами? — спросил Хвалынцев, которого понемногу стали забавлять полояровские курьезы.

— Обособляющие элементы, это… это, как бы вам сказать… Велите-ка прежде дать мне еще водки рюмку, а потом и обособляющие элементы пойдут у нас!

Хвалынцев тотчас же исполнил просьбу Полоярова.

— Обособляющие элементы, это изволите ли видеть, — начал он поучающим тоном, — например, чин, сословие, каста — это обособляющий элемент; капитал, сосредоточенный в одних руках, который, естественно, требует эксплуатации чужого труда — тоже обособляющий элемент; потом, например, семья — опять же обособляющий элемент. Поэтому борьба противу каст, сословий, против неравномерного распределения богатств, против семьи, брака и тому подобных мерзостей составляет задачу новых людей нашего времени. Стало быть, вы видите, что тут из связи принципов экономических и социальных вытекают сами собою и принципы политические: додуматься не трудно! Понимаете-с — многозначительно подмигнул он глазом. — Дайте-ка мне папироску!

Хвалынцев подозвал гарсона и стал расплачиваться.

— Э-хмм… Послушайте, батенька, — отворотясь от гарсона; тише чем вполголоса обратился Ардальон к Константину Семеновичу. Заплатите-ка ему заодно уж и за меня… совсем из ума вон: деньги забыл, не захватил с собою.

Хвалынцев со всею любезною предупредительностью поспешил исполнить просьбу Ардальона Михайловича.

— Н-да-с, батюшка мой, — закурив папироску, глубоко и как-то интимно вздохнул Полояров, как обыкновенно вздыхает человек, когда собирается съоткровенничать от сердца. — Вот, видите меня. Кроме честного труда, ничего не имею, а между тем вы знаете ли, что я… что вот этот самый Ардальон Полояров, — говорил он, начиная входить в некоторый умеренный пафос и тыча себя в грудь указательным пальцем, — н-да-с! вот этот самый человек, не далее как нынешней весною, мог бы быть богачом капиталистом! Да ведь как-с! Громадный капитал вот уже совсем в руках был, взять бы его, да карман положить, а я — нет-с. И не то, чтобы капитал-то сомнительный, — нет, своим честным трудом добытый, никому за него не обязан!

— И что ж? — спросил Хвалынцев.

Полояров махнул рукой.

— Э! дурак был… не умел воспользоваться! — с досадой сорвалось у него с языка, и студент заметил, как лицо его передернула какая-то скверная гримаска досадливого сожаления в чем-то. Но Ардальон вдруг спохватился. — То есть вот видите ли, — стал он поправляться в прежнем рисующемся тоне, — все бы это я мог легко иметь, — капитал, целый капитал, говорю вам, — потому все это было мое, по праву, но… я сам добровольно от всего отказался.

— Это для чего же? — полюбопытствовал студент.

— Для идеи!.. Да, милостивый государь, для идеи-с и из-за идеи-с, — с ударением и внушительно-горделиво отчеканил! Полояров. — Я всем пожертвовал, все бросил: и не задумался! нет, в ту же минуту бросил и отказался!.. Даже, если уж вы так знать хотите, связи с любимой женщиной порвал, как только почуял первый клич идеи. Наш брат, батюшка мой, — наставительно прибавил он почти шепотом, — это тот же аскет: там где дело идеи, там нет ни отца с матерью, ни дома, ни любовницы, ни капитала — всем жертвуешь, все отвергаешь!

— Так и следует! — со скрытой иронией похвалил его Хвалынцев.

Полояров, тем не менее, принял это за чистую монету.

— А, вы понимаете это! Вашу руку! Дайте пожать ее! — многозначительно промолвил он. — Послушайте, голубчик, у меня до вас будет одна маленькая просьбица, — вдруг переменил он

тон и заговорил в фамильярно-заигрывающем и приятельски-заискивающем роде, — не можете ли одолжить мне на самый короткий срок сущую безделицу: рублишек десяток, не более… Я должен за свою последнюю статью получить послезавтра… Мы с вами сочтемся.

— Нет, извините, не могу, к сожалению! — отозвался Хвалынцев.

— Гм… не можете… Ну, так хоть пятишницу дайте…

— К сожалению и в этом принужден отказать вам.

— Э, да ведь вы, голубчик, мы знаем вас! Вы человек денежный! В некотором роде собственник! — подмигивал Полояров; — у вас деньга водится!.. Одолжите, если не можете пяти, хоть зеленую… Ей-Богу, честное слово, отдам, как только получу.

Хвалынцев, видя, что тут ничего не поделаешь, вынул и дал ему трехрублевую бумажку.

— Сочтемся! — пробурчал Ардальон, пряча ее в карман и даже не кивнув головой. — А послушайте-ка, батенька, — промолвил он, — переходите-ка в наш лагерь, в нашу коммуну! Ей-Богу, самое любезное дело! Вы подумайте! Это статья дельная. У нас ведь и женщины есть в нашей общине, — как-то двусмысленно прибавил Полояров, словно бы имел затаенную мысль поддеть на соблазнительный крючок Хвалынцева.

— Нет, слуга покорный, — иронически поклонился Константин Семенович и пошел из ресторана.

Полояров подозрительно и сурово поглядел ему вослед и мрачно нахлобучил на глаза свою войлочную шляпу. Длинные хвосты широких лент развеваясь понеслись за ним сзади. Он вышел на Невский и пошел отыскивать Анцыфрова с Лидинькой, которых и нашел, наконец, у Аничкина моста.

— Послушай, Полояров, это, наконец, из рук вон! — запальчиво обратилась к нему Лидинька (с приездом в Петербург она очень прогрессировалась и, не стесняясь никем и ничем, "по принципу" говорила Полоярову с Анцыфровым прямо "ты"). — Это черт знает что! С какой стати ты водишься с этим господином?

— С каким господином? — покосясь на нее, проворчал Ардальон. — Чего ты?!

— С этим фатишкой, аристократишкой… Чего ты увязался за ним к Доминику?

— Увязался!.. Вовсе не увязался! Я сам по себе был. Скорее же он сам за мной увязался, а уж никак не я! — оправдывался Полояров.

— Я из вашего давешнего разговора совершенно убедилась, что этот господин и невежа и подлец! — раздраженно тараторила рила Лидинька. — Заодно с жандармами, заодно с полицией. Оправдывает правительство…

— Ну, где же оправдывает! — попытался было заступиться Ардальон.

— Пожалуйста, ты не противоречь! — перебила Затц. — Сама знаю, что говорю! Учить меня нечего! Этот гнусный индифферентизм, этот небрежный тон, как будто удостоивает, снисходит, говоря с нами; еле поклонился… уходит, руки не; протягивает… Нахал, подлец, фатишка и мерзавец! А ты с ним якшаешься!

— Да честное же слово, он сам! Я и не думал… Мне что. Мне на него плевать! — отчурался Ардальон от ее нападений.

— А мы с Анцыфровым положительно убеждены, что этот господин в связи с Третьим отделением! — брякнула вдруг Лидинька.

— Ну, вот… Почему ты думаешь?

— Так. Это мое убеждение.

— На чем же оно основано?..

— А хоть на том, что он не арестован… Почему он не арестован, когда других то и дело берут?.. Зачем? Почему? я тебя спрашиваю…

— Гм!.. — глубокомысленно промычал Полояров, подумав над ее словами. — А, впрочем, черт его знает! Мне и самому, пожалуй, сдается, что тут что-то подозрительное…

— Да уж поверь, что так. У меня на этот счет нюх! Отличный нюх есть! — горячо убеждала Лидинька. — Наконец, вспомни, в Славнобубенске эта дружба его с отъявленным, патентованным шпионом; разве это недостаточное доказательство?

— Ну, и черт с ним! Шпион, так шпион! Нам-то что? Не знаться с ним больше, да и вся недолга! — порешил Полояров.

— Нет, брат, Ардальоша, ты этого так не говори! — вмешался золотушный пискунок; — это так оставить нельзя! Долг каждого порядочного господина, если мы узнали такую штуку, наш прямой долг чести предупредить поскорей порядочных людей об этом, а то ведь другие пострадать могут…

— Конечно! разумеется! — подхватила Лидинька. Чем более шпионы будут известны, тем более мы безопасны.

Вскоре столкнулись они с одною студентскою кучкою и затесались в нее.

— Господа, будьте осторожнее со студентом Хвалынцевым, — внушительно-веским тоном предупредила Лидинька.

— С Хвалынцевым?.. Что такое? — отозвались ей из кучки.

— Да уж так!.. Мы только для вашей же пользы предупреждаем: будьте поосторожней! — погрозился Анцыфров. — Знаете, чай, песенку:

У царя у нашего
Ловких слуг довольно…

Студенты переглянулись. По лицам их пробежала тень сомнения, недоумения… Однако сообщение Лидиньки было принято к сведению.

Два-три таких "будьте поосторожней", оброненные в двух, трех кучках, послужили совершенно достаточным поводом, чтобы молва полетела из одной группы в другую, из другой в третью и т. д. и т. д. — и тень сомнения на личность честного товарища была брошена, а иные приняли ее тотчас же, сразу за несомненную истину. Масса, в такие дни и в таких положениях, какие были тогда переживаемы петербургским студентством, обыкновенно становится весьма

способною на подозрительность, на недоверие к личностям, даже весьма ей близким. Она как бы теряет, во многих случаях, чутье распознавания своих от чужих, черное от белого, и в том подозрительном недоверии, во всем склонна видеть одно только черное, в отношении которого становится весьма легковерна.

VIII. Герой в иных витает сферах

Выйдя от Доминика, Хвалынцев пошел по направлению к Полицейскому мосту. Не доходя голландской церкви, близ магазина юнкера, он почувствовал, что кто-то легонько дотронулся сзади до его локтя, обернулся, и вдруг онемел от неожиданного радостного изумления.

Перед ним стояла Татьяна Николаевна Стрешнева.

Лицо ее улыбалось и радовалось.

— Господи!.. Да вы ли это? — воскликнул студент, протягивая ей обе руки. — Здравствуйте! Когда? Давно ли?

— Вчера только приехали, — отвечала она голосом, переполненным волнения. — А как я рада, что встретилась!.. Ведь я все думала да ломала голову себе, какими бы судьбами отыскать вас? хотела дать знать, уведомить, — говорила она, глядя ему в лицо светлыми, радостными глазами. — Сегодня утром даже в университет нарочно съездила, но там Бог знает что такое: все заперто… солдаты… останавливают, не пропускают, так ничего и не добилась! Вдруг выхожу от Юнкера, а вы тут как тут!.. Ну, как я рада! Здравствуйте еще раз! Да жмите же, что ли, руку-то крепче! Ну, вот так! Теперь — хорошо, по-дружески! Да что это у вас такое множество студентов на Невском? Это у вас всегда так бывает?

— Нет, не всегда, — отвечал Хвалынцев; — но что и как, это слишком долго рассказывать.

— Ну, хорошо, расскажете и после; а теперь вам нечего делать? Если нечего, то пойдемте к нам. Тетушка рада будет. Мы; здесь близехонько: в Малой Морской, Hôtel de Paris.[69] Хотите?

Хвалынцев предложил ей руку и они отправились.

Тетка обрадовалась ему как родному. Обе они оставили его у себя обедать — и Константин Семенович, незаметно ни для них, ни для самого себя, досидел в их номере до позднего вечера. Разговорам и расспросам с обеих сторон не было конца — и как это всегда бывает у хороших, сердечно близких и давно не видавшихся знакомых, которым есть что попередать друг другу — рассказы перебивались вопросами, вопросы рассказами, один разговор быстро, по мгновенно блеснувшему, кстати или некстати, воспоминанию, сменялся другим, другой перебивался вдруг внезапным вопросом или замечанием, затем опять переходил к продолжению старой, оставленной темы. Тут фигурировали и Славнобубенск, и Москва, и Петербург, и общие знакомые, и книги, и новые сочинения, и студенты, и кой-какие маленькие сплетни, к которым кто ж не питает маленькой слабости? — и театр, и вопросы о жизни, о политике, о Лидиньке Затц, и музыка, и современные события, и те особенные полунамеки, полувзгляды, полуулыбки, которые очень хорошо и очень тонко бывают понятны людям, когда у них, при встрече, при взгляде одного на другого сильней и порывистей начинает биться сердце, и в этом сердце сказывается какое-то особенное радостно-щемящее, хорошее и светлое чувство.

Кажется, уж обо всем вдосталь наговорились, а между тем и Татьяна Николаевна, оставшись одна пред своей постелью, и Хвалынцев, возвращаясь к себе домой — оба одинаково и равно чувствовали, что темы для разговоров далеко еще не истощены, что далеко не все еще

сказалось, о чем бы хотелось высказаться, что много и много еще нужно будет передать друг другу…

Хвалынцев стал бывать у них ежедневно. Весь молодой, внутренний мир его, в первые дни, так всецело наполнился этим присутствием, этой близостью любимой девушки, что он решительно позабыл все остальное на свете — и университет, и студентов, и общее дело, и науку, о которой еще так ретиво мечтал какую-нибудь неделю тому назад. Для него, на первых порах, перестало быть интересным или, просто сказать, совсем перестало существовать все, что не она.

Почти целые дни напролет он проводил с нею у тетки. Татьяне Николаевне так жадно хотелось все видеть, все осмотреть, все узнать, со всем познакомиться, — чувство, слишком хорошо знакомое всем людям, зажившимся в провинции и попавшим наконец на "свет Божий". Хвалынцев взялся быть ее неизменным чичероне. Ей хотелось быть и в Эрмитаже, и в музеях, и в Публичной библиотеке, и в Академии художеств, и в опере, и в русском театре, и во французском, и на клубных семейных вечерах, и послушать, как читают российские литераторы на публичных чтениях, и поглядеть на этих российских литераторов, каковы-то они суть в натуре, по наружности; словом, желаниям Татьяны Николаевны не было конца, и кидалась она на все это с жадной любознательностью новичка, который наконец-то дорвался до столь желанного и долгожданного предмета, о котором ему еще так давно и так много мечталось.

Проводя у Стрешневых почти все свое время, Хвалынцев только вскользь успевал следить за ходом университетских событий, за движением и толками в обществе, которые были вызваны этими событиями. А между тем в городе толковали, что несколько гвардейских полков заявляют сильное движение в пользу студентов и положительно отказываются идти, если их пошлют против них; что студентов и многих других лиц то и дело арестовывают, хватают и забирают где ни попало и как ни попало, и днем, и ночью, и дома, и в гостях, и на улице, что министр не принял университетской депутации с адресом. О новых правилах и матрикулах, распубликованных министерством от 28-го сентября, в обществе ходили самые нелестные толки. Большинство публики образованных слоев было ими сильно недовольно. «Times» и другие заграничные газеты то и дело печатали самые неутешительные корреспонденции из России, преисполненные затаенного злорадства: для них Россия представлялась теперь крепостью, под которую повсюду подведены пороховые мины, крепостью, которая сама себя подкопала. Газеты эти весьма злобно и остроумно критиковали министерские правила. «Колокол» бил набат и даже "Le Nord" заметил, что многие из этих правил годны скорее для десятилетних мальчиков, чем для студентов. Петербургская журналистика хранила молчание и только изредка где-нибудь, между строками прорывался темный сочувственный студентам намек на современные университетские события. Толковали между студентами и в обществе, что все офицеры артиллерийской академии подали по начальству рапорт, в котором просят удерживать пять процентов из их жалованья на уплату за бедных студентов; с негодованием передавали также, что стипендии бедным студентам будут отныне выдаваться не в университете, а чрез полицию, в полицейских камерах; толковали, что профессора просили о смягчении новых правил, потом просили еще, чтобы им было поручено исследовать все дело, и получили отказ и в том, и в другом, просили о смягчении участи арестованных студентов — и новый отказ. Некоторые вестовщики распространяли, под рукой, слухи, будто студентов в крепости пытают, что их будут ссылать в Сибирь, расстреливать, и много еще подобных нелепостей, и эти последние нелепости, точно так же, как и вести основательные, находили-таки свое приложение в некоторых сферах общества и распространялись даже усерднее и скорее, чем известия более положительного и разумного свойства.

Хвалынцев, увлеченный теперь делами своего сердца более, чем делами студентства, не был на сходке, которая собралась около университета 2-го октября — день, в который начальство

словесно обещало открыть лекции. Но лекции открыты не были. По этому поводу на сходке произошли некоторые демонстрации, результатом которых были немедленные аресты. Между прочим арестованы тут же несколько лиц, к университету не принадлежавших.

* * *

11-го октября, вернувшись поздно вечером домой, Хвалынцев нашел на столе у себя следующее письмо:

"Нужды нет, что письмо это без подписи. Будьте твердо уверены, что вам пишет друг и тайный ваш доброжелатель. Вы вправе принять или отвергнуть совет, внушенный уважением и искренним расположением к вам. Зачем вы покинули ваших товарищей, ваше общее дело? Вас не видать было нигде: ни в условные часы на Невском, ни на сходке 2-го октября, ни на частных сходках у товарищей. Многие озадачены вашим поведением. Здесь уже успели пустить слухи, что вы (не расхохочитесь только!), что вы — шпион. Сколь ни глупо, а многие верят. Вам надо поведением своим снять с себя эту мерзкую клевету. Завтра открывается университет для взявших матрикулы. Нематрикулисты намерены собраться перед началом лекций, чтобы не допустить малодушных товарищей своих покориться министерским фуркулам. Им помешают, их не допустят заявить свою покорность и смиренномудрие. Мы ждем вас завтра, как честного товарища, на предстоящей сходке.

Ваш искренний доброжелатель".

Письмо это и озадачило, и раздосадовало Хвалынцева. "Что за тайный доброжелатель? Что за контроль над частною жизнью человека, над личными его отношениями? Меня не видать там-то и там-то! — Да вам-то какое дело, где меня видать?!.. И сейчас уже «шпион»... Господи, как это у них все скоро!.. И глупо, и больно, и досадно!.."

И нервно крутя пальцами в трубочку письмо, Хвалынцев заходил по комнате. Он принял к сердцу полученное известие — и втайне его печалило, грызло и бесило заявление о его шпионстве: "что это — нелепое ли предостережение, с целью пострашать, или в самом деле правда?" Кровь кидалась ему в голову, как только начинал он думать и воображать себе, что его фамилия сопоставляется "с этим словом". Хвалынцев — шпион!.. "Э, нет мои милые, я вам докажу... я вам докажу, что так нельзя!.. Это уже слишком!" злобно бормотал он, стиснув зубы, а рассудок меж тем скромно подшептывал в это самое время простой вопрос: "чем же ты это, любезный друг, им докажешь?" — И досадливая злоба еще пуще подступала к его сердцу.

Он долго не мог уснуть. Все одна и та же оскорбительная мысль, все то же злобное чувство, даже и в коротком, перерывчатом сне, не давало ему покою.

IX. "Студентский день"

Утром, часу в одиннадцатом, он поехал к Стрешневым.

Татьяна Николаевна сразу заметила, что ему как-то не по себе.

— Что с вами нынче? — почти на первом же слове спросила она.

— А вот, прочтите и узнаете, — ответил он, подавая вчерашнее письмо.

Та развернула бумагу и быстро принялась читать. По ее лицу можно было видеть, какое впечатление производит на нее это послание.

— Какие мерзости! — вырвалось у нее с негодованием, когда она дочла до последней строки. — Неужели это правда? Неужели у вас такие нелепости распространяются так же легко и быстро, как в Славнобубенске?

— А что ж, мудреного нету!

— Но после этого мало-мальски самостоятельному человеку просто жить нельзя! — Чуть высказал мнение, несогласное с большинством — сейчас шпион, сейчас подлец! Да это хуже всякого рабства!

Хвалынцев пожал плечами.

— Устинов прав: среда, действительно, тот же палач и деспот, — тихо сказал он; — как ее ни презирай, а она, помимо твоего презрения, даст-таки почувствовать себя слишком чувствительным образом.

Татьяна Николаевна остановилась в какой-то внутренней, сосредоточенной борьбе со своим собственным раздумьем. Решить ли так, или эдак? высказывалось в ее взоре, в ее суровой морщинке над бровями, в ее медленном и редком подергивании углами губ. Видно было, что обвинение, павшее на Хвалынцева, слишком успело задеть ее за живое.

— Послушайте, Константин Семенович! — решительно подняла, наконец, она на него свои глаза. — Хоть это все и мерзость, и глупость, но… мне кажется, оставлять без внимания такие вещи не должно. Ваше имя, ваша честь должны стоять слишком высоко! Они не должны ни минуты оставаться под какой бы то ни было тенью!

— Что ж прикажете делать? — горько улыбнувшись, спросил он.

— Что делать? — быстро и оживленно подхватила девушка. — Прежде всего разъяснить это дело. Может быть, все это не более, как плоская шутка какого-нибудь благоприятеля, не слишком разборчивого на средства; в таком случае наказать его за это, выставить его поступок на позор товарищей.

— О, помилуйте! до того ли им теперь! — перебил студент. — В университете идет дело поважней моего личного самолюбия. Да и едва ли шутка: мы, надо сознаться, слишком скоры на самые решительные приговоры.

Стрешнева снова задумалась.

— В таком случае вот что: уважаете вы ваших товарищей или нет? Уважаете вы общее мнение студентской массы?

— Вопрос даже излишний, — возразил Хвалынцев. — Я сам студент.

— Значит, уважаете, — утвердительно заключила девушка. — Ну, так поезжайте сейчас же на сходку! Сейчас поезжайте! Там вы сами воочию убедитесь, насколько тут правды — и если *да*, то постарайтесь своим поведением доказать товарищам, что они на ваш счет заблуждаются. Поезжайте! Вот вам рука моя на счастье… Я буду ждать вас…

Хвалынцев с любовью и благодарностью поцеловал протянутую руку и отправился на сходку.

* * *

Подъезжая к университету, он еще издали увидел огромную толпу, запрудившую всю набережную. В этой толпе пестрела самая разнообразная публика, серели ряды войска, над которыми виднелись тонкие, частые иглы штыков; несколько гарцующих на месте всадников заметно выдавались над головами; еще далее — стройный ряд конных жандармов... Все это могло бы предвещать нечто недоброе, если бы частое повторение подобных явлений за последнее время не приучило студентов смотреть на них, как на нечто весьма обыкновенное, вроде необходимой декорации при театральной комедии.

Хвалынцев расплатился с извозчиком и спешно отправился пешком по набережной. Квартальный надзиратель и несколько полицейских пропустили его беспрепятственно. Он уже с трудом пробирался между рядами солдат, с одной стороны, и массою публики — с другой, как вдруг дорога ему была загорожена крупом строевой лошади. На седле красовался какой-то генерал и жестикулируя говорил о чем-то толпе и солдатам. Хвалынцев приостановился.

— Это мальчишки, которых правительство кормит, поит и одевает на свой счет, — раздался голос с коня, — а они, неблагодарные, бунтуют!.. Из них, братцы, со временем выйдут подьячие, которые грабят вас, грабят народ — дадим им хороший урок!

Вся кровь бросилась в голову Хвалынцева. Из груди, переполнявшейся негодованием, готовы были вырваться слезы.

— Ваше превосходительство! не все средства хороши и позволительны! — закричал он. — Это ложь! это клевета!

Генерал повернулся, желая поймать голос, осмелившийся встретить его слова столь громким протестом.

Ближайшая толпа из публики, смекнув в чем дело, в тот же миг закрыла собою студента и образовала между ним и всадником довольно плотную и густую стену. Хвалынцев рванулся было вперед, но его задержали и закрывая продолжали оттирать назад.

— Найти и взять, — крикнул генерал, обращаясь к близстоявшему городовому.

Тот расторопно кинулся в толпу, но толпа, встретившая его гулом и смехом, все более и более оттирала студента вглубь, так что все усилия полицейского остались тщетны.

Отчасти сконфуженный, генерал шагом поехал далее, к университету.

Хвалынцев, с трудом пролагая себе дорогу в толпе, отправился в том же направлении. Вот засинели перед ним студентские околыши, вот он уже примкнул к их толпе. На сердце у него было так смутно и так тревожно: он не знал, как отнесутся теперь к нему его товарищи; он втайне боялся за свое доброе имя и сознавал, что минута встречи с ними должна быть роковою, что после нее нужно решиться на что-нибудь такое, что сразу разубедило бы их, рассеяло все предубеждения. Но чем именно должно быть это "*что-нибудь такое*", в чем оно должно заключаться? студент не знал и не мог еще дать самому себе ясного отчета; он только был твердо уверен, что "*что-нибудь такое*" он сделает, что оно будет и будет непременно. У страха глаза велики, говорит пословица. У предубежденного в какую-либо сторону человека они точно так же велики, а Хвалынцев явился сюда уже предубежденным, настроенным в известном направлении, и потому был способен видеть в каждом взгляде, в каждом пожатии руки, в каждом слове и движении знаменательное для себя явление, явление, направленное против своей личности в дурную, враждебную сторону. Может быть, в сущности, многого из того что ему казалось, вовсе и не было, но уж он-то сам, по внутреннему настроению, склонен был глядеть на все преувеличенными глазами и объяснять себе все так, как подсказывало ему

его собственное, болезненное чувство. Ему показалось, что на него весьма многие стали вдруг косо глядеть, что некоторые как будто уклонились от встречи с его взглядом, от его поклона, что самые речи как будто становились сдержаннее, при первом его появлении в том или другом месте толпы. Болезненное чувство досады и незаслуженного оскорбления подымалось в его душе, а на подобное настроение очень много повлияли и дурно проведенная ночь, и возбуждение нервов, и неожиданное столкновение с ораторствовавшим генералом. "А ведь струсил, подло струсил", сам себя упрекал в душе Хвалынцев. — "Следовало бы не прятаться в толпе, а выйти прямо к нему и честно сказать: "это я сказал", а я почти беспрепятственно позволил оттереть себя. Арестовали бы, ну и пускай!.. Тогда бы, по крайней мере, все знали, всем бы было известно"...

"И все вздор! И никто бы не знал, и никому не было бы известно!" следовал в нем новый поток мыслей. — "То было бы там, а они здесь, откуда ж бы узнали *они?* Никто из них этого и не увидел бы... Доказать... Но чем доказать... Нужно, необходимо нужно что-то такое сделать, чтобы все увидели, чтобы все поняли... Но что такое сделать?.. Что именно нужно?.."

Чем более поддавался Хвалынцев этим мыслям, тем все смутнее и тяжелее становилось ему, и он вдруг как-то почувствовал себя одиноким, чужим, лишним среди этой толпы товарищей, отторгнутым от нее членом, вследствие какого-то тайного, неведомого, высшего приговора. Ему стало очень горько и больно; досада и злость, и сознание своего бессилия еще пуще стали сжимать и щемить его душу.

"Как я приду *к ней?* Что я скажу ей?.. Она ведь ждет меня, она сама, может, так же страдает", думалось ему. — "Нет, надо *сделать!..* надо сейчас доказать им... Но, Господи! Что же я сделаю!.. О, будь толпа за меня, будь я по-прежнему без малейшей тени в ее глазах, я был бы силен ею... я все бы сделал тогда, все было бы так легко и так просто... а теперь, черт знает, словно будто бы связан по рукам и ногам, словно будто бы паутиной какой-то спутан..."

— Господин Хвалынцев! Господин Хвалынцев! — послышался вдруг ему чей-то дружелюбный, приветливый голос.

Константин Семенович обернулся на зов и увидел на тротуаре набережной, между массою публики, Василия Свитку, который улыбаясь махал ему рукой.

Хвалынцев, погруженный в свои тяжелые думы и ощущения, обрадовался этому голосу, как какому-то спасительному, благовестному звуку. Он поспешил пробраться к Свитке с чувством, весьма близким к чувству утопающего, которому вдруг представляется доска или сучок прибрежного кустарника.

Свитка стоял в рядах публики, но несколько человек его соседей, как показалось Хвалынцеву, составляли как будто особую кучку знакомых между собою людей. Тут были и Шишкин, и Лесницкий, физиономия которого показалась студенту несколько знакомою: он вспомнил, что видел, кажись, этого самого господина вместе со Свиткой и в университете однажды, и в тот день, когда в условленные часы гулял по Невскому.

Кроме этого господина, тут же стояло несколько офицеров, между которыми особенно выделялась фигура капитана генерального штаба с очень умным, энергическим лицом. Этот капитан разговаривал с блондином чиновничьей наружности, очень скромным и приличным на вид. Несколько выдвинутая вперед нижняя челюсть и тонкие подобранные, сжатые губы, несмотря на общую болезненность физиономии, придавали его лицу какое-то презрительное и вместе с тем энергическое, твердое выражение решимости и силы. Это лицо было из тех, которые невольно останавливают на себе некоторое внимание. Он стоял в распахнутом

бобровом пальто и между развернувшимися бортами его кашне Хвалынцев заметил какой-то орден на его шее. Несмотря на то, что серые глаза его дышали наглостью, общее выражение ума и энергии, вместе с изящною скромностью манеры держать себя, имело в себе нечто подкупающее и даже располагающее в его пользу.

— А молодцы матрикулисты! ей-Богу молодцы! — не без увлечения похвалил Свитка, дружелюбно пожимая руку Хвалынцева.

— А что так? — спросил этот.

— Да как же! Собрали сходку и торжественно изорвали свои матрикулы... Это факт утешительный! Нематрикулисты хотели помешать лекциям, но оказалось, что и мешать нечему: все само собою сделалось как не надо лучше.

Хвалынцев с высоты тротуара оглядел толпу. Более двухсот студентов-матрикулистов стояли отдельной группой; человек полтораста, из не взявших матрикулы, помещались неподалеку от них. Разное начальство и власти, конные и пешие, стояли около этих двух групп и горячо о чем-то спорили, убеждали, доказывали, то принимаясь грозить, то вдруг увещевать; властям возражали — и власти снова начинали горячиться и снова грозить, но угрозы их встречались или равнодушием, или смехом; власти терялись, опять приступали к заявлениям своей любви и симпатии к "молодому поколению", молодое поколение на любовь не поддавалось, и потому власти опять-таки выходили из себя.

Все уже это, на сей день, было старо, а от частых повторений становилось даже и скучным.

Вдруг раздался чей-то резкий, взбешенный крик:

— Вперед!.. Бей!.. Обходи!..

И рота солдат — ружья на руку, штыками вперед — бросилась на толпу матрикулистов. С другой стороны в нее врезались конные жандармы. Поднялся неистовый крик. Студентские палки и несколько солдатских прикладов поднялись в воздух. Среди крика, шума и свалки послышались удары и отчаянные вопли.

Минута была ужасная.

Вдруг Хвалынцев заметил, что в нескольких шагах от него грохнулся на мостовую человек. Он вгляделся и узнал знакомого: то лежал один кандидат университета, кончивший курс нынешнею весной. Лицо его было облито кровью. Первым движением студента было броситься к нему на помощь, но чья-то сильная рука предупредила его порыв.

— Останьтесь!.. Куда вы!?.. Бога ради, останьтесь! — шептал ему Свитка, крепко ухватив его под руку.

Хвалынцев от сильного волнения не мог выговорить ни слова и только взглядом и жестами показывая на окровавленного человека, все порывался к нему.

В это время двое солдат подняли лежачего и пособили ему держаться на ногах, а один даже обмахнул обшлагом грязь с полы его пальто. Раненый, очевидно, под впечатлением сильной боли, плохо сознавал, что делается вокруг него и несвязно бормотал какие-то слова. Солдаты, подхватив его под руки, утащили куда-то.

Свалка продолжалась еще несколько секунд. Клочья разорванного платья, два-три лежачих и

несколько окровавленных человек были ее результатом.

Солдаты окружили и оттеснили на некоторое расстояние толпу матрикулистов. Лежачих тотчас же подняли и отправили в госпиталь.

— В крепость!.. Марш! — скомандовал кто-то из начальства.

И толпа матрикулистов, окруженная конвоем, двинулась с места.

— Берите и нас!.. Арестуйте и нас вместе с ними! — Мы хотим быть с нашими товарищами! — раздались вдруг крики из особой толпы нематрикулистов, и вся она хлынула вперед, на соединение с арестованными.

Конвой расступился и беспрепятственно допустил это соединение.

Хвалынцев снова бросился вперед.

— Да куда же вы, наконец?!.. Куда вы! — с досадой остановил его Свитка.

— Пустите! — рванулся тот от него локтем. — Мое место там… вместе с ними… Оставьте меня!

— Не оставлю! — спокойно возразил Свитка. — Прежде всего — это глупо!.. Что за неуместное донкихотство!..

— Какое вам дело до меня!.. Мне не нужно нянек!.. Пустите же, говорю вам!

И он успел вырваться из-под руки Свитки и кинулся вперед.

Какой-то городовой налетел на него и, ухватив за шиворот, потащил к арестованной толпе. Хвалынцев не противился.

— Оставить!.. Пусти его, каналья! — строго начальственным тоном проговорил в эту самую минуту капитан генерального штаба, подоспевший на выручку вместе с двумя-тремя офицерами, которые доселе стояли в толпе, около Свитки.

Городовой тотчас же выпустил шиворот Хвалынцева и, почтительно вытянувшись пред офицерами, спешно взял под козырек.

Двое из них в ту ж минуту подхватили под руки студента и почти насильно оттащили его в толпу народа, на тротуар набережной.

А в это время студенты под конвоем успели уже двинуться далее.

Хвалынцев, слишком много перечувствовавший и перестрадавший в эту ночь и в это утро, взволнованный и возмущенный видом стычки, видом крови, наконец не выдержал. Ощущения его за все это время были слишком тягостно-разнообразны. Отворотясь от толпы, он облокотился на гранитные перила набережной, судорожно закрыл лицо руками и нервно зарыдал. Это были рыдания болезненного озлобления.

— Полноте… успокойтесь, — тихо говорил ему Свитка, облокотившийся рядом с ним на перила.

— Оставьте, говорю! — злобно прохрипел студент. — Чего вам от меня надо?.. Кто вас просил мешаться?.. По какому праву?..

— По праву товарища, — спокойно пояснил Свитка.

— Вы мне не товарищ… Мои товарищи там… А я не с ними.

— Ну, а кого ж бы вы особенно удивили, если бы были с ними? — с дружеской улыбкой возразил Свитка. — Эх, господин Хвалынцев! Донкихотство вещь хорошая, да только не всегда!.. Я возмущен, может быть, не менее, но… если мстить, то мстить разумнее, — прибавил он шепотом и очень многозначительно. — Быть бараном в стаде еще не велика заслуга, коли в человеке есть силы и способность быть вожаком.

Хвалынцев окинул его недоумевающим взглядом.

— Полноте, успокойтесь, говорю вам, — продолжал Свитка. — Первый акт трагикомедии, можно сказать, кончен… ну, и слава Богу!.. Полноте же, будьте мужчиной!.. Пойдемте ко мне и потолкуем о деле… Я довезу вас… Я не отпущу вас теперь одного: вы слишком взволнованы, вы можете наделать совершенно ненужных глупостей. Давайте вашу руку!

В тоне Василия Свитки было столько чего-то авторитетного, столько спокойствия и благоразумного сознания своего права и силы и решительности, что Хвалынцев, успевший уже до известной степени нравственно ослабеть под ударами стольких впечатлений, почти беспрекословно подчинился воле этого нового и неожиданного ментора.

Свитка нанял извозчика и повез Хвалынцева на свою квартиру, в 13-ю линию Васильевского острова.

* * *

В общественных толках, этот достопамятный для петербургского университета день был назван "студентским днем". Это название надолго осталось за ним и в воспоминаниях тогдашнего и последующего студентства.

X. Беседа с мудрым Никодимом

— Ох, господин Хвалынцев, да какой же вы, право, нервный! — говорил Свитка, качая головою, когда студент уселся уже в старое, но очень мягкое и покойное кресло. — Ишь ведь, и до сих пор, нет-нет, а все-таки дергает лицо дрожью!

— Не дрожью, а злостью дергает! — отвернувшись от него проворчал Хвалынцев.

— Злость — чувство очень почтенное, когда оно разумно направлено! — как бы между прочим заметил Свитка. — А знаете, выпейте-ка стакан бургонского; это вас и освежит, и подкрепит, как следует; кстати, дома есть бутылочка, и посылать не надо… Я ведь человек запасливый! — говорил он, доставая из шкафчика темную бутылку и пару стаканов.

Хвалынцев давно уже чувствовал внутреннюю, несколько воспаленную, болезненную сухость и потому залпом выпил стакан вина, которое утолило его лихорадочную жажду.

— Хотите сигару, или папиросу? Только предупреждаю, сигаренка так себе, весьма посредственного достоинства — говорил Свитка, подвигая студенту и то и другое. — Главное у меня — чтобы вы успокоились. Это прежде всего. Сидите, лежите, курите, пейте, а когда будете совсем спокойны — будем толковать.

Хвалынцев с улыбкой последовал его предупредительным, любезным советам, закурил себе

сигару, налил в стакан еще вина и с ногами переместился на диван, подложив себе под бок кожаную подушку.

— Ну-с, теперь я в совершенно покойном положении. Можете начинать, — полушутя обратился он к своему любезному хозяину.

— Могу и начинать, — в том же духе ответил Свитка, в свою очередь подливая себе бургонского. — Прежде всего, милостивый мой государь, господин Хвалынцев, да будет вам известно, что вы — арестант.

Студент вскинул на него вопросительный взгляд.

— Да-с, вы — арестант, — продолжал Свитка, как бы в свет на этот взгляд, — потому что вы арестованы… Понимаете-с?

— Немножко не понимаю, — улыбнулся Хвалынцев.

— Вы арестованы мною и у меня, и вскоре будете переправлены в более надежное место.

— Буде до того времени не уйду из-под ареста, — виде добавления к словам Свитки и впадая в его тон, заметил Хвалынцев.

— Это само собою разумеется! — поклонился тот, вполне соглашаясь со своим гостем. — Но буде вы уйдете из-под ареста, то рискуете быть арестованным Санкт-Петербургскою явною или тайною полициею. Вам это желательно?

— Мне это решительно все равно.

— Как "все равно"?.. А Малая Морская улица?

Хвалынцев в замешательстве и в несколько тревожном недоумении вскочил с дивана.

— Ну, вот видите, я говорил вам, что вы еще не совсем спокойны. Оно так и есть! — полусмеясь, заметил Свитка. — Ложитесь-ка лучше опять, и пейте, и курите, и ведите беседу, как подобает мужу мудрому.

— Все это прекрасно, — возразил студент, возвращаясь на диван в прежнее свое положение, — но…

— Что такое *но!* — лукаво улыбаясь, прищурился Свитка.

— Но?.. Но вы начинаете говорить загадки.

— А! на то и существуют на свете загадки, чтобы их отгадывать. Вы видите, что мне кое-что известно, и — поверьте слову — я бы никак не стал заводить речь о таких деликатных предметах, как Малая Морская улица, если бы в этом не было самой настоятельной надобности.

— Верю вполне, но мне было бы интересно знать, кто вас уполномочил на это?

— Н-да… я вижу, что коснулся действительно щекотливого предмета! уставя в землю глаза, медленно проговорил Свитка. — Кто уполномочил меня?.. хм!.. Полагаю, ваш собственный интерес, ваша собственная польза.

— Ну, что ж! Мне, стало быть, остается только поблагодарить вас за участие к моим пользам.

— О, я в этом и не сомневаюсь! Но это вы успеете сделать и потом, впоследствии! — говорил Свитка, притворяясь, будто не понял настоящего смысла фразы Хвалынцева. — Ведь не может же быть, чтобы человек в вашем положении добровольно пожелал сидеть, Бог знает сколько времени, в Петропавловских казематах.

— Как знать!.. — пожал плечами студент. — Вы сегодня же видели противное, и если бы не вы, да не те господа офицеры, то и сидел бы! — Ведь отвели же целых триста человек.

— Э, господин Хвалынцев. — перебил Свитка, — но ведь это отвели барашков… это отвели хор, а вы в хор не годитесь: вы из породы солистов. Ведь туда, если я не ошибаюсь, кажись, и Полоярова нынче же отвели с толпою; но какому же порядочному, серьезному человеку охота стоять в одной категории, с позволения сказать, с господином Полояровым? Помилуйте!

— Да; но как бы то ни было, а только вы далеко не услугу оказали мне, помешав моему аресту, — сдержанно заметил Хвалынцев.

Свитка, облокотясь на стол над своим стаканом и подперев кулаками обе щеки, пристальным взглядом уставился на студента.

— И вы серьезно хотели быть арестованным? — спросил он.

— А положим, что и так; положим, что хотел совершенно серьезно.

Свитка тихо засмеялся, и смех его вполне выражал мысль, которая могла бы быть совершенно ясно формулирована словами: "нет, милый, ты меня не проведешь!"

— Ну, положим! — согласился он. — Но, извините за бесцеремонный вопрос: для чего же вы это хотели?

— Да хоть для того, чтобы быть вместе с моими товарищами, чтобы делить их участь.

— И для этого вы даже пожертвовали бы без всякого сожаления Малою Морскою улицей? — Простите новую нескромность.

— Ну-ну, это другой вопрос! — возразил студент. — Без сожаления… не скажу.

— А, вот видите ли!.. Нет, господин Хвалынцев! — со вздохом поднялся он с места, однако же не спуская с собеседника пристального взгляда. — Не потому только, чтобы быть с товарищами, желали вы ареста!

— Так почему ж, по-вашему? — нахмурясь спросил студент.

— По-моему?.. Я предполагаю, что уж если было такое желание, то была и другая причина и… быть может, я догадываюсь, какая! выслушайте меня!

И подсев рядом к нему на диван, Свитка дружелюбно, как бы располагая в пользу интимной откровенности, дотронулся ладонью до его колена.

— Может быть, я и ошибаюсь, — начал он, — а может быть и нет. Не хотели ли вы доказать вашим арестом, что вы… что вы не шпион, как распустили об вас тут некоторые близорукие болваны.

Хвалынцев мгновенно вспыхнул при этом слове, которое уязвило его подобно капле растопленного свинца, упавшей на тело. Свитка, как нельзя вернее, попал в настоящую суть дела.

— Что вы не шпион, то в этом безусловно убежден каждый честный и порядочный человек, кто хоть сколько-нибудь знает вас, — с полным спокойствием и весьма веско продолжал он; — что на каждого честного человека это слово, это нарекание производит такое же действие, как и на вас сию минуту — это вполне естественно, иначе и быть не может; но что ваш арест вместе с товарищами ровно ни в чем не разубедил бы близоруких болванов, то это также не подлежит ни малейшему сомнению. "Помилуйте, скажет любой из них, да его нарочно посадили, чтобы, во-первых, глаза нам отвести, а во-вторых, чтоб и здесь удобнее наблюдать за нами, а потом донести полиции!" Вот что наверное скажет каждый осел! И, стало быть, арест ваш был бы совершенно напрасен.

— Да… пожалуй, что и так… пожалуй, что вы и правы, — медленно и глухо проговорил наконец Хвалынцев, после некоторого раздумья над его словами.

— Да уж поверьте на честь, что так! — утвердил Свитка. — И притом же аресты огулом хороши только для хора, повторяю вам, а для солистов они совсем не годятся-с.

— Может быть, — согласился студент, — но кто же вам сказал, что я-то солист?

— Э, батюшка! виден сокол по полету, говорится пословица. И потому-то надо поберечь вас, а чтобы поберечь, надо было арестовать.

Хвалынцев очень внимательно поглядел на Свитку. По его словам и, главное, по тону никак нельзя было сказать утвердительно, говорится ли это серьезно, или так только, одной шутки ради.

— И вы меня арестовали? — улыбаясь, спросил он.

— И я вас арестовал! — поклонился Свитка. — Арестовал пока у себя, а к вечеру как уже сказано, переправлю в более надежное место. Надо убрать вас подальше от Цепного моста.

— Да вы это серьезно, или в шутку? — приподнявшись с дивана, озабоченно спросил студент.

— Что за шутки, помилуй Бог!

— Но…

— Опять "но"?

— Да непременно! Я хочу спросить вас, на чем вы все это основываете?

— На том, что знаю, что вас хотят арестовать и, может быть, не далее, как нынешнею ночью.

Эти слова были произнесены с самою точною и неколебимою уверенностью, как действительный факт, как истина, самая непреложная.

— Но за что же, наконец? — пожал плечами Хвалынцев.

— За то, что 25-го числа вы предложили шествие в Колокольную улицу, в известном порядке, по известной программе. Достаточно с вас этого?

— Но отчего ж меня не арестовали прежде, в ту же ночь?

— Оттого, что из следственного дознания об этом узнали они только вчера утром в девять часов. Теперь понимаете?

— Это-то понять не трудно; но не понимаю одного: откуда вы-то все это знаете и притом с такою точностью? — возразил озадаченный Хвалынцев.

— Хм… Вы, кажись, начинаете несколько сомневаться в моей личности? — добродушно и в то же время лукаво улыбнулся Свитка. — Не сомневайтесь! Я — ваш добрый гений.

— Этого для меня мало. Я хочу знать, — заметил студент.

— Отчего же, когда-нибудь, может, и узнаете, — отвечал Свитка, в том же полушутливом и полусерьезном тоне. — Вы видите, что *нам* кое-что известно, и не только насчет вашего ареста, но и насчет Малой Морской.

— Вопрос не в том! — перебил Хвалынцев, — а в том, откуда, почему и как известно.

— Известно ровно настолько и так, как оно есть в действительности, — самым положительным образом заверил Свитка, — а почему известно, это, вот видите ли, я вам объясню насколько возможно. Кроме правительственной полиции, есть еще другая, которая, быть может, следит, в свою очередь, и за правительственною. Это, так сказать, полиция вне полиции. Ведь согласитесь, если на вас нападают, если против вас изыскивают разные тайные пути, которые должны вредить вам, то с вашей стороны будет очень естественно подумать о самозащите, о том, чтобы, по мере возможности, парализовать эти вредные происки и замыслы. Ну, вот вам, отсюда и вытекает полиция вне полиции или, вернее сказать, контрполиция.

Хвалынцев не на шутку раздумался над этими словами, которые его и поразили, и озадачили, и как будто сказали многое, тогда как в сущности не было сказано ровно ничего определительного. Эти слова только слегка, только чуть-чуть приподняли для него край непроницаемой завесы, за которою вдали, как можно предполагать и догадываться, кроется во мгле что-то большое, важное, таинственное, серьезное и сильное, но что именно — распознать за мглою невозможно. Студент однако же сделал еще одну попытку пощупать это неуловимое нечто.

— Хорошо, — сказал он. — Положим, вам удастся припрятать меня на время от жандармов, но что ж из этого? Ведь я же не могу век быть спрятанным, ведь рано ли, поздно ли, они все-таки найдут и притянут меня к делу.

— Об этом не заботьтесь! Об этом предоставьте заботу другим! — успокоительно и авторитетно отвечал Свитка. — Дело можно устроить и так, что все обойдется пустяками. Для этого руки найдутся, а спрятать вас необходимо собственно на первое только время, пока там идет вся эта передряга. Погодите: угомонятся.

Недоумение Хвалынцева все-таки нимало не разъяснилось.

— Ваш арест будет сопряжен для вас с некоторым лишением, — продолжал Свитка, — то есть я разумею Малую Морскую, но вы не беспокойтесь: мы найдем возможность тотчас же там предупредить и успокоить; а показываться вам самим, в Hôtel de Paris неудобно по той причине, что жандармам, точно так же как и нам, уже кое-что известно по поводу Морской, в этом уж вы мне поверьте! И потому вас могут захватить и там, а это будет очень неприятно не одному только вам, а и другим особам.

Хвалынцев колебался, не зная, в какую сторону направить свое решение: принять ли предложение Свитки, или не принять его.

Свитка заметил это колебание и угадал внутренний смысл его.

— Делайте, как хотите, — сказал он, принимая равнодуыи ный вид; — хотите согласиться со мною — соглашайтесь, а не желаете, так как угодно. Я, конечно, настаивать и удерживать вас насильно не стану: я не имею права на это. Но только знайте, господин Хвалынцев: если вы выйдите из-под моей опеки, вам грозит арест неминуемый. Каковы будут последствия этого ареста, мне, конечно, неизвестно еще, но во всяком случае, они будут несравненно тяжелее, и самый арест продолжительнее, чем арест у меня. Я говорю все это вам не на ветер, а совершенно серьезно. Итак, угодно вам иметь дело с вашим покорнейшим слугою, или угодно иметь его с Третьим отделением и Петропавловскими казематами?

— Господин Свитка, — начал Хвалынцев, после некоторого раздумья, — я вас слишком мало знаю, для того чтобы… для того чтобы… ну, одним словом…

— Одним словом, для того, чтобы вполне довериться мне, поверить моим словам, хотите сказать вы, не правда ли? — перебил он.

— Пожалуй, и так. Вы угадали.

— Гм… так вот в чем дело! — ухмыльнулся Свитка, руки в карманы, пройдясь по комнате и остановясь, наконец, перед своим гостем. — Другими словами, в переводе на бесцеремонный язык, ваша мысль формулируется таким образом. Я не могу довериться тебе, любезный друг, потому что ты, быть может, не более, как ловкий полицейский шпион и можешь головой выдать меня правительству. Так что ли, господин Хвалынцев?

Студент немного сконфузился и промолчал. Свитка вполне разгадал мысль его. Хвалынцев начал и чувствовать, и понимать, что имеет дело с человеком настолько умным и проницательным, что от него трудно вилять куда-нибудь в стороны.

— Ну, хорошо. Положим, что я шпион, — продолжал меж тем Свитка. — Стало быть, в данную минуту вы уже в руках тайной полиции, которая может сделать с вами все, что заблагорассудит, и никто знать этого не будет, потому что никто не знал и не видел как и где, и кем и когда вы арестованы. Если я шпион, то и бежать вам отсюда некуда, потому что — почем вы знаете? может, за этою дверью стоят уже жандармы, которые, чуть вы нос покажете, схватят вас, усадят в темную карету и умчат хоть туда, куда Макар телят не гонял. Ха, ха, ха!.. Полноте, господин Хвалынцев, не опасайтесь меня! — шутливо заключил Свитка, протягивая руку студенту. — Я прошу только немножко доверия, ради вашей же собственной пользы. Неужели это так трудно?

— Но кто же вы, наконец, и что все это значит? — пожав плечами, нетерпеливо вскочил с места Хвалынцев.

— Повторяю вам еще раз: я — ваш добрый гений, а значит все это — полиция вне полиции, или так сказать, контрполиция. Более это объяснять вам пока, ей-Богу, не могу и не имею права. Но еще раз предваряю: вне моей опеки вас ждет арест неминуемый.

— Да что же это, наконец, за участие такое к моей особе? Чем вызвал, чем заслужил я его? Почему не к другим, а к одному только мне?..

— А почем вы знаете, что к одному только вам? Не беспокойтесь: есть и другие! — удостоверил

его Свитка. — А что касается участия к вашей особе, то оно вызвано тем, что опять-таки меры, пригодные для хора, не всегда годятся для солистов. Вас надо поберечь. *Они* могут стричь наши волосы, брить нашу бороду, — но обрубать наши пальцы мы не можем дозволить. Обрубите пальцы — рука ваша ни к черту не годится. Дело ведь, кажется, ясное? Вот почему мы и бережем наши живые, деятельные силы. Если вы сами не хотите еще сознавать в себе эту деятельную, живую силу, то другие очень хорошо провидят ее в вас. Итак, угодно вам отдаться в мое распоряжение?

Хвалынцев начинал чувствовать досаду. Сознание, что он в руках у этого человека, который, очевидно, составляет звено какой-то тайной силы, но какой? — неизвестно, — это сознание становилось все более и более ощутительным для студента. Он, конечно, более всего не хотел быть арестован правительственной полицией: вся неприятная сторона такого ареста и все лишения, сопряженные с ним, говорили слишком громко в пользу того, чтобы всячески стараться избежать их, особенно после этой беседы с Василием Свиткой. Одно уже лишение встреч и свиданий с Татьяной Николаевной на неопределенное и, конечно, более или менее продолжительное время, казалось ему невыносимым. Арест у Свитки хотя тоже требовал этого последнего лишения, но все же не на столь долгий срок, и все же, в сущности, этот последний арест был несравненно легче первого, уже потому, что он мог быть только добровольным. Стало быть, колебаний в выборе того или другого для Хвалынцева теперь уже не было. Но ему становилось досадно при сознании, что вот этот человек, с которым он едва знаком, забирает над ним какую-то силу, какое-то нравственное преобладание, от которых, пожалуй, можно и освободиться, да только не иначе, как в явный ущерб самому себе же. Стало быть, благоразумнее будет пока подчиниться ему. Но, подчиняясь, невольно становишься в соприкосновение с какою-то таинственной и, как кажется, правильно и прочно организованной силой. Что эта за сила? Куда, как и кем она направлена? Насколько могуча и чем могуча она? — Все это были вопросы, неразрешимые теперь для Хвалынцева. Кое о чем можно было догадываться, но одних догадок слишком мало казалось ему: хотелось *знать,* а знать нельзя. Что же делать? Или, зажмуря глаза, отдаться на авось этому потоку, этой таинственной и потому заманчивой силе? Она-то, может быть, и есть настоящая, спасительная сила, а может в ней-то и заключается гибель. — Между чем выбирать тут? Отдаться под опеку Василия Свитки, значит слепо довериться этой силе, которая, как водоворот, притянет, закружит и, может быть, засосет, поглотит тебя. Отказаться от Свитки — значит самому идти в руки другой силы, которая наверное не посулит ничего светлого в будущем. Нервы молодого человека достаточно уже были взбудоражены всеми предшествовавшими впечатлениями. Он сам чувствовал, что в настоящем своем положении решительно не может относиться холодно и спокойно к тем задачам и вопросам, которые подымались в его голове: он не мог теперь обсудить вполне хладнокровно, как нечто постороннее, шансы того и другого — жандармов и Свитки. На стороне той неведомой силы, которая в лице этого Свитки протягивает теперь ему руку, он, как будто, чуял и свет, и правду и свободу или по крайней мере борьбу за них. Другая же сила представлялась ему враждебной и свету, и правде, и свободе: неужели же он, полный молодости веры и силы, отдастся без всякой борьбы этой последней, враждебной силе? Нет, надо теперь избежать ее, укрыться от нее, для того чтобы потом успешнее бороться с нею. Кроме этих соображений, отрывочно и не совсем ясно мелькавших в глазах студента, на сторону Свитки тянуло его еще и любопытство, которое так легко и так заманчиво возбуждается в предприимчивом и впечатлительном человеке, когда он приходит в первое соприкосновение с чем-то таинственным, неизведанным.

— Ну, что же вы? Я жду, наконец, вашего ответа! — дружески, но решительно обратился Свитка к своему гостю, после довольно продолжительной паузы.

— Делайте как знаете! — подал ему руку Хвалынцев. — Признаю себя вашим арестантом.

— Это все, что могли вы сделать лучшего! — поклонился Свитка, — и поверьте, каяться не станете. Как стемнеет, я перевезу вас в более надежное место. Там вы будете вполне безопасны.

XI. Надежное место

В начале шестого часа, когда совсем уже стемнело, Свитка привез Хвалынцева на угол Канонерской улицы и поднялся в ту хорошо знакомую ему квартиру, на дверях которой сияла медная доска с надписью: "Типография И. Колтышко". Тот же самый рыженький Лесницкий на высоком табурете сидел за высокой конторкой и сводил какие-то счеты.

— Господин Хвалынцев! — громко назвал его Свитка, подходя к конторке.

Лесницкий тихо, из-за бумаг, поднял глаза на студента, встал с табурета и, не произнеся ни слова, как-то отрывисто стиснул и дернул его руку, в знак пожатия.

— Мы рассчитываем на ваше гостеприимство, — продолжал Свитка.

Лесницкий сутуловато и отрывисто поклонился, оскалив широкой улыбкой свои редкие, но крупные белые зубы и, подойдя к двери, сделал пригласительный жест своим посетителям.

Те пошли вместе с ним по коридору, в конце которого управляющий отворил дверь в особую, непроходную комнату, служившую жилищем если не ему, то кому-либо из принадлежащих к типографии, и, указав на нее новым пригласительным жестом, промолвил:

— Вот.

— Здесь вам, пока до времени, будет очень удобно, — пояснил Свитка.

Комната действительно была и удобна, и тепла, и уютна. Широкий, мягкий диван, письменный стол, шкаф и полки с книгами составляли ее убранство.

— Вы обедали, господа? — спросил Лесницкий.

— Нет еще, не успели.

Управляющий торопливо удалился из комнаты, а через несколько времени лакей принес туда два прибора и обед, который был съеден с большим аппетитом двумя проголодавшимися юношами.

— Дайте мне записку к вашей хозяйке, предложил Свитка студенту, — я привезу вам кое-что из белья да те вещи, которые вам более всего нужны, а в Малую Морскую ничего не пишите.

— Отчего так? — несколько удивился Хвалынцев.

— Да уж так. Доверьтесь мне во всем, пожалуйста! Я вам худого не желаю. Надобно, чтобы никому не было известно место вашего пребывания… Ведь почем знать, и в Малой Морской ничем не обеспечены от внезапного обыска; а если ваша записка как-нибудь не уничтожится — лишний документ будет… Надо как можно более избегать вообще документов. К чему подвергать лишним затруднениям если не себя, то других? Я лучше сам сейчас же съезжу туда и успокою насчет полной вашей безопасности.

— Делайте, как знаете, — согласился Хвалынцев. Свитка вскоре после обеда уехал.

Через несколько времени после этого, в дверь осторожно и тихо постучался Лесницкий.

— Не хотите ли почитать что-нибудь? — любезно предложил он; — вся полка к вашим услугам. Впрочем тут больше все польские да французские. Есть несколько и английских книжонок, а вы, может быть, хотите русского.

— Пожалуй, дайте хоть русского.

Лесницкий отпер один из шкафчиков письменного стола и достал несколько брошюр, листков и томиков. Это все были лондонские издания вольной русской книгопечатни.

— Вот вам. Может, найдете что-нибудь нечитанное. А если что понадобится — позвоните: человек придет. До свидания.

И управляющий опять дернул руку студента и удалился.

Хвалынцев раздумался над настоящим своим положением. — "Как все это странно!" — думалось ему. "Арест — не арест, а между тем нет своей воли, и нет ее по своей собственной охоте, по своему же выбору… Опека этого Свитки, которого я почти совсем не знаю… Это участие, это внимание — что все это такое? И за что, главное дело?.. И где, и у кого я теперь?.. "Типография Колтышко" — но где же этот Колтышко? Ведь рыженький барин, кажись, не должен быть Колтышкой… Он что-то вроде фактора, конторщика… И кто он такой, и как его фамилия?.. Фу, ты, черт возьми! Хоть убей, если я что-нибудь понимаю во всем этом!.. "То, что годится для хора, не годится для солистов"… Да почему же я солист, наконец, и с чего такое странное, хотя и лестное для меня заключение?.. "Мы не можем позволить обрубать себе пальцы"… «Контрполиция»… Все-то им известно, все-то они знают… Общество это тайное, что ли? Но где же оно? Кто его члены, и сколько их, и в чем его силы?.. Заманчиво, черт возьми!"

И сколько он ни думал, и что ни гадал обо всех этих обстоятельствах, — в конце концов размышления его приходили к одному исходу: заманчиво и любопытно. И, кроме этого единственного исхода, никакого более точного положительного ответа не представлялось на все вопросы, которые ставило ему его странное положение. А любопытство, меж тем, всей влекущей и заманчивой стороной своей разыгрывалось в нем все более и более. Он порешил, наконец, совершенно покориться своему загадочному положению и терпеливо ждать, что будет дальше, что из всего этого воспоследует?

Прошло уже более двух часов времени, а его никто и ничем не обеспокоил, только слуга принес стакан очень хорошего чая. Таким образом, он мог чувствовать себя совсем как дома. Свитка не возвращался, а Константину Семеновичу, меж тем, очень хотелось поскорей узнать результат его посещения Малой Морской улицы. От нечего делать, принялся за чтение и мало-помалу увлекся. В то время с таким жадным интересом, с такою верою и увлечением поглощалась каждая строка, вышедшая из-под станка Вольной русской типографии. А теперь в руках Хвалынцева, благодаря рыженькому господину, был такой обильный запас этих изданий, и столько нашел он в них нового, еще не читанного. Кое-что попадалось ему и прежде, но большею частью урывком, кое-что было известно вскользь или только по слуху, по отзывам, по разговорам, а теперь все оно здесь, воочию, в полном его распоряжении, с возможностью читать не вскользь, а основательно и прочно, углубляясь и вдумываясь в смысл всего того, что в то время и не одному Хвалынцеву, с его увлекающейся юностью, казалось высшей и безусловной правдой, высшим откровением.

Так он и не дождался в этот вечер Василия Свитку, а Свитка, между тем, приезжал в типографию и беседовал с Лесницким, и после этой беседы, отпустив от себя Свитку,

Лесницкий тотчас же отправился во внутренние покои квартиры, смежной с типографией.

В просторном кабинете, за большим столом, при слабом освещении двух свечей, под зелеными абажурами, сидел хозяин этой квартиры. Комфортабельная и вместе с тем скромная обстановка, судя по обилию книг, корректур и деловых казенных бумаг, указывала, что кабинет этот принадлежит лицу, которое соединяет в себе литератора-издателя с довольно значительным чиновником. Этот литератор-издатель и вместе с тем значительный чиновник был собственник типографии, надворный советник Иосиф Игнатьевич Колтышко.

— Что еще нового? — отрываясь от бумаг, спросил он Лесницкого.

— Все еще о Хвалынцеве, — оскаля короткой улыбкой свои зубы, поклонился управляющий.

— Ага! Прекрасно! в чем же дело?

— Францишек обещает полный успех. Говорит, человек стоит, чтобы призаняться…

— Что ж, тем лучше. Займитесь оба.

— Но… Тут есть одно обстоятельство… Маленькая любовь… Францишек по этому поводу делал уже свои наблюдения, справки многие собрал, нашел даже хороший случай познакомиться в гостинице с горничной этой особы, ну, и он полагает, что эту любовь надо бы как-нибудь устранить.

— А что так?

— Да так. Говорит, что может помешать успеху.

— Гм… Почему он так думает?

— У него свои соображения. Девушка эта любит, конечно, эгоистически, то есть прежде всего для самой себя и едва ли захочет жертвовать женихом для какого бы то ни было дела. А тот ведь думает жениться на ней. Стало быть, если позволить развиваться этому чувству, окончательно привяжется к ней, а она так и теперь уже, кажется, имеет на него влияние — ну, и тогда уж он погиб для дела. Да еще вдобавок у обоих в Славнобубенской губернии есть кой-какие именьица. А человек между тем, как есть, совсем подходящий; — жаль будет упустить! Францишек того убеждения, что необходимо, во что бы то ни стало, разорвать эту любовишку. И я думаю тоже.

— Гм… Легко сказать: разорвать!.. Как же вы разорвете?

— Дело не невозможное, — пожал плечами Лесницкий, снова скаля большие, редкие зубы, — стоит влюбиться в другую. Оно, конечно, мудрено немного, потому- тут нужен и случай, и время. Но… можно найти и то, и другое. У нас уже есть свой маленький план, и если вы нам поможете, — даст Бог, — будет и удача.

— Вот как! Уж и план готов! — шутливо улыбнулся Колтышко. — Любопытно знать, в чем дело?

— Дело? Дело в графине Маржецкой.

Колтышко, откинувшись на спинку своего кресла, быстро вскинул взгляд на Лесницкого и поглядел на него пристально, внимательно и серьезно.

— Выдумка довольно оригинальная, — заметил он сквозь зубы, — но не слишком ли уж много

для какого-нибудь студента?

— А как знать, чем может быть для нас этот студент? — пожал плечами Лесницкий. — Смотреть, как вы смотрите, так мы ровно никого не навербуем. Если уже решено раз, что москали в наших рядах необходимы — надо вербовать их, и чем скорее, чем больше, тем лучше. Кладите же начало!

— За мной дело не станет! — заметил Колтышко: — но… тут не я, — тут графиня. А что скажет графиня на это?

— А что же может сказать она, если *дело* потребует этого? — в свою очередь спросил он. — Неужели же вскружить голову юноше — такой трудный и великий подвиг, такая страшная жертва, на которую она не могла бы решиться? И, наконец, чего же стоит ей эта полезная шалость, и к чему она ее обязывает?.. Ведь только вскружить, — не более!

— М-м… да; это не дурно! — согласился наконец Колтышко. — Мы подумаем об этом.

— Э, Боже мой! о чем тут думать?.. Говорю, чем скорей, тем лучше, — махнул рукою Лесницкий.

И он принялся объяснять своему патрону кое-какие соображения относительно задуманного плана.

XII. Дрессировка начинается

Только на другой день, в четвертом часу, Василий Свитка посетил, наконец, Хвалынцева. Он привез ему сак с бельем и необходимыми вещами, извиняясь тысячью хлопот и бездною дел в том, что не успел приехать ранее. Эта же тысяча хлопот помешала Свитке быть вчерашний день у Стрешневых. Он говорил, что сейчас только оттуда, что молодой Стрешневой не видал, так как ее не было дома, а видел только старую тетку, которую вполне успокоил насчет Хвалынцева, сказав, что он теперь вне всякой опасности, в благонадежном месте, но что некоторые, весьма важные обстоятельства требуют недальнего отъезда его из Петербурга на непродолжительное время, и потому-де Хвалынцев просит нимало не беспокоиться его отсутствием. Более сказанного, Свитка, пока до времени, ничего не мог объяснить старушке, только просил ее передать все это Татьяне Николаевне, и засим держать в секрете и его посещение, и сообщенные им известия. Старая тетка, по его словам, вполне успокоилась и даже послала свой поклон Хвалынцеву — "буде вы увидите его раньше".

Хотя всего сообщенного было слишком мало для Константина Семеновича — он ждал, что Свитка увидит самую Татьяну Николаевну и привезет от нее если не письмо, то хоть приветное, ободряющее, доброе слово — "но все же это лучше чем ничего", решил он; "по крайней мере, беспокоиться и опасаться не станут".

Уходя от Хвалынцева, Свитка внушительно предупредил его!

— Вам, вероятно, предстоит знакомство с Колтышкой, — сказал он, — так вы глядите, не выдайте ни словом, ни взглядом о закулисной стороне наших отношений и разговоров. Колтышко, предваряю вас, ничего не знает. Он ни во что не посвящен.

— Да ведь и я ничего не знаю, и тоже ни во что не посвящен, — возразил студент.

— Ну, все-таки теперь знаете неизмеримо более, чем он, поэтому — осторожность!

Хвалынцев мельком, недоверчиво взглянул на Свитку. В этих последних словах ему показалось что-то не совсем-то искреннее, что-то притворное.

— Но в каком же смысле и в каком роде будет наше знакомство? — спросил он. — И не лучше ли, в таком случае, не знакомиться нам вовсе?

Свитка немножко замялся.

— Н… нет, познакомиться-то необходимо, — сказал он, — ведь он все ж таки хозяин этой квартиры. Да вы не беспокойтесь: Лесницкий представит вас как своего доброго знакомого.

— Но чем же он объяснит мое присутствие в квартире господина Колтышки.

— А тем и объяснит, что вы не желаете участвовать в студентских беспорядках и попасться в лапы жандармов, а потому просили его избавить вас от тех и от других в этом укромном убежище, — очень развязно и улыбаясь объяснил Свитка.

— Послушайте, добрый опекун, вы однако ставите меня в очень фальшивое положение, — весьма серьезно заметил Константин Семенович. — Я вам бесконечно благодарен за ваше участие и расположение ко мне; но если… если все это необходимо сопряжено с такого рода фальшью, то я, признаюсь вам, весьма затрудняюсь принимать ваше доброе участие.

Свитка окинул его беспокойным взглядом и лукаво улыбнулся.

— А жандармы? — многозначительно спросил он.

— Что ж?.. Конечно, это очень невкусно, но… пред жандармами у меня, по крайней мере, нет и не будет фальшивого положения.

Свитка, притворяясь равнодушным, спокойно прошелся по комнате. Он понял, что сделал промах, заговорив с Хвалынцевым о предстоящем ему знакомстве и ведя весь последующий разговор. Надо было, во что бы то ни стало, поправить теперь этот промах. Выпустить из рук своих Хвалынцева ему точно так же не хотелось, да теперь это было бы и нерасчетливо, после того как ради его сделано уже столько подходов и даже кое-что разоблачено до известной степени. Свитка сообразил, что поправить промах свой он может не иначе, как напустив на себя тон полной искренности и откровенности.

— Ну, Хвалынцев, будемте говорить по-братски, по душе! — решительно предложил он, остановись перед студентом и открыто протянув ему руку. — В чем вы видите фальшь своего положения?

— В том, что вы меня заставляете играть роль какого-то подловатенького трусишки, который из боязни жандармов хочет укрыться от своих товарищей, отстать от общего дела. Я не согласен на это.

— Ха, ха, ха! — тихо засмеялся Свитка. — Ну, я так и знал! Я так и знал, что не что иное, как это!.. Ну, дайте сюда вашу руку — помиримтесь!.. Это, действительно, фальшь — ну, значит, и долой ее!.. Выслушайте меня: Лесницкий объяснит Колтышке прямо, что вам до времени нужно убежище, чтоб избежать полицейских агентов. Ведь это так и есть на самом деле? Вы согласны?

Хвалынцев утвердительно кивнул головой.

— Колтышке можно объяснить это вполне откровенно, — продолжал Свитка; — это настолько порядочный и честный человек, что он, во-первых, никак не лишит вас этого убежища, во-вторых, никому и ни за что не выдаст вас. В этом уж мы на него смело можем положиться. Но… Колтышко, повторяю вам еще раз, *ровно ничего не знает* (последние слова были произнесены с особенною многозначительностью). Вы помните нечто из моих вчерашних интимных сообщений?

Хвалынцев опять кивнул головой.

— Ну, так Колтышко ни о чем таком и малейшего понятия не имеет. Между прочим, сегодня вы, вероятно, будете обедать у него. За обедом, вероятно, будут и посторонние лица. — Он очень хлебосолен. — Между этими лицами могут быть и такие, которые уже посвящены кое во что, а будут и такие, которые ровно ни о чем, как и он же, понятия не имеют и не должны иметь. Так вот именно ввиду чего я говорил вам, что будьте как можно осторожней и не показывайте ни малейшего вида, что вам хоть чуточку что-нибудь известно. Понимаете-с?

— Это-то понять не мудрено, — возразил студент, — но вы мне указываете на лиц, посвященных и непосвященных. Во ч*то* посвященных, — вопрос? Я-то сам, я лично, повторяю вам, ровно еще ни во что не считаю себя посвященным.

Свитка опять тихо и лукаво засмеялся.

— Э, Боже мой! Нельзя же сразу. Постепенность и последовательность есть первое правило каждого сильного и серьезного дела! — докторально заметил он студенту. — Неужели же вы хотите, чтобы мы на всех перекрестках о себе кричали? Подождите, придет время — и закричим! Наше внимание и участие к вам ровно еще ни к чему не обязывает вас. Нам достаточно одного убеждения, что вы — честный человек, что вы во всяком случае не доносчик. Вы сами, надеюсь, крепко убеждены в этом, и этого одного убеждения достаточно, чтобы мы ни минуты не задумались протянуть вам руку помощи, оказать честную, братскую услугу. Ведь вы нас не знаете и никогда не узнаете, если не захотите идти заодно с нами. А захотите — тогда другое дело! Нам нужны люди, свободно и сознательно отдавшиеся делу. Вы строго подумайте сначала, взвесьте свои силы, свои шансы pro и contra, и тогда решайтесь. Да, так да, а нет так нет! В последнем случае мы мирно и тихо разойдемся как порядочные люди; вы нас не узнаете и никто из нас — ни вы, ни мы — претендовать друг на друга не будем. Повторяю еще раз: в честности и благородстве вашем мы убеждены безусловно; стало быть, мы вполне спокойны за то, что если разойдемся, то настоящие отношения будут тайной для всех и навсегда, — одним словом, умрут между нами. Ну, достаточно ли я сказал вам, господин Хвалынцев?

— Я вам могу пока поручиться за одно, — с достоинством и твердо заговорил студент. — Я, действительно, прежде всего и более всего убежден, что я — честный человек и не дам вам повода разочароваться во мне в этом отношении.

— Ну, а остальное, что Бог даст! — подхватил Свитка, хлопая ему по руке своею ладонью; — а между прочим, я уже объяснил вашей хозяйке, что вы по самой экстренной и непредвиденной надобности уехали за город и что она, в случае надобности, может в полиции отметить вас выбывшим из Петербурга. Квартира, однако оставлена за вами. А теперь прощайте. Мне некогда.

XIII. Еще более надежное место

В обеденную пору, часов около пяти, в дверь Хвалынцева раздался знакомый уже ему

осторожный стук, по которому он узнал Лесницкого.

— Иосиф Игнатьевич вас ждет к обеду, — сообщил управляющий, дернув руку студента своим обычным пожатием; — если готовы, пойдемте.

— Он уже знает обо мне? — спросил Хвалынцев.

— Знает.

— Вы как именно объяснили ему?

— Вполне сообразно вашему желанию, — с улыбкой поклонился Лесницкий.

Дело обошлось без рекомендаций. Колтышко, заметя из своего кабинета входящего Хвалынцева с Лесницким, сам пошел к ним навстречу и как знакомый, молча, но с милой, приветливой улыбкой протянул и радушно пожал руку студента.

— Пойдемте, я вас познакомлю с моими гостями, — сказал он, взяв его под руку, и повел в кабинет.

Тут было двое каких-то чиновников, весьма приличной и солидной наружности, фамилии которых хотя и были названы, но Хвалынцев — как это зачастую случается — через минуту, хоть убей, не помнил уже этих фамилий. Кроме чиновников находился тут еще капитан генерального штаба.

— Капитан Чарыковский, — назвал его Колтышко, подводя к нему студента.

Физиономии хозяина и этого капитана сразу сказались чем-то знакомым, и очень недавно знакомым Константину Семеновичу. Умное и энергическое лицо Чарыковского и несколько выдвинутая вперед нижняя челюсть Колтышки, с его тонкими, подобранными и сжатыми губами, придававшими его лицу какое-то презрительное и вместе с тем энергическое, твердое выражение решимости и силы, и эти наглые серые глаза, дышавшие умом, и эта изящная скромность манер — все это сразу напомнило Хвалынцеву вчерашний день перед университетом и ту минуту, когда он подошел к Василию Свитке. Теперь он вспомнил очень ясно, что подле Свитки стоял именно капитан Чарыковский, крикнувший вместе с другими офицерами на полицейского, когда тот схватил за шиворот Хвалынцева; а тот блондин чиновник, в распахнутом бобровом пальто, с орденом на шее, был не кто иной, как Иосиф Игнатьевич Колтышко. "Кто из них посвящен, и кто не посвящен?" думал себе Хвалынцев, стараясь разгадать свой вопрос по лицам присутствующих. "Капитан, кажется, знает. Эти чиновники — Бог весть: может и да, а может и нет; а вернее, что нет. Но Колтышко... Неужели Колтышко ни во что не посвящен?.. Этого быть не может!.. Одна физиономия — одна физиономия-то чего стоит!.. Но где же тут правда и где мистификация? И кто кого, наконец, надувает?"

Эти соображения студента были прерваны шорохом и легким свистом шелкового женского платья. Хвалынцев поднял глаза — на пороге стояла женщина, вся в черном. Колтышко предупредительно бросился к ней навстречу и, с видом глубокой почтительности, подал руку.

"Фу! какая красавица!" невольно помыслил Хвалынцев при первом взгляде на эту женщину. И точно: в ней была бездна красивого. Ее невозможно было назвать красавицей в строгом смысле этого слова, но в ней эффектно сверкало нечто поражающее, сценическое, декоративное. Высокий рост, необыкновенно соразмерная, гармоническая стройность; упругость и гибкость всех членов и сильного стана; лицо, полное игры и жизни, с таким румянцем и таким цветом,

который явно говорил, что в этом организме много сил, много крови и что организм этот создан не севером, а развился под более благодатным солнцем: блестящие карие глаза под энергически очерченными бровями и совершенно пепельные, роскошные волосы — все это, в соединении с необыкновенно симпатичной улыбкой и чисто славянским типом лица, делало эту женщину не то что красавицей, но лучше, поразительнее красавицы: оно отличало ее чем-то особым и говорило про фанатическую энергию характера, про физическую мощь и в то же время — сколь ни редко такое сочетание — про тонкую и старую аристократическую породу.

— Графиня Маржецкая… громко назвал ее своим гостям Иосиф Колтышко.

"Графиня Маржецкая… Опять-таки знакомая фамилия!" припомнил себе студент. "Устинов писал про какого-то сосланного графа Маржецкого".

Колтышко отдельно представил ей Хвалынцева. С капитаном Чарыковским, Лесницким и одним из чиновников она, по-видимому, была уже раньше знакома.

Гости отправились в столовую. Обед был очень оживлен; бойкая, искристая веселость красивой графини невольно электризовала каждого. Хвалынцев сидел рядом с нею, что подавало ей повод очень часто обращаться к нему с разговором и за маленькими услугами, вроде просьбы налить стакан воды или рюмку вина. В обращении ее было столько милого, привлекательного и такое отсутствие принужденности, что Хвалынцев как-то сразу почувствовал себя, относительно, ее знакомым. Разговор все время шел то по-русски, то по-французски и только вскользь было обронено кое-кем несколько польских фраз, непонятных для Хвалынцева. Графиня, впрочем, показывала вид, будто плохо изъясняется по-русски и потому в устах ее раздавался почти исключительно бойкий и изящный французский язык.

При первом ее появлении Хвалынцев ждал, что сию минуту выйдет и хозяйка дома, но таковая не вышла, да и вся обстановка этой прекрасной квартиры явно показывала, что Иосиф Игнатьевич Колтышко — человек холостой и одинокий. Вследствие этого, студенту показалось несколько странным появление аристократической особы за обедом холостого общества, — "Или эта графиня не графиня, или хоть и графиня, но какая-нибудь куртизанка и авантюристка, или… или уж я и не знаю что!" подумал себе Хвалынцев. "Но нет, и на куртизанку не похожа: держит себя хоть и развязно, но в высшей степени прилично и с таким тактом, и потом эта глубокая почтительность, с которою к ней все относятся, — да что же наконец, все это такое!?" За обедом она кстати упомянула в разговоре несколько имен известных аристократических домов, с которыми, по-видимому, у нее было знакомство и свои отношения, и это еще более заставило студента отдалиться от предположения, что его соседка — светская куртизанка.

После обеда, ведя ее в гостиную, Колтышко наклонился к ней и тихо спросил:

— Ну, как вы находите этого юношу?

— Ничего, он мне нравится, — с легкой, но очень милой гримаской ответила она.

— Желаете, заняться?

— Отчего же; пожалуй.

— Ну, в таком случае, мы заранее поздравляем себя с полным успехом. Но имейте в виду главное то, что я уж объяснил вам.

— Ах, это соперницу? — улыбнулась она. — Надеюсь не остаться побежденною.

И она все время была очень внимательна к Хвалынцеву, что до известной степени весьма льстило его юному самолюбию. Вечером же, часов около девяти, переговорив о чем-то с Лесницким и отправив его распорядиться насчет экипажа, графиня совершенно неожиданно обратилась к студенту с просьбой проводить ее домой. Тот немножко смешался от неожиданности такого вызова, но поспешил ответить ей полною готовностью.

Они отправились в наемной карете. У Владимирской графиня указала остановиться пред подъездом одного большого дома. Хвалынцев повел ее в третий этаж по освещенной лестнице и остановился перед дверью, с медною доской, на которой было написано: "графиня Цезарина Фердинандовна Маржецкая".

— Войдите, — предложила она ему, когда человек изнутри отворил дверь.

Хвалынцев не почел возможным отказаться.

— Я попрошу вас подождать минуту. Я только переоденусь, — сказала она в гостиной и, шумя своим черным шлейфом, скрылась за тяжелой портьерой боковой двери.

Хвалынцев присел к столу, заваленному роскошными кипсеками и альбомами. Обстановка этой гостиной была изящна и роскошна. Прошло минут десять, когда из-за портьеры показалась очень приличная камеристка и сказала Хвалынцеву, что графиня просит его к себе. Он пошел вслед за девушкой, которая привела его в будуар.

— Вы меня извините, что я принимаю вас совсем по домашнему, — сказала Маржецкая, впервые протягивая ему руку. — Я ужасно устала… поэтому мне так хочется побаловать себя!..

И, закинув над головою руки, она с какою-то тигриной грацией и в то же время улыбаясь детски светлой, беспечной улыбкой, потянулась в широком покойном кресле.

— Впрочем, я люблю баловать себя только тогда, когда это возможно, — продолжала она, — а то я могу совершенно спокойно обходиться и без малейшего комфорта. Для меня это все равно.

Хвалынцев вопросительно поглядел на нее.

— Да; мне приходилось на моем веку скакать на перекладных, ночевать в литовской курной хате, обедать в жидовской корчме, зябнуть на морозе или мокнуть под дождем на лосиной охоте, и такие резкие перемены нимало не беспокоят. Я переношу их как добрый хлопец. Нервы у меня сильные.

После нескольких минут разговора, Хвалынцев взялся за фуражку и поднялся с места.

— Куда же вы? — вскинула она на него глаза, с некоторым удивлением.

— Вы устали, да и мне домой пора, — сказал он.

— Домой?.. Но вы дома!

Хвалынцев выразил явное недоумение на эту последнюю фразу.

— Ну да, вы дома, — подтвердила Маржецкая. — Вы остаетесь здесь, у меня, в моей квартире.

Недоумение студента достигло высшего предела. Он не знал, как понять ему все это, и молча, одним недоумевающим взглядом, устремленным на свою собеседницу, ждал от нее дальнейших объяснений.

— Разве там ничего вам не сказали? — спросила она.

— Ничего. И я ровно ничего не понимаю.

— Оставаться там далее для вас было бы неудобно, — продолжала Маржецкая, — здесь же вас уже никто не найдет: у меня вы вполне безопасны. Вы проживете здесь столько, сколько потребуют обстоятельства.

Хвалынцев хотел было сделать какое-то возражение.

— Вы меня ничем не стесните и не можете стеснить, — торопливо предупредила она, как бы предугадав, в чем будет состоять это возражение. — Я уже распорядилась: для вас сейчас будет готова комната, рядом с комнатой моего сына.

— Но согласитесь, мое проживание у вас может казаться весьма странным… Оно не может же остаться тайною для всех. Ваша прислуга… наконец, кто-нибудь из ваших знакомых как и чем они могут объяснить себе мое странное присутствие в вашем доме?

— Моя прислуга — лакей и девушка знают меня с детства и очень мне преданы. Они такие же поляки, как и я, и потому опасаться их нечего! — успокоила графиня; — а что касается моих знакомых, то хотя бы кто из них и узнал как-нибудь, — так что ж? У меня есть пятилетний сын, которому нужен уже гувернер. Для моих знакомых, вы гувернер моего сына.

— Виноват, но — позвольте еще один вопрос? — слегка поклонился Хвалынцев. — Почему мое присутствие *там* найдено неудобным?

Цезарина пожала плечами.

— С фактическою точностью я не могу ответить вам на это: я не знаю, — сказала она; — но вообще, типография слишком открытое место; туда может прийти всякий, хоть под предлогом заказов; наконец, наборщики, рабочие — ведь за каждого из них нельзя поручиться; и между ними легко могут быть подкупленные, шпионы… Вот почему, полагаю, вам неудобно было оставаться там. А здесь, у меня вы безопаснее, чем где-либо. Никому ничего и в голову не придет, и у меня уж никак вас не отыщут!

Хвалынцев остался пред нею, стоя с фуражкой в руках, в заметном смущении.

— Ну, о чем же вы так задумались? — несколько задорно и несколько насмешливо улыбнулась она.

Студент еще более смутился.

— Признаться откровенно, меня озадачивает одно, — заговорил он, наконец. — Меня все удивляет, чем и за что заслужил я такое внимание к моей особе со стороны людей или мало, или вовсе мне незнакомых?.. Вот, хоть бы например и вы, графиня…

Она опять с улыбкой пожала плечами.

— Чем заслужили вы это, мне тоже неизвестно, — отвечала она. — Я знаю только одно: меня просили укрыть вас на время от розысков полиции, и я — как видите — в точности исполняю это, зная, что этим я оказываю маленькую услугу честному юноше. Вот все, что я знаю.

Вошла камеристка и доложила, что комната готова. Графиня предложила Хвалынцеву вместе

осмотреть ее. Комната была и просторна и удобна. Диван, долженствовавший служить постелью, был застлан свежим прекрасным бельем и заставлен ширмами. Все это было приготовлено в какие-нибудь полчаса. Графиня Маржецкая, одна с сыном и с двумя человеками прислуги, занимала очень просторную и очень удобно расположенную квартиру, в которой все говорило о довольстве и изобилии материальных средств молодой хозяйки.

— Я вас прошу нимало не стесняться! — в высшей степени любезно предложила она; — хотите остаться здесь — располагайтесь, как у себя дома, а нет — пойдемте ко мне, посидим, поболтаем еще. Я с вами тоже не буду церемониться, и когда захочу спать, то так и скажу вам, тогда вы меня оставите.

Хвалынцев просидел и проболтал весь остаток вечера. Она с живым участием расспрашивала его про студентскую историю, про причины и весь ход ее; сама, в свою очередь, рассказывала про Варшаву, про Польшу, про страдания своей отчизны и даже про свои семейные обстоятельства, из которых Хвалынцев узнал, что муж ее, по одному дикому произволу русских властей, выслан под присмотр полиции, на житье в Славнобубенск, что она нарочно приехала в Петербург хлопотать за него, за облегчение его печальной участи, и живет уже здесь несколько месяцев. Хвалынцев сообщил ей о ее муже те небольшие сведения, которые были ему известны из письма Устинова, и графиня, казалось, с такою радостью, с таким теплым участием и интересом выслушала его сообщения, что можно было подумать, будто она из Славнобубенска не получает никаких известий. Она, впрочем, и жаловалась ему на крайнюю строгость полицейского внимания к письмам ее мужа. Было уже очень поздно, когда расстались они совершенно добрыми друзьями, и придя в свою комнату, студент застал на столе у себя газеты, сигары, папиросы и легкий ужин с бутылкой вина. Все это являло еще один новый знак предупредительного внимания к его особе.

Он долго не мог уснуть. Весь этот водоворот событий и приключений, в который попал он за последнее время, кружил ему голову. Эти студентские демонстрации, эти уличные столкновения с войском, это анонимное письмо с извещением о нелепой клевете, Стрешнева, Свитка, Колтышко, контрполиция, опека, жандармы, какое-то таинственное общество и наконец, эта графиня Цезарина Маржецкая и неожиданный приют в ее доме — что же все это такое? И какими судьбами он-то, почти помимо своей воли, даже помимо своего понимания, пришел в столкновение со всем этим таинственно-загадочным миром? "Графиня Маржецкая… Как? Неужели и она, думал Хвалынцев, — она, с ее связями, с ее положением, неужели и она тоже принадлежит к "этому обществу"!.. А может и не одна она… Может, их много тут таких, как она…" Его подавляло ясное почти до ощущения сознание какой-то большой и таинственной силы, в область которой судьба толкнула его и которая теперь всецело тяготеет над ним. Но этот гнет не казался ему тягостным: он не хотел освободиться из-под него; напротив, его манило отдаться течению всех этих странных обстоятельств, проникнуть далее и далее в глубь и сущность дела, увидеть, понять, разгадать что это за мир и что за сила и, быть может, сознательно отдаться ей… И среди всей этой вереницы мыслей мелькал сверкающий такою оригинальною красотою образ графини Цезарины, которая в эту самую минуту здесь, рядом, под одною кровлею, такая спокойная, простая, сильная и вместе с тем загадочная… И этот образ подавлял и затмевал своим блеском тихий облик другой женщины. Хвалынцеву было это даже досадно, он усиленно гнал его из своего воображения; но как-то невольно, независимо от него самого, этот блистательный образ врывался в область его дум и поминутно прерывал собою нить его размышлений…

XIV. Метаморфоза

Поутру лакей передал ему сак с вещами и объяснил, что этот сак, час тому назад, принес какой-то молодой человек, для передачи по назначению, сказав, что тут же находятся и те

книги, что читал господин Хвалынцев. Отомкнув сак, студент действительно нашел там целую связку тех самых лондонских изданий, которые так любезно предложил ему для прочтения Лесницкий. "Все это очень любезно и очень внимательно", мог только подумать Хвалынцев. Дни заточения в квартире графини Маржецкой текли для него быстро и почти незаметно. Он очень скоро освоился в новом своем помещении, благодаря той свободе, какую предоставила ему внимательная хозяйка. Все утра его проходили почти исключительно в чтении. Это чтение, которому отдавался он с юношеским и почти невольным увлечением, постепенно производило на него свое наркотическое влияние. Обеды вместе с Цезариной, и потом, зачастую, целые вечера в ее обществе, с глазу на глаз с этой интересной, умной и прелестной женщиной, решительно не давали ему глубже вдуматься в себя, в свое положение, и даже чувство к Татьяне Николаевне мало-помалу все как-то сглаживалось в нем и отходило на задний план, и он сам все меньше и меньше замечал в себе эту внутреннюю и как-то невольно совершавшуюся метаморфозу. Иногда по вечерам Цезарина просила его прочитать что-нибудь и для нее, и в таких случаях всегда сама выбирала и давала ему книги. Это были листки французских брошюр, почти исключительно произведения польской эмиграции, которые в ярких, поражающих чертах изображали несчастья польской земли, стоны польского народа и не скупились на самые черные краски для обрисовки русских отношений к Польше и русского гнета. Цезарина слушала внимательно и даже благоговейно, хотя для нее все эти книги и брошюры были давно уже знакомы. Часто нервическое, злобное движение отражалось на ее лице, и тогда в ее карих глазах светилась фанатическая, непримиримая ненависть, и руки судорожно начинали мять и вертеть какую-нибудь вещь, вроде случайно попавшейся бумажки, батистового платка или бахромки на шали. Хвалынцев, отрывая глаза от печатных строк, мельком взглядывал на это лицо, и оно казалось ему еще более прекрасным в этом живом одушевлении гнева и ненависти. А иногда, при чтении о пытках, жестоких муках и страданиях какого-либо польского героя, в глазах Цезарины вдруг начинали сверкать слезы, и тогда лицо это казалось Хвалынцеву еще вдохновеннее, еще прекраснее.

В то время вообще на Руси так мало было известно о Польше, о польских делах и притязаниях; из русского лагеря не подымалось ни единого голоса для разъяснения наших отношений к этой несчастной стране; тридцать лет у нас на этот счет все молчало; все было темно, мертво и глухо, и эта мертвенность и глухота набрасывали мрачную и антипатичную тень на эти русские отношения. В эти глухие и немые три десятка годов память современников, свидетелей и очевидцев 1831 года понемногу притуплялась; негодование если в них и было, то намного смирялось и угомонялось самим временем; в русском сердце давно уже поселилось если не примирение и забвение, то равнодушный и спокойный индифферентизм. Мы Польши не знали; большинство думало, что раз она была усмирена, покорена и что затем с нею навсегда уже покончены все расчеты. Молодое же поколение, благодаря все той же немотствующей глухоте общественного сознания, вырастало в полнейшем и всестороннем неведении этой древней русско-польской тяжбы. Молодое поколение, благодаря школьной скамье, знало только стихотворение Пушкина "Клеветникам России", но плохо понимало, ради чего оно написано. Находились иные радетели, которые решались даже утверждать, что поэт был подкуплен, соблазнен камер-юнкерским шитьем и дворскими милостями — и не было громкого, разъясняющего голоса в защиту оскорбляемой памяти русского поэта. Знало еще молодое поколение, что в 1830 году Польша поднялась за свою свободу и независимость, за что была раздавлена русскими войсками, и это смутное знание естественно могло рождать в каждом честном молодом сердце одно только сочувствие к угнетенному и порабощенному народу. А между тем противная сторона не дремала. В эти глухие тридцать лет там, на Западе, эмиграция создала своих историков, поэтов, публицистов, голоса которых громко и дружно, на всю Европу, раздавались в защиту польского дела, и эти голоса подхватывались чуждыми людьми других национальностей, усилившими общий негодующий хор, а мы все молчали и молчали, и с этим молчанием в наши «образованные» массы, мало-помалу, но все более и все

прочнее проникало сознание, что правы *они,* а виноваты *мы.* «Колокол» громко и неустанно будил общественную совесть и взывал к покаянию. И мы, позабыв от времени самую сущность, самое ядро старого дела, начинали уже смиренно каяться… В этом случае, все, что относится к нам, могло всецело относиться и к моему юному герою. И вдруг, под ловкою и потому незаметною эгидой польской женщины, этому юноше раскрывается целая история страданий, горя, угнетений, насилий и мук порабощенного народа. Он только тут узнал про эти муки, он ежедневно слышал свежие рассказы еще о вчерашних только событиях из уст молодой женщины, он видел порою взрывы ее невольного негодования, порою ее слезы и… и, потупляя глаза, краснел за себя, за свой народ, за свое правительство, которое становилось ему ненавистным в эти тяжелые минуты. И что ж ему оставалось делать? Он знал и выслушивал только одну сторону. Другая сторона, как и он же, все еще молчала в своем неведении и конфузилась.

Часто, приходя в будуар Цезарины, он заставал ее за работой. На широких и больших пяльцах была натянута красная шелковая материя, подшитая с исподней стороны материей белою. Работа графини близилась к концу. Хвалынцев мог свободно рассматривать на пунцовом фоне изображение креста с терновым венцом и две пальмовые ветви, а над всем этим парящего белого орла. На исподней стороне был вышит образ Богоматери с сердцем, пронзенным семью мечами и с надписью вокруг: "Boze, zmilòj cie nad nami!"[70] Над белым орлом тоже красовалась надпись, над окончанием которой трудилась теперь графиня. Эта надпись, вышитая серебряною нитью и блестками, была сделана на русском языке и гласила: "За свободу вашу и нашу".

Хвалынцева уже давно интересовала эта работа, но он все как-то не решался спросить, что это и для чего графиня вышивает? Наконец, однажды вечером, сидя подле нее и утомясь несколько чтением, он отбросил в сторону брошюру и стал следить за интересовавшим его рукодельем. Графиня встала и, подняв белую салфетку, до половины покрывавшую ее работу, стала любоваться на свое произведение.

— Хорошо? — спросила она, ласковым взглядом обратясь к студенту и вызывая его этим на участие.

— Прекрасно! — от души похвалил он. — Я уж давно любуюсь на это вышиванье и давно хотел спросить, что это такое вы работаете?

— Это? — как-то загадочно и вместе с тем горделиво усмехнулась Цезарина. — Это для наших будущих героев.

Хвалынцев вопросительно поглядел на нее.

— Это знамя, — продолжала она, — знамя свободы, которое, со временем, я вручу достойнейшему, а может… раздумчиво замедлилась она, — может и сама понесу его навстречу вашим солдатам… Ведь тут недаром же написано: "за свободу вашу и нашу!"

При этих словах Хвалынцев заметил в ней какую-то странную, отчасти театральную, но очень эффектную экзальтацию.

— Но нет! — минуту спустя, со вздохом продолжала она, закрывая салфеткой пяльцы, — эта последняя мечта едва ли когда сбудется!.. Это знамя не для вас, оно для поляков!.. Вы ведь умеете быть только немыми рабами вашего правительства.

И говоря это, она не скрыла беспощадно-презрительной усмешки, заигравшей на ее

одушевленном лице.

— Вы позволяете бить себя и угнетать, отказываетесь от свободы для того только, чтобы в свою очередь бить и угнетать другие народности. Кто только под вами не стонет! Все ваше народное самолюбие состоит в том, чтобы быть хоть рабским, но варварски сильным государством и служить пугалом каждой цивилизации. Для этого вы даже немцам продаетесь. Нет, вы не славяне, вы — рабы, татары.

— Но эти татары еще только вчера освободили двадцать миллионов рабов, и своих татарских и ваших польских! — возразил, задетый за живое, Хвалынцев. В глубине души он не мог не сознаться, что графиня сильно задела его русское самолюбие.

— Польских? — изумленно возразила она и с гордым достоинством отрицательно покачала головой. — Вы ошибаетесь, вы не знаете истории: в Польше, слава Богу, давно уже нет рабов. В Польше крестьяне лично свободны.

Студент, благодаря своему всероссийско полному неведению, ничего не сумел возразить ей на это. Ему было только больно и горько слушать упреки этой женщины, и слушая их, он все-таки не мог не любоваться ею, не мог не сознавать в ней какого-то превосходства, которое дает человеку его возвышенное и гордое страдание.

— Но это знамя… — заговорил он после некоторого молчания, — отчего вы думаете, что наш солдат не поймет таких простых и ясных слов: "за свободу вашу и нашу?" Слова общечеловеческие.

— Ваш солдат!.. Ваш солдат уже целые десятки поколений рождается и умирает рабом; в нем давно уже убито все человеческое. Ваш солдат умеет только стрелять в безоружную толпу, в молящихся детей и женщин.

— Графиня! Ну где же, когда же это? — наконец не выдержав воскликнул Хвалынцев.

— Где?.. А, вы сомневаетесь!.. Я скажу вам где! Хоть бы в Варшаве… Боже мой!.. Как сейчас помню… это было только семь месяцев назад… На Зигмунтовой площади, пред замком, стояли тысячи народа… Я тут же, в одном из домов, глядела с балкона… Вечер уж был, темно становилось; солдаты ваши стояли против народа; в этот день они наш крест изломали… и вдруг раздались выстрелы… Помню только какой-то глухой удар и больше ничего, потому что упала замертво.

— Как! Вы, графиня? — тихо произнес изумленный Хвалынцев.

— Да, я!.. Что вы так удивляетесь?.. Я была ранена. Вы не верите? Вот, смотрите!

И быстрым движением руки, она отстегнула ворот кашемирового пеньюара и, близко наклонясь над Хвалынцевым, обнажила пред ним часть груди и все свое левое, удивительно созданное, белое плечо.

— Вот она, эта рана! Смотрите! — говорила Цезарина, указывая на темно-бурое, круглое пятнышко и бороздку к плечу, образовавшиеся от стянутой кожи. — Пуля ударила меня выше ключицы и скользнула по плечу. Два с половиной месяца я пролежала тогда. Десять человек было убито и более ста ранено.[71] Я всем и каждому смело могу показать эту русскую рану! — с гордым увлечением продолжала она. — Я горжусь ею; все-таки и моя капля крови пролилась за родину, за свободу!

Хотя все это было сделано и сказано опять-таки с каким-то присущим этой женщине сценическим эффектом, но эффект удался как нельзя более: он вполне подействовал на юношу, и Хвалынцев с глубоким, почти благоговейным уважением посмотрел на графиню Цезарину.

И в эту ночь, опять-таки, долго не мог уснуть он и долго ходил у себя по комнате. И сердце, и голова его как-то мутились. Он силился дать себе отчет в своих мыслях, в своих чувствах, и не смел, боялся произнести окончательный и верный приговор над собою. В первые дни его влекло к этой женщине одно только любопытство, возбужденное странностью его исключительного положения. В то время ему хотелось только проникнуть в заманчивую загадку того таинственного мира и той деятельности, в которых вращались Цезарина Маржецкая, Лесницкий и Свитка. В то первое время, замечательная, оригинальная красота этой женщины хотя и производила на него свое невольно обаятельное впечатление, но эта красота, это богатство и роскошь тела говорили одной только чувственности — ощущение, которое, при мысли о любви к Татьяне, Хвалынцев гнал от себя и безусловно осуждал его, хотя это ощущение все-таки, помимо его собственной воли, как тать закрадывалось в душу и смущало его порою. Но теперь, когда прошло уже несколько дней его таинственного пребывания в доме этой женщины, когда ежедневные и довольно долгие беседы с нею каждый раз открывали ему в ней какое-нибудь новое нравственное достоинство, когда, наконец, вот в этот последний вечер, она настолько высказалась пред ним, он увидел в ней нечто высшее, царящее над ее физической красотой, нечто героическое. Теперь ему сказалась в ней нравственная мощь и великая, всепроникающая сила страстной любви к своей родине, к свободе, к народу своему, — сила, освещенная страданием и даже кровью. Ему казалось, что для подобной женщины можно всем рискнуть, всем пожертвовать, на все решиться.

И под наплывом этих мыслей и ощущений, в нем страстно совершалась теперь внутренняя метаморфоза.

XV. Кружок

Вскоре после этого вечера, графиню Маржецкую посетил капитан Чарыковский. Когда лакей доложил о его приезде, Хвалынцев, по обыкновению, поднялся с места, чтоб удалиться в свою комнату, но Цезарина просила его остаться, предварив, что Чарыковский из таких людей, с которыми можно отбросить в сторону подобную осторожность.

— Рекомендую: гувернер моего сына, — представила она студента.

— А, да мы уже, кажется, знакомы, если господин Хвалынцев не забыл меня? — любезно и радушно пожимая руку Константина Семеновича, сказал капитан.

Тот, с неменьшей любезностью, поспешил заявить ему о своей памяти.

— Но наш молодой ментор, кажется, скучает, — продолжала Цезарина, весело посматривая то на студента, то на своего гостя. — Я ведь живу почти отшельницей, развлечений у меня никаких, а вы, monsieur Хвалынцев, надеюсь, привыкли к обществу.

Хвалынцев ответил что-то нескладное, вроде того, что ее общество он предпочитает всем другим на свете, и сам немножко сконфузился и смешался.

— Ну, это так, одна только любезная фраза! — улыбнулась Цезарина, — а шутки в сторону; я думаю, вы таки скучаете. Ведь он так усердно посвятил себя занятиям с моим сыном, — обратилась она к Чарыковскому, — так ревностно предался своему делу, что вот уже более недели, как никуда не показывается, никуда даже из дому не выходит!

Чарыковский с вежливо-снисходительной усмешкой слушал эту болтовню Цезарины. В самых простых и незначительных фразах своего разговора, обращаясь к Хвалынцеву, он выказывал очень внимательную предупредительность и любезность, видимо желая понравиться молодому человеку, расположить его в свою пользу. Разговор перешел на университетские события, все еще составлявшие главную тему толков того времени. Капитан начал порицать двусмысленное поведение некоторых профессоров, которых Хвалынцев стал горячо отстаивать. Зная лично этих профессоров, их образ мыслей и отношения к студентам, он не мог допустить и тени сомнения относительно их личности и потому горячо заспорил с капитаном.

— Вы хотите доказательств? Если угодно, я готов! — предложил Чарыковский. — Мне самому не менее вас больно разочарование в этих людях, но я могу доказать вам фактами, документами. Да самое лучшее вот что: если вы так живо принимаете это к сердцу, приезжайте ко мне, мне будет очень приятно видеть вас у себя, — сказал он, радушно пожимая руку студента, — и незачем откладывать в долгий ящик, приезжайте сегодня же вечером, часу в восьмом, у меня мы и потолкуем, а я постараюсь убедить вас довольно осязательными документами.

— Ну, вот и прекрасно! — подхватила графиня; — monsieur Хвалынцев, по крайней мере, хоть сколько-нибудь рассеется, а, кстати, и я нынче вечером не буду дома. В самом деле, поезжайте-ка, поезжайте! А то у меня вы совсем одичаете, анахоретом, нелюдимом сделаетесь.

Чарыковский подал ему свою визитную карточку, на которой был его адрес. Хвалынцев поблагодарил его и обещал приехать. Хотя за все эти дни он уже так успел привыкнуть к своей замкнутости, которая стала ему мила и приятна постоянным обществом умной и молодой женщины, и хотя в первую минуту он даже с затаенным неудовольствием встретил приглашение капитана, однако же поощрительный, веселый взгляд графини заставил его поколебаться. — "К тому же и она нынче не дома", подумал он и согласился.

— У него вы ничем не рискуете: ни неприятной встречей, ни неприятными последствиями, а некоторое рассеяние для вас все-таки необходимо. Поезжайте! — сказала Маржецкая, после того как Чарыковский удалился из ее гостиной.

В назначенный час Хвалынцев отправился по данному адресу. Капитан встретил его в высшей степени любезно, но студент вскоре заметил, что хозяин как-то мнется, как будто чем-то стесняется.

Константин Семенович начал уже думать, что посещение его пришлось почему-либо не совсем-то кстати, как вдруг Чарыковский предупредил его дальнейшее раздумье.

— Послушайте, Константин Семенович (капитан еще утром очень внимательно осведомился о его имени и отчестве), вы не будете на меня в претензии, если я предложу вам, вместо того чтобы провести вечер у меня, отправиться вместе к одним моим знакомым? — обратился он к студенту. — Люди холостые и бесцеремонные — они рады будут, а давеча мне совсем было и из ума вон, что я обещал им приехать. Поедем-ка вместе, и ручаюсь вам, мы проведем вечерок недурно, только вы, пожалуйста, не стесняйтесь и не думайте, что их чем-нибудь стесните! Церемонии все в сторону!

— А кто они такие? — спросил Хвалынцев.

— А наша молодежь из военной академии. Люди простые, честные и хорошие, и — повторяю — очень будут рады нам. Катимте!

Хвалынцеву было теперь все равно где ни провести вечер, и он согласился тем охотнее, что ему

еще с обеда у Колтышко почему-то казалось, будто Чарыковский непременно должен быть посвящен в тайны Лесницкого и Свитки, а теперь — почем знать — может, чрез это новое знакомство, пред его пытливо-любопытными глазами приподнимается еще более край той непроницаемой завесы, за которой кроется эта таинственная «сила» с ее заманчивым, интересным миром, а к этому миру, после стольких бесед с Цезариной и после всего, что довелось ему перечитать за несколько дней своего заточения и над чем было уже столько передумано, он, почти незаметно для самого себя, начинал чувствовать какое-то симпатическое и словно бы инстинктивное влечение. Теперь уже, пожалуй, и не одно только простое любопытство влекло его к этому миру. В этом влечении стала играть известную роль и симпатия, — правда, пока еще заочная, но уже настолько заметная, что одно только мимолетное предположение о вероятной возможности заглянуть поближе в тайник Лесницкого и Свитки заставило его с живым удовольствием принять предложение нового знакомства. Чарыковский порядил извозчика в Офицерскую улицу, и они поехали. Про доказательство двусмысленного поведения профессоров не было сказано ни слова.

Так этот вопрос и канул для капитана в Лету. Он был для него не более как случайным предлогом, чтобы заручиться посвящением Хвалынцева.

В пяти довольно просторных и поместительных комнатах, составлявших одну холостую квартиру, было говорно и людно. Там ходили, сидели, разговаривали, пили чай, курили, спорили и читали человек тридцать народу. Это, большею частью, была все военная молодежь, в сюртуках различных родов оружия, и по преимуществу с «ученым» артиллерийским, либо инженерным кантом. Гвардейский кавалерийский мундир совершенно дружественно братался здесь со скромными петлицами армейского пехотинца; зеленый кантик путейца горячо, но приятно спорил с малиновым кантом лесничего. Из партикулярных костюмов заметны были только чамарка Василия Свитки да черный сюртук Лесницкого.

Большой раскидной стол в просторной гостиной был завален русскими и заграничными журналами, газетами, брошюрами и книгами. В смежной комнате, на таком же большом раскидном столе, кипели вместительный самовар, окруженный коллекцией разнокалиберных стаканов и чашек, а рядом с ним помещалась небольшая батарея бутылок, разные закуски и поднос с целою горою сухарей, булок и пеклеванного хлеба. Во всех комнатах было уже дымно от папирос и сигар, и вечер, несмотря на относительно ранний еще час, был уже в полном разгаре. Над всем этим говорливым, оживленным обществом веял какой-то дух молодости, задора и горячки увлечения.

Тут было четверо хозяев-сожителей — молодых офицеров-академистов, которые под предлогом "литературных вечеров", еженедельно собирали под своим бесцеремонным гостеприимным кровом всю эту компанию.

Все члены этого общества, как показалось Хвалынцеву, состояли в довольно коротком знакомстве между собою, что впрочем и не мудрено, так как они были постоянными и неизменными посетителями "литературных вечеров" этой холостой квартиры.

Чарыковский был принят хозяевами более чем радушно: его встретили с радостью и почтением. Точно такая же приветливая почтительность выражалась в отношении к нему со стороны всех присутствующих. По всему можно было заметить, что капитан Чарыковский в этом обществе играет очень видную роль и пользуется большим авторитетом. Хвалынцев сразу заметил это, и ему стало особенно приятным то обстоятельство, что вводит его сюда именно капитан Чарыковский. Обстоятельство это не ускользнуло и от внимания почти всех остальных членов собравшейся компании, которые, в силу его, при первом же знакомстве, оказали студенту радушное и как бы товарищеское внимание.

Чарыковский представил Константина Семеновича четырем хозяевам, а те, в свою очередь, познакомили его кое с кем из своих гостей.

Найдя здесь Лесницкого и Свитку, Хвалынцев, в первое время, все отыскивал глазами Колтышку, но Колтышки не было, и не было его ни в начале, ни в конце вечера.

— А что же Иосифа Игнатьевича нет? — спросил он, между прочим, у Свитки, — или он не бывает здесь?

— Нет, бывает иногда, но очень редко, — отвечал тот, с некоторой неохотой, как показалось Хвалынцеву, и тотчас же переменил разговор.

Все общество, в разных углах комнат, разбивалось на кружки, и в каждом кружке шли очень оживленные разговоры; толковали о разных современных вопросах, о политике, об интересах и новостях дня, передавали разные известия, сплетни и анекдоты из правительственного, военного и административного мира, обсуждали разные проекты образования, разбирали вопросы истории, права и даже метафизики, и все эти разнородные темы обобщались одним главным мотивом, который в тех или других вариациях проходил во всех кружках и сквозь все темы, и этим главным мотивом были Польша и революция — революция польская, русская, общеевропейская и, наконец, даже общечеловеческая.

Хвалынцев заметил, что очень многие за разрешением спорных вопросов обращались к Чарыковскому, который сидел в самой отдаленной комнатке, среди очень небольшого и тесного кружка. Чарыковский вообще говорил мало и держал себя весьма сдержанно, но все, что произносил он, носило скорее характер кратких и окончательных приговоров, чем споров и рассуждений.

Много было толков о современном состоянии русского общества, и все мнения более или менее согласовались в том, что общество теперь накануне огромного революционного переворота, причем проводили параллель между Россией и Францией 1788 года. Назначалось даже время, к которому общерусская революция вспыхнет необходимо и неизбежно, и временем этим долженствовал быть 1863 г., когда окончательно прекратятся временно-обязательные отношения крестьян к помещикам, а причина будущей революции виделась в том, что помещики недовольны и ропщут, и что правительство «понадуло» крестьян, и крестьяне будто бы увидят это по прекращении обязательных отношений. Чем именно правительство «понадуло», об этом не говорилось, но все как-то единодушно были согласны, что "понадуло, да и конец!". У многих на устах была знаменитая и, как видно модная в этом кружке фраза «Колокола»: "народ обманут!" Говорили и о финансовом кризисе, и о том, что Россия не сегодня завтра — круглый банкрот.

В те времена почти везде и зачастую слышались разговоры на подобные темы. Хвалынцеву и самому не однажды доводилось разговаривать об этих "материях важных"; но в других домах и в других кружках, при рассуждениях о печальном положении России, он зачастую подмечал какую-то горечь русского сердца и боль русской души о своем кровном, родном деле. Здесь же не мог не заметить он некоторого злорадства, которое явно сквозило во всех препирательствах и толках о печальном современном положении. Более общим вопросом был вопрос о том, как встретить и перенести будущую русскую революцию образованному и военному сословию.

— Я, полагаю, — говорил один бравый поручик в конноартиллерийской форме, — я полагаю, что в русском обществе необходимо должны составиться свои центры действия, которые провопоставят силе правительства силу общественного заговора.

— Правительство уже бессильно! — с шумом возражали ему с разных сторон. — Разве недостаточно доказательств хоть бы в студентской истории? Разве все эти стеснительные меры не доказательство слабости.

— Кружки! центры действия! — возражали другие. — Но любопытно бы знать, как это организуются они среди *русского* общества?

— Как бы то ни было, но они, по силе вещей, должны организоваться! — с убеждением настаивал бравый поручик; — тихо, или быстро, явно или тайно — это зависит от силы людей, от сближения, от согласия их, но они образуются! Остановиться теперь уже невозможно. Тут все может способствовать: и общественные толки, и слово, и печать, и дело — все должно быть пущено в ход. Задача в том, чтобы обессилить окончательно власть.

— А войско? — возразил Хвалынцев.

— Э, что такое войско? — заспорил конноартиллерист. — Я сам солдат, я знаю! Дисциплина в нашем войске держится только страхом палки, шпицрутенами, а вот погодите: отменят телесные наказания, дисциплина разом упадет до нуля, и войско сделает ручку правительству. Я убежден в этом, я знаю. Вообще теперь самое полезное — оставлять коронную службу: этим власть обессиливается.

— А я думаю, что иногда гораздо полезнее внести *свое* влияние в служебную деятельность, — скромно заметил офицер в комиссариатской форме.

— Да, *иногда,* — согласился бравый поручик, — но отнюдь не в гражданской службе. В военной иное дело. Чем больше будет у нас развитых, образованных офицеров, тем успешнее пойдет пропаганда: солдаты, во-первых, не пойдут тогда против крестьян, когда те подымутся всею землею; во-вторых, образованные офицеры не помешают освободиться и Польше. Разовьете вы, как следует, пропаганду между офицерами — вы облегчите революцию и вызовете ее гораздо скорее. Образованный офицер не пойдет против поляков.

— Русские-то? Ха, ха, ха!.. всегда пойдут! — с презрительной усмешкой махнул рукой путеец.

— Не пойдут! — настойчиво убеждал поручик. — Я сам солдат, говорю вам, я знаю!.. Не пойдут, если будут убеждены, что выход русских войск из Польши необходим, и если — conditio sine qua non[72] — сила правительства будет равняться нулю.

— Но что вы заставите их в этом случае разуметь под Польшей? — скромно возразил Хвалынцев. — Тот ли клочок земли, который известен под именем Царства Польского, или…

— Как это "Царство Польское"? — с недоумением перебил его конноартиллерист. — Не Царство разумею я, а всю, всю Польшу, как она есть, — всю, в границах 1772 года! Все те земли, где масса народа или говорит по-польски, или привязана к прежней униатской вере, всю Литву, Белоруссию, Волынь, Украину, Подолию, Малороссию, все это единая и нераздельная Польша. Иной я не признаю и не понимаю.

— Но ведь народ в Малороссии… — снова попытался было возразить Хвалынцев, но поручик не дал ему даже досказать и заговорил еще с большим жаром!

— Народ!.. Во всех этих землях народ если и не носит официально имени поляков, то все же он поляк, — поляк до мозга кости своей, потому что в нем жизнь польская, стремления польские, дух польский; потому что этот народ был польским. Этому ведь только в официальных учебниках не учат, а на деле оно так! Я это лучше знаю! И вам, господа русские, вам, честное,

молодое поколение, пора, наконец, проснуться от долгой русской летаргии; и вы сами с своим развитием должны же понять, что ваш первый, священный долг освободить Польшу и даже идти за нее передовыми бойцами, потому что, освобождая Польшу, вы освобождаете и Россию, себя освобождаете! Неужели вам, честным юношам, не стыдно глядеть в глаза всей Европе, которая с презрением клеймит вас названием палачей, варваров? Смойте же, наконец, это позорное пятно! Докажите целому свету, что вы честные, справедливые люди, что вы такие же славяне, как и поляки, и не хотите вешать и стрелять своих братьев!

Офицер говорил бойко, красноречиво, с энергией убеждения и фанатическим жаром. В его выразительных глазах, в его видной, красивой и энергической наружности было очень много симпатичного и невольно подкупающего. Поминутные фразы "я знаю", "я это лучше знаю", фразы, которые указывали на маленькое самолюбие и маленькую самоуверенность этого офицера и которые вначале чуть было не заставили улыбнуться Хвалынцева, не помешали ему однако выслушать очень серьезно всю эту красноречиво горячую тираду. Слова "палачи и варвары", сопоставленные со словами "честное молодое поколение" даже ударили его по очень тонкой струнке молодого самолюбия, а в последние дни эта самая струнка очень часто и очень ловко задевалась графиней Цезариной.

— Вы говорите о нас, о русском молодом поколении, — обратился он к поручику. — Неужели вы думаете, что мы не понимаем, не чувствуем сами все эти упреки, которые высказывают России? Но что же мы можем сделать? Ведь все это хорошие слова, мы и сами их хорошо умеем говорить, но вы скажите нам что делать? Если тут нужно дело, укажите его!

— Не сидеть сложа руки, — горячо и выразительно начал офицер, методически высчитывая по пальцам. — Это раз! Потом не глядеть равнодушно на безобразия администрации и вообще власти; организовать из себя кружки, которые и словом, и делом, и вообще чем только можно, противодействуют этим безобразиям. Затем — вносить и словом и делом свою пропаганду в массы общества; не служить ни в какой службе, исключая как во фронте, для подготовки войска, или брать только такие места, где можно иметь непосредственное влияние на мужиков — вот что нужно делать! И во всяком случае, идти рука об руку с поляками, потому что невозможно отделять дело польской свободы от русского дела. Помогая полякам, вы только самим же себе помогаете, не более!

— Но вопрос в том, захотят ли поляки нашего участия? — возразил Хвалынцев. — У нас к ним одно сочувствие и ни тени ненависти. Но я знаю по трехлетнему университетскому опыту, поляки всегда чуждались нас; у них всегда для нас одно только сдержанное и гордое презрение; наконец, сколько раз приходится слышать нам от поляков слова злорадства и ненависти не к правительству, но к нам, к России, к русскому народу, так нуждаются ли они в нашем сочувствии?

Говоря это, Хвалынцев думал сделать легкий намек, что не далее как сегодня же, в этой самой комнате, все то, что в русском сердце могло бы вызвать только боль и скорбь, здесь встречало какое-то злорадство. Конноартиллерист, казалось, угадал его мысль.

— Во-первых, везде есть свои фанатики, — заговорил он; — и смотрите на них не более, как на фанатиков. Случалось ли вам как-нибудь, например, вколачивая гвоздь, хватить нечаянно молотком по пальцу и в первое мгновение, с досадой, а то еще и выругавшись, швырнуть от себя молоток? Ну, за что вы изругали молоток? Ведь он не виноват, он только орудие, но вы выругали его, потому что это орудие причинило вам боль, вы ведь сделали это почти бессознательно, не так ли?

Студент согласился.

— Ну, вот то же самое и фанатики! — живо подхватил поручик. — Они чувствуют боль и, отуманенные болью, не разбирая, ругают молоток, а ведь молотком-то является тут все же русский народ в руках правительства. А что касается студентов, то чего же вы могли и ждать от людей угнетенных, задавленных? Кто страдал так много и долго, тому свойственна и замкнутость, и недоверие. Вы им предлагали доброе *слово* — предложите теперь доброе *дело,* дайте не риторику, а хлеб насущный, и тогда посмотрите, будут ли вас чуждаться. Наконец, вы, молодое поколение, должны, со всем смирением, первые протянуть руку дела полякам, чтобы искупить долгий исторический грех ваших отцов. Фанатиков ведь немного, а за ними стоит целый народ, который с надеждой смотрит на вас и ждет от вас помощи.

Эта беседа сделала-таки свое впечатление на Хвалынцева и впечатление становилось тем сильнее, чем более старался он найти возражений на доводы собеседника, а возражений меж тем не находилось. Студент, наконец, сознался в глубине души, что ему больше нечего сказать своему противнику.

"Стало быть, правы все-таки *они,* а не *мы.* Что же делать? Что делать теперь?" снова поднялся в нем старый вопрос, который уже неоднократно и прежде тысячью сомнений тревожил и ум его и совесть, а теперь вдруг стал пред ним со всею настойчивостью и беспощадною неотразимостью.

Хвалынцев ясно почувствовал, что пора наконец на что-нибудь решиться.

XVI. Роковые вопросы

В нервно возбужденном состоянии вышел он на улицу вместе со Свиткой. Услужливый Свитка, под тем предлогом, что давно не видались и не болтали, вызвался пройтись с ним, по пути. Хвалынцеву более хотелось бы остаться одному, со своею мучающею, назойливою мыслью, но Свитка так неожиданно и с такой естественной простотой предложил свое товарищество, что Константин Семенович, взятый врасплох, не нашел даже достаточного предлога, чтобы отделаться от него. Ночь была ясная и звездная.

— Ну что, вам не надоел еще ваш арест? — шутя спросил Свитка дорогой.

— Пока еще нет. А все-таки, скоро ли он кончится?

— Теперь уже недолго… Дайте еще только чуточку поуспокоиться властям предержащим, и мы вас выпустим: гуляйте себе на все четыре стороны!

Хвалынцеву вдруг стало даже жалко как-то, что скоро кончится для него эта прелесть таинственной жизни, под одной кровлей с женщиной, которая все более и более овладевала его помыслами и чувством.

— А как вы находите графиню Маржецкую? — неожиданно спросил Свитка.

— Я ее уважаю, — ответил вполне серьезно и даже несколько сухо Хвалынцев, не желая делать эту женщину предметом праздной, легкой болтовни, что чувствовалось по тону вопроса. — А вот вы скажите мне лучше, кто этот конноартиллерист? — спросил он.

— О, это голова!.. Кабы таких побольше между офицерами!

— Фамилия его?

— Бейгуш. Он с забранного края, с Литвы. А как вы его находите?

— Он говорит дело, и хорошо говорит.

— Еще бы. Я думаю!.. А что, пане Хвалынцев, помните вы наши последние разговоры? — с простодушною шутливостью предложил вдруг Свитка новый вопрос.

— Разговоры были не такого свойства, чтобы можно скоро забыть.

— Ну, и говоря откровенно, как теперь ваше мнение?

— Вы хотите полной откровенности? Извольте! — согласился Хвалынцев. — Я сочувствую этому делу, сочувствую, как мне кажется, насколько могу, всей душой моей, но…

— Вот всегда у вас это "*но*" является, — смеясь перебил Свитка; — а вы без «но»; говорите прямо!

— Я прямо и говорю вам.

— Итак, в чем же "*но*"*!*

— "*Но*" в том, что меня мучит одно весьма серьезное сомнение. Я сомневаюсь в себе самом, в своих силах. Ведь чтоб отдаться делу, нужно взвесить и сообразить многое, и прежде всего, нужно знать его.

Свитка помолчал немного, обдумывая, что и как ответить.

— Вы знаете уже достаточно, — серьезно заговорил он. — Если вы убеждены, по собственному опыту, что то положение, в каком принуждены жить и вы, и мы, есть положение невыносимое; если вы чувствуете, что не созданы быть малодушным и подлым рабом — простите мой резкий язык! — и если вы, наконец, сознаете, что так или иначе надо изменить это положение — вы уже знаете достаточно, чтобы решиться! А когда вы окончательно решитесь, то окончательно и все узнаете. Ранее же этого знать все невозможно: дело слишком большое и серьезное. Скажу вам пока только то, что к этому делу принадлежат уже не сотни, но тысячи честных и надежных людей, по всем концам России, на всех, так сказать, ступенях общества.

— И вы уверены, что между этими тысячами не найдется хоть одного Иуды? — спросил Хвалынцев.

Свитка засмеялся.

— О, такая уверенность была бы слишком наивна! — возразил он. — Тридцать сребреников для мелкой душонки всегда будут достаточной приманкой. Но мы Иуд не боимся, они для нас нимало не опасны. Все дело в организации общества, а организация такова, что Иуда, во всяком случае, может выдать не более трех человек, никак не более! Ну, а убыль нескольких голов нисколько не повредит общему великому строю дела, потому что главные нити и пружины — ух, как далеко и высоко от нас грешных!.. Каждый член имеет свой определенный круг обязанностей, и вне этого тесного крута ему ничего неизвестно. Ведь и тут есть своя тайная иерархия и своя постепенность, — сразу никому не открывается все, а с расширением деятельности и круг зрения расширяется. Наконец, против Иуд есть и противоядия хорошие: вспомните хотя бы контрполицию! Наши сидят везде и повсюду, и следят за всем, так что мы имеем всегда полную возможность предупредить слишком дурные последствия. А Иуды несут заслуженное возмездие; ведь для них существует и специальное дерево — осина! Итак, все-таки в чем же ваше «но», я не понимаю? — спросил в заключение Свитка.

— Мое «но», говорю вам, — сомнение в самом себе, в своих силах. Чем могу я быть полезен? что могу сделать для дела? Социальное положение мое слишком еще маленькое, средства тоже не Бог весть какие; подготовки к делу ни малейшей! Вы назвали меня солистом, но вот именно солиста-то в себе я и не чувствую, а быть трутнем, как подумаю хорошенько, уж нет ровно никакой охоты.

— Благородная скромность и честное сомнение в себе всегда были и будут отличительными признаками людей недюжинных! — менторски серьезно и докторально заметил Свитка. — Одна только пустельга самоуверенна и ни в чем не сомневается. Что вы из солистов, то это почувствуете вы сами при первом прикосновении к серьезному делу, а засим, вспомните что сказано: "имейте веру с горчичное зерно, и вы будете двигать горами!" Не верьте в себя, но твердо веруйте в дело, в его правоту и святость, и вы тоже будете двигать, если не горами, то массами живых людей, которые для нас теперь поважнее гор!

Среди оживленного разговора Хвалынцев и не заметил, как они прошли более половины пути. На углу Мещанской и Невского проспекта Свитка остановился и подал на прощанье руку.

— Ну, так как же? В дело или нет? — решительно спросил он.

Студент пожал плечами.

— Э, Боже мой! Решайтесь! — ободрительно махнул рукой Свитка, — решайтесь так: aut Caesar aut nihil.[73]

— А если nihil? — сомнительно спросил Хвалынцев.

— Nihil?.. Nihil все-таки лучше, чем рабское прозябанье, чем эта апатия и нравственная мертвечина! Коли победим — честь нам и слава, а нет — история тоже не забудет нас, да и собственное сознание останется, что погибли по крайней мере не бесславно, а за честное дело, за братскую свободу. Ведь умели же гибнуть наши отцы в двадцать пятом и тридцать первом годах. Что же мы, черт возьми, хуже их, что ли? Или уж мы не дети своих отцов? Ведь за нас и сочувствие, и любовь, и помощь всей Европы, всего либерального мира! Ведь и гибнуть-то таким образом не каждому такая честь дается! Так что же вы, *да* или *нет?*

Хвалынцев почувствовал какую-то мучительно-трепетную и сладкую тоску.

— Бога ради... Бога ради! — взволнованно заговорил он, крепко стискивая руку Свитки, — дайте мне одни только сутки, одну только ночь, еще раз подумать, взвесить и смерить самого себя и я скажу вам! Я прошу для того, что не хочу ни себя, ни вас обманывать.

— Ну, bene! быть по сему! — порешил Свитка и простился.

Хвалынцев кликнул извозчика и поехал на Владимирскую.

"Да что же я, наконец?!! Что я за человек-то, в самом деле?" — досадно раздумывал он. — "Все ли равно мне, как ни жить и что ни терпеть, или нет? И из-за чего не могу я решиться ни туда, ни сюда? Ну что меня заставляет быть не с ними, что меня удерживает? Что же *здесь-то* в самом деле? Отсутствие всякого права, стеснение слова, закрытие университетов, свобода и стреляние в крестьян, как в Высоких Снежках, стреляние в поляков, в безоружные толпы детей и женщин — это все, что ли, так мило и достолюбезно? За это, что ли, стою я? Чего же мне жаль-то тут?!. А *там,* там хоть может быть и мечтают, и увлекаются, да ведь какие мечты, какие увлечения! Какие цели великие и какая подготовка! Итак, друг любезный, кто же ты, наконец, и за что стоишь ты?"

И с этим роковым, но все еще не разрешенным окончательно вопросом в душе, Хвалынцев вернулся домой, в квартиру графини Маржецкой.

XVII. Aut Ceasar, aut nihil

Тихо пройдя в свою комнату, он услышал звуки рояля. Человек на вопрос его ответил, что графиня одна и целый вечер никуда не выезжала из дома. Это она играла. Чтобы не прерывать ее игры, Константин Семенович осторожно вошел в залу, освещенную одной только матовой лампой, и тихо остановился в дверях, позади Цезарины. Из-под ее изящно бледных, тонких пальцев гремели полнозвучные, могучие аккорды — и было в них что-то величественное, грозное и скорбящее. То были звуки какого-то религиозного гимна, как показалось Хвалынцеву. Он стоял и слушал, как переливались эти звуки, как окрылялись они парящею в небеса силой, словно грозно-молящие стоны и вопли целого народа, и как потом стали стихать, стихать понемногу, переходя в более мягкие, нежные тоны — и вдруг, вместе с этим переходом, раздался страстно-певучий, густой и полный контральто Цезарины:

Боже, что Польшу родимую нашу
Славой лелеял столь долгие веки,
Ты, отвращавший нам горькую чашу
Броней своей всемогущей опеки,
Ныне к Тебе мы возносим моленье:
Отдай нам свободу! Пошли избавленье!

Она пела по-польски. Константин Семенович вслушался и узнал знакомые слова той знаменитой "Boze cos Polske",[74] которую столько раз декламировала и переводила ему Цезарина. Но пения ее до сей минуты он еще не слыхал ни разу. Его поразил и этот звучный, симпатичный голос, и эта страстно-религиозная выразительность самой манеры пения. Он стоял тихо, почти затаив дыхание, из боязни обнаружить свое присутствие и нарушить им вдохновение этой минуты. А эта женщина, казалось, вся была полна теперь вдохновения и религиозного восторга. Одета она была совсем по-домашнему, в кашемировый пеньюар, с черными четками на шее. На руке, открытой гораздо выше кисти, чернел вороненый браслет, в виде каторжной цепи. На плечи и спину ее падали густыми, тяжелыми волнами распущенные пепельные волосы — самая модная польская прическа того времени, служившая одним из символов скорби по отчизне. Графиня, когда оставалась дома, почти всегда носила эту прическу, которая еще более придавала оригинальной прелести ее и без того оригинальной красоте. Она кончила свой гимн, а звуки, не переставая торжественно греметь и стонать под ее пальцами, мало-помалу перелились в иные тоны, которые дышали еще большим, почти фанатическим религиозным экстазом, и снова зазвучал ее контральто:

С дымом пожаров и с кровию братий
Бьет в небеса наш отчаянный голос.
Вопли последние… стоны проклятий…
С этих молитв побелеет и волос!

Этот молящийся женский голос, эти религиозно-торжественные звуки, этот напев, полный фанатизма и чего-то трагического, и наконец, самый смысл этих исступленных многоскорбных слов — все это глубоко проникало в душу юноши и произвело на него потрясающее действие. Многое поднялось и заговорило в нем в эту минуту: и сладкий трепет религиозного восторга, и упоение звуками прекрасного голоса, и теплое, страстное чувство увлечения этою женщиною, и боль щемящая, и энергическая решимость все принести в жертву ради этого идола. Он стоял, как онемелый, как зачарованный, только внутренняя дрожь пробегала по всему телу, да слезы, иными мгновеньями, готовы были хлынуть.

Цезарина встала из-за рояля и только тут заметила Хвалынцева. Она несколько смутилась этой неожиданностью, но замедлясь на миг, прямо подошла к нему и ясно увидела то впечатление, под которым он находился.

Слов у него не было, но глаза говорили лучше слов, и Цезарина поняла, что это такая минута в нравственной жизни его внутреннего мира, которой нельзя дать пройти бесплодно.

— Поздравьте меня: мое знамя готово! Сегодня кончила! — светло улыбаясь, протянула она ему руку; — я предпочла остаться нынче дома, и хорошо сделала. Пойдемте, я вам покажу.

В нем только что начинал еще рассеиваться туман очарования.

— Ну, что же вы стоите? Пойдемте, говорю!

— Постойте… Дайте опомниться… Отчего вы раньше никогда не пели?

Цезарина с улыбкой пожала плечами.

— Так… не хотелось… Я вообще пою мало и редко, разве уж потребность такая на душу найдет, да и то только когда бываю одна, совсем одна. Однако же мне хочется похвастаться перед вами моим знаменем.

И она провела его в будуар — обычное место ее работы.

Великолепное богатое знамя, отороченное золотой бахромой, с золотыми кистями по концам, было уже снято с пялец и наброшено, для виду, на высокую спинку широкого готического кресла. В нем действительно было на что полюбоваться и было чем похвалиться, и Цезарина сама залюбовалась на свое произведение.

— Все, как видите, все сработано моими собственными руками! — говорила она. — Никому не уступила я чести приложить к этой работе свою руку! Даже весь материал, каждую нитку, каждую шелковинку сама покупала. Польское знамя должно быть сработано польскими же руками.

— И знамя вполне достойно дела! — с похвалой заметил Хвалынцев.

— А не странно ли! — вдруг сказала она. — Вы, русский, москаль, и вы первый увидели у меня это знамя, первый узнали про мою работу, на ваших глазах она кончилась, и даже первый похвалили ее вы, москаль!.. Москаль, говорю я!.. Но кто-то первый подымет и понесет его? — с грустно-раздумчивым вздохом добавила она, после короткого молчания.

— Найдется человек! — как-то неопределенно заметил Хвалынцев.

— О! если такой найдется, и если сумеет быть действительно героем, — тихо говорила она, с тою же блуждающей по лицу грустно-раздумчивой улыбкой; — да я не знаю, на что бы я решилась для такого человека! Вся благодарность польки… даже… вся душа, все сердце, вся жизнь, вся любовь моя принадлежала бы этому человеку!..

— А если бы этот человек был русский, москаль, как вы называете? — тихо спросил Хвалынцев, у которого вдруг захолонуло сердце.

— Все равно, кто бы ни был, лишь бы шел за свободу моей отчизны, лишь бы точно был героем! — с огнем увлечения заговорила Цезарина.

У Константина в глазах даже замутилось. Он был бледен. Он чувствовал, что сейчас должно свершиться с ним что-то решительное, роковое и бесповоротное. Теперь уже, казалось, не сам он идет к этой цели, а какая-то независящая от его воли великая, внутренняя сила сама влечет и толкает его дальше, дальше и дальше…

— А если… если я возьму и понесу это знамя? — с трудом, почти задыхаясь, глухо проговорил наконец Хвалынцев.

Цезарина долго и серьезно посмотрела на него. Он неотводно глядел в ее лицо, как бы желая прочесть в нем свой приговор.

Она вдруг тихо подняла свои руки и положила к нему на плечи.

— Если это будет так, я ваша! — медленно и твердо сказала она. — Но знайте, только тогда… Тогда, но не раньше!

Хвалынцев восторженно схватил ее руки и стал покрывать их бесчисленными благодарными и влюбленными поцелуями. Он не видел ее лица, не видел того выражения и той улыбки, которая играла на нем в эту минуту, но чувствовал, что эта женщина близко склоняется над его поникшим лицом, почти приникает к самому плечу его; чувствовал на горячей щеке своей легкое, случайное прикосновение ее душистого локона; чувствовал, что она не отрывает и не хочет отрывать рук из-под его поцелуев, и какое-то странное благоговение к ней проницало всю его душу.

— Aut Caesar, aut nihil — шептал он, покрывая восторженными поцелуями ее бледные, артистически созданные руки.

XVIII. Ceasar[75]

На другой день, рано утром, графиня Маржецкая отослала с человеком к Иосифу Колтышке записку, и в тот же день, после обеда, совершенно неожиданно посетил Хвалынцева Свитка.

— Ну, пане Константы! я к вам сегодня радостным вестником! — заговорил он, хлопнув своей ладонью в руку студента; — поздравляю! вы свободны — арест ваш кончен, одним словом, гуляйте где благоугодно!

— Итак все уже кончено? — без особенных признаков радости спросил Константин Семенович.

— То есть, главная-то гроза миновала. Я говорю насчет арестов, казематов, допросов и прочих удовольствий, — пояснил Свитка; — но тут еще остаются кое-какие маленькие загвоздки, которые, впрочем, легко будут устранены, если только вы сами того захотите.

— В чем дело? Какие загвоздки?

— А это уж по части администрации и университета. Вы этого, может быть, еще не знаете, а там, что называется «свыше», решено, буде кто не взял матрикулы — долой из студентов! А кто долой, тех в сорок восемь часов высылают из столицы на место родины, под надзор полиции, если нет в Петербурге близких родных или надежных поручителей. Одним хловом, очень попечительно! Наших уже очень многих выслали на казенный счет, в Польшу да в Литву… Ха, ха, ха!.. Молодцы, ей-Богу! Мы им весьма даже благодарны за это. А есть у вас кто-нибудь из родных здесь? — спросил он.

— Никого не имеется.

— Фю-фю-ю!.. Ну, эдак пожалуй через двое суток будете на пути в славнобубенские дебри и веси!.. Плохо дело!.. Надо будет, значит, подыскать надежного поручителя. Есть в виду кто-нибудь?

Студент стал припоминать в уме разных своих знакомых и сомнительно пожал плечами. Вполне подходящего и настолько короткого знакомого, к которому можно бы обратиться с такой просьбой, у него не было на примете.

— Право не знаю теперь… надо подумать, — сказал он.

— Ну, вы думайте себе, и мы тоже подумаем, авось кто-нибудь и выдумает! Надо постараться, — весело усмехнулся Свитка и взялся за шапку.

— Постойте, — остановил его Хвалынцев. — Два слова насчет нашего последнего разговора — я решился.

Свитка притворился приятно удивленным.

— То есть, aut Caesar, aut nihil? или решились прочь?

— Я ваш и душой и телом! делайте со мной все, что потребует польза дела, — сказал студент, и почувствовал после этих слов, словно бы какая-то гора у него с плеч скатилась.

Свитка в ответ молча заключил его в свои объятья и расцеловался несколькими крепкими поцелуями.

— Ну, вот за это спасибо! — радостно проговорил он. — Итак, полный, нерушимый и братский союз!.. Дело! что дело, то дело! А теперь, с первой же минуты, необходимо сообщить вам кой-какие главные инструкции. Прежде всего помните пословицу: ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами. Это главнее всего. Если вы даже и будете знать, что такой-то, например, принадлежит к организации, то все-таки отнюдь не выдавайте ему себя; разве уж будет вам поручено какое-либо дело лично к нему — ну, в этом случае можно открыться, и то потому только, что необходимость заставит. Потом не старайтесь узнавать фамилии принадлежащих к организации. Это необходимо в видах обеспечения общей нашей безопасности. Часто, по какому-нибудь делу, вам может быть указан человек, совершенно вам неизвестный. Вам не скажут ни его фамилии, ни его квартиры, но сообщат какой-нибудь внешний характеристичный признак и укажут место, где встретиться — на улице, в церкви, в театре, в трактире, где бы то ни было. Чтобы подойти и заявить ему себя, вам скажут заранее две или три цифры, которые вы можете показать ему на клочке бумажки, либо еще лучше, подойти и сказать это число. Он уже будет знать, что вы свой и что у вас есть дело лично к нему. Это, вот видите, я поясню вам примером. Например, вы и я. Предположите, что мы совсем не знаем друг друга. Центр поручает мне передать вам какое-нибудь сообщение. Вы имеете свой собственный, постоянный и неизменный номер или число; положим, что это число будет хоть 330.441. Я, вовсе не зная вас, подхожу к вам и осторожно, как будто про себя и в сторону, говорю либо три первые, либо три последние цифры вашего числа, смотря по тому, которые из них будут сообщены мне через моего непосредственного старшего. Этот условный знак покажет вам, что я заслуживаю в известной мере доверие. Если же я произнесу полное ваше число, то это значит, что я заслуживаю полного доверия. Тогда вы можете, по всем известным вам делам, говорить со мной совсем откровенно. Затем вот что: все дела ведите более на словах, а не на бумаге, чтобы никаких улик не оставалось, а если иногда необходимость и заставит писать, то старайтесь выражаться как-нибудь иносказательно или намеками, но никогда не высказывайтесь открыто и прямо. Можете с осторожностью вербовать себе новых

адептов. Обыкновенно вербуйте двух, с которыми вы сами составите тройку. Тройка принята в основание здешней организации. Три двойки, одна тройка и единица составят десяток. Когда ваша двойка навербует в свой черед адептов, вы будете старшим десятником, потом сотником, и так далее. Вот и все, что вам надо пока принять к сведению, но это только пока, на первое время. Итак руку, добрый товарищ!

Хвалынцев с удовольствием подал ему руку, и они снова расцеловались. В душе его в эту минуту заговорило чувство гордого довольства собой, что вот уже сделан первый шаг на том пути, идти по которому он вчера дал такое торжественное обещание графине Цезарине.

— Ах, да! Еще одно! — спохватился Свитка. — У нас принято в сношениях с членами, и особенно в письменных сношениях, избегать собственных имен и настоящих фамилий. Это тоже в видах общей безопасности. Поэтому изберите для себя какой-нибудь псевдоним; только псевдонимом лучше взять название какой-нибудь вещи или отвлеченного предмета, чем фамилию, а то, пожалуй, еще quo pro quo какое-нибудь выйдет. Что вы хотите выбрать?

Хвалынцев подумал, — и мысль его невольно вилась около Цезарины, царившей теперь и над его чувством и над всеми помыслами.

— Вы мне советовали вчера решиться на Caesar, aut nihil, сказал он, — я так и решился. Пускай же, если нужно, и псевдоним мой будет Caesar!

— Браво! — захлопал в ладоши Свитка, улыбнувшись про себя такому мальчишеству. — Браво! Славный и многознаменательный псевдоним! Отлично! Бесподобно!

"Имя ее, имя Цезарины напоминает", подумал про себя Хвалынцев, только ради этого напоминания и избравший себе такой псевдоним. В этом было немножко и мальчишества, немножко и рыцарственного донкихотства, и много юношеской влюбленности.

XIX. Нежданный гость на новую дорогу

Свитка отсоветовал Хвалынцеву тотчас же перебираться на старую квартиру. Он ему прямо, "как старший", указывал оставаться у графини Маржецкой до того времени, пока не будет приискан надежный поручитель, так как, в противном случае, полиция могла бы придраться к экс-студенту и выслать его на родину в течение двух суток. В сущности же, Свитка делал это для того, чтобы вновь завербованный адепт еще более укрепился в своем решении, а кто же лучше графини мог поспособствовать этому?

На другой день утром он опять заехал к Константину и, сообщив адрес конноартиллериста Бейгуша, сказал, что Бейгуш будет ждать его нынче в начале восьмого часа и что Хвалынцев непременно должен явиться к нему в назначенное время.

Хвалынцев явился со всею аккуратностью новичка, усердно стремящегося к исполнению своего долга, что для самолюбия всевозможных доброхотных новичков вообще бывает лестно и утешительно: это обыкновенно тешит их на первое время.

Бейгуш, вопреки ожиданиям Хвалынцева, ни полуслова не обронил ему насчет вступления его в тайное общество: он не высказал, по этому поводу ни одобрения ни признательности, ни даже какого бы то ни было мнения, а прямо, без дальних околичностей, спросил его:

— Вы не взяли себе матрикулы?

— Не взял.

— Стало быть, вы покончили с университетом?

— Поневоле покончил.

— В университете вы посвящали себя какой-либо исключительной специальности?

— Никакой. Я искал только университетского образования.

— Для гражданской службы?

— Для чего бы то ни было.

— Но вы думали служить?

— Может быть. Впрочем, окончательно я не решил еще себе этот вопрос.

— Так. Но теперь, в настоящее время, не думаете ли вы посвятить себя какой-либо специальной деятельности?

— То есть, в каком это смысле?

— В смысле, например, педагога, инженера, агронома, чиновника, врача, технолога, адвоката-юриста, и тому подобное.

— Нет, не думаю. Вообще, говорю, я не избрал еще себе никакой исключительной деятельности.

— Но к чему более чувствуете себя склонным?

Хвалынцев пожал плечами.

— У вас есть какая-нибудь собственность?

— Есть часть имения после дяди и свое кой-какое.

— Может быть, вы хотели бы служить по крестьянским учреждениям?

— Да; такая служба, мне кажется, согласовалась бы с моими способностями и симпатиями; но я пока еще не считаю себя достаточно подготовленным для такой деятельности: у меня нет практического знакомства с делом, с бытом крестьян. Сначала, полагаю, надо эту сторону дела узнать покороче.

— Конечно; это без всякого сомнения. Итак, вы пока еще не определили своего дальнейшего пути?

— Как видите.

— Стало быть, для вас, в сущности, совершенно все равно, избрать тот или другой род деятельности?

— Пожалуй, кроме шпионского, — шутливо улыбнулся Хвалынцев.

Бейгуш посмотрел на него вопросительно и серьезно.

— Отчего же так? — спросил он. — Вы смотрите на это с очень узкой и притом ошибочной

точки зрения.

Хвалынцев в свою очередь поглядел вопросительно и недоумело.

— Да; это так! — продолжал Бейгуш. — Должностей бесчестных нет. Есть только бесчестные люди. Вспомните, что не место красит человека, а человек — место.

— Но какими же судьбами человек может украшать собою место шпиона? — смеясь спросил Хвалынцев. Он был убежден, что Бейгуш либо шутит не совсем-то кстати, либо с разных сторон выпытывает его.

— Какими судьбами? — переспросил поручик;- а очень просто. Представьте себе, что тайная полиция Луи Наполеона вся наполнена людьми, и душою и телом преданными революции; представьте себе, что наш корпус жандармов, наши секретные канцелярии переполнены прочными людьми нашего направления: были ли бы возможны аресты, ссылки, неудачные движения и взрывы? Положительно нет! И если в этих учреждениях есть уже *наши,* то не должны ли мы благодарить их, преклоняться, благословлять, даже благоговеть пред великим гражданским подвигом этих самоотверженных людей, которые, ради пользы великого дела, не задумались навлечь на себя общественное нерасположение, недоверие, презрение, одним словом, решились покрыть себя позором имени шпиона. Это высший героизм! Это более, чем на баррикадах подставить грудь свою под пули. На баррикадах вы жертвуете только собою и получаете в награду красивое имя отважного героя; здесь же вы точно так же жертвуете собою, даже лучшею частью своего нравственного я, своим именем, своей честью, и охраняете сотни, тысячи людей, спасаете от погибели, может быть, самое *дело* и в награду за все несете общественное презрение слепых глупцов и непосвященных, пользуетесь именем подлеца и шпиона: в чем же более жертвы? Что по-вашему самоотверженнее и что более достойно чести и удивления?

— Согласен; но это уже цель оправдывающая средства, — заметил Хвалынцев.

— Да; цель оправдывающая средства! — с спокойным и твердым убеждением подтвердил Бейгуш. — Вас, кажется, пугает то, что это правило иезуитов? Не так ли?

— Признаюсь, я не сочувствую иезуитским правилам.

Бейгуш тихо засмеялся.

— Не сочувствуете, потому что не знаете их. Это несочувствие с чужого голоса. Иезуиты, поверьте мне, в принципе стремятся к высшему благу, к торжеству высшей свободы всего человечества.

На этих словах поручик остановился, заметив, что Хвалынцев начинает морщиться.

— Но оставим иезуитов: они сами по себе, а мы сами по себе. Я сказал это так только, к слову, — поспешил он оправдаться. — Дело не в иезуитах, а в известном принципе. Но ведь и иезуиты не все же вырабатывали одну только скверность, выработали же и они что-нибудь хорошее, пригодное и для неиезуитов. Отчего же бы нам не позаимствоваться и у них этим хорошим? Ведь это ребячество — думать иначе! Если вы хотите парализовать силы своего врага, боритесь с ним оружием, если не превосходнейшим, то хотя равным, боритесь его же оружием. Все почти революции шли этим путем; а иначе и заговор невозможен, и невозможен уже потому, что он, по самой сущности своей, обречен на тьму и тайну, пока не настанет час выказать его со всей прямотой, гордо и блистательно. Что делать — такова сущность вещей!

Хвалынцев не возразил ни слова.

— Но мы уклонились в сторону, — продолжал поручик. — Я вам хотел сообщить только мой личный взгляд, который, впрочем разделяется очень и очень многими, на то, что называется шпионством. Я хотел только сказать, что если оно полезно для дела, то не следует им пренебрегать и гнушаться. Собственно, главнее-то всего, я хотел спросить вас, совершенно ли вы равнодушны к выбору той, или другой деятельности?

— По крайней мере, специальности у меня нет еще никакой, — ответил Хвалынцев.

— Ну, а что вы думаете о военной службе?

— Хм… ухмыльнулся студент; — я ее не совсем-то уважаю.

— Отчего так?

— Оттого что, по-моему, самая война есть величайшее зло и безобразие в человечестве, — стало быть, как же после этого уважать ремесло и орудие этого безобразия!

— Да; но это безобразие пока неизбежно, и потому не лучше ли подумать о том, чтобы сделать зло менее вредным для хорошего дела?

— Да что вы с ним поделаете?

— Как что! Помилуйте! Внесите в войско свою пропаганду, привейте к солдатам, подействуйте на их убеждения, на их чувства, на совесть, и вот зло уже наполовину парализовано! Коли солдат не станет стрелять в поляка, так вы уже достигли своей цели, а когда он вообще не захочет стрелять в человека, в ближнего, кто бы тот ни был — вы уже на верху торжества своей идеи.

— А если ближний, вроде турка или француза, в меня или в русского солдата вдруг стрелять пожелает? — шутя возразил Хвалынцев.

— Не пожелает. Никто не пожелает, если идеи блага проникнут в общенародное сознание! — с жаром отвечал Бейгуш. — Но для того-то вот людям нашего закала, наших убеждений и нужно, прежде всего, вносить пропаганду в войско. Если у вас нет в жизни особой специальности, вступайте в военную службу, сближайтесь с солдатом, влияйте на него, старайтесь в полках заводить кружки, тайные общества, а главное — имейте в виду солдата. Вы поступите юнкером, — стало быть, вы будете гораздо ближе к солдату чем офицер, ваши отношения будут проще, короче офицерских; вот и постарайтесь этим воспользоваться для дела.

Хвалынцев слушал молча. В душе он уже во многом соглашался с Бейгушем.

— Нам нужны в войске хорошие, прочные деятели не из корпусов, но вот именно люди вашего, например, развития, — продолжал Бейгуш. — В войске вы сделаете пользы для дела неизмеримо более, чем на всяком другом месте. И как погляжу я на вас, отчего бы вам и в самом деле не идти? — пожав плечами, остановился поручик перед студентом; — молодость и сила у вас есть, здоровье, даже красота, все это на вашей стороне. И вдобавок, есть кой-какое состояньице: значит, жить совсем можно. Ступайте-ка, право господин Хвалынцев! Я указываю вам чудную дорогу.

— Но ведь тут, кажется, есть множество формальностей для начала, при самом вступлении, — усомнился Константин.

— Никаких! — с живостью предупредил Бейгуш, — то есть, ровнехонько никаких! Уж мы вам все это дело обделаем и справим, и все хлопоты устраним, все пойдет как по маслу, а вы только поступайте.

— Хорошо я подумаю, — согласился Хвалынцев.

Прежде чем окончательно решиться, он хотел еще переговорить с Цезариной. Идея о военной службе захватила его внезапно, врасплох. До нынешнего дня он никогда ни разу и не помышлял даже о возможности для себя военной карьеры. Люди тех кружков, в которых по преимуществу он вращался, смотрели на этот род службы скорее даже неблагосклонными и неуважительными, чем равнодушными глазами, и потому теперь, когда для дальнейшей жизни его предстали вдруг новые задачи и цели, — ему показалось как-то странно и дико видеть и сознавать себя вдруг военным человеком, хотя поразобрав себя, он вовсе не нашел в душе своей особенной антипатии к этому делу. Он хотел знать теперь, как взглянет на эту идею та женщина, для которой он чувствовал в себе решимость почти на все, чего бы она ни пожелала.

В тот же вечер он сообщил Цезарине о предложении Бейгуша, и ждал, что она встретит его слова такой улыбкой, какой обыкновенно встречаются всякие несерьезные, пустые идеи. Но Цезарина, сверх ожидания, отнеслась к этой новости очень серьезно.

— В словах этого офицера много дельного, — сказала она. — Да, он прав, потому что действительно теперь настало такое время, что необходимо как можно скорее подготовить войско, и если вы точно не избрали еще никакой специальности — ступайте! Я вас благословляю.

— Но я никогда не думал… как это, я… и вдруг военный…

Он пожал плечами и сомнительно улыбнулся.

— А кто вызывался поднять и нести мое знамя? — насмешливо прищурилась на него Цезарина? — или, быть может, вы — трус, господин Хвалынцев?

Эта шутка заставила его вспыхнуть ярким румянцем. Она уязвила его самолюбие. Он почувствовал в этой фразе оскорбление, но тут же в душе сознался, что оно вызвано его же собственною нерешительностью и сомнениями.

— Трус ли я — не знаю, — ответил он сдержанно, — может и да, а может и нет. Это покажет дело. Но, решаясь на такой шаг, я хотел только знать ваше мнение.

— Мнение женщины о намерениях мужчины распорядиться своей жизнью! — иронически заметила графиня. — В этих случаях у человека должно быть свое собственное мнение.

Хвалынцев вновь почувствовал себя уязвленным. Ему стало даже мальчишески досадно и на себя, и на Цезарину, и потому именно досадно, что показалось, будто она смотрит на него в эту минуту как на мальчика.

— Стоять против штыков и пуль вовсе не так страшно, как кажется, — добавила она после короткого молчания; — вот все, что могу сказать я вам, и говорю по собственному опыту.

Это был новый чувствительный удар его самолюбию.

Хвалынцев начинал уже кусать себе губы от смущенья и досады. "Но что же это! Или она в самом деле считает меня за, мальчишку и малодушного труса?" — думалось ему. Графиня

замолчала и равнодушно занялась просматриванием какой-то брошюры. Константин же положительно не чувствовал в себе решимости снова заговорить на эту тему. Молчание начинало уже казаться ему тягостным, и с каждой новой минутой этого неловкого молчанья внутренняя, сдержанная досада на самого; себя закипала в нем все больше и сильнее. Наконец, он как-то порывисто сорвался с места и молча протянул ей руку.

— Куда же вы? — равнодушно подняла она на него глаза из-за книги.

— Хочу написать этому офицеру, что я решился, — сухим, но не совсем-то естественным и внутренне раздраженным тоном сказал Хвалынцев.

— К чему же такая эстренность? — заметила Цезарина. — Это вы успеете сделать и завтра, и притом на словах гораздо лучше, чем на бумаге.

— Если я, графиня, и колебался минуту, — смущенно и тихо заговорил он, — то верьте, это оттого, что мне… Ну, да! мне больно, мне тяжело расстаться с вами!..

Последние слова он даже почти выкрикнул голосом, в котором сказывались и напряжение досады, и сдержанные слезы.

— Зачем же расстаться? — с легким недоумением подняла она брови.

— Да ведь вы же уедете отсюда!.. Будь я свободен, — это другое дело! я повсюду пошел бы за вами, я делал бы все, чего бы вы ни потребовали!.. Но приковать себя к службе, к полку…

— Вы должны делать не для меня, а для дела, которому служите, — строго заметила она; — но, впрочем, что же вас тут особенно беспокоит? Мой отъезд в Варшаву? Ну, поезжайте и вы туда! Определяйтесь в какой-нибудь полк из тех, что стоят в самой Варшаве; вот вам и разрешение вашей трудной проблемы!

И вместе с этими словами, она кинула на него ясный, мягко улыбающийся взгляд, в котором он почувствовал примиренье и забвение, и светлый и радостный, с облегченной душой, с бесповоротной решимостью на новое дело, Хвалынцев подошел к своему идолу.

— Так, значит, вы благословляете?

— Благословляю, разрешаю и отпускаю!

И она, подняв руку как бы для благословения, шутя и кокетливо дотронулась до его лба кончиками своих пальцев.

XX. Поручитель

Через день, рано утром, к Хвалынцеву опять-таки приехал Свитка.

— Ну, пане Хвалынцев, вставайте и как можно скорей одевайтесь!

— Это еще ради чего так?!.

— Поручитель вам найден. Да ведь какой поручитель-то! Особа! Превосходительная особа — поймите вы это! Ведь с таким поручителем вы как у Христа за пазухой!

— Да к чему сейчас одеваться-то?

— Э, батюшка: время! Он принимает только до одиннадцати часов, а в одиннадцать к нему являются с докладами, а в двенадцать уже уезжает на службу, — то есть преаккуратный старик, я вам скажу! Вы теперь поезжайте к Колтышке: он вас будет ждать.

— А к Колтышке зачем еще?!

— Ха-ха!.. Зачем!.. Да ведь мы-то и все дело через Колтышку обделали! Самым наиполитичным образом! Колтышко, спасибо, добрый человек, не отказался помочь, а то вам плохо было бы!.. Ну, так живей, живей одевайтесь, батюшка! Нечего мешкать!

В полчаса Хвалынцев был уже совершенно готов предстать пред очи особы и поехал к Иосифу Игнатьевичу. Тот уже действительно дожидался его, и они отправились.

Особа эта состояла на российской государственной службе, в ранге тайного советника, занимала очень видное и даже влиятельное место, пользовалась с разных сторон большим решпектом, была украшена различными регалиями и звездами, имела какую-то пожизненную казенную аренду, благоприобретенный капитал в банке, подругу в Средней Подьяческой, кресло в опере и балете, авторитетный голос в обществе и репутацию в высшей степени благонамеренного человека в высоких сферах. Именовалась эта веская особа Марианом Адалбертовичем Почебут-Коржимским.

В передней особы, форменный курьер или вестовой снял с обоих посетителей верхнюю одежду и пошел докладывать.

— Их превосходительство изволят просить вас пожаловать в кабинет, — отнесся он по выходе от особы исключительно к Иосифу Игнатьевичу.

— Вы подождите пока в приемной- шепнул Колтышко Хвалынцеву.

Кабинет его превосходительства обрисовывал в нем и любителя просвещения, и любителя государственной службы, и любителя прекрасного пола, и любителя благонамеренности. Об изяществе и комфорте нечего и говорить. Три письменных стола с деловыми бумагами, "Сенатскими Ведомостями" и Сводом Законов красноречиво указывали на разнообразные государственно-служебные занятия Мариана Адалбертовича; тысячи полторы томов в изящных дубовых шкафах, с бюстами Сократа, Платона, Демосфена, Коперника и Мицкевича громко говорили о его любви к просвещению. Копии с Нефовской Наяды и с двух его же нимф, мясистая вакханка под тенью винограда, французские гравюры, изображающие Фанни Эльслер, двух наездниц и еще что-то в этом же роде; наконец, две или три большие фотографии балетных танцовщиц с задранными ножками показывали, что сей почтенный старец ценит искусство, пластику и может претендовать на репутацию ценителя женской красоты, а целый ряд портретов Императорского Дома, начиная с Петра Первого, убеждал всех и каждого в его благонамеренности и добрых верноподданнических чувствах.

Несмотря на ранний час утра, особа была уже гладко выбрита, в напомаженном и подвитом парике, в форменном вицмундире со звездами. Его превосходительство казался глубокомысленно погруженным в подписывание чего-то, когда в кабинет почтительно вошел Иосиф Игнатьевич.

— Вы, вероятно, с этим студентом? — снисходительно и мягко улыбнулась особа, делая Колтышке округло-мягкий жест в виде ручки.

— Ваше превосходительство угадали.

— Так он в самом деле стоит, чтобы ручаться?

— Это общее мнение людей, успевших коротко узнать его за последнее время.

— Хм… Не доверяю я этой русской молодежи!.. Нет в них, знаете, этой стойкости, упора… выдержки настоящей нет.

— Этот человек, по отзывам, обещает быть очень полезным. Он с тактом и достоинством держал себя, например, во всей этой студентской истории.

— Глупая история! — брюзгливо и пренебрежительно двинул нижней губой его превосходительство.

— Совершенно согласен, но она была необходима, — возразил Колтышко.

— Несвоевременно, — пробрюзжал Почебут-Коржимский. — И что за плоды! Усиление полицейского надзора, всеобщая репрессия… По-моему, она только повредила ходу дела.

— То есть, чем же? — скромно возразил Колтышко.

— Как чем?! Заставила оглянуться, насторожить уши… И все, что было уже сделано к должной подготовке молодежи — все это назад теперь!

— Н-нет… Я позволяю себе думать, что опасения вашего превосходительства несколько напрасны, — осторожно заметил Колтышко. — Мы ведь ничего серьезного и не ждали от всей этой истории, и не глядели на нее как на серьезное дело. Она была не больше как пробный шар — узнать направление и силу ветра; не более-с! Польская фракция не выдвинула себя напоказ ни единым вожаком; стало быть никто не смеет упрекнуть отдельно одних поляков: действовал весь университет, вожаки были русские.

— Да это я все очень хорошо и сам знаю! — пожала плечами веская особа.

— История если и была вызвана, с помощью благоприятных обстоятельств, — скромно продолжал Колтышко, то единственно затем, чтобы определить почву под ногами, и не столько для настоящего, сколько для будущего. Надо было узнать на опыте, насколько подготовлено общество, масса, общественное мнение и, пожалуй, даже войско. Это одно, а потом необходимо было знать, насколько слабо или сильно правительство. К счастью, оно оказалось непоследовательнее и слабее даже, чем мы думали.

— Да в этом-то отношении я и прежде понимал все дело точно также, — согласился Почебут-Коржимский, — вы мне нового ничего этим не говорите. Действительно, дело не более как пробный шар, как барометр общественного настроения, — это так; но зло истории, по-моему, в том, что теперь огромная масса молодежи лишена своего естественного и легально-гарантированного центра, каким был университет. Теперь же эти силы разбросались, они раздроблены, разъединены. А влиять на людей в однородной массе, так сказать в куче, в стаде, или влиять на каждого порознь и в одиночку — это две совсем разные задачи, и вторая несравненно, неизмеримо труднее! Вот в чем нанесли вы удар самим себе! И я говорил вам это и прежде!

— В этом ваше превосходительство правы, — почтительно согласился Иосиф Игнатьевич, — но дело далеко не непоправимое.

— А чем вы его поправлять будете? На поправку нужно время, нужно хотя бы наружное, но

полное успокоение.

— Время своим чередом, а успокоения, пожалуй, что и не нужно теперь, — возразил Колтышко. — Будут составляться кружки, тайные братства, потайная пресса будет давать направление — и для того, и для другого есть уже достаточно подготовленных деятелей, — стало быть пропаганда пойдет своей дорогой, если еще даже не сильнее. А дело это, кроме пробного шара, неожиданно дало теперь еще и положительные, хорошие результаты: оно озлобило молодежь, во-первых, во-вторых, — общественное мнение…

— Что до результатов, то я вижу только один хороший, перебила особа, — и это именно то, что правительство распорядилось экстренной высылкой на родину большей части нематрикулистов.

— Это-то вот я и хотел сказать вашему превосходительству, — с видимым удовольствием подхватил Колтышко. — Мера необыкновенно удобная, необыкновенно кстати! Благодаря ей, сколько энергичных агентов и пропагандистов рассеялось теперь по Литве, по Польше! Каждый сделает свое дело, и дело немалое!

Его превосходительство, в знак полного согласия, улыбнулся мягкою и многодовольною улыбкою.

— Так как же, ваше превосходительство насчет молодого козла? — шутливо обратился к нему Колтышко.

— Да что ж, я готов, пожалуй… Вы что с ним намереваетесь сделать?

— Его убедили идти на военную службу.

— Гм… Это хорошо. Где же он определяется? Здесь, в Петербурге?

— То есть, снарядим-то мы его здесь, но не в гвардию, а пошлем в какой-нибудь из варшавских полков. Там он будет теперь полезнее. А Чарыковский все это обделает в Главном Штабе и быстро и хорошо!

— Хм… Прекрасно! — задумчиво одобрила особа. — Так что ж, пожалуй, кликните сюда этого юношу.

Колтышко ввел в кабинет Хвалынцева.

— Иосиф Игнатьевич просил меня поручиться за вас перед начальством, — стереотипно официальным тоном обратился Мариан Адалбертович к Константину, не протягивая ему руки и не сажая, для чего между прочим и сам поднялся с места. — Вы, молодой человек, надеюсь, очень хорошо понимаете значение всякого поручительства, и потому, конечно, постараетесь поведением своим оправдать то участие, какое берет в вас, вот, почтеннейший Иосиф Игнатьевич. Я тем охотнее готов сделать для него это маленькое одолжение, что и сам был когда-то молод, и сам тоже увлекался, и до сих пор даже сохранил любовь к науке и молодости… Я не враг молодого поколения; напротив, я люблю молодое поколение и жду от него многого… м-м… много хорошего. Поэтому делаю для вас тем охотнее…

Хвалынцев слегка поклонился.

— Вы, я слышал, желаете избрать себе военную карьеру?

— Да, я поступаю в военную службу.

— Хотя я и гражданский человек, но... одобряю! — заметил, с благосклонным жестом, его превосходительство. — Военная служба для молодого человека не мешает... это формирует, регулирует... Это хорошо, одним словом!.. Постарайтесь и на новом своем поприще стойко исполнять то, к чему взывают долг и честь, и ваша совесть. Я надеюсь, что вы вполне оправдаете ту лестную рекомендацию, которую сделал мне о вас многоуважаемый Иосиф Игнатьевич.

Хвалынцев еще раз отдал легкий поклон.

— Я напишу сейчас же маленькую записочку к светлейшему, а вы отправьтесь с нею к нему в канцелярию, дождитесь его выхода к просителям и тогда вручите ему лично. Я напишу, что прошу освободить вас от полицейского надзора на мои поруки и даже прибавлю, что вы поступаете в военную службу. Это ему будет приятно, — с улыбкой заметил, в скобках, Почебут-Коржимский. — Вы передайте его светлости от меня, что я сам заеду к нему сегодня, если позволят дела службы. Прошу садиться.

И указав Хвалынцеву на стул, его превосходительство присел к столу и в очень почтительных выражениях, не в форме "маленькой записочки", но в форме письма, написал к светлейшему, что он покорнейше просит его за студента Хвалынцева и прочее, что требовалось в данном случае. В этом же письме было и извинение, что многообильные и важные дела службы лишают его удовольствия выразить лично эту просьбу пред его светлостью.

Мариан Адалбертович запечатал конверт собственным перстнем и с мягкою любезностью вручил свое послание Константину.

— Итак, молодой человек, желаю вам успеха на вашем поприще. Прощайте!

И Хвалынцев тотчас же откланялся.

XXI. Что немножко беспокоило Хвалынцева

В этот же самый день Константин мог считать себя совсем уже свободным человеком. Поручительство веской особы, принятое вполне благосклонно в канцелярии его светлости, становилось ему теперь более чем достаточной гарантией личной безопасности и спокойствия. Оно могло служить как бы патентом на благонамеренность молодого человека в глазах властей предержащих. Веселый и как нельзя более довольный собою, полетел Хвалынцев на извозчике к Иосифу Игнатьевичу горячо поблагодарить его за такое существенное участие к его особе. В типографской конторе он застал и Лесницкого, и Свитку и даже самого Колтышку. Все они поздравляли его с счастливым исходом, а Василий Свитка выказал даже радость и, по-видимому, непритворного свойства. До прибытия Хвалынцева, в этой самой конторе, между этими тремя лицами происходили некоторые совещания, предметом которых между прочим был и "новый козел", как специально прозвали они Константина, в качестве единого от членов многочисленного "Панургова стада". Свитка доказывал, что хотя Хвалынцев и «уловлен», тем не менее его пока еще невозможно выпустить на полную свободу: "нянька все еще нужна покуда", говорил он; "спусти его с привязи, пожалуй, забрыкаетея". Возможность этого брыканья Свитка предусматривал в неизбежной встрече Хвалынцева со Стрешневой. Надо было не допустить этой встречи по крайней мере хоть до тех пор, когда все уже будет кончено, когда рекомендательное письмо от очень значительного лица из Главного Штаба к полковому командиру и начальнику дивизии будет добыто чрез Чарыковского, когда деньги и подорожная будут лежать в кармане, так что только бы завтра сесть и ехать, тогда пусть себе на прощанье

повидается. Все это могло быть сделано менее чем в неделю времени, и на эти-то дни Свитка думал перетащить Хвалынцева к себе на квартиру, под свой ближний контроль. Петербургский центр имел в виду для Константина довольно значительное, по его соображениям, назначение в Варшаве, в сфере тайной революционной деятельности, и назначение именно такое, на котором *должен* быть отнюдь не поляк, но непременно русский.

После некоторых колебаний, Свитке удалось наконец получить согласие Константина на переезд в его квартиру. Они немедленно же отправились к старой хозяйке Хвалынцева, у которой он нанимал себе комнату, для того чтобы, не теряя лишнего времени, сейчас же рассчитаться с ней и заняться переездом на новое помещение.

Хозяйка очень обрадовалась внезапному появлению старого и всегда очень исправного в расчетах жильца, и с первых же почти слов объявила, что в его отсутствие как-то приезжала сюда какая-то молоденькая барышня и очень беспокоилась и расспрашивала, не известно ли как и куда, и когда он уехал, и когда будет назад, но ни на один из этих вопросов хозяйка не могла дать ей никакого ответа.

— Она оставила записку вам, вот здесь, на письменном столе, — пояснила она в заключение.

"Эге, так барышня даже и на квартиру прискакала... Это неудобно!" подумал себе Свитка, выслушав все эти новости, после чего еще более сознал необходимость поскорее удалить Константина от возможности преждевременной встречи.

Хвалынцев торопливо кинулся к письменному столу, где на виду лежал оторванный полулист бумаги, в нескольких строках исписанный карандашом быстрым и тревожным женским почерком.

Свитка внимательно следил за выражением его лица и видел, как тревожно забегали его глаза по этим косым строчкам.

"Бога ради, где вы и что с вами?" стояло в этой записке. "Эта ужасная неизвестность вконец измучила меня. Я просто голову теряю. Если вы вернетесь в эту квартиру живы и здоровы, то Бога ради, не медля ни одной минуты, сейчас же приезжайте к нам. Все равно в какое время, только приезжайте. Если же нельзя, то хоть уведомьте. Я жду. Ваша Т."

"Мы переменили квартиру. Адрес: Литейная улица, дом № 00".

Свитка подметил, как какое-то сильное движение внутреннего недовольства нервически передернуло лицевые мускулы Хвалынцева.

Он еще раз перечитал записку и молча опустился в кресло, полузакрыв глаза рукою.

Странное дело! В последние дни он даже как-то совсем забыл про Стрешневу. В голове его ни разу не мелькнул вопрос: "Что с ней? Что она думает об его странном отсутствии? Как на нее должна действовать эта томительная неизвестность?" Пред его мыслями, пред его душой и сердцем, в его воображении, в его воле и желании стояла одна только Цезарина и Цезарина, везде и во всем лишь она одна всецело и нераздельно. Все те дни он жил какою-то усиленною напряженною и одурманенною жизнью, среди какого-то фантастического мира затаенно страстных внутренних ощущений, под царящим обаянием необыкновенной и могучей, как казалось ему женщины. А теперь этот болтливый рассказ квартирной хозяйки и эти несколько строк, написанные тревожной рукой и дышащие таким взволнованным чувством тоски и любовью, разом спустили его из мира восторженных грез в действительность настоящей жизни.

Он почувствовал острый укол укоризны, который нанесло ему его собственное сознание, его собственная совесть. Он ясно сознавал всю глубокую неправду свою пред этой любящею девушкою и в том, что его одолело новое чувство к другой женщине, и в том, что после этой записки следовало бы сейчас же бросив все, лететь к ней, а между тем на такой подвиг он решительно не чувствовал в себе силы. Поехать к ней, успокоить, обрадовать ее, быть таким с нею как прежде, а возможно ли это теперь быть таким как прежде? Притворяться, играть комедию? Но это нечестно, да и к чему ж оно поведет в конце концов-то? Осудить себя за чувство к Цезарине, задушить его, выгнать его вон из сердца, — но опять-таки возможно ли это, когда это чувство, Бог весть как и когда, незаметно и невольно, но так могуче овладело им, когда из-за него он всю будущность, всю жизнь свою поставил уже на карту, когда бесповоротно сказано себе: "aut Ceasar, aut nihil", когда наконец и теперь, после этой записки, после всех колючих укоров совести, после сознания своей неправоты, это проклятое чувство наперекор всему — и рассудку, и долгу, и совести, — вот так и взмывает его душу, как птицу в ясную высь, в неизвестную даль и все заглушает, все уничтожает собою. И посреди этого внутреннего хаоса, в его душе ясно стоит один только яркий и чудный образ Цезарины, с ее знаменем в руках, с ее героическим призванием, с ее обетом полной и беззаветной любви, и вот так и манит, так и влечет к себе словно какой-то сверхъестественной, чарующей силой и симпатией.

— Ну, батюшка, некогда мечтами заниматься! Время и за дело! Давайте-ка сбираться поскорее да рассчитывайтесь с хозяйкой! — настойчиво заторопил его Свитка, и юноша по первому его слову озабоченно захлопотал со своими сборами. Он обрадовался первой возможности ухватиться за какое-нибудь дело, а тем более за дело, не терпящее отлагательства, для того, чтобы этим делом, хотя бы механически, перебить наплыв своих тяжелых мыслей и ощущений, и для того, наконец, чтобы в нем найти баюкающий предлог и оправдание самому себе в том, что не летит тотчас же к Стрешневой по ее призыву. Этими сборами, этим нетерпящим *делом* он просто вильнул перед собственной совестью, просто думал обмануть себя, стакнуться с самим собою, и все это оттого, что в данную минуту решительно не чувствовал в себе сил исполнить молящую просьбу девушки и сам с собой не решил еще, как быть и что делать относительно ее дальше.

Сборы были не долгие, и часа через полтора Хвалынцев уже переехал на квартиру Свитки. Он решил себе, что во всяком случае надо поехать к Стрешневым. Пришла было ему мысль заменить собственное посещение письмом, и он даже сел к столу и принялся за писание, но дело как-то не клеилось.

"Нет, прямо на словах лучше!" порешил он наконец, бросая перо. "Слова нет, оно тяжело, очень тяжело и ей, и мне будет это объяснение, но все же лучше прямо!.. Надо поехать самому"...

Но решив, что надо ехать, Хвалынцев все-таки не ехал. Все что-нибудь да останавливало, задерживало, мешало ему исполнить это намерение. В сущности же ничто не мешало и ничто, при твердой воле, не могло бы остановить, если бы сам Хвалынцев не рад был придраться к малейшему предлогу, чтобы отсрочить час своего посещения. Все ему было некогда. Утром он говорил себе, что поедет после обеда или вечером. Но тут подвертывался Свитка с каким-нибудь делом, с какими-нибудь наставлениями и инструкциями касательно будущих действий в Варшаве, то надо было брать из университета бумаги, писать прошение об определении в военную службу и отвозить все это к Бейгушу, то вдруг Свитка тащил его за чем-нибудь к Лесницкому или на "литературный вечер", в «кружок» Офицерской улицы, то вдруг графиня Цезарина присылала сказать, что нынче она ждет к себе Хвалынцева обедать, и вот таким образом, глядишь, день и промелькнул, а к Стрешневым все-таки не съезжено.

— Ах, Боже мой, опять!.. Да когда же я, наконец, поеду!.. Ведь нужно, ведь это необходимо! Ведь это подло же, наконец, не ехать! — горько и мучительно посылал себе Константин Семенович укоры, ложась в постель, и вслед за тем баюкал себя твердым решением: "Ну, уж завтра баста! Завтра утром непременно поеду!"

Но наступало завтра, и решение из столь твердого «непременно» переходило в шаткое: "надо съездить"; а тут опять подвертывается препятствующий случай, и "надо съездить" отлагалось до вечера. И так шел день за день. Хвалынцев чувствовал, что относительно Татьяны у него не чиста совесть, а чем дольше тянутся эти проволочки, тем не чище и тяжелее становится на совести, но признаться в этом самому себе, беспощадно обнажить перед собою это нехорошее чувство, назвать его настоящим именем у него духу не хватало. Он как бы старался закрыть себе глаза, забыться, закружиться в каком-нибудь вихре, и не мог: укоряющее чувство, нет-нет, да все-таки колюче больно, до стыдливой краски в лице, вставало перед ним во многие минуты этих дней. Так часто бывает с людьми, которые знают, что им нужно, например, съездить туда-то и сделать то-то, но которым исполнить это почему-либо неприятно или неловко, совестно, тяжело, и они день за день откладывают свое решение, и с каждым днем выполнение данного решения становится для них все труднее, все неловче и тяжелее, тогда как сразу, по первому порыву, оно было бы неизмеримо и легче, и проще, и короче. Так точно было и с Хвалынцевым, и он хорошо чувствовал все это, но... все-таки баюкал и обманывал себя разными оправдательными предлогами, не смея или боясь сознать в себе малодушную нерешительность. Человек всегда склонен думать о себе лучше, чем он есть на самом деле, внутри своей сокровенной сущности.

XXII. Последние инструкции

Однажды утром к двум новым сожителям приехал Бейгуш.

— Ну, поздравляю вас! — с торжествующим видом обратился он к Хвалынцеву. — Письмо уже послано в дивизию вместе с бумагами. Да ведь какое письмо-то, батюшка! Какая рекомендация! Да после этого, знаете ли вы, полковой-то командир пред вами просто на задних лапках станет ходить! Ха-ха!.. Теперь вы, можно сказать, почти уж и определены. Стоять будете в самой Варшаве, при полковом штабе. Ну-с, нижний чин! Что же вы? Извольте встать и вытянуться перед офицером! Руки по швам! — весело шутил он. — Ведь я теперь в некотором роде начальство над вами. А и лихой же солдат будет! Ей-Богу лихой!.. Ха-ха-ха!.. Вот как мы скоро вас обделали! Раз, два и готово!

— Действительно скоро! — удивился Хвалынцев, никак не ожидавший такой быстроты.

— Потому что, батюшка, все это в наших руках, всем мы этим орудуем! — самодовольно похвалился Бейгуш; — а вот вам кстати уж и подорожная готова. Озаботился, батюшка, сам взял, чтобы вас от лишних хлопот избавить! — объявил он, подавая Хвалынцеву бумагу, — а остальные документы все уже посланы с письмом же. Ну-с, довольны вы такой, поистине, воинскою быстротою?

— Я даже и опомниться не успел, — улыбнулся Хвалынцев.

— То-то же вот и есть! А вы только служите своему делу как следует, понимаете-с? — как следует: умно, ловко, деятельно, так только ротик разинете, как увидите с какой быстротой пойдет служебная карьера-с!.. Ха-ха-ха!.. И повышения, и отличия, и все это будет!

— Да я к этому равнодушен, — махнул рукою Константин Семенович.

— Вы равнодушны, да мы-то не равнодушны! — возразил Бейгуш. — Для нас необыкновенно важно, чтобы в ту минуту, когда наступит для нас полное торжество, наши люди возвышались над массами не одним только личным влиянием, но и внешними отличиями. Декорум, батюшка, великая вещь! Декоруму-то ведь массы скорее и охотнее подчиняются. Вы, например, юнкер, а я поручик; и вы, и я, положим, оба имеем нравственное влияние на солдата, но будь-ка вы полковой командир, а я дивизионный — влияние-то наше ведь на сто градусов поднялось бы!.. Будь-ка в головах полковых колонн все наши люди — ге-ге!.. Посмотрели бы вы, что из этого вышло бы!.. Но оно и будет! Оно и будет так! — одушевленно заключил поручик, со всей полнотой и твердостью искреннего убеждения.

— Когда же я могу ехать? — осведомился Хвалынцев.

— Да хоть завтра. Чем скорее, тем лучше. Деньги на дорогу есть?

— Есть пятьсот рублей свободных.

— Ну, на первое время в Варшаве этого будет очень и очень достаточно, а если бы там, сверх ожидания, вдруг понадобились деньги, то я вам перед отъездом дам один адрес и маленький бланк; с этим бланком вы явитесь по адресу, и вам в известной степени будет открыт кредит. Ну-с, а теперь главная суть дела: центр назначает вас членом варшавского отделения русского общества "Земли и Воли". Главная ваша цель — пропаганда в войске, а частности и подробности и вообще указания о своей деятельности вы узнаете уже на месте от председателя. Номинация ваша на эту должность послана уже в Варшаву. Ваше число (Бейгуш вынул свой бумажник и прочел в записной книжке), ваше число, на всякий случай, будет 7,342. Запишите его у себя и запомните. И вот вам еще один адрес, — сказал он, подавая Константину клочок бумажки. — Вы отыщите по нем поручика Паляницу, и когда вы придете к нему, то подайте ему еще вот этот клочок, и это, смотрите, не забудьте же сделать при первой рекомендации, прежде всего. Это очень важно. Да смотрите, не потеряйте его как-нибудь!

Хвалынцев принял из рук Бейгуша еще один новый клочок бумажки, зигзагами оторванный с одной стороны, на котором было написано: *заслужив...*

Писание это доходило как раз до оторванного края, а продолжение слова или фразы, очевидно, должно было находиться на другой половине этой бумажки.

Константин с недоумением поглядел на Бейгуша.

— Что же это должно означать? — спросил он.

— А, это необыкновенно важный клочок. Это для нас все равно что ваш паспорт или ваш нравственный аттестат, — пояснил поручик. — Вы видите, что эта бумажка оторвана зигзагом; ну, так вот другая ее половинка отослана в Варшаву, вместе с вашей номинацией, а там уж она будет передана Палянице, и когда вы к нему явитесь и предъявите вашу половинку, то он сверит ее со своей, и это будет для него подтверждение, что вы действительно то самое лицо, на имя которого у них имеется номинация. На той половинке обозначена и степень доверия, на которую вы имеете право. Так вы сами видите теперь, что клочок этот весьма важен, — заключил Бейгуш. — В таком великом деле, батюшка, надо иметь в виду все случайности и обезопаситься всевозможными предосторожностями. Это необходимо!

Бейгуш торопил его отъездом, да Хвалынцев и сам желал поскорей расстаться с Петербургом, уйти в новую среду, в новую заманчивую деятельность, где ему в непродолжительном времени предстояла встреча с графиней Цезариной, уже на варшавской почве. Он решил выехать завтрашний же день, а на сегодня сделать кое-какие последние приготовления к отъезду и в

последний раз заехать к Цезарине — проститься до нового свиданья.

Не теряя времени, он тотчас же выехал из дому.

XXIII. "Довольно!"

"А ведь надобно заехать к Стрешневым; ведь это невозможно же уехать так, не повидавшись, не простившись. Совсем даже неблаговидно выходит", думал Хвалынцев, проезжая по Невскому. И вдруг, обращая к самому себе все эти укоризненные наставления, заметил он случайно, что навстречу едет кто-то, как будто похожий на Татьяну Николаевну, и в этот самый миг болезненно почувствовал, что его словно жаром всего обдало. Спешно юркнул он лицом в бобровый воротник шинели и спрятался в нем. Это было какое-то скорее безотчетно-инстинктивное, чем сознательное движение. Но поравнявшись со встречной женщиной, Константин Семенович робко кинул на нее искоса пытливый взгляд и увидел, что он ошибся. Это была не Татьяна Николаевна. Ему стало совестно и стыдно за самого себя.

"Фу, Боже мой, какая я дрянь, однако!" презрительно и с досадой подумал он, "а еще в заговорщики собрался! И чего это я струсил?.. и вдруг, словно мышонок в нору юркнул… Экая подлость сидит в человеке-то! И зачем я прячусь, зачем я давно не еду к ней? Что это за странная боязнь! Сделал я против нее какое-нибудь низкое, черное дело? — Нет. Разлюбил ее, полюбил другую? — Да! В этом и все дело. Но любя, давал ли я ей какие-нибудь клятвы, обещания? — Никаких… Об этом чувстве ни слова, даже намека ясного не было сделано между нами… Отношения не заходили далее простого поцелуя руки, да и то не всегда позволял себе; так чего же я мнусь и прячусь? Это была скорее хорошая, теплая дружба, чем… это чувство. И разве я виноват, что полюбил другую? Разве я искал этого?.. Случай, судьба — и только".

Такими-то софизмами оправдывал себя Константин Семенович, и в них почерпал для себя необходимую бодрость и твердость для предстоящего посещения. Он порешил ехать сейчас же, и приказал извозчику повернуть на Литейную. А какое-то внутреннее, ноющее чувство все-таки копошилось в нем, несмотря ни на какие успокоительные софизмы, и порою исподтишка смутно шептало ему, что он все-таки что-то нехорошее делает относительно любящей его девушки.

"Ну, как бы то там ни было, а уж теперь поздно!" злобно решил он, вставая с извозчика перед домом, где жили Стрешневы. "Пусть оно и нехорошо… Пусть даже подло, но… Цезарина… Это женщина, которая и из подлеца сделает честного человека, и из честного — подлеца!.. А она для меня все!.. Помоги же мне, Цезарина!"

И с этою мыслью он остановился перед дверью квартиры Стрешневых.

* * *

В тот день, когда Хвалынцев явился к Татьяне Николаевне с анонимным письмом и по ее убеждению отправился на последнюю студентскую сходку, окончившуюся кровавым столкновением, молодая девушка нетерпеливо ждала его возвращения. Но прошел целый день, прошел вечер, — он не вернулся. Ею овладело сильное беспокойство. Поутру она нарочно поехала к одним своим знакомым, узнать какого рода происшествия были вчера перед университетом. Там рассказали ей, как было дело, даже со множеством не существовавших подробностей, которые тогда в изобилии плодились в городских толках. Татьяна вернулась домой взволнованная и расстроенная. Ей уже чудилось, что Хвалынцев убит, не то изранен, не то сидит теперь в Петропавловских казематах, и Бог весть как и на сколько продлится его заключение и что-то еще будет потом? чем-то все это кончится?..

Все это представлялось ей с ясностью неизбежного, несомненного и почти уже совершившегося факта, и во всем случившемся с Хвалынцевым она укоряла и обвиняла одну только себя! "Не приди мне эта нелепая мысль посоветовать ему ехать туда, ничего бы этого не было! Он остался бы и цел и на свободе", думала она, "а теперь… все я, одна я всему причиной! И не все ль равно для меня, что какие-то дураки будут о нем того или другого мнения? Ведь я-то сама знаю, я-то ведь убеждена, что он честный — чего же мне более!.. Он из-за меня теперь терпит, мучится… за что?.."

Она не знала, что ей делать, к кому обратиться, чтоб узнать о судьбе Константина, а время шло, с каждым часом тщетного ожидания росла ее тоска и мучительное беспокойство. Она поехала в правление университета, в надежде — не знают ли там о нем чего-нибудь. В это время к ее тетке приехал в гостиницу Василий Свитка и привез свое темное, но все-таки успокоительное известие. Татьяна стала ждать, что называется, у моря погоды. В университете она узнала от швейцара, на всякий случай, прежний адрес Хвалынцева, и когда прошло более недели, а Свитка все не появлялся вторично и о Хвалынцеве ни слуху — Татьяна снова затосковала. Опять ей стали мерещиться разные страхи и ужасы, которым он, по ее заключению, должен был подвергаться в это время, и, наконец, в этой тоске не совладала она со своим неугомонным сердцем: взяла и поехала к нему на квартиру. Это посещение точно так же не принесло ей ничего утешительного. В смутной надежде, что авось он вдруг и вернется как-нибудь, полуверя и полуневеря этому, она, на всякий случай, написала ему тут же несколько строк на первом попавшемся клочке бумаги.

Но и с тех пор прошло уже больше полуторы недели, а о Константине ни слуху, ни духу. Татьяна вконец истосковалась. От вечно тревожной, одной и той же думы и бессонных ночей, она осунулась и побледнела. Она совсем перестала показываться на свет Божий, никуда не выезжала, сидела большею частию в своей комнате или бродила без цели по всей квартире. Все ей опостылело, все раздражало — и работа, и чтение — просто рук ни к чему приложить не могла. Тетка серьезно стала опасаться за ее здоровье. В то время они уже переехали на постоянную квартиру, которая, по случаю временного отъезда хозяев, сдавалась на шесть месяцев со всею мебелью и принадлежностью. Для старушки это была истинная находка, и с тех пор она всегда с большой похвалой отзывалась о "Полицейских Ведомостях", в которых помещаются такие полезные объявления.

* * *

Татьяна Николаевна была одна. Тетка отправилась к поздней обедне, ко "Всем Скорбящим", и еще не возвращалась. Часовая стрелка показывала еще только двенадцатый час в начале.

Вдруг звякнул колокольчик, и Татьяна услыхала в передней знакомый голос, который спрашивал ее.

Вся кровь прихлынула ей к сердцу, и застучало оно порывисто и шибко. Как стояла, так и осталась она на месте, словно бы онемела вся. После стольких дней тщетного ожидания, ей смутно представлялось, что это действительность. Но она боялась поверить в то, что это все наяву, что это точно его голос.

В комнату вошел Хвалынцев.

— Голубчик!.. Милый ты мой!.. Здравствуй! — стремительно кинулась она к нему, вся вне себя от счастья, радости и восторга.

Это нечаянное *ты*, еще впервые только сорвавшееся для него с ее уст, словно обожгло его.

Столь сильный и неожиданный порыв смутил молодого человека. Он почему-то ждал более обыденной и более сдержанной встречи. Не допуская себя принять ее объятия, радостные до полного самозабвения, он, отступя на шаг, тихо встретил ее простертые к нему руки и с чувством, но очень сдержанно пожал их.

— Здравствуйте, Татьяна Николаевна, — сказал он, стараясь казаться спокойным.

Та, не отнимая от него рук, отшатнулась легким движением назад и с недоумением заглянула ему в глаза.

— Разве так друзья встречаются после такой разлуки?

— Мне нужно поговорить с вами, Татьяна Николаевна… Я не надолго… Я приехал проститься… Завтра уезжаю…

Внутренняя тревога и смущение, несмотря на напускной спокойный тон, сквозили в невольно отрывистых и мало связных фразах Хвалынцева.

Татьяна еще с большим недоумением поглядела на него.

— Что?.. Проститься?.. Уезжаете?.. Как это… куда уезжаете? Зачем? — пролепетала она.

— Да не близко еду… Может, и не увидимся больше.

— Господи, да что это все такое!.. Где вы до сих пор-то были, — говорите мне!

— Я уезжаю из Петербурга… и… сегодня только приехал, — солгал Хвалынцев.

— Где же вы были? — продолжала она расспрашивать с возрастающим недоумением. Сердце ее тревожно подсказало ей, что во всем этом кроется что-то недоброе.

— Где я был, — пожал он плечами, — этого я вам сказать не могу.

— Константин Семеныч! да что вы, шутки шутите, что ли?

— Нет, я говорю совершенно серьезно.

— Так что же это за таинственность?!.. Почему это *мне* вы вдруг сказать не можете?

— Не имею права… Это не от одного меня зависит…

— Да вы мне скажите толком: сидели вы где-нибудь? Арестованы были? Высылают вас теперь из города, что ли?

— Нет, я сам уезжаю, своей доброй охотой.

— Куда?

— В Варшаву.

Она молча оглядела его испытующим взглядом.

— Надолго вы едете?

— Не знаю… Может, и навсегда.

— Что ж это за странное решение?

— Служить еду.

— Служить! — удивилась она. — Да прежде же курс ведь кончить надо! Куда же вы без диплома служить пойдете? И что за идея!

— Для моей службы можно и без дипломов; я ведь в военную.

Изумление Стрешневой дошло до крайней точки, она даже руки опустила.

— Константин Семеныч!.. Да что же вы, наконец, мистифицируете меня, или что?.. Если все это шутки, так кончите, пожалуйста! Хорошенького понемножку.

— Никаких тут шуток нету! Я вам говорю самым серьезным образом! — вступился он за себя в несколько амбициозном тоне; — да и что же тут невероятного, что человек пошел служить?

— В военную?! — подхватила Стрешнева.

— Да, в военную, как будто это не все равно: военная или гражданская.

— Но это, вероятно, покамест так только… одни мечты, предположения, намерения? — улыбнулась Татьяна, которой решительно не хотелось верить в дикую идею Хвалынцева.

— Далеко не мечты и не намерения, — возразил он. — Я уже поступил… Я и теперь, можно сказать, считаюсь на службе… Я уже зачислен в N-ский полк.

Хвалынцев все это солгал, ради пущего удостоверения в справедливости слов своих, но солгавши раз, и в этой лжи как бы даже порисовавшись пред нею в новом положении, он как будто сам поверил в истину сказанного; ему вдруг и самому стало казаться, что все это точно так и есть, что он точно зачислен и уже служит.

Стрешнева молча поглядела на него взглядчивым, внимательным взглядом.

— Что же за цель, наконец? — тихо спросила она, после некоторого молчания.

— Цель… чуть-чуть замялся Хвалынцев. — Боже мой, да надо же человеку что-нибудь делать с собою!.. Не небо же коптить, вот и цель вам!

Татьяна чутко чувствовала в глубине души, что это все что-то не то. Раза два молча прошлась она по комнате и вдруг с веселым и решительным видом остановилась пред Хвалынце-вым.

— Полноте-ка, Константин Семеныч! Оставьте все это! — с убеждением заговорила она, взяв его руки и ласково глядя в глаза. — Бросьте все эти пустяки!.. Ей-Богу!.. Ну, что вам?!. Давайте-ка лучше вот что: если вам здесь очень уж надоело, укатимте в Славнобубенск, поезжайте в имение, призаймитесь хозяйством, ей-Богу же, так-то лучше будет!.. А то что вдруг — служба, да еще военная, да еще в Варшаву… Нет, право, бросьте, голубчик!

— Все это так легко только говорить, — возразил он, видимо стараясь придать словам своим и серьезность и значительность, — но что сделано, то сделано, и назад его не вернешь! Это уж теперь зависит не от моей воли, Татьяна Николаевна!

— Как не от вашей?.. Как не от вашей?!. Вздор! Чисто от вас одного только и зависит, больше ни от кого! — входя в некоторый азарт, возражала и доказывала Стрешнева. — Во-первых, если

вас зачислили, то могут и отчислить, ведь это не кабала же какая, не запродажей, не контрактом, а своею доброю охотою!.. Ну, вчера вам хотелось, а сегодня расхотелось… Ну, там по домашним обстоятельствам, по болезни, по встретившимся препятствиям… да Господи! мало ли можно найти предлогов для отставки!.. Стоит захотеть только! Ну, захотите, Константин Семеныч!.. Ну же, ну?.. Скорей!.. Да захотите же, Боже мой! Ну, что вам стоит отказаться от такой пустой идеи?!.

На эту живую, ласковую шутку, он только хмуро, с опущенными вниз глазами, отрицательно покачал головою.

Стрешнева снова пристально и долго поглядела на него пытливым, осторожным взглядом и тихо опустилась на кресло подле него.

Оба молчали, и обоим начинало становиться как-то неловко, и оба чувствовали в то же время один в другом ту же самую неловкость. А неловкость эта нашла оттого, что Стрешнева все больше и больше угадывала в Хвалынцеве присутствие какой-то неискренности и затаенности, и он тоже понял, что она угадала в нем именно *это.* Молчание начинало становиться тягостным.

— Константин Семеныч, это все не то… я чувствую, что не то, — очень серьезно начала наконец Татьяна, поборая в себе нечто такое, что сильно удерживало ее от предстоящей последней попытки. — У вас что-то есть на душе, вы что-то, кажись, таите, скрываете… Ну, скажите мне, зачем?.. Если это тяжело вам, не лучше ли облегчить себе душу?.. Предо мной вы можете говорить прямо, вы знаете меня… Ведь мы же друзья не на ветер!

И она кротко взяла и не выпуская стала держать руку Хвалынцева, и вся фигура ее, и взгляд, и лицо, и самый поворот головы, все это выражало собою теплое и любовное участие. Раскрытая душа ее ждала, что вот-вот сейчас другая сочувственная душа перельет в нее все свое горе, всю свою тайну, и она затишит, умиротворит, убаюкает и исцелит эту другую, дорогую ей душу.

Константин сидел угрюмо, понурясь и не глядя на нее. Он чувствовал, что в эту минуту пред Татьяной не скроешься, что она чутьем угадает правду, которой он и не хотел утаивать от нее, но только высказать эту правду было так тяжело, так мучительно тяжело ему!..

— Вы хотите правды… Ну, скажу я вам эту правду! — выговорил он, наконец, стараясь напускной усмешкой замаскировать свою невольную и темную угрюмость. — Отчего же и нет… Сказать, ведь это всего одна только минута… не более… Да; конечно, я скажу вам, но… если бы знали как тяжело это… как тяжело это высказывать-то!..

И при этих словах, девушка заметила, как лицо его передернулось движением внутреннего глухого страдания.

— Говорите, говорите, — тихим и ласковым шепотом ободрила она.

— Татьяна Николаевна!.. Я всю жизнь свою поставил на карту… бесповоротно, бесшабашно, и предо мною нет более никакого выхода из этого положения!..

— Но… из-за чего же все это? — участливо спросила она.

— Из-за женщины… — глухо, смутно и чуть слышно ответил Хвалынцев, весь бледный, и низко потупясь опущенными глазами.

Этим словом сказалось все. Татьяна не стала расспрашивать далее. К чему ей были слова,

объяснения, подробности, когда одним лишь этим словом все беспощадно обнажилось пред нею: он любит другую женщину, он для нее всю жизнь поставил на карту, о чем же тут больше спрашивать? Что еще бередит ему сердце? И что еще, наконец, нужно знать больше этого?.. Все сказано, все сделано, — довольно!

И она с твердостью, словно ножом отрезала, сказала сама себе это внутреннее "довольно!"

Хвалынцев медленно поднял на нее глаза, и ему показалось странным лицо этой девушки: он никак не ждал встретить у нее такое лицо в эту минуту. Нельзя сказать, чтобы даже тень какой-либо болезненной мысли скользнула по нем, чтобы хоть на мгновение дрогнуло в нем страдание, злоба, укор, оскорбление, презрение; нет, ни единое из этих ощущений не выдавало себя в лице Татьяны. Оно было совершенно спокойно, и только ровная глубокая бледность сплошь разлилась и застыла на нем. И глаза тоже глядели спокойно, но эти глаза как-то вдруг потухли, словно бы умерли, словно бы искра жизни отлетела от них.

— Ну, вот, я, кажется, уж все сказал вам! — пересохшим, хриплым голосом промолвил Хвалынцев, подымаясь с места. Весь он был какой-то погнутый, притиснутый, словно бы на плечи ему навалилась какая-то тяжкая, темная сила и все удручает, все гнетет его собою.

Стрешнева тоже поднялась.

Разговор между ними с этой минуты пропал, и больше не нужно было ни ему, ни ей никаких разговоров.

— Если можете, не отымайте от меня вашей дружбы, — смущенно и тихо попросил он, и в тоне его просьбы Татьяне чутко сказалось затаенное страдание.

— Дружбу! — повторила она, слегка пожав плечами, — берите!.. если только когда-нибудь и на что-нибудь пригодится вам моя дружба.

Хвалынцев с чувством теплой благодарности пожал ее руку.

Снова наступило молчание. Оба стояли один против другого, не глядя друг на друга.

— Ну, прощайте, Татьяна Николаевна! — проговорил он наконец, с полным грудным вздохом; — коли можно, так не поминайте лихом! Это последняя и единственная просьба.

Она махнула рукой, словно бы говоря: "что уж! зачем лихом!.."

— Ну, дай вам Господи всякого счастия! — непритворно пожелала она ему на прощанье, все с тем же мертвенным спокойствием в лице и во взоре.

Дверь за ушедшим Хвалынцевым затворилась. Татьяна почувствовала теперь, что она *одна.*

Часть третья

I. Наедине со своею душой

Хвалынцев ушел. Татьяна Николаевна слышала, как захлопнулась за ним выходная дверь в прихожей и оставалась все в том же, по-видимому, спокойном положении. В совершенную противоположность Константину, который очень плохо умел скрывать свои внутренние ощущения, она не любила выдавать их наружу. Все ее глубокие и сильные впечатления таила она внутри себя и там перерабатывала их силою собственной сосредоточенной натуры.

Хвалынцеву не нужно было много слов, чтобы заставить ее уразуметь все, что так трудно казалось ему высказать. Довольно было сказать одно только слово, в одном слове «женщина» выразить причину столь странного и спешного отъезда с переменою своей жизненной карьеры, — и Татьяна поняла все остальное своим чутким женским инстинктом. Эта женщина была *не она;* это была *другая…* Мгновенность и нечаянность такого горького сознания сильно уязвили ее. Она побледнела, и эту невольную бледность ей невозможно было скрыть: только ею одной и выразился удар, нанесенный Хвалынцевым. Понял ли он, нет ли — что ей было до того за дело? Она нашла в себе достаточно сил, чтобы ни словом, ни взглядом не показать ему того, что с нею делалось. Она сохранила видимое спокойствие, прощаясь с любимым человеком, не более как с обыкновенным хорошим знакомым — всякое другое прощание было бы слишком тяжело и неловко для него: она чувствовала это, молча проводила его глазами до дверей, и осталась одна.

Ни слезы, ни жалобы не вырвалось у нее. Порою одно только нервное дрожание какой-то жилки около губ да трепетное появление легкой морщинки между бровями слабо выдавало всю тяжкую работу, кипевшую внутри.

Старая тетка вернулась домой и не заметила в своей Тане ничего особенного.

— Новость, ma tante![76] — обыденным спокойным тоном и между прочим разговором сообщила она старухе. — Константин Семеныч приезжал без вас.

— Да?.. Выпустили его?.. Где же он?.. Зачем ты его не оставила? — с живым участием всполошилась добрая старуха.

— Он заезжал на минутку проститься, и просил передать вам его поклон.

— Как проститься?.. Куда?.. Что такое?.. — недоумело пожимала та плечами.

— Чуть ли не сегодня уезжает в Варшаву… Поступил в военную службу.

— Да что ты, морочишь меня, что ли?

— Нет, я вам передаю совершенно серьезно то, что он говорил.

— Господи!.. Варшава… военная служба, — пожимала плечами старуха. — Но что же за причины, по крайней мере?

— Этого я не знаю. Причин он не объяснил, — как-то коротко и несколько отрывисто проговорила Стрешнева, не глядя на тетку.

Зато тетка во все глаза глядела на нее вопросительно и удивленно, как бы ожидая от самой Татьяны объяснения этих причин и побуждений.

— Таня, что же все это значит? — после некоторого молчания, тихо и как бы робко обратилась она к племяннице.

— Не знаю, ma tante.

Опять наступило молчание, все с тем же удивленным взглядом старухи, вопросительно устремленным на племянницу.

— Таня, будь со мной откровенна! — еще тише сказала наконец она с мягкою, родственною

просьбою в голосе. — Ты верно знаешь?.. Его верно высылают, насильно отдают в солдаты?.. да?..

— Сам идет, добровольно; а больше я ничего не знаю.

"Нет, тут что-то не то!" — домекнулась про себя старуха. — "Это спокойствие в ней… сдержанность эта… что-нибудь да не то"…

— Таня… — с робким участием снова обратилась она к ней, — как же ты-то теперь?

— Я? — вскинула та глазами, в которых отсвечивало какое-то равнодушное удивление, — а что же я?.. Я как и была… все по-старому…

— И это… Это тебя не трогает, не волнует?

Досадливое нетерпение, а может и сжатая внутренняя боль чуть-чуть дрогнули в какой-то жилке на лице Татьяны.

— Вот что, ma tante, — решительно сказала она, — мы больше об этом говорить не будем… Дай ему Бог всякого счастья, ну, и… довольно!

Старуха поняла, что девушке слишком тяжело говорить на эту тему, и потому, сколь ни хотелось ей самой узнать подробности и пружины всего этого странного обстоятельства, разговор между ними о Хвалынцеве не возобновлялся более ни разу. Бывало, нарочно с тайною мыслью про себя, как-нибудь кстати приплетет старуха его имя, вспомня, что вот это, мол, рассказывал Константин Семенович, а вот то-то случилось при Константине Семеновиче, а вот это блюдо он очень любил, или к тому-то вот так-то относился; но при всех этих случаях втайне любопытный взор ее не мог отыскать в лице девушки ничего такого, что помогло бы хоть чуточку раскрыть ей загадку. Татьяна, отвечая на подобные заявления тетки, вспоминала о Хвалынцеве хотя и кратко, не распространяясь, но совершенно просто и спокойно, как и о многих хороших знакомых. Никогда ни малейшей тени едкой горечи, злобы, упрека или сарказма не вырвалось у нее при упоминании этого имени, словно бы и в самом деле Хвалынцев был для нее не более как случайный, хотя и хороший знакомый — и только.

А между тем, внутри ее творилось другое.

Она никогда не придавала Хвалынцеву никаких особенных героических качеств, идеальных свойств и добродетелей, ради того лишь что он ей нравился: она была слишком положительный человек для этого, глядела на жизнь и людей слишком просто и прямо. Она не изукрашивала его, не глядела на него сквозь радужную призму, словом, не творила себе из него кумира, и между тем так много и глубоко полюбила его, — даже глубже и более, чем сама могла думать до дней, последовавших за окончательной разлукой. Но как и за что полюбила? — ни того, ни другого объяснить себе она не могла, да и не старалась, а если бы стала объяснять, то объяснение это было бы фальшивое, измышленное ради самообмана. А в натуре ее лежало слишком много искренности, чтобы лгать пред другими, и твердой прямоты, чтоб обманывать самое себя. Как полюбился он ей? Полюбился незаметно, исподволь, так что и слово «люблю» ни разу не было сказано между ними, а она уже чувствовала, что любит. Шло и росло это чувство так тихо, просто и как бы совсем спокойно; но чем тише и проще, тем прочней и глубже пускало оно корни в ее душу. За что полюбился он ей? Этот вопрос, после разлуки с ним, она и сама себе задавала неоднократно, и был на него только один ответ. Вспоминался Татьяне тот теплый, майский вечер в Славнобубенске, когда в беседке, обвитой густыми побегами навоя и хмеля, сидя над шитьем, ожидала она обычного прихода Хвалынцева. В этот вечер был его последний, прощальный приход: завтра утром он должен был ехать. И ясно,

почти до малейших подробностей, вспоминался ей случайный разговор, возбужденный тогда Хвалынцевым. Как-то довольно кстати предложил он ей несколько щекотливый вопрос: "Что б она сделала, если бы, выйдя замуж, глубоко полюбила впоследствии другого?" Ответ был ясен и прост: "Я бы не вышла иначе, как только убедясь наперед в самой себе, что я *точно* люблю человека, что это не блажь, не вспышка, не увлечение, а дело крепкое и серьезное, и после этого мне уж конечно не пришлось бы полюбить другого".

Теперь же Татьяна, к несчастию, все более убеждалась, что ее чувство не блажь и не увлечение, а то крепкое и серьезное дело, которое точно должно назвать настоящею любовью, и при котором нельзя полюбить другого.

"Да если другой-то будет лучше?" — задал ей Хвалынцев новый вопрос в тот вечер. И точно так же, с полною ясностью вспоминался теперь Татьяне ее ответ, который был ее всегдашним, прочным убеждением, ибо она инстинктом чувствовала, что иначе и быть не может. "Тут нет, мне кажется, ни лучше, ни хуже", отвечала она, "может быть, я даже могла бы полюбить и очень дурного человека, потому что любишь не за *что-нибудь,* а любишь просто, *потому что любится,* да и только. И довольно полюбить раз да хорошо, а больше и не надо — и одного хорошего раза на всю жизнь хватит..."

И этот-то *раз* был теперь для нее роковым разом. Не то, чтобы запало в нее сознание, что Хвалынцев дурной человек: то что думалось ей порою, было хуже этого сознания — ее брало сомнение, что он человек легкий, ветреный, поверхностный и вообще ненадежный, на которого едва ли можно в каком-либо деле крепко опереться. И эта-то ненадежность, эта нравственная, как казалось ей, слабость и шаткость более всего наводили на нее горечь и досаду. Был ли таков Хвалынцев на самом деле — это уж другой вопрос; но ей стало иногда казаться теперь, будто он таков, и в таком ее взгляде на него — надо сознаться — чуть ли не главную роль играло эгоистическое чувство любви к отвернувшемуся от нее человеку и женское самолюбие, по струнам которого он больно ударил тем, что предпочел ей другую, "до *такой* степени", до полного самопожертвования. Взбалмошный факт поступления в военную службу и этот быстрый отъезд, причиной которого была «женщина», казались ей, по неведению настоящих причин и побуждений, фактами сумасбродного самопожертвования. Когда она, забыв про самое себя или, так сказать, отрешившись от себя, глядела на этот поступок как бы со стороны, он ей даже нравился своею сумасбродною решительностью: "значит любит", думалось тогда Татьяне. Но когда уязвленная гордость, самолюбие и пренебреженная любовь болезненно напоминали ей, что ведь это она, она сама оставлена и забыта, что все это сделано для какой-то другой — в душе ее закипало и ревнивое чувство злобы против Хвалынцева, и эгоистическое умаление того самого поступка, который за минуту ей нравился и, может, продолжал бы нравиться, если бы Хвалынцев был для нее посторонним, чужим человеком, если б она любила не его, или никого не любила. Самолюбие щемило, обиженная любовь не засыпала и против воли бродила в ее сердце — надо было убаюкать, уходить, задушить в себе и то, и другое — и вот, плодом этого «надо» у нее и являлось сомнение в Хвалынцеве, в его надежности. Это был для нее своего рода отвод, который мучил ее чуть ли еще не более чем все остальное. Чем бы ни казался ей порою Хвалынцев, она понимала, чувствовала и, так сказать, со всею внутреннею осязательностью души ощущала, что все-таки любит, и любит не переставая, не умаляясь в своем, Бог весть почему, глубоком и сильном чувстве.

Такие натуры, действительно, любят раз да хорошо; в них это чувство зарождается тихо, кроется и коренится глубоко и высказывается просто, без аффектаций, да кроме того, эти натуры еще не любят казать его пред посторонними глазами.

Вспоминалось еще Татьяне, как в тот самый прощальный, майский вечер, Хвалынцев, раздумавшись над ее словами, сказал ей, что ее взгляд на серьезное чувство, пожалуй, хорош,

да только та беда, что с ним рискуешь иногда быть очень несчастливым в жизни, если вдруг ошибешься, да полюбишь человека ветреного, увлекающегося, который разлюбит тебя потом, который в каждом смазливом личике будет находить себе источник чувства или развлечения, — тогда что? спросил он в том разговоре. "Да, тогда не хорошо!" — согласилась с ним Татьяна, — "и это, бесспорно, величайшее несчастие". Да, тогда не хорошо, часто и теперь повторяла она себе, раздумываясь и над его словами, и над своим упрямым, невольным чувством. "А я говорила ему тогда, что во власти самой женщины сделать так, чтобы человек *всегда* любил тебя", горько думалось Татьяне в эти минуты, "только одну тебя! чтобы ему и в голову не пришло о возможности увлечься другою. Я говорила ему, что это *может* сделать женщина, что для этого ей надо только уметь любить, любить прежде всего и верить, в себя верить. Ну вот, ты и верила в себя, ты и любила, и любишь, что же ты не сделала так, чтоб он не ушел от тебя, чтоб он не увлекся другою, чтоб он любил только тебя одну, что ж ты не сделала этого? Или силенки не хватило? Или мало любила еще?" Все это были желчные, ядовитые вопросы, полные саркастических упреков самой себе, и этими бесплодными вопросами она еще пуще бередила свою больную, раненую душу. Эта глухая борьба и внутренняя работа над собою становились порой слишком тяжелы. Нужен был какой-нибудь исход, какое-нибудь отвлечение, отдых, а этого не было. Сказать все тетке, поделиться с ней душою Татьяна не могла, не хотела. Хоть и знала она, что тетка сердечно, сочувственно примет ее исповедь, но какое-то внутреннее «нельзя», "не надо", "не к чему", удерживало ее от этого: есть натуры, которые от наиболее близких, родственных и любящих их людей наиболее ревниво оберегают тайник своего внутреннего мира. Татьяна чувствовала, что был один только человек, к которому она могла бы совсем разумно, совсем сердечно и просто прийти и сказать свое горе, и что этот человек понял бы ее скорее и глубже чем всякий другой. Таким человеком был для нее Андрей Павлович Устинов. Подавляемая своими тяжелыми думами, она вспомнила теперь про него, про свою добрую дружбу к нему. Как женщина и притом женщина чуткая, она не могла не замечать в нем то полное глубокого, почти благоговейного уважения чувство, которое питал он к ней. Это чувство было настолько скромно, застенчиво и робко, что он как бы боялся не только высказать, но даже дать ей хоть сколько-нибудь заметить его. Татьяна между тем очень хорошо это видела и понимала, что маленький математик любит ее так же тихо и глубоко, как она Хвалынцева. Но подметив в нем это чувство, она взамен могла дать ему только дружбу. Под наплывом своих воспоминаний, в одну из тех в высшей степени редких у нее минут, когда переполненная душа настоятельно запросила поделиться с кем-нибудь своим горем, Татьяна в каком-то экзальтированном порыве села и написала письмо Устинову. Это была полная и откровенная исповедь всей глухой борьбы, которую она теперь столь упорно, но тщетно осиливала. Внутреннее одиночество, душевное сиротство томило ее, и она просила Устинова, если возможно, приехать в Петербург. Она знала, что он без того часто пред ее отъездом высказывал намерение покинуть, ради Петербурга, постылый ему Славнобубенск, а теперь, по первому ее призыву, явился бы сюда непременно. Только в нем одном казалось ей возможным найти себе бескорыстную, нравственную поддержку и дружеское успокоение. Но час спустя, перечитав свое письмо, Татьяна разорвала его на куски. "Не надо!" — решила она себе. "Ты ведь знала и раньше, что он любит тебя; так зачем же не раньше, а только теперь? Оттого что тебя больно ударили, так ты и бежишь как малый ребенок под крылышко няньки, чтоб она тебя утешила, успокоила... А ведь он любит тебя так же как ты *этого;* но ведь он ни под чье крылышко не прятался, когда ты ему платила равнодушием под видом дружбы, — а теперь, как больно стало, так и к нему!.. Нет, не надо! Не пойду я к нему, ни к кому не пойду!.. И никого, и ничего мне не надо!"

Она редко стала выходить из дому, — разве только для прогулок, выбирая для них улицы менее людные, потому что ей как-то бессознательно досаден становился весь этот кипучий шум и грохот, вся эта толчея бойкой городской жизни. Она с удовольствием променяла бы теперь этот Петербург на двухоконную комнатку в глухой, степной деревнюшке: ей захотелось уйти и

спрятаться от всех и всего, а более от самой себя, от своей тоски и думы. Знакомых у ее тетки здесь было очень не много, да и те-то стали в тягость Татьяне; даже театр, который она так любила, утратил для нее всю свою прелесть. Мало-помалу на нее стала целыми днями находить какая-то лениво-сонная апатия. Но такое состояние скоро было замечено ею, и она испугалась его. "Нет, надо кончить это! Надо дело делать, а то эдак вконец распустишь себя!" — сказала она себе и нравственно встрепенулась. Но какое дело? В чем дело и где найти его, это дело по душе, по сердцу? В окружающей обстановке данной минуты Татьяна не видела для себя этого спасительного дела, которое исцелило бы ее, да его там и не было. Как же, наконец, быть-то? задала она себе вопрос. Читать и учиться! больше учиться, больше читать — это все, что до времени остается ей, а там... время, говорят, вылечит. И Татьяна остановилась на этом решении.

II. Книжная торговля и кабинет для чтения Луки Благоприобретова и К°

Эти слова яркими и крупными буквами были начертаны на большой вывеске, прибитой над пятью окнами первого этажа одного из больших домов, на одной из бойких, промышленных улиц, и эти-то самые слова случайно, во время прогулки, попались на глаза Татьяне Николаевне Стрешневой.

"Вот и кстати!" — подумала она. "Дай зайду, авось можно абонироваться, чтобы брать книги на дом".

Подумала и зашла.

Обстановка магазина довольно прилична. За ясеневою конторкою стоит какая-то дама весьма привлекательной наружности, с пенсне на носу, и вписывает что-то в конторскую книгу. Полурастворенная дверь позволяет видеть часть смежной внутренней комнаты, которая, судя по обстановке, служила кабинетом для чтения. Из этой комнаты доносилось несколько одновременно спорящих голосов, между которыми вмешивался порою и голос женщины.

Стрешнева обратилась к даме, стоявшей за конторкой.

Дама, прежде чем ответить на ее вопрос, оглядела ее всю с ног до головы и, продолжая вписывать, спросила в свою очередь:

— А вы на какие книги хотите абонироваться?

— Там смотря как... Это будет зависеть от моего выбора.

— Мы на глупые книги не принимаем абонемента, — ни с того, ни с сего заметила вдруг дама в пенсне. — Если вы на такое чтение думаете подписаться, так обратитесь лучше в другие библиотеки.

Такая неожиданная выходка, ничем не вызванная со стороны Стрешневой, показалась ей по меньшей мере очень странною. Она уже готовилась возразить, что, по ее мнению, в книжном магазине, ради его собственных выгод, должны быть всякие книги, а на выбор для чтения той или другой из них едва ли можно налагать такие условия, как вдруг в эту самую минуту с порога смежной комнаты громко раздался приятно удивленный голос:

— Ах!.. Стрешнева?!.. Неужели это вы? Да какими судьбами? Здравствуйте!

Татьяна Николаевна обернулась и увидела старую свою знакомку.

На пороге, с неизменной папироской в руках, стояла Лидинька Затц.

В Славнобубенске они были несколько лет сряду хорошими знакомыми. Лидинька не без внутреннего удовольствия называла себя даже приятельницею Стрешневой и, несмотря на все свое подчинение авторитету Ардальона Полоярова, недолюбливавшего Татьяны, имела твердость не изменять к ней своих отношений, хотя отношения эти и были чисто внешние. В сущности, Лидинька не понимала Стрешневой, да никогда и не задавалась мыслью понять ее; но так как раз уже установилось между ними доброе знакомство, и так как Стрешнева оказывала ей некоторое внимание, всегда была очень мила и ласкова с нею, и наконец, так как она, благодаря себе и тетке, была довольно хорошо и независимо поставлена в славнобубенском «обществе», то Лидинька и считала за лучшее сохранять с ней свои хорошие отношения и по-своему даже «любила» ее.

Она и теперь, по-видимому, очень обрадовалась этой неожиданной встрече и даже поцеловалась с Татьяной.

— Здравствуйте, миленькая моя! Какими вы судьбами забрели сюда? Ступайте к нам сюда, сюда, вот в эту комнату: это наша читальня! — тараторила Лидинька, таща Стрешневу за собою. — Как у нас тут прекрасно! Просто первый сорт! Пойдемте, поболтаемте, я вас с *нашими* познакомлю... Господа! вот вам Стрешнева, моя славнобубенская приятельница! — возгласила она в заключение своей болтовни, введя Стрешневу в читальную комнату, где заседали три-четыре человека весьма разнообразной наружности.

— А это вот, — продолжала Лидинька, указывая по очереди на заседавших господ, — Благоприобретов, Малгоржан-Казаладзе, Фрумкин и князь Сапово-Неплохово, в некотором роде благородная отрасль древнего аристократического рода, хотя нам на это наплевать!

При этих словах, господин, названный князем, с поклоном новой гостье, глупо оскалил свои зубы и еще глупее как-то загоготал громким смехом. Это «наплевать», очевидно, весьма ему понравилось. Лука Благоприобретов, имя которого красовалось на вывеске, был ряб и вихроват. Желтые, короткие волосья его вихрами торчали во все стороны как на голове, так и на лице. Весьма несуразно скроенный, одетый в неуклюжий пиджак и туфли он был высок, узловат в костях и все как-то сутулился, ежился, пружился, и говорил не иначе как угрюмым басом и притом очень воздержно, только в самых крайних случаях, ограничиваясь более либо выразительным молчанием, либо же кратким мычаньем очень глубокомысленного свойства. Он сохранял в себе явные следы провинциальной семинарии доброго старого времени и на взгляд казался уже пожилым человеком, хотя ему еще не было и тридцати лет.

Малгоржан-Казаладзе принадлежал к расе "восточных человеков" армянского происхождения и немного подходил к тому достолюбезному типу, который известен под именем отвратительных красавцев. Впрочем Малгоржан и сам, по общей слабости своих соотчичей, думал о себе, что он "молодца и красавица" и что поэтому ни одна женщина против его красоты устоять не может.

Моисей Исаакович Фрумкин, очень вертлявый молодой человек, довольно красивой наружности, постоянно старался держать себя как можно бойче и развязнее, втайне желая тем самым скрыть свое семитическое происхождение, и в силу этой же причины очень огорчался в душе своей тем печальным обстоятельством, что носил выдающееся имя Моисея, да еще вдобавок Исааковича.

Князь Сапово-Неплохово являл из себя тощего, длинного, безбородого юношу, с пошленькой физиономией и в безукоризненном костюме по последней модной картинке. Этот князь, по-

видимому, весьма гордился тем, что находится в существе Малгоржана, Фрумкина, Затц и Благоприобретова, к которым охотно относился со знаками искреннего почтения. Он был здесь всех моложе и всех глупее, о чем красноречиво свидетельствовала его физиономия! Более сего сказать о нем нечего.

Все эти личности состояли членами той компании, для которой Лука Благоприобретов служил вывеской. Лидиька тараторила как сорока, не умолкая почти ни на минуту. Слова: "ассоциация, труд, капитал, разделение труда, индифферентизм, дело, подлость, подлецы, правомерность, целесообразность, коммунизм, прогрессизм, социализм, позитивизм, реализм" и т. п., каскадом лились с языка Лидиньки, которая с переездом в Петербург, как заметила теперь Стрешнева, стала еще бойче и в известном направлении полированнее. По всему было заметно, что общество Фрумкина и Благоприобретова очень хорошо отшлифовало ее относительно этого направления. Лидинька не без увлечения повествовала Стрешневой, что они, вообще новые люди (то есть и она в их числе), устроили свою жизнь на совершенно новых началах, что у них организовалась правильная ассоциация с общим разделением труда и заработка, что эта ассоциация завела вот уже книжную торговлю и переплетную мастерскую, и теперь хлопочет о заведении швейной и типографии, и что все они, а она, Лидинька, в особенности, ужасно теперь заняты делом, и что дела у ней вообще просто по горло: "вся в деле, ни на минуту без дела", тараторила она, и Стрешнева довольно внимательно слушала ее болтовню. Фрумкин вызвался руководить выбором ее чтения и предложил на первый раз Бокля, которого Татьяна хоть и читала, однако же не прочь была и еще раз перечитать повнимательнее; но Благоприобретов не одобрил такого выбора.

— Бокль, это так себе. Он, пожалуй, хоть и изрядный реалист, — заметил Лука, — а все-таки швах! До точки не доходит… филистер! А если читать — никого и ничего не читайте! Одних наших! Наши честней и последовательней… ничего не побоялись, не струсили ни перед кем… Наши пошли гораздо логичнее, дальше пошли, чем все эти хваленые Бокли. Это поверьте, ей-Богу так.

— Что это, Благоприобретов, какая у вас скверная привычка: все «ей-Богу», да "ей-Богу"! — тотчас же заметила Лидинька. — Предоставьте дуракам и невеждам употреблять это слово, а мы, кажется, можем обойтись и без подобных пошлостей.

Благоприобретов, нисколько не стесняясь, заметил на это Лидиньке, что она сказала глупость, но Лидинька с апломбом возразила ему, что она только последовательна.

Стрешнева просидела в читальне около часу. Лидинька просила ее заходить почаще и сама тоже обещалась как-нибудь завернуть к ней. В конце концов ее снабдили абонементным билетом и связкою нескольких книжек, по преимуществу состоявших из собранных и переплетенных воедино кой-каких журнальных статей. Выбор этих книжек удостоил сделать для Татьяны сам Лука Благоприобретов, сказав, что эти статьи недостаточно прочесть, но надо даже изучать как догмат всякому порядочному и честному человеку.

Хотя Стрешнева и не слепо поверила на первый раз рекомендации Благоприобретова, тем не менее в этих книжках заключался для нее известный интерес, и они были охотно приняты ею.

Теперь, казалось ей, был отыскан хоть призрак какого-нибудь дела: книга все же представляла некоторое отвлечение от тяжелых дум и гнетущего чувства.

III. Призрак дела

Сначала чтение подвигалось туго. Часто случалось так, что, водя глазами по печатным

строчкам, Татьяна машинально читала одни только слова, тогда как мысли ее были далеко от книги. Но каждый раз словно бы очнувшись, она замечала в себе эту рассеянность и приневоливала свою мысль и внимание. Однажды в читальне она увидела на полке Гумбольдтов «Космос» и взяла его. С первых страниц и с «Космосом» пошла у ней та же история машинального бегания глазами по строчкам, но несколько раз переломив свою рассеянность, она стала внимательней вдумываться в смысл читаемых страниц и мало-помалу великий интерес великой книги охватил ее ум и приковал к себе все ее внимание. Ярко поэтическая, исполненная глубокого смысла, картина целого мира развертывалась пред ее глазами. «Космос» увлек ее и сделал тот внутренний переворот, которого она тщетно искала доселе. В спокойной, мощной и строгой мысли поэта-ученого она мало-помалу нашла свой собственный мир и покой душевный. Хотя в этом и не было забвения прошлого, но он принес ей с собою то, что в ее думах и воспоминаниях все менее и менее оставалось теперь едкой горечи и тоскливого гнета. Это был покой тихий и несколько грустный, похожий на медленное выздоровление тяжко больного человека. Выздоровление час за часом, день за днем приносит с собою частичку свежих, обновленных сил, с которыми все более пробуждается в организме потребность жизни и деятельности. То же было и с Татьяной, задавшись раз исканием дела, она не покинула своей задачи; напротив, с наплывом этого тихого мира и покоя душевного, в ней стала все громче и сильнее говорить потребность какого-нибудь живого, плодотворного дела. Весь вопрос для нее был теперь только в том: какого?

Теперь уже ее стали одолевать сомнения иного рода. Что это были за сомнения, пусть расскажет отрывок из ее собственного письма к Устинову. Татьяна совершенно неожиданно получила от него письмо, где он сообщал о своем окончательном решении бросить в самом скором времени службу в Славнобубенске, чтобы приехать в Петербург, и спрашивал у Татьяны об ее столичном житье-бытье, о Хвалынцеве, о Полояровской компании, о которой отзывался хотя и вскользь, но не без иронии. Стрешнева обрадовалась случаю писать к нему и, не откладывая в дальний ящик, принялась за ответ.

"Вы спрашиваете про мое житье-бытье да про то, что я делаю", — между прочим писала она в своем ответе. — "Что вам сказать на это? Стыдно сознаться, а утаить не могу, что пока ровно еще ничего не делаю. Только всего и дела-то у меня что читаю, но это, как начинает мне теперь казаться, еще не дело, а только призрак дела, или пожалуй, оно могло бы быть при случае подготовкой к делу. Помните ли, моим всегдашним убеждением было, что скучно жить на свете без дела, что необходимо надо, чтобы у каждого человека было хоть какое-нибудь дело, цель, задача в его жизни. И — увы! — с убеждением такого рода, я сама ясно вижу, что вот именно у меня-то, у меня самой и нет ровно никакого серьезного жизненного дела. Вы, мой добрый друг, иронизируете над Лидинькой Затц и Полояровской компанией, а я вам — к величайшему вашему удивлению — скажу на это, что ирония тут совершенно напрасна. Я сама еще очень недавно относилась к ним точно так же, а теперь… теперь у меня не хватило бы духу на это, потому что я чувствую, что с подобным отношением я была бы неправа перед ними. Можно было посмеиваться над этими людьми, когда они только разглагольствовали, когда все дело ограничивалось у них одними только словами да звонкими фразами. Но хватит ли у вас духу смеяться, когда вы увидите, что фраза не осталась фразой, что эта фраза, проникнутая верой и убеждением, переходит на практическую, житейскую почву, воплощается уже в серьезном насущном деле? Оставимте в стороне все Полояровские нелепости о пресловутом "гнете Петербургского царизма" et cetera,[77] да и самого Полоярова тоже в сторону! Но вот, например, открытие книжной торговли, учреждение переплетной мастерской, швейной, типографии, и все это на разумных и строгих началах ассоциации — это уже не нелепость, а практическое, насущное дело, ведущее в конце концов к тому, чтоб упрочить честный труд на честных основаниях, на его свободе и на справедливости. Тут уже дело идет о верном и честном куске хлеба, стало быть о том, чтобы людям было легче и удобнее жить на свете. И

над этим стремлением, осуществляемым практически, мы с вами смеяться, конечно, не станем. Все сделанное доселе в данном отношении этими людьми не более как первая попытка, первое зерно, брошенное в почву; но если рост этого зерна будет правилен, сколько блестящих, неоценимых плодов принесет оно!.. Я в Петербурге совершенно случайно натолкнулась на этих "новых людей". Я еще их очень мало знаю, встречаюсь с ними не особенно часто; но я стала пристальней приглядываться к ним и раздумываться над ними. Конечно в них есть свои странные, неуклюжие, пожалуй, и смешные стороны, есть и свои крайности, но при этом, как мне кажется, в них много характера, энергии, упорства и веры в свое дело. Они едва ли способны на крупные уступки и сделки с тем порядком вещей, на борьбу с которым их вызывает стремление к своему идеалу. Все это, повторяю вам, мне так кажется. Они уже тем неизмеримо счастливее меня, что нашли свое дело и идут своей дорогой, с твердою верою и в это дело, и в свое призвание, а я... я все еще стою на каком-то распутьи и жду. А зачем стою и чего жду, — про то и сама не знаю. Вы говорите про Лидиньку Затц. Мы с вами знавали ее в Славнобубенске пустою и несколько эксцентричною болтуньей; но тем-то мне и горьще, что даже эта пустельга делает дело насколько может и умеет делать, что даже и она нашла себе его, а я, грешная, остаюсь только при одних исканиях да добрых порыванъях, от которых в результате все-таки нуль оказывается. Это-то вот горькое раздумье над собою, приведшее меня к такому сознанию, и заставило меня несколько иначе посмотреть на Лидиньку и ей подобных. Я вглядываюсь теперь и хочу вглядеться в них еще ближе, еще пристальнее. Во всяком случае, теперь я стала глядеть на людей этой категории гораздо серьезнее, чем прежде".

Такова была исповедь Татьяны, таковы были мотивы, побуждавшие ее пока если не к окончательному сближению с ее новыми знакомцами, то к установке известного взгляда на них. Причиною этого была все та же неопределенная жажда жизненной деятельности, своего рода Sehnsucht,[78] стремление к призраку дела, такого хорошего, полезного дела, которому можно бы было отдать себя вполне и в нем окончательно уже найти забвение и успокоение душевное.

IV. Вдовушка Сусанна

В Петербурге есть целые дома с таким расположением большинства квартир, которое как нельзя удобнее приспособлено к устройству в них так называемых chambres garnies. Общий, наиболее распространенный тип подобной квартиры непременно представляет длинный, полутемный коридор, с двух сторон которого идут дверки, ведущие в отдельные комнаты. Одна или две из таких комнат размерами своими всегда превосходят все остальные и как бы заранее предназначаются "под хорошего жильца". Эти квартиры редко остаются в Петербурге пустыми и постоянно приносят хороший доход как съемщикам, так и домовладельцам. Одна из подобных квартир, в одном из недалеких от центра кварталов, была нанята на имя вдовы штабс-ротмистра Сусанны Ивановны Стекльштром.

Сусанна Ивановна в полном совершенстве была то, что называется "интересная вдовушка". Для того чтобы быть "интересной вдовушкой", у нее имелось все: двадцать восемь лет от роду, очень привлекательная наружность, известного рода лоск и капитал. Капитал — это главное. А капитал Сусанны Ивановны простирался ровно до шестидесяти тысяч. У Сусанны Ивановны были великолепные густые и длинные каштановые волосы и агатовые карие глаза. Это были глаза большие, лениво-томные и бесконечно добрые с несколько коровьим оттенком в выражении, что придавало им только известный характер, но отнюдь не мешало их красивости. Та же доброта высказывалась и в ее крупных, чувственных губах. Эти волосы и эти глаза, с этим очерком губ и с милой полноватостью всей ее комплекции, при правильной соразмерности среднего роста, делали из Сусанны Ивановны, как сказано уже, очень

привлекательную женщину. Мужчины смотрели на нее с тем особенным выражением, которое находится у мужчин далеко не для каждой женщины и которое всегда является, например, у ремонтеров и у страстных любителей лошадей при взгляде на хорошую, красиво-статистую лошадь. В общем и наиболее постоянном выражении красивого лица Сусанны Ивановны господствовала все та же бесконечная доброта, отчасти апатичная ленивость и еще какая-то недальновидность. Мужчины, поглядывая на Сусанну Ивановну, не без некоторого своекорыстия, обыкновенно думали про себя: "а хорошо бы, черт возьми, порасшевелить эту бабенку!" Все это доказывает только, что интересная вдовушка принадлежала к числу так называемых "вкусных и сдобных" женщин, вечно служащих для огромного большинства субъектов непрекрасного пола одною из самых лакомых приманок. Даже самая недальновидность, отражавшаяся в ее физиономии, не вредила общему впечатлению, ибо — по замечанию некоторых компетентных ценителей — недальновидность в иных случаях относится никак не к недостаткам, но к положительным достоинствам женщины.

Сусанна Ивановна семнадцати лет вышла замуж за гусарского корнета Стекльштрома и притом вышла по самой страстной, неукротимой любви к этому корнету. Все имущество корнета, кроме носильного платья, заключалось в серебряных ментишкетах да в дорожном погребце, причем однако он какими-то судьбами мог служить в гусарах; этому, впрочем, помогало необыкновенно ловкое уменье делать долги, не теряя собственного достоинства. Сусанна Ивановна, единственная дочь и наследница очень богатого южно-степного помещика, с ее стотысячным приданым, была блистательной приманкой и не для одного только гусарского корнета. А тут вдруг эта пылкая любовь к его особе. Корнет Стекльштром в один миг сообразил, что с его стороны было бы величайшею и непростительнейшею глупостью не воспылать к Сусанне Ивановне взаимною любовью — и воспылал. И что всего замечательнее, воспылал совершенно искренно, со всем корнетским пылом. Родитель о таком браке и слышать не хотел; тогда корнет Стекльштром выкрал Сусанну Ивановну из родительской усадьбы, увез ее в эскадрон и обвенчался экстренным манером. Сусанна Ивановна была в восторге и от того, что ее увезли потайным образом, и от того, что у нее такой хорошенький муж, в голубом гусарском долмане, и на третий день после столь радостного события подкатила четверней к родительскому крыльцу, вместе с молодым мужем, в великолепном дормезе, нарочно взятом для этого случая у полкового командира. Родитель было первым делом на дыбы: "ты, мол, не дочь моя! у меня нет более дочери! видеть не хочу!" и проч. А Сусанна Ивановна ему на это: "Батюшка! мы дети ваши! мы любим" и т. д., словом, все совершенно так, как бывает в театральных представлениях, для вящего сходства с которыми, родитель, в конце концов, простер над ними руки и очень трогательно произнес: "Дети мои, будьте счастливы" и задал великолепный банкет всему гусарскому полку и всему местному "благородному дворянству". Родитель даже очень полюбил своего зятька и по прошествии трех лет отписал ему, что так как его родительское здоровье становится плохо, то и хотел бы он последние дни свои провести с детьми и внуками, а посему выходи-ко в отставку и перебирайся ко мне в деревню. Зять так и сделал, а месяцев десять спустя родитель скончался — и madame Стекльштром сделалась обладательницей богатого наследства. Отставной штаб-ротмистр зажил широко, на гусарско-барскую ногу, и супруга была этим очень довольна. Прожили они таким образом во взаимном мире, любви и согласии почти девять лет, считая со дня своей свадьбы. Сам Стекльштром за все это время успел сильно обленииться, обрюзгнуть, растолстеть и стал страдать одышкой. Madame же Стекльштром только хорошела себе на привольной помещичьей жизни. Было у них двое детей — двое мальчиков, и родители с обоюдного своего согласия порешили, что пора, мол, для мальчиков, взять гувернера, который был бы заодно уж и учителем. Бонна-француженка у них уж была, и мальчуганы хорошо болтали по-французски; к немецкому же языку и к немцам сам Стекльштром, несмотря на свою отчасти германскую фамилию, питал, — сколь ни странно это — самое непримиримое отвращение и учить детей "этому телячьему языку" ни за что не хотел. Поэтому решено было не брать в гувернеры ни немца, ни француза.

Случилось ему быть по делам в Ростове-на-Дону, и тут ему кстати отрекомендовали хорошего гувернера. Отрекомендовал некоторый нахичеванский купец-армянин, с которым Стекльштром имел дела по шерстяной торговле. В качестве искомого гувернера к экс-гусару явился молодой человек армянского происхождения и отрекомендовался студентом, который "по домашним обстоятельствам" не успел докончить университетского образования. Точно ли молодой человек был студентом и на сколько в показаниях его правды, Стекльштром не справлялся, а просто «морда» ему понравилась, и он взял его в гувернеры. Этот гувернер из восточных человеков был Малгоржан-Казаладзе.

Этот Малгоржан, как сказано уже, в силу солидарности со всеми своими единородцами, воображал о себе, что он "молодца и красавица", и вдруг — увы! к несчастию толстого Стекльштрома, Сусанна Ивановна нашла его тоже "молодцой и красавицей"... Помещичьи хлеба в то время были еще хорошие, жирные, деревенское житье привольное, спанье на пуховиках сладкое, деревенская скука великая, и барское, а особенно женское безделье неисчерпаемое, — и вот, в силу всех этих совокупных причин, а более всего от скуки и безделья, полезла дурь в голову Сусанны Ивановны. А тут еще этот Малгоржан со своими "новыми идеями". Он сразу почти принялся «развивать» Сусанну Ивановну, и развитие это касалось более того, что жить так, как Сусанна Ивановна живет, для "мыслящей женщины" невозможно, что эдак можно задохнуться — и Сусанна Ивановна вдруг стала сознавать, что и точно можно задохнуться и что она уже задыхается. Потом Малгоржан стал уверять, что она хотя еще и не развитая, но очень замечательная, "мыслящая и из ряду вон выходящая женщина" — и Сусанна Ивановна стала чувствовать, что она и мыслит, и из ряду выходит, хотя до Малгоржана ни того, ни другого в себе не замечала; но тем-то и более чести этому Малгоржану, тем-то и выше заслуга его, что он первый подметил в ней это выдавание из ряду, что он первый «разбудил» в ней "трезвую мысль". Стал Малгоржан говорить ей, что хотя ее супруг, быть может, и очень почтенный по-своему человек, но что он, во всяком случае, человек ретроградный и "не понимает" своей супруги, и даже не может понимать ее — и Сусанна Ивановна вдруг стала замечать, что и в самом деле не понимает и понять не может, что он только спит да ест, да со старостой об овсах толкует. Малгоржан стал уверять ее, что она, вследствие всего этого, очень несчастлива в своей семейной жизни, что эта обстановка не по ней — и Сусанна Ивановна уверовала, что и точно она очень несчастлива и что ей как можно скорей надо другую обстановку. Результат всего этого развития, которое тем только и ограничилось, был очень лаком для нахичеванского Малгоржана. Со скуки Сусанне Ивановне казалось даже, что она очень привязана к Малгоржану, что без него она жить не может, что он первый, который "понял, разбудил и воззвал ее к новой жизни", что он всегда, даже и до своего появления в их доме, был ее идеалом, что она всегда стремилась к такому идеалу и только теперь обрела его. Сначала все было шло хорошо у них в этой новой жизни при старой обстановке. Развитие благополучно дошло до точки, желанной Малгоржану: толстый Стекльштром по-прежнему ел, спал и толковал об овсах со старостой, как вдруг этот самый злодей-староста, "жалеючи пана", подшепнул ему однажды, что у самой пани "с тым голоцуцым гармяшкой щос-то таке скоромне — бодай стонадсять чертов его батькови!"

Стекльштром знал, что староста мужик честный, верный и правдивый, который на ветер зря слова не кинет, тем не менее очень рассердился, вспылил, сказал ему дурака и каналью и с топотом выгнал из кабинета. Но старостино слово заронилось ему в душу и втайне стало сосать и тревожить его. Толстяк исподволь начал наблюдать за женой и гувернером, и вскоре должен был убедиться, что старостине слово не мимо шло. Он, нимало не думая, принял Малгоржана в арапники, и после горячей собственноручной расправы, вытурил из дому, "чтоб через час и духу его на десять верст не пахло!" Сконфуженный Малгоржан удалился в родную Нахичевань, а у Стекльштрома с этой несчастной минуты пошел непрерывный кавардак в его семейной жизни. С Сусанной Ивановной стали делаться нервные припадки, пошли истерики, вопли,

слезы, укоры, брань… Дети, видя, что мать чего-то вопит, тоже рев подымают, и идет этот рев и вой по всему дому. Супружеские крупные сцены вспыхивали ежедневно, а то и по нескольку раз на день. Сусанна Ивановна томилась по своему Малгоржану и все порывалась лететь к нему и за ним хоть на край света; дети забыты, заброшены, занеряшены и неумыты; хозяйство ползет врознь, всякое дело из рук валится; за столом в горло кусок нейдет, вся домашняя прислуга с толку сбилась и в барских комнатах ходит как одурелая… Адом стал этот дом и эта жизнь для толстого и ленивого Стекльштрома. Наконец Сусанна Ивановна решительно объявила ему, что жить более с ним не намерена и уезжает сегодня же, что он с детьми может оставаться в деревне, а она со своей стороны, так как все состояние принадлежит ей, будет высылать ему и детям ежегодно известного рода пенсию, и засим просит считать ее свободною во всех отношениях. Стекльштром ни слова не возразил ей на это: он рад был избавиться от домашнего ада — и Сусанна Ивановна укатила, впрочем очень нежно простясь со своими мальчиками. Чрез две-три недели после этого она уже была в Петербурге, в сопровождении своего «кузена» Малгоржана-Казаладзе.

Однако столь резкая перемена в семейных обстоятельствах не прошла даром для экс-гусара. Он затосковал, и с горя, в круглом безвыездном одиночестве, сильно стал придерживаться чарочки! Он сделался еще ленивее и сонливее, по целым суткам не сползал со своего дивана и кончил тем, что чрез полгода подобной жизни, в одну душную ночь хватил его кондрашка; к полудню случился второй удар, вечером третий — и штаб-ротмистр Стекльштром переселился в обители горния.

Сусанна Ивановна сделалась "интересной вдовушкой".

Она съездила в деревню затем, чтобы над могилой мужа воздвигнуть приличный мавзолей, свести свои счеты да дела и забрать своих ребят, которых намеревалась поместить в Петербурге в полный пансион к одному педагогу. По сведении счетов оказалось, что в течение девяти лет прожито без малого шестьдесят тысяч, что, при широкой жизни, сравнительно говоря, было еще не особенно много. Сусанна Ивановна порешила продать свое имение, ужасно продешевилась на этой продаже, но все-таки в конце концов у нее осталось наличных еще около шестидесяти тысяч, с которыми она и прикатила опять в Петербург, в объятия восточного кузена. У Малгоржана были здесь его старые знакомые, с которыми он сошелся еще года за два пред сим, в то время как в качестве вольнослушателя посещал университетские лекции. Между этими знакомцами первую роль играли Лука Благоприобретов и Моисей Фрумкин. Малгоржан уважал и того, и другого. Появясь в Петербурге с такою интересною особою, как Сусанна Ивановна, он никак не воздержался, чтобы не познакомить с нею своих уважаемых приятелей, пред которыми предварительно распространился о том, какая это замечательная женщина, как он постарался дать ей человеческое развитие и затем вырвал из когтей тирана и деспота мужа. Лука с Моисеем весьма благосклонно отнеслись к «кузинке» Малгоржана.

Лука Благоприобретов хотя и был человек узкий, односторонний, но в высшей степени своеобразно честный. Это был по природе своей фанатик, и не будь он "новым человеком", то наверное был бы самым суровым отшельником-монахом. Других исходов для него не существовало бы. Он и теперь вел жизнь самую суровую, исполненную всяческих, и вольных и невольных, лишений. Это был идеалист реализма или, вернее сказать, мистик реализма, которому поклонялся с фанатизмом индийского факира. И он глубоко веровал в то, чему поклонялся. Будучи нищ и убог средствами, но тверд и богат своею верою, он упорно мечтал о множестве проектов, ведущих к пересозданию рода человеческого, к обновлению социального строя человеческой жизни. Ему хотелось, чтоб люди жили в великолепных алюминиевых фаланстерах, пред которыми казались бы жалки и ничтожны дворцы сильных мира сего, чтобы всякий труд исполнялся не иначе, как с веселой песней и пляской, чтобы каждый человек

имел в день три фунта мяса к обеду, а между тем сам Лука зачастую не имел куда голову преклонить, спал на бульваре, ходил работать на биржу, когда не было в виду ничего лучшего, и иногда сидел без обеда. Но собственные несчастия и неудачи как-то мало его беспокоили; привык ли он к ним, или натура уж у него была такая закаленная, только эти лишения и невзгоды составляли для него даже предмет самодовольной гордости. Он именно как бы гордился тем, что ему есть нечего и голову преклонить некуда, и еще сам даже старался увеличивать свои неудобства. Когда, например, кто-нибудь из товарищей предлагал Луке теплую комнату и мягкую постель, Лука зачастую отказывался и уходил спать на бульвар или в парк Петровский.

Моисей же Фрумкин был великий практик в делах мира сего и обладал чисто иудейской увертливой и находчивой сметкой. Когда Малгоржан-Казаладзе поведал двум своим приятелям о подвиге развития, учиненном над помещицей Сусанной, и о том, что у этой Сусанны есть шестьдесят тысяч чистоганом, Фрумкину вдруг явилась блестящая идея приспособить Сусанну "к делу". Он сообразил, что хорошо было бы убедить эту Сусанну основать на часть ее денег нечто вроде фаланстера для совместного сожития "новых людей" и тут же кстати примкнуть швейную, переплетную и прочие блага. Эту богатую идею сообщил он Луке, и Лука схватился за нее со всем жаром: он видел в ней фактическое осуществление своей заветной мечты о перерождении и перевоспитании рода человеческого. Когда друзья посвятили Малгоржана в свой проект, то Малгоржан сильно поморщился, однако же после довольно долгих и энергических убеждений, боясь потерять репутацию "нового человека" и уважение Луки и Моисея, склонился на их доводы, склонился с затаенным сокрушением сердца, ибо втайне ласкал себя приятною мыслию, что эти шестьдесят тысяч в силу, так сказать, нравственного сродства с Сусанной, принадлежат и ему, в некотором смысле. Но убежденный наконец красноречивыми доводами Фрумкина, он рассчел, что устройство фаланстера и прочих благ потребует немного — что-нибудь вроде пяти-шести тысяч, и потому, как ни больно это было в сущности, дал друзьям свое согласие и обещал действовать на Сусанну заодно с ними.

Фрумкин приступил к интересной вдовушке исподволь, гораздо глубже и дельнее, чем Малгоржан, посвящая ее в недра новых идей нового человечества. С нею, впрочем, работы ему было не много: врожденные качества недальновидности и бесконечной, коровьей доброты, столь ярко написанные на ее лице, помогли ему в этом случае чуть ли не более, чем все великие идеи и горячие убеждения. Вдовушка Сусанна никому никогда и почти ни в чем не умела отказывать, а потому весьма охотно согласилась нанять на свое имя пригодную квартиру и, под видом жильцов, пускать в нее на жительство тех людей, на которых укажет Малгоржан и его приятели. Труд и капитал в этом случае предполагались общие, на основании строгой ассоциации, так что Сусанна, судя по доводам Фрумкина, и не могла быть в каких-нибудь особенных убытках. С основанием фаланстера предполагалось тотчас же приступить к осуществлению и прочих проектов.

Мечтатель Лука, продолжая измозжать свою плоть добровольными лишениями, был совершенно счастлив, и в это-то время написал к Полоярову то немногоглаголивое, но ясноречивое послание, которое побудило Ардальона лететь из Славнобубенска в Питер.

V. Великие проекты продолжают осуществляться

Шатался по Петербургу без всякого дела некий юный князь Сапово-Неплохово. Воспитание и образование свое с грехом пополам кое-как окончил он в одном из привилегированных рассадников «статских» деятелей земли Русской. Впрочем, он не то, чтобы даже окончил курс, а просто выдали ему из рассадника свидетельство, что находился, мол, в таком-то заведении. Поэтому князь Сапово-Неплохово, в сущности, был то, что называется "любитель просвещения". Естественное предназначение этого князя, казалось бы, должно заключаться в

граненьи тротуаров Невского проспекта, в посещении французских спектаклей да различных Бланш, Жозефин, Прозерпин и проч. Но у князя открылась вдруг одна злосчастная слабость: князь возжелал сделаться великим человеком, светилом своего отечества, — он ощутил до такой степени сильный зуд писательства, что во что бы то ни стало заказал себе быть литератором. "Быть литератором" — это стало любимейшею мечтою, счастливейшею надеждою, неотступною idée fixe[79] юного князя, которая преследовала его и наяву, и во сне. Князь сочинял стихи, романы, очерки, драмы, эпопеи, водевили, критические и социальные этюды, политические статейки, фельетоны, словом — все, чем только может быть богата самая разнообразная литература. Это был самый плодовитейший отец своих творений. Каждое из них отдавалось отличному каллиграфу, который переписывал княжеское произведение отчетливейшим образом и трудился над затейливым изукрашением заглавного листа, после чего тетрадь поступала к переплетчику и выходила из его мастерской не иначе, как в великолепной бархатной и золотом тисненной обложке. Можно с полною уверенностью утверждать, что ни одно из произведений самых величайших гениев человечества не удостоилось чести побывать в руках своего творца с такою роскошною внешностью, как произведения князя Сапово-Неплохово. Но при этой неукротимой и почти болезненной слабости к писательству и при громадном авторском самолюбии, неизбежно соединенном с нею, князь Сапово — увы! был бездарен и глуп. И эти два качества отражались в каждом его произведении. Но, как всегда бывает в подобных случаях, они ярко кидались в глаза всем и каждому, исключая самого князя, который считал себя самым разнообразным гением, потому что может писать все — от физиологического трактата до водевиля. Князь жаждал известности и славы. Со своими роскошно отделанными тетрадями он кидался во все решительно редакции, от «Современника» до "Домашней беседы", и конечно, не было в России человека, который бы лучше и тверже знал наизусть адресы всевозможных петербургских и московских редакций, а князь изучил их по многократным, собственноличным опытам.

Но увы! — не нашлось ни одной газетки, ни одного журнальчика, который решился бы украсить свои страницы одним из бесчисленных произведений Сапово-Неплохово. И что же? — Князь не падал, не унывал духом, не разочаровался, даже не озлобился ни на единую из редакций! Черта похвального, редкого великодушия и незлобивости, при авторском самолюбии князя. Он всячески искал знакомства с российскими литераторами, зачастую назойливо являлся ко многим из них на поклон и рад был кормить их обедами и ужинами. Охотники, конечно, находились. Князю было решительно все равно какого сорта эти литераторы — лишь бы только литераторы! Он довольствовался счастливым сознанием, что это «писатели», помещающие статьи свои в журналах. И вот, этого-то князя, со всеми его слабостями, наметил себе однажды Моисей Исаакович Фрумкин, который в одной из редакций занимался иногда переводами.

Для Фрумкина подобный князь был неоцененной находкой — и Фрумкин решил, что и его точно так же как Сусанну Ивановну, необходимо нужно "приспособить к делу". Князь сохранил еще некоторые остатки от состояния, тысяч до тридцати. Этот капиталец можно было пустить в предприятие. Фрумкин познакомил князя с Лукою и «литератором» Полояровым.

Князь остался в восторге и от того, и от другого, а особенно от Полоярова, который, будучи предупрежден Фрумкиным, стал расхваливать княжеские стихотворения. Ардальон сразу огорошил князя такою новостью, что все журналисты, мол, сволочь, эксплуататоры честного труда и вдобавок ни уха, ни рыла не смыслят, и что гораздо лучше взять да основать свой собственный отдельный и независимый орган, и в нем уже невозбранно печатать все, чего только душа пожелает. Князю необыкновенно улыбнулась идея — самому быть редактором и печатать в *своем* журнале все свои произведения.

На такое дело он ни на минуту не призадумался бы ухлопать все свое состояньишко. Но Фрумкин, хотя и очень сочувствовал такой идее, однако же находил, что сначала практичнее было бы устроить дело книжной торговли с общественной читальней, которая могла служить общим центром для людей своего кружка, а при книжной торговле можно сперва, в виде подготовительного опыта, заняться изданием отдельных хороших книжек, преимущественно по части переводов, а потом уже приступить и к журналу.

Князь и от этой идеи остался в восторге, а так как ее поддерживал и Лука Благоприобретов, то ей и суждено было осуществиться ранее журнала. Был подыскан один полуразорившийся книгопродавец, у которого на княжеские деньги куплен магазин, — и вот, в одно прекрасное утро, над окнами этого магазина появилась известная уже вывеска: "Книжная торговля и кабинет для чтения Луки Благоприобретова и К°". Имя Луки появилось на этой вывеске по просьбе самого князя, который не хотел (хотя и не сознавался в том), чтобы его аристократическое имя блистало на уличной, торгашеской вывеске.

Фрумкин по этому поводу прочел блистательный панегирик его скромности. Магазин хотя и был приобретен исключительно на княжеские деньги, но, по проекту Моисея и Ардальона, все это дело предполагалось основанным на началах ассоциации: князь внес капитал денежный, а остальные должны были внести капитал умственного и материального труда и чрез этот вклад сделаться равноправными дольщиками. Но в сущности, если кто и трудился неусыпно и неустанно, то это один Лука Благоприобретов, который ради этого дела отказался от житья в фаланстере и поселился кое-как в узенькой и темной каморке, находившейся тут же, при книжном магазине. Нужды нет, что каморка походила более на тесный чулан, чем на комнату — неприхотливый Лука был ею совершенно доволен, и все свое время проводил при книжном деле. Днем приводил в порядок книги, справлял должность библиотекаря, конторщика, бухгалтера, приказчика и даже рассыльного, а ночью составлял каталоги, писал отчеты и еще успевал справляться за сторожа, для чего собственно и поселился в каморке. Он поутру и печи топил, и пол подметал, и на все эти работы у него как-то с избытком хватало времени. Одним словом, это был самый деятельный участник предприятия, и имя его недаром стояло на вывеске. Остальная компания, в ожидании будущих успехов и барышей, была только приятной компанией — не более. Впрочем, и вдовушку Сусанну приурочили к делу, "чтобы не даром ела хлеб". Ее поставили за магазинную конторку и, в помощь Луке, заставили продавать книги. Вдовушка, сделавшись компаньонкой, отполировалась в этой компании почти не менее Лидиньки Затц. Хотя и многого она не понимала, и хотя вообще "новые идеи" шли к Сусанне вроде того, как седло к корове, тем не менее она с большим успехом усвоила себе тот особенный тон и жанр, который показался так странным Татьяне Николаевне, когда Сусанна встретила ее предположением, что ей нужны, вероятно, глупые книжки.

Князь был совершенно счастлив. Он чувствовал живейшую благодарность к Фрумкину, Луке и Ардальону, и все время плавал в восторге, что наконец-то добрая судьба поставила его в обществе "таких людей". Моисей уверил его, что он даже в некотором роде Меценат и, вместе с Полояровым, сбывал ему очень выгодно на чистые деньги разные свои статейки, в качестве материалов для будущего журнала. Этих Моисеевских и Полояровских материалов набралось у князя уже изрядное количество, и не мало денег было за них переплачено двум даровитым авторам, а дело о журнале все еще стояло на точке замерзания. Фрумкин находил, что прежде чем затевать журнал, необходимо основать свою собственную типографию, в которой он мог бы печататься, и заведывание этою типографиею взять в свои собственные Моисеевы руки. И вот, вскоре плохенькая типография была приобретена, тоже по случаю, и Лидинька Затц занялась было наборщицким делом, но вскоре впрочем нашла, что это дело не по ней, и что она несравненно будет полезнее в читальной, хотя бы даже одним своим присутствием.

VI. Вечер в коммуне

У обитателей «фаланстера», известного более под именем «коммуны», был «вечер». Они порешили сообща — раз в неделю делать сборные вечера для знакомых. Тут присутствовали теперь все наличные обитатели этой коммуны: Лидинька Затц, Анцыфров, Полояров, Малгоржан-Казаладзе, юный князь и вдовушка Сусанна. Мы застаем их теперь в "общей комнате". Эта общая комната, хотя в ней и сидело теперь несколько человек, все почему-то невольно напоминала какой-то нежилой покой: совершенно голые стены, голые окна, из которых в одном только висела, Бог весть для чего, коленкоровая штора, у стен в беспорядке приткнулись несколько плетеных стульев, в одном углу валялись какие-то вещи, что-то вроде столовой да кухонной посуды, какие-то картонки, какая-то литография в запыленной рамке, сухая трава какая-то в бумажном тюричке, ножка от сломанного кресла… Посредине комнаты стоял большой раздвижной стол с несколько безобразно приготовленным чайным прибором. Словом, эта "общая комната" делала такое впечатление, как словно бы она совсем нежилая, или бы в нее только что переезжают новые жильцы, не успевшие еще устроиться.

Здесь собралось уже несколько гостей. Одним из первых по времени был Лука Благоприобретов, который не то скромно, не то угрюмо и совершенно молча, нелюдимым сидел в углу на стуле. Вдовушка помещалась за чайным столом и занималась приготовлением чая, а обок с нею присоседился Василий Свитка и бравый конно-артиллерийский поручик Бейгуш, который довольно весело и непринужденно болтал с Сусанной Ивановной, к видимому неудовольствию Малгоржана, искоса поглядывавшего на них из другого конца комнаты. Болтовня бравого поручика, очевидно, была весьма приятна вдовушке Сусанне, а это тем более бесило восточного кузена. Остальные гости занимались кто чем хотел, не стесняя ни себя, ни хозяев.

В передней раздался звонок, возвещавший нового посетителя.

— Малгоржан! подите, отворите двери! — вскричал Полояров восточному человеку.

— Ходите сами! — возразил Казаладзе.

— Подите, говорю! Это к вам гости.

— А почему вы думаете, что ко мне? А может это к вам?

Звонок повторился.

— Малгоржан! Да подите же!

— Я не пойду… Ступайте вы, Анцыфров, коли он не хочет.

— Да это не ко мне; это, вероятно, к вам звонят, — отозвался дохленький.

— Нет, к вам.

— Нет, не ко мне, потому что…

— Потому что не потому что, а я уже раз отворял, а теперь очередь за другими. Пускай кто хочет, тот и идет!

Звонок повторился в третий раз.

— Малгоржан, да не спорьте же! — досадливо возгласил Полояров. — По теории вероятностей, это к вам, говорю!

Бейгуш, с весьма сдержанной иронической улыбкой слушавший этот курьезный спор сообитателей, встал наконец с места и прошел в переднюю. Лидинька подбежала к дверям полюбопытствовать, кого еще принесло там?

Бейгуш отомкнул задвижку и впустил даму, которой весьма предупредительно помог снять салол.

— А! Стрешнева! здравствуйте, миленькая! наконец-то вы к нам забрались! — застрекотала Лидинька.

Полояров сделал кислую гримасу. — "И на кой черт они ее сюда поваживают!" пробурчал он себе под нос.

Татьяна Николаевна раза по два в неделю обыкновенно захаживала за книгами в компанейскую читальню и там проводила несколько времени в разговорах с ее неизменными *завсегдатаями.* В последнее время это было для нее почти единственным развлечением. Лидинька Затц вместе с Сусанной Ивановной чуть ли не каждый раз приглашали ее посетить как-нибудь их «коммуну», и Стрешнева обещалась, но все как-то не успевала собраться, а Лидинька между тем, без особенных претензий, заезжала к ней уже дважды. Татьяна знала, что в коммуне бывают вечера, и вспомнив, что именно сегодня там вечер, взяла и поехала, предварив тетку, чтобы за нею прислали человека часу в двенадцатом. Ей все еще хотелось рассмотреть поближе этих "новых людей", которым она втайне даже несколько завидовала, воображая, что они живут "для дела" и приносят свою посильную пользу насущным и честным требованиям жизни, а все те книжки и статьи, которыми снабжали ее из читальной, еще крепче поселяли это убеждение в ней, в "коптительнице неба", как она себя называла.

— А вот, господа, кстати! — хлопнула в ладоши Лидинька, входя в залу и обращаясь ко всем вообще. — Дело касается женского вопроса. Сейчас вот Бейгуш снял со Стрешневой салоп, имеет ли право мужчина снимать салоп с женщины?

— Отчего же нет? — отозвалась вдовушка.

— А по-моему не имеет, потому что это унижение женщины. Да-с! — торжественно раскланялась Лидинька. — А я бы на месте Стрешневой не позволила бы ему. Все равно то же что и руку у женщины целовать! Это все поэзия-с, гниль, а по отношению к правам женщины, это — оскорбление... Вообще, сниманье салопа, целованье руки и прочее, это есть символ рабства. Отчего мы у вас не целуем? Отчего-с? Отвечайте мне!

Бейгуш с улыбкой, в которой выражалась явная затруднительность дать ей какой-либо ответ на это, только плечами пожал; но из двух «вопросов», возбужденных Лидинькой, возник очень оживленный и даже горячий спор, в котором приняла участие большая часть присутствующих. И после долгих пререканий, порешили наконец на том, что ни снимать салоп, ни целовать руку мужчина женщине отнюдь не должен. Лидинька искренно торжествовала.

— Новые начала жизни вырабатываем, душечка! — пояснила она Татьяне.

Между тем Свитка с Бейгушем и Сусанной, почти с самого начала этого спора, устранились от всякого в нем участия. Они, под прикрытием большого самовара, уселись себе совершенно отдельной группой и вели свои разговоры, не обращая ни малейшего внимания на прочих. Когда же, наконец, был порешен вопрос о поцелуе и салопе, нестройный говор затих и

наступила минута мимолетного, но почти общего молчания, что иногда случается после долгих и горячих словопрений. В эту-то самую минуту внимание некоторых почти невольным образом остановил на себе бравый поручик. В руках у него была случайно подвернувшаяся книга, — кажись, какой-то журнал за прежние годы — и Бейгуш что-то читал по ней тихо, почти вполголоса, но выразительно-красивое лицо его было одушевлено каким-то особенным чувством, как будто в этой книге он сделал неожиданную, но в высшей степени приятную находку.

Вдовушка Сусанна слушала его с апатично-приветливой улыбкой, но едва ли понимая, что он читает.

"Когда меня ты будешь покидать, —

декламировал Бейгуш,

Не говори "*прощай*" мне на прощанье:
Я не хочу в последний миг страдать,
И расставаясь, знать о расставаньи!
В последний час, и весел, и счастлив,
У ног твоих, волшебница, я сяду
И вечное «люблю» проговорив,
Из рук твоих приму я каплю яду;
И головой склонившися моей
К тебе на грудь, подруга молодая,
Засну, глядясь в лазурь твоих очей
И сладкие уста твои лобзая;
И так просплю до страшного суда;
Ты в оный час о друге не забудешь:
С небес сойдешь ты ангелом сюда
И легкою рукой меня разбудишь, —
Вновь на груди владычицы моей
Проснусь тогда роскошливо мечтая,
Что я дремал, глядясь в лазурь очей
И сладкие уста твои лобзая!"

— А мастерски передал! — с увлечением воскликнул он, окончив свою декламацию.

Некоторые господа еще во время чтения недоумело переглядывались между собою.

— Фу! фу! фу!.. Кажись поэзией понесло откуда-то!.. Батюшки мои! стишки читает! — смешливо затараторила Затц, потянув по воздуху носом и тотчас же защемив себе ноздри двумя пальцами. Она желала этим игриво и мило изобразить чувство отвращения.

Многие захохотали, взглянув на комический жест Лидиньки и, очевидно, найдя ее выходку в известной степени острое умною.

— Что это вы за ерундищу читали? — спросил Казаладзе задорным тоном пренебрежительной иронии, которая относилась, по-видимому, не к Бейгушу, а к стихам, хотя в душе-то у Малгоржана кипела злоба против самого Бейгуша.

— Ерундищу?! — вскинул тот на него удивленные взоры. — Это Мицкевич.

— Это ерунда! — подтвердил в ответ Казаладзе.

— Вы, вероятно, не расслышали: это, говорю вам, Адам Мицкевич в великолепном переводе.

— Ну, так что ж что Мицкевич?! И весь-то ваш Мицкевич выеденного яйца не стоит!

— И конечно! Что ж такое Мицкевич?! — подхватили некоторые, присоединяясь к Казаладзе, ввиду удобной возможности нового словопрения.

Легкая ирония дрогнула на губах Бейгуша.

— Для нас, для поляков, Мицкевич — священное знамя, — сказал он, — для нас Мицкевич, пожалуй, побольше, чем для русских Пушкин или Лермонтов.

— Ха-ха! Значит, оба лучше! Один был глупее другого, другой был глупей одного! — подхватил Полояров. — Один — разочарованный гвардейский моншер, юнкерский поэт, а другой — полудурье, флюгер в придворной ливрее. Мицкевича вашего я не знаю, а судя по этим стишонкам, — так себе, клубничку воспевает.

— Так это по-вашему, клубничка? — не без азарта привстал поручик с места, опираясь на стол кулаками.

— А что же-с? Ведь он же тут про любовь что-то болтает?

— Так после этого и Венера Милосская клубничка, и Мурильевская Мадонна клубничка!

— Ну, и разумеется, клубничка! А вы как полагали?.. Батюшка мой, я вам скажу-с, — ударяя себя в грудь и тоже входя в азарт, говорил Полояров, — я вам скажу-с, по моему убеждению, есть в мире только два сорта людей: мы и подлецы! А поэты там эти все, артисты, художники, это все подлецы! Потому что человек, воспевающий клубничку и разных высоких особ, как например Пушкин Петра, а Шекспир Елизавету — такой человек способен воровать платки из кармана!

— Ну, а Данте? а Гомер? — подстрекнул Бейгуш.

— Э, полноте, пожалуйста! — досадливо махнул рукою Ардальон; — что вы про Гомера толкуете!.. Дурак, обскурант! верил в каких-то там богов…

— В каких же? — улыбнулся Бейгуш.

— В каких-с?..

Полояров чуточку замялся.

— Да что вы экзаменовать меня что ли хотите?

— Нет, мне просто любопытно знать, — не более.

— Ну, а я уж такими пустяками не занимался-с. Человеку нашего поколения и нашего развития пожалуй что оно и стыдно бы, да и некогда заниматься подобными глупостями! Хм! говорят тоже вот, что Шекспир этот реально смотрел на вещи! — продолжал он, благо уж имена ему под руку подвернулись, — ни черта в нем нет реального! Во-первых, невежда: корабли у него вдруг к Богемии пристают! Ха, ха, ха!.. к Богемии!

— А где это Богемия? — совершенно невинно вопросила вдовушка.

— В Германии, мимоходом буркнул ей Полояров. — А во-вторых, какая же это реальность, — продолжал он, — коли вдруг ведьм повыдумывал да Гамлетову тень еще там, да черт знает что!.. Или вдруг относится серьезно к такому пошлому чувству как ревность, и драму на этом строить! Ведь узкость, узкость-то какая! А дураки рот разевают да кричат ему: гений! гений!.. Плевка он стоит, этот ваш гений!

— Это все не то. Это все праздные речи! — глухим своим голосом вмешался в спор Лука Благоприобретов, медвежевато выползая из своего угла. — И Пушкин ваш, и все эти баре — все это один голый разврат, потому что сама эстетика и это, так называемое, искусство пресловутое — тоже разврат. И всех бы их на осину за это! Вот что-с!

Лука Благоприобретов в совершенно спокойном или в злющемся состоянии обыкновенно молчал, а если и заявлял свое мнение, то всегда очень кратко, почти односложными словами, а то и просто мычаньем. Но когда он оживлялся, что впрочем случалось очень редко, или если его уж чересчур что-нибудь за живое задевало — тогда глаза его начинали сверкать, на хмуром лбу напряженно выступали синие жилы, и весь он так и напоминал собою фанатического отшельника, инквизитора.

— Взгляните-с на дело исторически, — обратился он к Бейгущу. — Где и при ком испокон веков ютилась эта мерзость? Когда наиболее процветало это ваше искусство и чему оно служило? — На содержании у разных аристократов, у разных Медичиссов, да Меценатов!.. Какие сюжеты-с? — Микельанджело вдруг эдакую возмутительную пошлость как "Страшный Суд" изображает; и не в карикатуре, а серьезно-с, трагически! Вместо того, чтобы вести к разоблачению мистификации и предрассудков, он этой картиной еще более запугивает простое воображение, оказывает услугу невежеству и клерикальным эксплуататорам! А все эти Мурильи, Рафаэли и прочая сволочь малюют ангелов, да мадонн, да героев с богами, тогда как у них под носом кишмя кишат такие веселенькие пейзажики, как голод, нищета, народная, невежество масс, рабство и тирания, а они, подлецы, — на-ко тебе! — в небесах витать изволят! Искусство, батюшка мой, только и может жить, что при дворе тиранов! Искусство — это лизоблюдничанье, пресмыканье! Для меня эти слова — синонимы! У народа нормально развитого и свободного никакого искусства нет и не должно быть! А занимаешься искусством, так тебя надо либо в больницу умалишенных, либо в исправительный дом! У свободного народа вместо искусства полезные ремесла должны стоять на первом плане, потому что выделка хлопка или сапоги хорошо сшитые гораздо нужнее народу, они полезнее, а стало быть и выше всех этих мадонн и Шекспиров!

— Н-да-с! И вот если бы ирландцы питались вместо картофеля горохом, — визгливо запищал вдруг, ни к селу, ни к городу, маленький Анцыфрик, — так они были бы и умнее, и богаче, и свободнее! Н-да-с!

— А я из всех искусств признаю одно только повивальное искусство, которому и намерена посвятить себя! — громогласно заявила Лидинька во всеобщее сведение, хотя все и без того знали, что она теперь хочет быть повитухой, как месяц тому назад хотела быть наборщицей, а два месяца назад — закройщицей. У Лидиньки вообще было очень много самых разнообразных, но всегда самых благих хотений.

— Так вот-с и выходит, что ваш «священный» Мицкевич — лизоблюд, в некотором роде! — нахально подступил к Бейгушу ревнивый восточный кузен, которому все хотелось как-нибудь оборвать счастливого своего соперника.

— По-моему выходит только то, что если я чего не знаю, то о том и спорить не буду! — обидчиво вставая с места, возразил поручик. — Я поляк, я патриот, и говорю это открыто и

громко, а потому мне дорога каждая строка моего народного поэта.

— О! уж и на патриотизм пошло! — замахав руками, подхватил юный князь Сапово-Неплохово и залился скалозубным, судорожным смехом. — Патриотом быть! ха, ха, ха, ха! Патриотом!.. Ой, Боже мой! до колик просто!.. ха, ха, ха! Но ведь это ниже всякого человеческого достоинства! ха, ха, ха, ха! Какой же порядочный человек в наше время... Нет, не могу, ей-Богу!.. Ха, ха, ха!.. Ой, батюшки, не могу!.. Патриотом!

И князь, сюсюкая и слюнявясь от слезного хохота, снова покатывался на стуле, как будто в слове «патриот» заключался для него талисман неистощимого смеха.

Бейгуш смотрел на него сначала недоумело, а потом с усмешкой грустного снисхождения. На губах у него как будто шевелилось и готово уже было сорваться слово «дурак», но Василий Свитка предупредительно дотронулся до него под столом ногою — и Бейгуш воздержался от всяких изъявлений своего мнения.

— А вот новость, господа! Новость! — возопила Лидинька, вдруг спохватившись с этою новостью, про которую не успела вспомнить ранее. — В некотором роде событие, господа! — Бюхнер вышел! Цена два с полтиной! Кто не купит, тот подлец!

— Всенепременнейше подлец! — авторитетно скрепил Полояров.

— Почему же это так строго? — с улыбкой спросила Стрешнева у Лидиньки.

— Потому, душечка, что только одни материалисты могут быть честны. Об этом вон и в "Современном Слове" так пишут.

— Ну, "Современное Слово" еще не авторитет, — заметила Татьяна.

— Нет-с, как для кого, а для мыслящего реалиста авторитет! И не малый! — компетентно вмешался Полояров, которого все время подмывало, по старой памяти, сказать Татьяне что-нибудь колкое.

— Это доказывает только, что авторитеты бывают разные! — с миролюбивыми целями, снисходительно и мягко помирила их Лидинька.

— Конечно разные, — согласился Ардальон;- для иных вон и Гумбольдт авторитет, пожалуй.

— И для меня в том числе, — с улыбкой заметила Татьяна.

— Ну, а для нас он только прусской службы действительный тайный советник и кавалер! — ответил Полояров, с выразительной презрительностью наперев на свое определение Гумбольдта. — Больно уж он разные крестики да ордена любил, чтобы быть для нас авторитетом!

— Уж вы, кажись, нынче и Гумбольдта отрицаете? — с улыбкой прищурясь на Ардальона, обратился к нему Бейгуш со своего места.

Свитка опять предупредительно толкнул его ногою.

— Отрицаю-с. А что?

— Нет ничего... Я только так... Почему ж и не отрицать, в самом деле?

— Всеконечно-с! — вмешался Малгоржан-Казаладзе, — потому что отрицание — это сила! единственная, можно сказать, сила, а прочее все вздор и гиль!

— Старая истина! — любезно согласился Бейгуш. — В этом роде еще и Репетилов когда-то сказал, что "водевиль есть вещь, а прочее все гиль".

Свитка опять толкнул его ногою, но на сей раз почти напрасно, так как восточный человек не домекнулся в чем суть и подумал, что дело идет вероятно о каком-нибудь литераторе старого времени.

Вскоре после этого Свитка с Бейгушем перемигнулись и взялись за шапки. Вдовушка Сусанна, с самодовольно-ленивой улыбкой выслушивая последние любезности, обращенные к ней тише чем вполголоса, довольно крепко и не без нежности пожала на прощанье руку бравого артиллериста. Малгоржан же, не протягивая руки, удостоил его одним только сухим поклоном. Оба приятеля удалились, далеко не дождавшись окончания "вечера".

* * *

— Фу-ты, черт возьми! Ажно голова затрещала с дурнями! — широко вздохнул Бейгуш, очутясь на улице. — Вот народы-то!.. Ей-Богу, кабы не эта вкусная вдовушка, нога моя не была бы у этой сволочи!

— Что делать, мой друг! — нельзя! Надо бывать иногда, надо следить, отношения поддерживать, — возразил Свитка. — А ты крайне неосторожен! Я уж толкал, толкал: нет, неймется-таки человеку!

— Да ведь невыносимо же, наконец!.. Уши вянут! Тьфу!.. — И поручик энергически плюнул.

— А ты пересиль себя. Я вот только слушаю да услаждаюсь. Пусть их врут себе что угодно и сколько угодно! Чем больше вранья, тем лучше.

— Но ведь в этом же смысла нет человеческого! Какой-то хаос, путаница понятий, сумбур непроходимый!

— Этот сумбур имеет теперь большой ход и огромное применение в российском обществе. Ведь это, милый мой, все "новые люди", передовые люди, их теперь слушают, им поклоняются, их даже — смешно сказать, а ведь так, — их боятся! Они теперь авторитеты. Ведь всю это белиберду, сам знаешь, они в журналах болтают. Достаточно какому-нибудь Полоярову выхватить любое уважаемое имя, заплевать его, зашвырять грязью каких-нибудь темных намеков собственного изобретения, сказать во всеуслышание: это мол, дурак, или это подлец — и что же? — ведь все великое всероссийское стадо, как один баран, заблеет тебе: дурак! дурак! подлец! подлец! Чего же ты хочешь, если они теперь и в самом деле огромная сила в этом обществе?!

— Нечего сказать, хороша сила и хорошо общество! — презрительно фыркнул поручик.

— По Сеньке и шапка, мой друг! — развел руками Свитка; — а я знаю только одно, что если они сила, и большинство их слушает — ну, и стало быть, они нам полезны! Ну и пользуйся ими! Пропагандируй, внушай, брат, исподволь, развивай незаметно свою идею, долби их, как капля камень, а они ребята добрые — небойсь, разнесут твою идею по белому свету, проведут ее и в печать, и в общество, в массы, да еще будут думать при этом, будто твоя идея их же собственное изобретение. Ну, и пускай их! А ты знай себе только пользуйся!

— Все это очень резонно, — согласился поручик, — да к сожалению чересчур уже скучно.

— Ну, и поскучай, а вдовушка Сусанна тебе будет развлечением.

— Н-да! вдовушка эта, черт возьми! очень-таки вкусная! — ухмыльнулся поручик!

— А пятьдесят тысяч и того еще вкуснее? — подмигнул Свитка. — Ну, а что? как?.. Кажись, что крепость обложена, мины кой-куда подведены и атака подвигается?

— Подвигается! — самодовольно сообщил поручик.

— И стало быть, крепость наша возьмется штурмом, или сама сдастся на капитуляцию бравому пану поручику и будем мы праздновать победу? а?

— И будем праздновать победу! — весело и декламаторски заключил Бейгуш.

VII. Поздний звонок

— И на кой черт к нам эти разные офицеришки таскаются! — едко и озлобленно начал Малгоржан тотчас по уходе Бейгуша. — Эдак скоро и квартальные, и жандармы, пожалуй, сделаются у нас членами!

— Бейгуш ко мне ходит; он мой гость, — отозвалась вдовушка.

— То-то что ваш! Только срам один!.. Между порядочными, честными людьми и вдруг эта ливрея, вывеска деспотизма! Его просто следует не пускать сюда больше!

— Я имею право принимать своих гостей, — утверждала Сусанна. — Мы и все так условливались с самого начала.

— Нет-с, не имеете! отнюдь не имеете! Вы можете принимать только тех, кого вам дозволит все общество… Это только под контролем общества можно, а иначе это измена общему делу, иначе это подлость! Почем я знаю, что это за господин? Может он шпион какой-нибудь!

— Да ведь вы же сами меня с ним познакомили… Чего вы привязались?.. Сами хвалили: и такой, и эдакой, а теперь вдруг — шпион!

Казаладзе, ходючи по комнате, словно бы оступился: его совсем подсекло на минуту простое возражение простоватой Сусанны.

— Это он ревнует, — глухо буркнул из своего угла Благоприобретов.

Все засмеялись. Малгоржану нечего было отвечать. Он только злобно окинул смеющихся своими красновато-жирными восточными глазами и сам принужденно засмеялся.

— Ну-с, граждане и гражданки! — возгласил Полояров, входя в комнату с полными руками: в одной руке тащил он целую корзину с дюжиной пивных бутылок, в другой несколько тюричков с разными припасами. — Для граждан пиво, а есть и водка, и колбаса найдется; а для гражданок яблочки и прянички — дамские удовольствия! Впрочем, если кто из гражданок возжелает чего иного, хотя бы и водочки, то и это не возбраняется! Матушка Сусаннушка, не хотите ли опрокинуть стакашек? Хватим-ка заедино! Ей-Богу!.. Приучайтесь к напитку! Дело годящее! Потому ежели пойдем в страны Сибирские — там ведь холодно — ну, и по неволе придется водочкой телеса согревать; так вы уж лучше заранее приучайтесь.

— Я в Сибирь не пойду; мне не к чему, — апатично отозвалась Сусанна, кутая плечи в кашемировый платок.

— А я так вероятно пойду!.. Прогуляюсь! — с какой-то особенной самодовольной похвальбой ухмыльнулся Полояров.

— Нет, не пойдешь... Что там тебе делать! — заметил Лука. Это мимолетное замечание немножко ущипнуло Ардальона Михайловича.

— Как что? — полушутя подмигнул он. — Пойду! И всеконечно пойду! Так сказать, пионером цивилизации и свободы... Да вы что о Сибири-то думаете? Сибири-с предстоит блистательная будущность: это будут, я вам скажу-с, наши Северо-Американские штаты, потому сторона она здоровая, непочатая, да и закваска в ней хорошая сидит, благодаря вашему брату-колонизатору. Сибири с Россией нечего делать, в России все гниль одна! И теперича сошли они меня в Сибирь, да я им первый за это великое спасибо скажу! Лучшей услуги они мне и оказать не могут! И вы, братцы, по мне не плачьте тогда, а радуйтесь!

— И что ж ты там делать станешь? — поддразнивал Лука, строго храня самый невинный вид.

— А уж это наше дело? — с глубокомысленной многозначительностью увильнул Полояров от прямого ответа, что всегда делал он, когда в голове прямых ответов не находилось.

— А ты не таи; ты скажи. Шпионов нет ведь.

— Да чего ты пристал-то ко мне со шпионами?! Черта ли мне шпионы! Не боюсь я ваших шпионов! Плевать!

— Что шпионов не боишься, это похвально. Да только мы ведь не про шпионов, а про то, что ты в Сибири делать станешь?

— Что делать стану?.. Революцию делать стану! Вот что стану!.. Чего привязался! — огрызнулся Ардальон, обрадовавшись в глубине души тому, что нашел подходящее словцо — и пошел ораторствовать на тему "революции".

— Теперича там эти господа поляки у себя в Варшаве гимны все какие-то поют, — говорил он, — гимны!.. Черт знает, что такое!.. Какие тут гимны, коли тут нужно во!.. Кулак нужен, а они гимны!.. Тоже, слышно, вот, капиталы все сбирают, пожертвования, а никаких тут, в сущности, особенных капиталов и не требуется! Дайте мне только десять тысяч рублей, да я вам за десять тысяч всю Россию подыму! Какое угодно пари!.. Ничего больше, как только десять тысяч! Да и того много, пожалуй!

Татьяна Николаевна, едва скрывая улыбку, поглядела на Ардальона сильно изумленными глазами.

— Вы удивляетесь?.. Вы не верите? — подхватил он, поймав ее взгляд. — Я вам сейчас докажу-с, так сказать, арифметически! По пальцам разочту-с!.. Десять тысяч рублей — и хоть какую угодно революцию сейчас же можно сделать! Ведь я уж, матушка моя, думал-таки над этим предметом! Я рассчитывал, и высчитывал, и концы с концами сводил!.. Н-да-с! Не с ветру говорю вам! Теперича будем класть так, — приступил он к делу, высчитывая по пальцам, — поездка в Лондон, туда и обратно, и потом житье в Лондоне... ну, хоть месяц сроком; житье, конечно, самое скромное; все это обойдется триста рублей. Это раз.

— Зачем же в Лондоне? Можно и в Берлине. В Берлине дешевле, — рассудительно заметила

Лидинька.

— Не мешай ты, черт! — буркнул ей Полояров, тряхнув волосами. — В Лондоне мы изготовим хорошенькую прокламацию-с, — продолжал он развивать свою тему, — да не такую, как эти вам там все «Великороссы» да "Земля и Воля" — это все слабо-с. Ну, "К молодой России" еще туда-сюда, подходит, но и та дрянь, говоря в сущности; а мы изготовим горяченькую, самую настоящую, которая понятна была бы всем сословиям. Ну-с, Трюбнер с Герценом отпечатают нам ее по дешевой цене, а то можно убедить их, чтобы и даром, потому для эдакого предприятия не грех. Прокламацию надо будет отпечатать в шестистах тысячах экземпляров: шестьсот тысяч — это очень достаточно на всю грамотную Россию, а то можно и прибавить потом, сколько потребуется, вторым изданием. Прокламация должна быть кратка и отпечатана убористо, шрифтом боргесом или петитом, бумагу можно достать в кредит — это опять же Александр Иванович с Трюбнером сварганят, тем паче, что печать с бумагой будет единственная услуга, которую Россия с них потребует, потому что, по моему крайнему убеждению, Герцен слишком уж отстал и ни на что более не пригоден. Итак, печать даром, а бумага в кредит. Это два.

— А если не дадут в кредит? — улыбнулась Стрешнева.

— Кто это-с?.. Англичане-то?.. Фи-фю, — с присвистом прищурился Полояров. — На эдакое дело да кредиту не сделать! Нет-с, матушка моя, англичане слишком умны, чтобы не понять всех выгод! Риск тут для них не большой, а коли предприятие удастся, так ведь они очень хорошо понимают, что тут ведь свободной торговлей пахнет для них! Вот что-с!

— Это все, конечно, так! — вполне согласился и одобрил князь Сапово-Неплохово. — Но... трудно такую массу переправить в Россию: я ездил за границу — меня в таможне осматривали...

— Ничего тут трудного нету! — с убеждением возразил Анцыфров, — проходит же контрабанда, и «Колокол» проходит, и "Молодая Россия" прошла. Можно целый корабль нанять для этого.

— Ну, конечно, можно и корабль, — согласился Ардальон, — стоить это будет рублей тысячу. Это три. Итого, пока еще только тысяча триста.

— Но зачем же непременно в Лондон? И для чего тут Лондон? — настаивала меж тем Лидинька Затц, суетливо обращаясь по очереди ко всем и каждому, — на что нам Лондон! Гораздо же дешевле можно здесь, у себя дома, в своей собственной типографии? Не так ли я говорю? Не правда ли?

— В Лондоне шрифты и бумага лучше, — возразил Полояров, — и притом здесь, в этом подлом обществе, ты ни у черта не достанешь в кредит такого количества бумаги, да и подозрение, пожалуй, возникнет: для чего, мол, понадобилось вдруг столько бумаги? А там, это все безопасно. Ну-с, затем тысячи три на разъезды по матушке России, с остановками по разным городам, для заведения надежных агентур, которые уже будут действовать, пускать в народ эти прокламации, — и вот, почти что и все расходы: четыре тысячи триста! Остальное в запасный фонд, на непредвиденные и экстренные расходы. Но это все одна только материальная часть, а теперь разберем шансы нравственные. Во-первых, вся Россия недовольна: крестьяне недовольны тем, что обмануты волей, дворяне недовольны тем, что крестьян отняли, духовенство недовольно своим положением, купечество недовольно разными стеснениями торговли и упадком кредита, войско недовольно разными нововведениями, мещанство налогами, чиновничество начальством за оставление за штатом — да все, одним словом! вся

Россия недовольна! Тут, значит, и вари свою кашу!.. Ге-ге! да дайте мне эти деньги — я вам все предприятие устрою!..

— А ведь я бы мог! — с грустно-раздумчивым вздохом прибавил он через минуту. — Я бы мог!.. Ведь у меня-с не дальше как нынешней весною целый капитал в руках был!.. Капитал-с!.. Шутка сказать двадцать пять тысяч серебром!.. Двадцать пять тысяч!.. Н-да-с, кабы мне теперь да эти денежки — что бы тут было!.. И-и, Боже мой, что бы было!..

И печально покачивая головой, он замолк в грустном раздумье.

Вдруг в эту минуту, среди всеобщего молчания, раздался сильный звонок.

Полояров растерянно вздрогнул и даже побледнел немного.

Время было уже позднее: двенадцатый час ночи. Обычные посетители коммунных вечеров, кажись, все налицо. — Кому бы быть в такую позднюю пору? Этот неожиданный и притом такой смелый, сильный звонок почти на всех присутствующих произвел довольно странное впечатление: иных покоробило, иным как-то жутко стало, а у кой-кого и легкий морозец по спине побежал. Все как-то невольно переглянулись, но решительно ни единая душа не тронулась с места, чтобы идти в прихожую и отворить там двери.

Звонок повторился еще с большей силой.

— Малгоржан, подите… отворите там… — смущенно проговорил Полояров.

Восточный человек досадливо передернул плечами.

— Ходите сами… Я-то с какой стати?!

— Эх, ей-Богу, вечно вы!.. Мне оно не тово… не совсем-то ловко… Поймите же!

— Я не пойду! — решительно отрезал Малгоржан-Казаладзе.

— Анцыфров, ступай ты, голубчик.

— Может, полиция… жандармы, — весь съежившись, кинул пискунок робко-молящий взгляд на своего патрона.

Почти все из присутствующих сделали, каждый про себя, подобное же предположение. Полояров смущенно, с каким-то тревожным сосаньем под ложечкой, припомнил себе, что в письменном столе его хранится завалящийся нумер «Колокола», карточка Герцена и листок «Великоросса», неведомо кем подброшенный недавно к дверям общежительной квартиры.

"И нужно же было оставить!.. И дернула ж нелегкая не уничтожить!" — корил он себя мысленно.

— Господа, да кто же пойдет наконец? — спросила храбрая Лидинька Затц, впрочем не двигаясь с места.

— Ей-Богу, господа, жандармы!.. Кому же больше? — смущенно улыбаясь, прошептал Анцыфров.

— А я так думаю, что это просто за мной пришли, — сказала Стрешнева, направляясь в прихожую. — Я распорядилась, чтобы в двенадцатом часу за мной человека прислали.

Все находились в жутко-напряженном ожидании, пока она отворяла дверь, но зато как же все ожили, и как отлегло у всех от сердца, и вместе с тем в какое недоумение пришли все, когда в прихожей вдруг раздались два женские восклицанья и вслед за тем послышались быстрые, звонкие поцелуи.

Полояров первый очень храбро подлетел теперь к двери, внимательно вгляделся в новоприбывшее лицо, и вдруг, словно бы не веря собственным глазам, отступил назад, еще более смущенный, чем за минуту пред этим.

— Ба!.. Лубянская... Какими судьбами?.. Вот сюрприз-то! — растерянно пробормотал он, опустив глаза и руки.

VIII. Какими судьбами появилась Лубянская

Действительно, это был сюрприз и не для одного Полоярова. Стрешнева и Лидинька с Анцыфровым изумились не менее его, когда увидели перед собою Нюточку Лубянскую столь неожиданно и в такую неурочную, позднюю пору. Татьяна первая заметила в ней явные признаки какого-то волненья и расстройства. По всему было видно, что она не то огорчена чем-то, не то испугана и не успела еще прийти в себя, как следует.

Лидинька Затц засуетилась с чаем, с яблоками, с поцелуями, которые у нее в первую минуту были совершенно искренни и безрасчетны, и в то же время засыпала Нюточку сотней расспросов. Оказалось, что Лубянская не далее, как сегодня утром одна-одинешенька прикатила в Петербург из Славнобубенска. На дебаркадере подвернулся какой-то услужливый фактор с предложением, не нужно ли ей остановиться в нумерах, расхвалил эти нумера, и ловко подхватив ее саквояж, повлек за собою в некую Гончарную улицу и привел в какую-то грязную трущобу, уверяя, что лучше этих нумеров она в целом Петербурге ничего не отыщет. Лубянской, очутившейся в первый раз в жизни совсем одинешенькой, в совершенно незнакомом, чужом городе, было теперь не до комфорта. Она думала, что и в Петербурге, как в Славнобубенске, всякий знает всякого, и потому первым делом осведомилась у фактора, где тут живет Лидинька Затц или Ардальон Михайлович Полояров, но фактор только ухмыльнулся на столь странный вопрос и объяснил, что для таких надобностей в здешней столице адресный стол имеется, для чего и послал ее на Садовую улицу, в дом Куканова.

В адресном столе, за две копейки серебром, Лубянской объявили, что и Лидинька Затц, и Ардальон Полояров проживают там-то и там-то. Узнав это, она намеревалась завтра же разыскать их, а пока вернулась в свои нумера на Гончарной улице и, чувствуя сильное утомление с дороги, легла отдохнуть; но какие-то мужчины в соседней комнате решительно не давали ей покою; там, очевидно, шло пьянство, картеж и поминутные споры. Наконец, когда она вышла в коридор, чтобы приказать подать себе обед, один из этих господ нахальным образом пристал к ней с любезностями и стал тащить к себе в нумер, а когда ей удалось вырваться от него, он начал ломиться в дверь ее комнаты. Нюточка заперлась на ключ, с твердым намерением завтра же выбраться вон из этой трущобы, но веселые соседи то и дело стучали к ней в дверь, которая вела к ним из ее комнаты, просовывали в замочную скважину гусиное перышко, прикладывали глаз к щелке, сопровождая все это бесконечными двусмысленностями и циническою бранью на ее упорство. Наконец, уже поздно вечером, у соседей послышались веселые женские голоса, и вскоре все это разразилось неистовыми криками, ругатней, буйным скандалом и дракой... Били какого-то мужчину, били двух каких-то женщин, били бутылки и посуду... Поднялась возня, суматоха, женские вопли, отчаянные крики, "караул"!.. Хозяйка нумеров бегала по коридору и вопила... кто-то побежал за полицией, кто-то накинулся на хозяйку, да заодно уж и ее избил; одна женщина, обезумев от страха и побоев, в растерзанном виде бегала по коридору и ревмя ревела неистовым, истерическим

голосом — и все это среди чада и смрада, в тумане табачного дыма, при тусклом свете коридорной лампочки. Нюточка до такой степени перепугалась, что, вся дрожа как осиновый лист, наскоро накинула на себя платок да салопчик и, с саквояжем под полой, опрометью бросилась вон из этих нумеров. Там было не до нее в ту минуту, и потому ее никто не остановил, никто даже и внимания не обратил, как и когда она шмыгнула из коридора — благо, выходная дверь стояла настежь растворена. Нюточка долго бежала по улице от этого вертепа, бежала куда глаза глядят, пока несколько не пришла в себя, и тогда только при свете фонаря отыскала в портмоне записку, данную ей давеча в адресном столе, взяла извозчика и поехала разыскивать Ардальона Полоярова. Кроме этого, она не знала ни на что решиться, ни куда деваться ночью, среди незнакомого города.

Добрая вдовушка, узнав историю всех этих приключений, очень радушно предложила Лубянской свою комнату.

— Да зачем же непременно вашу? — возразила Затц; — ведь есть же еще три свободные комнаты: Лубянская может занять под себя хоть любую. Она ведь тоже из наших… Что ж!.. А я с своей стороны не прочь, пожалуй, чтоб и она жила. Ведь мы здесь живем коммуной, на равных основаниях, и друг другу ничем не обязаны, — пояснила она Нюточке, и вслед за тем обратилась ко всем вообще. — Так как, господа? Принимаете, что ли, новую гражданку?

Сожители дали утвердительный ответ, и лишь один Полояров промычал нечто неясное, не то бы соглашаясь, не то бы глухо протестуя.

— А впрочем, и я согласен, — как-то особенно ухмыляясь, решил он после минутного соображения.

Юный князь слонялся от одного гостя к другому, глупо скаля зубы от удовольствия, и всем пожимал руку, приговаривая:

— А нашего полку прибыло!.. А?.. Прибыло!.. га-га-га!.. прибыло ведь! а?.. не правда ли? а?..

Полояров же то похмуро пружился, туго и медленно потирая между колен свои ладони, то слегка ухмылялся как бы в ответ какой-то бродившей в нем мысленке и больше все отмалчивался, устремляя на Нюточку из-под синих очков пытливые взгляды.

Лубянская осталась в коммуне.

IX. Святые принципы Полоярова

Гости разъехались. Сусанна стала хлопотать над устройством комнаты для Нюточки и кое-как приладила ей на диване постель. Нюточка все время сама помогала доброй вдовушке в этих не особенно сложных и непродолжительных хлопотах. Менее чем в четверть часа все было уже готово, и Сусанна простилась с Лубянской, сказав, что ей невмоготу спать хочется, как всегда, когда в коммуне бывает много гостей.

Нюточка осталась одна и медленно, в раздумье, стала раздеваться. Это раздумье брало ее насчет Полоярова: он как-то так странно и неловко встретился с нею, как будто эта встреча почему-то была ему не по нутру, почему-то досадна и неприятна; — что же это значит? как понять ей это?.. А между тем… между тем, не могла же она и не приехать: на это вынудила крайняя необходимость. Чем же теперь все это кончится, и что дальше будет.

Кто-то взялся за дверную ручку и потрогал ее.

— Кто там? — окликнула Нюточка.

— Я! — отозвался Полояров; — что это вы запираться-то вздумали? У нас это совсем не принято. Отворите-ка.

— Да я уж совсем почти раздета.

— Ну, так что же? Одета ль, раздета ль — это до меня нисколько не касается. Ко мне, пожалуй, входите сколько угодно, когда я раздет — это мне все единственно. Отворяйте же, что ли, говорю вам! Нужно мне вас!

Нюточка накинула на плечи дорожный плед и впустила Полоярова.

— Скажите, какие нынче скромности у нас! — с усмешкой процедил он сквозь зубы, кинув взгляд на плед, окутавший собою всю фигуру девушку, и сел на приготовленную ей постель.

— Ну, здравствуйте, Анна Петровна!

— Здравствуйте, Ардальон Михайлович.

— Что ж так-то? — усмехнулся он. — Давайте, что ли, лапу сюда, по-старому, по-бывалому; ну, и тово… сольемте уста, так сказать, в блаженстве поцелуя!.. Ась?

И он потянул было ее к себе, но Лубянская сдержанно и сухо отклонилась в сторону. Вообще она была с ним теперь как будто настороже: это сказывалось в каждом слове, в каждом взгляде и движении, во всей манере ее относительно Ардальона.

— Это что ж такое? — скосил он на нее глаза и губы. — Не желаете-с?.. И не надо! Хотите, так хотите, а не хотите, так как хотите.

— Ардальон Михайлович, мне не до поцелуев и не до шуток! — с какою-то горечью в тоне и не глядя на него, тихо проговорила девушка.

— Хм… Вот как!.. Так для чего же вы собственно пожаловали-то сюда?

Нюточка горько усмехнулась.

— А вы еще не догадались?.. Мне так уж на людей даже совестно глядеть… Я скрывала, я пряталась пока было возможно, а теперь… мне нельзя было оставаться там долее — поймите вы это.

— Не понимаю. Отчего же так?

— Да ведь там отец!.. А он ничего не знает!

— Да скажите вы толком: беременны вы, что ли? — нахмурясь и морщась, перебил Полояров.

Нюточка покраснела и тихо опустила глаза.

— Э-э!.. А мне и невдомек с первого разу! — протянул он, крутя себе папироску. — Ну, что ж? — самое натуральное и простое дело. Естественное предназначение каждой самки; что ж тут особенного! Вы читали "О происхождении видов" Дарвина.

Она с досадливым сожалением взглянула на своего бывшего друга и пожала плечами.

— Я хочу говорить с вами серьезно. Мне необходимо это, поймите вы! — убедительным тоном проговорила Нюточка.

— Да и я ведь серьезно! — отозвался Ардальон. — Я вас к тому спрашиваю про Дарвина, что ежели бы вы что-нибудь дельное вычитали из него, так поняли бы, что это ваше естественное назначение, как самки, и тогда бы вы не стали творить драм и романов из-за такого пустяка. Отец!.. Ну, что ж такое отец? При чем он-то тут в этом процессе? Тут дело акушерки, а не отца! И зачем это вдруг понадобилось вам скрывать от него? — Не понимаю!

— Что ж, по-вашему, я должна была гордиться и хвастать?

— Ни то, ни другое, а и скрывать-то нечего: простой физиологический процесс — и баста.

Нетерпеливое чувство досады отразилось на лице девушки.

— Ардальон Михайлович! — решительно сказала она, становясь перед ним. — Звонких слов я и прежде слыхала от вас не мало. Оставьте их хоть теперь-то. Я пришла к вам не за фразами, а за помощью… Ведь вы же будете отец этого ребенка!.. Вы должны войти в мое положение, если вы честный человек.

Ардальон, в свою очередь, досадливо передернулся на своем месте.

— Да я-то что же? — возразил он, пожав плечами. — Вот вы, небойсь, укоряете меня в звонких фразах, а сами еще пуще того звонкие-то словечки в ход пущаете!.. "Должны, долг, честный человек"… Да что такое этот ваш долг честь-то? — Понятие совершенно условное-с. Австралийские дикари, например, едят человечину и находят, что это вполне честно и нравственно, потому что они, победители, едят своих врагов, побежденных; а дураки английские миссионеры говорят, что это безнравственно кушать себе подобных; а мы, например, находим, что это ни нравственно, ни безнравственно, а просто штука в том, что мы не сделали себе привычки жрать человечину, или предки наши почему-то отвыкли от этого; ну, или просто от того, наконец, что это у нас не принято, не в обыкновении — и только! Ну, и кто же тут прав: дикари, или миссионеры? — По-своему, пожалуй, и те и другие, потому что понятие-то самое о нравственном и законном — совершенно условное понятие. Я могу понимать так, а вы иначе. И наконец, то, что нравственно и честно для пошляков и филистеров, то по нашим убеждениям и безнравственно, и подло.

Лубянская побледнела и хмуро из-под сведенных бровей уставилась глазами в Полоярова.

— Вы для чего же все это говорите мне? — медленно и тихо спросила она, подавляя в себе накипь внутреннего негодования и волнения. — Как, наконец, прикажете понять все это? Так ли, что вы отказываетесь и от меня, и от своего будущего ребенка и бросаете меня в эту минуту совершенно на произвол судьбы? Так, что ли?

Вопрос был поставлен слишком ясно и прямо. Полояров несколько позамялся.

— Н-то есть… как вам сказать? — с трудом начал он выматывать из себя слова, медленно потирая между колен свои ладони. — Если вам угодно будет припомнить факты, которые дает нам, например, зоология, то вы увидите, что в натуральном браке самец имеет свое особое назначение, а забота о потомстве лежит исключительно на особах женского пола. Это самое естественное и потому самое рациональное. Помилуйте-с! Я вас считаю за порядочную и развитую девушку, а вам вдруг приходится вместо того такие азбучные истины втолковывать! Это стыдно-с!.. Роль каждого самца ограничивается только…

— Скажите же наконец прямо! — нервно перебила его Нюточка. — Ведь от всех этих изворотов вы в моих глазах ни на волос не станете лучше! Говорите прямо!

— Я прямо и говорю. Я говорю, что, основываясь на разумных началах физической природы и следуя ее законам, я имею право считать себя ничем не связанным; но это еще не значит, чтобы я отказывался помочь вам. Я только все еще не могу в толк себе взять хорошенько, в чем именно эта помощь?.. Какого рода помощи вы от меня желаете? Если это законный брак, то я пас! Потому что законный брак противоречит всем моим принципам, и наконец, в моей жизни — почем вы знаете? — в моей жизни, быть может, есть или могут быть такого рода предприятия, когда человеку впору только за одну свою голову ответ держать. Каждое честное дело прежде всего требует свободы-с, и я, всей душой принадлежа моему делу, не имею права связывать себя, а иначе я подлец! Так вы скажите мне, в чем же помощь-то?

— Успокойтесь: законного брака я никогда и ни в каком случае от вас не потребую! — твердо сказала она, бросив на своего собеседника взгляд ледяного презрения. — Это было бы уж совсем безумие!

Полояров недоверчиво и осторожно покосился на Нюточку, желая убедиться, в какой мере истинно сказанное ею. Взглянул и успокоился. Даже лицо его прояснилось. Словно упала с плеч гиря, которая тяготила его с минуты первого появления Нюточки в этой квартире.

— Ну, так в чем же, голубчик мой, помощь-то? Говорите — я все готов... все что могу... располагайте мною! — заговорил он вдруг мягко и ласково. В душе его в эту самую минуту незаметно проползло своекорыстное соображеньице, что к чему же, мол, совсем уж отталкивать от себя эту молодую и хорошенькую Нюточку?

— Я все-таки попрошу вас прежде выслушать меня... — тем же сухим и сдержанным тоном начала девушка. — О моем положении вы знали еще до вашего отъезда из Славнобубенка, стало быть, для вас это не составляет новости. Мне остается теперь несколько менее двух месяцев. Признаться отцу я не могла... не решалась... Он не перенес бы такого позора... Если это и убьет его, когда узнает, ну, так хоть не на моих глазах (при этих словах в голосе ее дрогнули сжатые слезы). Я довольно передумала об этом, пока решила себе как быть — продолжала она. — Я лгала, я скрывалась, пока можно было лгать и скрываться... Далее уж нельзя. Мне, говорю вам, совестно на людей смотреть! Осталось либо с мосту да в воду, либо бежать оттуда. Все еще есть надежда, авось либо отец как-нибудь перенесет этот удар, что ушла-то я от него, а может быть еще скрою как-нибудь... Коли перенесет, тогда вернусь, а то нет!.. Я ушла тайком; записку только оставила Устинову, чтобы поберег без меня старика... Он честный — я теперь убедилась... Он это как-нибудь обделает, устроит... Признаться только не могла ему... Ну, да все равно!.. Паспорта у меня нет никакого, а ведь это надо, кажется? Теперь, вот все, что я попрошу у вас: вы помогите мне как-нибудь скрыть все это и до времени не оставьте ребенка. Можете вы мне это сделать, или не можете?

Полояров чуточку подумал. "Только-то и всего?" — сказал он мысленно самому себе, "а я-то думал и невесть что такое!"

— Могу! — ответил он решительно и даже не без веселости. — Се сон де пустяки. Мы всю эту штуку вам во как обделаем! И овцы будут целы, и волки сыты. Это я все могу, а только ты, Нюта, не сердись. Дутье-то в сторону! А лучше протяни-ка лапку старому другу!.. Честно и открыто протяни! От сердца! Ну, Нюта!.. Что же?.. Я жду!.. — ласково понудил он, после короткого выжидательного молчания, подставив ей свои ладони. — Хочешь услуги от меня, так мирись!

Девушка слегка колебалась, но потом в молчании и не глядя на него, медленно и холодно протянула ему руку. Бог ее знает — а только она и сама-то хорошенько не понимала, презирает ли, ненавидит ли, или все еще любит этого человека. А по правде сказать, в ее чувстве к нему тлелось пока еще и то, и другое, и третье…

Совсем уже прояснившийся Полояров почти насильно притянул к себе все еще безмолвную Нюточку и звонко поцеловал ее.

— Ты только моих святых принципов не тронь, — самодовольно заключил он, облапив ее плечи, — а-то во всем прочем я как есть человек хороший!

X. Каким образом члены коммуны тяготы друг друга носили

Коммуна, как сказано уже, обогатилась новым членом. Лубянская осталась там на житье. Вынудила ее на это самая простая и неизбежная необходимость, так как иначе что же оставалось ей, неопытной и молодой девушке, одинешенькой в громадном и совсем незнакомом, совсем чужом городе, почти без средств, и притом в таком исключительном положении, которое поневоле устраняло всякую возможность работы ради насущного куска хлеба. Она бросилась в Петербург сгоряча, очертя голову, не зная, как там все это будет, и как-то еще все обойдется и устроится — бросилась на авось, с одной темной надеждой, что вероятно как-нибудь да обойдется, что Полояров ее выручит, что отец, может быть, и не узнает, что какими бы то ни было судьбами надо будет скрыть, обмануть его, отвести все подозрения, а как именно — этого-то она и не знала, но только думала, что там Полояров, конечно, что-нибудь придумает и устроит. В этой девочке всецело процветала еще крайняя и совсем зеленая молодость. Своенравное и балованное дома дитя, она с детства еще, без призора матери, привыкла совсем самостоятельно распоряжаться собою, и потому не долго думала над проектом побега в Петербург. Этот проект создался молодым затаенным горем, опасностью огласки, стыдом перед целым городом, мыслью о горьком позоре старого отца, которого она по-своему любила детски-деспотическою любовью, а с тех пор как, покинутая Полояровым, осталась одна со своей затаенной кручиной, полюбила его еще более, глубже, сердечнее, серьезней. Словом, этот взбалмошный проект побега создало безвыходное отчаяние. Поделиться мыслью не с кем, спросить совета не у кого, да и стыдно, и не безопасно. Что тут делать? Явилась блажная мысль — Нюточка за нее и ухватилась, да не долго думая и привела в исполнение. Как ни работал над ее «развитием» Ардальон Полояров, как ни успешно увенчались его труды капризным порывом ее беззаветного увлечения, однако же этому ментору не удалось искоренить из нее того «предрассудка», который называется девичьей стыдливостью. Полояровское «развитие» не успело еще проникнуть у нее в корень, а проело одну только верхнюю оболочку. Нюта боялась и стыдилась предстоящего позора и неизбежной огласки, если это случится в Славнобубенске. И вот, по ее искреннему, глубокому убеждению, ей осталось одно из двух: либо с моста в воду, либо сбежать на время.

Что из этого выйдет — она не знала; но некоторая смутная надежда на какой-нибудь, быть может, сносный исход заставила ее выбрать побег. Без паспорта, с одним легеньким саквояжем да со ста рублями, скопленными за долгое время из подарков отца, села она на пароход. На дворе стояла уже поздняя осень, навигация того и гляди, не сегодня-завтра прекратится, поэтому надо было спешить. Она оставила Устинову короткое письмо, в котором, не объясняя причин, сообщала, что непредвиденные и очень важные обстоятельства вынуждают ее, без позволения отца, уехать месяца на три, и умоляла устроить дело как-нибудь так, чтобы отец не очень сокрушался и беспокоился о ней, так как ей не предстоит ровно никакой опасности, и проч. Пароход, на который села Нюточка, делал уже чуть, ли не последний из своих самых поздних рейсов. Она доехала водою до Твери, и оттуда по железной дороге махнула в Петербург. Дальнейшая история уже известна.

* * *

На другой же день утром Полояров открыто и совершенно неожиданно для Лубянской заявил членам коммуны о том, что состоит с нею в натуральном браке; но такая откровенность, к удивлению девушки, никому не показалась ни странною, ни зазорною, ни неуместною; напротив, все приняли известие это, как самую простую, достодолжную и обыденную вещь, и только одна Лубянская сама же покраснела до ушей и, со слезами досады на глазах, не знала куда деваться от устремившихся на нее равнодушных и каких-то словно бы оценочных взглядов.

— Конфузиться, матушка, нечего! — полушутя и полувнушительно заметил ей Полояров. — Это в тебе пошлый предрассудок конфузится, а ты его по сусолам, по сусолам предрассудок-то этот!.. Гони его, стервеца! Надо ж было отрекомендоваться и привести в ясность, что ты моя натуральная жена. Что ж такое! Святое дело!

— Эх, брат Анютка! — заметил он ей потом, неодобрительно качая головою, — совсем ты без меня испортилась, как я погляжу! То есть, вся моя работа над тобой словно б ни к черту!.. теперь хотя сызнова начинай! А кстати: у тебя с собою деньги-то есть? — спросил он, тут же деловым тоном. — Сколько денег-то?

— Пятьдесят рублей с мелочью осталось.

— Ну, так ты, матушка, изволь-ка их, сейчас же вручить мне, для приобщения в общую кассу: тут ведь у нас даром-то никто не живет, тунеядства не водится; а в конце каждого месяца я всем членам представлю отчет, и тогда можешь поверять меня.

Лубянская вручила ему свои деньги, и Полояров записал их на приход; но эта запись нисколько не помешала ему тут же из этих самых денег отдать долг сапожному подмастерью за новые подметки к его собственным сапогам, принесенным в это время.

Полояров распоряжался кассой и вообще был главным администратором коммуны. Раз в месяц он обязан был в общем собрании представлять членам-общежителям отчет во всех приходах и по всем расходам, употребленным на общие нужды. Потому у Ардальона чаще и больше чем у других водились деньги. В крайнем же случае он всегда обращался либо к Сусанне, либо к князю Сапово-Неплохово с просьбой дать в долг на имя коммуны, и конечно, никогда почти не получал отказа: делал долг ведь не Ардальон, а коммуна!

Странное впечатление делала эта коммуна с непривычки на Лубянскую. Она казалась ей какой-то квартирой без хозяев; живут себе какие-то люди, словно бы и вместе, а словно бы и порознь, один с другим не чинится, не церемонится, каждый творит себе что хочет, и никому ни до чего дела нет. Полояров как будто распоряжается, но и он не хозяин. Квартира на имя Сусанны, но и она держит себя простой жилицей. По всем комнатам вечная грязь, пыль и беспорядок. Мебели мало, да и та какая-то сбродная и глядит так, как будто она тут ровно ни к чему не пригодна. В одной комнате помещается, например, диван, и только; в другой — Бог весть для чего стоит трюмо в одном углу, а в другом кожаное кресло; в третьей стол да комод и тюфяк на полу: это комната маленького Анцыфрика; четвертая меблирована одними только стульями; в пятой ровно ничего нет — и вот все в этом роде, а комнат между тем много. Трудно, почти невозможно определить, на что именно походила эта квартира, казарма не казарма, и на chambres garnies не похожа. Было в ней что-то затхлое, холодное, нежилое. Обстоятельной оседлости, того что называется очагом, не сказывалось в ней вовсе, а все казалось как словно бы не то въезжают, не то выезжают какие-то жильцы, и так-то вот изо дня в день, постоянно, неизменно. Захочет, например, дворник принести дров и воды, ну есть дрова

с водою, а не захочет — сидят без того и другого. А в квартире холодно, ажно пар от дыхания ходит, и чайку испить смерть бы хотелось. Жильцы ёжатся и негодуют на Полоярова.

— Полояров! Да что же это наконец такое! — пристает к нему то тот, то другой. — Опять воды ни капли нету!.. Ардальон Михайлыч, да что ж это, ей-Богу! Просто руки от холода коченеют. Что это вы не распорядитесь! Пошли бы приказали, чтоб он, каналья, хоть дров-то притащил. Ведь так жить невозможно!

— А мне-то что! — огрызается Полояров, кутаясь в свою чуйку на собачьем меху.

— Да ведь холодно! Тараканов морозить, что ли!

— Ну, и морозьте.

— Да подите же, распорядитесь, наконец.

— А мне-то что, говорю вам! Что я к вам в холуи нанялся, что ли? Кому зябко, тот и ступай, и распоряжайся, а мне не холодно, мне и так хорошо.

Обыкновенно, никакой прислуги в коммуне не водилось, потому что, сколько ни нанимали ее, ни один человек более трех-четырех дней решительно был не в состоянии у них выжить. Поживет, поглядит да и объявит: "Нет уж, мол, пожалуйте мне мой пашпорт".

— Что ж так? Зачем вам пашпорт?

— Да уж так... не рука нам...

— Отчего же не рука? Ведь вы же такой человек, как и мы; и мы вам всякое уважение, кажись, оказываем; нравственная личность ваша здесь не страдает, труд ваш оплачивается... Отчего же вам не жить?

— Да уж что это за жизнь! Помилуйте! Ни хозяев, никого и ничего нет, не знаешь кого тебе слушаться. Один кричит — сапоги ему чисти, а другой — мыться дай, третьему в лавочку аль на почту беги, четвертому поясницу растирай, пятому пол подмети, и все в одно время, и всякий кричит, требует, обижается, что не исполняешь, а где ж тут? У меня не десять рук, не разорваться...

И прислуга получает свой паспорт.

— Что мало жилось? Аль не вкусно? — спрашивает прислугу дворник при заявлении о выписке.

Прислуга только рукой машет.

— Штой-то, милый человек, говорить. — Сколько ни живали по людям, а нигде еще таково-то не видывали! Дураково логово какое-то, а не фатера!

— Это вы истинно так, что дураково логово! — ухмыляясь соглашается дворник.

И вот, в силу того обстоятельства, что никакая прислуга не могла выжить в коммуне и все попытки к прочному найму и удержанию ее оставались тщетны, члены порешили, наконец, между собою: не нанимать более никакой прислуги, а все обязанности ее исправлять самим, для чего и распределить их между всеми. Ардальон Полояров, однако, в качестве главного администратора и артельщика, устранил себя от всякой "черной работы". Таким образом на долю князя Сапово-Неплохово досталось выливать грязную воду и выносить помои. Анцыфров

должен был сапоги всем чистить, что впрочем приходилось не часто, в силу принципа, исключавшего всякий внешний лоск и щегольство; обязанность Малгоржана заключалась в побегушках в лавочку за всеми надобностями и в мытье посуды, а Моисей Фрумкин подметал полы, в чем тоже не было особенно частой потребности; Лидинька Затц взялась чулки штопать на всю братию и наставлять самовар. Последняя обязанность была довольно-таки затруднительна, так как самовар целый день почти не сходил с общего стола коммуны. Вдовушка же Сусанна должна была разливать всем чай и вести счет белью, а для возложения на нее такой, сравнительно, весьма легкой обязанности у Полоярова имелись свои особые причины и соображения, которым остальные члены мало противоречили, и то лишь по присущей им страсти противоречить. Причины и соображения заключались в том, что карман вдовушки зачастую оказывал услуги превыше всяких служительских обязанностей, а для того, чтобы пользоваться услугами ее кармана, надо же было сделать ей хоть какую-нибудь льготу, а то вдруг — гляди — как закапризничает дура, да пожалуй еще не захочет жить в коммуне, так тут и засядешь как рак на мели.

Что же касается до обязанности отворять дверь приходящим, то эта обязанность никому не была передана в исключительное ведение, и вот потому-то каждый раздававшийся у дверей звонок служил поводом к постоянным и бесплодным пререканиям между членами: "Подите, мол, вы отворите; это вероятно к вам!" — "Нет, вы; это к вам!" и т. д. Но с поселением на житье Нюты Лубянской, обязанность отворять двери была возложена на нее, как не требующая особенного физического труда, во внимание к ее положению. Ради этого Нюта большею частью должна была сидеть дома. Таким-то вот образом все члены-общежители, словно бы по писанию, тяготы друг друга носили.

Иногда к коммунистам приходили гости. Эти посетители разделялись на общих и частных. Общие — если они были со всеми равно знакомы и появлялись на коммунных вечерах, а частные ходили к кому-либо из членов. На такого гостя остальными членами не обращалось уже ни малейшего внимания: если Полояров ходил в одном только нижнем белье, то так и продолжал себе; если Лидинька Затц громко ругалась с Анцыфровым и лезла к нему в цепки, то так и продолжала лезть и ругаться, ничтоже не сумняся и не стесняясь нимало присутствием постороннего человека. Если на столе стоит чай, то гостю никто не предложит стакана, пока он сам не догадается взять себе, потому что иначе это была бы "пошлая жантильность". Или если, например, гость пришел к Малгоржану, а Полояров или Лидинька за что-нибудь против этого гостя зубы точили, то опять же, нимало не стесняясь приступали к нему с объяснением и начинали зуб за зуб считаться, а то и до формальной ругани доходило, и Малгоржан не находил уместным вступаться за своего гостя: "пущай его сам, мол, как знает, так и ведается!" Вообще же такое нестеснительное отношение к посетителям коммуны образовалось из этого принципа, что весь мир разделяется на "*мы*" и "*подлецы*"*;* то что не *мы,* то подлецы да пошляки, и обратно. Других градаций нет и не допускается. Стало быть, пошляки и подлецы уж никоим образом не могли быть допущены в круг коммунистического знакомства, а *со своими* людьми, "*с нашими*"*,* чиниться нечего: тут вся душу нараспашку. А ежели бы какими ни на есть судьбами случайно и затесался в коммуну какой-нибудь подлец и пошляк, то с ним уже и подавно нечего стесняться, а напротив следует сразу же огорошить его так, чтобы он впредь уж и носа сюда показать не осмелился.

Полояров верховодил всей компанией, хотя и никто из них не признал бы этого, если бы указать им прямо на существование таких отношений между ним и членами. Напротив, каждый совершенно искренно, с убеждением и даже не без задетого самолюбия стал бы уверять, что Полояров для них нуль, ровно что наплевать, что они все совершенно равноправные члены и никто ни над кем и ни над чем не верховодит. А между тем Полояров распоряжался всем в коммуне чуть ли не самопроизвольно. Если бы кто что делал к общей

пользе помимо Полоярова — Полояров непременно это охает и найдет ни к черту не годным. Только то, что он сам сделает, то и безупречно, то и прекрасно, а остальные все дураки, и никто ничего не может, никто ничего не знает и не понимает. Анцыфров не понимает как сапоги чистить, князь не понимает как следует помои выливать, Лидинька носок штопать не умеет, Малгоржан толку в покупках не смыслит, Сусанна не имеет понятия о том как чай разливается, а вот если бы он, Полояров, взялся за дело, так у него все кипело бы.

— Ну, так чего же вы!.. Вот и взялись бы!..

— Я-то?.. Хм!.. У меня и без этого много дела! Без меня, не бойсь, по моей части и один-то день никто справиться не может. Я, батюшка не дармоед и не подлец, чтобы своими обязанностями манкировать!

День в коммуне и начинался и кончался безалаберно. С восьми и до двенадцати часов самовар со стола не сходит, Лидинька то и дело раздувает его голенищем Полояровского сапога, подбавляет воды, углей и ругается. Вообще, как только коммуна проснулась, так и ругань в ней подымается. Ругаются все вообще и каждый порознь. Анцыфрова ругают, что сапоги скверно вычистил; князя, что помои середь комнаты разлил; Лидиньку за то, что самовар с чадом принесла, Полоярова за то, что холодно, а вдовушку за то, что косички расплетает да сидит себе за своими пудрами и кольдкремами, тогда как тут люди просто издыхают: так чаю пить хотят! И все ругаемые, в свой черед, отругиваются из разных концов и логовищ общежительного обиталища. А тут, между тем, то и дело в прихожей звонки раздаются: то к тому, то к другому посетители являются, гости, которые вообще не были стесняемы временем своего появления, а также и особы вроде дворника, водовоза, лавочника со счетом, и эта последняя публика прет все больше к администратору Полоярову, а Полояров, по большей части, дома не сказывается и велит всем отказывать, либо же утешать их тем, что поехал в редакцию деньги за статьи получать.

Наконец, кое-как, с грехом пополам, вся эта публика расходилась, а за нею немного погодя и обитатели, по большей части, направляли стопы свои в разные стороны града. Кто шел в читальню или, вернее сказать, говорильню при магазине Луки Благоприобретова, кто в редакцию, кто в типографию, а кто и просто себе наблюдать жизнь и нравы на Невском проспекте и размышлять о высшей несправедливости судеб и о подлом устройстве социальных отношений. У Лидиньки Затц чуть ли не каждую неделю являлись какие-нибудь новые великие начинания: то она на юридическом факультете лекции слушает, то в анатомический театр в медицинскую академию бегает и все норовит "запустить скальпель в кадавер" (Лидинька очень любит такие слова), то она швейному, то переплетному делу обучается, то в наборщицы поступает, то стенографии учится, то в акушерки готовится, то вдруг детей обучает и открывает у себя бесплатную школу.

Находятся кой-какие несведущие родители, которые, соблазнясь, главное дело, бесплатностью, посылают ребятишек к Лидиньке в науку.

А Лидинька обучает следующим образом. Дети, например, приходят с букварями.

— Вы что это за книжонки принесли? Азбуку? — Этого вовсе не нужно! Это все потом, как-нибудь после, а теперь главное о развитии вашем надо позаботиться. Вы, мальчуган, например, как вас зовут?

— Степкой.

— Ну, хорошо-с. Так вот что, Степка, в Бога вы веруете?

— Верую-с.

— Это очень глупо с вашей стороны. Почему же вы веруете? Сообразите-ка хорошенько и дайте мне ответ: почему это вы веруете?

Степка не понимает и упорно молчит.

— Как вы полагаете, Бог-то есть или нет?

— Как же!.. Бог есть.

— Где же он есть?

Мальчуган вглядывается в угол, но образа не находит.

— В церкви есть, — говорит он.

— В церкви Бога нет. Церковь это такой же дом, как и этот, только что архитектура в ней особенная. Вот и все… Вы Бога-то видели?

— Видел.

— Где же вы его видели?

— А на иконе нарисован.

— Икона это не Бог, а простая доска. Бога-то, миленький мой, нет и не бывало, а если вам говорят что есть, так это вас только обманывают.

— Зачем же обманывать? — вопрошает недоумевающий мальчуган.

— А затем, чтобы массы держать в невежестве и рабстве, и через то легче эксплуатировать их. Это политика такая.

Степка ровно ничего не понимает и смотрит, выпуча глаза.

— Так стало в церковь-то ходить не надо?

— Не надо, миленький.

— И Богу молиться не надо?

— И Богу не молитесь. Это все глупости, одна только лишняя трата времени, которое вы могли бы употребить более производительно.

Потом развитие продолжается следующим образом:

— Когда вы, миленький, встретите на улице попа, или полицейского, или офицера, так вы плюньте или выругайтесь про себя, — говорит Лидинька самым серьезным менторским тоном.

— Зачем? — вопрошает поучаемый.

— Затем, что вы всех их должны ненавидеть. А ненавидеть их надо за то, что все они служат ложному принципу; они агенты грубой силы, поддержка деспотизма и централизации.

Понимаете, миленький Степка?

Степка конфузится и сознается, что не совсем-то понимает.

— Ну, это оттого, что вы еще дурак, а когда разовьетесь тогда поймете.

Впрочем, Степка из всего учения понял, что молиться не надо, а на попов и военных следует плевать; Лидинька же остается довольна пока и этими первыми шагами умственного и нравственного развития маленького Степки. Но вскоре и менторство надоедает ей, а потому она объявляет, что заниматься ей некогда и просит миленьких Степок не приходить к ней более.

К первому часу дня коммуна совершенно пустела. Оставалась в ней одна только Нюточка, которую пока еще нельзя было приткнуть ни к какому «делу», кроме отворяния дверей приходящим. Пустота царствовала в коммуне вплоть до вечера, когда все население ее собиралось опочить от многотрудных и разнообразных дел своих и предприятий. Впрочем, нельзя сказать, чтобы коммуна всегда оставалась пустой; иногда в ней, без всякой надобности и повода, целый день толкались ее обитатели, или тот и другой из них, а иногда хоть возьми ее всю да и выкради.

Обеда в коммуне не стряпали, а вся братия ходила питать себя поблизости в одну кухмистерскую, которую содержала некоторая дама или девица, принадлежавшая тоже к лику "новых людей". В эту кухмистерскую могли иметь доступ только «свои», присовокупленные к тому же лику, а из посторонних, из незнакомых, людей ни один человек не нашел бы себе там ни тарелки супу, ни куска мяса. Попасть в эту кухмистерскую можно было не иначе как по личной рекомендации кого-либо из хорошо знакомых, постоянных ее членов-посетителей, и только лишь в этом случае новый человек приобретал себе право получать за свои тридцать копеек два-три блюда и уничтожать их в стенах этой едальни и в состольничестве ее почтенных членов. Хотя обеды и не всегда удовлетворяли достодолжной доброкачественности, хотя в грязноватом на вид бульоне и плавали подчас перья или волосы стряпухи, а говядина иногда уподоблялась скорее зажаренной подошве, чем говядине, тем не менее члены-состольники стоически переваривали все это "из принципа": посещая эту кухмистерскую, они "поддерживали принцип" и притом уже были уверены, что ни один пошляк и подлец сюда не проникнет и не будет есть с ними перлового супа.

Впоследствии, обжившись уже в коммуне и приглядевшись к коммунной жизни, Нюта невольно подметила в ней такие отношения, которые едва ли могли удовлетворять идеалу чистого коммунизма. Но эти отношения обходились как-то всеобщим молчанием, словно бы все уж так условились, чтобы о них не упоминать и не замечать их существования. Чем далее и глубже вникала Лубянская в жизнь коммуны, тем более убеждалась, что все эти Полояровы, Анцыфровы, Лидиньки, Малгоржаны, Фрумкины живут на счет добродушно-простоватой вдовушки Сусанны и князька-идиота. Сами же вносят в общую сокровищницу очень мало или почти ничего. В лавке, например, забирают на книжку, а придет срок расплачиваться, Полояров идет к Сусанне.

— Матушка Сусаннушка, одолжите-ка пока деньжонок... вот, в лавку надо платить... А при месячном расчете коммуна с вами сквитается.

— Сколько вам?

— Столько-то.

— Извольте.

— Ведь за вами, Полояров, есть уж, кажется, достаточно денег? — вступается восточный кузен, всегда очень чуткий на карманные интересы своей "кузинки".

Полояров, в ответ на это, считает долгом своим обидеться:

— За мною!.. Что это значит "за мною"?!.. я попрошу вас не употреблять таких выражений. Это глупо и пошло, потому что вы очень хорошо знаете, что тут не я, а коммуна, стало быть и вы, и Сусанна Ивановна, и все! Я не для себя беру, а для коммуны! А по мне, пожалуй, черт с вами! распоряжайтесь сами как знаете! Посмотрю я, как-то вы без меня управитесь!

— Малгоржан, как вам не стыдно! — накидываются на восточного кузена все Анцыфровы, Фрумкины и Лидиньки. — Это довольно даже подло с вашей стороны! Оскорбляя Полоярова, вы нас всех оскорбляете. Во-первых, не ваше дело мешаться; во-вторых, на основании ассоциации, мы все несем равные расходы и все вместе обеспечиваем наши общие долги. Если берутся деньги у Сусанны, так это ровно еще ничего не значит: сегодня у нее, а завтра могут быть у меня взяты, а там у Фрумкина, у Анцыфрова, у вас... Стало быть, это глупо и пошло укорять Полоярова! Мы еще должны быть благодарны Полоярову!

И вдовушка начинает чувствовать в глубине души, что и она также должна быть благодарна Полоярову. Чувствует ли Малгоржан то же самое — это остается в неизвестности, но он во всяком случае умолкает, побежденный общим напором ассоциаторов.

Точно таким же образом Полояров обращался за ссудами и к князю, но кроме Ардальона, к князю обращались еще и все остальные, если кому-либо требовались деньги на собственные, не коммунистические надобности. Все это забиралось у князя в счет будущих трудов по будущему его журналу: Лидинька брала в счет будущих своих переводов, Анцыфров в счет будущих корректур, остальные в счет будущих статей и т. д. Один только Малгоржан-Казаладзе был столь горд, что не обращался к князю; но зато во всех подобных случаях он исключительно и бесконтрольно обращался с глазу на глаз к своей милой и доброй кузинке. И в силу этого Малгоржан думал, что он может игнорировать князя.

Не трудно было Лубянской подметить и те особенные отношения, которые существовали между некоторыми из членов коммуны и которые даже "по принципу" ни для кого не составляли тайны. Лидинька Затц дружила с плюгавеньким Анцыфриком и строго держала его в руках. Дружба между ними началась еще в Славнобубенске, немедленно после отъезда оттуда Полоярова, и в силу этой дружбы, Лидинька даже похитила Анцыфрова из Славнобубенска и увезла с собою в Питер.

Полоярову же Анцыфров постоянно бьш нужен, как самый верный сеид, безусловно поклоняющийся каждому Полояровскому слову и деянию. Потому-то, входя в коммуну, Полояров прежде всего втащил в нее и Анцыфрова, а за Анцыфровым, разумеется, последовала туда и Лидинька, по убеждению того же Ардальона Полоярова. Лидиньке было приятно и удобно дружить с маленьким золотушным пискунком, и именно потому, что она его в руках держала. Когда еще в Славнобубенске она дружила с Полояровым, то Полояров деспотически и бесцеремонно управлял ею по своему произволу — и Лидинька подчинялась более сильной натуре, хотя ей подчас и тяжело бывало такое подчинение. С отъездом же Ардальона, она сразу эмансипировалась от его влияния и, подружив с Анцыфровым, заняла относительно его ту самую деспотическую роль, какую по отношению к ней занимал Полояров. Пискунок был самый верный раб ее; она делала с ним все, что хотела, держала его на посылках, на побегушках, заставляла обделывать разные свои делишки, и в иную злую минуту изливала на нем свои душевные ощущения и капризы, так что в коммуне не в редкость было услышать пронзительный, бранящийся голос Лидиньки и жалобный визг пискуна. Она его и царапала, и

щипала, и даже била порою. Положение его в коммуне было далеко не завидное: по совершенному отсутствию какой бы то ни было силенки и самостоятельности в характере, он постоянно должен был подчиняться теперь обоюдному влиянию и Лидиньки, и Полоярова, из которых зачастую одно становилось прямо вразрез другому, вследствие какого-нибудь каприза Лидиньки и Ардальона. Угодишь одной, попадешь под гнев другого, и таким образом Анцыфрику постоянно приходилось, что называется, сидеть между двумя стульями. Словом, это был совсем жалкий, совсем несчастный пискунок.

Точно таким же образом не укрылась от Лубянской и особенность дружбы Малгоржана с Сусанной. Но — увы!.. Эта дружба доживала свои последние дни, вися на тонком волоске, ежеминутно готовом оборваться; и восточный кузен очень чутко начинал это чувствовать, хотя все еще продолжал по-старому пользоваться карманом кузинки. Бравый Бейгуш все чаще и чаще показывался в коммуне и, не обращая на кузена ни малейшего внимания, открыто вел свою атаку на вдовушку Сусанну. Он к ней одной ходил в гости и никого больше знать не хотел. Восточный человек мучился ревностью, но как ревновать, если ревность признана чувством позорным! Надо было скрывать ее, а скрывать Малгоржан не умел и в то же время чувствовал полное бессилие свое перед бравым поручиком.

А между тем, Сусанна оказывала поручику очень заметное внимание и даже благосклонность. Малгоржан увидел в ней явную холодность и даже в поведении ее стал подмечать нечто странное. Так, например, случалось несколько раз, что вдовушка манкировала своею обязанностью конторщицы и вдруг куда-то исчезала из книжного магазина, а иные знакомые потом говорили, что в это самое время видели ее на Набережной или в Летнем саду под руку с каким-то конноартиллеристом. Потом стало случаться и так, что вдовушка и вечером не показывается в коммуне, а возвратится домой уже позднею ночью. Малгоржан, сиротствуя в часы ее отсутствия, скрежетал зубами и грыз себе ногти, ходючи по своей комнате, и ясно предчувствовал начало конца. Это же общее начало конца смутно начинали уже предчувствовать и некоторые другие члены коммуны.

XI. Теория и жизнь

То, чего ждала и чего так страшилась Лубянская, наконец совершилось: она стала матерью. Полояров заранее уговорился на сей конец с одной знакомой акушеркой, принимавшей к себе на квартиру скрывающихся родильниц, и Нюточка, в ожидании предстоящего события, дней за пять до него, перебралась к этой акушерке. Участь ребенка, еще до его рождения, была уже определена Ардальоном. Он порешил сдать его в Воспитательный дом и на том покончить к нему все дальнейшие отношения. Нюточка, пока еще не знала, что такое *мать,* не противоречила Ардальону и даже соглашалась с ним, находя что это конечно всего удобнее, хотя в душе у нее какое-то смутное чувство и шептало в то же самое время, что такой удобный расчет с будущим существом сдается почему-то и не совсем удобным. Однако, пока ничего еще не было — все казалось, по-видимому, и легко и просто.

Но не то почувствовала она, когда наконец стала матерью. Неодолимый инстинкт самки и нравственное, человеческое чувство матери громко заговорили в ее сердце. Когда она услышала слабый крик своего хилого мальчика, когда потом с невольной светлой улыбкой заглянула в его младенчески сморщенное личико и нежным осторожным поцелуем прикоснулась к его теплой пунцовой щечке, она почуяла, что это слабое, хилое, беспомощное существо — ее ребенок и что расстаться с ним, бросить его на произвол Воспитательного дома нельзя, невозможно. Чувство женщины, чувство матери и даже простое инстинктивное чувство самки возмутились таким черствым решением. То, что прежде казалось так легко, теперь стало неодолимо трудно. И эта нравственная метаморфоза совершилась сама собою, без каких бы то ни было влияний: она родилась естественно вместе с рождением ребенка. Что предстоит

этому ребенку далее? Какая судьба ожидает его? Каким образом нужно будет распорядиться его вскормлением, его воспитанием? — Нюта еще не знала, но твердо и ясно знала только то, что на произвол судьбы она его ни за что не бросит. Не только Полояров, но и родной отец, и никто и ничто в целом мире не заставили бы ее теперь отступиться от своего ребенка. Такое решение было вне ее сил, вне ее воли; оно было просто невозможно.

Ардальон Полояров между тем думал совсем иначе. Особенная полояровская простота воззрений на жизнь и человеческие отношения делала ему все и ясным, и легким, и очень возможным — была бы лишь своя охота! Скорее сбыть ребенка с рук было прямым его расчетом: ребенок этот — как ни вертись — являлся прямой уликой таких отношений, расплатою за которые может последовать законный брак, особенно если старый майор настойчиво и формально поведет дело. — "А черт его знает, может и поведет!" — думал себе Полояров, и порешил во что бы то ни стало избавиться от явной улики. Нельзя сказать, чтобы он являл собою особенно нежного отца и мужа. Появившись у постели Нюточки в первый день рождения сына, он в следующий раз пожаловал только на четвертый и, без дальних околичностей, сразу заговорил о том, что ребенка-то пора бы уж и пристроить.

— Надо бы хоть окрестить-то прежде, — заметила акушерка.

— А на что это крестить? — возразил Ардальон и даже притворился удивленным.

— Да как же не крестивши-то? — пожала та плечами.

— Вот еще глупости!.. Лишний расход — попам на водку давать.

— Да все же, уж порядок такой.

— Глупый порядок и больше ничего. Словно без того уж и жить нельзя?

— А как имя-то? Ведь имя ему надо же?

— Ну, что ж такое имя?.. Не все ли равно имя? Ну, вздумается мне его «Чесноком» назвать, ну и будет Чесноком!.. Чеснок — чем же не имя? — Преотличное имя! И очень даже благозвучно выходит.

— Ну, что это, ей-Богу, вы словно ко псу младенца приравниваете!.. Вам дело говоришь, а вы Бог знает что! Ведь без крещенья не обойдетесь, коли на то закон такой!

— Ну, как сдадим в Воспитательный, там пущай и крестят его как хотят, а нам, мать моя, некогда такими пустяками заниматься!

Нюта, у постели которой происходил весь этот разговор, сначала было слушала его молча, но при последних словах вдруг вспыхнула в лице и с твердой решимостью в слабом больном голосе проговорила:

— Окрещен он будет завтра же, а в Воспитательный отдавать я его не позволю.

— Так я и спросил твоего позволения! — полушутя возразил ей Полояров.

— Я этого не позволю, — повторила она еще с большей твердостью, расстанавливая слова.

— Почему ж это ты "не позволишь"? — слегка нахмурился Ардальон.

— Потому что это мой ребенок.

— Мой ребенок!.. он столько же и мой, как твой.

Нюта ответила на эти слова какой-то странной, почти презрительной усмешкой.

— А я скажу, — вмешалась акушерка, — что если уж сдавать маленького в Воспитательный, так лучше теперь сдавать, а то вы, Анна Петровна, пуще привыкнете к нему, тогда тяжелее будет. С непривычки-то всегда легче.

— Я уж привыкла, — сказала Нюта все тем же тоном, который выражал полную внутреннюю решимость.

— Хм!.. когда ж это ты успела привыкнуть? — с приятельской иронией заметил Полояров.

— С первой минуты.

— А! скажите пожалуйста!.. Вот как!.. И как не стыдно порядочной, развитой женщине такую ерунду пороть!.. Нет, брат, Анютка, погляжу я на тебя — никуда-то ты не годишься!.. Все мои труды ни к черту!.. Ну, рассуди, пожалуйста, логически: что ты станешь делать с этим лишним грузом? Я, как честный человек, считаю с своей стороны долгом предупредить тебя, что я не возьму на себя ни малейшей заботы об этом ребенке, если ты вздумаешь делать глупости, оставлять его. Согласиться на это было бы с моей стороны просто подло: я так считаю. Я не могу, не имею права взять на себя это! У меня — сама знаешь — и без того много забот и много серьезного дела. А это значит связывать себя!.. Уж ты тогда для дела, брат, шабаш! А я весь принадлежу делу, прежде всего и более всего!

Досадливо-нетерпеливая гримаска покривила губы Лубянской.

— Оставьте вы, Христа ради, эти вечные фразы о деле! — сказала она с раздражением. — Какое дело-то, и сами не знаете!.. Вас никто и не просит!.. Разве я навязываю вам?.. Обойдусь и без вас!.. Мой ребенок, моя и забота!

— Но ведь это, наконец, нелепо! — пожимая плечами, продолжал он убеждать и настаивать. — Ну, рассуди ты здраво, эгоистически: с какой стати обременять себя этим лишним грузом, когда забота о воспитании детей должна бы естественным образом лежать на прямой обязанности целого общества? Ведь не мне и не тебе, не Ивану и не Марье, а всему обществу нужны деятели, граждане — ну, оно и заботься, оно и воспитывай; а раз, что ты родила — твое дело исполнено, и баста! Есть Воспитательный дом — ну, и пользуйся им! А то что же, наконец? Проповедуем мы одно, а делаем другое! Где же после этого твои принципы, глупая ты коза моя, где же служение делу, идее?!

— Нет у меня никаких ваших идей и принципов! — со злобой отрезала ему Нюта. — Сказала раз нет — и нет! И не будет по-вашему! И пока жива, никогда я этого не позволю!

— Ну, ладно, ладно! — как бы соглашаясь, замахал рукой Полояров и в то же время выразительно подмигнул акушерке: дескать, пусть ее болтает, а мы-таки свое сделаем.

Нюта подметила этот взгляд и чутко поняла его значенье.

В душу ее закралось тревожное опасение, как бы Полояров насильно или обманом не отнял у нее ребенка. На нее напал затаенный и мучительный страх. Что он в состоянии сделать это — она не сомневалась; поэтому надо быть теперь вечно настороже, надо, может, тяжелой борьбой отстаивать свое материнское право.

По уходе Ардальона, она настояла, чтобы ребенок был немедленно перенесен в ее комнату и положен рядом с ее постелью. Ему кое-как приладили ложе из двух составленных кресел. Нюта несколько успокоилась, но все-таки не покидала в душе своих опасений.

XII. Жизнь пересилила

Два дня после этого прошли благополучно. Полояров не показывался, однако ж Нюта не отпускала ребенка из своей комнаты. Под вечер третьего благополучного дня она заснула, но вскоре ее разбудил легкий скрип двери. Все время настроенная воображением на ожидание недоброго, она чутко раскрыла глаза и первый взгляд тревожно кинула на постель ребенка. Постель была пуста.

Она громко окликнула акушерку — та не откликнулась. В испуге и волнении стремительно вскочила больная с кровати и, как была, на босую ногу, опрометью кинулась вон из спальни. Спешно перебежав две смежные комнаты, Нюта влетела в гостиную. Там стоял Полояров, в своей собачьей чуйке, с шапкой в руках, а рядом акушеркина кухарка в платке и шугае. Сама же акушерка укутывала в салоп младенца.

С криком "не дам!" кинулась на нее Нюта и стала отнимать ребенка.

— Бога ради… Что вы!.. Успокойтесь… Вы себя губите!.. — убеждала та, стараясь своими вразумленьями пересилить вопли матери.

Но Нюта словно обезумела. Она ничего не слышала, не понимала и не видела, кроме своего ребенка.

— Прочь ты, сумасшедшая! — гневно отстранил ее Полояров. — А вы не слушайте! — делайте, пожалуйста, свое дело!.. Чего стали-то?!

— Ах ты Господи! Говорила же я, что не надо этого делать!.. — послушалась сдуру!.. и вышло так! — бормотала растерянная повитуха, остановясь в нерешительности.

— Делайте, говорю вам, свое дело! — настаивал Ардальон. — Эй ты, тетка, бери-ка ребенка да и едем! Что тут глядеть-то ей в зубы!

И он подступил было к Нюте с тем, чтобы силою взять от нее младенца, но та, как раненая волчиха, крепко прижав дитя к своей груди, впилась в Полоярова такими безумно-грозными, горящими глазами и закричала таким неистово-отчаянным, истерическим криком, что тот струсил и здорово чертыхнувшись, бросился вон из квартиры.

Нюту колотила конвульсивная дрожь. Она глядела вперед, прямо перед собою, помешанными, бегающими глазами, и с непрерывными всю душу раздирающими криками жала к груди своего ребенка. Эти страшные крики вырывались у нее совсем бессознательно, помимо ее рассудка и воли. Все убеждения двух женщин были тщетны: она не допускала к себе ни ту, ни другую, встречая обеих таким же грозным, волчьим взглядом, как и Полоярова, при малейшем их подступе. Те окончательно растерялись и перетрусили. Наконец, быстрым, неожиданным движением сорвалась она с места, со своей драгоценной ношей, и бросилась в свою комнату. Там, почти в бессознательном, исступленном состоянии упав на постель и не выпуская из рук ребенка, несчастная разразилась страшными, истерическими, давящими рыданиями, а конвульсивная, судорожная дрожь меж тем все более, все сильнее подымала ее члены. Такое состояние продолжалось более часу.

Акушерка бросилась за доктором. Когда тот приехал, больная уже стихла, и вся изнеможенная,

вся в холодном поту, лежала почти без чувств, и совсем без сознания. Только грудь высоко и медленно напрягалась и опускалась с каким-то тяжелым, надорванным хрипеньем. Зубы были стиснуты, глаза закатились, а цепкие руки словно приросли к ребенку. Врач осмотрел ее внимательно, подробно расспросил о симптомах, какими сопровождалось болезненное состояние и нашел в больной сильное, почти безнадежное горячечное состояние в соединении с неизбежным помешательством.

XIII. Новые гости приехали

— Таня! а Таня!.. Беги скорее сюда! Погляди кто приехал-то! — раздался из залы радостный и громкий голос Стрешневой-тетки.

Татьяна вышла в залу и в радостном недоумении отшатнулась назад.

— Андрей Павлыч!..

— Собственной персоной! Здравствуйте!

И Устинов, крепко пожав протянутую ему руку, нагнулся своею плотно стриженною головою и поцеловал ее.

— Как вы хорошо сделали, что приехали!.. Надолго?

— Не знаю, надолго ли, не знаю, как и куда еще шатнет судьба отсюда, но с Славнобубенском простился… Невмоготу!

— А вы знаете, кто еще здесь из тамошних? — Лубянская, Нюта, — сообщила тетка.

Устинов утвердительно кивнул головою.

— Знаю-с, и вот именно благодаря-то отчасти ей и я в Петербурге.

— Как так? — с живым интересом спросила Татьяна.

— Я ведь не один… Мы с Петром Петровичем, с майором прикатили.

— И старик тоже здесь? — спросили обе дамы.

— Вместе, говорю. Он за дочкою. Скажите, знаете вы что с нею? Где она? Мы ничего этого не знаем.

Дамы переглянулись и помолчали.

— Она разве ничего не писала? — уклончиво и с некоторой неловкостью спросила Татьяна.

— Ни полслова! Старик искал ее в Москве — но там ни следа. Поехали сюда… Я почему-то был твердо убежден, что она здесь, в Петербурге. Ей иначе нигде и быть нельзя, по некоторым соображениям. Видите ли, в чем дело и почему собственно я-то тут принимаю участие, — стал объяснять Устинов, придвинув поближе к столу свое кресло. — Она ведь убежала… И так это вдруг, неожиданно… Отец и не подозревал, и не предчувствовал ничего себе. Но вдруг я получаю престранное и отчасти пребестолковое письмо, где она меня просит поберечь старика и говорит, что, может, вернется месяца через три, а может, и совсем не вернется. Представьте себе мое положение! Думаю себе: что же тут теперь станешь делать? Во-первых, сам ничего не понимаю и не знаю как и что тут произошло; во-вторых, и своих-то собственных неприятностей

куча, а тут еще старик… Что же с ним-то теперь будет, думаю себе. Еду к старику и застаю его в постели… совсем убитый горем. Потрясло его все это ужасно, так что ведь он пять недель с постели не вставал, и мы уж было думали, что конец; однако ничего, пересилил. Натура-то ведь крепкая еще какая!.. Вывезла! Я на все время болезни просто уж к нему перебрался, а то ведь лежит, бедняга, один и приглядеть-то за ним некому: одна баба в доме, да и та с ног сбилась совсем. Ну, стал он тут, наконец, поправляться и говорит мне как-то: вы, говорит, в Питер сбирались; поедемте вместе; я тоже хочу, говорит. "Уж куда тебе, батюшка, думаю, в Питер!" Однако не перечу. Что ж вы думаете? Как только мало-мальски оправился, первым же делом стал торопить отъездом. — Поедемте, говорит, живую, или мертвую, а уж я найду ее!.. Как это там… она, без денег, без вида, безо всего… Не могу я без нее, говорит. Ну вот и поехали. В Москве прожили неделю, искали, справлялись — ничего! Сегодня только что с машины. Его-то я оставил пока в нумере в гостинице, а сам вот, первым делом к вам прикатил. Помогите чем можете в нашем деле! Не знаете ли вы чего? — обратился он в заключение с просьбою к дамам.

— Знаю и могу, пожалуй, дать ее адрес, — сказала Татьяна, — только надо это вам сделать как-нибудь осторожнее, — с поспешной озабоченностью прибавила она. — Я не знаю, какие там у нее отношения с отцом, но прежде чем ехать ему, мне кажется, лучше бы вам самим сперва съездить к ней и повидаться.

— Вы давно ее видели? — спросил Устинов.

— В последний раз недели с три тому… А с тех пор не видала.

— Где ж она живет?

— В коммуне.

Устинов в недоумении вскинулся на Стрешневу глазами.

— Где? — повторил он, как бы не расслышав.

— В коммуне, — улыбнулась Татьяна.

— В коммуне?.. Это что ж еще такое?.. Какие же там коммунисты?

— Наши общие знакомцы… Полояров, Анцыфров, Лидинька…

— Ах, вот оно что!.. Да, теперь понимаю! — полупоклонился Устинов, как-то раздумчиво покачав своей большой стриженой головой. — Стало быть, надо, не теряя времени, ехать в эту коммуну.

Стрешнева вспомнила, что отношения между Устиновым и Полояровым с братией еще в Славнобубенске стали весьма натянуты, и потому ей не хотелось подвергать его неприятной встрече с этими господами.

— Погодите, посидите-ка лучше с нами, дайте на себя поглядеть! — весело предложила она старому своему приятелю; — а мы лучше дело-то вот как устроим: чем самим вам ездить, так лучше я напишу к ней записку, чтобы она приезжала сейчас же, безотлагательно, по очень важному делу, и на извозчике пошлю за нею человека. Это будет гораздо удобнее.

Устинов охотно согласился.

Посланный вернулся через час и подал Татьяне заклеенное облаткой письмо.

Молча пробежав его глазами, она как-то смутилась и поглядела на тетку и на Устинова, и опять на письмо, словно бы затрудняясь передать им его содержание.

Те вопросительно-ожидающим взглядом глядели на нее.

— Ну-с, в чем дело? — спросил Андрей Павлович.

— Прочтите, — отозвалась Стрешнева и передала ему листок.

Устинов стал читать про себя.

"Миленькая Стрешнева, Лубянской уже нет в коммуне. Две недели тому назад она переехала к знакомой акушерке, так как должна была родить. Теперь она уже родила, но находится в очень опасном положении. Если вам хочется видеть ее, так вот вам адрес: Пески, Слоновая улица, дом № 00, у акушерки Степановой. Вся ваша Л. Затц.

Письмо ваше к Лубянской препровождаю обратно; я его не читала, потому что читать чужие письма считаю подлостью".

— Н-ну… Сюрприз для старика! — тихо, с испугом и озабоченно проговорил Устинов. — Я, признаться, и прежде еще подозревал, что не что иное, как это и есть настоящая причина ее побега, но… Петр-то Петрович… как только он это вынесет!..

— Я поеду… медлить-то нечего! — через минуту поднялся он с места. — Дайте-ка адрес… Слоновая улица, Пески, у Степановой… Хорошо; не забуду. До свиданья!..

И озабоченный Устинов откланялся дамам.

XIV. Перед постелью больной

Он поехал прямо по данному адресу и вскоре отыскал акушерку Степанову.

В маленькой, тесной комнатке, с низким потолком, с кисловато-затхлым воздухом, чуялось присутствие тяжко больного человека. Устинов заглянул за ширмы и в полумраке разглядел больную. Она лежала разметавшись, желтовато-бледная, исхудалая, в сильном горячечном жару. Неподвижные глаза были широко раскрыты, но глядели бессмысленно, ничего не видя. Появление постороннего человека не оказало на нее никакого впечатления: она была в беспамятстве. Устинов осторожно дотронулся до ее лба. Лоб был сух и неестественно горяч. Неподвижные глаза все так же глядели в пространство. Она не заметила и прикосновения.

— Анна Петровна… — тихо произнес учитель. Больная не шелохнулась, не откликнулась.

"Плохо!" помыслил он со вздохом и обратился к акушерке:

— Давно уж так?

— Третьи сутки, — отвечала та скорбным шепотом.

— А ребенок где?

— Взяли! — махнула она рукою. — Я говорила еще и прежде им, чтобы они этого не делали — ну, не послушались… А это вот и подействовало на нее таким образом… Ни за что не хотела

отдать младенца-то.

— Кто же взял-то его и куда? — спросил Устинов.

— Господин Полояров-с. Они все в Воспитательный желали, а ей этого ни за что не хотелось. В первый-то раз как приехали они брать его, так она, и Боже мой, как против этого! Вырвала ребенка и не отдала… И вот от этого потрясенья-то больше и случилось… как видите.

— Да как же вы-то, сударыня, допустили до этого?

Повитуха оробело поглядела на Устинова.

— Да я-то помилуйте, что же я могу?.. Они ведь отец ребенку… Я с своей стороны какие могла, такие резоны им и представляла, ну, они и слушать ничего не желали…

— Так когда же он окончательно ребенка-то взял?

— А вчерашнего дня утром приезжали в карете с какой-то дамой… Больная в беспамятстве была… Они потребовали, стали настаивать, что это необходимо, я и отдала… Я тут что же-с?.. Я человек посторонний и мне ихние семейные дела неизвестны… Мне уж и то хлопот-то теперь столько, что кабы знала все это раньше, так и, Господи! ни за какие деньги, кажись, не взяла бы на себя всю эту обузу!.. Избави Бог!.. И то уж совсем с ног сбилась с нею!.. Помилуйте, ведь я, говорю вам, человек посторонний, ее совсем даже не знаю, а притом занятия свои тоже, практику имею — и все это теперь в сторону!.. Конечно, по христианству только не выгнать же от себя, коли уж такое горе случилось.

— И что ж, она все одна так и лежит? Присмотр есть ли за нею хоть какой?

— Да вот, приглядываю по силам; уж и то, говорю вам, всю практику бросила на это время… Оставить-то не на кого… Ну, тоже доктор — спасибо ему — навещает пока, а что господин Полояров, так очень даже мало ездят; я просто удивляюсь на них… Эдакой, подумаешь, ученый, умный человек, писатель, и никакого сострадания!.. Как даже не грешно!..

— Одного я только боюсь, — совсем уже тихим шепотом прибавила она, помолчав немного, — вида-то у нее при себе никакого нет; и когда я спросила про то господина Полоярова, так они очень даже уклончиво ответили, что вид им будет; однако вот все нет до сей поры. А я боюсь, что как неравно — не дай Бог — умрет, что я с ней тут стану делать-то тогда без вида? Ведь у нас так на этот счет строго, что и хоронить, пожалуй, не станут, да еще историю себе с полицией наживешь… Боюсь я этого страх как!

— Не беспокойтесь, вид будет: ее отец теперь приехал, — успокоил ее Устинов. — Я вот сейчас съезжу за стариком и привезу его…

В это время тихо скрипнула дверь.

Андрей Павлович обернулся и увидал медвежевато входящего на цыпочках Ардальона Полоярова. Тот невольно остановился, пораженный нежданным появлением такого необычайного и притом крайне неприятного посетителя. Они в упор почти вымеряли друг друга злобными глазами.

— Вы здесь какими судьбами? — шепотом, но грубо спросил Полояров. — Кто вас привел сюда?.. чего вам здесь надо?

— Это не ваше дело! — резко, но тоже шепотом отвечал Устинов.

— Нет-с мое, потому она на моем попечении…

— Она на попечении отца своего, которого я сейчас привезу сюда.

При этом неожиданном извещении, Полояров вдруг побледнел, смутился и насупился.

— Отца, вы говорите?

— Да отца… Он сейчас будет здесь.

— Ну, что ж… пущай его! — принужденно ухмыльнулся Полояров.

В душе Устинова кипела против него злоба.

— Я посмотрю, так ли вы будете ухмыляться, — веско проговорил он, — когда все ваши поступки с этой несчастной будут обнаружены пред судом, пред правительством… наконец, гласно пред судом общественного мнения… Я посмотрю тогда!

В душе у Полоярова ёкнуло что-то жуткое и тревожное, однако он постарался выдержать, насколько мог, свой прежний равнодушно-пренебрежительный тон!

— Вот как-с!.. Пред судом и гласно… и даже пред правительством… Больно уж вы, господин Устинов, любите прибегать под защиту благодетельного правительства!.. Что ж! это как кому по вкусу и по наклонностям!.. Только желал бы я знать, в чем это вы намерены обвинять меня перед вашим правительством? Не в том ли, что я, совсем чужой, посторонний человек, из одного только простого чувства человеческого сострадания, решился помочь моей старой знакомой в ее критическом положении и сделал для нее все, что мог? В этом, что ли, обвинять вы меня будете?

— Не забегайте-с вперед! Здесь не это, а ребенок…

— Так что ж, что ребенок? — удивился Ардальон. — Ребенок ее, а не мой!.. Мне какое дело до ребенка? Отец я ему, что ли?!

Устинова глубоко поразила такая беспредельная наглость.

— Честный вы человек! так вы и от этого отказываетесь?..

— А вы желали бы, чтоб я и это на себя взял?.. Ха, ха, ха!.. Какой вы щедрый однако! — презрительно усмехнулся Полояров. — Этот ребенок столько же мой, сколько и ваш!.. Почем знать, с кем она прижила его! Может, и с вами! Ведь вы были с нею такой же знакомый, как и я!..

Повитуха, не менее Устинова пораженная этой наглостью, даже руками всплеснула.

— Как!.. Вчера был ваш, а сегодня не ваш! — подступила она к Полоярову. — И вы это можете при мне говорить?.. при мне, когда вы вчера, как отец, требовали от меня этого ребенка? Да у меня свидетели-с найдутся!.. Моя прислуга слышала, доктор слышал как больная в бреду называла вас отцом!.. Какой же вы человек после этого!.. От своего ребенка отказываться.

Полояров растерялся. Он понял, что необдуманно увлекшись пререканием с Устиновым, попал теперь в силки, что даже и юридически, пожалуй, ничего не поделаешь против совокупности

столь многоразличных доказательств, между которыми и его письмо, и его обещание жениться, и участие, какое принимал в родильнице, и наконец эти свидетели.

Мигом же после этого сообразил он, что взятый маневр не годится, что наглостью тут ничего не возьмешь, и потому в глубине души струсил не мало.

— Ну, полноте! все это глупости! — в мягком, примирительном тоне заговорил он Устинову, тщетно ловя для заискивающего пожатия его руку. — Вы не поверите… видя все эти ее страдания, я сам так исстрадался, так измучился душою, что просто себя не помню! Не помню, что делаю, что говорю… Я просто теперь как сумасшедший (он тяжко взялся за голову и медленно, как бы пробуждаясь, провел рукой по лбу). Как добрый и порядочный человек, извините меня, Бога ради, если я сказал вам что-нибудь глупое или резкое… Я в таком странном состоянии. Так тяжело мне… так тяжело.

И он тяжело опустился на стул и кручинно подпер лицо облокоченными на стол руками. Но переход от одного настроения к другому был сделан и резко, и аляповато, так что обнажил в Полоярове неумелого актера.

Устинов окинул его гадливо-презрительным взглядом и, не сказав ни слова, направился к двери, но там на минуту замедлился в раздумье и снова подошел к Полоярову.

— Я вас прошу удалиться отсюда заблаговременно, — сказал он, — потому что через полчаса здесь будет отец ее.

Полояров показал вид, будто он настолько удручен тяжким горем, что даже не слышит обращенной к нему речи.

Устинов повторил еще вразумительнее свое требование и вышел из комнаты.

XV. При последних минутах

Мрачный и смущенный, вернулся он в номер гостиницы, где нетерпеливо ожидал его старик Лубянский.

Взглянув на лицо Устинова, майор чутко угадал, что тот, должно быть, принес вести недобрые.

Андрей Павлович молчал, либо старался отделываться фразами и вопросами о совсем посторонних предметах, но все это как-то не клеилось, как-то неловко выходило. Он боялся, он просто духом падал пред необходимостью раскрыть старику всю ужасную истину. — "Тот же нож" думал он. — "Возьми его да и ударь ему прямо в сердце… то же самое будет!"

Но это молчание и усиленное старание заводить разговор о посторонних вещах еще более убеждали старика в том, что Устинов принес с собою что-то недоброе.

— Да расскажите же наконец, — приступил он к учителю. — Ну, были вы у Стрешневых?.. ну, и что же?.. Как? Говорили вы там?.. Спрашивали?

— Был же, говорю! — как бы нехотя, отвечал тот.

— Ну, и что же?..

— Да ничего… Все такие же… Вам кланяются…

— Да нет! Я спрашиваю, говорили ли…

— Да что говорить-то там… Так, говорили… разное там…

Старик молча прошелся несколько раз по комнате. Он словно бы сосредоточивался, словно бы внутренно приготовлялся, решаясь на что-то важное, большое и наконец стал пред учителем, спокойно и твердо глядя ему в глаза.

— Андрей Павлыч, — начал он с таким спокойствием непреклонной решимости, которое поразило Устинова. — Не скрывайте, говорите лучше прямо… Меня вы не обманете: я вижу, я очень хорошо вижу по вас, что вы знаете что-то очень недоброе, да только сказать не решаетесь… Ничего!.. Как бы ни было худо то, что вы скажете, я перенесу… Я уж много перенес… ну, и еще перенесу… Вы видите, я спокоен… Ведь все равно же, рано ли, поздно ли, узнаю… Говорите лучше сразу!

Старик замолк и ожидал рокового удара все с тем же твердым спокойствием.

Учитель собрался, наконец, с духом.

— Да что сказать-то! — как-то глухо, подавленно начал он. — Поедемте к ней… умирает… Внука вам Бог дал, да скрали вчера… в Воспитательный сбросили.

И он угрюмо отвернулся в сторону, стараясь не взглянуть в лицо старику.

Действительно, лицо его было страшно в эту минуту. Мрачные глаза потухли, а на висках и в щеках, словно железные, упруго и круто заходили старческие мускулы. Майор, только уперся напряженными пальцами в стол и стоял неподвижно. Он ломал себя нравственно, делал над собою какое-то страшное усилие, пряча в самую сокровенную глубину души великий груз своего неисходного горя. Устинов, отвернувшись, слышал только, как раза два коротким, невыразимо-болезненным скрежетом заскрипели его зубы.

— Ну, поедемте… Теперь я готов! — глухо, но спокойно сказал старик через минуту.

И они отправились.

* * *

Больная была все в том же безнадежном беспамятстве. У нее уже начинались признаки медленной, но мучительной агонии.

Час спустя после приезда к ней отца в этой маленькой комнате тускло мерцала лампадка перед образом, который был поставлен на предпостельный столик, покрытый чистой, белой салфеткой.

Священник, в темной рясе и в стареньком эпитрахиле, шептал над изголовьем больной глухую исповедь. Старый майор, опустясь перед постелью на колени и тихо склонившись лицом к холодеющей руке дочери, молился почти без слов, но какою-то глубокою, напряженною, всю душу проницающею молитвою. За ним, шагах в двух, тоже на коленях, стояла акушерка и тоже молилась, набожно, но как-то обыкновенно, в должную меру. В дверях поместилась кухарка и глядела на все с тупым любопытством, столь же тупо крестясь и кланяясь порою, с быстрым размахом руки и корпуса. И тут же, у дверной притолоки, прислонясь к ней, стоял Устинов. Крепко стиснув пальцы сложенных рук, он не молился, и по угрюмому лицу его бродили темные тени каких-то злобных, мрачных и тяжелых дум.

Священник кончил свое дело и перекрестил умирающую. Она подавала еще слабые признаки жизни легким хрипением и медленной икотой, но посинелые пальцы рук и вытянутые ноги все больше и больше холодели. Смерть одолевала…

Часа два спустя, в маленькой зале, наискось к переднему углу, стоял уже стол, покрытый простынею и пахло только что накуренным ладаном.

XVI. После похорон

Похороны были не пышны и не многолюдны; майор с Устиновым, Стрешнева с теткой, повитуха Степанова да Лидинька Затц со вдовушкой Сусанной — вот и вся публика, почтившая покойницу проводами. Ардальона Полоярова не было.

Священник торопливо отпел над могилой последнюю литию и спешно удалился с дьячком по другие требы; удалились и Лидинька с Сусанной читать надгробные надписи — обыкновенное занятие всех, кто без особенного горя личной потери редко посещает кладбища. Над зарываемой могилой оставались теперь только майор да старуха Стрешнева. Татьяна, чтобы рассеять несколько чувство дурноты и головной боли, навеянное спертым воздухом церкви, отправилась вместе с Устиновым пройтись немного по деревянным мосткам, ведущим вдоль аллеи в глубину кладбищенской рощи.

День был тихий, бессолнечный, с небольшим морозцем. Между прутьями и сучьями кустов держались насевшие на них хлопья пушистого снега. Эти хлопья изредка, медленно и тихо, то там, то сям падали с ветвей на землю. Над куполом церкви щебетали галки, а на верхушке березы где-то ворон тихо посылал к кому-то свое короткое: "кррук! кррук!.."

Могила была, наконец, зарыта. Двое могильщиков, сняв шапки и медля уходить, стояли в ожидании «чайка-с». Лубянский дал сколько-то мелочи, и они удалились с бесконечно-светлыми лицами, что, по-видимому, так противоречило их мрачной профессии.

— Ну, Нюта! — вздохнул майор. — Теперь не моя, а Божья… Бог дал, Бог и взял. Не хорошо, сударыня моя, — прибавил он с какой-то горькой улыбкой, обращаясь к старухе, — не хорошо на старости лет детей хоронить.

— Что делать! Божья воля! — ответила та, лишь бы что ответить. — Надо покориться…

— Покориться! — усмехнулся Лубянский! — да что ж тут и делать-то больше, сударыня моя, как не покориться… Кабы в человеке сила была бессмертная, ну, так боролся бы! А это (он кивнул головой не окружающие могилы), это ведь сильнее! Да я что ж, я не ропщу! — прибавил старик, помолчав немного. — Что ропот?!.. ропотом согрешишь, а дела все ж не поправишь!.. Его святая воля! — Знал, что творил… Может, оно и лучше, что она умерла… Да и что за жизнь ее была бы? Все радости девичьи, все деньки-то ее красные — все это добрые люди отняли да обворовали!

Старуха Стрешнева, боясь как бы потеря дочери не произвела на старика слишком сильного потрясения и как бы он в конце не затосковался в одиночестве, думала хоть чем-нибудь рассеять его на первое время, чтоб был он больше на людях, а не наедине с самим с собою, и потому предложила ему перебраться, пока что, к ней на квартиру.

— Все же лучше, чем в трактире, — говорила она, — да и вам спокойнее.

— Да я что ж… я спокоен, сударыня, я спокоен теперь, — полусмущенно и благодарно говорил он. — Спасибо вам… за ваше участие доброе спасибо!.. Переехать к вам — это, полагаю,

стеснительно будет, да и притом же уж я так… с Андреем вот Павлычем вместе… а посещать вас почаще, это вот вы мне позвольте.

Старуха предложила ему довезти его до дому в ее карете.

— А я, тетя, пройдусь немного пешком с Андреем Павлычем — погода хорошая, — сказала Татьяна и подала руку Устинову.

Карета тронулась из кладбищенских ворот.

— Замечаете вы, — обратилась к нему Татьяна, — как спокоен старик-то? Я думала было, что это окончательно убьет его, но нет, — слава Богу, ничего еще пока… держится.

— Он уж давно убит! — грустно усмехнулся Устинов. — Два раза живую терять ее так, как он терял — это было тяжелее, чем мертвую хоронить. Если бы вы знали, если бы вы только могли представить себе все, что он вытерпел и как перестрадал!.. Если выдержал и не умер до этого, так теперь-то выдержит!.. Это все же легче, чем то!.. А что горя-то у него было столько, как не дай Бог никому… Но теперь все это горе, знаете, выкипело, перегорело в душе, и оттого он кажется спокойным. Чересчур уж глубокое, тяжелое горе всегда спокойно.

— А жаль Лубянскую… Так рано и так ужасно умереть!.. — раздумчиво и грустно заметила Стрешнева.

— Да, в Лубянской многого и многих жаль! — несколько помолчав, и как бы в ответ на какую-то свою собственную мысль проговорил Устинов. — Она, пожалуй, не годилась бы в героини романа, но в судьбе ее есть много поучительного. Знаете ли, меня просто злость берет, как раздумаешься надо всем этим! Ведь что такое, в сущности, эта Нюточка Лубянская? — Самая обыкновенная девушка, каких вы встретите тысячи. Были у нее добрые, честные порывы, были стремления к хорошему, к новой и светлой жизни, к труду — и потому-то вот мне еще досаднее и больнее за всех этих Нюточек! Не встреться ей на дороге господин Полояров — не то бы, может, и из Нюты вышло. Она, как хотите, даже хорошо сделала, что догадалась умереть вовремя!

Стрешнева посмотрела на него вопросительно и с некоторым недоумением.

— Да в самом деле! — продолжал он в ответ на ее взгляд, — потому что, что ж оставалось ей в жизни? От одного берега отстала, к другому не пристала, да и пристать-то никогда не могла бы. Вот эти все господа Полояровы стремятся — на словах, по крайней мере — к тому, чтобы вывести женщину на новую дорогу. Прекрасно-с, зачем нет? Да только дорога дороге рознь. Оно, конечно, такие казусы, как с Нюточкой, и без новых людей сплошь да рядом встречаются; "*отцы*" тоже маху не давали, и сущность осталась та же, но форма, внешняя форма изменилась. Прежде брали нежными вздохами, блестящим мундиром, красивой рожицей, а теперь господа Полояровы берут на удочку новых идей, приманкой "новой жизни", благо в женщину заронилось смутное стремление выбиться из своего тесного положения. Но вот что скверно-с, что Полояровы все это в «принцип» возводят. Сделает человек мерзость, и убежден, что ему и должно так делать! Сделай ту же самую мерзость гвардейский офицер, маменькин сынок и вообще всяк, кого они пошлецом обзывают — все Полояровы в набат забьют, тенденциозную повесть напишут, с гражданской скорбью, с цивическим негодованием и уж как чувствительно выставят "несчастную жертву" пошлеца! А сделал вот то же самое не гвардейский пошлец, а сам господин Полояров — и об этом никто из них ни гу-гу! Промолчат-с, замажут, запрячут и проглотят всю суть дела… И Боже вас избави назвать за это подлецом Полоярова! — Разбой! донос! клевета! завопит на вас все стадо, и выльется на вашу голову вся

клоака самых гнусных мерзостей собственного их изобретения, лишь бы доехать вас не мытьем, так катаньем! А почтеннейшая публика, слыша рев, и сама начинает вторить: разбой! клевета! доносы!.. Тьфу, ты Господи! да что же это наконец такое! — Повальный сумбур какой-то!

Устинов досадливо замолчал и шел несколько времени, не проронив слова. И по его лицу, и по его тону Стрешнева заметила, что в нем искренно высказывается теперь все то, что давно уже успело накипеть на сердце.

— Или вот тоже еще! — снова начал маленький математик, опять увлекаясь своей темой. — Как поглядишь, какие все это ярые эмансипаторы, все эти господа Полояровы! Через два слова в третье Джон-Стюарт Милль на языке, угнетение женщины, свобода и равноправие отношений, свобода чувства, безобразие брака — и какие ведь все хорошие слова, подумаешь! Даже повести и романы специально на этот предмет сочиняют. Но странное дело! Замечали ль вы, что во всех этих повестях они тщательно избегают детей? Так избегают, чтобы в голове читателя даже и намека на вопрос о детях не возникло бы! Я не помню, чтобы которая из их героинь имела ребенка. Устраивают для нее новую жизнь, новое счастие, новые отношения, но о детях опять-таки ни гу-гу! Что это, скажи же на милость: наивная ли простота и неведение, или же лукавое передергивание житейской правды? А придай-ка они любой своей героине хоть одного ребенка — и кончено! Тенденциозного романа не существует! И вот вам живой пример — та же самая Нюточка. Роман-то, пожалуй, и вышел, да только совсем в другом вкусе, и господа Полояровы этого романа не напишут, а и прочтут, так не одобрят, а изо всех сил поторопятся поскорей, на весь мир крещеный, обозвать его клеветой да подлым доносом!

Часть четвертая

I. Сумбур

Наступил год 1862, - год тысячелетия России. В Великом Новгороде ставили по этому поводу памятник. Лондонский «Колокол» с самодовольной скромностью нашел, что форма памятника очень льстит ему, ибо напоминает собою «Колокол» — "только который? — вечевой или лондонский?" спрашивал г. Герцен.

Всевозможные Малгоржаны и Анцыфровы были убеждены, что конечно лондонский, но что об этом не догадались только *наверху.* Некоторые ученые писали статьи и исследования на тему «тысячелетия»; и по поводу этого же самого пресловутого тысячелетия газеты и журналы трубили торжественный туш нашему прогрессу и совершенствованию.

Действительно, совершенствование было великое.

Главнейшим образом был открыт и усовершенствован отечественный канкан.

В то же время последовало открытие нового рода неведомой дотоле болезни, которая названа специалистами "гражданскою скорбью"; засим, одним из цивических скорбных поэтов была открыта "долина, в которой спят слезы гражданина".

Усовершенствована до последней степени брань литературная.

Усовершенствованы способы борьбы с противниками мнений и убеждений.

Усовершенствован штат санкт-петербургской полиции, восприятием в нее "более либеральных элементов".

Происходили ученые съезды, где на жизнь или смерть решалась судьба злосчастных букв ѣ, ѳ и ѵ.

Лев Камбек издавал журнал под названием «Ерунда». — Это, поистине, было знамение времени, — увы! ни единым проницательным человеком тогда не оцененное.

Появился трактат "о табунных свойствах русского человека", который очень не понравился великим деятелям «Искры». Они никак не соглашались признать себя ржущим стадом, хотя такого признания никто от них и не требовал.

Появился трактат о пользе шпицрутенов и об удобстве палок, которыми можно дуть солдат за фронтом, даже во время дела, под огнем неприятеля. К чести русской армии, 106 офицеров разного рода оружия протестовали против этого трактата. Впервые печатно было названо имя г. Герцена. Осмелился на это, понятно не без разрешения, г. Шедо-Ферроти и тем стяжал себе славу: его имя, доселе неизвестное, было связано теперь с громким именем нашего réfugié. Добродушных сынов отечества весьма радовало печатное появление фамилии г. Герцена: семь букв этой фамилии, крупным шрифтом красовавшиеся в окнах книжных магазинов, приятно ласкали глаз сынов отечества, ибо в этих семи буквах они прозирали либеральную уступку либеральным требованиям века. Факт этот был отнесен ими к числу общественных преобретений.

К числу таковых же надо отнести и убеждение, что все те, кому стукнуло за сорок, суть «отсталые», и не имеют уже права принадлежать к молодому поколению, сколько бы перед ним ни лебезили.

Тверские гимназисты торжественно выгнали из общественного собрания даму, несмотря на то, что у нее имелся входной билет, за то только, что она была… жена капельмейстера. Тверские гимназисты имели мужество издеваться над смущением и слезами этой женщины.

Директор Коммерческой академии в Москве торжественно публиковал в своем «Отчете» о том, что он ввел в это учебное заведение издание журнала и карикатурного альбома под названием «Чепуха», где воспитанники (они же и издатели, и сотрудники) осмеивают своих надзирателей, учителей и т. п. Господин директор сам цензоровал «Чепуху» и заявил, что эта «Чепуха» заставляет его "иногда от души посмеяться".

Тот же самый директор и в том же самом «Отчете» публиковал, что при всей его прогрессивности, он не мог воздержаться от телесных наказаний учеников и не сумел обойтись без розог.

* * *

Это была эпоха финансовых, торговых, общественных и всяческих затруднений, с которыми Россия вступала во второе свое тысячелетие.

Безденежье достигло до того, что мелкое серебро совершенно исчезло из обращения, и говоря о нем, всегда прибавляли "блаженной памяти, 84-й пробы". Ввиду такого финансового кризиса, правительство сделало новый заем в 15 миллионов фунтов стерлингов у парижских и лондонских Ротшильдов.

Был впервые опубликован государственный бюджет и поднялся вопрос о поземельных банках.

Вместе с этим носились слухи, что с новым тысячелетием отменятся старые шпицрутены, клейма и плети.

Поднялся вопрос об изменении законов о печати. Литературные силы были призваны к посильному участию в обсуждении этого вопроса; но литературные силы, говоря относительно, мало обратили на это внимание: им было не до того — все способности, вся деятельность их оставались направленными на взаимное заушение и оплевание.

С января месяца в Москве, в Туле, в Калуге и в Петербурге открылись дворянские съезды, с обычною целью выборов. Но эти съезды получали теперь новый характер, они были первые после уничтожения крепостного права, первые в новой эре жизни. Само правительство предложило на обсуждение дворян вопросы касательно земско-выборного начала в управлении, в финансах, в суде. Эти вопросы, в таком виде, предлагались еще впервые: с них починалась новая полоса жизни, и прения по необходимости должны были получить характер совещательно-государственных. Поднялись голоса разные: один, по поводу распространения выборного начала, на все земство вопиет "о неуместности соединения дворянства в одной комиссии с прочими сословиями"; другой, становясь под охрану "Дворянской грамоты" Екатерины II, доказывает права дворян на землю и на неудобства в наделе ею крестьян, а потом предлагает господам дворянам некоторые изменения в Положении 19-го февраля, сообразно с "Дворянскою Грамотою", третий требует нового утверждения на помещичью землю, введения каких-то вечных паспортов; четвертые добровольно отказываются от всех своих сословных прав и преимуществ.

Толковали и даже писали, будто дворянство целой губернии, одно из самых передовых, уже совершило над собою добровольный акт заклания, принесло жертву самоуничижения и просило о слиянии его со всей остальной массой народа — в форме уничтожения всех своих прав. Об уничтожении телесных наказаний пока только говорили, но и de jure и de facto они еще благоденствовали, и потому многие искренно удивлялись, что вот-де какие передовые люди: готовы лечь даже под розги и под плеть во имя прогресса! Вместо того, чтобы подымать на уровень своих прав всю остальную массу народа, мы приносили жертву самоотречения и самоуничтожения и думали, что это прогресс.

В то же самое время, как тверские гимназисты изгоняли из собрания даму, тринадцать лиц, принадлежавших к составу мировых учреждений Тверской губернии, из которых многие уже перешагнули границу лет, где по тогдашней вере молодого поколения начиналась область «отсталости», были арестованы, привезены в Петропавловскую крепость и преданы суду Сената. По официальному извещению "Северной Почты", эти тринадцать лиц "позволили себе письменно заявить местному губернскому по крестьянскому делу присутствию, что они впредь намерены руководствоваться в своих действиях воззрениями и убеждениями, не согласными с Положением 19-го февраля 1861 года, и что всякий другой образ действий они признают враждебным обществу".

Все это в совокупности знаменовало собою чрезвычайную, напряженную возбужденность тогдашнего хода дел и общественного положения.

* * *

Из Польши доходили смутные вести. Что такое там делалось — мы мало еще смыслили, ограничиваясь перепечаткою кратких сухих известий из официальной "Газеты Польской". Слышно было, что в Варшаве поднялись новые демонстрации, особенно против Фелинского, что там опять запели гимны…

Польский вопрос только еще нарождался в русской литературе. Один лишь «День» подымал его, но и то в теоретической, отвлеченной сфере. Это были честные усилия, честные стремления и золотые мечты поставить его на обсуждение людей нашего и польского лагеря.

«День» хотел обоюдно выяснить дело, прийти к полюбовному соглашению и дружно идти вперед, рука об руку. Ему откликнулся писатель Грабовский, открыто и смело доказывая права Польши на западную нашу окраину, на основании католическо-шляхетской цивилизации. Народ при этом не принимался ни в какое соображение. Грабовский заявил, что интересы католицизма и Польши суть одно и то же. Это был в то время в высшей степени знаменательный голос, который однако же кое-где в литературе был найден лишь ультрамонтанским отголоском, не более.

Литература не понимала еще сути этого дела. В тогдашних органах ее, не исключая даже официозного "Нашего Времени", Северо-Западный край зачастую назывался просто Польшею. Известия из Виленской и Минской губернии были "известиями из Польши". Литература и сама-то еще не знала хорошенько, Россия ли это, или Польша? Когда Иван Аксаков назвал стремления и посягательства поляков на Западный край и на Киев политическим безумием, то так называемое "общественное мнение", в лице всех журналов, напало на него "за резкие выражения, направленные против поляков".

Мы еще вменяли себе в гражданский долг делать им грациозные книксены, приправленные сентиментальными улыбками. Мы слыхали только, что поляки хотят свободы — и этого словца для нас было уже достаточно, чтобы мы, во имя либерализма, позволили корнать себя по Днепр, от моря до моря. Они говорили нам, что "это, мол, все наше" — мы кланялись и верили. Не верить и отстаивать «захваченное» было бы не либерально, а мы так боялись, чтобы кто не подумал — будто мы не либеральны.

А в это время в Париже пан Духинский уже громко проповедывал с кафедры, что мы, москали, не славяне, а какая-то презренная помесь финско-татарского племени, ублюдки азиатской семьи, дикие и варварские Тураны, грозящие гибелью славянству и европейской цивилизации. Доказательства этому пан Духинский находил между прочим и в том, что наши женщины отличаются маленькой ножкой — явный признак сродства с китаянками, и что москали вовсе не подвержены ревматизму, который будто бы есть специальная болезнь цивилизованной Западной Европы; мы же до того монголы, что не можем даже чувствовать ревматической ломоты, и что, стало быть, в видах охранения цивилизованного мира, надо восстановить на месте нынешней России старую Польшу, а москалей прогнать за Урал в среднеазиатские степи. В Париже целое ученое общество принялось издавать карту, где мы были отмежеваны, в качестве туранских выходцев, в подобающие нам границы — и европейское общественное мнение с живым, горячим участием ухватилось за пропаганду идей пана Духинского.

Наша литература пренебрегла или проглядела этот факт. Ей было не до того: она задавала сама себе "вселенскую смазь" и "загибала салазки", по выражению автора "Очерков бурсы". Один только «Колокол» вопиял о незаконности и преступности нашего немецки-казарменного и татарски-благодетельного обладания несчастною страною, полною таких светлых воспоминаний вольнолюбивой, республиканской старины, полною стремлений к свету, свободе, цивилизации, в которой она далеко превзошла наше московско-татарское варварство.

Мы благоговейно внимали, поучались и — сознательно, или бессознательно — повторяли все эти фразы.

Между тем Польше, через час по столовой ложке, давались кой-какие льготы; предполагалось реорганизовать суды, пересмотреть кодекс наказаний… Шаг вперед — шаг назад; сегодня вдруг строгости усиленные, а завтра — ни с того, ни с сего самая странная слабость. Все это было шатко, все показывало отсутствие какой бы то ни было системы, во всем являлся ряд полумер, полууступок, словно бы люди и не знали дотоле, что за зверь такой эта Польша, с которою ему вдруг теперь приходится возиться? Власть без авторитета, авторитет без голоса,

сомневающийся даже в собственном своем праве — это было положение человека, с завязанными глазами, который в незнакомой комнате и с незнакомыми людьми играет в жмурки. Его пятнают, скользят из-под рук, тычут и щиплют спереди и сзади, с боков, сверху, снизу, — а он, стараясь поймать хоть кого-нибудь, тщетно машет руками и бьет по воздуху, с каждым шагом боясь оступиться и упасть — к общему удовольствию играющих. Такая политика клонилась к явному и неизбежному ущербу нашего национального и государственного достоинства.

* * *

Бывают, точно, времена
Совсем особенного свойства!

Какого же свойства были времена 1862-го года?

То были времена, когда по преемственному завету 1858-го — 59-го года, большинство газетных статей все еще начиналось известною стереотипною фразою "в настоящее время, когда" и т. д.

Перед этим в нашей литературе всецело господствовал "безобразный поступок" «Века». Все журналы, все газеты наполнялись этим "безобразным поступком", а одна из них чуть ли даже не открыла специальный отдел для этого «поступка». — "Камень Виногоров... «Век»... madame Толмачева... безобразный поступок «Века»... Виногоров... безобразный" только и слышалось со всех сторон литературной арены.

К началу 1862 года мы несколько поугомонились и попримолкли с этим "безобразным поступком", успевшим надоесть всем и каждому до последней крайности: на сцену готовился выйти кукельван в пиве г. Крона.

Сама madame Толмачева появилась перед санкт-петербургскою публикою на одном литературном вечере, благодарила господ литераторов за столь ревностные протесты против "безобразного поступка" «Века» и прочла какие-то либеральные стишки, впрочем прочла довольно неискусно. Публика приветствовала ее восторженными рукоплесканиями и затем — всему этому суждено было кануть в Лету забвения.

То были времена так называемой "благодетельной гласности". По вопросам государственным, политическим и общественным гласности еще никакой не было: она не простиралась даже и на столько, чтобы передавать прения дворянских съездов, но зато все понимали "благодетельную гласность" как плеть для наказания преступника, или как дубину для самозащиты, и это было еще самое лучшее, самое чистое понимание ее. В некоторых же литературных органах она понималась как прекрасное средство швырять собственною грязью в противников, или же как пугало против трактирных буфетчиков, когда те требовали уплаты за напитое и наеденное. В этих случаях петербургским трактирщикам грозились "спалить их одною «Искрою» — и трактирщики трепетали пред такою "благодетельною гласностью".

То были времена вокабул, Икса, Игрека и Зета, времена алфавитной гласности, когда в «Искре» обличались какой-то идиллик Филимон, какой-то воевода Болотяный, какие-то Мидас, Псих, Урлук, Рыков и Макар-Гасильник; обличались города Чертогорск, Уморск, Грязнослав и проч., и когда в обличительных стишках, раз в неделю, неизбежно как смерть, рифмовались «Век» и Лев Камбек, Краевский и "берег Невский", Чичерин, «мерин» и "благонамерен".

К этому времени не осталось уже ни одного имени незаплеванным, ибо вернейшее средство прослыть прогрессистом заключалось в том, чтобы ругаться над достойными людьми: значит, мол, я достойнейший, если достойных забрызгиваю грязью.

Басня о Слоне и Моське повторялась в тысяче примеров, и часто Моськи, благодаря своему лаю, становились Слонами.

Это еще было время доброй, наивной веры во всякого, кто кричал громко и называл себя либералом. — Как же? человек ведь кричит: я либерал! — ну, значит и точно либерал.

Время искренней веры, время веры в искренность кричавших!

И какое раболепие выказывали эти господа пред барами, бросавшими им подачки: все равно, будь этот барин оракул-литературный, или откупщик, давший деньги на издание сатирического журнала, с тем чтобы его там не задевали. И зато с какою вольнонаемною наглостью накидывались они на всякого, на кого только этим барам угодно было натравить их! Усердие, достойное лучшей участи…

И как мы были лакомы тогда до всяческих протестов, в которых однако выступали на борьбу не мысли, не идеи против идей, а по преимуществу чванство нравственным достоинством против мнимой нравственной низости.

То были времена, когда, по словам одного тогдашнего стихотвореньица,-

Сикофанты, адаманты
И гиганты прессы,
Собиралися все вместе
Сочинять прогрессы.

И точно: это было *сочинение* своих собственных прогрессов в ущерб прогрессу действительной жизни и здравого смысла.

Некто, во имя собственных прогрессов стал отрицать, например, литературную собственность. — "Может ли автор сказать, писал этот некто, что мысль, изложенная им в своем сочинении, есть его личная собственность? Только люди очень самолюбивые и не достаточно следившие за процессом мышления могут в каждой своей мысли видеть свою исключительную собственность. У мысли нет отдельного хозяина, как нет хозяина у воздуха, и решительно несправедливо говорить, что такая-то мысль принадлежит такому-то, а такая-то такому-то… Мысль не собственность и оплачиванию не подлежит. Тут продается возможность усваивать ее, называемая печатанием. Если в этом деле такую роль играет печатание, то в таком случае награда следует не автору, а Гуттенбергу; а как Гуттенберга нет в живых, то и давать ее некому. Если же речь о возможности усвоения рассматривать отдельно от печатания, то ведь и устная речь представляет ту же возможность: все чтение лекций основано на этой возможности. А как за лекции берут деньги, то отчего же не брать денег за всякий разговор, за всякую мысль, которая покажется кому-либо его собственной? Развивая теорию возможности усвоения мыслей, не трудно прийти к тому, что люди не должны говорить ни одного слова даром, потому что всякий разговор есть ряд мыслей".[80] — По этой своеобразной логике, нет литературной собственности, нет права на мысль, права на изображение, права на имя, и вовсе не надо даже и литературы, и прессы вообще, а вместо всего этого давайте, мол, говорить! Мы будем говорить и поучать вас, а вы слушайте; а кто не слушает и не согласен с нами, тот "тупоумный глупец", "дрянной пошляк" и проч.

Но все это еще только наивно и странно; мы же на том не остановились, мы дошли до столбов Геркулесовых. Для доказательства истинности своих «убеждений» и для вящего распространения их, мы прибегали ко всяческим насилиям: явная ложь, клевета, самовосхваление — словом, все темные силы, какие только находились в распоряжении

поборников истины, были пущены в ход для зажатия рта противникам, подымавшим голос во имя простого здравого смысла.

Ввиду всех нелепостей и промахов всевозможных плюгавых Анцыфриков, журнальные оракулы приказывали здравому смыслу молчать, потому "пусть лучше ошибаются, но пусть не забывают общего дела".

Это было своего рода фатовство, фанфаронство "общим делом". В чем оно, это "общее дело"? — того и сами не знали большинство этих фатов и фанфаронов. Одни в этой фразе поклонялись какому-то неведомому кумиру, другие эксплуатировали ее в пользу собственных карманов или самолюбий. И это понятно: в те времена у нас не было еще действительной общественной жизни, не было истинного, действительного участия в общем деле. Общество слышало только голоса разные, но дел не видело, и потому оценка общественных деятелей была очень трудна. Под видом их, могли свободно фигурировать всякие побуждения, не выключая простого фатовства и фанфаронства, со стремлением чем-нибудь ухлопать свой досуг, лишь бы заявить себя.

Настало вавилонское смешение ролей: рутина и невежество выдавались за передовое направление, а прямое, истинное передовое направление провозглашалось рутиною и отсталостью.

Должность либерально-прогрессивного доносчика, должность литературного палача, производящего торговую казнь над именами и мнениями, стали почетными. Из разных углов и щелей повыползали на свет Божий боксеры и спадассины нигилизма, жандармы прогресса, будочники гуманности, сыщики либерализма — все это были великие прогрессисты на пути общественного падения!..

Расплодилось множество людей, желавших сделаться эффектными жертвами, людей, игравших роль того самого матроса, который до того любил генерала Джаксона, что, не зная чем бы лучше доказать ему любовь свою, бросился с высоты мачты в море, провозгласив: "Я умираю за генерала Джаксона!" — И это великое множество, бесспорно, были в большинстве своем даже хорошие и честные люди, и о них можно разве пожалеть, что такой энтузиазм не нашел себе тогда более достойного применения. Но было и нечто хуже: мы были свидетелями своего рода биржевой игры в гражданские добродетели, где одному подставляли ногу, чтобы поднять курс на акции гражданской честности и достоинств другого.

Жандармы прогресса и будочники нигилизма открыто провозглашали ультиматум такого рода: "кто не с нами — того мы обязаны уничтожить, смешать с грязью, заклеймить как врага человечества. Мы обязаны это делать потому, что всякий кто не за нас — тот против нас, и может повредить успеху нашего великого дела". Они с гигантской беззастенчивостью объявляли, что в полемической статье позволительно, уместно и, пожалуй, даже хорошо взваливать на своего противника всевозможные нелепости и всячески издеваться над ним, рассыпаясь в остротах и колкостях.[81]

Какое полное, какое блистательное торжество иезуитизма!

* * *

Февральская книжка "Русского Вестника" принесла с собою "Отцов и Детей" Тургенева. Поднялась целая буря толков, споров, сплетен, философских недоразумений в обществе и литературе. Ни одно еще произведение Тургенева не возбуждало столько говора и интереса, ни одно не было более популярно и современно. Все то, что бродило в обществе как

неопределенная, скорее ощущаемая, чем сознаваемая сила, воплотилось теперь в определенный, цельный образ. Два лагеря, два стремления, два потока обозначились резко и прямо.

В гостиных, в клубах, в департаментах, в ресторанах, в аудиториях, в книжных магазинах первые два-три месяца только и толков было что об "Отцах и Детях". — "Ты за кого? за «Отцов» или за «Детей»? зачастую было обычным и первым вопросом двух приятелей при встрече. — "Люди общества и литературы продолжают им заниматься наравне с самыми неотлагательными своими заботами и имея при этом самые разнообразные цели и задние мысли: кто хочет осмотреться при этом огоньке и заглянуть вперед, кто выглядывает врага, кто узнает единомышленника, кто разрывает связь, заключенную в темноте и по ошибке, кто срывает с себя предубеждение, кто отказывается от напускного дурачества, а кому огонек режет глаза, тому разумеется, хочется поплевать на него". — Эта характеристика впечатлений, замечательная по своей меткости, принадлежит одной из лучших и честных статей того времени об "Отцах и Детях".[82]

В лагере проповедников новых начал вдруг произошло по поводу Базарова странное и неожиданное раздвоение: своя своих не познаша.

Прежде всего накинулась на самого автора, на его личность, одни с пренебрежительным сожалением "к его тупоумию, недальновидности и несообразительности", другие просто со слюною бешеной собаки, но это уже был крик нестерпимой боли, это были вопли Ситниковых и Кукшиных, которые почувствовали на себе рубцы бичующей правды. Критики этого направления провозгласили, что с этого времени и все прочие произведения Тургенева должны считаться ничего не стоящими.

То же было и по поводу Писемского, и притом в то же самое время: «Искра», одобренная и поддержанная «Современником» в лице четырех его соредакторов, специально заявивших ей в особом благоволивом адресе свое одобрение, сделала знаменитый силлогизм такого рода: "Никита Безрылов написал фельетон, достойный всякого порицания; *следственно* романы и повести г. Писемского, да и сам г. Писемский должны быть преданы всеобщему поруганию". Это была совсем особая логика, — логика Гоголевской мещанки Пошлепиной, объяснимая и оправдываемая только криком боли и "слюною бешеной собаки".

"Современник" объявил Базарова лицом несуществующим, ложью, фальшью, гнусною и преступною клеветою на людей нового направления, сравнил Базарова с Асмодеем нашего времени, являющимся в каком-то романе В. Аскоченского; и при этом поставил Тургенева во всех отношениях неизмеримо ниже сего последнего автора. «Современник» кричал, что Тургенев — ненавистник всякого образования, особенно женского, ненавистник всего народа и молодежи, проповедник помещичьего разврата, и даже не может поднести лица своего к микроскопу, для наблюдений над козявкой, "а наши, мол, девушки готовы смотреть в микроскоп на что только угодно и даже ручками потрогать[83]".

"Русское Слово" представило собою явный контраст воплем «Современника». Оно с похвальною искренностью признало в Базарове полный тип человека своего направления. С высоты своего величия отнесясь к Тургеневу с сожалением за отсутствие в нем настоящего понимания новых задач, оно тем не менее объявило, что романист, помимо своего ведома и собственной воли, написал похвальный панегирик "новым людям". "Русское Слово" сделало в высшей степени замечательную характеристику нового типа и его «принципов». — "На людей, подобных Базарову, можно негодовать сколько душе угодно, говорил этот журнал устами Д. Писарева, но признать их искренность решительно необходимо. Эти люди могут быть честными гражданскими деятелями и — отъявленными мошенниками, *смотря по*

обстоятельствам и по личным вкусам. Ничто, кроме личного вкуса, *не мешает им убивать и грабить,* и ничто, кроме личного вкуса, не побуждает людей подобного закала делать открытия в области наук и общественной жизни… Ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя он (Базаров) не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. — Впереди никакой высокой цели, в уме — никакого высокого помысла и, при всем этом, силы огромные. Китайские тайпинги и индийские душители, в сравнении с последователями этой секты (Базаровщины), просто ягнята, люди они образованные, но положиться на них можно столько же, как на известного Фарингеа. Это вот какой народец: захочет — сделает полезнейшую реформу, захочет — зарежет человека, захочет — откроет истину в науке, захочет — вскроет шкатулку у вас в кабинете[84]"

И эти слова не безобразная клевета, не фальшивый донос!.. Нет, напротив! Делая подобную рекомендацию, критик "Русского Слова" восторженно, с увлечением признавал в Базарове своего выразителя, свой тип, свою силу, красоту и надежду.

До сих пор жандармы и сыщики этого направления именовали себя то «свистунами», то "сектой поморцев". — Базаров назвал себя «нигилистом», и с тех пор это словцо стало самым популярным по лицу земли Русской.

В первое время после "Отцов и Детей" это направление окрестили было «Базаровщиной», а последователей его «Базаровцами»; но вскоре два эти термина были вытеснены из употребления. Их окончательно заменили слова «нигилизм» и "нигилисты".

Слово было найдено — понятие уяснилось.

* * *

А наука? А стремление к знанию, к просвещению? На этот вопрос лучше всего ответят нам слова, сказанные в то время одним почтенным профессором, которого никто не заподозрит ни в клевете, ни в пристрастии, ни в отсутствии любви к науке, и который имел случай изведать на опыте людей и тенденции известного сорта. Вот эти знаменательные и характеристичные слова:

"Между молодыми людьми в последнее время, нам случалось встречать таких господ, которые проповедуют, что *наука сама по себе не только бесполезна, но даже вредна,* потому что отвлекает умы от других, более *плодотворных* сфер деятельности. "Теперь не то время, говорят эти господа, пришла пора общественной деятельности — будем заниматься современными вопросами". Вследствие этого, они требуют от профессора, чтобы он перед своими слушателями кокетничал модными, либеральными фразами, притягивал факты своей науки к любимым модным тенденциям, хотя бы то было ни к селу, ни к городу, и вообще имел бы в виду не научную истину, а легкое приложение того-сего из своей науки к современным вопросам жизни. Чуть только профессор в своих чтениях объективен — эти господа решают, что он *отстал,* что сущность его лекций — *мертвечина,* что поэтому его не только должно слушать, но следует прогнать. При этом не берется во внимание то, что есть много других слушателей, которые находят для себя не бесполезным посещать его аудиторию. Вздумается воображающим себя *передовыми* людьми молодого поколения устроить демонстрацию — профессор должен показывать к ним сочувствие, хотя бы против собственного убеждения, иначе — ему грозят свистками, ругательствами, даже побоями… Дивный способ распространения либеральных и гуманных идей![85]" К этой характеристике прибавлять нам от себя более нечего.

* * *

К началу 1862 года возникло очень много воскресных школ. Вопрос о народном образовании казался одним из самых горячих, животрепещущих и насущных вопросов. Никогда еще он не стоял в таких благоприятных обстоятельствах, как именно в это самое время. В обществе сознавалась идея необходимости сближения с народом. "Положение 19-го февраля" порешило крепость, крестьянам предоставлялись права самосуда и самоуправления — все это были двигатели такого рода, что поневоле гнали к сознанию о настоятельной нужде и пользе грамотности и давали толчок стремлению к ней. Поэтому и воскресных школ возникло великое множество. Их заводили при гимназиях, при училищах, и в частных домах, и в приходах, и в войсковых казармах. Люди, объявившие себя передовыми и прогрессистами, почти везде захватили в свои руки власть, и голос, и преподавание в этих школах. Духовные лица почти повсюду были тщательно устранены от дела. Кроме того, стали заводить народные бесплатные читальни. В Петербурге одна была открыта при Гальванической роте, другая при воскресной Самсониевской школе на Выборгской стороне.

В начале успех этих школ был блистателен. Особенной популярностью в обществе пользовались Самсониевская и на Петербургской стороне Введенская. В пользу их то и дело устраивались подписки, концерты, лекции, литературные вечера, любительские спектакли, так что в средствах не было недостатка. Самое устройство школ устраняло всякие стеснения. Администрация не вмешивалась в дело своим цензорским контролем, всем ходом дел и преподавания заведывали сходки учителей, распорядительная власть принадлежала лицам, выбранным самою сходкою, и сходка же их контролировала. Ученики делились на кружки, и каждый кружок поручался неизменно одному преподавателю. Множество молодежи, студенты, медики, офицеры, гимназисты, семинаристы, девушки и даже светские дамы и барышни стремились записаться в число деятелей и преподавателей.

Мода на воскресные школы пошла ужасная, невообразимая — все это бросилось поучать народ, все толковало о сближении с народом, о привитии к нему новых идей и свободных начал "новой жизни".

И что же?..

Не прошло и года, как множество школ уже закрылось, умерло естественною, ненасильственною смертью. Жар охладел, энергия сменилась апатией… Мода проходила, мода успела уже надоесть своим мимолетным приверженцам.

Те из школ, существование которых *еще* кое-как продолжалось, стали бедны к средствами, и учителями, и учениками. Радетели и "любители народа" начинали манкировать делом, опаздывать на уроки и вовсе не являться в школу. Вместо ученья завелось гулянье: ученики и учителя расхаживали, прогуливались по залам, толкуя не об *азах,* а о современных вопросах. Большинство же учеников хотело *азов,* а так как азами зачастую некому было заниматься, потому что нынче тот, а завтра этот кружок оставались без учителя, то вскоре недовольство стало проникать в среду учащихся; за недовольством следовало охлаждение, ученики оставляли школу — и школа умирала естественною смертью.

Дело спуталось, доверие было подорвано, и "любители народа" сами же нанесли тяжкий удар столь облюбленному ими народному просвещению.

* * *

А в общество, между тем, неведомо откуда, сыпались многочисленные произведения подпольной печати. Редкая неделя проходила без какой-нибудь новой прокламации, воззвания, программы действий, программы требований, ультиматумов, угроз… Тут были и «Великоросс»,

и "Земля и Воля", и многое другое.

Эти листки приклеивались невидимою рукою к фонарным столбам, на углах улиц, к стенам домов; подбрасывались в магазины, в харчевни, в трактиры, в кабаки; их находили на тротуарах, на рынках, в церквах, в присутственных местах, в казармах, в учебных заведениях. Они присылали по городской почте к людям известным, почтенным и высокопоставленным. Часто, возвращаясь домой, хозяин находил на лестнице пред дверьми своей квартиры какой-нибудь конверт с подобной прокламацией; часто в чьей-нибудь прихожей раздавался звонок — и неизвестный человек, сунув в руку лакея или горничной свернутый листок, торопливо сбегал вниз и, скрывшись за подъездом, удирал во все лопатки на лихаче-извозчике. Бесцеремонность в распространении этих подметных листков дошла до того, что во время заутрени в Светлое Воскресенье, в самом Зимнем дворце, при многолюднейшем собрании, было разбросано во многих экземплярах воззвание "к русским офицерам". Оно валялось на подоконниках, на мебели, и многие из офицеров, не выключая и весьма почтенных генералов, совершенно неожиданно находили у себя в заднем кармане, вместе с носовым платком, и эту прокламацию.

* * *

А в это же самое время процветало царство скандала и канкана.

Канкан самый неистовый, невообразимый стал процветать с зимы 1861 года, как раз после студентских историй, и все шел crescendo и crescendo, с шумом, с блеском и треском, так что к весне изображаемого времени, покрытый скандальным ореолом своей блистательной славы, достиг уже полного апогея.

Маскарады Большого театра впервые приютили и узаконили его в яркой храмине Талии и Мельпомены. Там подвизались наемные танцоры и танцорки, разряженные в невозможно причудливые и весьма декольтированные костюмы. Иные из них, как слышно было, плясали даже и по наряду, то есть, в некотором роде, как бы официально, по службе. Обыкновенно более шести тысяч народа, бывало, ломилось в залу Большого театра, и вокруг каре танцующих была вечная давка. Взрывы неистовых "браво!" и рукоплесканий приветствовали каждое пикантное или бесцеремонно-наглое телодвижение, каждую приподнятую выше колена юбку, каждый смелый и ловкий взмах ноги, когда красивая маска носком своей ботинки задорно сбивала шляпу с выразительно подставленной к ней головы своего vis-à-vis кавалера.

В этих маскарадах не было ни изящества, ни остроумия, ни таинственно-заманчивой поэтической прелести, словом — ничего такого, чем столь изобильно отличались маскарады доброго старого, романтического времени. Тут было одно бесконечное царство канкана. Из-под бархатных полумасок по преимуществу слышался немецкий говор, и стремления каждой интриги сводились на искание — как бы нашелся какой-нибудь дурак, который угостил бы даровым ужином и даровым шампанским. И действительно, употребление крепких напитков делало здесь прогресс неимоверный.

Великосветские дамы ездили в ложи и оттуда любовались сквозь свои лорнеты и бинокли на вальпургиевы ночи самого цинического канкана.

Но и маскарадный канкан являлся сущею ничтожностью сравнительно с тем, который свирепствовал в танцклассах.

Ежедневно на всевозможных загородных балах, у Излера, в Екатерингофе, в Петровском вокзале, на Крестовском, в Александровском парке только и был один канкан и канкан.

Кадриль Штрауса "Hommage à St.-Pétersbourg",[86] вальс "Il baccio"[87] и полька «Folichon»[88] все вечера и напролет все ночи гремели в этих приютах канкана.

Но всего этого оказалось еще мало.

Канкану покровительствовали, а по системе протекционизма, надо было заботиться о его развитии, и потому канкан-танцклассы открывались уже не на окраинах, а в самом центре Санкт-Петербурга. Пальму первенства взял знаменитый Ефремов, неподалеку от Цепного моста, на углу Моховой и Пантелеймоновской улиц. Перед входом горела ярко иллюминованная транспарантная вывеска, на которой огромными красными буквами значилось:

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР,

начало в 9 часов,

цена 1 рубль.

Всевозможные Гебгардты, Егаревы и Марцинкевичи из кожи лезли, стремясь перещеголять друг друга и оспорить пальму первенства у Ефремова. А кроме этих главных антрепренеров, сколько развелось еще второстепенных, третьестепенных и вовсе бесстепенных, трущобных танцклассиков! Звуки «фолишонов» еженощно оглашали во всевозможных концах и направлениях улицы столицы.

И тут были тоже свои официальные танцоры и танцорки, были свои известности и знаменитости, между которыми блистали громадный Фокин и так называемая Катька-Ригольбош. Этот Фокин был в своем роде первый лев сезона, его слава росла, о нем говорили, его поили, им занимались, ему рукоплескали, фельетонисты разных газет посвящали ему плоды своих вдохновений.

Но кроме этих официальных танцоров, образовался многочисленный класс добровольных "благородных любителей" — и все это подвизалось и преуспевало в ужасающих па, поражало чудесами эквилибристики и канканного воображения. Массы молодых и старых зрителей наполняли все эти залы. Новинка привлекала. Разнузданность и цинизм танцорок достигали до такой степени, что приезжие истые парижане не верили глазам своим, уверяли, что у них в Париже ничего равного этому и нет, и не было, и не видывано, и бесконечно удивлялись par le principe de la liberté russe.[89]

И все это беснование, чем дальше, тем все больше, текло бурным, неудержимым потоком.

Впрочем, принцип веселья изобретен не нами: мы только потщились пересадить его на петербургскую почву. Честь этого принципа принадлежит венским австрийцам. По их теории, канкан — хороший признак: веселье изгоняет дурные и мрачные политические мысли.

И это было истинное, великое торжество канкана.

* * *

Дикости в проявлениях жизни общественной, разноголосица во всех сферах общества, фанфаронство общим и народным делом, вопросительный знак значительной части дворянства пред новым экономическим бытом, финансовый кризис, зловещие тучи на окраинах, государственные затруднения, неумелость, злорадство, апатия к серьезному здравомысленному делу, непонимание прямых народных интересов, подпольная интрига и

козни, наплыв революционных прокламаций и брань, брань, одна повальная брань в несчастной полунемотствующей литературе и, наконец, в виде паллиативы, эта безумная и развратная оргия канкана, — вот общая картина того положения, в котором застал Россию 1862 год.

И точно: это был какой-то сумбур, какая-то тяжелая, хмельная, чадная оргия.

Но это было явление нормальное.

Это было прямое и естественное следствие причин исторических, начиная с Гатчиновщины, аракчеевщины и кончая тридцатилетним гробовым молчанием.

Это была расплата за прошлое.

А между тем, забавляясь и фанфароня "общим делом", все, еже о нигилизме юродствующие, доигрывались мало-помалу не только до сумасшедшего дома, но и гораздо далее того. Они доигрывались до крупной услуги ярому обскурантизму.

II. Что значит сметь свое суждение иметь

Сезон 61–62 года был необыкновенно богат всевозможными любительскими спектаклями, концертами и литературными чтениями. Все это предлагалось публике в пользу "бедных учащихся", народных читален, студентов и медиков, воскресных школ и литературного фонда.

После закрытия университета, некоторые профессора согласились между собою читать публичные лекции. Петропавловская школа и Городская Дума уступили им для этой цели свои залы. Плата была самая доступная, по четвертаку за лекцию, и таким образом в Петербурге открылся род общедоступного, партикулярного университета, что могло бы быть весьма важно для тех экс-студентов, которые, в силу известных обстоятельств, оказались лишенными возможности докончить прежним путем свое образование. Но в действительности, для некоторых негласных вожаков и подстрекателей молодежи это было важно главнейшим образом потому, что хотя главный орган науки и был закрыт, но ход агитации, под прикрытием якобы науки, мог продолжать свое дело, и ею кроме студентов мог теперь удобно и просто, без всяких стеснительных формальностей, пользоваться каждый желающий. Профессора распределили между собою часы лекций, несколько бывших студентов взялись распоряжаться продажей билетов, так как выручка предназначена была в пользу их бедных товарищей — и дело двинулось ходко, энергически и, казалось, имело на своей стороне все шансы блистательного успеха.

Тотчас же явилась *мода* на публичные лекции, но увы! — для многих целью этой моды далеко не была *одна наука*.

Более всех полны были аудитории на лекциях гг. Костомарова, Павлова, Стасюлевича, Утина, Кавелина и Спасовича.

Костомаров читал "Историю Московской Руси XVI века", и лекции его, отмеченные мастерством изложения, представляли интерес увлекательный, так что аудитория его достигала до двух тысяч слушателей. Большинство между ними составляли дилетантки, так что зала казалась наполненною одними только женщинами. Эти посетительницы лекций резко делились на два разряда: одни были «студентки», другие, то есть большинство — просто дилетантки. Первые занимались преимущественно юридическими науками и посещали аудитории еще до закрытия университета, вторые познакомились с университетской наукой

только с тех пор, как открылись публичные лекции, и отличались тем, что носили шляпки, шиньоны, кринолины, перчатки и, по неведению, в разговоры о Бюхнере, Фогте, Молешоте и Фейербахе, как и вообще в "большие разговоры" не вступали. Этими дилетантками в деле науки руководила пока еще одна только современная мода, а наиболее скромные и серьезные из них посещали лекции Фаминцына "о физиологии растения". Многие дамы приезжали в каретах и с ливрейными лакеями, но французский язык слышался очень мало. Некоторые из них записывали.

Много и мундиров попадалось на этих лекциях; даже там и сям блестели иногда и генеральские погоны. Рвение к лекциям простиралось до того, что публика вламывалась потоком в дверь аудитории в то время, как профессор еще не кончил чтения. Студентки видимо старались выделиться из массы дилетанток стриженными волосами и оригинальным костюмом, неизменную принадлежность которого составляли отсутствие кринолина и мужская гарибальдийка, либо мужская же барашковая шапка. Старание выделиться замечалось также и в силе прений о «вопросах» и вообще о материях важных. В антрактах и на лекциях, до появления профессора, они всегда вели оживленные и довольно шумные беседы.

Но между мужчинами не замедлили явиться «специалисты» по части "женского вопроса". Они тотчас же поставили своей задачей перезнакомиться чуть ли не со всеми слушательницами: и со студентками, и с дилетантками. С галантерейной любезностью, а иные и без галантерейной, но просто с любезностью сновали они от одного женского кружка или кучки к другим, к третьим, пока не перепорхают по всем без исключения; там спорили, здесь говорили комплименты, менялись лекциями, жали ручки, сбегали вниз и предупредительно надевали салопы, и вообще старались показать, что они кавалеры не без современности и не без приятности. Другие же, напротив, проповедывали простоту нравов и эгоизм, а в силу того и другого ни за что не соглашались уступать свой стул ни одной слушательнице, сколь бы она о том ни просила.

Вообще на этих лекциях, благодаря их моде, "новые люди" и "новые нравы" сталкивались лицом к лицу с людьми и нравами прежнего закала.

* * *

2-го марта, в огромной зале Руадзе, считавшейся тогда самой модной концертной залой, был литературно-музыкальный вечер в пользу литературного фонда.

Антон Рубинштейн играл на рояле, Венявский на скрипке, Лагруа пела, несколько литераторов читали свои произведения... Публики собралось гораздо более тысячи человек: тут присутствовали литераторы и ученые всех кружков и партий, люди великосветские и среднего класса, моряки, студенты, военные, особенно генерального штаба, — словом, на этом вечере было необыкновенно удачно собрано все образованное меньшинство Петербурга, который до того дня еще не запомнил более многочисленного и блистательного собрания на литературных чтениях.

Тут же присутствовала и наша «коммуна» в лице всех своих представителей. Лидинька Затц, одетая совсем «по-домашнему», громко объясняла какой-то стриженой и вероятно приезжей девице свойства, качества и особенности присутствовавших литераторов и ученых. Она бесцеремонно тыкала на них указательным пальцем, поясняя, что "это, мол, дураки-постепеновцы, а этот — порядочный господин, потому что "из наших", а тот — подлец и шпион, потому что пишет в газете, которая "ругает наших", а кто наших ругает, те все подлецы, мерзавцы и шпионы; а вот эти двое — дрянные пошляки и тупоумные глупцы, потому что они оба поэты, стишонки сочиняют; а этот профессор тоже дрянной пошляк, затем что держится

политико-экономических принципов; а тот совсем подлец и негодяй, так как он читает что-то такое о полицейских и уголовных законах, в духе вменяемости, тогда как вообще вся идея вменяемости есть подлость, и самый принцип права — в сущности, нелепость, да и вся-то юриспруденция вообще самая рабская наука и потому вовсе не наука, и дураки те, кто ею занимаются!"

Анцыфров, Малгоржан и князь заранее приготовляли ладони для аплодисментов некоторым из чтецов, которых они считали "из наших". Ардальон Полояров, скрестив на груди руки и нарочно всклокочив более обыкновенного волосы, старался, глядеть "язвительным литератором" и все напущал на себя молчаливо-свирепую мрачность. Ему вообще очень хотелось быть замеченным, чтобы публика, взирая на него, вопрошала: кто это, мол, с таким умным, выразительным лицом, с такою замечательною физиономией? — "Это? — это наш известный литератор Ардальон Полояров", не без почтительности отвечают вопрошающим. — По крайней мере, самому Полоярову мечталось, что и спрашивать, и отвечать должны непременно в этом роде.

Ради чего же собственно отличался такою экстраординарною блистательностью вечер 2-го марта?

Разгадка этого обстоятельства крылась в том, что нынче должен был впервые показаться перед публикой Чернышевский, стоявший в те дни в апогее своей славы и имевший множество горячих поклонников и горячих врагов. Поклонники заранее уже готовили своему идолу блистательную овацию, а публика нейтральная вообще интересовалась увидеть воочию того, о ком столько кричали и писали, кого так страстно превозносили и так страстно порицали и в обществе, и в литературе, и кого наконец в журнальном мире столь много боялись либо из раболепия пред авторитетом, либо из трусости пред его бесцеремонно-резким словом в полемике.

Когда он появился на эстраде, в зале вдруг разразился такой гром продолжительных встречных рукоплесканий, какого редко кто из литераторов и ученых удостоивался до сего времени.

Он начал... Но это было не чтение, а экспромт, импровизация. Он рассказывал "о знакомстве своем с Добролюбовым". Монолог его, крайне неискусный и вялый, сопровождавшийся к тому же странными, по своей бесцеремонности, манерами, не прерывался ни единым знаком одобрения со стороны слушателей. Публика очевидно ожидала не этого. Недоумение ее росло все более, послышался ропот, даже смешливое фырканье... Наконец, кто-то подошел к кафедре и сказал, что пора кончить, и когда публицист замолк, вдруг раздались свистки, шипенье, шиканье и крики негодования. Напрасно ярые приверженцы его старались хлопаньем своим затушить этот общий взрыв, — увы! все невероятные усилия их легких, гортани, каблуков и ладоней оказались тщетны. Буря свиста пересиливала все другие бури.

Князь Сапово-Неплохово не знал, как ему быть: Малгоржан с Фрумкиным хлопали, а один великосветский однокашник князя шикал и подталкивал его на то же самое. Лидинька же глазами делала ему знаки хлопать, как можно усерднее. Добродушный, но злосчастный князь, желая угодить и той, и другому, вдруг зашикал и захлопал в одно и то же время. Свистящие губы его улыбались в знак довольства самим собою, ибо юному князю казалось, что совместив аплодисменты со свистом, он нашел самое остроумное разрешение труднейшей проблемы.

Полояров не свистел, но и не хлопал. Он только хранил свой мрачный вид и в эту минуту постарался сделать его еще мрачнее и суровее. Это тоже было своего рода разрешение проблемы: взглянув на Ардальона, можно бы было подумать, что он негодует... может, на

импровизатора, а может, на публику. Но внутри его копошилось довольство и радость. Самолюбивая и завистливая душа его вообще никому не прощала никакого успеха, и потому эта душа ликовала теперь, созерцая полнейшее публичное фиаско того, которого Ардальон Полояров снисходительно заявлял "солидарным с собою".

В последующие дни большинство литературных органов восстали против "публичного поведения" знаменитого публициста: и в фельетонах, и в обозрениях внутренней политики, и в полемических статьях заговорили о его самовосхвалении, о его панегириках своему уму, о неприличии его тона и внешних приемов перед публикой. Газета "Наше Время" посвятила даже целую передовую статью специально «манерам» г. Чернышевского. Один лишь вольнонаемно-сатирический журналец силился защитить и оправдать его поведение, но этими своими усилиями оказал ему лишь то, что называется медвежьей услугой.

Но вечер 2-го марта был знаменателен не столько этим фиаско, сколько другим обстоятельством, которое в ближайшем будущем разрешилось последствиями весьма печального свойства.

На этом же самом вечере профессор Петербургского университета, П. В. Павлов, читал статью "Тысячелетие России", встреченную публикой с энтузиазмом.

6-го же марта в газете "Северная Почта" было напечатано следующее:

"При чтении статьи, г. Павлов дозволил себе выражения и возгласы, не находившиеся в статье, пропущенной цензурою, и клонившиеся к возбуждению неудовольствия против правительства. Вследствие сего, статскому советнику Платону Павлову запрещено чтение публичных лекций и сделано распоряжение о высылке его на жительство, под надзор полиции, в отдаленный уездный город".

Это возбудило к нему сильное сочувствие в обществе. Тотчас же нашлись ловкие господа, которые, думая воспользоваться столь удобной минутой, возжелали и несчастие человека поэксплуатировать в пользу своих гаденьких стремлений. Эти "промышленники прогресса", которые не умели или не хотели прежде, до его публичной выходки, сочувствовать голосу профессора, вздумали теперь записать его в свои ряды, прицепить и его имя к своей разношерстной клике. Это была своего рода передержка в глазах общества, так как профессор никогда не принадлежал к Полояровско-Анцыфровским партиям прогресса.

* * *

8-го марта в Александровской зале городской думы профессор Костомаров читал свою лекцию. Аудитория была битком набита. Еще до начала чтения, в публике сказывалось какое-то лихорадочное брожение. В настроении ее на этот раз было что-то ненормальное, экзальтированное. Разные господа перебегали от кучки к кучке, шныряли между рядами стульев, шептались, передавали что-то, делали какие-то предупреждения, распоряжения, планы, и вообще суетились более обыкновенного. Публика, очевидно, была к чему-то подготовлена, ожидала чего-то особенного, крупного, выходящего из ряда обычных явлений. Там и сям упоминалось имя Павлова, передавались обстоятельства вечера 2-го марта...

"Коммуна" была вся налицо. Полояров протискивался вперед, чтобы быть поближе к кафедре, Анцыфров петушком следовал за ним, держась за полу его пальто и подслеповато наступая на ноги всем встречным. Лидинька Затц, забравшись скачала в самую середину одного ряда стульев, где она завела громогласную беседу с несколькими своими знакомцами и знакомками, захотела пробраться тоже поближе к кафедре; но так как и в ту, и в другую сторону проход был

весьма затруднителен, по причине множества столпившегося народу, то она не долго думая подобрала юбку и зашагала целиком по стульям, валяя напрямик через спинки и крича во весь голос: — "Полояров! Анцыфрик! Подождите, черти, меня! Сядем все вместе!" Нимало не стесняясь тем, что мокрохвостые юбки и грязные ноги ее задевают по плечам и даже по физиономиями впереди сидящих слушателей, она храбро прокладывала себе дорогу вперед, пока наконец не соединилась со своими приятелями. Впрочем, такой оригинальный способ передвижения был уже здесь не в диковину, потому что еще и прежде иные студентки зачастую прибегали к нему для сокращения расстояний.

Лекция прошла в каком-то напряженном ожидании. Большинству слушателей едва сиделось от нетерпения, скоро ли она кончится.

Профессор кончил и сошел с кафедры. Тогда на месте его тотчас же появился какой-то лохматый господин и громогласно объявил, что так как профессор Павлов сослан, то распорядители порешили, что публичные лекции сегодняшним числом прекращаются и никаких более чтений вперед уже не будет.

Публика захлопала и закричала "браво!".

Профессор же, очевидно, приведенный в недоумение столь самовольным и неожиданным заявлением, в котором заключалась такая странная логика, снова взошел на кафедру и в свою очередь обратился к публике с вопросом: желает ли она продолжения его лекций, так как между ссылкой и публичными лекциями нет никакой достаточно законной и разумной причины, которая оправдывала бы столь самовольное и насильственное прекращение чтений?

Более сотни голосов с разных концов залы закричали: "Читайте! Читайте! К чему прекращать?! Отчего не продолжать? Мы хотим слушать! Читайте!"

После этого профессор объявил, что он будет читать.

Но едва лишь сказал он эти слова, как в зале раздался свист, шиканье, шипенье, крики: "вон! долой!" и даже… площадные ругательства.

— Он подкуплен! — орал Полояров, жестами указывая на человека, который всей своей жизнью доказал долголетнюю и неизменную преданность либеральной идее. — Он заодно с жандармами!..

— Подкуплен!.. подкуплен правительством, полицией! — орала, как стадо баранов, свистящая и гикающая толпа.

— Эй, вы! за сколько вас наняли? Сколько вам заплатили? — кричал Полояров, не выставляя однако очень близко напоказ свою физиономию.

— Ступайте читать свои лекции в Третье Отделение! Там вас будут слушать! — пронзительно визжала Лидинька, стоя на стуле, среди поднявшейся толпы.

— В Третье! в Третье!.. Там будут! — вторило стадо.

Профессор не смутился. В лице его было спокойствие и твердость, и только в движении энергически очерченных губ сказывалось, быть может, подавляемое негодование.

Он снова стал говорить, несмотря на шум и гвалт, и говорил громко, твердо и явственно.

Толпа на минуту примолкла.

Он говорил, что не намерен потакать такому пошлому либерализму, что гаерство недостойно науки и ее целей, и что известные поступки, вроде настоящего деспотического и безнравственного насилия над человеческою личностью, характеризуют не либералов, а Репетиловых, из которых впоследствии легко выходят Расплюевы.

Вновь поднялась неистовая буря озлобленных криков, гама, свиста, гоготанья... и опять площадные ругательства, опять безобразные, гнусные намеки и предположения, опять комки нравственной грязи и оскорблений.

В этот день совершен был подвиг настоящего гражданского мужества. Против более чем двухтысячной толпы, расточительно-щедрой в своем деспотически-злобном опьянении на всяческую хулу, оскорбление и насилие, стоял один человек, не защищенный ничем, кроме своего личного убеждения, кроме непоколебимого, глубокого сознания долга, права и чести. Среди двухтысячного стада, которым коноводили несколько завзятых вожаков, бывших, в свою очередь, передовыми баранами в другом, еще большем, громаднейшем стаде, выдвигалась одна только самостоятельная личность, не захотевшая, во имя правды и науки, подчиниться никакому насилию, — и против этого одного, против этого честного права, против законной свободы личности поднялся слепой и дикий деспотизм массы, самообольщенно мнившей о своем великом либерализме. А сколько в этой толпе было еще тех самых юношей, которые не далее как год назад восторженно выносили на своих руках этого же самого профессора из его аудитории!

8-е марта показало самым наглядным и убедительным образом, чего стоит свобода личного мнения, во сколько ценится независимость убеждения и вообще что значит "сметь свое суждение иметь", и этим-то самым 8-е же марта для меньшинства образованного общества поднесло первую склянку отрезвляющего спирта: оно сделало поворот в известной части наименее зависимого общественного мнения, и в этом, так сказать, историческая заслуга 8-го марта; в этом лежит его право на память в летописях санкт-петербургского развития и прогресса.

* * *

Из разных углов литературы поднялся лай.

Но на кого? На тех, кто поступили по-репетиловски? — Нет, осуждению и лаю подвергся профессор. И это понятно: могли ли мы, смели ли мы поднять голос против так называемого "молодого поколения"? Мы так боялись и гнева журнальных оракулов, и того, чтобы о нас не подумали, будто мы «отсталые»; каждому из нас так хотелось, вроде Петра Ивановича Бобчинского, "петушком, петушком" побежать за "молодым поколением", заявить всем и каждому, что и я, мол, тоже молодое поколение. И так уже мы все привыкли раболепно льстить этому кумиру, что что бы ни выкидывали иные господа, прикрывавшиеся этой соблазнительной фирмой, мы уже заранее всегда были на их стороне. Впрочем, это не мешало нам проповедывать о гражданской честности.

Но — надо отдать справедливость — в "Петербургских Ведомостях" поднялся один голос против течения. Правда, голос не совсем-то громкий и смелый, но и за то уже великое спасибо! Там была напечатана маленькая статейка: "Учиться, или не учиться?" На нее последовал ответ: "учиться, но как?" где, конечно, осуждался профессор, ибо автор писал "в защиту молодого поколения". Затем в «Современнике» в защиту того же «поколения» появилась статья: "Научились ли?" мечущая перуны гнева и презрения в тупоумных пошляков и проч.

И в сколь многих из этих писаний каждому свежему чутью слышался поддельный неискренний тон сочувствия и приторная лесть новому идолу! Прежде, бывало, курили сильным и высоким мира; ныне — "молодому поколению". Мы только переменили ярлычки на кумирах, а сущность осталась та же: мы поклонялись *силе,* разумной или нет — это все равно: была бы только сила!

Между тем, многие слушатели словесно и письменно стали заявлять профессору, чтобы он возобновил свой курс, прерванный 8-го марта — и профессор объявил в газетах, что, подчиняясь желанию слушателей, он вновь начнет свои чтения, лишь только приищет новую аудиторию.

Между его противниками, сделавшими скандал 8-го марта, поднялось новое брожение. Многие из них спешили запастись медными и полицейскими свистками да мочеными яблоками, чтобы встретить ими открытие чтений. К профессору посыпались пасквильные, безымянные письма и угрозы; даже некто выкинул гнусный фарс, грозя ему смертью за противодействие общему делу.

Через неделю Костомаров объявил, что его лекции вновь открываются в зале Руадзе. Сонм противников уже совсем было приготовился к новому великому скандалу "во имя свободы", как вдруг на следующий день в "Северной Почте" появилось следующее объявление.

"По распоряжению г. управляющего министерством народного просвещения, вследствие беспорядков, бывших на лекции г. профессора Костомарова, навлекающих нарекания на студентов здешнего университета, прекращаются разрешенные прежде публичные лекции следующих гг. профессоров и преподавателей: Костомарова, Утина, Спасовича, Менделеева, Калиновского, Благовещенского, Ивановского, Гайков-ского, Лохвицкого и Гадолина".

Итак, лекции были запрещены, но это запрещение не вызвало даже никаких, сколько-нибудь сильных оппозиционных толков. Мимолетная мода уже миновала, как миновала она на воскресные школы и на многое другое…

III. Меркурий

Начиная с зимнего сезона 60-го, или 59-го года, на петербургском горизонте время от времени стала появляться некоторая новая личность. Хотя на петербургском горизонте появляется ежесезонно многое множество личностей, которым вообще можно дать имя метеоров: они появляются, вертятся, иногда на мгновенье блистают и потом исчезают неведомо куда и неведомо когда, никем не замеченные, никем не вспоминаемые, на другой же день всеми забытые; но та личность, которую мы имеем в виду представить читателю, приобрела себе некоторую известность в петербургском свете и вообще была заметна.

Это был метеор, но метеор более блестящий, чем другие, подобные ему тела газообразного свойства.

Метеор известен был в свете под именем графа Слопчицького, а в польском кружке его титуловали просто графом Тадеушем, то есть звали одним только именем, ибо метеор был настолько популярен, что достаточно было сказать "наш грабя Тадеуш" — и все уже хорошо знали о ком идет речь, и притом же совокупление титула с одним только собственным именем, без фамилии выражает по-польски и почтение, и дружелюбность и даже право на некоторую знаменитость: дескать, все должны знать кто такой граф Тадеуш: как, например, достаточно сказать: князь Адам, или граф Андрей — и уже каждый, в некотором роде, обязан знать, что дело идет о князе Чарторыйском и о графе Замойском. Для поляков-же нетитулованных, кажется, нет выше наслаждения, как похвастаться перед кем бы то ни было личными

отношениями к своим магнатам. В этом случае они готовы обманывать даже самих себя насчет важности и блеска титулов графа такого-то и такого-то, и даже самого мизерненького графика, известность которого простирается едва лишь на свой маленький муравейник, они непременно произведут в первые магнаты, лишь бы только он был "пан грабя".

Но насколько пан Слопчицький в действительности имел прав на графский титул, этого не разрешила бы ни одна герольдия в мире. Вообще, он был граф самого сомнительного качества, — более для виду, и едва ли не сам себе доставил графскую корону.

В Петербурге его можно было встретить везде и повсюду: и на обеде в английском клубе, и на рауте князя Г., в салоне графини К., в опере, и вообще в любом спектакле, на бирже, и на бегах, в Летнем саду, у генеральши Пахонтьевой, у любой артистки, в танцклассах у Гебгардт и Марцинкевича, в гостях у содержателя гласной кассы ссуд Карповича, в редакции "Петербургской Сплетни", в гостиной любой кокотки — словом, куда ни подите, везде вы могли бы наткнуться на графа Слопчицького. Но более всего любил он тереться в кругах, которые так или иначе стремятся называть себя «избранными», аристократическими.

Он отлично владел французским, весьма порядочно русским и недурно немецким языками, да при этом еще отличался польски-изящною развязностью манер и тою особенною наглостью, которая повсюду растворяла ему любые двери. И действительно, у него было необыкновенное уменье втираться в дом и в дружбу. Ему ровно ничего не значило со второй встречи с человеком прямо, ни с того, ни с сего начать с ним вдруг *на ты*, самым приятельски-фамильярным тоном: "Ah, mon cher, как, дескать, поживаешь?!.. Что, душечка, поделываешь? Давно был у нашего милого князя?.. А, кстати, что тебя так давно не видать у нашей прелестной Жозефины?" и т. д. все в таком же милом роде.

Но зато так же точно ровно ничего не значило ему в другой раз, столкнувшись нос к носу с тем же самым импровизированным приятелем, вдруг не узнать его или не ответить на поклон. И ведь не то, чтобы он и в самом деле не узнал человека, нет, узнал очень хорошо, но притворился незнакомым. Иногда у него это делается по миновании надобности в человеке или по каким-либо расчетам, а иногда и вовсе без всяких расчетов, а просто так, потому лишь, что он — пан грабя Слопчицький.

Это был пан, чрезвычайно легкий на подъем. Сегодня ову например, в Петербурге, а через неделю в Париже или в Лондоне, а там — глядь! — в Вильне в генерал-губернаторских салонах трется, то вдруг в неделю в Неаполь слетает и назад в Петербург вернется, а то в каких-нибудь Тельшах или Шавлях, с жидами какие-то сделки заключает, потом его видят на Тверском бульваре в Москве, а через трое суток он уже в Варшаве, в кондитерской у Люрса "Curjera Warszawskiego"[90] пробегает — и прохлаждается "водой содовей с цитриновым сокем", но через неделю — глядь! — опять наш пан грабя бежит своею торопливою походкою по Невскому проспекту.

Иногда пан грабя ходит, прячась от людей, в стареньком пиджачке, и вся фигура его невольно изображает собою видимое отсутствие «пенёнзы». И что же! — не далее как вчера еще встретили вы его в таком, говоря относительно, убожестве, так что даже он сам поспешил отвернуться от вас к окну первого встречного магазина и внимательно заняться рассматриванием всяких безделушек, нарочно для того, чтобы вы его не узнали, а сегодня он уже едет в Париж, и не иначе как в вагоне первого класса, а через две-три недели возвращается оттуда с великолепнейшим фраком, с огромным запасом самого тонкого белья, с самым разнообразным и причудливым выбором всевозможных атрибутов гардероба и туалета. Между тем виленские «родаки» его очень хорошо знают, что у пана грабего, кроме фантастического титула, за душою нет ни кола, ни двора и ни в едином из европейских банков

никаких капиталов на его имя не хранится. — Откуда же, однако, из каких богатых источников черпает наш грабя Тадеуш средства на эти ежеминутные летанья по всей Европе и на эти резкие переходы от старенького пиджачка к великолепным парижским фракам? В Петербурге, при встрече с таким вопросом, люди обыкновенно делают самое индифферентное заключение: "А черт его знает! Должно быть, играет в карты, а впрочем, он ничего, славный малый!"

И точно: он был и славный малый, и bon-vivant, и бонмотист, и каламбурист, и артист, и в карты играл, и фокусы отлично показывал; но не богиня зеленого поля была его добрым гением, открывавшим ему финансовые источники.

У пана грабего Слопчицького был свой собственный добрый гений совсем особого рода. Что это за добрый гений — про то не ведал никто, даже и из "виленьских родаков", за исключением весьма и весьма ограниченного числа лиц посвященных...

В высших сферах "святой справы" пан грабя Слопчицький был известен под специальным прозвищем "Меркурия", — "c'est le Mercure de l'Hôtel Lambert"[91] отчасти иронически, отчасти покровительственно отзывались о нем некоторые "филяры велькего будованя". У него имелись два специальные назначения. Одно из них было так называемая "салонная миссия" (missia salonowa), в силу которой Меркурий обязан был постоянно вертеться во всевозможных салонах, незаметно и ловко, между болтовней об опере и вчерашнем рауте, пропагандировать и так и сяк свою "великую идею", подчас поражать умы сердобольных барынь повествованиями о русских ужасах и варварствах, о страданиях несчастной, угнетенной Польши, возбуждать салонное и особенно дамское сочувствие польскому делу, подчас же ловко втирать очки доверчивому и умеренно-либеральному сановнику насчет консервативности западного «дворанства» и скрытно-революционных элементов «хлопства», которое только и можно удерживать в повиновении посредством воинских экзекуций. Кроме этого, пан грабя обязан был всячески вынюхивать и выведывать о всевозможных новостях правительственного и административного мира, о всяком малейшем мероприятии, проекте, предположении, которые так или иначе могут иметь то или другое отношение к польскому делу. Часто какой-нибудь случайный разговор, какая-нибудь фраза, оброненная тем или другим высокопоставленным лицом, служили для пана грабего великим поводом к своим, совершенно особым соображениям, выводам, заключениям, — и обо всем этом, о слышанном, виденном, о сделанном и подстроенном он немедленно же сообщал по назначению в Париж или в Варшаву, в Вильну — словом, куда требовалось, смотря по обстоятельствам. Зачастую, вследствие этих сообщений, он получал какое-нибудь экстренное назначение из Ламберова Отеля, и тогда-то у пана грабего, совершенно неожиданно для всех его знакомых, вдруг являлась самая спешная, безотлагательная необходимость лететь в Москву, в Дрезден, в Рим, в Тельши, в Женеву, в Казань, в Константинополь... Словом, вчера он и сам не знал, где будет сегодня, а сегодня не ведает, где проночует завтра. В этих повсюдных перелетах заключалось его второе специальное назначение. Он летал политическим курьером к дипломатическим представителям Ламберова Отеля при разных правительственных передних Европы и к тайным представителям польской справы внутри России, привозя с собою тем и другим сообщения наиболее важного свойства.

В этой-то второй миссии и заключалась разгадка его великолепных фраков, его финансов, его существования и его гонора. Добрый гений пана грабего ютился в кабинете Ламберова Отеля, и вот почему дано ему было специальное прозвище "Меркурия".

Он благоденствует и доселе. Граф Муравьев его не повесил. Напротив, в самый разгар времен повстанских, пан грабя, когда только бывал в Вильне, неукоснительно являлся в приемные дни на поклон к Муравьеву. Его имя, впрочем без графского титула, можно найти на всевозможных "двораньских адресах", в которых он свидетельствовал, если и не о верноподданстве своем, то о

высоких чувствах своего «вернопреданьства». Пана грабего и доселе можно встретить иногда то в Петербурге, то в Вильне, то в Париже и проч., и проч. — Полезная миссия его не кончилась.

В наши дни он с подобающим ужасом распространяется в некоторых петербургских салонах о революционных и социалистических началах Муравьевских «деятелей» в Западном крае и вообще враждебно относится как к русской, так и к польской "партии красных". Он, конечно, самый консервативный и самый "вернопреданный из наивернопреданнейших" польских панов.

IV. Пан граф Тадеуш и просто пан Анзельм

Он был знаком и с Бейгушем. Он не мог не быть с ним знакомым, во-первых потому, что с кем же и не знаком в Петербурге, а во-вторых, и это главное, Бейгуш, как добрый патриот, был связан с ним единством идеи, общностью дела. Конноартиллерийский мундир поручика, в глазах Слопчицького давал ему право на аттестацию "поржонднего хлопака" и вследствие того пан грабя любезно снисходил до приятельского знакомства с бравым поручиком. Хотя в аристократических салонах — где, впрочем, пан Тадеуш с паном Анзельмом не встречались — он и не признался бы в приятельстве с безвестным офицером, но в сферах пониже, и особенно в польских кружках, весьма охотно называл себя его хорошим знакомым. Тут уже пан Анзельм был в его рекомендации не иначе как "муй добржы пршияциолек".

В плохие или, так сказать, в «пиджачные» времена, когда в кармане не сказывались дома лишние «пенензы», когда жаль было лишний рубль бросить на пропитание в модном ресторане и когда не предстояло случая попасть на обед в какое-нибудь аристократическое семейство, пан грабя зачастую направлял алчущие стопы свои "до пршияцеля Анзельма" и снисходительно пользовался его офицерской похлебкой. Пан же Анзельм, со своей стороны, немало гордился в душе тем, что может назвать своим коротким приятелем "ясневельможнего пана" с таким аристократическим титулом. В «кружке» знали об этой дружбе, и находились иные родовитые шляхтичи, которые даже отчасти завидовали дружбе Бейгуша с аристократствующим проходимцем. В таковом чувстве родовитых шляхтичей, конечно, первую если не единственную роль играл ясновельможный графский титул.

Однажды, в плохое время господства старого пиджака, пан грабя пришел покормиться к Бейгушу и увидал у него на письменном столе фотографическую акварельную карточку прехорошенькой женщины, обделанную в очень изящную рамочку.

— Ah, tiens!..[92] ба, ба, ба!.. Этто что значит?! — развязно вскричал он, схватив со стола портретик и любуясь на него. — Пане капитане!.. Пршияцелю!.. Так вот мы какими делами занимаемся?!.

Бейгуш — не в силах сдержаться от невольного проявления внутреннего самодовольства, со скромной улыбкой покрутил свой красивый ус.

— Кто такая?.. купчиха? чиновница? гувернанточка?.. а? лукаво подмигивая и продолжая любоваться, допытывал грабя.

— Нет… барыня одна… знакомая… так себе, просто… как бы неохотно сообщил Бейгуш, тогда как в душе весьма и весьма охотно бы рассказал ему всю суть своей "офицерской интрижки".

— Барыня?!. Sapristii!.. Да как же это я ее не знаю? — удивился Слопчицький. — Я, кажется, их всех наперечет знаю!.. Должно быть нездешняя?.. а?.. приезжая, верно?

— Н-нет… она здесь живет.

— Mais, mon cher!.. Кто ж она такая, если это не нескромно с моей стороны?

— Нигилистка, — улыбнулся Бейгуш.

— Ah, èa!.. une nihiliste!..[93] Аум! — плотоядно мурлыкнул он.- Vraiment c'est piguant — la petite nihiliste!.. a?..[94] Прехорошенькая!

— Н-да, превкусная барынька! — многозначительно согласился Бейгуш.

— Voilà c'est le mot!..[95] Именно превкусная!.. Глаза-то какие!.. А губы? а ноздри? — О, многообещающие ноздри! И притом же еще нигилистка! Да это, ей-Богу, преинтересно!.. Але ж естешь тенги ходак, душечко! — весело хлопнул он по плечу поручика. — Но только отчего ж у нее волосы не острижены? Ведь у этих нигилисток, говорят, волосы под гребенку стригут? Только фис!.. Это, положим, оригинально, однако очень некрасиво.

— Нет, эта не выстрижет!.. Эта не из таких нигилисток! — заступился Бейгуш. — А у нее, надо отдать ей всякую справедливость, просто божественные волосы!.. Роскошь!

— О, да это видно! Это видно сейчас же! — с видом компетентного судьи, поспешил согласиться пан грабя. — А ты продолжаешь посещать нигилистов? — впадая в деловой, серьезный тон, обратился он к Бейгушу.

— Как же, постоянно бываю!

— Ну, и каково теперь настроены эти инструменты?

— Да, признаться сказать, настраивает их более один приятель мой, Свитка, а я, грешный человек я более насчет этой прелестной вдовушки.

— А она еще и вдовушка, вдобавок?

— Вдовушка. Да это что! А ты скажи, что кроме этого и богата вдобавок! — похвалился Бейгуш.

— О?!. Еще и богата!.. А как богата?

— Около пятидесяти тысяч чистоганом.

— Тсс! — покачал головой пан грабя. — От-то пенкна штука!.. Послушай же, коханку! Если она так добра к тебе и так богата, с нее следовало бы слупить сколько можно в пользу дела, в фундуш народовы?

— Не беспокойся! свое дело знаем! — подмигнул пан Анзельм; — триста рублей на прошлой еще неделе подписала. Уговорил.

Пан грабя плотоядно улыбнулся и весело потер себе руки.

— А у прочих как идет подписка? — спросил он.

— Ничего себе. Где лучше, где хуже, но в общем довольно порядочно. Уж на что коммунисты: ведь это все народ, что называется, ni foi, ni loi,[96] однако Свитка и с тех ухитрился слупить малую толику.

— А эти триста рублей… ты их отправил уже? — с какой-то особенной заботливостью спросил пан грабя.

— Н-нет еще… раздумчиво ответил Бейгуш, и сейчас же вдруг спохватился. — Ах, это триста-то рублей? — Как же, как же! Тогда же отправлены!

"Так-то спокойнее, а то еще взаймы попросит", подумал он себе и поспешил перевести разговор на другую тему.

— Да, да!.. дело вообще не дурно идет! — говорил он. — То, что пан ведет в салонах, Свитка проводит в коммунах! я — и там, и сям, а больше в казармах, то есть так себе, исподволь, в батарейной школе, потому тут большая осторожность нужна.

— Дело идет! — компетентно и с видимым удовольствием подтвердил пан грабя. — Теперь гляди, душа моя, вот как: у меня — пропаганда сальонова, у Колтышки — литерацька и наукова, Чарыковского — пропаганда войско ва, у Почебут-Коржимского — "между столпами отечества", так сказать, у тебя с этим Свиткой твоим — коммуны и нигилисты… А разные министерства, канцелярии, управления? А университет? а корпуса? а школы, гимназии, институты? — Охо-хо-хо!..

Еще Польска не згинэла

Пуки мы жиемы!

запел он вдруг, прихлопнув в ладоши, и в два-три па прошелся мазуркой по комнате. — Тут и стадо сальонове, и стадо наукове, и стадо войскове, а вшистко у купе — едне вельке стадо дуракове! Ха, ха, ха, ха! — весело заключил он — руки в карманы — грациозно поворачиваясь на одном каблуке, видимо довольный эффектом последней фразы.

После обеда, в котором денщик Голембик показывал свое кулинарное искусство, пан грабя Слопчицький, развалясь в кресле и ковыряя в зубах с таким сибаритским видом, как будто он только что встал из-за Лукулловского пиршества, снова завел с поручиком разговор насчет прелестной вдовушки. Его ужасно интересовало: кто она? — Но Бейгуш с видом притворной скромности сказал, что он не имеет обыкновения называть фамилии тех особ, которые дарят его своею благосклонностью. Однако, через пять минут, увлеченный жаром своего рассказа и таким внимательным, даже приятельски завистливым участием друга Тадеуша, выболтал что "люяде Сусанна — это божество! вдова гусарского полковника барона Стекльштрома (полковника и барона он прибавил для пущей важности), что эта прелесть готова ему всем пожертвовать, что она влюблена в него без памяти, что вообще, это — добрейшее и благороднейшее существо из всех, каких он только знал на свете, существо которое ни в чем не умеет отказывать, и вот доказательство: эти триста рублей, пожертвованные в пользу народного дела, но… одно лишь бесконечно жаль: москевка!

— Так что ж, что москевка? — выпучил глаза Тадеуш.

— А то, что кабы не москевка, честное слово — женился бы сейчас же!

— А я бы на твоем месте и непременно женился бы! И чем скорее, тем лучше! — резонерским тоном заговорил пан грабя. — Если действительно, как ты говоришь, из нее веревки вить можно, да еще если к тому же эта добродетель ни в чем отказывать не умеет, а для тебя готова всем пожертвовать — я бы вот сию же минуту "к алтарю". К алтарю, сударыня, без всяких разговоров! И пусть себе Исайя ликует по-москевську! Я тоже стану ликовать с ним вместе!

— Жениться на москевке! — с пренебрежительной гримасой повел плечами поручик.

— От-то еще!.. "на москевке"!.. Да я б на Юлии Пастране женился! — Абы пенензы!

— Да, но могу ли я связывать себя, когда отчизна не сегодня завтра может потребовать меня к делу? — с видом благородного достоинства возразил Бейгуш.

— Ну, когда потребует, ты и развяжись.

— С законною-то женою?

— А хоть бы с перезаконной!.. Что ж такое!.. Кто мешает тебе в одно прекрасное утро пропеть романс: "Прощаюсь, ангел мой, с тобою!" сделать ручку и улыбнуться... А то и петь ничего не нужно, а просто втихомолку улетучился да и баста! "Ищи меня в лесах Литвы"... Штука-то простая!

— Ну, это, пожалуй, не так легко, как кажется!

— Чего там не легко! Что ж она, пойдет тебя разыскивать, преследовать через полицию, что ли? Погорюет две недели, и по доброте, общей всему Евину роду, постарается утешить кого-нибудь в одиночестве, и сама вместе с тем утешится ну, и только!.. А пятьдесят тысяч, мой друг, это легко вымолвить, но не легко добыть. Пятьдесят тысяч по улицам не валяются' Ведь это — шутка сказать! — это триста семьдесят пять тысяч польских злотых!.. Ух!.. да это дух захватывает!

Пан грабя даже выскочил из своего глубокого, покойного кресла.

— Анзельм, — с решительным видом остановился он перед Бейгушем. — Если ты не женишься, это будет величайшая ошибка... Э, да чего там ошибка! Это будет пошлая, непрости тельная глупость с твоей стороны! Понимаешь?.. Я считаю те бя слишком умным и расчетливым малым, чтобы ты мог упустить такой клад! И именно вот на тот самый случай, когда, как ты говоришь, Польша призовет тебя к делу, что ж ты с пустыми руками пойдешь навстречу ойчизне?.. Э, брацишку! Драться на голодные зубы куда как скверно!.. Будем смотреть практически, будем предусмотрительны! Ежели бы, например, чего не дай Бог и чего, я уверен, не случится, но все-таки, положим, что *ежели бы...* Итак, ежели бы мы проиграли: имея в кармане деньги, всегда можно, при некоторой ловкости, удрать за границу и жить себе в Париже или в Швейцарии препорядочным образом, и работать сколько можно на пользу дела, а без денег что ты? Что предстоит тебе? — Вятка или Иркутск! И это еще самое легкое! Я, брат, человек прежде всего практический. Я сам подчас увлекаюсь и люблю помечтать о том о сем но... практики при этом никогда не забываю!

Бейгуш сидел, вытянув ноги, и молчал не то колеблясь н то соображая что-то.

Пан Тадеуш, насвистывая какую-то французскую шансонетку и подщелкивая пальцами, с легким канканным подергиванием прошелся по комнате и снова стал пред Анзельмом

— Педант-моралист, пожалуй скажет, что это не совсем-то тово... снова заговорил он, развивая свою тему, но, мой друг, во-первых, между мужем и женою — все общее: что мое то твое — это первое правило, а во-вторых, я понял бы такую щепетильность относительно польки, француженки, словом, относительно всякой порядочной женщины любой нации цивилизованной, европейской; но относительно москевки — воля твоя, душа моя, — я этого не понимаю! Мало того: я решительно *не допускаю* этого!

Пан грабя пришел даже в некоторый патриотический азарт и говорил сильно жестикулируя.

— Как! — продолжал он, наступая. — Они сто лет уже грабят наши домы, наши земли, наши финансы, наших дедов, отцов и нас теперь грабят, а мы будем деликатничать с ними!.. Вздор!.. Ты только тем или другим способом берешь назад, возвращаешь себе свое добро, свое кровное, законно тебе принадлежащее!.. С этой точки зрения я оправдываю и взятки и казнокрадство! — Ей-Богу так!.. Я перед тобой говорю теперь откровенно, да и чего нам скрываться друг перед другом?.. Они твою родину распластали, поделили ее и ограбили, а ты будешь еще думать да церемониться: можно ли, да следует ли мне воспользоваться капиталом моей жены-москевки? — Спроси целую Польшу — и вся Польша ответит тебе: "не можно, а должно!"

Пан грабя был даже величественен в своем пафосе. Бейгуш, видимо убежденный, тихо улыбался в ответ какому-то своему особому расчету и соображению.

— А что? не рискнуть ли и в самом деле? — повернул он прояснившееся лицо к приятелю.

— Он еще спрашивает! — возведя глаза к потолку и пожав плечами, воскликнул Слопчицький. — Он еще спрашивает!.. О, тяжелая артиллерия! Да что это, ей-Богу!.. рискуй, душа моя! Прямо рискуй! — Риск благородное дело.

V. И хочется, и колется...

Несколько дней спустя после похорон Лубянской, члены коммуны в одно далеко не прекрасное утро были поражены совершенно неожиданной новостью.

В это самое далеко не прекрасное утро некоторые из членов, следуя повседневному обыкновению, отправились для препровождения времени в книжный магазин Луки Благоприобретова и Комп.

Но вообразите себе всю степень панического недоумения их, когда входную дверь они нашли не только запертою, но и запечатанною, и при этом оказалось, что печать несомненно принадлежит кварталу местной полиции. Члены толкнулись с черной лестницы в другую дверь, но и там то же самое. Позвали дворника, и тот объяснил, что нынешнею ночью приезжали жандармы с полицией, сделали большой обыск, запечатали магазин и забрали самого Луку Благоприобретова.

Все ужасно переполошились. Как, за что и почему взят Лука — никто не знал. Недоумению не было пределов. Никто даже и подозревать не мог, чтобы возможно было арестовать Благоприобретова, этого, по-видимому, столь скромного, немногоглаголивого, всегда осторожно сдержанного, осторожно поступающего подвижника. Ему, казалось, только и дела было, что до своей конторки, до своих книжных полок… Правда, любил он постоянно мечтать о возрождении человечества для нового духа и новой жизни в алюминиевых фаланстерах — но что ж из того? Кому теплей, или холодней было от мечтаний Луки Благоприобретова? Члены коммуны чуть ли даже не единодушно были убеждены, что этот вечный труженик способен только смотреть за книжным магазином, корпеть над конторскими книгами и счетами, да еще по принципу добровольно измозжать плоть свою, а он вдруг чем-то еще таким занимался, за что люди знакомятся с секретными комнатами близ Цепного моста. Но чем же занимался Лука Благоприобретов? Что такое творил он? Для чего ни единой души из коммунистов не посвятил в свои предприятия? — На эти вопросы никто не мог подыскать ответа, и только одно недоумение все сильней разрасталось?

— А?.. Каков?.. Лукашка-то наш?.. А? обращался ко всем Ардальон Полояров.

— Черт знает, что такое!.. И кто бы ждал от него! Кто бы мог ожидать! — пожимая плечами, топырили руки члены коммуны.

Всех ужасно заинтересовало, что такое именно делал Лука и за что, и куда именно спрятан теперь?

С помощью Сусанны навели через Бейгуша стороной кой-какие справки и пронюхали, что взят Лука по очень важному делу, за какое-то особенное «предприятие»; но что за «предприятие» такое и в чем его важность — это оставалось покрыто мраком неизвестности.

Зато начиная с этой минуты, уважение к таинственному Луке возвысилось на сто градусов. Но вместе с уважением, на сто же градусов возвысился и страх некоторых коммунистов: "а ну, как и меня так же сжамкают?" За что бы собственно сжамкать Малгоржана или Анцыфрова — этого ни Малгоржан, ни Анцыфров и сами не ведали, но почему же, казалось им, и не сжамкать, если сжамкали Луку? Вообще, очень затруднительно определить то особенное психическое настроение, которое одолело членов коммуны после ареста Луки. Это было очень странное настроение. Каждому из них и очень страшно было ареста, и очень хотелось его. Каждый хотел бы быть арестован, потому что это тотчас же возбуждает в целом обществе говор, толки, участие, сочувствие, — словом, делает из человека в некотором роде героя, а если и не героя, то во всяком случае очень интересную личность: "А, мол, Анцыфров-то! Представьте — бедный!.. В крепости, в казематах". — "Неужели?!" — "Да, взят"... — "Ай-ай!.. скажите пожалуйста!.. Как жаль!.. И ведь это все наши лучшие люди!" Всем вообще Анцыфровым казалось, что если говорят о них, то не иначе, как о лучших людях земли Русской — дескать, сок и соль наша. И вот, в силу таковых-то побуждений, заманчиво щекочущих самолюбьице, и восточным Малгоржанам, и маленьким Анцыфрикам, и Моисеям Фрумкиным, и даже князю Сапово ужасно как хотелось быть арестованными, и притом не иначе как ночью, и не иначе как с жандармами, с каретой, с казематами, — словом, со всеми эффектными атрибутами, которые придают ореол мученичества и политический интерес личности каждого плюгавенького Анцыфрика. Но всем им непременно хотелось быть мучениками при том лишь единственном и неизменном условии, чтобы их всех взяли, подержали себе маленько и потом благополучно бы выпустили с Богом на волю, дабы они могли беспрепятственно опять гулять между любезными согражданами, заседать в читальной Благоприобретова, проживать в коммуне и повествовать о своем гражданском мужестве и подвигах оного во время заточения. О, при этих условиях сколь желательно и сколь лестно быть политически арестованным! Это ведь просто отличие, в некотором роде повышение в чине или орден на шею!

Но... если арестуют, да не подержат и выпустят, а вдруг ушлют в какой-нибудь город Кадников или Бугульму, под надзор местных властей полицейских, — словом, в какие-нибудь такие допотопные страны, где ни о гражданском мужестве, ни о гражданской скорби еще и не слыхивали... Вдруг эдакая-то беда стрясется! — Тогда что?.. Оно, конечно, можно и в Кадников, идти, так сказать, пионером цивилизации и гражданских чувств, но, черт возьми, там насчет этих предметов и слова-то сказать не с кем! Ты им будешь о гражданском мужестве и о прочем, а они тебе на это: "Н-да-с... Так-с... Да это, мол, что-с! А вот не хотите ли в стуколку?" Главная беда, что там разговаривать-то решительно не с кем! И поэтому, в силу соображений о Кадникове и Бугульме, члены коммуны, вместе с желанием эффектного ареста, в то же время и сильно потрухивали его.

Каждый Анцыфрик, каждый Малгоржан в то же самое утро, как только узнали об аресте Луки, поспешили домой и тщательно перерыли и пересмотрели все книжки, все бумажки свои; но запретных плодов между ними, за исключением двух-трех невинных фотографических

карточек, решительно не оказалось, несмотря на все стремление этих господ подвести хотя что-либо, собственной цензурой, под категорию запрещенного. Тем не менее, для вящего успокоения, они побросали в огонь и карточки, и много разного хлама вроде старых корректур, старых рукописей, записок, писем, счетов и прочего.

Это существеннее всего способствовало облегчению ящиков стола и собственного их духа.

Каждый в отдельности, невольно поддаваясь в душе чувству страха за возможность неблагоприятного ареста, хотел бы как-нибудь увильнуть от него и потому стремился исчезнуть куда ни на есть из коммуны, укрыться где-нибудь на стороне, в месте укромном, глухом и безопасном, и каждый, в то же самое время, ясно провидел в другом подобное же эгоистическое стремление; но Малгоржану, например, не хотелось, чтобы Анцыфров избежал ареста, тогда как сам он, оставаясь в коммуне, подвергнется ему; равно и Анцыфрову не хотелось, чтобы и Малгоржан укрылся, если ему, Анцыфрову, предлежит сия печальная участь. — "Уж лучше всем вместе, всем заодно", думает каждый в глубине души, и потому один за другим зорко наблюдает, чтобы тот не увильнул как-нибудь из коммуны. Таким образом, первое время все члены коммуны держались как бы в стаде, и если выходили куда, то старались сделать это, по возможности, гуртом. Одна только вдовушка Сусанна, не разделяя этих опасений, ни за что не желала подчиниться теперь стадным свойствам и требованиям. Как ни убеждали ее сидеть дома, как ни уверял ревнивый Малгоржан, что это даже подлость не сидеть, когда все сидят, Сусанна все-таки урывалась из коммуны и возвращалась только поздним вечером. Малгоржан-Казаладзе, быть может и не без оснований, подозревал, что причина этих настойчивых уклонений и продолжительных отлучек «кузинки» лежит не в чем ином, как в бравых свойствах красивого Бейгуша.

Впрочем, сама «кузинка», несмотря на все назойливые приставанья, не давала восточному человеку ни малейшего отчета в своих последних поступках. Восточный человек бесился, выходил из себя и жестоко испытывал то самое чувство, которое — увы! — он еще почти вчера называл гнусным и недостойным порядочного человека, проповедуя, что чувство это совершенно тождественно с теми побуждениями, в силу которых пошляки и подлецы не позволяют другому человеку надеть своего носильного платья или брезгают пить из одного и того же стакана одну и ту же воду. Короче, он жестоко ревновал свою "кузинку".

Прошло несколько дней после ареста, наделавшего столько переполоха. Сожители все ожидали, что не сегодня завтра нагрянут жандармы и их заберут. Каждый внезапный и порывистый звонок приводил их в смущение. И чего так страшились эти политические жеребята, они и сами не знали, но только страшились, потому что время тогда такое было… "Там берут, тут берут — отчего же и нас не взять?" все думает себе Малгоржан или Анцыфров, беспрестанно возвращаясь все к одной и той же господствующей и тревожащей мысли.

Но проходила ночь за ночью, день за днем, а роковой звонок не раздавался. Если и были звонки, то все такие, которые Полояров называл «глупыми»: они возвещали либо знакомых, либо кредиторов. Жандармы не появлялись. Это, наконец, становится даже досадно, зачем они не появляются! И именно досадно потому, что с каждым днем вероятность ареста уменьшалась, а вместе с этим уменьшением опасности пропорционально росло заманчивое желание быть эффектно арестованным — само собою, с соблюдением того условия, что подержат маленько да и выпустят. И с каждым же днем Малгоржаны и Анцыфровы, всяк про себя, почему-то все более убеждались, что если возьмут, то непременно выпустят здрава и невредима. Это было желание играть в героев и боязнь дурных шансов игры — совершенно по пословице: "и хочется и колется"…

Одна только Сусанна, всецело занятая другими мыслями, была чужда этих желаний.

Но… дни шли за днями, ареста не последовало — и члены мало-помалу совсем успокоились.

А между тем, с исчезновением Луки Благоприобретова, все дела ассоциации стали как-то расползаться, не клеиться. Уж не говоря о книжном магазине, которым он один только и занимался как следует и который доставлял довольно значительную поддержку для существования коммуны, — все эти швейные и переплетные тоже пошли врознь. Бог весть как и отчего, члены и сами не понимали, только с отсутствием Луки все у них стало не клеиться. Этот немногоглаголивый, медвежеватый, узколобый Лука, который постоянно уклонялся от сожительства в коммуне, быть может для того, чтобы успешнее заниматься каким-то своим особым таинственным «предприятием», этот Лука, на которого все склонны были смотреть почти как на последнюю спицу в колеснице — он-то, неведомо для сочленов, и был настоящею, живою душою всего дела, главным направителем, руководителем и деятелем всей работы, всех предприятий, клонившихся к возрождению человечества. Дух отлетел — и организм стал разрушаться.

VI. Сюрприз от вдовушки Сусанны

Не прошло и месяца после ареста Луки, как членов коммуны поразила новая и весьма существенная неприятность.

Однажды вдовушка Сусанна исчезла и ночевать не вернулась. Малгоржан очень тревожился. Прошли еще сутки, а вдовушки нет как нет. Малгоржана уже начинали мучить некоторые темные предчувствия. Он уж замышлял было подавать в полицию объявку об исчезновении «кузинки», как вдруг на третий день утром Лидинька Затц получила с городской почты письмо. Хотя это письмо и было адресовано на ее имя, но содержание его относилось ко всем вообще. Это было, в некотором роде, послание соборное.

"Любезные сограждане! Спешу вас удивить очень приятною для меня новостью: третьего дня вечером я сочеталась формально-законным браком с поручиком конной артиллерии Анзельмом Людвиговичем Бейгуш. Новое мое положение препятствует мне продолжать старую жизнь с вами, мои любезные сожители. Поэтому, я прошу мою милую Лидиньку вещи мои собрать и переслать ко мне по прилагаемому адресу Мужу моему и мне будет очень приятно видеть у себя всех вас без исключения. По воскресеньям вечером мы всегда дома. Вместе с этим, нахожу нужным уведомить вас, что я сегодня же препроводила к хозяину дома деньги, следуемые ему за последний месяц, и на дальнейшее время отказалась от квартиры. Если желаете оставаться в ней, то постарайтесь уже сами как-нибудь устроить это. Верьте, мои друзья, что время, проведенное мною с вами, останется для меня навсегда одним из самых приятных воспоминаний. Остаюсь преданная вам

Сусанна Бейгуш".

Карась, внезапно свалившийся с неба, не мог бы произвести более сильного, более неожиданного впечатления, чем это не длинное послание. "Как замужем?!. А как же мы-то теперь?" мелькнуло прежде всего в голове каждого.

Полояров, изобразив гримасу, которая выражала собою как бы восклицание: вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — обратился с комическим поклоном к Малгоржану. Тот был вне себя.

— Дайте мне кинжал!.. Я восточный человек!.. Я… я с кинжалом пойду!.. Я этого не позволю! — чуть не задыхаясь и бегая по комнате с крепко сжатыми кулаками, не заговорил, а как-то захаркал гортанным своим голосом Малгоржан-Казаладзе. Когда он был взволнован или раздражен чем-нибудь, то быстрый говор его всегда переходил в какое-то горловое харканье —

почти общее свойство людей его расы. Глаза Малгоржана налились кровью, губы дрожали, в душе кипела ревность, а в голове вставал призрак вопроса: как же ты теперь без кузинки существовать-то будешь?..

— Это подлость!.. Это измена! Измена делу! — тараторила азартная Лидинька. — Законный брак… и еще с военным… с офицеришкой!.. Где ж принцип, после этого?!. Это низость, мерзость, пошлость!.. Это надо огласить! Непременно надо! Чтобы во всех газетах, во всех журналах оттрепали ее за этакую подлую измену!.. Надо, чтобы «Искра», чтобы карикатуры… Погоди ж ты, голубушка!.. Я, господа, я это устрою!.. Непременно устрою!.. Это так нельзя оставить! Это до всех касается, до всех честных и мыслящих людей… Это общее дело, господа!.. Анцыфров, приготовь мне бумагу, я буду сейчас же карикатуру в «Искру» сочинять!

Животрепещущая Лидинька горячилась не менее оскорбленного Малгоржана.

— Как же теперь квартира? — размышлял более практичный Моисей Фрумкин. — Князь! надо, чтобы это вы теперь на себя взяли, на свое имя… с квартирой-то…

— Да, да, с квартирой… на свое имя… на себя взял… — бессознательно, но благодушно повторял князь, улыбаясь и хлопая глазами в одно и то же время.

— Дайте ж мне кинжал! Я восточный человек!.. азиатский человек!.. Понимаете?!. Я… я пойду… Я с кинжалом! — харкал меж тем азартно бегающий Казаладзе.

— Ну, и что ж, что ты с кинжалом? — философски ухмылялся, обращаясь к нему более всех спокойный Полояров.

Я с кинжалом!.. с большим кинжалом! — не слушая его, орал покинутый кузен.

— Ну, и с большим! Ну, и что ж из того, что ты с большим кинжалом?

— Я ее заколю, его заколю, всех заколю!.. Я не позволю!.. Она мне деньги должна еще… Она мне пускай деньги мои прежде отдаст… Я жаловаться буду… Я мои права имею!..

— Азия!.. Смирися!.. Смирися, безобразие Азии, говорю тебе! — комически-ораторским тоном взывал к нему Ардальон, простирая руки. — Не ву горяче па! Что с возу упало, то пропало!.. Гляди на жизнь философски, как гляжу я — и благо ти будет! Ну, что же, что кузинка нос показала? Укротись и старайся сыскать новую — и будешь ты утешен! Вот тебе мое верное слово!

И долго еще подымалась в тот день пыль смятения в коммуне. Долго еще возглашал Малгоржан о своем восточном происхождении, долго и Лидинька тараторила об изменах, подлости и пошлости, то принимаясь за карикатуру, то измышляя горяченькую обличительную статейку, чтобы хорошенько хлестнуть в ней Сусанну за измену принципам и общему делу. А Моисей Фрумкин и Ардальон Полояров, каждый втайне, сам про себя, измышляли уже новые пути и планы для обеспечения собственного и коммунного житья-бытья без посредства щедрого кармана бескорыстной вдовушки.

VII. Мины и подкопы

Планы эти естественным образом сошлись на князе Сапово-Неплохово. Да и кто ж бы иначе мог заменить вдовушку Сусанну? Ни Ардальон, ни Фрумкин не поверили друг другу своих сокровенных целей и стремлений: каждый действовал особо, потому что каждый рассчитывал приобрести себе исключительное влияние на князя; и оба в то же время чувствовали, что один

другому мешает, перебивает дорогу и, пожалуй, даже ногу не прочь подставить. Из этого возникла затаенная вражда Моисея к Ардальону и Ардалъона к Моисею. Это были два врага, которые одновременно вели осаду на одну и ту же крепость: оба хотели взять крепость и в то же время сокрушить другого осаждающего.

Моисею уже давно было не по душе то нравственное преобладание, которым пользовался в коммуне Полояров, тем более, что смышленый Моисей как нельзя лучше понимал, что все это преобладание, всеми чувствуемое, но въявь никем не признаваемое, построено единственно на беспардонном нахальстве Ардальона, на его наглости, на его громком голосе и на его безапелляционно-авторитетном тоне, которым он решал, что все — дураки и пошляки и никто ничего не знает, не смыслит и не умеет, давая тем самым чувствовать, что умен и сведущ один только он, Ардальон Полояров. Самолюбие Фрумкина давно уже страдало втайне и от полояровского первенства, и от полояровской бесцеремонности отношений. Оно страдало тем более, что Фрумкин чувствовал и сознавал, что и он точно так же мог бы играть ту же самую роль, какую теперь играет Полояров и что немножко бы только нахальства — и ничто тому не помешает. Моисей в глубине души своей решил сокрушить Ардальона и стать на его место. Ардальон же, пользуясь столько времени своими преимуществами, считал себя с этой стороны вполне обеспеченным, несокрушимым, и стремился только к тому, чтобы не допустить Моисея до исключительного влияния на князя Сапово-Неплохово. Но задавшись такою целью, он совершенно упустил из виду, что кроме Моисея, в коммуне существуют еще и другие члены, которых впрочем он привык считать за ничто, а этими-то именно членами и воспользовался исподволь Моисей Фрумкин. Полояров, в беспечном спокойствии своем, ничего еще и не подозревал, а Фрумкин между тем с этой стороны успел уже подвести под него весьма значительные мины.

Каждый из коммунистов, конечно, не менее Фрумкина чувствовал на себе тягость полояровского преобладания, каждый, быть может, сознавал, что Полояров третирует его в душе как дурака, но... так как Полояров раз уже завоевал себе это привилегированное положение и все подчинились такому порядку вещей (сначала, конечно, бессознательно), то потом уже все и молчали. Кто молчал из малодушия, из трусости, кто от бесхарактерности или в силу подчинения более сильной натуре Ардальона, а кто и от самолюбия: "как же, мол, я сознаюсь, что Ардальон командует надо мною... Хоть оно, мол, и так, а только я виду не покажу". И таким образом, чувствуя известного рода тягость, все молча выносили ее до поры до времени. Может быть, этим господам пришлось бы и очень еще долго выносить ее, если бы в душе Моисея не возникла коварная мысль воспользоваться ардальоновскими преимуществами.

Этими побуждениями более всего руководили расчеты на карман глупого князя, в который и Ардальон протягивал свою лапу. Были тут у Моисея и еще кое-какие соображения, и тоже финансового свойства: Моисей был самый работящий человек из всех коммунных сожителей. Он и переводами занимался, и корректуры правил, и фельетончики в одну газетку поставлял, за что и получал приличное вознаграждение. Сумма его месячного заработка превышала заработок других; поэтому Моисею было обидно, что с какой же стати он должен свой заработок отдавать в кассу, находящуюся в заведывании Полоярова, и с какой стати этот самый Полояров, зарабатывая гораздо меньше, но пользуясь равными условиями жизни, живет, в некотором роде, на его, Фрумкина, счет? Что оба они, равно с прочими, живали на счет князя и Сусанны — этого Моисей в расчет не принимал и вообще старался исключать из своих соображений, как нечто к делу вовсе не подходящее; но помнил он только себя и свой собственный, личный заработок.

Моисей мало-помалу успел и прочим членам внушить мысль, что Полояров, зарабатывая сам очень немного и в то же время распоряжаясь общими деньгами, живет по преимуществу на их общий счет. Это открытие очень понравилось членам и оно-то послужило началом восстания

против Ардальона. Полояров обязан был ежемесячно представлять отчет общему собранию членов, но прошло уже несколько месяцев, а он об отчете и не думал, да и ему никто не напоминал про это. Все, казалось, жили спустя рукава, а Полояров более всех, и потому позамотался-таки и позапутался в расчетах весьма изрядным образом.

Подготовя свою партию, Фрумкин, наконец, явно восстал против Ардальона. Все, в один голос, потребовали у него отчетов. Ардальон почувствовал весьма критическое положение. Хотел было, по обыкновению, взять нахальством, — не удалось, хотел и так и сяк вильнуть в сторону — и тоже не удалось. Члены настойчиво предъявляли свои требования, Фрумкин кричал более всех и даже грозился предать гласности все поступки Полоярова, если тот не представит самого точного, вполне удовлетворяющего отчета.

Даже маленький Анцыфрик совсем вышел из повиновения. Полояров растерялся. Авторитет его видимо падал и почти уже превратился в ничто. В коммуне поселился раздор, раздвоение, или, вернее сказать, восстание против ардальоновской диктатуры. Таким образом, этот развенчиваемый кумир испытывал теперь на себе общую судьбу всевозможных диктаторов: пока не появлялось соперника — он мог делать все, что угодно, и все ему подчинялись, все молчали, все терпели; но чуть явился соперник в лице Моисея — все разом поднялись и завопили против Полоярова. Всем даже и лестно, и приятно было теперь выместить на нем все свое прошлое унижение, презираемость, повиновение и молчание. Фрумкин явно одолевал, — Ардальону оставалось только покориться со смирением…

VIII. "С того берега"

Но не таков был Ардальон, чтобы сразу смириться перед Фрумкиным. Еще в те времена, когда он был становым приставом, он сделал себе такую привычку, чтобы все ему покорялись, а теперь вдруг какой-нибудь Мошка Фрумкин одолевает! Нет, этого нельзя! Это невозможно! Горше всего была потеря авторитета, потеря преобладания. Во что бы то ни стало, надо приложить все усилия, пустить в ход все способы, всю изобретательность к тому, чтобы восстановить свой авторитет в прежней силе. Раз, что он восстановлен, преобладание и бесконтрольность администратуры явятся сами собою, как естественные следствия полояровского авторитета, и тогда Ардальон наступит на василиска и покорит под ногу свою змия и скорпия и Мошку Фрумкина.

Хотя Ардальон и был теперь весьма сконфужен, хотя он и вконец растерялся, тем не менее продолжал третировать в душе своих сотоварищей, как дураков. А между тем самолюбие вопиет, злоба на Мошку кипит, обаяние недавней власти требует восстановления падшего достоинства, мозги работают над скорейшим изобретением способов для этого восстановления, а тут эта сконфуженность мешает, эта растерянность и самая необходимость поспешности лишают возможности спокойно сосредоточиться в своих мыслях, обдумать, обстроить получше, обставить половчее все дело — и вот, Ардальон Полояров сгоряча додумывается до замечательного изобретения.

* * *

Члены назначили ему вечер, когда он обязан был представить им отчеты. Так как Фрумкин опасался с их стороны охлаждения к делу, думая, что Ардальон успеет подвести под них какую-нибудь такую механику, которая возвратит ему общее их доверие и расположение, то и решился поэтому действовать сгоряча, не давая ни членам, ни Полоярову сообразиться и одуматься. Впрочем, члены достаточно сильно поднялись против своего администратора и сами назначили ему следственное заседание на другой же день после восстания.

С утра они, по обыкновению, разбрелись; но Полояров остался дома и все время запершись сидел в своей комнате. Вечером же, когда все собрались, он сам, без всякого зова и понуждения, очень спокойно вышел к ним в залу. В лице его было гордое и несколько презрительное спокойствие незаслуженно-оскорбленного достоинства. Это лицо как будто говорило: "а все-таки вы-де дурачье, и я стою настолько высоко, что все ваши оскорбления никак до меня не достигнут".

— Извините, господа, — начал Ардальон очень тихо, сухо и сдержанно. — Извините меня, что я не успел приготовить вам отчет... Я попрошу на это еще дня два сроку... сегодня никак не мог, потому что получил из-за границы очень важное для меня письмо и должен был по поводу его заняться некоторыми соображениями.

— Какое нам дело до ваших писем! — отозвался Фрумкин. — Из-за ваших корреспонденций не терпеть же общему интересу! Это довольно странно!

— А может эта корреспонденция касается еще более важных и более общих интересов чем ваши? — загадочно и веско возразил Полояров. — Вы думаете, что весь мир только в ваших одних интересах и заключается?.. Но я повторяю вам, что я не мог и даже... просто не имел права оставить без известных соображений это письмо.

— Да какое письмо-то?.. Откуда письмо? — не утерпела любопытная Лидинька.

— Из Лондона, — как бы нехотя и равнодушно ответил ей Полояров.

Все насторожили уши.

— Из Лондона? — протянула удивленная и озадаченная Затц. — Это еще новости какие-то!.. Хм... С кем же это у вас корреспонденции в Лондоне завелись?

— А вы полагали, что я только с вами и мог вести их? Слишком много чести мне! — иронически поклонился ей Ардальои.

— Вы из Лондона письмо получили? От кого же это! — вмешался Малгоржан, любопытный не менее Лидиньки.

— От Герцена!.. От кого же еще! — опять как бы нехотя и равнодушно ответил Полояров.

Это последнее сообщение произвело-таки своего рода эффект. Фрумкин смутно стал предчувствовать, что противник подводит какие-то еще неведомые ему подвохи. Все переглянулись — и в этих скрестившихся взглядах сказалось и недоумение, и сильное любопытство: "Как это, мол, Ардальон Полояров — и вдруг письмо от Герцена!.. Герцен и Полояров!.. Э!.. Значит, Полояров-таки молодец... Штука-то не простая!" помыслил каждый про себя не без того, чтобы не ощутить в душе маленький позыв на возврат некоторого уважения к Ардальону.

— Да! — со вздохом начал Полояров грустным и горько-ироническим тоном, вынимая из бокового кармана разорванный конверт. — Мои друзья, те, на кого я так надеялся, кому я верил, кого я считал людьми одинаковых убеждений со мною, все те, для которых я готов был по-братски жертвовать и временем, и трудами, и моим честным заработанным куском хлеба — все те от меня отвернулись, подозревают меня в каких-то проделках, считают за какого-то подлеца и мерзавца!.. Это в благодарность за мое-то братское радушие!.. А вот люди иного сорта, люди, с которыми я, положим, лично и не знаком, но эти люди и заочно знают меня и делают мне честь и уважение... Они вот и заочно успели понять и оценить меня... А мне

больше ничего и не нужно! Я и тем счастлив! Считайте меня после этого за кого вам угодно — мне решительно все равно; я все-таки знаю, что за мною остается уважение таких людей, до которых нам с вами далеко, господа.

Всю эту речь, очевидно подготовленную заранее, Полояров произнес даже растроганным голосом и притом с чувством неуязвимого, благородного достоинства, которое знает себе настоящую цену.

— Да мы тебя вовсе и не думаем за подлеца считать! — вступилась Лидинька. — Мы только отчета хотим, потому что это так в правилах положено… Что ж тут такого?

— А о чем пишет-то? Покажи, душа моя… прочти, пожалуйста! — ласково приступил Малгоржан, в котором сила любопытства значительно умягчила на время силу враждебности к сотоварищу.

Моисей Фрумкин мрачно стоял поодаль у окна и в злобном молчании кусал себе ногти. Он сильно опасался теперь, что члены примирятся с Ардальоном, и вся его стратегика рухнет, опрокинутая ловким противником. Глупый князь, побежденный именем Герцена, уже юлил около Полоярова и искательной улыбкой осклаблял свои зубы. За исключением одного только Моисея, все члены любопытно подвинулись к Ардальону Михайловичу и не без благосклонности приготовились услышать герценовское послание.

Полояров развернул письмо и начал читать:

"Милостивый Государь

Ардальон Михайлович!

Мы не знакомы с вами лично. Вы выступили бойцом на ваше поле далеко позднее нас: мы были уже тогда вдали от родины, и здесь, на этом берегу, готовились к святому служению ей… Мы вышли ранними сеятелями. Вам досталась доля более завидная чем нам: вы нас моложе, вы нас бодрее. Вы на месте осязаете вашу родную почву, и вам, быть может, предстоит честная жатва… А мы… мы только издали можем смотреть на нее, наблюдать ее, мучительно скорбеть о ней, о нашей, пока еще несчастной родине и присоединять наш горячий голос, но увы! только голос — к светлой благородной деятельности людей вашего поколения. Мы не знакомы с вами лично, но мы заочно знаем вас. Добрые вести о деятельности честных людей хорошо доходят к нам из России, несмотря на российско-немецкие таможни, татарские цензуры и рафинированную жандармерию. Вы остаетесь одним из тех немногих деятелей, которые высоко держат в России знамя демократического социализма. С светлым упованием обращаются наши очи на этих апостолов, бедных числом, но богатых духом и верою. Идите же твердо и неуклонно вашим тернистым путем к источнику новой жизни! Борьба неизбежна — боритесь! Мы будем благословлять вас. Вы победите — мы будем братски ликовать с вами. Вы падете — мы запишем на вечную память всему миру ваши громкие имена в наши святые мартирологи, мы вплетем их в славный венец наших мучеников свободы. Идите? — над вами заря победы! Отходящие бойцы кланяются новым победителям. Привет вам из нашего далека! Горячо жму вашу руку.

Ваш **А. Герцен".**

Письмо это сначала озадачило всех слушателей. Малгоржан уже стал было сладко улыбаться своими жирными глазами. Анцыфров ласково заегозил и головенкой, и руками и ногами — точь-в-точь как маленький песик с закорюченным хвостиком, а князь просто заржал от восторга и, слюняво сюсюкая, горячо ухватил и тряс руку Полоярова:

— Браво!.. Поздравляю!.. Благодарю!.. благодарю!.. лепетал он захлебываясь. — Браво! Ей-Богу, браво! Я рад… я душевно рад!..

— А покажите-ка конверт? — с каким-то затаенным умыслом и с видимым недоверием обратился к Ардальону Фрумкин.

Легкая тень смущения пробежала по лицу Полоярова. Он насупился и кашлянув отвернулся, будто и не слыхал слов Моисея.

Тот повторил свое требование.

— На кой вам черт конверт еще понадобился?

— Так. Видеть желаю.

— Нечего вам тут видеть! Ничего вы дальше своего носа не увидите.

— А вы все-таки покажите. Отчего это вы так упорно не желаете показать мне?

— Да мне что!.. Пожалуй, нате! глядите!

И он пренебрежительно бросил конверт Моисею. Тот взял его со стола и внимательно оглядел с обеих сторон.

— Какими же вы судьбами получили это письмо?.. Тут что-то ни наших ни заграничных штемпелей не видать… да и марок тоже нету.

Фрумкин вопросительно испытующим взглядом поглядел в лицо Полоярову.

Ардальон скосил глаза свои вниз и в сторону.

— Экой вы младенец невинный! — помолчав немного, но все-таки не глядя на Моисея, насмешливо заговорил он. — Какой же это дурак стал бы такие письма прямо по почте пересылать? Для этого надо не иметь в башке ни капли человеческого смысла! Разве такие вещи по почте пересылаются?

— А как вы получили его? — любопытно допытывал Малгоржан с приятной улыбкой.

— Да нынче вот… Сижу я это над вашими расчетами (слово «расчеты» Полояров произнес не без преднамеренной иронии), вдруг звонок. Я отворяю, смотрю — какой-то совершенно незнакомый господин. — "Здесь, говорит, живет Ардальон Михайлович Полояров?" — Здесь, говорю: — я сам и есть; а вам что, говорю, угодно? Тут он мне подал это самое письмо. "Я, говорит, из друзей… вы не сомневайтесь! Проездом из-за границы и еду теперь в Москву, а через несколько дней вернусь, и тогда, говорит, непременно буду у вас". Я запер дверь за ним, распечатываю и просто глазам не верю!.. Да — прибавил Ардальон в заключение с самодовольной улыбкой, — порадовал-таки меня Александр Иванович — спасибо ему, голубчику!.. Это ведь просто патент, в некотором роде… Этим можно гордиться-с!

— Гордиться-то можно, да только не вам, — с едкостью заметил Фрумкин.

— Отчего ж бы это и не мне-с?

— А оттого, что не вы ли сами всегда обзываете Герцена и дураком-то, и отсталым-то, и лишним человеком, и краснобаем. Вспомните-ка, ведь это все ваши эпитеты! То вдруг еще

вчера он у вас выдохшийся болтун, пустельга-колотовка, а сегодня уж вы гордитесь им!.. Последовательно-с! И главное, прочность ваших убеждений рисует!

Полояров побагровел и злобно вскинулся глазами на Моисея.

— Я с вами и говорить-то не хочу! — презрительно пробурчал он отворачиваясь.

— Это всеконечно так-с! — с улыбкой поклонился Фрумкин. — Больше вам и сказать-то мне нечего.

Он чувствовал, что шансы его борьбы с Полояровым начинают колебаться, и потому, как утопающий за соломинку, хватался теперь за каждый малейший крючок, чтобы повернуть дело в свою пользу.

— А мне, господа, это письмо кажется очень сомнительным! — не стесняясь присутствием Ардальона, громко обратился он к присутствующим. — И странно это, право! Отчего вдруг Ардальон Михайлович получает от Герцена хвалебный гимн своей честности, как раз в то самое время, когда мы настойчиво потребовали от него отчетов? Не знаю, как вы, господа, а я нахожу, что это очень странная игра случая!

Лидинька громко захохотала одобрительным смехом. Анцыфров вслед за нею тоже было фыркнул, но заячьим взглядом взглянув на Ардальона, тотчас же струсил и примолк. И Малгоржан, глядя на других, состроил вдруг лукавую усмешку, озаренный новою мыслию со стороны Моисея. Фрумкин же, видя это, начинал уже ощущать предвестие некоторого торжества.

Полояров в первое мгновенье окончательно смутился. Злоба в нем закипала все более.

— Я... я... я... — отрывисто заговорил он, заикаясь от волнения и злости, — я за такие сомнения морду колочу!

Эти слова сопровождались весьма выразительным жестом в воздухе.

И нужно же ему было произнести такое слово! И нужно же было изобразить такой жест!.. Эта «морда» сразу сделала то, что члены-сожители снова и всецело передались на сторону Фрумкина. Весь эффект герценовского послания пропал задаром. Эта «морда» очень живо напомнила членам Полояровские свойства и качества, его бесцеремонность, его самомнение, его нравственную диктатуру, которую только вчера, благодаря Фрумкину, они успели сбросить с своей шеи. Герценовское письмо расставляло им новые сети, и это очень хорошо поняли теперь злосчастные коммунисты. Они поняли, что примириться с Полояровым, поддавшись обаянию герценовских похвал его особе, значит опять пойти к нему в кабалу, и потому очень живо отшатнулись от Ардальона, тем более, что Моисей Фрумкин успел даже заронить в них сомнение касательно подлинности хвалебного письма.

— Нет, главное, он-то! Он-то в деятели попал! — пронзительным своим голосом затараторила Лидинька, которая, как флюгер по ветру, перешмыгивала от одного к другому. — Скажите пожалуйста, какие нынче деятели!.. Нет, настоящие-то деятели не так поступают... Вот Лука у нас был настоящий деятель, так тот, небойсь, писем не получал и всенародно не хвастался ими. Деятели-то теперь по казематам сидят... Вот где деятели!.. И в самом деле, поглядишь, то тот арестован, то другой, того взяли, тот сослан, — берут ежедневно и здесь, и там, а одно только наше красно солнышко, наш деятель, свет Ардальон Михайлович, на свободе гуляет... Нет-с, батюшка, кабы ты был настоящий деятель, так тебя уж давным-давно бы арестовали, а ты вишь все еще промеж нас толкаешься. А отчего ты не арестован? Отчего?

— Глупый вопрос! — пожав плечами, буркнул Полояров.

— Нет, ты мне скажи, отчего ты не арестован? — как пиявка впилась Лидинька все с одним и тем же вопросом.

— Оттого, что ты дура.

— Это, сударь мой, не причина-с. А ты мне все-таки скажи, отчего Лука вот арестован, а ты нет? Ты скажи мне, а я послушаю!

— Н-да-с! Отчего вы и в самом деле не арестованы, если вы такой важный деятель, если вы один только высоко держите знамя демократического социализма? — ядовито поддержал Лидиньку Моисей Фрумкин. — Тут вот поглядишь, кто и гораздо пониже вас держали знамя-то это, однако и тех позабирали, а вы благоденствуете на свободе. Какие это боги покровительствуют вам.

— Нет, ты скажи нам, отчего и зачем ты не арестован? — приставала между тем Лидинька.

— А вы мне скажите, зачем вы не арестованы? — руки в боки и ноги врознь, с нахально смеющимся лицом обратился Полояров ко всем присутствующим.

— Да мы ведь писем от Герцена не получаем, — ответил за всех Моисей Фрумкин.

— А отчего вы не получаете?

Некоторые из членов совещательно переглянулись между собою. Фрумкин молчал.

— Ну-с, так отчего же вы не получаете? — с возрастающим нахальством наступал на них Полояров.

Что было отвечать ему на такой назойливый вопрос?

— Отчего мы, и в самом деле, не получаем? — хлопая глазами и принимая все это в самую серьезную сторону, тихо спросил наивный князь у Моисея.

— А я вам скажу отчего! — продолжал Ардальон, стоя фертом перед всей компанией. — Оттого, что вы рылом еще не вышли получать-то такие письма! Вот отчего!

— Ладно, ладно! А вы нам, милостивый государь, извольте все-таки отчеты представить! — завопило на Полоярова все общество, вконец уже оскорбленное последней выходкой. — Вы нам отчеты подайте, а если через два дня у нас не будет отчетов, так мы их у вас гласно, печатным образом потребуем! В газетах отшлепаем-с! И посмотрим, какие тогда-то вот письма к вам станет Герцен писать!

Полояров, махнув рукою, ретировался в свою комнату.

IX. Из угла в угол по комнате

Ему было жутко. Герценовское письмо, на которое он так рассчитывал, окончательно не вывезло. Упорная наглость — элемент наиболее присущий, наиболее естественный в натуре Полоярова — тоже не помогла. "Ах, кабы не жид!" думает себе Ардальон. "Кабы не он, все бы шло, как по маслу'... С остальными бы управился!" Но эти остальные были сильны теперь жидом, а жид ими, и в результате, сколь ни прикидывал и так и сяк Полояров — выходило, что

все-таки ничего против этой соединенной силы не поделаешь... Главнейшим образом смущала эта угроза "предать его благодетельной гласности". — "Ох, уж эта благодетельная!" злобно сжимая зубы, мыслил Полояров. — "А ну, как отпечатают?!". Эта мысль приводила его в содрогание: если отпечатают, тогда в журнальном мире погибла его репутация, тогда эти канальи Фрумкины сделают, что и статей его, пожалуй, принимать не станут; тогда по всем кружкам, по всем знакомым и незнакомым, по всем союзникам, друзьям и врагам самое имя его эти Фрумкины пронесут, яко зол глагол. — "Все эти «Искры» в набат ударят, пойдут теребить, потрошить, копаться в тебе, и на все лады, и в стихах и в прозе, переворошат всю твою внутренность". — И Полояров с наслаждением начинает желать, чтобы над всеми этими «Искрами» над всеми газетами, над всеми Фрумкиными вдруг стряслась бы такая беда, такая гроза, чтобы слова про него некому было пикнуть. Эти самые «Искры» и Фрумкины еще только вчера составляли его силу, его первую угрозу "подлецам и пошлякам", эти самые «Искры» вчера еще с таким ласковым почтением относились к нему, а сегодня он уже их боится... И все это наделал какой-нибудь Мошка Фрумкин.

— Нет, надо как ни на есть поправить это дело! — решает себе Полояров. — Лоб расшибу, а поправлю!

"Просить у них прощения, что ли?" — мелькает ему мысль. "Нет, не годится!.. Простить-то, пожалуй, простят, но уж прежнего уваженья не будет... и каналья Фрумкин на твое место сядет".

— Как!.. Чтобы вдруг Фрумкин... Да никогда!.. Ни в жисть! — азартно схватывается с места Полояров, и начинает шагать по комнате.

"Эх, любезные друзья мои!" — продолжает он думать, не без злорадства потирая руки. "Кабы это я был теперь становым, а вы бы у меня в стане проживали, показал бы я вам куда Макар телят гоняет... Всех бы эдак: ты что, мол, есть за человек такой? Ты, мол, Фрумкин? — Тарарах тебя, каналья!.. Таррах-трах!.. Раз-два!.. Справа налево!.. В остроге! в секретную! При отношении — так, мол, и так"...

— Рррасшибу! — в увлечении вскрикнул Полояров, описав по воздуху разящее движение кулаком, и с размаху хватил им по столу. Ни в чем не повинный стол затрясся и задребезжал со стоявшим на нем стаканом недопитого чая.

— Тише ты, дьявол! — огрызнулся на него вполоборота Ардальон Михайлович и снова зашагал по комнате.

И вот, все больше и больше предается он злорадственным мечтам; думается ему, что он и точно становой пристав и делает облаву на Фрумкина, на Малгоржана... Лидинька в ногах у него валяется, прощенья просит... Я те прощу! Я те прощу сейчас, голубушка! Эй, сотский, приготовь-ко горяченьких... ну, матушка моя, с Богом!.. А ты, иудейская твоя морда... Тарарах!.. в кандалы его!.. Я те дам социализмы заводить!.. Я те вспишу пропаганду! Ты думал, что ты можешь мне не покоряться? Ты бунтовать? Ты народ смущать?.. Ты власть мою не признавать?.. Вот-с, ваше превосходительство! Вот он налицо пред вашим превосходительством! главный бунтовщик-с!.. И все они здесь же, под конвоем-с! Всех захватил и изловил...

— Не стоит благодарности-с, ваше превосходительство... Помилуйте-с... Мой долг... рад живот положить!.. Какое распоряжение изволите теперь сделать-с?.. В острог?.. — Очень хорошо-с. Ну, любезнейшие, пожалуйте-с!.. Милости просим на казенное содержание!.. А что? Будете теперь сомневаться, от кого мы письма получаем? Будете требовать отчетов? ась?..

И куда-куда не заносят злорадно-золотые мечты огорченного Ардальона! Эти мечты в данную минуту были и его утешением, и его отместкой врагам за свое недавнее поругание. Воображается ему, что его за усердие к ордену на шею представляют, что он даже в донские казаки переходит и командует целым казачьим полком, специально предназначенным для того, чтобы переловить и истребить всех Фрумкиных на свете. И тут же почему-то представляется ему его последняя статья "О пауперизме и пролетариате в смысле четвертого сословия", за которую благодарный редактор предлагает ему по тысяче с листа, а благодарная Европа дарит почетную премию, и разные ученые общества, клубы, ассоциации присылают ему дипломы на звание почетного члена… Губернатор снова благодарит его и снова представляет к награде, к чину, к ордену… И этот губернатор вдруг не кто иной, как сам Александр Иванович Герцен… который с гордостью называет его своим другом и велит публиковать о том во всех газетах…

Эти золотые мечты переходили почти в какой-то бред и грезы, что впрочем и немудрено при том возбужденном состоянии, в каком находился теперь Ардальон Михайлович.

Но возвращаясь, по временам, к действительности, голова его додумалась-таки до решения как быть и что следует делать. Присев к столу и вынув чистый лист бумаги, он принялся писать, медленно выводя буквы и как бы обдумывая каждое слово.

"Его Высокопревосходительству…" но вдруг зачеркнул написанное и вместо того выставил:

"Его Сиятельству Господину Шефу корпуса…"

Засим подумал, пустил несколько колец табачного дыма, еще подумал и снова зачеркнул, и стал писать так:

"В Третье…"

— Нет, не так! — решил он, наконец, еще раз подумав, и снова прописал полный титул того, кому адресовалась бумага, а затем уже стал излагать самое дело:

"Сим имею честь, по долгу верноподданнической присяги и по внушению гражданского моего чувства, почтительнейше известить, что вольнопроживающий в городе Санкт-Петербурге *нигилист* Моисей Исааков Фрумкин распространяет пропаганду зловредных идей, вредящих началам доброй нравственности и Святой Религии, подрывающих авторитет Высшей Власти и Закона, стремящихся к ниспровержению существующего порядка и наносящих ущерб целости Государства. А посему…"

На этом «посему» Полояров опять остановился.

"Нет, «посему» еще рано!.. Надо бы прежде еще что-нибудь такое… пополновеснее, а потом уже «посему»… Но что бы такое?"

И снова стал он ходить по комнате и придумывать нечто полновеснее, но среди этих раздумываний пришла ему вдруг мысль: "А что как ничего этого не удастся?.. Как если Фрумкина-то возьмут, подержат-подержат, да и выпустят, а он тогда вернется к нам — го-го, каким фертом!.. Не подходи! Да как начнет опять каверзы под меня подводить?.. Тут уж баста!.. Вся эта сволочь прямо на его стороне будет… Как же, мол, мучился, терпел… сочувствие и прочее…"

— Нет, это не годится! Это не подходящее! — порешил Полояров и в мелкие кусочки изорвал начатый донос свой. — Этим я только дам ему же лишние выгодные шансы против себя самого.

А лучше бы что-нибудь другое!.. Но что ж другое?.. Что?

И снова зашагал он по комнате.

В зале раздавались меж тем веселые голоса и громкий смех. Громче всех хохотала Лидинька. О чем там разговаривали, Полоярову не было слышно сквозь затворенную дверь. Можно было только догадываться, что над чем-то или над кем-то смеются. — "Ага, верно меня на смех подымают!" домекнулся Полояров, и на цыпочках подойдя к двери, внимательно стал вслушиваться сквозь замочную скважину. Но и подслушиванье не определило ему точнее причину общего смеха. Слышно было только несколько голосов, раза два как будто словно "*он*" сказали, да еще как будто слово "*деятель*", — так по крайней мере послышалось... А может, и не *деятель*... может, *сеятель,* а может и другое что — черт его знает! — Не разберешь! И опять этот невнятный шум говора покрылся взрывом дружного смеха.

"Ну да!.. «Он»... "*деятель*"... Это они надо мною!.. Надо мною!" — думал Полояров, злобно кусая себе губы. Ему сделалось и больно, и досадно, и просто избил бы их всех!.. Но главное, это так больно и так обидно, что хоть плакать готов...

И он на несколько минут, под влиянием щемящего до слез ощущения обиды и боли, вдруг почувствовал себя таким несчастным, пришибленным, таким несправедливо угнетенным, таким отверженным и жалким, но в высшей степени честным и благородным человеком.

— Да! вот всегда такова-то правда людская на свете! — печально и горько вздыхал он. — Ты душу за них отдать готов, ты на крест, на плаху идешь, а они над тобой издеваются, они в тебя каменьями и грязью швыряют... Люди, люди!.. братьями вы называетесь!.. Что ж, рвите меня по-братски! бейте меня, плюйте, терзайте!..

И Полоярову представляется, как его бьют и терзают "за правду" и как он благородно переносит все это! Как возвышенно страдает он!.. О, да! Он невинно страдает! Он — мученик правды, мученик человеческой злобы, зависти, интриги!.. Это они все его уму, его гению, его таланту, его успехам завидуют! Это все одна черная, низкая зависть!

И опять представляется ему, что он, изнуренный, обессиленный бесплодной борьбой против людского зла и неправды, умирает в злейшей чахотке, в смрадной больнице на гнилом соломенном тюфяке... Вот кляча на роспусках везет некрашеный, убогий гроб, и в этом гробу он, Ардальон Полояров... И все эти люди приходят глядеть на него... Да!

И только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он, ненавидя!..

начинает наконец он патетически думать и мечтать Некрасовскими стихами.

— Тьфу!!! — как бы опомнившись, энергически плюнул Полояров почти в ту же минуту. — Да что ж это я, в самом деле?!.. Уж до стихов!.. Ерундища какая-то все в голову ползет... Смешно, право!

"А ты скажи, зачем ты не арестован?. Нет, ты, брат, постой! ты нам прежде скажи, зачем и почему ты не арестован? Зачем Лука арестован, а ты нет?" — смутно звучат в ушах Полоярова как будто бы давнишние голоса.

"А и в самом деле, зачем я не арестован?" — остановясь среди комнаты, задает он вдруг самому себе неожиданный вопрос и даже не без некоторого удивления. "Для чего я не арестован

доселе, и почему мне не быть бы арестованным?.."

..."А что, если бы вдруг хоть сегодня ночью нахлынули жандармы и взяли бы меня?.."

..."Хм!.. А ведь это даже недурно бы было!.. Ей-Богу, недурно!.. Во-первых, все эти отчеты тогда к черту!.. во-вторых..."

..."Во-вторых, арестовали же Луку... значит, и меня можно!.."

..."Н-да! вот, нейбось, как сжамкали Луку, так и куды как все уважать его стали!.. Кто, почитай, и совсем-то не знал его, или был на одних только шапочных поклонах, так и тот теперь, подика, везде трубит: "как же мол, очень коротко знакомы были!.. Даже, можно сказать, приятели!.." И сколько этих приятелей сразу же найдется, чуть только сжамкают человека! Каждому, небойсь, хочется, чтоб Лукашкина известность и слава хоть задним концом, а и меня бы чуточку задела... Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, отменная это штука быть арестованным!.. Сейчас это они тебя в десять раз больше уважать начинают".

"Нет, ты, брат, скажи, зачем ты не арестован, коли ты держишь знамя демократического социализма? Ты скажи, какие боги тебе покровительствуют?" — снова начинают смутно гудеть в голове Ардальона все эти давешние возгласы.

..."И в самом деле, отличная штука!" размышляет он далее. "То есть вот как: если заберут меня завтра или послезавтра, то отчеты, главное дело, сейчас же фю-фю!.. А потом как выпустят, так этих дурацких отчетов уж никто с меня не потребует... Го-го! Поглядел бы я тогда, кто это осмелится!.. Нет, братцы, шалишь! Тогда все вы, сколько вас ни есть, опять и знакомством моим, и дружбой гордиться станете... Уважать меня станете, подлизываться ко мне... Ну, Иудей! Что взял?!. Сел на мое место? а? Нет, брат, тогда уж и духом твоим в нашей коммуне не попахнет!.. Выживу!.. Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, отменная штука!.. Вот фортель-то!.. Ну, брат, Ардальон Михайлович, крепись! Шевели мозгами, пошевеливай!.."

..."И для чего бы, в самом деле, не быть мне арестованным?.. Это даже для приличия, так сказать, для конвенансу, для поддержки собственного достоинства следовало бы. Ведь я все ж таки — черт возьми! — известного рода общественное положение имею... Как поглядишь, все более или менее порядочные люди, то есть почти все арестованы, а я нет!.. Гм... Это даже и стыдно, и обидно отчасти. Что же, разве я уже так ничтожен, что и ареста не стою?.. И ведь каждый мозгляк Анцыфров, каждая дура Лидинька после этого вправе будут подумать про меня, что я сущая ничтожность... И точно: какой же я серьезный деятель, если гуляю себе на свободе, когда даже Лука Благоприобретов арестован!.."

..."И не понимаю просто, чего эти жандармы ждут?!. Чего они медлят-то?.. Просто, делом своим не занимаются, как следует. У нас ведь и все так! все спустя рукава!.."

..."Ах, ты Господи! Если бы надоумило их явиться и забрать меня хоть сию минуту!"

..."Ну что ж, подержат да и выпустят. Какие улики? где факты? — Нигде и никаких!.. В чем виноват? — Ни в чем решительно. Все чисто!.. Стало быть, тут мне и опасаться нечего... И всеконечно так, что подержат да и выпустят... Но только как же бы это сделать, чтобы быть арестованным?" — задал себе Ардальон новый и последний вопрос самого серьезного свойства, и снова сосредоточенно зашагал по комнате.

Через полчаса, он тихо и спокойно уже подошел к своему столу, достал лист бумаги, погнул на ногте стальное перо и тщательно обмакнул его в чернила.

X. Дождались

Прошел день — Полояров не говорил ни с кем из членов коммуны или, лучше сказать, с ним говорить не хотели. В этот день он только утром часа на два уходил из дому, а потом все сидел запершись. На следующий день наступил крайний срок, назначенный ему для представления отчетов. Ардальон Михайлович сказался больным, все время лежал под своей чуйкой и довольно смиренно просил у Малгоржана передать членам, что и сегодня он не может по болезни представить им отчеты, и потому покорнейше просит иметь к нему маленькое сострадание, ради болезни, и отсрочить еще на некоторое время.

Члены согласились, и Моисей Фрумкин почти торжествовал: в этом отлыниваньи Полоярова и в его намного пониженном, смиренном тоне он провидел уже зорю своей победы.

Но вдруг…

В этот же самый день, но уже ночью, часу в третьем, когда вся коммуна покоилась глубоким сном, в прихожей раздался звонок…

Раз… другой… третий…

Боже мой, что ж это значит?!. Вся коммуна переполошилась.

— Анцыфров!.. вы слышите?

— Слышу… Но что это такое?

— А вет узнаем. Ступайте отворите!

— Нет, уж увольте-с!.. Встаньте вы, Малгоржан… вам ближе.

— Да я сплю… Не заставляйте же дожидаться!

— Но у меня туфлей нет…

— У меня возьмите!

Но в это время в коридоре зашлепали тяжелые шаги Полоярова и вскоре послышался звук отмыкаемой двери.

— Господин Полояров дома? — спросил чей-то чужой, незнакомый голос.

— Дома. Я Полояров.

По коридору раздались шаги нескольких людей, сопровождаемые звяканьем шпор и легким лязгом сабель.

Малгоржан высунул нос в щель своей полупритворенной двери. Из противоположной щели выглядывал нос Анцыфрова. В третьей двери белелась ночная кофта Лидиньки, и только из комнаты князя раздавался далеко не аристократический и никакими звонками не возмутимый храп юного Мецената.

Наехавшие люди скрылись за дверью полояровской комнаты.

— Полиция… жандармы… — жутко и испуганно прошептал Малгоржану плюгавенький, словно

бы делаясь еще меньше и еще плюгавее от страху.

— Дождались! — со вздохом, тихо воскликнул восточный человек, и стал одеваться.

В коммуне шел горячий обыск. Обыскивали бумаги и у Малгоржана, и у Лидиньки, и у всех остальных, но тщательнее всего обыскивали у Полоярова.

Ардальон во все время обыска был невозмутимо спокоен, в совершенную противоположность прочим своим сожителям, которые праздновали-таки трусу не малую.

Но вдруг он словно вспомнил про что-то и побледнел, тяжело проведя по лицу рукою.

"Какая злая ирония судьбы! Какая коварная насмешка слепого случая!.. И как было не подумать раньше! Как было не предусмотреть, не уничтожить?.. Совсем даже из головы вон, при этих всех передрягах!.. Эдакая непростительная, необъяснимая рассеянность!.. Эдакое разгильдяйство!.. А все эти дьяволы Фрумкины!.. Вот что значит всецело увлечься одной стороной дела! — Кажись ведь уж как и думал-то! и все обдумал, и все передумал, а это и упустил... не додумался! Словно бы, как нарочно... И ведь пустяк-то какой!.. Господи! что ж теперь будет?!!"

Полояров нечаянно спохватился, что в боковом кармане его пальто осталось письмо за подписью Герцена, которое он, потерпев фиаско, впопыхах сунул туда да и позабыл куда именно сунул. И как это так?! — Словно затмение какое нашло. Вот уж именно враг-то где попутал.

Все еще не доверяя себе и своей памяти, он, совсем одевшись уже, для пущего удостоверения, запустил руку в боковой карман и пощупал там. — Так и есть!.. лежит... лежит, проклятое!..

"И как это право!" недоумевает Полояров. "Еще третьего дня вечером, перебираючи бумаги, мне ведь казалось, что я его сжег вместе с прочим лишним хламом... Вот оно, что значит делать дела в таком ненормальном, возбужденном состоянии духа!.. Теперь пиши: пропало!..

"Надо бы как-нибудь поосторожнее вынуть его оттуда и уничтожить, лишь бы только не заметили", домекнулся Ардальон Михайлович и, улучив минутку, по-видимому, самую удобную, запустил руку в карман и сжал в кулак скомканное письмо, с намерением при первой возможности бросить его куда-нибудь в сторону, когда станут уходить из квартиры или садиться в карету.

Однако это движение руки было далеко не своевременно, что служило явным доказательством новой ненормальности душевного состояния, которое весьма естественно овладело Ардальоном, чуть лишь он вспомнил про герценовское письмо. Он плохо сообразил, хотя расчет и казался верным.

Это роковое и уже вторичное движение руки в боковой карман, несмотря на то, что, по мнению Ардальона, минутка казалась очень для того удобною — не укрылось-таки от зоркого и староопытного глаза одного из господ полицейских.

— Потрудитесь вынуть вашу руку! — очень деликатно даже не без некоторой нежности предложил он Полоярову.

— Это зачем же-с? — глухо пробурчал тот.

— Так. Я вас прошу сделать это в личное мне одолжение.

Ардальон оставил в кармане скомканное письмо и, вынув руку, показал ее растопыренной ладонью вежливому офицеру, как бы для вящего доказательства, что в руке у него ровно ничего не находится.

Это, по-видимому, ничего не значащее и самое естественное движение показалось опытному доке весьма подозрительным: оно навело его на пущее подозрение, что в боковом кармане Полоярова должно быть что-то не ладно…

— Вы, конечно, будете столь обязательны и не откажетесь вынуть то, что лежит у вас в этом кармане? — еще мягче, слаще и любезнее предложил он своему "субъекту".

— У меня там… ничего нет, — запнулся слегка Полояров.

— Однако?

— Ей-Богу, ничего!

— Тем лучше-с. Но тогда вы, для большего убеждения, конечно, не откажетесь выворотить и показать нам этот кармашек?

— Да разве вы мне не доверяете?

— О нет!.. Помилуйте, как это вы можете думать!.. Но… знаете ли — что делать! уж это наша обязанность такая… наш долг, так сказать…

Полояров ни кармана не выворачивал, ни довода никакого не представлял, а стоял себе без движения, словно бы и не понимая, чего хочется офицеру.

— Уж вы меня извините, если так! — с полупоклоном любезно пожал офицер плечами. — Я, конечно, со всей моей деликатностью… но… я прикажу унтер-офицеру обеспокоить вас маленьким обыском… Что делать-с!.. Бога ради, извините… Эй! Изотов!

Полояров увидел ясно, что влопался теперь окончательно и, скрепя сокрушенное сердце, отдал роковое письмо.

Офицер очень деликатно, действуя более большим и указательными пальцами рук, развернул и тщательно расправил скомканную бумажку и все с той же мягкой, приятной улыбочкой посмотрел на заголовок послания и на подпись.

— А!.. Герцен!.- с видом какого-то почтительного благоговения, почти шепотом произнес он, рассматривая подпись; полюбовался ею, дал полюбоваться и другим своим сотоварищам и рачительно присоединил письмо к прочим бумагам.

— А замечательный человек-с! — добродушно и даже с маслицем в улыбающемся взоре обратился он к Полоярову, таким посторонним, совсем неофициальным тоном, как будто вел самую приятную, задушевную беседу. — Да-с, истинно замечательный человек!.. Какой талант! И ведь сколько бы пользы мог принести отечеству! Конечно, есть некоторые крайности, увлечения, но… Бойкое перо! бойкое! Мне в особенности, знаете, стиль его нравится. Прекрасный стиль!

Полояров стоял и только хлопал глазами.

Обыск в коммуне был наконец окончен. Бумаги всех сожителей — каждая пачка отдельно —

были перевязаны бечевками и запечатаны.

Поклонник герценовского стиля очень любезно извинился перед всеми членами коммуны, что по долгу службы нашелся в необходимости обеспокоить их в такую позднюю пору, и еще любезнее предложил Полоярову одеть чуйку и следовать по назначению вместе с обыскной комиссией.

Вскоре после этого они отправились.

По уходе их, и Фрумкин, и князь, и Лидинька с Анцыфровым, словно сконфуженные, стояли посередине залы, и не говоря ни слова, только поглядывали друг на друга.

— Н-ну, дождались! — протянул, наконец, Малгоржан, разводя руками.

— Дождались! — в ответ ему повторил про себя каждый из членов.

Нельзя сказать, чтоб остаток ночи провели они спокойно.

XI. Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось порядочным людям

Дня три спустя после этого ареста, Андрей Павлович Устинов получил через полицию приглашение пожаловать в назначенный час в одно очень важное административное ведомство. Недоумевая, что бы могло значить и предвещать это краткое официальное приглашение, он дал подписку в том, что требование будет исполнено, а к назначенному времени облекся во фрак и отправился куда требовалось.

Его провели в особую комнату какой-то особой канцелярии или экспедиции, где некоторый весьма благонамеренно-внушительной наружности чиновник с либеральными бакенбардами, очень любезно предложил ему занять кресло у заваленного бумагами стола, за которым сам занимался. Кроме этого чиновника здесь никого больше не было.

— Извините, что мы вас обеспокоили, — начал он, — но видите ли, нам надо получить от вас некоторые необходимые объяснения по поводу вашего доноса.

Устинову показалось, что он либо не понял, либо ослышался.

— Как вы изволили сказать? — внимательно подал он вперед свою голову, наставляя ухо.

— Некоторые дополнительные сведения и объяснения по поводу доноса, — вразумительнее повторили благонамеренно-либеральные бакенбарды.

— То есть… какого доноса?.. стараясь вникнуть в суть, ещс более подался вперед учитель. — Извините, я, может, не совсем точно понимаю… Разве на меня донос кем-либо сделан?

— О, нет! — улыбнулся чиновник. — Но нам нужны от вас объяснения по поводу вашего собственного доноса.

— Доноса?!. Моего?!.- в крайнем изумлении откинулся Устинов на спинку кресла. — Извините-с, тут должно быть какоенибудь недоразумение… Я ни на кого никаких доносов не делал!

Теперь уже чиновник в свой черед внимательно и недоумело поглядел на Устинова.

— Но как же это однако?.. Позвольте…

И он вытащил из кипы бумаг какую-то записку и сверился с нею.

— Вы ведь господин Устинов?

— Да, я Устинов.

— Ваше имя Андрей Павлович?

— Да, это мое имя.

— Вы бывший учитель Славнобубенской гимназии?

— Совершенно верно.

— Ну, так вы это и есть. Ошибки быть не может. Вы Ардальона Полоярова знаете?

— Полоярова?

— Знаю.

— Вы знакомы с ним?

— Был когда-то, но теперь раззнакомился.

— По каким причинам?

Устинов пожал плечами. "Зачем ему от меня все это нужно знать?" — подумалось ему.

— Да без всяких особенных причин, — объяснил он, — просто потому, что не люблю глупых знакомств.

— Но… как же донос-то?

— Какой донос, наконец? — уже не без прорывавшейся досады возразил Устинов.

Чиновник снова поглядел на него внимательно.

— У нас получен донос на Полоярова, подписанный вашим именем.

— Это мистификация! — воскликнул Устинов. — Но… позвольте, однако, взглянуть на него… Это очень любопытно. И притом крайне меня удивляет! Кому бы могла прийти мысль и с какою целью писать доносы от моего имени?

Чиновник порылся у себя на столе и подал Устинову бумагу.

Тот стал читать:

"Сим имею честь, по долгу верноподданнической присяги и по внушению гражданского моего чувства, почтительнейше известить, что вольнопроживающий в городе Санкт-Петербурге (следует адрес) *нигилист* Ардальон Михайлов Полояров имеет весьма зловредное влияние на некоторых лиц, проживающих в одной с ним квартире. Вышепомянутый нигилист Полояров ведет деятельную пропаганду идей и действий, вредящих началам доброй нравственности и Святой Религии, подрывающих священный авторитет Закона и Высшей Власти, стремящихся к

ниспровержению существующего порядка и наносящих ущерб целости Государства. Фактические доказательства его злонамеренности, заключающиеся в его бумагах, сочинениях, корреспонденции и в хранящихся у него брошюрах и книгах могут быть почерпнуты посредством немедленно произведенного обыска в занимаемой им квартире. Он же сильно прикосновенен к делу уволенного из духовного сословия Луки Благоприобретова, о чем долгом поставляю довести до сведения надлежащей власти.

Бывший учитель Славнобубенской гимназии **Андрей Павлов Устинов**".

Маленький математик прочел все это и в величайшем недоумении только пожал плечами.

— Невероятная мистификация!.. Чья-то очень глупая и очень злая шутка, не более! — проговорил он. — И насколько я знаю Полоярова, — это просто дурак; пожалуй, пустой болтун, каких теперь тысячи щеголяют по белому свету, но что касается до каких-либо действий и идей, то у него ровно никаких идей в голове не имеется, и полагаю, что каждый мало-мальски серьезный заговорщик постыдился бы назвать его своим сотоварищем.

— Это ваше убеждение? — пытливо спросил чиновник.

— Да, это мое искреннее убеждение, основанное на достаточном знании господина Полоярова.

— Мы по этому-то поводу и пригласили вас, — пояснил чиновник, — потому что, видите ли, при самом тщательном обыске ни у кого во всей этой квартире не оказалось ровно ничего подозрительного... бумаги, письма — все это самое пустячное! К делу Благоприобретова, которое теперь выяснилось для нас всестороннее и как нельзя полнее, этот Полояров ровно никакого отношения не имеет. Но вот, нашлось тут у него одно письмо за подписью Герцена; мы его сверяли с несколькими подлинными письмами Герцена, но в почерке и тени нет сходства! Напротив, этот почерк, очевидно измененный нарочно, очень походит на почерк самого доноса. И притом конверт — мы знаем лондонские конверты — этот не похож нимало, а просто слишком знакомая всем наша домодельная, гостинодворская работа. Это видно сразу, и оно-то еще более наводит на мысль, что письмо не из Лондона, а вероятно все таже проделка.

— В таком случае, — заметил Устинов, — я еще более прихожу к убеждению, что все это — дело чьей-то гнусной шутки, жертвою которой сделаны Полояров и мое имя.

Чиновник, как бы соображая и обдумывая что-то, запустил руки в свои либеральные бакенбарды и плавно стал пропускать их между пальцами.

— Это, во всяком случае, требует разъяснения, — медленно процедил он сквозь зубы и обратился к Устинову. — Вы не откажетесь, конечно, в видах собственного своего интереса, разъяснить, насколько возможно, это дело?

— Дело слишком близко и чувствительно касается моего имени, — подтвердил Андрей Павлович. — Но как же мне разъяснить его, если я сам пока еще ровно ничего тут не понимаю?

— Не знаете ли вы, например... не вспомните ли, может, есть кто-нибудь, кто питает и к вам, и к Полоярову личную вражду, ненависть?

— И ко мне, и к Полоярову вместе? Нет, таких решительно не знаю.

— А ваши личные отношения к нему, в настоящее время, какого свойства? Совершенно равнодушные?

— Мм… То есть, как вам сказать?..

— Я к тому вас спрашиваю об этом, — пояснил чиновник, с грациозным достоинством поправляя положение своего шейного ордена на белой сорочке, — что, может быть, тот, кто сыграл с вами эту шутку, имел в виду, конечно, обставить ее так, чтобы все дело не противоречило вашим личным, действительным отношениям к Полоярову; потому что странно же предположить, чтобы такая проделка была сделана от имени совсем постороннего, незнакомого человека. Вероятно, тот, кто подписал здесь ваше имя, рассчитывал на какую-нибудь особенность ваших личных отношений к этому господину, и вот почему именно я спрашиваю вас, какого свойства ваши отношения: равнодушные или враждебные?

— Мм… Враждебные — это уже было бы чересчур много в отношении такого господина, как Полояров, но конечно, отношения эти уже никак не могут назваться дружелюбными.

— Стало быть, скорее приближаются к враждебным?

— Да; пожалуй.

— Не на них ли тут и рассчитывалось?

— Не знаю; может быть.

Чиновник снова запустил пальцы в бакенбарды и снова сообразительно подумал о чем-то.

— Как вы полагаете, — совещательно обратился он к Устинову, — не помогло ли бы отчасти разъяснению ваше, например, личное свидание с Полояровым? Может быть, переговорив с ним, мы бы все вместе напали на какие-нибудь нити? — Как знать? ум хорошо, а два лучше, говорит пословица.

— Мне все равно; я не прочь, пожалуй, — согласился Устинов.

— В таком случае, я бы просил вас на некоторое время удалиться в ту комнату… Это будет недолго; а когда понадобится, я попрошу вас опять. Вы там найдете газеты и журналы, если угодно.

Андрей Павлович удалился, а чиновник сделал распоряжение, чтобы привели арестанта Полоярова.

Через несколько минут Ардальон предстал пред благонамеренно-либеральные бакенбарды солидного чиновника, и ему, точно так же как и Устинову, любезно было предложено то же самое кресло.

Полояров совершенно спокойно, и даже не без некоторой рисовки своим положением, занял указанное ему место.

— Вы знаете, что донос на вас сделан некоим учителем Устиновым? — помолчав немного, внезапно спросил чиновник арестанта.

— Да! — вполне утвердительно кивнул головой Полояров.

Это «да» и такая уверенная положительность жеста и тона, какими оно сопровождалось, показались чиновнику очень странными.

— Да; это так, — подтвердил и он ему в свою очередь. — Но вы-то почему это знаете?

Последний вопрос был сопровождаем самой благосклонной улыбкой.

— То есть, я так догадываюсь, — поправился Полояров, — потому что кому же больше?

— О?.. Так значит, у этого господина есть какие-нибудь особые поводы на это?

— Непременно так, — подтвердил Ардальон; — потому что он рад бы меня в ложке воды утопить, и притом же он еще в Славнобубенске, как слышно было, любил заниматься доносами, — ну, так это ему с руки более чем кому-либо!

— Стало быть, вы полагаете, что это сделано из личной вражды к вам?

— Не иначе-с! Чтобы наделать мне лишних неприятностей, выставить в невыгодном свете пред правительством. Что же касается меня, — с видом благородного достоинства прибавил Полояров, — я знаю только одно, что я невинен и оклеветан напрасно.

— А письмо от Герцена? — улыбнулся чиновник.

— Что же-с?.. Я ничем не заслужил таких похвал!.. Я и дел-то с ним никогда никаких не имел и даже, по моему крайнему убеждению, считаю его просто выдохшимся болтуном, который даже и вредить-то не может! А мне это письмо принес какой-то неизвестный в тот самый вечер, как меня арестовали. Вся беда моя только в том, что я не успел его уничтожить… Я не придал ему ровно никакого значения и посмеялся над ним, просто как над глупостью. Но теперь я вижу ясно, что и оно должно быть тоже устиновской работы, чтобы вернее погубить меня… Но Бог с ним, с этим милым барином! — великодушно махнул Ардальон рукою и даже вздохнул при этом: — злом за зло платить не хочу и не желаю ему ничего дурного… Бог с ним! Справедливый закон, без сомнения, увидит мою правоту и невинность, и тогда, если я буду освобожден, я не стану его преследовать и буду даже тогда просить его сиятельство оставить и забыть все это дело… Пусть же лучше его накажет собственная совесть!

— Это конечно! Наказание Божеское сильней человеческого, — с чувством согласился чиновник и позвонил.

Вошел унтер-офицер.

— Там ждет меня в этой комнате один господин… Скажи ему, что он может войти.

— Слушаю-с.

— Прикажете мне удалиться? — приподнялся Полояров.

— Сию минуту-с! — безразлично и вскользь кивнул ему чиновник, наклонившись над кипою своих бумаг и будто отыскивая в них что-то.

Растворилась дверь и вошел Устинов.

Ардальон вздрогнул, вскочил с места, отшатнулся назад и побледнел мгновенно.

Он мог бы ожидать чего хотите, но только никак не этого появления в настоящую минуту.

Величайшее смущение покрыло собою всю его фигуру.

Эта внезапность в один миг сделала то, что он вконец растерялся и никак не мог ни овладеть собою ни собрать своих мыслей.

— Господин Полояров решительно утверждает, что этот донос написали вы по личной к нему ненависти, — обратился чиновник к Устинову. — Господин Полояров даже весьма странным образом изумил меня, сказав сразу самым решительным тоном, что это не кто иной и быть не может, как только вы, господин Устинов.

Краска негодования выступила на лице учителя.

— Господин Полояров лжет, — с твердостью проговорил он, глядя в упор в смущенное, перепуганное лицо Ардальо-на. — Соберите все мои письма, записки, рукописи, созовите экспертов и они вам подтвердят, что это наглая ложь! Вот, кстати, со мною как раз есть одно мое письмо, я не успел забросить его в почтовый ящик, — продолжал Андрей Павлович, вынув из бокового кармана и сламывая печать. — Вот оно! Сличите сейчас мою руку, мою подпись... Подписывая донос своим именем, я, конечно, не имел бы ни малейшей надобности изменять свой почерк. Позвольте же теперь, господин Полояров, узнать цель, с которою вы это утверждаете?!

— А заодно уж, — домекнулся чиновник, — мы сличим и почерк господина Полоярова да и его друзей, — здесь, кстати, довольно есть разных писем, — авось до чего и доберемся! Сходство некоторых отдельных букв, как там ни изменяй, а все-таки узнаешь! У нас ведь есть на это и опытные эксперты под рукою!

Он позвонил. Явился унтер-офицер, которому было приказано позвать какого-то Карла Иваныча.

Вошел Карл Иванович — благоприлично-благонамеренной наружности чиновник, щупленысий, сивенький, лет около пятидесяти, с орденом в петлице.

— Вот, Карл Иваныч, потрудитесь, пожалуйста, сейчас же сличить почерки этих рук, — обратился к нему обладатель либеральных бакенбард, подавая донос, герценовское письмо, письмо Устинова и один листок из рукописи Полоярова.

Карл Иванович, не торопясь протер свои толстые золотые очки, методически оседлал ими востренький носик и сосредоточенно погрузился в рассмотрение предложенных ему бумаг.

— Это совсем посторонняя рука, — сказал он наконец, откладывая в сторону письмо Андрея Павловича. — А это и это похоже... очень похоже, — объявил он через несколько времени, указывая либеральным бакенбардам на донос и письмо от Герцена. — Все эти три бумаги писаны одною рукою, компетентно порешил он, наконец, сличив их с рукописью Полоярова, — в этом нет сомнения, потому что, глядите сами, характер отдельных букв — вот, например: р, б, ж, д, к, т, в, — во всех трех бумагах точен и одинаков до поразительности. В них изменен только наклон почерка, но характер руки — все один и тот же. Я ведь уже двадцать лет этим делом занимаюсь, слава Богу, зубы съесть успел на нем! — Это одна рука писала, — повторил он еще раз тоном непоколебимого убеждения.

Ардальон почувствовал себя, в некотором роде, взятым за горло и крепко притиснутым в угол к стене. Все сорвалось, все лопнуло и все уже кончено!.. Где доводы? Где оправдания? Что тут выдумаешь?.. Ни одной мысли порядочной нет в голове! Логика, находчивость — все это сбилось, спуталось и полетело к черту! Пропал человек, ни за грош пропал!.. Все потеряно, кроме... да нет, даже и "*кроме*" потеряно!

— Простите!.. Пощадите!.. Виноват... один... один кругом виноват! — глухо пробормотал он дрожащими, посинелыми губами, с бесконечно жалким, глубоко-растерянным и перетрусившим видом приближаясь к столу чиновника.

— В чем-с прикажете простить вас и в чем вы один виноваты? — методически размеренно, пунктуально, со спокойно-ледяной улыбкой спросил чиновник, привстав с места и эластически упираясь на стол сжатыми пальцами.

В голове Полоярова точно колесило что-то, в ушах тонко звенело и в глазах рябило какими-то плавающими сверху вниз водянистыми мушками. Он смутно и бессмысленно видел только сверкание дорогого перстня на упертом в стол указательном пальце своего неприступно и морозно-вежливого допросчика.

— Итак, спрашиваю вас еще раз: в чем прикажете простить вас и в чем вы один виноваты-с?

— Я… я… этот донос… я сам на себя написал его.

Устинов, широко раскрыв и рот, и глаза, даже отшатнулся назад от изумления: столь неожиданно и нелепо было это признание! Логика его просто отказывалась понять такое дикое, ни с чем не сообразное действие.

— Донос на самого себя!

— А письмо Герцена к вашей особе? — металлически звучал между тем спокойный, ничем не возмутимый голос допросчика.

— Тоже сам написал… — сконфуженным шепотом пробормотал Полояров, не зная куда деваться от двух с разных сторон устремленных на него взглядов.

— С какою целью вы это делали? — допрашивал чиновник.

— По глупости-с… Виноват… Пощадите… Пощадите!.. Я круглый сирота… Ни отца, ни матери!..

И он начал тяжело всхлипывать. Лицо его искривилось, нижняя губа конвульсивно задергалась, и в глазах показались непритворные, настоящие слезы…

Действительно, он был очень жалок в эту минуту.

— Сядьте… успокойтесь, придите в себя! — вдруг предупредительно и мягко заговорил чиновник, наливая ему в стакан воды из граненого графина. — Выпейте воды… несколько глотков — это вас облегчит… Успокойтесь же, успокойтесь!..

Полояров почти повалился в подставленное ему кресло, трясущеюся рукою взял от чиновника стакан и жадно вытянул из него всю воду. Всхлипыванья стали меньше. Через несколько минут он сделался гораздо спокойнее, но все-таки в величайшем смущении чувствовал, что глаз поднять не может ни на своего столь внимательного допросчика, ни на глубоко пораженного Устинова, и особенно на Устинова.

— Ну, скажите же мне теперь откровенно: что вас побудило писать на самого себя доносы? — уже мягко и участливо приступил чиновник к новому допрашиванью.

— Хотел быть арестованным, — тихо проговорил Полояров.

— Но что за цель?!. Кому же приятно быть арестованным? — пожал плечами допросчик.

— Так…

— Как "так!" — Этого же быть не может!.. И я уверен, что, сознавшись в главном, вы не захотите скрыть и причин. Ведь были же причины?!

— Это все Фрумкин, — говорил, Ардальон, все так же со смущенно потупленными глазами. — Фрумкин вот, да еще Малгоржан-Казаладзе… да Затц…

— Ну, да, это все ваши сожители. Так что же этот Фрумкин и прочие?

— Это все они-с… Они стали ко мне приставать, что, мол, все честные и порядочные люди арестованы и сидят, а я один хожу на свободе, один не арестован… Они все приставали и смеялись надо мною… Мне это обидно сделалось…

— Ну, и что же?

— Я и написал. Они говорили, что могут только тех уважать, кто арестован… а меня всякого уважения лишили… Мне же это обидно и больно было…

— А вы очень разве дорожите их уважением? — улыбнулся чиновник.

— Да как же-с… вместе живем ведь…

— Ну, а письмо к самому себе написали?

— Письмо-с…

Полояров запнулся и растерянно поглядел вокруг себя опущенными глазами.

— Письмо-с… Это так.

— Ну, вот! Опять у вас это "так".

— Да это все поэтому же… Они меня ругали… все равно как за дрянь какую почитали… даже ругать стали мерзавцем…

— А вы и написали письмо, чтобы разубедить их?

— Да-с… потому они сейчас уважать начинают… Впрочем, я все это так больше… по молодости и опрометчивости…

— Ну, какая же у вас молодость, однако! — улыбнулся чиновник. — Вы, конечно, не старик, но уже и не юноша…

— По опрометчивости-с… Я, признаться сказать… я в ненормальном состоянии все эти дни находился.

Счастливая мысль блеснула в голове Полоярова. Эта мысль была первым проблеском возвращавшегося самообладания, и он за нее ухватился.

— Что вы называете ненормальным состоянием? — спросил чиновник.

— Пьян был-с… Так как мне это все очень было горько и обидно, что они меня так обзывают, то я с горя-с… Все эти дни вот… И в этом состоянии мне пришла мысль написать письмо и донос… Я думал, пусть же лучше мне пропадать, чем терпеть все это!

— Но для чего же вы подписывали донос именем господина Устинова?

— Надо же было как-нибудь подписать. Это я помнил, что безымянный донос силы не имеет, — я и подписал…

— Но почему же непременно именем господина Устинова, а не другим?

— Так это… Еще в Славнобубенске слышно было, будто они занимаются доносами… Я это вспомнил себе и подписал… Потому тоже, что никакого другого имени не вспомнил себе в ту пору… Я тогда никак не предполагал, чтобы это все могло так обернуться, как теперь вдруг обернулось.

— То есть, вы рассчитывали, что мы не станем разыскивать господина Устинова и не потревожим его, чтобы удостовериться?

— Да, я рассчитывал…

— Ну, надо отдать справедливость, вы рассчитывали на нашу очень… очень большую наивность.

— Пьян был-с, — вздохнул Полояров. — Это спьяну все.

— Однако, нельзя сказать, чтобы донос был написан пьяною рукою, — заметил чиновник, рассматривая бумагу.

— Ей-Богу, пьян был-с!.. Богом клянусь!.. Рука у меня, впрочем, всегда очень твердая.

— Ну, может быть. А вот в письме к самому себе вы пишете, что вы — один из немногих, которые высоко держат знамя демократического социализма в России. Вы, значит, сочувствуете этим убеждениям?

— Ей-Богу, нет! Видит Бог — нисколько!.. Честное слово! — оторопело и торопливо стал отнекиваться и заверять Полояров, ударяя себя в грудь рукою, но все еще избегая взглядов на Устинова. — Помилуйте, я даже сам занимал некогда должность в полицейской администрации. Могу ли я! А что я точно, всей душой сочувствую прогрессу, который нам указан самим правительством; но чтобы сочувствовать *этому* — Боже меня избави!.. Я, напротив, спорил с ними всегда, и они меня за то мерзавцем стали обзывать… Это они вот сочувствуют… Они все сочувствуют! Это поверьте!

— Кто это они? — спросил пунктуальный чиновник.

— Они-с… То есть Фрумкин вот, в особенности… Малгоржан, Анцыфров, князь Сапово-Неплохово, госпожа Затц, Благоприобретов… — пояснил Полояров, стараясь припомнить еще несколько имен своих знакомых.

— Но в таком случае, если вы так расходитесь с этими господами в убеждениях, то для чего же вам понадобилось писать к себе письмо подобного рода?

— Они же меня ругали, я вам докладываю! — с жалкой миной, развел руками Полояров.

— Ну так вам-то что?.. Вы бы плюнули на их брань, и только!

— Мне это очень, говорю, обидно было… Они притом же про меня даже печатать хотели… Мою гражданскую и литературную репутацию замарать, чтобы никуда моих статей не принимали, а

я человек бедный… я только моим честным трудом живу… Мне и есть после этого нечего было бы!

— Ну, стали бы работать в других редакциях.

— Помилуйте-с, это невозможно.

— Отчего же невозможно?

— Да как же-с… Они ведь противного лагеря… У них направление совсем другое… и в убеждениях мы расходимся.

— Да ведь вы же расходитесь в убеждениях с вашими сожителями?

— Это так, да все же… С другими-то я не знаком… и кланяться не люблю.

— Ну, наконец, если вы сочувствуете правительственному прогрессу и либерализму, работали бы в официальных газетах, в "Северной Почте", например.

— Да что ж, я пожалуй… Я не прочь бы… Если бы это можно было устроить — я готов, с своей стороны!.. Почему же?..

Устинову стало уж очень противно слушать все это. Он взялся за шляпу и обратился к чиновнику:

— Могу я теперь удалиться, так как дело, полагаю вполне уже разъяснилось?

— Pardon!..[97] Сию минуту-с!.. — с предупредительной любезностью и даже не без известной грации полуобернулся тот к учителю и снова заговорил с Полояровым. — Очень жаль мне вас, господин Полояров, но все-таки должен я вам сказать, что в результате всего этого дела, вы сами приготовили себе весьма печальные последствия.

Выражение испуга и тревоги опять отразилось в смущенном лице Ардальона.

— Вы дозволили себе подписаться под доносом именем другого, — продолжал чиновник, — а вы знаете, как это называется и к какого рода преступлениям относится ваш поступок?

— Простите!.. Я прошу милости… Снисхождения прошу, — забормотал Ардальон с какою-то мятущеюся тоскою в испуганных взорах. — Спьяну… по глупости-с… Если возможно, я готов чем угодно искупить мою вину… Все что знаю, все что мне только известно, я могу — как перед Богом — без утайки… с полной откровенностью… Я раскаиваюсь… Простите, Бога ради!..

Полояров готов уже был начать плести и впутывать всех своих знакомых, всех кого знает, всех про кого мог только вспомнить что-либо, даже всех тех кого и не знал лично, но про кого слышал что-нибудь такое подходящее, или даже и не подходящее ни к селу, ни к городу. В случае же надобности, можно, пожалуй, и изобрести нечто, основываясь на более или менее вероятных догадках и предположениях. — Словом, все что можешь — все плети и путай в дело: и нужное, и не нужное, лишь бы самому как-нибудь вынырнуть. Бодрость окончательно покинула его. Этот арест и все это дело, казавшиеся такими пустяками на свободе, стали теперь страшно пугать его, в особенности после того, как это приняло такой неожиданный оборот и как пришлось отведать на опыте что такое значит арест известного рода. Полоярову стали теперь мерещиться разные страхи: и казематы, и серые куртки, и ссылки, и всякие

мытарства.

Более струсить и пасть духом было уже невозможно. В эту минуту все эти чувства дошли в нем даже до какого-то лихорадочного, щекотного ощущения заячьего страха.

— Простите!.. Простите *вы* меня! — растерянно обратился он к Устинову, ловя его руки. — Не сделайте меня несчастным!.. Умоляю вас!

— Если тут может иметь на сколько-нибудь значения мой голос, — обратился Андрей Павлович к чиновнику, — то я покорнейше прошу оставить это дело без последствий. Я не желаю преследовать господина Полоярова.

— Вам, конечно, прежде всего принадлежит право преследования, — заметил чиновник.

— Если только мне, то я отказываюсь от этого права.

Устиновым овладело такое чувство презрения и гадливости и вместе с тем сожаления к этому уничтоженному существу, которое стояло теперь перед ним, тщетно ловя его руки, что ему хотелось только вырваться поскорей отсюда на свежий воздух, на свет Божий. Это ужасное, жалкое, оскорбительное для всякого человеческого достоинства положение, в какое поставил себя Ардальон Михайлович Полояров, исключало уже возможность негодования на него. Оно исключало всякую возможность соприкосновения с ним, даже возможность преследования его путем закона. Можно было только плюнуть и постараться поскорее забыть, что бывают в жизни случаи, когда то, что называется человеком, может падать так низко.

Полоярова под конвоем унтер-офицера увели в его нумер. Устинов после этого поспешил откланяться.

XII. Добрая овца нашла своего доброго пастыря

Пан Анзельм рискнул и… женился. Все это произошло очень просто.

Однажды вечером, когда офицерский кабинет, он же и гостиная, и столовая, и зала, был таинственно освещен лампою под темным бумажным абажуром и, вместе с хозяином, казалось, представлял таинственное ожидание чего-то или кого-то, когда вдруг послышался в этом кабинете тихий шелест женского платья и то, что когда-то, во времена оны, называлось гармонией уст и созвучием поцелуев, — пан Бейгуш, среди страстных изъявлений своих восторженных чувств, объявил, что существование врознь друг от друга ужасно тяготит его, что долее так продолжаться не может, или иначе он пулю в лоб себе всадит. Вдовушка не на шутку испугалась этой пули. Затем Бейгуш изъяснил, что он настолько горячо ее любит и самая любовь его столь свята, велика, чиста и возвышенна, что он хотел бы не скрывать ее нигде и ни при ком, хотел бы гордиться ею пред целым светом. — Короче сказать, если вдовушка не хочет губить его, сделать навеки несчастным, то пусть вместе с сердцем возьмет и руку, пусть вместо любовника назовет его мужем.

Вдовушка, словно музыку какую, слушала весь этот сумбурный пыл офицерских признаний и восторгалась…

"Ах, как он меня любит! Боже мой, как он любит меня!" — восхищалась она в душе, упоенная этой музыкой и счастьем подобной любви.

"А ведь славно будет с таким бравым красивым муженьком, в таком щегольском мундире с бархатом, показаться в собрании, в опере, прогуляться под руку по Невскому!" — мечтала себе

Сусанна. "Он такая прелесть, я тоже не дурна: да на нас просто заглядываться будут!.. Лидька вся высохнет от зависти. Воображаю себе, как это она озлится!.. сейчас щучьи зубы свои выставит и вся позеленеет... Ах, ей-Богу, прелесть! Надо будет сделать себе новую бархатную шубку с соболями и соболью шапочку... Ах, это будет чудо как хорошо! Карточки визитные закажу себе: Сусанна Ивановна Бейгуш... Susanne de Beygouche... Ах, какая хорошая фамилия! Кто это такая хорошенькая дамочка? — Это? это madame Beygouche... Ах ей-Богу, какое счастие!"

А пан Анзельм меж тем у ног ее пламенно требовал согласия.

— Сусанна! радость моя!.. — шептал он, обнимая ее колени. — Если ты не согласишься быть моею и пред людьми, и пред Богом — клянусь тебе! — вот револьвер! я пущу в себя все шесть пуль разом!.. Клянусь тебе в том моею любовью! Все шесть пуль в эту голову!

"Ах, как он меня любит! Боже мой, как он любит меня!" — восхищалась простодушная вдовушка и, конечно, поспешила дать ему полное свое согласие: видеть его пронизанным всеми шестью пулями разом было бы так ужасно, так жестоко, — могла ль она не согласиться.

Бейгуш приказал ей молчать обо всем до дня свадьбы и особенно в коммуне хранить на этот счет самую строгую тайну. Она, на другой же день после его предложения, принесла ему все свои бумаги, необходимые при венчании, а поручик деятельно стал хлопотать у начальства "о разрешении вступления в первый законный брак". Начальство препятствий не встретило, и через три недели Сусанна Ивановна торжественно переменила фамилию Стекльщтром на Бейгуш, а к тому времени и визитные карточки, и шубка с соболями, и шапочка соболья были готовы, — словом все выходило точно так, как она о том мечтала.

Бейгуш подобрал четырех свидетелей: пана грабего, Свитку да двух своих товарищей-артиллеристов (пан грабя был даже его шафером), и таким образом, без торжественного шума, без лишних глаз, тихо и скромно повенчался в одной из домашних церквей. К этому времени у него была уже нанята и омеблирована маленькая, но не дурная, уютная квартирка, куда он тотчас же перевез жену свою. Счастливая и веселая Сусанна называла ее своим маленьким раем. На третий день после свадьбы она, под диктовку мужа, написала в коммуну известное уже письмо и тем покончила все отношения к бывшим своим сожителям.

XIII. Благородное слово на благородное дело

Прошел целый месяц — медовый месяц супружеской жизни Бейгуша. Сусанна блаженствовала: ее все называли теперь madame Beygouche; на визитных карточках, которые она поразвозила в несколько знакомых домов ее мужа, стояла даже красивая частица de; бархатная шубка с шапочкой необыкновенно шли ей к лицу; она ездит с мужем и в собрание, и в театр; некоторые действительно обращают маленькое внимание на красивую парочку, но счастливой, самообольщенной Сусанне это внимание кажется огромным и почти всеобщим, и она этим так довольна, так счастлива, а у себя дома еще довольней и счастливее: муж ее так любит, он так внимателен, так нежен, его ласки так горячи, так полны страсти... Сусанна окончательно привязалась к своему бравому мужу. За такое счастие, за такие ласки, добрая, мягкая душа ее стала способна для него на все, на всякий подвиг, на всякую жертву.

Между тем к концу первого месяца счастливый и столь облюбленный муж стал порою задумываться... Его начинала смущать именно эта, по-видимому, безграничная привязанность Сусанны. Ее крупные чувственные губы, ее животно-добрые, сладострастные глаза просили все больше и больше новых поцелуев, новых ласк, а ему все это успело уже поприсытиться. Он начинал чувствовать некоторую тягость и скуку, оставаясь продолжительное время наедине с

женою. Говорить с нею… но о чем говорить с нею? Она только добра, но увы! — не умна нимало!.. Говорить с нею не о чем, кроме как о поцелуях, о новой шляпке, о фасоне нового платья, о коммуне, о любви да о том, как была вчера в театре одета такая-то, или такая-то. Бейгушу это подчас становилось даже досадно, но он был терпелив, подавляя в себе злобное чувство и стараясь искусственно подогревать себя на новые нежности и ласки.

Как-то раз, находясь в неприятном расположении духа и в грустном раздумьи, по поводу этих самых причин, шел Бейгуш один по Невскому проспекту и нечаянно столкнулся с паном Слопчицьким. Пан грабя на сей раз был в авантаже, одет изящно и потому добр, весел и изобретателен на всякую остроумную штуку.

— А я только вчера из Варшавы, говорил он Бейгушу, фланерски ухватя его под руку и направляя праздные стопы свои в одну с ним сторону. — Ну, душа моя, дела наши идут пока отлично! Наязд сконфужен, потерял и руки, и голову, и нос опустил на квинту!.. Варшава теперь чудо что такое!.. Эдакая пестрота, движение, чамарки, кунтуши, конфедератки, буты, то есть просто душа радуется!.. Доброе времячко! Ну, а ты как?.. Что семейная сладость и прочее?.. а?

— Да что, брат, я тоже опустил нос на квинту! — с грустной досадой проговорил Бейгуш.

— Те, те, те!.. Что я слышу?! Медовый месяц не кончился, а он на квинту?.. Или жена не любит?

— То-то что чересчур уже влюбилась.

— Значит, тем лучше! А веревки вьешь из нее?

— И это, пожалуй, можно.

— Ну, так пять с плюсом тебе за поведение! В чем же дело? Или капиталов оказалось меньше, чем думал?

— Нет, на этот счет, слава Богу, не ошибся.

— Э, душа моя, так кричи vivat![98] Ей-Богу, просто позавидовать можно человеку: и любят-то его, и веревки-то он вьет, и в капиталах не разочаровался, и женка прелесть какая хорошенькая! Да ты, mon cher, просто привередничаешь после этого!

— Да, привередничаешь! — кисловато пробрюзжал Бейгуш. — Связал себя по рукам и по ногам, тогда как почти что равнодушен к женщине!

— Ну, стало быть, и того еще лучше! — подхватил пан грабя. — Если так, то тем легче можешь во всякое время сделать ей ручку и улыбнуться. Капиталы перевел уже на свое имя, или нет еще?

— То-то что нет.

— Э, брат, швах!.. За это тебе из поведения нуль! А еще хвалишься, что веревки вьешь! Чего же ты медлишь-то?

— Да как тебе сказать!.. Ужасно ведь неловко это… И как приступить?.. Ведь это ей покажется и странно, и подозрительно, если так "ни с бухты ни с барахты" ляпнешь ей: переведи, мол, все состояние на мое имя!.. А сама она еще не догадалась об этом… Надо как-нибудь исподволь,

поосторожней да половче, а тут, может, не сегодня завтра придется браться за дело, уходить в Литву. Вот тут и раздумывай над такою задачей.

— То есть, попросту сказать, ты либо деликатничаешь некстати, либо не умеешь взяться за дело, — порешил пан грабя. — И притом, я понимаю, душа моя!.. Я очень хорошо понимаю тебя! Тебе хотелось бы прежде всего остаться в ее глазах и вообще выйти из этого дела джентльменом. Не так ли?

Бейгуш молчал и шел потупясь.

— Ты молчишь, — продолжал, пытливо взглянув на него, Слопчицький, — ну, конечно так! Молчание есть знак согласия. А что ты мне скажешь, — вдруг полновесно и с торжествующей загадочностью заговорил он, — что скажешь ты мне, если бы например, я, твой приятель, помог тебе обделать всю эту историю так, что и деньги завтра же у тебя в кармане будут, и джентльменом ты перед женой останешься?.. Ну-те, пане капитане, отвечайте мне!

— Хм… Что ж отвечать на это! — полусоблазняясь, полунедоверчиво усмехнулся Бейгуш.

— Нет, брат, ты ответь!.. Я ведь говорю тебе серьезно, не на ветер! Только ты постой наперед! Так дела не делаются. А ты вот что: хочешь идти со мной на условие?

— На какое условие? — все с тою же усмешкой спросил поручик.

— Во-первых, обед у Дюсео с трюфелями и шампанским, — это прежде всего! Во-вторых, пять процентов со всего капитала, который хоть завтра же, при моей помощи, перейдет к тебе в руки.

— Да, но как перейдет — вопрос? — усомнился Бейгуш.

Пан грабя при этом поспешил даже, хотя приятельски, но благородно обидеться.

— Странное дело! — воскликнул он, оскорбленно подфыкивая. — "Как перейдет?" Неужели же ты можешь предполагать что-нибудь нечестное, неблаговидное!.. Хм!.. Ты, кажется, должен бы хорошо знать меня, что я, как дворянин и порядочный человек, не в состоянии предложить ничего неблагородного! Об этом даже и думать нелепо. Я полагаю, что и ты, и я — оба мы так поставлены в свете и по рождению, и по положению, и по образованию, что не можем сделать ничего такого, за что общественное мнение могло бы набросить на нас какую-нибудь тень. Если я тебе, как доброму приятелю, предлагаю помощь, то понятно, что в ней нет ничего компрометирующего. Я ведь только из участия к тебе же, а впрочем как хочешь.

— Ну, вот, ты уж и обиделся, кажись! — поспешил Бейгуш поправить свою неосторожность. — Зачем так странно принимать каждое слово! Я, напротив — я буду бесконечно тебе благодарен, если ты укажешь путь, чтоб она сама, добровольно, предложила мне деньги.

— А условие? — торгуясь, подмигнул пан грабя. — У меня, брат, дружба дружбой, а деньги деньгами. Даешь пять процентов?

— Прекрасно, да с какой же суммы? — заторговался в свою очередь и Бейгуш.

— С какой бы ни было! Одним словом, с той, какая очутится у тебя в кармане.

— Изволь, даю, но помни: только с тем, чтобы жена отдала мне сама доброю своею охотою.

— А то как же иначе? — опять подфыркнул Слопчицький. — Так пять процентов?

— Пять.

— Значит, идет?

— Идет!

— И кроме того обед у Дюссо с трюфелями и шампанским… Чур! — по карте я сам заказывать стану! Это условие я тоже выговариваю себе заранее.

— Не прочь и от этого, — согласился поручик. — Ты заказывать, я платить.

— Вот, вот оно-то самое и есть! — с живостью подхватил пан Тадеуш. — А ты актер хороший?

Бейгуш посмотрел на приятеля с некоторым недоумением.

— Это что же значит? — спросил он, смеясь.

— О! ты не сомневайся, — уверил тот, — это статья очень важная в нашем деле… Так как же, — хороший?

— В любительских спектаклях раза два подвизался.

— Ну, и эдак тово… в драмах и в трагедиях?

— Нет, больше в водевилях.

— Э… Ну, мы соединим водевиль с трагедией и закончим комической развязкой, к общему удовольствию, — порешил веселый и довольный собою пан грабя. — А насчет трагедий ты можешь?

— Не знаю, не пробовал.

— Не пробовал? — Так вот тебе первый дебют! Впрочем, я полагаю, что где дело своего кармана коснется, тут ой-ой! всякий человек, небойсь, отличным актером вдруг сделается! и в водевиле запоет, и в трагедии завоет! Так как же, — по рукам?

— По рукам! уже сказано!

— И исполнено будет точно?

— Точно и верно.

— Слово гонорем?

— Слово гонорем!

— Ну, давай же, примемся за дело!

XIV. Любишь — не любишь

На другой день после этого разговора у Бейгуша был назначен маленький «вечер». Были человека два-три военных, Свитка и пан грабя Слопчицький. Из фамилий офицеров, которым

нет никакой надобности обременять память читателя, ни одна не оканчивалась на *ов* или *ин,* а все на *ицкий, ецкий* и *евич.* Из дам никого не было. Сусанна очень любила делать у себя petites soirées подобного рода: ей пока еще нравилась роль молодой хозяйки, ее так забавляло сидеть за чайным столом, делать тартинки и разливать гостям чай в светлые, граненого хрусталя стаканы. Все это было так мило, уютно и красиво, после первобытной простоты коммунного обихода. Матовый фонарик в гостиной, яркий камин, зелень на окнах, красивая покойная мебель и мягкие ковры — все это так красило ее новую обстановку, посреди которой, в роли счастливой молодой хозяйки, она и посторонним, и самой себе казалась еще прелестнее. Сусанне грезилось, что она действительно нашла теперь свой маленький рай и свое большое счастье… Все у нее есть: красивый муж, у мужа веселые, милые приятели, есть миленькая квартирка, и сколько свежих, модных нарядов!

Двое из офицеров специально прикомандировали себя к молодой хозяйке и даже слегка ухаживали за нею, что ей очень нравилось и подавало повод к маленькому кокетству. Сусанна хоть и сильно облюбила своего мужа, но… видя около себя ухаживающего мужчину — по прирожденной ей слабости, никак не могла воздержаться от некоторого кокетства: ей хотелось, чтобы все без исключения были ею заинтересованы и находили бы ее прелестной.

Остальные, в том числе и сам Бейгуш, засели за стол, в невинный ералаш "по маленькой".

Вечер тянулся своим чередом до ужина, который был обилен и веселым разговором, и добрым вином. После ужина гости вскоре взялись за шапки и откланялись. Остался один Слопчицький.

Он шутя присел к ломберному столу и, промеж болтовни, прокинул направо и налево.

— А что, не рискнуть ли на маленькую? — игриво предложил ему Бейгуш.

— Поздно, — взглянув на часы, уклонился пан Тадеуш. — Вы люди молодые, вам и бабай пора!

— Нет, что за поздно!.. Шутя, две-три талии, не более! — приставал между тем Бейгуш. — Садись-ка, садись, приятель! Дай-ка я тебя вздую немножко на сон грядущий!

— Да что ж, я пожалуй… если тебе так хочется, — нехотя согласился пан грабя, вынимая бумажник и заложив банк в двадцать пять рублей.

Бейгуш взял колоду и приготовился понтировать. Сусанна полуприсела к нему на ручку кресла и обвила его шею рукою.

— А вы, пани Бейгушова, не мастерица в "любишь не любишь"? — шутя обратился к ней Слопчицький.

— Я? Нет, я люблю! — похвалилась она.

— Так что ж?.. Не хотите ли поставить карточку?

— О, с удовольствием!

— Я вас тоже с *удовольствием* обыграю! Ведь вы истая москевка?

— Россиянка pur-sang.

— А я — поляк пюрсан*о* вы.

— Ну, так что ж?

— Э! как "что ж"!.. весело подхватил пан грабя. — Я, видите ли, поляк и ненавижу русских, и потому обыгрываю их в карты.

Сусанна засмеялась.

— Да, смейтесь! Вот и вас поэтому обыграю. Ну, что вы поставили?

— Я?.. Червонный король! — отозвалась молодая супруга, выбирая карту.

— А что цена ему?

— Рубль.

— Э, дешево же вы королей цените!.. Вишь, какая, республиканка!.. А ты, душа моя, что ставишь? — обратился он к Бейгушу.

— Анзельм, ставь даму! — подтолкнула мужа Сусанна.

— Пожалуй, можно и даму, — улыбнулся Анзельм.

— Э?.. И оба червонные! — воскликнул грабя, взглянув на Бейгушеву карту. — Значит, полный марьяж! Король и дама — молодая чета. Так и следует в медовом месяце! А что идет? — вопросительно поднял он глаза на партнера.

— Тоже рубль! — весело ответила за мужа оживленная Сусанна.

— Однако, послушайте! — серьезно и внушительно предостерег ее Тадеуш, — эдак ведь как раз можно жестоко зарваться! Первые карты в рубль! Ведь так-то и тысячи спустишь в один вечер! Начало в рубли — во что же конец у вас будет? Не уменьшить ли кушик?.. а?.. Право, благоразумнее будет!

— Нет, нет! пускай по рублю идут!.. По рублю!.. И слышать ничего больше не хочу! Понимаете? Я хочу так! Не смеете мне противоречить! — кокетливо и капризным тоном балованного ребенка притопнула на него Сусанна.

— Ну, ин быть по сему, — со вздохом согласился пан грабя и стал метать отчетливо и изящно.

— Дама дана! — возгласил он, прокинув несколько карт.

Глазами, блещущими от удовольствия, Сусанна с живым интересом следила за ходом игры, быстро ловя взорами выпадающие карты.

— Король бит! А что? — обратился к ней Слопчицький, — а что? Не говорил я вам, что как добрый враг, поражаю москалей на картах?.. хе-хе!.. А вы мне не верили!.. Ну, так вот же вам! Рублишко имею за вами.

Супруги поставили еще по карте. Обе карты были даны. Успех еще более оживил и подзадорил Сусанну. Она загнула угол и присоединила несколько очков мазу.

Карта снова была дана ей.

Не в силах сдержаться от внутреннего удовольствия, она захлопала в ладоши и радостно засмеялась как ребенок.

— Угол!.. еще раз угол! — говорила она, выдергивая новую карту.

— Вишь, какая вы азартная, однако! — шутя покачал головою пан грабя. — С новой карты да прямо угол!

Карта была бита, — Сусанне пришлось расстаться с выигрышем. Поворот успеха ущипнул ее и задел за живое. С разгоревшимися щеками и глазами, думая сразу вернуть весь проигрыш, она поставила на карту равную ему сумму. Карта снова дана. Успех малый породил жажду успеха большего. Она поставила на пе — и взяла.

— Э, да вы у меня уж весь банк сорвали!.. Нет, с вами беда играть! — говорил Слопчицький, передавая ей деньги, — да мало того, еще и приплатиться приходится.

Он достал бумажник и вынул сторублевую.

— Ну меньше нет. Пожалуйте сдачи, а то и на извозчика не будет, — сказал он, кладя на стол бумажку. — А может хотите еще попытать счастья? — заманчиво подмигнул ей пан грабя. — Вишь, вам все идет "любишь да любишь!" Какая, право, счастливая! И в жизни везет, и в картах везет, и в любви везет! Так что же, угодно еще немножко?

Сусанна, раздраженная уже столь легким выигрышем, с радостью согласилась.

Слопчицький снова начал метать с той особенной отчетливо-изящной грацией и хладнокровием, которые делали игру с его особой в высшей степени приятною. В нем сразу был виден опытный, ловкий и светский игрок-джентльмен. Недаром же пан грабя в великосветском кругу показывал и фокусы порою...

Сначала игра шла с переменным счастьем. Бейгуш играл сдержанно и осторожно; зато Сусанна увлекалась без меры и ставила все крупные куши. Каждый маленький успех придавал ей решимость и смелость дальнейшего риска, а каждая крупная неудача колола под сердце, волновала, будила новый азарт и желание отыграться скорее, сразу, с одной карты! В ее игре не было ни малейшей сдержанности, ни малейшего благоразумия, так что пан грабя только улыбался да головой покачивал, глядя на азартные выходки ретивой партнерки.

Но чем далее шла игра, тем все более склонялось счастье на сторону банкомета. Он убил уже подряд несколько крупных карт Сусанны.

— Ну, однако, матушка, баста! — решительно и серьезно остановил ее Бейгуш. — Еще и четверти часа не прошло, а ты уже шестьсот рублей спустить успела! Ступай-ка спать лучше! Теперь только впору мужу поправлять твои грехи. Надо отыгрываться!

— Нет, я хочу еще!.. Я сама буду! — настойчиво говорила Сусанна, словно совсем хмельная от своего азарта.

— Ну, не дури же, Сусанна!.. Это глупо, наконец! — насупил брови Бейгуш. — Я говорю тебе серьезно. Ведь подумай: шестьсот рублей в какие-нибудь пятнадцать минут!

— Да я не дальше как две минуты назад была триста в выигрыше! — возражала она.

— Ну, то было да сплыло.

— Но я хочу играть! — притопнула молодая супруга.

— А я не хочу, — решительно возразил ей супруг.

— Граф! мечите же!.. Я играю! — настойчиво обратилась она к Тадеушу.

Тот положил карты на стол и сидел сложа руки.

— Мечите же, граф, говорю вам!

— Полноте, Сусанна Ивановна!.. Что за ребячество! — увещательно заговорил он. — Я решительно не стану более метать для вас.

— Но я требую!

— А я не стану.

— Ну, я прошу… Граф, слышите ли? — Я, я прошу вас.

— А я все-таки не стану.

— Но это, наконец, невежливо.

— Пусть так! И пусть я буду невежей, а метать все-таки не стану вам.

Сусанна с сердцем бросила на стол свои карты.

— Ну, это наконец уже выходит из всяких границ! — поднялся Бейгуш с места. — Ступай спать, говорю тебе. Я этого требую, Сусанна, или мы серьезно поссоримся.

Он проговорил все это решительным и строгим тоном. В недовольном взоре его светилась непреклонная, мужская воля.

Сусанна взглянула на него и, как ребенок, пойманный на шалости, робко и сконфуженно потупилась. Ее до сих пор никто еще в строгих руках не держал, а она, напротив, любила строгие руки. Это-то именно и нравилось, и было ей любо в мужчине.

Бейгуш молча обнял ее за талию и повел из комнаты в спальню.

— Будь же умница и ложись себе! — полунежно и полустрого сказал он ей. — Шестьсот рублей — шутка ль сказать! Помолись лучше Богу, чтоб я отыграл их поскорее, тогда скорей и к тебе приду!

И поцеловав ее в лоб, он спокойно вернулся к Слопчицькому.

Игра началась снова.

Но Сусанна не разделась и не легла. Она походила из угла в угол, посидела на кушетке, снова походила и снова посидела, но наконец не вытерпела: осторожно на цыпочках вышла в гостиную и оттуда, притаясь за портьерой, стала глядеть на играющих. Уж ей теперь хотелось, чтоб они поскорее кончили. Но игра продолжалась и, по-видимому, очень серьезно. Счастье было на стороне Слопчицького.

Сусанна постояла минут с десять и тихо удалилась в спальню.

Бейгуш, по шороху в смежной комнате, очень хорошо слышал ее присутствие, но и виду не

показал, что замечает ее. Напротив, чувствуя, что она стоит и смотрит из-за портьеры, он, ероша рукою волосы, устроил себе серьезную и даже озлобленную физиономию и еще внимательнее погрузился в игру.

Слопчицький улыбнулся и не без коварства кивнул на дверь по уходе Сусанны.

А она, между тем, все еще не ложилась. Уютно поместясь на кушетке, с поджатыми под себя ножками, она принялась за какой-то роман Поль-де-Кока, — писателя, которого от души находила теперь несравненно занимательней всех Дарвинов и Боклей на свете. Но и чтение на сей раз как-то не давалось ей. Нетерпеливое ожидание — скоро ли там наконец кончат, скоро ли муж придет, и вместе с тем Евино любопытство узнать, что там делается и как идет игра, заставили ее, спустя час времени, снова на цыпочках выйти в гостиную и поместиться за портьерой.

Они все еще играли. Пред обоими стояло по стакану красного вина; множество гнутых карт валялось под столом. Злобно сжимая в зубах сигару, Бейгуш, по-видимому, так взволнованно и тревожно ставил карту за картой, а пан грабя бил их так отчетливо, хладнокровно и изящно. Счастье решительно повернулось спиной к поручику.

Вдруг он, как будто заметя чье-то присутствие за портьерой, раза два строго и вглядчиво вскинул туда злые глаза и закричал, будто выведенный из терпения.

— Ступай же, наконец, спать Сусанна!

Молодая супруга даже струхнула пред этим взглядом и голосом и, надув губки, окончательно уже удалилась к себе, поместилась перед зеркалом и медленно стала раздеваться.

"А ведь, ей-Богу, я еще прехорошенькая!.. превкусная!" с наивно-светлой улыбкой подумала она, глядя на себя в зеркало, на свои глаза, блещущие от давешнего волнения, на эти свежие, красивые плечи и на эти волнистые, роскошные волосы, упавшие в ту самую минуту густыми, тяжелыми прядями на стройную спину.

XV. На что оказалась способною Сусанна

В зале между тем продолжалась игра. Сусанна нехотя, медлительно разделась, нехотя легла в постель, нехотя принялась за книжку. Но вскоре строки стали двоиться, пестрить, рябить и сплываться в глазах, книжка неслышно выпала из руки на одеяло — Сусанна заснула.

Сон ее был не совсем-то покоен. Раза два просыпалась она, широко раскрывала сонные глаза, осматривалась вокруг — все одна… мужа нет еще. "Ах Боже мой! что это они там!.. Надо бы сходить посмотреть", думает она, но сон морит, сладко смыкает веки, оковывает волю — и она снова засыпает.

Когда в третий раз проснулась Сусанна, свеча совсем уж оплыла и догорела, сквозь занавеску пробивался свет утра, а мужа все еще не было.

Крайне встревоженная и даже раздосадованная последним обстоятельством, она наскоро вдела в туфли босые ножки, торопливо накинула на плечи шлафрок и пошла в залу.

Там, к удивлению ее, никого уже не было. Один только раскрытый стол, разбросанные карты, мелки и щетки да распитая бутылка свидетельствовали о недавней игре.

Сусанна подумала, что муж ушел из дому вместе с Слопчицьким, и заглянула в переднюю:

шинель висела на своем обычном месте и пальто тоже.

Она разбудила человека.

— Барин ушел куда?

— Никак нет… Они дома.

— Где же он?

— Не знаю-с… Я хотел раздеть их, — они сказали, что сами, и прошли в кабинет.

"Милый! — подумала Сусанна. "Это он не хотел меня потревожить".

Она подошла к двери кабинета и взялась за ручку — дверь оказалась запертою на замок.

Она заглянула в скважину — заперто изнутри и ключ в замке оставлен.

"Странно!.. зачем ему вдруг пришла охота запираться?" подумалось ей.

В эту минуту в кабинете послышались шаги, тихие, осторожные, с явным намерением скрыть малейший шелест, но Сусанна очень хорошо их слышала.

— Анзельм!.. Ты не спишь?.. Отвори мне! — сказала она, снова потрогав ручку.

В кабинете никто не откликнулся и шаги тотчас же окончательно притихли.

— Анзельм! Ты слышишь?.. Отвори мне… Это я! — повторила Сусанна.

И снова ни отклика, ни звука.

Это ее встревожило. В сердце кольнуло предчувствие чего-то недоброго.

— Анзельм! Отвори мне сейчас, говорю тебе! — настойчиво и громко заговорила она, с силою дергая дверную ручку, так что если б Анзельм даже спал глубоким сном, то не мог бы не проснуться от стука и шума.

Опять ни отклика и звука, словно бы в кабинете и нет никого.

— Анзельм! Я буду кричать… Я стану ломиться, созову людей, если ты сейчас же не отворишь! — нервно и со слезами в голосе закричала испуганная Сусанна.

— Ступай и ложись… Я сейчас приду к тебе… — тихо ответил Бейгуш из-за запертой двери.

— Отвори мне, говорю тебе!.. Я не уйду отсюда, пока ты не отворишь!

И она с новой силой стала дергать за ручку.

— Анзельм!.. Анзельм! — раздавались под дверью ее громкие истерически-рыдающие крики.

Ключ щелкнул в замке, и Сусанна в тот же миг стремительно растворила себе двери.

Пред нею стоял муж — бледный, с взъерошенными волосами, с явным расстройством в омраченном лице.

Сусанна зорким оком окинула мужа и комнату: на столе лежал револьвер, кучка пороху с двумя-тремя пулями на листе белой бумаги и недописанное письмо.

— Анзельм… что это значит? — оторопело проговорила она, переводя беглые, взволнованные взоры с лица своего мужа на все эти предметы, прежде всего кинувшиеся ей в глаза.

Тот не отвечал и, отвернувшись от жены, мрачно прошелся по комнате.

Сусанна быстрым движением схватила со стола револьвер и сунула его в карман шлафрока, а потом рассыпала на пол весь порох с листа бумаги и взялась за письмо.

Бейгуш, в величайшем изнеможении как бы уставши и видеть, и понимать что вокруг него происходит, погрузился в кресло и, положив на стол руки, опустил на них отяжелелую голову.

Сусанна жадными, тревожными глазами забегала по строчкам его писания.

"Милая и неоцененная моя Сусанна! Прощай! Прощай навеки и не кляни, а прости своего несчастного мужа. Я не стою тебя — я сознаю это — и потому не должен, не имею более права жить на свете. Мне остается только одно: пустить себе в лоб пулю, что я и исполню сейчас же. Боже мой! Если б ты знала, как я несчастен и как я люблю тебя — тебя, моя добрая, красивая, нежная!.. Чего бы не дал я теперь за новую возможность наслаждаться с тобою и жизнью, и счастьем!.. А жизнь только что стала так весело и приветно улыбаться нам обоим, сулила столько счастья, столько радостей и блаженства взаимной любви!.. и увы! всему конец теперь!.. Будь проклят тот час, когда дьявол подтолкнул меня сесть за зеленый стол! Теперь в расплату за все… я отдаю ему свою душу. Но ты, моя чистая, прекрасная голубица, после того как труп мой, лишенный христианского погребения и зашитый в рогожу, будет брошен в яму на собачьем кладбище, вместе со всякой падалью, — ты не прокляни меня, но прости и помолись, как добрый ангел, за мою погибшую душу!.. Шутя сев играть, я проиграл Тадеушу сорок тысяч. Карточный долг для каждого порядочного человека есть долг священный, а я — увы!.. я нищий! Я ничего не имею кроме моих эполет, которые не хочу покрывать позором: я не хочу, чтобы кто-либо мог указать на меня пальцем как на несостоятельного игрока. Я сделал подлость, позволив себе увлечься до такой цифры, тогда как сам не имел возможности уплатить, и за эту подлость должен быть наказан. Мне не остается ничего более, как умереть. И чем скорей, тем лучше. Прощай же, моя несравненная, моя…"

На этом месте письмо прерывалось.

Сусанна громко рыдала, читая эти строки, а Бейгуш все сидел неподвижно, положив на руки свою голову и, казалось, ничего не видел и не слышал.

Она подбежала к нему и обвила его шею.

— Анзельм!.. Безумный ты!.. Милый… Да подыми же голову!.. И тебе не стыдно? не совестно? Разве мое состояние не твое?.. Я твоя и все твое!.. все! все! Бери все у меня! — в страстном и нежном порыве говорила она, стараясь поднять его голову. — Анзельм! Да откликнись же! Взгляни!.. Ах, да не пугай же ты меня!.. Господи! что это с ним!

И она зарыдала, припав к плечу его.

Он поднял голову и ласково провел рукой по волосам жены.

— Полно, Сусанна… полно, милая! тихо, но безнадежно-грустно проговорил он. — Что сделано, того не поправишь!.. Успокойся же…

— Нет, поправишь! поправишь! — с новой силой убеждения воскликнула она, оживленная этими знаками пробуждения и участия к ней, — поправишь, мой милый! Сейчас же поедем в банк, вынем сорок тысяч — и ты отвези их!.. И о чем убиваться!?.. Боже мой, ну не все ли равно?.. Ну, раз проиграл, в другой уж не будешь!.. Ну, и полно же, Анзя мой! ну, прояснись! ну, улыбнись мне, солнышко мое!.. Ну же?.. ну?..

И она, смеясь и улыбаясь сквозь слезы, с нежностью старалась заглянуть ему в отуманенные глаза, как бы выжидая ответной улыбки, но он грустно и отрицательно покачал головою.

— Нет, Сусанна... благодарю тебя, но... я никогда не возьму твоих денег!.. Ты, может быть, потом раскаешься в этом добром порыве... Как знать!.. Ты можешь разлюбить меня, разойтись со мной... да и мало ли что!..

— Разлюбить тебя!.. Тебя-то?.. Разойтись с тобой! — воскликнула она, порывисто отклонясь от него. — Сумасшедший ты!.. Что это ты бредишь!.. Нет, уж раз что ты мой, так уж мой навсегда!.. Я покаюсь!.. Ха, ха, ха!.. Я покаюсь, что спасла тебя от смерти для самой же себя! — Нет, ты нынче решительно с ума сошел, мой милый. Вот тебе мой сказ: вынь из банка деньги и отвези ему. Я тебе велю это... Я тебе приказываю. — Слышишь.

— Ребенок!.. добрый ребенок! И всю жизнь ты будешь ребенком! — грустно усмехнулся он. — Все отдать за одну ночь подлого увлечения!.. Все твое состояние!.. Нет, не хочу, Сусанна!

— А я хочу!.. И во-первых, вовсе не все состояние: у нас остается около десяти тысяч. Ну, что ж? — мы еще молоды, ты будешь служить, я трудиться, — проживем как-нибудь!

"Глупая, но добрая бабенка!" не без чувства подумал в душе Бейгуш и поцеловал Сусанну.

— Так что же?.. Берешь ты эти деньги?.. Они твои... Ну, если так не хочешь — я дарю тебе их!.. Можешь делать с ними что угодно! Мне, кроме тебя, ничего не нужно. Они твои, говорю тебе!

— Эй, покаешься! — еще раз предостерег ее Бейгуш, но уже видимо проясненный и успокоившийся.

— Ну, уж покаюсь ли, нет ли — это мое дело! — порешила она, — только я от своего слова не отступлюсь!

Обрадованный муж крепко сжал ее в объятиях и зацеловал бесчисленными поцелуями.

Сусанне только этого и нужно было. Она верила в светлое будущее, верила в возможность прожить хорошо и счастливо без копейки, то есть вернее сказать, едва ли понимала она, что значит жизнь без копейки, с вечным трудом и заботой. Доселе испытывать этого ей еще не доводилось, и потому взгляд ее на жизнь был и легок, и поверхностен. С ее расплывающейся добротой, с ее распущенною беспечностью ей нужна была только ласка человека, которого она любила в дашгую минуту.

"А как видно, порядочный таки дурак был этот восточный кузен", подумал про себя Бейгуш. "Ведь уж давным-давно мог бы обобрать ее, как липку!"

— Ну, моя спасительница! Спасибо тебе! — говорил он вслух. — Ты просто мой добрый гений, мое провидение! Пятью бы минутами позднее — и всему конец.

— Но уж вперед такой глупости не будет... Нет? не будет? Поклянись мне! поклянись всем, что тебе всего дороже на свете! — горячо приступила она к мужу, не выпуская его из объятий. — А

уж этот проклятый пистолетишко! Уж погоди ж ты: я его так теперь упрячу, что уж никогда не найти тебе!.. Не-ет, уж это кончено!

В то же самое утро молодые супруги вынули из банка сорок тысяч.

XVI. Чего никак не мог предвидеть пан грабя

— Итак, поздравляю! в тебе есть положительный драматический талант! — весело похвалил пан грабя пана Анзельма, наслаждаясь тонким обедом в одном из отдельных кабинетов ресторана Дюссо. — И что ж ты теперь сделаешь с этими деньгами?

— Очень просто: придется переложить их на свое имя, — поведал пану Тадеушу пан Анзельм.

— Благоразумно! аппробую! — еще раз похвалил Тадеуш.

Это было на другой день после только что описанной истории. Бейгуш свято держал свое слово: пан грабя получил пять процентов и тонкий обед по собственному заказу.

— И так-таки сразу сама предложила? — продолжал он.

— Предложила, подарила, умолила, заставила взять; все, что ты хочешь, — подтвердил поручик.

— Ага!.. Теперь, душа моя, видишь, какой я вообще тонкий знаток женского сердца? — похвалился грабя.

— Вижу, и отдаю полную справедливость!

— Но этого мало: я еще к тому и великодушный друг! Другой за такую науку слупил с тебя не пять процентов; но я и этим доволен. Я доволен в особенности тем, что, оказав маленькую услугу тебе, как доброму другу, вместе с тем оказал услугу и нашему делу. Теперь у тебя, по крайней мере, руки развязаны, а то что бы ты стал делать в решительную минуту?!.. Нам, брат, нужны теперь средства, и ох как нужны! — с серьезным вздохом подтвердил Слопчицький. — Фундуш народовый и народова офяра — это все прекрасно, но на всякий случай не мешает эдак, знаешь, ощущать в своем кармане свой собственный капитал. Скрывать от самих себя нечего: дело, во всяком разе, очень рисковое!

— Это так, — согласился Бейгуш, — но знаешь ли, была минута, когда я серьезно готов был отступиться от нашего плана и отказаться от денег и от всего!

— Э! это уж не хорошо!.. Не одобряю! — заметил грабя, качая головой. — Тогда бы ты, значит, лишил меня удовольствия скушать с тобою этот обед. За что же так?.. Это уж было бы не по-приятельски!

— Но я бы тебя поставил на мое место! Веришь ли, она так искренно, так свято и бескорыстно предложила мне эти деньги, что мне просто стало совестно. — За что я, думаю себе, так жестоко обманываю ее?.. Ах, друг мой, если б она была немножко поумнее и если б помене меня любила, все это было бы гораздо легче сделать!

— Но ведь и теперь, сколько я вижу, не особенно трудно, — заметил Слопчицький.

— Что говорить про то! — подхватил Бейгуш, — но мне-то самому, мне моей совести трудно — пойми ты это!

— А, вот оно в чем дело! — насмешливо, но серьезно улыбнулся Тадеуш. — Ну, брат, берегись! Ты, я вижу, москалиться начинаешь!.. Эдак, пожалуй, когда они опять станут нас грабить и резать, тебе тоже совестно сделается, и ты будешь просить у них прощенья за их же преступления?

— Это совсем другое, — возразил Бейгуш! — Те наши враги, и мы их ненавидим; но это моя жена, которая меня любит.

— А ты ее любишь? — все тем же насмешливым, но серьезным тоном спросил Слопчицький.

— Она жена моя, — уклончиво ответил Анзельм.

— А к какой нации имеет честь принадлежать ваша супруга? И чего ради в сущности женились вы на ней?

— Это все так; это все я очень хорошо знаю, — согласился Бейгуш, — но, друг мой, ей-Богу, я не ожидал столько самоотвержения!

— По глупости, прости за откровенность. Самоотвержение по глупости! Такая ему и цена!

— Нет, по любви! — не без самохвальной горделивости возразил поручик.

— Ну, и по любви!.. Не в последний раз! На твой век хватит еще женской любви, с избытком! Ну, и ты тоже люби ее за это, пока любится, — надоедите же когда-нибудь друг другу. Но позволь спросить без обиняков: кого ты больше любишь — Польшу или Сусанну?

— Об этом не может быть даже и вопроса! — с достоинством промолвил поручик.

— А не может быть вопроса, значит не может быть и сомнений и колебаний, значит нет и выбора, — порешил пан грабя.

— Пусть так, но все же… — раздумчиво проговорил Бейгуш, — все же какой-то бес смущает меня… шепчет мне, что это…

— Ну?.. Что же именно "это"? — выжидательно глядя на состольника пытающим взглядом, спросил Слопчицький.

— Что это не хорошо! — с тяжелым вздохом, но решительно докончил Бейгуш.

— Мало того, что не хорошо, пусть будет это даже подлость и преступление! Допускаю; пусть так! — говорил Тадеуш, сдвинув свои брови. — Но подлость против заклятого, потомственного врага не есть подлость! Преступление против москаля не есть преступление! Это есть законная, святая месть! Это есть подвиг.

— Но ведь тут женщина!.. любящая женщина! — защищался Бейгуш, и в тоне его дрогнуло даже что-то похожее на внутреннее страдание.

— Эта женщина не полька.

— Не все ль равно?!

— Нет, не все! — горячо вступился Тадеуш. — Если б это была полька, — о, да! такой поступок против нее был бы величайшей низостью. Но любовь москевки я не признаю любовью! Жабы любить не могут и их любить невозможно! Если полька выходит замуж за москаля, — это

горько, но это я еще понимаю; она может на пользу родине влиять на мужа, парализовать его вредную деятельность, может детей своих воспитать честно, сделать из них добрых поляков. Но много ль честных поляков женятся на москевках? — Это редкие исключения. И если уж поляк допустил себя до подобной женитьбы, то разве ради каких-нибудь особых и важных целей, а иначе это подлость, измена своим, измена родине, для которой и он, и все его потомство погибли навсегда и безвозвратно! А если ты недоглядел за собою, если ты полюбил без расчета, так не будь же тряпкой и постарайся вырвать из себя это чувство, потому что оно марает, оно позорит тебя!

Анзельм молчал нахмурясь и медленно тянул вино из уемистого стакана.

Слопчицький поглядел на него, улыбнулся и, хлопнув его по плечу, переменил свой горячий, фанатически-суровый тон на прежнюю приятельски-веселую и насмешливо-беззаботную ноту.

— Эх, дружище, — заговорил он, чокаясь о край стакана своего приятеля, — кажется, ведь оба мы с тобой воспитывались когда-то в Вильне у превелебных отцов миссионаржей[99] и хоть были они — между нами будь сказано — скоты препорядочные, но я их уважаю! Во-первых, жить умели, во-вторых, пить умели, а в-третьих, все-таки были добрыми, если не лучшими патриотами, и то что они в меня насадили, то во мне крепко живет, и никаким московским вдовушкам, ни графиням, ни княгиням, ни циновницам, ни танцовщицам этих корней из меня не вырвать! А ты, как видно, забываешь менторские назидания… Это не хорошо, дружище!.. Встряхнись!

Бейгуш вернулся домой с обеда не в веселом расположении духа. Он много выпил, но вино не дало ни хмелю, ни облегчения: оно только болезненно-тяжело подействовало ему на организм и принесло еще более мрачное настроение.

Сусанна, по обыкновению, встретила его любовно и беззаботно. Со вчерашнего утра ни тени упрека, ни тени сожаления о беспутно утраченных деньгах не встретил он в этой женщине. Она была с ним как и всегда, словно бы ничего такого и не случилось, словно жизнь и не должна теперь ни на волос измениться; напротив, Сусанна как будто стала еще теплее и мягче, еще любовнее с ним, оттого что для нее была ужасна мысль потерять его навеки. Она не сознавала, но чувствовала, что с той минуты, как спасла его от смерти и сохранила для самой себя, он стал ей еще милее и дороже. Странное дело, — но то что в первое время их близких отношений было для нее не более как прихотью, капризом, новым развлечением от надоевшего кузена, то с течением времени, и особенно после свадьбы, стало для нее дорогим и заветным. Это уже было свое, родное. Каприз и прихоть незаметно перешли в чувство любви, в отрадное ощущение над собою более разумной, более крепкой воли и силы.

Заметив, что муж не совсем-то здоров, Сусанна, без воркотни, без неудовольствия, уложила его в постель и почти всю ночь, как добрая сиделка, нежно, кротко и терпеливо ухаживала за ним, охраняла его покой, предупреждала малейший взгляд, малейшее желание.

Все это минутами еще более кололо и щемило душу Бейгуша. Давешние убеждения и доводы пана *грабе* разбивались об это простое даже мало сознающее себя чувство любви и безграничной привязанности, которое таким ярким огнем горело для Анзельма в сердце Сусанны. Но чем ясней делалось в нем сознание этого простого и столь глубокого чувства, тем хуже и темней на душе становилось ему, тем гнуснее представлялась недавняя комедия с деньгами…

"О, как же я подл и низок перед нею!" посылал он ссбе мысленные упреки.

И после этого каждый новый знак участия и внимания жены, как капля растопленного свинца, жег и колюче пронизывал его душу. В эти минуты в нем, быть может помимо собственной его воли, но одною только неотразимою силою жизненного факта, совершался внутренний переворот: из грязи падения, оправдываемого принципом народной, исторической вражды, вырастало хорошее, честное чувство уважения, любви и благодарности. *Москевка* уж не существовала: перед его нравственным взором стояла теперь *женщина,* которая была его *женой.*

XVII. Ардальон с ореолом мученика

Полоярова подержали-подержали да и выпустили. Да и что ж более оставалось с ним делать, как не выпустить? Не держать же человека за одну только глупость его! Впрочем, арест был вменен ему в наказание.

Полояров снова очутился на свободе.

Но теперь уж это был не прежний Полояров, а рафинированный.

Это был Полояров-мученик, Полояров, "пострадавший за убеждения".

Как гордо нес он теперь свою голову! Какую усиленную, сосредоточенную мрачность старался сообщить своему взору! С какою таинственностью подавал при встрече руку своим знакомым!

— Ардальон Михайлыч... Батенька!.. Что с вами? — вопрошают его знакомые, — вы, говорят, арестованы были?

— Был-с, — с какою-то таинственною, озлобленною и в то же время торжествующей мрачностью лаконически подтверждает Полояров.

— За что и как? Расскажите пожалуйста!

— Так-с. У нас эти вещи очень просто совершаются.

— Но однако? Как же и за что?

— По доносу-с.

— Кто же донес-то? Неизвестно?

— Нет-с, известно. Нашлись добрые людишки... Ну, да ведь и мы тоже не лыком шиты! Что-нибудь да смекаем! Один учителишко есть тут... Устинов некто, так это вот они-с изволят сами похвальными делами заниматься.

— Какой мерзавец! — качая головой, восклицает соболезнующий знакомый и старается запечатлеть в своей памяти имя "учителишки Устинова", для того, во-первых, чтобы самому знать на случай какой-нибудь возможной встречи с ним, что этот, мол, барин шпион, и потому поосторожнее, а во-вторых, чтобы и других предупредить, да и вообще не забыть бы имени при рассказах о том, кто и что были причиной мученичества "нашего Ардальона Михайловича".

— Но тут и не один Устинов, тут и *другие* есть! — многозначительно продолжает Полояров, видимо желая показать, что теперь, после мучений, ему ой-ой-ой как много кое-чего известно!

— Кто же другие? Надо всех знать! Чем больше знать их, тем безопаснее! — горячо наступает

на мученика вопрошающий знакомец.

— Есть тут… из *наших,* из своих же, такие подлецы! — как бы нехотя замечал Полояров.

— Но кто ж? кто?.. Чего скрывать! К позорному столбу их! В «Колокол»! Имена их отпечатать! Пускай же все знают!

— Да следовало бы!.. Вы ведь, кажись, знакомы с господином Фрумкиным?

— Да, я кое-где с ним встречался. А что?

— Да так… Коли знакомы, так раззнакомьтесь и вообще держитесь при нем поосторожней! Это вам мой добрый, приятельский совет; потому, что за охота потерпеть из-за какого-нибудь подлеца, из-за Иуды!..

Знакомец крайне удивлен, однако же и это сообщение принимает к сведению.

— Фрумкин!.. Скажите! Кто бы мог ожидать!.. Мне он казался таким порядочным человеком…

— Н-да-с! Все они порядочные до поры до времени!

— Но на основании чего же вы так думаете про него?

— Ну, батенька! это долгая история повествовать-то вам! Да и наскучило уж мне!.. Одним словом, поверьте: если я говорю так, то уж, значит, есть серьезные основания! Я на ветер говорить не стану… Я ведь сам-с, на своей шкуре перенес все это! — энергически уверяет Ардальон Полояров.

— Ну, а как *там-то?..* — любопытно вопрошает знакомец. — Как держали-то вас? как обращались?..

— Хм!.. Как держали! — сквозь стиснутые зубы бормочет Полояров и тотчас же устраивает себе озлобленно-мрачную физиономию. — Могу сказать, хорошо держали!

— Нет, в самом деле, хорошо?

— Н-да-с, не дурно! Селедками, например, кормили и пить не давали… в нетопленой комнате по трое суток сидеть заставляли… спать не давали. Чуть ты заснешь, сейчас тебя уж будят: "пожалуйте к допросу!" А допросы все, надо вам сказать, все ночью у них происходят. Ну-с, спросят о чем-нибудь и отпустят. Ты только что прилег, опять будят: "еще к допросу пожалуйте!" И вот так-то все время-с!

Знакомец в ужасе и с соболезнованием качает головою.

— Н-да-с!.. Инквизиция! Утонченная, рафинированная инквизиция-с! — восклицает Ардальон. — И знаете ли, я вам скажу, надо иметь слишком твердый характер, слишком большой запасец силы воли, чтобы не пасть духом и не сделаться подлецом при такой инквизиции… Тут-с, батенька мой, вот уж именно что гражданское мужество нужно!.. Н-да-с!.. Но уж зато же, могу сказать, и закалился же я теперь!.. Теперь они могут делать со мной все, что угодно, ни шиша им от меня не добиться.

— Но как же они вас выпустили? — недоумевает удивляющийся знакомец.

— Да так вот и выпустили! Что ж такое! — разводит руками Полояров. — Подержали-с, да и

выпустили, потому убедились, что со мной ничего не поделаешь. Я и сам, впрочем, не понимаю, как это они решились! Но это что! Нет-с, я вам лучше скажу-с! Они меня подкупить хотели.

— Как подкупить?!

— Да так-с. Очень просто. Предлагали мне отличнейшее место, карьеру и прочее... Единовременно целый капитал предлагали! Пятнадцать тысяч рублей!.. Предлагали журнал основать с тем, что он даже может себе быть *нашим,* либеральным органом, а они во всяком случае субсидию постоянно будут давать. То есть, конечно, все это очень тонко и политично предлагалось, но так, что я мог очень хорошо понять, куда оно клонит.

— И вы отказались?!

— И я отказался. Я им говорю на это: милостивые вы мои государи! Ардальона Полоярова можно сослать в каторгу, можно пытать, можно, наконец, казнить, повесить, но *купить* Ардальона Полоярова нельзя-с!

— Так и сказали?!

— Так и сказал-с. Да чего же? Что я церемониться с ними буду, что ли? Вот еще!.. Надо было, батенька мой, вести себя со строгим сознанием своего достоинства. Ведь я — шутка ль сказать! — я пред звездами-с, пред целой комиссией истязался-то!

— И вы где же сидели?

— В крепости-с. В Алексеевском равелине.

— Неужели?!

— Н-да-с! И еще в том самом нумере, где Пестель сидел. Вот мы, батюшка, как! Это мне после плац-майор сообщил. "Хотя мы, говорит, и принуждены были вас арестовать, но зато, говорит, вы сидите в том самом каземате, в котором знаменитый Пестель сидел". Ха-ха-ха!.. Как вам это нравится?.. а? хорошо-с? Нет, каково утешенье-то!.. Чудаки, ей-Богу!

— И вас после этого выпустили?!

— Как видите: цел, здрав и невредим. Да и что ж бы они со мной поделали, если против меня нет никаких улик и фактов? Мы, батенька, тоже ведь мозгами-то пошевеливаем не хуже, коли не получше других, и за себя еще потягаемся-с!

Ардальон хотя и напускал на себя злобственную мрачность, тем не менее в глубине души был очень доволен собой: ему все удивлялись, все его слушали, все ему сочувствовали, даже... уважать его стали гораздо более прежнего. Таким образом, относительно уважения он не ошибся в расчете.

Он продолжал очень живописно повествовать всем и каждому об инквизиционных мучениях и пытках, которые ему довелось испытать, о своем великом гражданском мужестве, о своем подвиге, и от столь частых повествований с течением времени и сам наконец убедился, что все это точно так и было в действительности. И если бы кто-нибудь вдруг возразил ему, что "послушай-ка, брат, Ардальон, ведь ты это все врешь и выдумываешь", то он не на шутку оскорбился бы и горячо стал бы вступаться за истину, ибо сам был теперь уже твердо убежден, что все это чистая истина, все это точно *было,* все это он говорил и все это с ним делали.

Ардальон вошел некоторым образом в славу: над ним воссиял ореол политического мученика, и какой же бы Фрумкин осмелился теперь пикнуть против него хоть единое слово?

Впрочем, Фрумкину не для чего уже было восставать против Ардальона. Во время его ареста, практичный Моисей сумел так ловко обделать свои делишки, что за долги коммуны, принятые им на себя, перевел типографию на свое имя, в полную свою собственность, совсем уже забрал в руки юного князя и кончил тем, что в одно прекрасное утро покинул вместе с ним на произвол судьбы коммуну и ее обитателей. Князь переселился к Фрумкину мечтать о скорейшем осуществлении "собственного своего журнала".

Наличные обитатели коммуны, т. е. Лидинька с Анцыфровым и Малгоржаном, очутились в очень стеснительном положении и потому поспешили переменить квартиру. Эти «нумера» стали уже не под силу их соединенному карману; новых охотников на коммунное сожительство как-то все не подыскивалось, хотя Лидинька с Малгоржаном и пытались неоднократно перетянуть к себе кое-кого из других петербургских коммун. Они наняли, наконец, небольшую квартирку в Троицком переулке, в четвертом этаже одного большого дома. Все предприятия вроде швейных и переплетных полопались сами собой после ареста Луки Благоприобретова, и ко времени переезда в Троицкий переулок окончательно уже умерли естественною смертью. Для Лидиньки наступило время действительного "личного труда", о котором она всегда столь много хлопотала на словах; но этот личный труд, состоявший в переводах с французского, далеко не показался ей теперь вкусным, по той причине, что Лидинька ни к какому труду, кроме обильных словоизвержений, решительно не была способна. Поэтому она чуть не ежедневно бомбардировала своего благоверного письмами, в которых настойчиво изображала, что если он "мало-мальски честный и порядочный, то пусть присылает ей поболее денег, в противном же случае, в Петербурге, мол, есть генерал-губернатор Суворов, и я, мол, твоя законная жена, на всякий скандал пущусь и наделаю тебе много пакостей". Благоверный, будучи человеком характера робкого и миролюбивого и притом, по духу времени, смирясь пред эмансипированными стремлениями к независимому труду и жизни своей супруги, спешил высылать ей денег, поскольку лишь было ему возможно. Лидинька с его помощью кое-как перебивалась и еще находила возможность поддерживать иногда существование обоих своих сожителей, которым «труд», за исключением разговорного, тоже как-то все не давался. Оба они не находили дела, соответствующего своим способностям и призванию. Впрочем, Анцыфров правил где-то, с грехом пополам, корректуру, хотя сам и не особенно силен был по части орфографии, а Малгоржан нашел себе «урок», обучать по-русски какого-то восточного человека из "восточных конвойных князей", который, кроме платы, угощал его еще и шашлык-кебабом.

Потеряв щедрую «кузинку», Малгоржан принялся с горя объяснять свою восточную страсть Лидиньке Затц и был ею утешен в самом непродолжительном времени. Маленький Анцыфрик стал было ревновать, но Лидинька каждый раз его просто-напросто била за столь неуместное, непоследовательное и дикое чувство. И каждый раз после такой трепки злосчастный пискунок взмащивался с ножками на подоконнике и принимался горько плакать, думая себе, за что это он уродился таким несчастным, что все его обижают.

Как-то раз приходит кто-то из гостей и застает его в слезах, с исцарапанной физиономией.

— Анцыфрик! о чем это вы плачете?

— Лйдька побила… — всхлипывая, ответил золотушный пискун и обтер обшлагом свои горькие слезы.

— Побила?.. Да вы бы ей сдачи!

— Не могу я… Она… она сильнее меня.

— Вот еще!.. сильнее! Ха-ха!.. Да вы бы ей… ну, хоть бы нос откусили, что ли!

— Я уж что-нибудь да сделаю… я непременно сделаю! Я только терпелив, потому что ссориться не люблю… а я тоже… если меня рассердят… так уж я… я тоже сердитый… я очень сердитый! И постою за себя!.. Я не позволю!..

Маленький пискунок, стараясь унять свои всхлипывания, топорщился и показывал свою храбрость; но чуть вошла в комнату Лидинька, тотчас же примолк и обиженно съежился на своем подоконнике.

Однако, мысль о том, что если уж не побить, так хоть нос откусить своей "натуральной супруге" и тем отомстить ей за все ее царапанья и обиды, крепко засела ему в голову. Он возымел пламенное желание при первом удобном случае привести эту мысль в исполнение. Лидинька же, ничего не подозревая о его затаенных коварных умыслах, продолжала по-прежнему держать при себе этого "натурального мужа" на посылках и побегушках, чем-то вроде комнатной собачонки.

В таком-то положении находились дела и отношения тройственной коммунистической четы, когда выпустили из-под ареста Ардальона Михайловича Полоярова.

Ему не трудно было, справясь у дворника прежней квартиры, отыскать их новое жительство.

Храня сухой и сдержанный вид человека обиженного и поссорившегося, он явился к ним, под предлогом, чтобы забрать кое-что из оставшихся вещей своих, белье да платье, однако же с сильным желанием в душе, чтобы дело приняло удачный оборот и дало бы ему возможность снова поселиться в коммуне и снова верховодить ее сожителями. В сущности он очень хорошо сознавал, что вне коммуны ему почти некуда и деваться.

Сожители встретили его ласково и радостно, и настолько радостно, что это вышло даже сверх всяких ожиданий Ардальона. Он все же был между ними наиболее сильный и предприимчивый характер. А в затруднительных материальных обстоятельствах, его силы и предприимчивость были теперь для коммуны сущим кладом. Кроме того, все эти люди были в сущности вовсе незлобивые люди. Они только так себе, от нечего делать, как флюгарки по ветру вертелись, впрочем, при неизменно либеральном скрипе. Удалился от них Фрумкин со своими каверзами, и вся их злоба на Ардальона сама собой исчезла, особенно с тех пор, как он "томился в заключении". Это «заключение» разом подняло его в их глазах, разом породило веру и в герценовское письмо, и в то, что он один только высоко держит в России знамя демократического социализма. Когда арест его возбудил некоторое кудахтанье в нигилистических курятниках, то флюгарки стали даже в некотором роде хвастаться и гордиться его дружбой и совместным сожительством. Поэтому его внезапное появление, его "возрастание из мертвых" и поразило их столь радостно.

Ардальон не упустил благоприятного случая распространиться перед ними об ужасах инквизиции и своей гражданской стойкости, и тем окончательно покорил сердца их. Они первые стали теперь трубить о его славе и осенили главу его ореолом политического мученичества. Они первые предложили ему тотчас же по-братски поселиться в коммуне на прежних основаниях, и Ардальон, конечно, не замедлил тотчас же забрать администратуру в свои руки, а сожители до известной степени были даже рады тому, что предприимчивый администратор избавляет теперь их головы от многих лишних хлопот и забот.

XVIII. "Молодая Россия"

19-го апреля с. — петербургский обер-полицмейстер публиковал приказ по полиции, в котором предписывал ей наблюдать за тем, чтобы подпольные воззвания не появлялись в столице, и даже самое появление их относил к недостаточности полицейского надзора. Полиция, конечно, наблюдала, но... наблюдения ее оставались сами по себе, а прокламации тоже сами по себе благополучно продолжали "возмущать спокойствие мирных обывателей". Эти разнообразные листки, тянувшие все более или менее сказку про белого бычка, частью приходили из-за границы, а частью печатались дома на ручных станках, что можно было отличить сразу, по одной их внешности. Сначала это были памфлеты на правительство и его представителей, потом всяческие программы политического и общественного обновления, и наконец, призыв к топору и истреблению.

В начале мая месяца, с особенным обилием стала распространяться по Петербургу довольно длинная и многоречивая прокламация "К молодой России".

"Мы требуем уничтожения брака, гласила она между прочим, как явления в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов и без которого немыслимо уничтожение наследства. Мы требуем полного освобождения женщины, дарования ей всех тех политических и гражданских прав, какими будут пользоваться мужчины. Мы требуем уничтожения семьи, препятствующей развитию человека. Мы требуем общественного воспитания детей, требуем содержания их за счет общества, до конца учения. Мы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества, обязанные по истечении известного срока давать ему отчет; требуем заведений общественных лавок, в которых продавались бы товары по той цене, которой они действительно стоят, а не по той, которую заблагорассудится назначить торговцу для своего скорейшего обогащения". Религия какая бы то ни было, а христианская и православие в особенности, совершенно отменялась. Церкви немедленно должны быть упразднены. Всякая собственность — долой! Каждый собственник — вор и преступник! "Мы изучали историю Запада, — гласилось там далее, — и это изучение не прошло для нас даром: мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48-го года, но и великих революционеров 93-го года. Мы не испугаемся, если нам придется пролить втрое более крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах". Словом, требовалось немедленное уничтожение всех тех начал, на которых основано современное бытие всякого общества и государства. Герцен объявлялся отсталым и ни на что не пригодным человеком.

Затем, в числе самых настоятельных, первых действий "Молодой России", представлялась неизбежная необходимость вырезать, по крайней мере, хоть полтораста тысяч русских дворян и помещиков, смертью казнить вообще всех собственников, положить под топор всех вообще ретроградов и противников благодетельной радикальной реформы и идей "молодой России". "Кто не с нами, тот против нас, тот враг наш, а врагов следует истреблять всеми средствами". Это называлось самым простым и обыкновенным "освежением политической и общественной атмосферы". А в случае сопротивления, авторы "Молодой России" грозились "камня на камне не оставить". "Нас слишком много, и мы имеем полную веру в себя и в свои силы", заявляла эта "Молодая Россия". Прокламация, кончавшаяся призывом к скорейшему восстанию, заключалась торжественным возгласом, который был отпечатан даже особым шрифтом и долженствовал служить лозунгом дела и бойни: "Да здравствует Молодая Россия и русская социально-демократическая республика!"

"Молодая Россия" рассчитывала, что никакой другой, а именно этот самый возглас будет греметь в устах народа, когда этот народ пойдет делать революцию с его плотничьими топорами. Она даже с полной уверенностью заявила: "мы-де надеемся на сочувствие народа".

Русское общество положило, наконец, себе в рот палец недоумения.

"Нет, уж это, что ж такое!.. И меня, значит, резать?.. Да за что же меня-то? Помилуйте!" поднялся говор с разных концов и слоев этого общества. "Нет уж воля ваша, а это сумбур какой-то!.. Это, значит, я моего Ваничку да Надюшу в Воспитательный сбрось, а мою Марью Ивановну в люпанар отведи? Да за что же так?.. Разве Марье Ивановне в люпанаре-то лучше будет?"

Так рассуждало "нравственное мещанство", неспособное, по своей тупоумной пошлости, возвыситься до понимания столь великих, в своей первобытной простоте и ясности, идей "Молодой России".

XIX. Quae medicamenta non sanant — Ferrum sanat, quae ferrum non sanat — ignis sanat.[100]

16-го мая, Каретной части, по Лиговке, в доме под № 224, в шесть часов пополудни, произошел пожар. Загорелись надворные деревянные службы и огонь быстро перешел на соседние нежилые здания, которые, за ветхостью их, вскоре все сгорели и разбросаны. Причина пожара осталась неизвестной.[101]

17-го мая, Нарвской части, по 6-й роте Измайловского полка, в пять часов пополудни, при доме № 14, загорелся нежилой сарай, где хранилась старая мебель. Пожар прекращен без вреда для соседних зданий, причина же пожара осталась неизвестной.

19-го мая, в пять часов утра, Рождественской части, по Невскому проспекту, в доме под № 26, произошел пожар, который вскоре прекращен, без особенного вреда строению.

20-го мая, в пять часов пополудни, Московской части, по Загородному проспекту, во дворе здания лейб-гвардии Семеновского полка, загорелось деревянное нежилое помещение, принадлежавшее музыкантской команде. Строение это сгорело до основания, но бывшие с ним в соседстве деревянные постройки отстояны. Причина пожара осталась неизвестной.

21-го мая, в пять часов утра, произошел пожар на Большой Охте. Он начался с дома мещанки Макарихиной, на Большом Охтенском проспекте, против пожарной части Охтенского квартала, в деревянном здании которого от жару потрескались все стекла. Огонь, гонимый сильным ветром от Невы, распространился с быстротою по трем улицам: Георгиевской, Конторской и Оградской, которые до самой речки Чернявки превращены в пепел. В продолжение менее чем полутора часа сгорело около двадцати пяти домов, со службами, в том числе и находившаяся на берегу речки, на Георгиевской улице, часовня во имя Смоленской Божией матери, заложенная Петром Великим в 1703 году. По неимоверной быстроте пожара, жителям почти ничего не удалось спасти из своего имущества. Погорело много коров, (охтянки — почти единственные петербургские молочницы), лошадей и домашней птицы. Обгорелые трупы лошадей и коров еще на следующие дни валялись на пожарище. Причина пожара осталась неизвестной.

22-го мая было два пожара. Первый, в восемь часов утра, на Петербургской стороне, куда потребовалось несколько пожарных частей, второй ровно в полдень, в Ямской. Загорелось в деревянном сарае, на заднем дворе дома № 243. Не далее, как через восемнадцать минут две пожарные команды были уже на месте, близ церкви Иоанна Предтечи, на набережной Лиговки, за мостом через Обводный канал. Но, несмотря на то, что вслед за этими двумя командами прискакала еще и третья, предотвратить страшное бедствие было невозможно. Сильный, порывистый ветер, старые деревянные надворные строения, поставленные слишком

близко одно к другому, предшествовавшее сухое время, все это вместе было причиной, что через полчаса от начала пожара уже шесть домов, с их надворными строениями, были охвачены пламенем. Пять минут спустя, на другой стороне Лиговки, почти мгновенно, охватило несколько домов и надворных строений, за Шмелевым переулком. К часу дня уже длинная линия горевших домов отняла у пожарной команды возможность действовать совокупными силами в одном каком-нибудь пункте, тем более, что надо было отряжать трубы на противоположную сторону Лиговки, где в нескольких местах беспрестанно начинало гореть, но распространение огня предупреждалось усилиями частью пожарной команды, а частью и самих жителей. Все дома со всеми надворными строениями по левой стороне Лиговки, от № 126 до № 164, сгорели совершенно; на правой — от № 243 до 253. Причины пожаров, как на Петербургской, так и в Ямской, остались неизвестными.

23-го мая было пять пожаров: в два часа утра, при сильном ветре, начался пожар на Малой Охте, в Солдатской слободке, которая и сгорела вся до основания — около 40 домов, населенных исключительно бедным, работящим людом. Еще не все части пожарных команд успели возвратиться в казармы, как вдруг, около трех с половиной часов пополудни, загорелось в Гороховой улице, между Семеновским мостом и Садовою, в доме Яковлева, где сгорел каменный двухэтажный флигель и каменные службы с сеновалом, в которых хранился разный столярный материал. В этих-то службах и загорелось. Пожар в Гороховой далеко еще не был потушен, как уже выкинули шары Каретной части: здесь загорелось опять-таки в Ямской, в Кобыльей улице, с задов дома № 104, откуда огонь распространился на все дома по Лиговке, так что весь громадный четырехугольник между улицами: Кобыльей и Лиговкой и от церкви Иоанна Предтечи до Глазовского моста, сгорел до основания. В это же время, как полагают, от перекинутого огня, загорелся на противоположной стороне Лиговки, в Разъезжей улице, шестой дом от моста. Огонь распространился на четыре соседние дома, из которых один был деревянный, и все они сгорели. Пожар шел так быстро и так внезапно охватывал дома, что многие люди едва успевали спастись, спускаясь из окон и с балконов. Сгорело много извозчичьих лошадей; один хозяин лишился их до шестидесяти голов. В одно время с пожарами в Гороховой и Ямской, загорелось в Лештукоском переулке, в доме купца Ушкова. Здесь пожар обнаружился в деревянном сарае, наполненном складом тряпья, пуха и перьев. Огонь пошел быстро катать по соседним каменным флигелям, которые оба сгорели. Сюда могла прибыть только одна из пожарных частей, и она успела остановить распространение пожара, отстояв соседний дом Колчина, при помощи местных жителей, усердно таскавших воду в ведрах и в шайках. Еще все пожарные команды были на пожаре в Ямской, где заливали горевшие развалины, как в одиннадцать часов вечера вспыхнул новый пожар на Невском проспекте, между Николаевской и Владимирской улицами, в доме Вилье. Здесь он начался в надворных службах, где помещались сеновал и сараи, на втором дворе, и перешел на два дома в Стремянной улице. Огонь прекращен к четырем часам утра. Причины всех этих пожаров остались неизвестны… А между тем еще к утру 24-го мая можно было видеть все степени пожара в длинном ряде домов по набережной Лиговки. Одни из них, уже совершенно уничтоженные, представляли только дымившиеся развалины; в других огненная работа сосредоточивалась внутри, пожирая остатки балок и обрушившихся стропил; в третьих полымя длинными языками вырывалось еще из всех окон. Пожар у Александровского рынка тоже еще далеко не был потушен.

24-го мая, опять-таки на Гороховой улице, вспыхнул пожар в доме протоиерея Окунева, начавшийся в деревянном пустом сарае и окончившийся в каменных флигелях этого дома. Вслед за тем загорелось на Васильевском острове, но огонь вскоре прекращен. Причины этих двух пожаров остались неизвестны.

26-го и 27-го мая город вспыхивал с разных концов, но эти пожары, которые вскоре

тушились, казались уже ничтожными петербургским жителям, привыкшим в предыдущие дни к огню громадных размеров, истреблявшему целые улицы, целые кварталы. Говоря сравнительно, в эти дни было пожарное затишье; но народ не успокаивался; он как бы каким-то инстинктом чуял, что это — тишина пред бурей. Ходили смутные слухи, что на этом не кончится, что скоро сгорит Толкучий рынок, а затем и со всем Петербургом будет порешено.

26-го мая, в субботу, на Апраксином дворе были подброшены письма, извещавшие о пожаре, имеющем быть на завтра, в Троицын день.

И действительно: в воскресенье Апраксин двор загорался три раза, но неудачно. Огонь успевали замечать вовремя и тушили.

28-го мая, IV-й Адмиралтейской части, в одиннадцать часов утра, в каменном доме купца Прокофьева, из запертой кладовой при щепенной лавке купца Георгиева, показался сильный дым, но прибывшею тотчас пожарной командой начинавшийся пожар потушен. Горел лежавший у штукатурной перегородки разный хлам.

28-го же мая по Апраксину переулку, в доме Трифонова, в два с половиной часа пополудни показался дым из дровяного сарая, прилегавшего задней стеной к рядам Толкучего рынка. По осмотре сарая, оказалась в нем тлевшая подброшенная ("вероятно с умыслом", как замечает полицейская газета) пакля, которая и была тотчас потушена. После этого среди Апраксина двора, в промежуток двух часов времени, два раза тушили пуки хлопка и пакли, пропитанные смолою.

28-го мая был праздник, Духов день. Торговля на Апраксином дворе на сей раз шла весьма незначительная. Большинство лавок и ларей оставались запертыми. Впрочем, кое-кто поторговывал, и по всем направлениям рынка бродили сторожа; а потому купечество надеялось, что угроза не будет исполнена.

XX. Пожар 28-го мая 1862 года

Погода стала теплая: даже было жарко, что становилось особенно ощутительно после холодной, дождливой и, можно сказать, суровой весны. Вторая половина мая стояла хотя сухая, но очень холодная. Порывистые, северо-западные ветры дули с редким постоянством.

В Духов день Петербург гуляет.

Около четырех часов пополудни улицы были полны народом, в праздничных нарядах. По Фонтанке сновали ялики с праздничными пассажирами; кто направлялся в Екатерингоф, кто в Летний сад. И там, и здесь в Духов день Петербург искони справляет народное гулянье. В Летнем саду — по преимуществу праздник купечества. В прежние годы здесь происходил выбор и выставка купеческих невест, разряженных в марабу, шелки, и в жемчуг, и в брильянты. С годами, конечно, вывелись эти смотрины, но сам обычай посещать в Духов день гулянье Летнего сада всецело сохранился и до сих пор в среде петербургского купечества из-под Невского, с Ямской, с Ивановской улицы. Весь Щукин и Апраксин дворы имеют тут полный комплект своих представителей: тут и хозяева с хозяйками и с дочерьми, тут и приказчики, и просто молодцы, и сидельцы, и конторщики, и лавочные мальчишки. Народ торопился на свое гулянье, спеша воспользоваться несколькими часами, когда наконец и в воздухе потеплело, и в городе как будто поуспокоилось чуточку после целых двенадцати суток беспокойств, страха и пожарной передряги.

В Летнем саду гремело несколько оркестров музыки и кишмя кишела густая, праздично-

пестрая толпа. Народу столклось, что называется, видимо-невидимо.

Вдруг, в шестом часу пополудни, с разных концов раздались громкие крики: "Горим! Горим! Пожар! Толкучий горит!" Сквозь просветы деревьев можно было разглядеть вдали густую черную и громадно-широкую полосу дыма, которая стлалась по небу и быстро мчалась нескончаемой лентой густых клубов все дальше и дальше... При первых криках тревоги, гуляющие бросились к воротам. Началась давка, суета, суматоха, и в этой-то суматохе шел самый дерзкий, неслыханный доселе грабеж. С мужчин срывали часы, нагло, лицом к лицу, запускали руку в карманы и вытаскивали бумажники, с женщин рвали цепочки, браслеты, фермуары, даже вырывали серьги из ушей, не говоря уже о шалях и бурнусах, которые просто стягивались с плеч, причем многие даже сами спешили освободиться от них, из боязни задушиться, так как застегнутый ворот давил собою горло. Многие из женщин выходили из сада измятые, избитые, изорванные, окровавленные, с оборванными ушами; многих вытаскивали без чувств или в истерике. Сад стонал от звуков музыки, от криков, воплей, брани и рыданий...

У многих тысяч дрожало в душе чувство, что в эту минуту они выходят из сада, быть может, уже круглыми нищими.

Чем более приближались толпы к пожарищу, тем все явственнее становился тот жуткий, зловещий людской гул, который всегда порождается как бы в самом воздухе, в виду великой беды общественной. Этот гул шагов, экипажей, голосов, говора, крика смешался с подобным вихрю треском и ревом пожара. Какой-то болезненный, дрожащий, сумрачный отпечаток испуга и тревоги отпечатлевался не только на лицах, но как будто на самом городе, на камнях, на зданиях, на стеклах, в самих улицах, в свинцовой ряби вод!.. Громадная туча дыму заслонила собою солнце, которое еле-еле проглядывало из-за нее каким-то тускло-багровым, каленым пятном и наводило на все предметы тот особый свет, который придавал им зловещий характер тоскливости и смятения.

С каждой минутой красновато-черный столб дыма все выше и дальше протягивался по небу. Из-за домов и строений не видать еще было самого пожарища, но страшные языки густого и тусклого пламени, казалось, облизывали небо. В черных клубах сверкали и неслись, подхваченные кружащимся вихрем, крупные искры, уголья, головни, листы бумаги, лоскутья каких-то тканей, оборвыши всяческого хлама... Стаи голубей бесновались со стаями ласточек, воробьев и галок. С отчаянными криками и писком они вздымались высоко-высоко, кружились в воздухе, черкая его крыльями в зигзагах своего полета, и, как ошалелые, где бы улетать скорее от пожара, они, напротив того, ныряли в самое пламя, пропадали в облаках дыма... Пламя хлестало их концами своих языков или вдруг охватывало всей своей огненной влагой — стаи вырывались из огня, и то там, то здесь падали мертвые и дымящиеся птицы. Целый дождь искр, угольев, пеплу и горящих головней сыпался с неба на крыши, на мостовые, на головы прохожих. И это небо, с его солнцем, с этим огненным дождем и мятущимися стаями птиц представлялось испуганным глазам народа в грозно-страшном, ужасающем величии.

Даже в таких отдаленных от места катастрофы улицах, как Офицерская, заметно было сильное, необычное движение, а в Мещанской становилось уже тесно от столпления двух потоков народа, из которых один стремился на пожар, а другой убегал с пожара. Через Каменный мост никого не пускали в экипажах, и на самом мосту уже являлись предвестники беды: испуганные лица, дрожки, кареты и возы, нагруженные вещами, пожитками и товарами, суматоха, брань, крики, слезы, проклятия... По ту сторону моста, хотя до пожарища лежало еще более полуверсты расстояния, начиналась уже сильная давка. Все окрестные переулки, что ведут на Садовую, были запружены бегущим народом, грудами мебели, тюками товаров, сброшенных в огромные кучи. Громадный поток толпы стремился к Апраксину двору, теснил, сбивал с ног,

захватывал и уносил с собою и тех, кто шел навстречу, и тех, кто спасал из домов свои пожитки. Никакие усилия полиции и конных жандармов не могли сдержать этого напора, который опрокидывал и людей, и лошадей, давивших под своими копытами и всадника, и того, кто имел несчастье подвернуться тут в эту минуту. В переулках уже было так тесно, что нагруженные возы при встрече едва могли разъезжаться. На перекрестках в особенности была страшная давка; на одном из них в несколько минут нагромоздили пропасть разных вещей, и столпилось столько народу, что не только проехать или пройти, но просто с места двинуться не было ни малейшей возможности. Полиция принялась расталкивать народ — народ стал растаскивать вещи, а тащить, между тем, некуда. Из соседних домов тоже выбираются и стаскивают пожитки в эту же груду; со всех сторон и везут, и несут, и народ валит. Груда вещей с грохотом валится на мостовую, давит, зашибает людей… крики, стоны, ругательства… По Садовой тоже навалены груды разных вещей и товаров, и снуют массы народа, и теснота стоит такая, что пожарные команды и бочки с водой едва-едва могут пробираться шагом, поминутно цепляясь колесами за всевозможную мебель и поневоле останавливаясь, чтобы не давить народа. Из каменных корпусов Апраксина двора летят звенья разбиваемых окон, выламываются двери лавок; из окон и из дверей летит на улицу нужное и не нужное: меха, шубы, шапки, целые груды сапог, куски всевозможных материй, женские уборы, ящики галантерейных вещей, пустые картонки, коробки. Летящие из окон тяжести кого с ног сшибают, кому попадают в голову. Там вон несут замертво окровавленного человека: ящиком, говорят, зашибло, а сейчас опять пронесли обгорелого солдата пожарной команды с переломленными ногами: с крыши упал в самое полымя. Кто-то — неизвестно для чего — лезет вверх по водосточной трубе, двое каких-то кадет, тоже неведомо зачем, отдирают вывеску; офицер какой-то, вышибя каблуком окно, спускает на веревке мебель, студент с ломом бросается к двери и выламывает ее. Никто и сам не знает, зачем он делает то или это; испуг, озлобление, растерянность, неумелость ярко написаны на всех лицах этой бесконечной толпы. Жандармы стараются оттереть толпу от огня — масса пятится, опрокидывается на груды вещей, ломает себе шеи, руки и ноги, падает, давит друг друга, а сзади, между тем, напирают другие массы, которые не видят что творится впереди и лезут к огню с неудержимой силой. Один растерявшийся квартальный гонит в одну сторону, другой, неведомо зачем, оттирает в другую, городовые валяют шапки с голов зазевавшихся зрителей и прут на толпу в третий конец; но новые массы, как волны, валят и валят одна за другой, и все вперед, все на огонь, и давят и опрокидывают все встречное, несутся с ревом через груды вещей и ломают все, что ни попало. Каждый атом этих живых масс воодушевлен одним стремлением спасать и помогать, но ни один не знает что делать, что спасать, кому помогать, куда направиться. Все ошалело, все помутилось и потеряло голову. Одна великая, мирская беда царит надо всеми.

В Апраксином переулке становится так жарко, что начинают загораться дома, противоположные рынку. Заливать их уже невозможно от жару. Народ, валя друг друга, бежит из этого переулка, — торопится не задохнуться и не сгореть заживо в пекле огня и дыма.

В Чернышевом переулке несколько менее давки, но жар зато невыносимый. Из ворот Щукина двора вдруг летит целый ураган пуху и перьев, которые с треском и шипеньем разносятся по ветру и распространяют отвратительный смрад. Куры, цесарки, утки, гуси, индейки, павлины и всякая мелкая птица из птичного ряда квокчет, крякает, гогочет, кричит и стонет, тщетно выбиваясь из своих клеток; а которым удалось какими-то судьбами освободиться из них, те кружатся, снуют и бегают, как шальные, по пожарищу, ища, но не находя себе выхода и, наконец, живьем запекаются и жарятся в этой адской кухне. На тротуаре, как и на Садовой, валяются разные товары: груды полушубков, груды трико, драпу, дорогих сукон, груды битого хрусталя, фаянса и всякой посуды, перины, подушки, тюфяки, диваны и громадные простеночные зеркала. Головы сахара, разбитые бочки кофе, цибики чаю валяются в грязи, рассыпаются по мостовой. Народ неистово накидывается на миндаль, пастилу и орехи, хватает

горстями просыпанный чай, набивает карманы разными продуктами. Приказчики ломают двери и выбрасывают что ни попало: из окон летят ананасы, банки с вареньем, вина, трюфели, виноград, всяческие консервы; бочки с фруктами бьются вдребезги; груши, яблоки и апельсины прыгают по мостовой как мячики, разлетаются как картечь и катятся во все стороны. Толпа огулом накидывается на все эти блага, давит их под ногами и в один миг расхищает все, что лишь возможно расхитить. "Ничего братцы! Бери знай!.. Съестное, не грех! Все одно прахом пойдет!" раздаются в этой толпе поощрительные возгласы.

Верхний этаж пылает, а многие лавки внизу еще заперты. Прибежал хозяин одной из них, взглянул на пламя, поднял руки вверх и тут же замертво хлопнулся об землю.

С противоположного берега Фонтанки, около Лештукова переулка и Мещанской гильдии, открывалась страшная, поразительная картина пожара, во всем его адском ужасе. Из ворот, выходивших на набережную, спешно выкатывали разные экипажи: кареты, тарантасы, коляски, дормезы, сани и дрожки. Тут же теснились телеги, на которые торговцы набрасывали свой товар, — больше все разный пестрый хлам из Лоскутного ряда; валили его также на барки, на плоты и на лодки, подходившие к гранитному берегу. Множество всяких узлов, вещей, и хламу, и редкостей, оружие, картины, бронзы, китайские вазы, редкие книги и груды вообще книжного товару, домашняя утварь, железо, мебель — все это валилось с берега, через чугунную решетку, на суда, но великое множество из этих вещей падало в воду и тонуло.

Между тем, барки с дровами спешили поскорей уйти от пожарища вниз по течению. На воде шла такая же толкотня и сумятица, как и на суше. Не прошло и двадцати минут от начала пожара, как огонь побежал уже по самому забору рынка. Угол его, выходивший на набережную и Апраксин переулок, занят был громадным дровяным складом. Квадраты досок и бревен, тесно сплоченные одни возле других, возвышались над землею более чем на три сажени. К этому складу примыкали каретный и железный ряды. Все это менее чем в десять минут пылало гигантским, сокрушительным пламенем. Народ еще копошился на той стороне, пока пожар не дошел до забора; но когда золотые полосы и жилки огня пробились сквозь его щели — жар вдруг сделался невыносим до такой степени, что через минуту на набережной не было уже ни одной души. За несколько мгновений перед бегством отсюда, выломали в нескольких местах чугунную решетку; своротили с места несколько гранитных тумб и посбрасывали в воду значительное число экипажей, надеясь спасти их хоть этим средством. Впрочем, много карет и колясок, за недостатком времени, остались на опустелой набережной, которая, с отсутствием людей, вдруг приняла какой-то мертвенный, тоскливо-пустынный и мрачный вид. Огонь работал. Ветер клубками катил по набережной комья и пучки какого-то горящего хлама. Горели черные кареты, горели фонарные столбы.

Рядом с Мещанской гильдией, на противоположной стороне Фонтанки, с балкона дома Шамо, где жил тогда пишущий эти строки, открывался чуть ли не лучший, чуть ли не самый страшный вид в целом городе на это пожарище. Внизу, под балконом, кишела и гудела непроходимая толпа, сквозь которую с неимоверным трудом прокладывали себе дорогу воинские команды, торопившиеся на свои экстренные посты. Духота и жара были здесь такие, что все стекла полопались; железная решетка балкона раскалилась до такой степени, что обжигала руки, оконные рамы и ворота тлели и загорались. Надо было ежеминутно обливать их водой, но чуть растворишь дверь балкона, как палящий жар так и обдаст тебе все лицо. Оставаться на балконе не иначе было возможно, как покрыв голову мокрой салфеткой. Но едва успели обдать стекла и рамы несколькими ведрами воды как через минуту жар каленого воздуха уже высушивал их, и дерево начинало тлеть сызнова.

А на той стороне, прямо пред глазами бушевало, ревело и свистало целое море сплошного огня. Забор давно уже рухнул. Железо плавилось потоками и клокотало, как в калильной печи,

раздражая глаз невыносимо ярким светом. Тут же горели купорос и сера, которая светилась переливами великолепного зеленого и голубого огня. В воздухе поднялась целая буря. Сильный и порывистый морской ветер гнал потоки пламени прямо на громадное здание министерства внутренних дел. Огненные языки уже лизали его стены, и через несколько минут министерский дом пылал, как и Толкучка. Дома в Апраксином переулке тоже горели. Пламя крутилось и металось во все стороны; иногда столб его, как огненный смерч, высоко уходил в небо и крутился длинною спиралью. А там, вдали, за этим морем, мгновеньями виднелось другое, густо-багровое и даже как будто какое-то темное, черноватое пламя: то горели каменные флигеля суконных рядов, выходящие на угол Садовой и Чернышева переулка.

В семь с половиною часов пламя вырвалось наконец на Садовую улицу, против оптовых лавок, между Мучным переулком и Государственным банком. Ломовые извозчики подъезжали беспрестанно; вещи с мостовой укладывались и увозились по мере возможности, но все-таки целые груды их оставались еще на улице. Брошенные шкафы, ящики и множество других деревянных удобовозгарающихся вещей валялись в том положении, как повыбрасывали их из окон второго этажа.

Весь этот хлам тоже начинал загораться и угрожал собою зданиям противоположной стороны; и действительно, один из флигелей Государственного банка уже загорелся, но вскоре его отстояли. Надо было очистить улицу от хлама. Народу было множество, но он стоял себе простым зрителем и только препятствовал разъезжаться повозкам. Цепи военных часовых еще не было. Солдаты продолжали выносить вещи, но спасали по указанию самих же купцов, потерявших голову, совсем, ничтожные и даже непригодные предметы, вроде сапожных подошвенных шпиньков, поломанных диванов и стульев, битых зеркал, разную бумагу, корзины, гвозди, пуговицы, вату и тряпье. Хотели солдаты ломать крышу, но не случилось ни топоров, ни ломов, которые явились уже гораздо позже. Солдаты тщетно бегали по лавкам, в надежде отыскать их у торговцев, но железных лавок поблизости не было.

Кто-то подал дельную мысль, чтобы брошенные на улице вещи втаскивать обратно под арки Апраксина — работа закипела, и единственно лишь этому следует приписать спасение Государственного банка и вообще зданий противоположной стороны Садовой улицы. Некоторые лавки, после того как в них были выломаны двери, к неожиданному и крайнему удивлению свидетелей, оказались внутри совершенно пустыми. Это возбудило громкий ропот, жалобы и подозрения на хозяев в том, что они, очевидно, вывезя весь товар перед пожаром, вероятно знали, что он случится.

— Гляди, банкротами объявятся! — замечали в толпе.

— А может ради иного злостного банкротства и Толкучий горит! — предположил некто.

— Нет, барин, врешь! Толкучий не купечество, а хищные люди подожгли! Уж они давно на него зарились! Те самые, что народ православный по миру пустить хотят, да нехорошие бумаги подбрасывают! Это уж мы доподлинно знаем! Это верно!

Лавки, оказавшиеся пустыми, стояли под №№ 40, 44 и 45.[102]

Солдаты выносили товары и вещи, но все это было вполне бесполезно. Ни купцы, ни приказчики не условливались с ними о местах складки, и те впопыхах, роняя по дороге и подымая вещи, или будучи задержаны толпой, теряли из виду своих провожатых и потом отыскивали их при шуме и замешательстве, нарочно производимом многочисленными мошенниками, на которых слышались жалобы из разных мест и лавок, и которые объявляли себя хозяевами чужого добра. Приказчики разгоняли их, дубася по чем попало железными

замками, звали полицейских офицеров и солдат; но те и сами не знали, в какую им сторону идти и брать ли этих господ, от которых хотя и припахивало водкой, но которые по большей части одеты были прилично, называли себя дворянами или чиновниками, и с примерным бескорыстием, усердствовали в разбитии дверей тех лавок, хозяева которых не успевали вовремя явиться на место.

Вообще, повсюду шел грабеж страшнейший. Хозяева вещей стараются поймать вора, ловят и правого и виноватого, завязывается драка, вступается полиция, а грабеж тем часом идет еще более.

А тут у Апраксина переулка «поджигателя» вдруг поймали.

— Гей! ребята! Вали смотреть! Поджигатель! Поджигатель! — ревет толпа, обуянная злобой и любопытством.

Человек десять ухватили какого-то бледного от страха молодого человека, перед которым стоит лавочник и держит в руках бутылку с каким-то черным порошком и коробок спичек, отнятые у "поджигателя".

— Что это за порошок, любезный?

— Э, робя! Это порох!.. Ей-ей, порох! Ишь, какой блестящий!

— Мажь ему рожу! Мажь эфтим самым суставом! — вопит толпа.

— Держи, братцы, крепче! вот я ему сейчас! — говорит лавочник, насыпая в руку порошок из бутылки.

Пойманный судорожно приседает.

— Стой, братцы! — кричит кто-то. — Давай, я на язык попробую!

— Не трошь! Рот обдерет!

— Полно!.. Еще, гляди, помрешь аль лопнешь сею секундою!

— Небойсь!.. Не помрем!.. Давай!.. Я сейчас узнаю!

Порошок оказывается обыкновенным черным песком, для засыпки письма.

— Ну, ступай с Богом! Христос с тобой! Не сердися!.. Сам видишь, время ноне какое!

Пойманный перекрестившись пускается бежать, что есть духу.

— Держи! Держи! Вот бежит! Вор! — преследует его криком какая-то баба, вконец ошалелая от страха.

Несколько человек из толпы кидаются ловить «вора», который сейчас только что был «поджигателем». К счастью, полиция поспешает на выручку.

А в это же самое время бежит по улице, выпучив глаза, какой-то растрепанный, оборванный, но бывший порядочно одетым человек, без шапки, с обезображенным лицом. Он бессмысленно смотрит вперед, беспорядочно машет руками и вопит страшные проклятия.

— Сумасшедший!.. помешался! Господи!.. Человек в уме помешался! — проносится в толпе стон сострадания.

Помешанный бежит далее и исчезает в народе. Какая-то растрепанная женщина, с ребенком на руках, вдруг бросается с визгом под пожарную тройку.

— Стой!.. Стой!.. Берегись! Раздавили!.. Под лошадей попала!.. Ребенок-то, ребенок!.. Ай-ай-ай, Господи!.. — проносятся отчаянные крики.

Пьяный господин, в отставном пальто, с кокардой на красном околыше потертой фуражки, азартно колотит по зубам встречных и поперечных и хрипло, начальственным тоном орет.

— Назад!.. Назад, говорю вам! Сюда нельзя! Не сметь ходить сюда!

Смущенная толпа молча пятится перед азартною кокардой.

То там, то здесь появляются разные самозваные начальники и запретители, которые обращаются с приказаниями к толпе, что "и сюда, мол, нельзя, и туда нельзя". Иногда толпа послушает запретителя и попятится, а иногда какой-нибудь смельчак и по зубам его съездит. Засим неизбежно поднимается драка, кончающаяся целой свалкой…

— Поберегись!.. Уйди!.. Прочь с дороги! Убью!.. Берегись! Караул!.. Ка-ра-у-у-ул! Стой!.. Что за человек такой? неумолкаемо раздается со всех сторон над одуревшею толпою.

Какой-то старик с длинной седой бородой, припав лицом к стене, вдруг тяжко и страшно зарыдал разбитым, старческим рыданьем.

— У!.. Разбойники!.. Жечь их! самих жечь! — гудело в толпе со стоном и скрипящею злобою.

Страшный ветер отрывал от пожара целые клубы пламени и нес их в воздухе отдельными клочьями.

Около шести часов пополудни огонь показался на противоположной стороне Фонтанки. Быть может его перебросило. Здесь, по-видимому, никто не чаял нового пожара, как вдруг, почти мгновенно, осветило дровяные дворы и досчатые склады; затем и четверти часа не прошло, как уже пылали Чернышев, Троицкий и Щербаков переулки. В последний, в особенности, было страшно взглянуть: это самый узкий из всех петербургских переулков, застроенный, по большей части, ветхими деревянными лачугами, и теперь в нем кипела и трещала целая река непрерывного, сплошного огня: там уже ни души не было. Оттуда можно было только спасаться, но не спасать. В общей сложности, горело пространство, по крайней мере, на три версты в окружности. Тринадцать частей с их резервами — все, чем богат в этом отношении город — были раскинуты на столь громадном протяжении и совершенно терялись в нем. Работа их, по-видимому, была вполне бессильна. Пожарные солдаты, измученные длинным рядом предшествовавших беспрерывных пожаров, в течение целых двенадцати дней лишенные сна и покоя, часто по целым суткам голодные от недостатка времени проглотить какой-нибудь кусок, — в настоящую минуту еле двигали руки и ноги. Сколько из них, бывало, в ожидании воды, присядут к колесу бочки и тотчас же засыпают глубоким сном; сколько бывало, валились с ног на мостовую в совершенно бесчувственном состоянии; один стал было коленами на подножку, склонил голову на дроги, да так и остался недвижим: никакими усилиями не могли его растолкать — он онемел совершенно. А сколько этих людей калечилось, убивалось, гибло в огне жертвами собственного самоотвержения! Спасибо еще, что находились добрые люди, которые привозили им на пожар хлеба, вина и калачей, — и трудно представить себе, до какой степени простиралась благодарность этих солдат. Хватив глоток водки и на ходу закусывая

куском хлеба, они с новой энергией кидались в свою каторжную работу и делали все, что только в состоянии сделать человеческие силы.

В минуту тяжких общественных испытаний как-то само собою сглаживается и исчезает то, что зовется кастою, сословностью, разностью положений, званий и состояний. Вместо этого является масса, сила, мир, нечто единое, или то, что можно понимать под словом *народ,* в самом широком смысле. Так было и теперь. Пожар стал общей бедой; тушить его стало общим делом. Офицеры гвардии и отставные солдаты, чиновники, пажи, гимназисты и студенты, лицеисты и правоведы, денди в изящнейших пальто, с пенсне на носу, и пролетарии с Сенной площади, священники, негоцианты, капиталисты и нищие, лица заслуженные и простые работники, баре и мещане, — словом, все, кто только мог, посильно помогали делу, карабкались на подмостки пожарных машин и, облитые потоками грязной воды, обсыпанные пеплом, под дождем сыплющихся искр и углей, усердно качали и качали воду, опустошая на всех пунктах целые сотни бочек. В одном месте какой-то заслуженный, седой генерал, видя, что рвение толпы к помощи начинает ослабевать, а утомленные, между тем, выбиваются из последних сил, влез на пожарную трубу и, не говоря ни слова, что было мочи, стал качать воду. Этот пример был своего рода электрической искрой: сотни рук в одну минуту двинулись к машине, чтоб освободить честного доброго человека от непосильного ему труда. Двое кадет инженерного корпуса виднелись вместе с несколькими пожарными на объятой пламенем крыше высокого, пятиэтажного дома и усердно работали там топорами. Какой-то молодой человек, без сюртука, одетый в одну рубашку и панталоны, с студентской фуражкой на голове, с топором за кожаным поясом, предводительствуя небольшой группой своих товарищей-студентов, просто поражал толпу, смотревшую на пожар, чудесами неимоверного мужества. Сначала он работал около министерства внутренних дел, но потом, когда тут нечего уже было делать, бросился со своими товарищами в Троицкий переулок. За ним последовала целая толпа, чтобы полюбоваться на молодецкий образ действия отважного юноши. Тут он по лестнице бросился на один из загоревшихся уже домов, и толпа снизу видела, как из-под его топора летели щепы, когда он быстро рубил горевшие балки. Товарищи его помогали ему сбрасывать балки наземь, но вдруг раздается зловещий треск, под студентом рушится потолок и он проваливается. Крик ужаса вырвался у глядевшей толпы. Прошло минуты две ожидания, обдающего немой тишиной и дрожью, и холодом. Но вот он однако показывается в окне пылающего верхнего этажа. Товарищи его, успевшие между тем спуститься вниз, помогают ему сделать то же, приставляют лестницу, но он видимо страдает от боли. Не прошло и пяти минут, как снова, заткнув топор за пояс, он вновь взбирается по лестнице на другой горящий дом, хотя толпа и не пускала его. Это самоотвержение тем более могло назваться подвигом, что толпа громко говорила, будто Петербург жгут поляки и студенты. Один вид синего околыша студентской фуражки возбуждал уже в этой слепой толпе враждебную подозрительность и негодование.

Примеры великодушия являли многие городские и ломовые извозчики. Более полутораста ломовых прикатили к месту пожара с Калашниковой пристани, чтобы перевозить товары за самую ничтожную плату и даже вовсе без всякой платы. Один извозчик, с Литейной, прислал для той же цели безвозмездно пятнадцать четвероместных карет. Но зато были и такие спекулянты, которые за перевозку клади от Гостиного двора на Царицын луг, расстояние менее чем полверсты, драли по тридцати пяти рублей с воза или по пятидесяти с омнибуса. Кто хотел в мутной воде рыбу ловить, тому было теперь всяческое раздолье.

XXI. Наши знакомцы на пожаре

Андрей Павлович Устинов в этот день обедал у Стрешневых. Еще сидели за столом, когда принесена была весть, что Толкучий горит. Через полчаса опять прибежала горничная и

объявила, что пожар — страсти какой! что в Петербурге отродясь такого и не видано! Татьяне Николаевне вздумалось пойти поглядеть, что там такое делается, и она отправилась вместе с Устиновым.

Литейная, Владимирская, Александрийская площадь, Садовая, словом, все ближайшие к пожару улицы, площади и переулки были запружены народом и экипажами, загромождены мебелью, завалены товарами, узлами и всякими пожитками. Бабы ревмя ревели, сидя на них и карауля остатки своего добра от расхищения. Солдаты с ружьями там и сям стояли часовыми при грудах имущества. Длинные цепи их протянулись вдоль ближайших улиц. Из домов продолжали выносить и спасаться жильцы. Со всех сторон было одно и то же: пламя, дым, обгорелые бревна, стропила, доски, оторванные листы железных крыш, мрачные остовы сгоревших домов, закопченные стены, выбитые окна, искры и головни… Повсюду беготня, езда, суета, сумятица, слезы и вопли, крики, ругательства и проклятия, и все это покрывается свистом порывистого ветра, ревом пожара, треском рушащихся домов и шипеньем высоких струй воды, направляемых в самые сильные пекла.

— Поджигают!.. Поджигают! — слышалось со всех сторон, от встречного и поперечного.

Кто поджигает! — Тьма предположений, но ни одного положительного, верного ответа. Одно только чувство немедленной и беспощадно-страшной мести невидимым, тайным врагам с каждой минутой все более и более разгорается в массах народа.

Устинов, под руку со Стрешневой, пробирались по Троицкому переулку. Перед воротами одного дома им поневоле пришлось остановиться, так как огромная толпа стояла тут не двигаясь и глядела на загоравшийся дом с противоположной стороны переулка.

— Батюшки! да никак это наша коммуна выносится, — сказала Стрешнева, заметив в двух шагах от себя Лидиньку Затц, сидевшую на груде узлов и мебели. — Ну, так и есть, вон и Малгоржан тащит сюда что-то!

— Лидинька! Здравствуйте! — крикнула ей Татьяна.

Затц обернулась. Лицо ее было нервно и встревожено. На нем явно отпечатывались испуг и растерянность.

— Ах, это вы!.. Здравствуйте, здравствуйте, миленькая! — быстро и взволнованно заговорила она, видимо обрадовавшись. — Голубушка, помогите, Христа ради!.. Выносимся… сейчас верно и у нас загорится… Помогите, покараульте вот… За всем не доглядишь, а у меня уж и то новое пальто украли… Эдакое бедствие!.. Ах, уж, кажется, если бы только узнать, кто эти мерзавцы поджигатели, вот бы уж, кажется, своими руками!.. Расстреливать эдаких извергов мало!.. Ведь тут народ, целый народ страдает!.. Подлецы эдакие!.. Но пальто мое… Господи! на прошлой неделе только двадцать пять рублей заплатила… и представьте, сейчас стащили вот… Эдакая обида!

Вдруг, в эту самую минуту из-под ворот послышались отчаянные крики: "держи!.. держи, братцы, держи!" и вслед за тем выскочила какая-то бледная, испитая, оборванная фигурка, без шапки, кутая что-то под мышкой, и тотчас же за нею появился Ардальон Полояров. Бледный и растрепанный, с горящими, ошалелыми глазами, он гнался во всю прыть за испитою, оборванною фигуркою и простирал вперед руки, силясь догнать и поймать ее.

— Держи, братцы, держи!.. Вор! Мазурик!.. Сейчас штаны мои из-под руки стащил! — вопил запыхавшийся Ардальон, вслед за которым, словно мячик, выкатился и Анцыфрик, пища во весь свой плюгавый голосенок. — Держи! штаны украл!.. штаны наши! Держи его!.. в

полицию!.. Батюшки!.. грабят!..

Толпа тотчас же задержала испитого мазурика, который, весь дрожа и приседая от страху, кидал вокруг себя дикие, молящие взгляды.

Полояров нагнал его и цапнул за волосы.

— Вот он, кто поджигатель-то!.. Вот он! — вопил Ардальон Михайлович! — Отдай штаны, подлец!.. Братцы помогите! Отымите! За что ж им грабить-то позволят!

Коммунисты гуртом бросились спасать Полояровские штаны. Толпа мигом окружила и Ардальона, и мазурика, и загудела своим смешанным, но зловещим гулом.

— Бей его!.. Бей, братцы! — раздавался сквозь этот гул озлобленно-растерянный голос Ардальона.

Несколько кулаков замелькали над головами широкими размахами, и вслед за тем всю душу раздирающий крик и жалобные стоны пронеслись над толпою.

— Уйдемте… Бога ради, уйдемте поскорей отсюда! — прошептала побледневшая Татьяна, прижимаясь к руке Устинова.

Они с величайшим трудом прокладывали себе дорогу. Иногда волна людской толпы захлестывала их собою, подхватывала и несла вперед своим собственным невольным движением, и в такие минуты было легче идти: приходилось только защищать свои бока, но самому продираться было уже не к чему: толпа несла сама собою.

Таким образом, и сами не понимая как, они вместе с захлестнувшим их потоком очутились на Чернышевской площади, пред пылающим министерством внутренних дел. Тут было несколько просторнее и потому сказывался кой-какой порядок. Груды бумаг и «дел» валялись на мостовой. Порывы ветра подхватывали их, рвали, кружили и разносили в стороны. Несколько студентов захватили пять или шесть извозчичьих дрожек и, навалив туда кипы этих бумаг, отвозили их под своим надзором в более безопасное место. Другие ловили и подхватывали на лету отдельные листы и отдавали их тем же студентам. Фасад министерства стоял под ветром и потому языки огненного пламени, выкатывавшиеся из всех окон верхнего и среднего этажей, плавно подымались вверх, и уже оттуда ветер метал их во все стороны. Сквозь пролетные арки соседнего дома министерства народного просвещения, несмотря на огонь адского пожара, порою открывалось вдали на несколько мгновений небо, все багровое от последних лучей заходящего солнца. Начинало смеркаться. В воздухе понемногу темнело, и вместе с синевою сумерек увеличивалось зарево пожаров. Оно становилось теперь каким-то грозным, зловещим, ярко-кровавым. Стаи голубей и листы бумаги все еще высоко кружились над пожарищем, мгновеньями сверкая под лучами огня своею яркою белизною. Иногда бумага казалась птицею, а птица бумагой. Вода в Фонтанке вся поворонела, и на мелких изломах ее зыби, словно на стальной чешуе, мириадами светлых точек, полосок и змеек играли отблески кровавого огня. По течению медленно плыли одна за другой три покинутые барки, наполненные дровами. Одна из них горела.

Устинов и Стрешнева молча, с какою-то обмирающею скорбью в душе, глядели на всю эту мрачную, ужасную картину.

Спиною к ним, в каком-нибудь шаге расстояния, остановились двое молодых людей и, по-видимому, любовались пожаром.

— Это тоже из коммунистов, — шепнула Татьяна, указав на одного из них глазами. — Я и другого, кажется, там встречала…

То были Моисей Фрумкин и Василий Свитка, нечаянно столкнувшиеся где-то на пожаре. Свитка, против обыкновения, щеголял теперь не в чамарке, а в обыкновенном пиджаке.

— А славно горит… Просто прелесть, какая картина! — с улыбкой обратился он к Моисею.

— Н-да! эффектно, черт возьми! — процедил тот сквозь сжатые зубы.

Какой-то пожилой, обрюзглый господин с рыжими усами и с чиновничьего кокардой на шапке, стоявший тут же по соседству, почти рядом с ними, свирепым взглядом поглядел на обоих, молча, но в высшей степени подозрительно.

Те однако, продолжая любоваться эффектом огня, не заметили этого взгляда.

— Quae medicamenta non sanant — ferrum sanat, quae ferrum non sanat — ignis sanat![103] — тихо, но веско проговорил Свитка.

Чиновник снова метнул на него подозрительный взгляд и стал прислушиваться.

— Это старая истина и, кажись, справедливая, — согласился Фрумкин. — А ведь, говорят, будто это поляки? а? — с улыбкой обратился он к приятелю.

Тот поглядел на него через плечо таким взглядом, в котором сквозила и насмешка и презрение.

— Вы полагаете? — сказал он. — Говорят тоже, будто русские студенты, но я этого не полагаю. Что же касается до поляков, то у них пока еще, слава Богу, есть другие средства борьбы; а на это дело и из своих, из русских, найдется достаточно героев.

— Н-да, северный исполин просыпается — с оттенком какого-то самодовольного самохвальства заметил Моисей Фрумкин.

— Да нам-то что до этого «исполина», до этого Росса-колосса! Ведь мы с вами не принадлежим к его туранской национальности, — с легкою иронией заметил Свитка.

— Конечно, я космополит в сущности! — поспешил объясниться Фрумкин, подметивший иронию приятеля и, как еврей, понявший, куда она метит. — Но ведь космополитизм не враг идей о национальности, если только эта идея подымается во имя революционного начала, в смысле общеевропейской революции.

Рыжие усы с кокардой очевидно ловили каждое слово этой неосторожной беседы.

— Ignis sanat,[104] - продолжал между тем Фрумкин. — Это конечно так! Средство слишком радикальное, но оно должно наконец подействовать, именно потому, что это радикально!

— А что ваша типография? — перебил его Свитка.

— Слава Богу, я успел застраховать ее! — мимоходом ответил Моисей и поспешил вернуться к дальнейшему развитию своей темы. — Как бы то ни было, но мы видим, что правительство бессильно, говорил он; — правительство не может и не умеет бороться даже и с этими пожарами: оно само горит. Сегодня, даст Бог, сгорят эти два министерства, а завтра, может, и

остальные. И народ тоже ведь очень хорошо видит и понимает это бессилие, он начнет завтра же презирать ту власть, которая сегодня не может и не умеет помочь народу. А между тем горят-то все не богатые, а самые бедные кварталы — значит, тотчас же возникнет пролетариат, с ненавистью к правительству и к капиталу, который не горит теперь, а выезжает на дачи. Пожары — вот вы увидите, окончательно раздражат народ и сделают его восприимчивее для принятия новых идей и порядков, — ну, и конечно, хочешь не хочешь втолкнут его в революцию. А ведь этого, в сущности, только и нужно, и с этой стороны я понимаю и даже оправдываю пожары.

Но не успел еще Моисей договорить последней фразы, как подслушивавший чиновник с яростью ухватил его сзади за шиворот.

— Братцы! Православные! Бунтовщик! Поджигатель! — закричал он на всю площадь своим хриплым басом. — Эй! Народ русский! Сюда! Ко мне! Я врага отечества поймал! В-р-р-рага отечества! Казни его, народ православный! Выдаю тебе его головою! Вот он!

Рыжие усы мощной рукой потрясали шиворот съежившегося Фрумкина, который, как ни старался вывернуться, однако ничего не поделал. Свитка же, чуть лишь заметил в самый первый миг эту руку, схватившую его знакомца, тотчас же юркнул назад и затерялся в толпе.

Несколько десятков человек самого разношерстного народа в ту же минуту плотно окружили со всех сторон чиновника и Моисея.

— Хвалил пожары! Говорит, что это хорошее дело, что он одобряет! — докладывал толпе поимщик. — Обыскать его братцы!

— Обыскать! Обыскать! — подхватили в толпе, и несколько рук запустилось во все карманы как смерть побледневшего Фрумкина.

— Вот оно!.. Вот!!. Нашел!.. Всю механику, братцы, нашел! — выкрикнул один голос — и перед глазами толпы появились мельхиоровая спичечница с желтым селитряным фитилем, пара сигар, какие-то пять порошков в аптекарских конвертиках.

— Это у тебя зачем имеются поджигательные снаряды? — допытывал чиновник в героической позе судьи и решителя. Хотя от этого оратора и сильно отдавало сивушным маслом, но толпа на такое обстоятельство не обратила ни малейшего внимания, которое было поглощено «поджигателем» и сделанными у него находками.

— Я тебя спрашиваю, для чего у тебя эти поджигательные снаряды? — продолжал яростный оратор-судья и следователь.

— Это спички… папиросы зажигать, — пробормотал вконец оробевший Фрумкин.

— Папиросы зажигать? А может, и столицу поджигать?

— Это так! «Поджигать»! Это верно! — гудели голоса в окружавшей толпе.

— А зачем у тебя эти порошки?.. Это, братцы, самый состав-то и есть, которым поджигают! — объяснил чиновник, обращаясь ко всему ареопагу.

— Боже мой… зжвините, это Доверовы порошки… позвольте, я проглочу один хоть сейчас же… вы увидите! — бормотал Фрумкин, тщетно ища себе хотя в ком-нибудь некоторой поддержки.

Но все глаза так предупреждение, так подозрительно и с такою злобою смотрели на него, что тут уж решительно нечего было ждать себе защиты.

— Православные! — хрипел между тем чиновник. — Я сам был земским заседателем по этим делам! Я знаю, что это зажигательный снаряд... Я сам все время слышал, как он хвалил пожары!.. Полицию сюда! Полицию!

— На што полицию! — отзывались в толпе, — с полицией лишняя возня, а лучше своим судом!

— Своим! Своим судом лучше! — подхватили десятки новых голосов. — В огонь его, душегуба, да и вся недолга! В огонь!.. Бери, братцы! Подхватывай!.. Чего ждать-то!.. Швыряй прямо в огонь-то!.. Псу песья и смерть! пущай подыхает! В огонь его! В полымя! Умел поджигать, умей и жариться таперя.

— Братцы!.. Я руссшкий... Я правошлавный... Я ув Бога верую! — молящим голосом бормотал Фрумкин, и спешно стал креститься для доказательства, что он и русский, и в Бога верует.

— Русский? — откликались ему в толпе. — Врешь, брат — жид! по голосу слышно!.. По роже видно, что нехристь! Небось, не надуешь!.. В огонь его, братцы!.. Берися!..

Десятка полтора охочих рук подхватили несчастного Моисея за руки и за ноги и потащили к огню, с намерением раскачать его и швырнуть в пламя.

В эту самую минуту, к счастию заметив особенное движение толпы, налетел на нее какой-то полицейский майор верхом и двое жандармов.

— Гасшпадин офицер! — гасшпадин офицер! Бога ради!.. Спасите!.. Невинного спасите! — громко молящим, отчаянным голосом взывал к нему Фрумкин.

Майор, с помощью жандармов, силою разогнал толпу, и все они тотчас же взяли под свою непосредственную опеку злосчастного космополита, о котором, впрочем, толпа почти тут же и позабыла: внимание ее в эту самую минуту всецело отвлеклось в другую сторону.

XXII. Ignis non sanat[105]

На площадь валила несметная масса народа. Гул сотен тысяч голосов разражался в потрясенном воздухе одним гигантским, единодушным криком — одним бесконечным «ура». Над этими массами развевались султаны нескольких всадников. Впереди был один. Он медленно подвигался вперед на своем коне, совершенно отделенный, отрезанный от остальных всадников живыми волнами плотной массы народа. Это ему кричали «ура» эти сотни тысяч грудей, поднятых одним восторженным порывом, одним стремлением. Это на него были устремлены эти сотни тысяч глаз, горевших одною мыслию, одной надеждой, одной верой и любовью. Русский народ встречал Русского Царя. Иной встречи и быть не могло: у них одна и та же радость и горе, одни и те же друзья и недруги, и это высшее единение чувствовалось инстинктивно, само собою, никем и ничем не подсказанное, никаким искусством не прививаемое: оно органически, естественно рождалось из двух близких слов, из двух родных понятий: *народ* и *царь.*

"Батюшка!.. Царь!.. Спаси!.. Заступись! Ты один наша надежда! Отец наш!" вопил народ, кидаясь к царскому стремени, и обнимая ноги государя. "Мы знали, что Ты с нами! Ты наш! Ты не оставишь... Мы все с Тобою! Все за Тебя! Не выдадим! Умрем — не выдадим!.."

И снова тысячегрудое, громовое "*ура*" потрясало воздух и заглушало свист и рев пожара.

С трудом прокладывая себе дорогу чрез волнующееся море народных масс, государь продолжал один, без свиты, оставленной далеко позади, медленным шагом ехать вперед. У Чернышева моста он на минуту остановил коня и огляделся. Впереди было море огня, позади море огня. Над головою свистала буря и сыпался огненный дождь искр и пепла — и среди всего этого хаоса и разрушенья раздавались тяжкие стоны, рыданья, вопли о помощи, о защите и могучее, восторженное, ни на единый миг не смолкавшее "*ура*" всего народа.

Все мысли, все взоры были теперь прикованы к лицу государя. Это лицо было бледно и величественно. Оно было просто искренно, и потому таким теплым, восторженным и благоговейным чувством поражало души людские. Оно было понятно народу. Для народа оно было свое, близкое, кровное, родное. Сквозь кажущееся спокойствие, в этом бледном лице проглядывала скорбь глубокая, проглядывала великая мука души. Несколько крупных слез тихо скатилось по лицу государя…

Народ видел эту скорбь, видел эти слезы. Быть может, никогда еще не был *он* так близок народу, так высоко популярен, как в эти тяжкие минуты всенародной беды. Не было такой непереходной преграды, которая бы не преодолелась, не было такой великой жертвы, которая не принеслась бы народом, с восторгом несокрушимой силы и любви, с охотой доброй воли, по единому его слову.

С этой минуты для народа *он,* один *он* был *все:* вне *его,* мимо *его* народ ничего не знал, ничего не видел. Старая историческая связь закрепилась теперь еще раз новыми узами.

19-го февраля 1861 года, они опознали друг друга в слове и деле свободы. 28-го мая 1862 года огонь пожаров закалил их нравственные узы. Горящий город, — все равно как и Москва 1812 года, — стал огненною купелью их взаимной силы и единения.

Быть может, ни раньше, ни позже, а именно в эту самую глубоко-скорбную минуту свершился тот нравственный кризис, тот благодетельный перелом в тифозной горячке общественного организма того времени, который потом с такою мощью и достоинством сказался на весь мир одним годом позднее.

Ignis non sanat. Это уже было решено. Кто думал иначе, тот был слеп. Но радикальное лекарство, действительно, произвело и радикальные последствия, — только совсем в другую сторону.

Новые массы, новые живые реки людей отовсюду стремились навстречу государю. Весть о том, что он сам здесь же, на пожаре, вместе со всем народом, как электрическая искра, пробегала в массах и крики «ура» оглашали воздух за версту и более расстояния от того места, где находился царь. Там его не видели, но чувствовали его присутствие.

— Слышите?.. Слышите эти крики? — говорила Татьяна с невольными восторженными слезами на глазах: она сейчас была свидетельницей этой встречи, этих порывов; она тоже и притом близко видела этот бледный, величественный облик, с медленно катящеюся слезой — и отзывчивое, простое и чуткое сердце ее дрожало тем же восторгом, тою же любовью, как и сердце всего этого народа.

— Да, точно: исполин просыпается! — отозвался ей Устинов! — да только проснется-то он вовсе не так и не за тем, как ждут и надеются господа Фрумкины!.. Любители народа!.. Показать бы их теперь этому народу! Пускай бы послушали, не кричит ли он по их рецепту: "да здравствует молодая Россия и русская социально-демократическая республика!"

XXIII. Кому и какие услуги оказаны пожарами

На следующие дни Петербург был похож на город в осадном положении: дымящиеся развалины, по всем площадям таборы погорельцев, груды пожитков, слезы и нищета, усиленные военные патрули, часовые с ружьями на скрытых и явных экстренных постах по всем улицам и во многих дворах. Ворота домов на запоре, дворники день и ночь на строгом дежурстве, повсюду наготове бочки, ушаты и ведра с водою. Ночью не дозволяют ходить по тротуарам, днем не пускают во дворы и на лестницы пока не скажешь к кому идешь — тогда один из дворников отправляется по следам и доводит до самой двери. Повсюду самая усиленная бдительность, и несмотря на это — 29-го мая загорелся от поджога Александрийский театр, в то время когда еще очень много было огня и на Толкучем, и в Троицком, в Щербаковом и в иных местах за Фонтанкой, а 30-го мая сделано более десяти поджогов. Сильный ветер благоприятствовал. В этот день сильно горели Пески, где дворники очень исправно караулили до пяти часов утра, а в этот час, по общему соглашению, отправились отдохнуть, — и через полчаса Пески загорелись. Пожар этот заранее был уже назначен подметными письмами на 30-е мая, что и исполнено в точности. Другие поджоги в тот день были: на Мещанской, около ломбарда, на углу Мещанской и Вознесенского, около склада аптекарских и москательных товаров, затем во дворе откупной конторы, где помещались большие запасы водки и спирта, два поджога в Коломне, в Большой Подьяческой и др. 31-го мая поджигали Первый Сухопутный госпиталь и Кушелевку, и тогда же были подброшены новые письма о предстоящих больших пожарах на 3-е июня и о поджогах пороховых погребов. Призывали экспертов для сличения рук, и те нашли, что все письма писаны одной рукой, но измененными почерками (прямее или косее). Поджигатели действовали неутомимо. — "Ишь ты, мореходы какие!" говорил народ; "по ветру действуют! Все ветра ждут". 1-го и 2-го июня все время шел дождь и потому поджогов, сравнительно, было менее. С этого же времени стала на десять дней совсем осенняя, свирепая непогода, Реомюр падал до 4 градусов тепла. Безостановочный, мелкий, осенний дождь и студеные ветры довершали несчастие погорельцев, которые ютились на площадях, под открытым небом, в грязи и мокроте, чуть не на морозе — и каких только проклятий не посылалось тут поджигателям!

Нравственное состояние жителей было возбуждено в высшей степени: чуть ли не в каждом прохожем подозревали тайного врага. За молодыми людьми следили повсюду, так что некоторые из студентов являлись в редакции газет, прося вступиться и защитить их печатным словом. Сцены кровавых уличных расправ и самосуда повторялись беспрестанно, так что просто опасно стало ходить по улицам. Ночью народ останавливал всякого, по малейшему подозрению, обыскивал и заставлял говорить: "Как ты говоришь-то, как выговор-от у тебя — русский ли?" До утра 1-го июня было взято девятнадцать человек по подозрению в поджогах и более четырехсот мелких воришек. О пожаре на Толкучем купец Александров, в лавке которого первоначально загорелось, дал показание, что "28-го мая, в пятом часу, пришли к нему в лавку четверо молодых людей, перебирали товары — все будто не находят что им нужно, пошли к нему наверх, рылись и ушли, купив на рубль разного хламу. Через четверть часа, услышав запах гари, Александров вышел посмотреть, не горит ли в соседнем трактире, который загорался накануне, возвращается в свою лавку — а уж оттуда дым валит". 1-го июня, в Александро-Невской лавре, в саду, монахи поймали молодого человека с зажигательными снарядами, спрятавшегося за куст. 1-го же июня были подброшены письма о том, что пожаров более не будет, так как народ русский оказался глуп до такой степени, что не мог понять высокой цели, для достижения которой они делались, и что поэтому отныне станут отравлять. Это уже была величайшая нелепость, какую только могла продиктовать безысходная, бессильная злоба; тем не менее весть эта наводила на легковерных ужас более даже, чем самые пожары. Народ ожесточался и свирепел с каждым днем все хуже и хуже ввиду этих

слухов и ежедневных новых поджогов. Петербург стал океаном сплетен и самых нелепых толков. Кто более трусил, тот более сочинял. Толковали, что дворник поймал на поджоге протопопа в камилавке; что поджигает главнейшим образом какой-то генерал, у которого спина намазана горючим составом, так что стоит ему почесаться спиною о забор — он и загорится; что за Аракчеевскими казармами приготовлено пять виселиц, и на одной из них уже повешен один генерал "за измену"; что пожарные представили одного иностранца и одного русского, которые давали им 100 р., чтобы только они не тушили Толкучего рынка; что семидесятилетняя баба ходила в Смольный поджигать и, схваченная там, объяснила на допросе будто получила 100 рублей, но не откроет-де, кто дал ей деньги, хошь в кусочки искрошите; что Петербург поджигает целая шайка в триста человека, и что видели, как ночью Тихвинская Богородица ходила, сама из Тихвина пришла и говорила: "вы, голубчики, не бойтесь, эфтому кварталу не гореть". Николая Чудотворца тоже видели ночью, — "ходит, оберегает". Толковали также и в народе, и в газетах, будто 29-го мая, в третьем часу пополудни, ехал в дрожках мимо министерства внутренних дел молодой человек, с небольшой бородкой, хорошо одетый, в статском пальто, и будто он бросил небольшой шар или клуб, который высоко прыгнул и потом упал, не зажегши ничего. Бывшие тут немногие люди закричали "держи! лови!" но неизвестный успел уже ускакать. Один из служащих в министерстве (некто П., как назвало "Наше Время") представил-де этот шар по начальству, и оказалось, что «бомба» сделана из трута, напитанного внутри разными веществами, как маленькие курительные свечи, но не черного, а бурого цвета, и будто люди, сведущие в химии, объявили, что бомба могла быть сделана не иначе-де, как в химической лаборатории. Та же газета сообщила, что в комиссии о поджогах один из членов будто бы говорил о необходимости пыток, но прочие-де не согласились на это. Подметные письма посыпались по городской почте и разбрасывались по улицам. В комиссии была собрана их огромная пачка, в которой иные оказались писаны на плохом французском языке, а иные даже в стихах.

И в это же время приходили официальные вести о больших пожарах из провинции: 27-го мая сгорели присутственные места и половина города Боровичей; 27-го же мая, во время обеден, горел Могилев, при сильном ветре, причем уничтожено 24 здания. 30-го мая горел Малый Ярославец. 31-го мая, ночью, горел Чернигов, где погибло 27 домов, 17 флигелей, 133 номера лавок и некоторые присутственные места. Москва тоже не избегла общей участи: 24-го мая, в полдень, Пятницкой части в доме Васильевой произошел пожар в холостом деревянном строении с дровами, соломою и угольями. Причина пожара осталась неизвестною. В тот же день, в 9 часов вечера, горели мясные ряды на Миусской площади, где вдруг, и тоже от неизвестной причины, загорелся под навесом лесной материал. В тот же день, когда еще не кончился пожар в рядах, загорелся в третьем часу ночи дом Масловой, Серпуховской части, где, точно так же от неизвестной причины, огонь показался в сенях. В ночь на 29-е мая, в первом часу, Серпуховской же части, вдруг загорелась тесовая обшивка домового угла у мещанина Антонова, и тоже от неизвестной и совершенно непонятной причины. — Все это усиливало панику не только народа, но и страховых обществ, из которых некоторые отказывались принимать на страх имущества. Народ негодовал на медленность следственной пожарной комиссии и громко требовал мести. Каждое утро все, бывало, кидались на полицейскую газету: нет ли там объявления о казнях. Всюду высказывалось нетерпение, ропот на следователей, на юстицию. Вчерашние либералы вдруг заговорили о том, что надо вешать и расстреливать, что надо пытать хоть двух или трех из пойманных поджигателей; вчерашние ярые прогрессисты сегодня вдруг превратились в ярых ретроградов, и сами не подозревали при этом, сколько комизма было во вчерашнем их радикальном либеральничаньи и в сегодняшней внезапной метаморфозе, и сколько гнусного в этом требовании казней и пыток.

31-го мая, в 8 часов утра, вывезли на Мытнинскую площадь гвардейского офицера Владимира Обручева для публичного объявления ему приговора. Он присуждался к каторжной работе за

распространение «Великоросса». Площадь была полна народом, и в этой массе слышалось злобное рычанье, ропот на то, что мало казнить таким образом, а следует вешать, вешать за ребро на железный крюк. Когда же каторжная шапка, надетая палачом на осужденного, нахлобучилась ему на глаза — в народе вдруг раздался хохот... Факт безобразный и доселе никогда не бывалый в народе, у которого для преступника, каков бы он ни был, нет имени *злодея,* а существует человеческое слово *несчастный.* Но этот, сам по себе возмутительный, факт слишком ярко рисует каково было в те дни общее настроение массы, какова была сила народного озлобления.

Заграничная пресса тоже очень много занималась пожарами. «Siicle»[106] совершенно серьезно рассказывал, например, что Петербург телеграфировал Москве: "Горю! пришлите трубы!" в ту самую минуту, как Москва слала ему депеши: "Пожар! тушите!" — Но странное дело: в заграничной прессе было всеобщее убеждение, что наши пожары суть дело особой пропаганды, особого комитета и имеют исключительно политическую цель.

* * *

Погорельцам немедленно были отведены разные казенные помещения, казармы, манежи, и были розданы пятьсот палаток, которые тотчас же раскинулись табором на Семеновском плацу и на самом пожарище. В этих таборах тотчас же возник новый торг. Но убытки толкучного пожара были громадны: они простирались за шестьдесят миллионов рублей серебром. Более двадцати тысяч человек сидельцев, приказчиков, мальчиков, рабочих, хозяев ларей остались положительно без куска хлеба. Толпа этого народа несколько раз собиралась у станций Царскосельской железной дороги и ждала государя, а когда государь выходил на крыльцо, она становилась на колени и кричала "ура!", вопя в то же время о хлебе и защите. 8-го июня в табор погорельцев на Семеновском плацу приехала государыня, останавливалась у множества лавок, покупала разную мелочь и платила с избытком наиболее нуждавшимся.

С **31-го мая** Петербург разделился на три военные генерал-губернаторства, и издано повеление о том, чтобы всех, кто будет взят с поджигательными снарядами и веществами, а равно подстрекателей к беспорядкам судить полевым военным судом в 24 часа, с предоставлением военному генерал-губернатору права конфирмовать и приводить в исполнение приговоры военного суда.

В Исаакиевском соборе митрополит Исидор совершил молебствие об отвращении бедствий, и такие же молебствия ежедневно отправлялись во всех церквах. Со всех ступеней общества стали стекаться пожертвования в пользу погорельцев и вскоре доросли до весьма значительной цифры.

Вскоре после грозного объявления о полевом военном суде пожары совершенно прекратились, а между тем последовало несколько вызванных исключительно ими правительственных мер весьма знаменательного свойства.

3-го июня объявлено о закрытии Самсониевской и Введенской воскресных школ и об учреждении особой комиссии для исследования действий их преподавателей и распорядителей. В объявлении, опубликованном по этому поводу "Северной Почтой" сказано: "Показаниями фабричных работников обнаружено, что в этих воскресных школах преподается учение, направленное к потрясению религиозных верований, к распространению социалистических понятий о праве собственности и к возмущению против правительства. Два работника, сперва посещавшие Самсониевскую, а ныне посещающие Введенскую школу, позволили себе возмутительные толки, отзываясь о политических переворотах, о пользе пожаров, о надобности сжечь весь Петербург" и т. п.

6-го июня всем начальникам губернии предоставлено право судить полевым военным судом поджигателей и раскидывателей угрозливых подметных писем.

6-го же июня закрыть Шахматный клуб. В объявлении было сказано, что это распоряжение состоялось "в видах прекращения встревоженного состояния умов и к предупреждению между населением столицы не имеющих никакого основания толков о современных событиях". "В Шахматном клубе, говорило официальное объявление, происходят и из него распространяются те неосновательные суждения".

В тот же день закрыты все народные читальни. В объявлении говорилось, что "мера эта принята вследствие замеченного вредного направления некоторых из учрежденных в последнее время народных читален, кои дают средства не столько для чтения, сколько для распространения между посещающими их лицами сочинений, имеющих целью произвести беспорядки и волнение в народе, а также для распространения безосновательных толков".

8-го июня было объявлено о закрытии воскресных школ и других училищ, учрежденных при войсках, для лиц, не принадлежащих к военному ведомству. "Несмотря на все установленные правила для надзора за воскресными и бесплатными школами, говорилось в объявлении, ныне положительно обнаружено, в некоторых из них, что под благовидным предлогом распространения в народе грамотности, люди злоумышленные покушались в этих школах развивать вредные учения, возмутительные идеи, превратные понятия о праве собственности и безверие. Государь император, имея в виду, что при многих воинских частях также учреждены воскресные бесплатные школы, что по затруднительности за ними надзора, злоумышленные люди могут и в этих школах проводить вредные и ложные учения, что притом обнаружены уже некоторые преступные покушения увлечь и нижних чинов к нарушению долга службы и присяги, высочайше повелеть соизволил, в предупреждение могущих быть пагубных последствий, ныне же закрыть все учрежденные при войсках воскресные школы и вообще всякие училища для лиц, не принадлежащих к военному ведомству, и впредь никаких сборищ посторонних людей в зданиях, занимаемых войсками, отнюдь не допускать".

12-го июня объявлено о закрытии воскресных школ и читален во всей Империи, вследствие обнаруженного во многих из них подобного же направления.

14-го июня объявлено о закрытии недавно учрежденного при "Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым" особого отделения для вспоможения студентам. В этот же день объявлено высочайшее повеление о том, чтобы "чтение публичных лекций в Петербурге впредь разрешать не иначе, как по взаимному соглашению министров внутренних дел и народного просвещения с военным генерал-губернатором и главным начальником III-го отделения".

Вскоре был напечатан приказ и о том, что трое офицеров гвардейского саперного баталиона предаются военному суду за содействие, против порядка службы, к уничтожению бумаг, имевшихся при бывшем студенте Петербургского университета Яковлеве, во время его арестования, 10-го мая, когда означенный Яковлев, придя в казармы лейб-гвардии саперного баталиона, старался возмутить нижних чинов оного.

* * *

Петербургские пожары кончились, но толки о них и повсеместная паника долго еще не проходили в обществе. Всех вообще поражало это холодное, как бы обдуманное и последовательное действие поджогов, которое невольно указывало на существование целого систематического плана. Горели почти исключительно кварталы бедного работящего

населения, горел рынок, исключительно удовлетворявший самым первым, насущно-необходимым потребностям бедного класса. Кто винил агитаторов особого рода, а кто простых мошенников; но против последнего обвинения даже и в литературе возражали недоумением, что для чего бы-де мошенникам жечь бедняков, у которых и грабить-то нечего, тогда как кварталы богатых людей остаются нетронутыми: для чего им жечь Толкучий, когда он искони служил для их сбыта единственным и незаменимым притоном? Иностранная же печать, как сказано уже, видела тут исключительно политические цели, желание вызвать насильственно пролетариат, который помог бы государственному перевороту. Комиссия, составленная для исследования причин пожаров, канула словно в воду, и все ее действия, несмотря на громкие требования газет, журналов и общественного мнения, несмотря на лихорадочное ожидание всего населения Петербурга, всего русского общества, не опубликовала результатов ни своих действий, ни своих сведений. Отчего это вышло так, а не иначе — никому не известно. "Journal de St.-Petersbourg",[107] от 19-го июня, напечатал даже статью, предназначенную специально для успокоения толков европейской печати, из которой можно заключить, что никаких особенных пожаров, вызванных поджогами, в сущности, пожалуй, и не было, и что пожары в России составляют слишком обыкновенное, всегдашнее явление. В последнем, конечно, нельзя не согласиться с этим журналом.

Итак, на вопрос: кто же, наконец, поджигал Петербург и был ли он поджигаем? — ныне, по прошествии нескольких лет, оставаясь строго добросовестным, можно ответить лишь одно: *мы не знаем.* Мы только правдиво и беспристрастно сгруппировали факты, заимствованные преимущественно из официальных данных.

XXIV. Накануне чего-то нового

После пожаров вдруг наступило какое-то мрачное затишье. Время от времени слышно было, что того-то и того-то взяли жандармы, а такой-то сидит в крепости. Таким образом были взяты и посажены несколько довольно видных и даже крупных литературных деятелей радикальной партии.

На все общество, как тихая, непросветная туча, наплыла тяжелая паника: иные ждали каких-то новых бедствий, иные новых арестов… Разговоры стали тише, таинственнее.

16-го июня во рву Новогеоргиевской крепости были расстреляны офицеры Арнгольдт, Сливицкий и унтер-офицер Ростковский, за распространение в войсках возмутительных воззваний, а накануне их казни в Петербург пришла из Варшавы телеграмма, извещавшая, что в Саксонском саду ранили пулею сзади, в шею, наместника Царства Польского генерала Лидерса. 16-го же числа на место Лидерса был назначен великий князь Константин Николаевич.

* * *

Был холодный, дождливый вечер, в конце июня месяца, который в этом году весь выстоял сырой и холодный. В гостиной у Стрешневых собралось маленькое общество: тетка с племянницей да Устинов со старым майором.

— И вы не шутя говорите, что пришли проститься? — полугрустно и полунедоверчиво глядя на Лубянского, сказала Стрешнева-тетка.

— Завтра-с или много что послезавтра еду, — с легким наклонением головы улыбнулся в ответ Петр Петрович.

— И так внезапно, неожиданно!

— А что ж? Долго ли нашему брату, солдату-то старому, в поход собраться! Дело привычное!

— Да что вам за охота? Ведь там время теперь такое смутное…

— Эх, да ведь надо ж с собой делать что-нибудь! — беззаветно махнул рукою Лубянский. — Ведь меня тоже тоска взяла жить-то так, как я живу! Сами вы посудите, сударыня, что бы я стал делать? Вернуться в Славнобубенск — ну, претит мне это! Не могу! И думал уж было, да не могу!.. И вы сами, конечно, хорошо понимаете мои чувства, отчего и почему не могу я… ведь там мне на каждом шагу…

Майор не договорил, но по лицу его скользнуло что-то сдавленное, горькое, колючее.

Старуха в ответ ему сочувственно качнула головой. Она, действительно, понимала, что возвратиться в Славнобубенск и жить там по-старому было для него очень трудно и больно: кроме толков и пересудов про дочку, пересудов и злых, и фальшиво-сочувственных, и равнодушно-вздорных, на которые ему невольно приходилось бы ежедневно натыкаться, там каждый уголок в его домишке, каждая вещица служили бы неотвязным и горьким воспоминанием про нее и про ее преждевременную потерю. Возвратиться туда значило бы, вместо возможного успокоения, самому идти на бесконечное, ежеминутное усиление боли самой чуткой, самой больной струны его сердца…

— Оставаться здесь тоже не по сердцу мне как-то, — продолжал майор. — Ведь кроме вас двух да Андрея Павловича у меня никого и ничего здесь нету. Да и вы ведь не вечно же в Петербурге. А тут дляменя и жизнь, и люди — все какое-то не свое, все чужое. Куда же деваться? — Силы, слава Богу, еще есть и здоровья хватит; дряхлость еще не совсем одолела. Пока дочка была на свете — ну, думал, для нее жить стану, замуж выдам за хорошего человека, а тогда уж на покой… Ну, видно, не суждено было этого!.. А ведь с самим собою надо же как-нибудь распорядиться человеку, я и решился…

— Да как это вы, право, надумались так быстро, я и в толк себе не возьму! — развела руками старуха.

— А как надумался? — очень просто, сударыня! — пояснил майор. — Недели с две тому назад иду я как-то по Садовой, мимо комендантского управления, а оттуда из подъезда в это самое время выходит полковник какой-то. Воззрился это я на него совсем машинально, только чу! — как будто лицо что-то знакомое… Гляжу и он на меня тоже эдак пристально смотрит. "Петр Петрович! ты ли это?" говорит. Тут я его сейчас по голосу-то и признал: Пчельников — старый, закадычный приятель, однополчанин. Ну, обнялись мы это, расцеловались… Ведь и немудрено, сударыня: на Кавказе-то у нас, бывало, приятельские отношения не на фу-фу установлялись! Из одного котелка кашицу хлебали, на одной бурке спали, у одного костерка отогревалися. Это истинно сказать, что братская армия была!.. Ну, затащил он это меня сейчас же к себе, обедать оставил. Разговорились мы. Как и что ты? спрашиваю. — А так и так, говорит, полком ныне командую, в Польше стоим, а сюда в двадцативосьмидневный отпуск по делам прикатил. Пошло на откровенности… ну, тут и я старому другу про свои невеселые истории рассказал. А я вам скажу, сударыня, что если человек сирота сиротой на свете, так это самое одиночество-то его никогда ему не покажется грустнее, как если вдруг встретишься со старым товарищем, с которым ты делил когда-то свои лучшие, светлые дни, да как если разговоришься по душе про все это!.. Горько и мне в ту пору стало!.. Разболтались про былое, про полк, про левый фланг, про товарищей, да про экспедиции — расшевелило меня все это не на шутку! А он мне и говорит: что тебе, говорит, так-то по свету чужаком скитаться! — все равно бобыль! Ступай-ка

лучше опять на службу царскую! Я, говорит, не моложе тебя, а служу еще; отчего и тебе не служить бы? Ступай, говорит, ко мне в полк; при первой вакансии баталион получишь. Жизнь, говорит, тебе знакомая, своя родная, и по крайности будешь не один, а со мною; а я старый холостяк — тоже, значит, бобыль! И так он мне это тепло да радушно предложил, так это сказалось у него от сердца, по-братски, что меня не на шутку раздумье взяло. Стали мы это судить, рядить, и то и сё, забрала меня охота; значит, вновь защекотала старая жилка. Что ж, думаю себе, силы, и в самом деле, есть еще довольно, маяться по свету скучно без дела… А и то сказать, признаться откровенно, такая на меня порою, после Нютиной смерти, тоска находит, что рад бы в омут; а тут все ж таки дело какое ни на есть, занятие по душе, старый товарищ… Подумал я это, взвесил все и решился. Я даже сердечно рад, что так неожиданно и такой счастливый исход представился. Это просто спасение мне… просто, я так считаю, Божий промысел надо мною!

— И вы уже все порешили и все устроили? — не без удивления пожала плечами старуха.

— Господи, да много ли на это времени-то надо! — улыбнулся майор. — Прошение в инспекторский департамент на другой же день подали, Пчельников похлопотал, и завтра или послезавтра, я думаю, уж в «Инвалиде» будет приказ пропечатан. Я вместе с Пчельниковым и еду.

Старуха только головою качала.

— А я так от души завидую даже Петру Петровичу, — вмешался Устинов. — И право, блажен человек, если в эти годы еще находит в себе столько силы и воли, чтобы сыскать себе дело по душе и взяться за него! Оно ведь все же *дело* и притом честное. Там-то ведь все-таки настоящая, живая жизнь, а здесь-то что!.. Куда ни оглянись — везде один лишь повальный и бесконечный сумбур! Ряд величайших и самых нелепых противоречий слова с делом, дела с живою жизнью и здравым смыслом! Кабы только возможно — я рад бы не знаю куда бежать от этого сумбура, да жаль, что некуда!

— Экой вы непоседа! — шутя улыбнулась Татьяна. — Из Славнобубенска бежит в Питер, а теперь отсюда рад бежать.

— Ну, уж не от вас бы это слышать! — вскинул на нее глаза Устинов. — Что ж, по-вашему, здесь прекрасно?

— Да ведь и везде все то же! В Славнобубенске разве не тот же сумбур?

— Мм… То есть, как вам сказать!.. Там он наивнее, там он более бессознателен. Там скорее одни только отголоски того, что творится здесь. В Славнобубенске стадо, а вожаки пасут его в городе Санкт-Петербурге. И кто же вожаки-то? — Смешно и стыдно сказать! — Полояровы с Анцыфриками!

— Ну, где же Полояровы!.. Разве это вожаки? — усомнилась Татьяна.

— А разве нет, спрошу я вас в свою очередь? Разве то, что проповедует Полояров, не слушается и не принимается тысячами голов? Я согласен, что очень обидно за то общество, где голоса Полояровых могут иметь такое значение, но разве вы сами не видали множества примеров?

— Что ж это доказывает? — спросила Стрешнева.

— Это доказывает то, что наше общество теперь находится в каком-то диком, угарном чаду — это своего рода хмель, оргия, — и что необходим хороший нашатырный спирт, который

отрезвил бы его. Нам нужна добрая встряска, чтобы мы очнулись, и я не знаю, откуда она придет: изнутри или извне и что именно послужит в этом случае отрезвляющим спиртом, но что это будет, что это случится и довольно скоро, в том, кажется, не должно быть сомнений. Так продолжать невозможно, и никакое общество не может жить в подобном угаре... Я удивляюсь только одному, — несколько помолчав, опять обратился Устинов к Стрешневой, — как это вы, с вашим простым и ясным здравым смыслом, могли сойтись с этими "новыми людьми"? Как вы могли так долго заблуждаться на их счет? Неужели же вы не разглядели, что такое, в сущности, все эти Фрумкины и Малгоржаны? Вот что мне странно!

— Андрей Павлович, — серьезно начала в ответ ему Татьяна. — Во-первых, вы сами, и притом один только вы, лучше всех знаете те побуждения, какие свели меня с ними. Мне казался в них призрак серьезного, насущного и хорошего дела, а я бездельем страдаю. Это одно. А во-вторых, не все же там были Фрумкины да Малгоржаны. Было кое-что посильнее и посерьезнее. Ведь не я одна заблуждалась: так же точно заблуждалось множество мне подобных!

— Кто же именно в них посильней и посерьезнее? — пожал плечами Устинов.

— Кто? А например хоть этот Лука Благоприобретов. Признаться сказать, если что и заставило меня поближе подойти к ним, там именно эта оригинальная личность, с ее фанатической верой, с ее упорным трудом. Ведь это же человек честный, а он был для меня совсем новым, невиданным явлением жизни. Вот, если хотите, мое оправдание.

— И вы... немножко увлеклись им?

Татьяна слегка вспыхнула.

— Нет, — ответила она твердо и просто. — Я только старалась разглядеть; другого у меня не было; но... при других обстоятельствах... сложись моя внутренняя жизнь не так странно и капризно, как она теперь сложилась, что же?.. быть может, я и могла бы им увлечься!

Устинов несколько мгновений раздумчиво поник головою.

— Нет, Татьяна Николаевна! — поднял он наконец на нее грустные, но в то же время ясные взоры. — Все это не то! Не то, чего вам надобно! В вас сидит просто себе хорошая русская женщина; вы все дела себе ищете, а его пока еще нет... Погодите, придет и оно! Сама жизнь обнаружит его пред вами, без всяких особенных исканий. Дело, быть может и скоро, всем найдется; быть может, оно будет и не громкое, не блестяще-героическое, да зато прочное и честное, и серьезное дело! Не отрывайтесь только от родной почвы и не ищите его в заоблачных сферах, в теоретических утопиях; сама жизнь, но только не такая, как здесь теперь, а простая, трезвая жизнь приведет живого человека к живому и трезвому делу. А теперь... (Устинов вздохнул, как бы высвобождая грудь из-под какой-то тяжести), теперь бы вон отсюда, из этого города!.. Посмотрите, какая грустная темень, какой гнет повсюду... холодно, неприглядно... и этою гарью, гарью удушливою в воздухе пахнет... Нет, ей-Богу, счастливый майор, что может убежать отсюда!..

XXV. Ввиду возможности беспечального будущего

Анзельм Бейгуш создал сам себе тайник нравственной муки. С той минуты, как в Сусанне исчезла для него *москевка* и возродилась женщина, называвшаяся его женою, эта сокровенная мука стала грызть его душу. Пред всепобеждающим сознанием любви и самоотвержения этой женщины исчезали и рассеивались как дым все софизмы, все оправдательные доводы, созданные теорией Слопчицького. — "Она недалека, *она* всегда казалась мне такою, — думал

Бейгуш о своей жене; — пусть будет так!.. Но много ли на свете умных женщин с таким сердцем!.. И что тут ум, если все ее недостатки она способна восполнить одним своим чувством, этою бесконечною любовью!"

Быть может, он теперь идеализировал себе свою жену; быть может, ее самоотверженный поступок проистекал из побуждений более простой сущности, потому что и в самом деле, будь Сусанна поумнее, она, быть может, невзирая на всю свою прирожденную доброту и на всю свою страстность к Бейгушу, не поддалась бы столь легко в подставленную ей ловушку: все это конечно было так; но теперь и эта идеализация со стороны Бейгуша была понятна: ее подсказывало ему собственное его самолюбие, собственная гордость: "это, мол, *меня* так любят, это *для* меня приносят такие жертвы, не задумываясь ни единой минуты!" Одно лишь было тут ясно: это — безгранично добрая любовь. "А в ответ на такую любовь нельзя надругаться над женщиной!" — думал себе Бейгуш. "Если даже она и сама не сознает, не понимает вполне всего значения своего поступка; если он с первого мгновенья казался ей таким легким, таким простым и естественным делом, то даже это самое непониманье еще более возвышает силу ее любви. И ты… ты не стоишь этой женщины, ты подлец, обманщик, вор пред нею! Смейся теперь, если можешь! Издевайся над нею! Превозноси себя за свою собственную низость! Низость во имя патриотизма!.. Что ж ведь побуждение высокое? ведь так? Ведь ты же был убежден, что для славы и свободы отечества все средства хороши и позволительны? — И что же! Несмотря на все это, в душе у тебя все-таки сидит кто-то, который шепчет тебе ежеминутно «подлеца» за твой патриотический поступок!"

— Нет, подлецом я не буду!.. Еще есть время… еще не все для меня кончено! — с твердым убеждением говорил Бейгуш самому себе, говорил и… все-таки молчал пред Сусанной, все-таки таил у себя ее деньги.

"Надо отдать их! Надо признаться!.. Но как признаться? Как язык-то повернется на такое признанье?.. И неужели она простит и это?.. Простит! Простит наверное! Но тем-то оно горше для собственной твоей совести! Если бы возможно было тотчас же расстаться, разойтись заклятыми врагами, это, кажись, и лучше, и легче бы мне было; но встретить в ответ на твою низость всепрощающий, любящий взгляд — это ужасно, это невыносимо!"

Бейгуш словно бы стоял теперь на распутии: пред ним две дороги, и он знает, что по которой-нибудь надо же наконец, неизбежно надо идти; но по которой? Сомненья нет, по той, которая прямее и честнее; но как ступить на нее? как сделать этот тяжкий первый шаг? Он знал, что это *надо,* но пока еще стоял и медлил на распутии, желая и не решаясь занести ногу. И так-то изо дня в день в душе его беспрестанно подымался целый ряд роковых вопросов, сомнений, мучений совести, укоризн, а тихая семейная жизнь текла между тем для него своею ровною и скромною чередою. Сусанна и не подозревала, что творится в душе ее мужа. Видя порою его угрюмую и как будто озлобленную мрачность, а порою глубокую, молчаливую тоску, она в простоте сердца думала, что он все томится по своему злосчастному проигрышу, и потому всячески старалась, насколько могла и умела, облегчить его грусть, рассеять тяжелую думу, утешить его хотя бы своею собственною беспечальною верою в светлую, безбедную будущность.

— Ну, стоят ли эти глупые деньги, чтобы убиваться о них таким образом! — говорила она ему порою, с такою светлою, искреннею улыбкою. — Я, ей-Богу, никогда не давала им уж такой особенной цены. Ну, проживем как-нибудь!

— Как? — грустно улыбался в ответ ей Бейгуш.

— Ну, как-нибудь!.. Я уж не знаю там… Живут же люди!

"Разве обрадовать ее?.. Сказать, что деньги здесь, у меня, целешеньки?" — мелькала ему светлая мысль. И как самому-то хотелось в эти минуты облегчить себя полным, искренним признанием! Вот уже это признание почти совсем готово, вот уже оно вертится на языке, само высказывается в глазах, но... Бог знает почему, только чувствуется в то же время, что в этом признании есть что-то роковое — и слово, готовое уже сорваться, как-то невольно, само собою замирает на языке, а тяжелая дума еще злее после этого ложится на сердце, в котором опять вот кто-то сидит и шепчет ему страшное название, и дарит его таким бесконечным самопрезрением.

Ни одной жалобы, ни одного упрека за все это время не вырвалось у Сусанны. Бейгуш ждал, что так или иначе непременно будет и то, и другое, но ожидания его оказывались напрасны. Он стал замечать в жене даже нечто противное своим ожиданиям: она, незаметно от него, старалась экономничать и суживать не только свои прихоти, но и потребности, зачастую отказывая себе даже в извозчике.

— Сусанна, тебе бы нужно новую весеннюю шляпку, — говорил он ей, например, замечая, во время прогулки, что она с живым любопытством останавливает глаза на соблазнительных окнах модных магазинов.

— Нет голубчик мой, у меня и прошлогодняя еще очень хороша! — торопилась она успокоить и умерить его желание, тогда как самой — смерть как хотелось бы пощеголять и в новой шляпке.

Бейгуш очень хорошо все это видел, чувствовал и понимал. Собственное сердце и чувство справедливости невольно подсказывали ему, что за всю эту простую, бескорыстную любовь надо платить хоть ответною доброю лаской, — и он, почти сам того не замечая, стал платить ею Сусанне и легко, и охотно. Таковой переворот совершился в нем исподволь, но прочно, потому что это было естественно. Тихая супружеская жизнь, с ее уютной обстановкой, начинала уже ему нравиться. Подчас, мечтая с самим собою, он уже стал находить в ней влекущую прелесть, впереди уже мерещилась ему возможность спокойного счастья... И эта возможность действительно была, потому что Сусанна чувствовала над собою превосходство его нравственной силы, потому что ей нужно было, и она даже сама хотела, чтобы ее "в руках держал" тот, кого она любит, потому что, наконец, в Бейгуше были все данные, необходимые для этого, данные, которых- увы! совсем не обреталось ни в покойнике Стекльштроме, ни в восточном кузене Малгоржане. Впрочем, ни того, ни другого она, в сущности, никогда не любила. Настоящее, действительное чувство — насколько была способна по-своему чувствовать Сусанна — впервые пришло к ней только с Бейгушем.

"Надо бы только как ни на есть выйти из этой лжи, из этого гнусного, фальшивого положения", думал себе Бейгуш в минуты своих мечтаний, "а там... там будет и мир, и покой... и счастье..."

Наконец, в одну счастливую минуту посетила его мысль о такой удобной комбинации, которая даже сразу разрешила бы всю тяжесть его ложного положения.

"Так и быть!" решил он сам с собою, "куда ни шло, но... надо сыграть еще одну и уже последнюю комедию в своей жизни!.. Надо уловить первую подходящую удобную минуту и открыть ей, что деньги целы, что вся эта история с проигрышем была не более как комедия... комедия, которую я разыграл, желая испытать ее... испытать, насколько она любит, на сколько может простираться ее самоотвержение... Надо — увы!.. надо обмануть еще один, но уже последний раз!.. затем... затем возвратить ей деньги и, если можно, постараться навсегда уже жить с нею честным человеком!"

XXVI. Выборы в "военном кружке"

В самый день этого счастливого, по мнению Бейгуша, решения, он совершенно неожиданно получил небольшую записку от капитана Чарыковского, который приглашал его на нынешний вечер, отложив все текущие дела и занятия, непременно явиться к назначенному часу, для весьма важных и экстренных совещаний, в Офицерскую улицу, в квартиру, занимаемую четырьмя слушателями академии генерального штаба, где обыкновенно собирался, под видом "литературных вечеров", польский "военный кружок Петербурга".

Бейгуш отправился, торопясь не опоздать к назначенному часу.

"Кружок" был почти уже в полном сборе. Поджидали еще только двух-трех человек, так как Чарыковский не хотел открывать совещаний, пока не будут налицо все приглашенные. Все пять комнат были наполнены исключительно военными разного рода оружий и специальностей. На большинстве из них красовались академические эксельбанты и «ученые» кантики по низу бархатных воротников. Тут были инженеры и путейцы, артиллеристы и телеграфные, и горные, пехота и кавалерия, гвардия и армия, круглым числом до сорока офицеров. В комнатах было дымно от папирос и шумно от самого разнообразного, но почти исключительно польского говора.

Наконец, когда все уже оказались в сборе, капитан Чарыковский занял председательское кресло в зале, на конце большого раздвижного стола, и громким звонком призвал всех наличных членов к тишине и вниманию.

Зала переполнилась народом. Каждый торопился занять себе место поудобнее: на стульях, на подоконниках, но большинство теснилось у стола, поближе к председателю.

Через минуту наступила достодолжная тишина, и капитан Чарыковский, положив перед собою какие-то бумаги, не без торжественности поднялся со своего кресла.

— Панове-братья! — начал он громко и самоуверенно, не глядя ни на кого, помимо всех устремляя спокойный взор в противоположную ему стену.- 21-го июня в 11 часов вечера, как всем вам уже известно, варшавская телеграмма принесла сюда известие, что новый наместник, великий князь Константин, ранен из пистолета. Тому прошло уже пять дней. Сегодня утром мы получили из Варшавы сообщения, которые собственно и вызвали наше экстренное собрание. Положение там натянуто до последней возможности; так что народный взрыв может случиться ежеминутно. Но... если Польша готова к поголовному взрыву, то и русские войска, вероятно, готовы к сопротивлению, а вы сами солдаты, стало быть понимаете, что каков бы ни был этот взрыв, ему трудно, почти невозможно устоять против нескольких баталионов регулярного войска. Варшава требует от нас организаторов, инструкторов, офицеров, довудцов. Она требует, чтобы мы как можно скорее высылали военных агентов и в Конгрессувку, и в Литву, и в Киев, и в Житомир. Народовое войско готово, есть и оружие, и запасы, но нет еще офицеров, нет организаторов. И тех, и других в вашем лице подготовила сама Россия для нашей отчизны. Наше время, господа, приспело; надо торопиться. И я от себя точно так же повторяю вам: надо торопиться! И вот по каким именно соображениям: до самых последних дней наши миссии и наша пропаганда, как нельзя успешнее, подготовили русское общество к сочувствию нашему святому делу. Европа уже давно за нас; но вы конечно согласитесь, что сочувствие громадного числа москалей гораздо будет поважнее для нас, чем сочувствие Европы! Масса москалей своим голосом очень может сделать то, что правительство не осмелится решительно противодействовать нам, оно должно будет уступить, будучи раздавлено общественным мнением своего же собственного народа, тем паче, когда оно увидит в рядах наших бойцов своих же собственных, чистокровных русских. А эти бойцы уже есть, и их найдется еще

больше! Теперь два слова об этом самом русском обществе: в нем очень сильно бродильное начало; оно само, пожалуй, не знает хорошенько чего ему хочется, потому что вся сумма его национальной жизни в последнее время поназывает какую-то непроходимую, темную путаницу понятий и отношений; но во всей этой нелепой путанице для нас ясны две вещи: сильное брожение и подготовленное нами же сочувствие нашему делу. Однако, в последнее время пресловутая "Молодая Россия", да еще пожары и два выстрела в Варшаве сделали, к сожалению, то, что в этом обществе подымается весьма заметная реакция. Она уже слышна и в литературе. Мы не должны допустить ее развиться до значительной силы, потому что тогда нам уже гораздо труднее будет справиться. Надо еще торопиться и потому, наконец, что с будущего года прекращается двухлетнее переходное состояние крестьян. "Земля и Воля" к тому времени имеет прочную уверенность поднять революцию внутри России. "Земля и Воля" обещает нам самую деятельную поддержку. Но главное, чего мы должны опасаться, это все-таки реакции, потери сочувствия массы образованного общества. Крупные события, вроде здешних пожаров и варшавских выстрелов, ставят дело так, что оно быстро должно идти к своим конечным результатам. События не ждут и, как видите, опережают даже благоразумие и осторожность, но эти же самые события знаменуют всю силу нетерпеливого брожения. Массы ждут только сигнала, чтобы подняться. Горько будет, если они подымутся нестройные, неорганизованные, и если через то самое не удастся наше великое дело. Поэтому-то, в силу всего сказанного, нам — volens-nolens — надо торопиться, чтобы не проиграть. Надо работать, пока еще не охладело постороннее сочувствие. А времени меж тем немного господа! Самое дольшее, что остается нам, это каких-нибудь шесть месяцев, да и того-то дай Бог! И в этот краткий срок нам необходимо надо осетить всю Польшу в ее старых границах нашею военною организацией. Организация административно-гражданская уже есть давно, как вы знаете, и действует превосходно. Вся остановка за нами. Мы должны из готового уже, но сырого материала организовать стройные военные отряды, народную нашу армию, обучить насколько возможно наших будущих солдат, чтоб они ловко умели действовать и косой, и саблей, и штыком, и пулей, ввести дисциплину, а дух свободы и дух военный — старый польский дух, благодаря Бога, еще не умер! Задача трудна, господа, особенно ввиду столь короткого срока, но... в нас есть энергия, есть молодые силы, есть твердая вера в свое дело, есть любовь к свободе и родине, есть, наконец, способности и разум, а быть может, найдутся между нами и гениальные военные таланты! С такими данными, господа, нам нечего задумываться, а надо поскорее дело делать! Поэтому всяк из нас, кто только чувствует в себе честного поляка, пусть немедля возьмется за дело! По поручению варшавского народного комитета, я имею честь предложить вам, господа, чтобы вы немедленно же приступили по собственной своей свободной инициативе к выбору из среды себя наиболее способных организаторов в разные части Польши, Литвы и Руси. Я не сомневаюсь, что выбор будет сделан вполне достойный, потому что это дело есть дело Бога и отчизны!

Чарыковский кончил и с легким поклоном опустился в свое кресло. Он говорил горячо, отчетливо, складно, и потому речь его была прослушана с величайшим вниманием. Когда замолк, наконец, его звучный выразительный голос, в зале некоторое время царствовала еще полнейшая тишина. Слово его сделало заметно сильное, веское впечатление. Едва лишь через две-три минуты стали члены пошевеливаться и совещаться, но вскоре сдержанный говор перешел в горячие громкие споры. Пан А. не хотел пана В., а пан В. не хотел пана А., но хотел пана С. Пан же С. хотел всех трех разом, а через минуту никого не хотел кроме своей собственной особы. В этих спорах, доходивших уже кое у кого до колкостей и до крупной перебранки, прошло более часу времени, и казалось, что споры могут продолжаться сколько угодно часов, могут дойти, пожалуй, до перепалки, до потасовки, до вызова, до пощечин, но только отнюдь не до сути дела. Капитан Чарыковский видел это и, не без горькой грусти, подпершись рукой, молча сидел на своем председательском кресле. Наконец, рука его нервно дернула колокольчик. Споры не умолкали, и Чарыковский еще энергичнее повторил свой

звонок.

— Панове-братья! — с едкой улыбкой возвысил он свой голос. — Неужели и теперь, в такую минуту и ради такого дела, мы в сто тысяч первый раз повторим на себе ту проклятую пословицу, которая гласит, что где два поляка, там три убеждения?! Если так, то лучше разойдемтесь и ответимте нашим варшавским братьям, что мы свое личное самолюбие предпочитаем общему делу!

Эти немногие слова были чем-то вроде ушата холодной воды, внезапно пролитого на головы горячих и самолюбивых спорщиков: большинство сконфузилось и примолкло, кое-кто пытался защититься и отстоять свое мнение, но Чарыковский, после своей речи не принимавший до этой самой минуты никакого участия в прениях, стал теперь хотя и косвенно, но очень ловко руководить выборами. Он исподволь подходил то к тому, то к другому, то к третьему кружку, прислушивался, перемолвливался с тем или другим из членов, и каждой партийке успевал всучить свое собственное мнение, навести на желанную ему личность, подшепнуть ту или другую фамилию — и, благодаря только этой уловке, выборы наконец совершились. Между несколькими организаторами, которым почти немедленно предстояло отправляться в назначенные пункты, было и имя Бейгуша. Когда до слуха его коснулся звук собственной его фамилии, он невольно побледнел и смутился. Это назначение, почетное со стороны патриотической идеи, показалось ему теперь равносильным самому жестокому приговору. Сердце его екнуло такой тоской, так болезненно сжалось и так упало вслед за тем, что казалось, будто он свое существование поставил на роковую, предательскую карту, которая ему изменила. — "Неужели ж это в самом деле будет так? Неужели я точно должен бросить, разорвать все и идти? Неужели это уже решено бесповоротно?" думал он, стоя отдельно от прочих. "Нет, этого быть не может! Это невозможно! По крайней мере, для меня и теперь это невозможно!"

В эту минуту в первый раз в своей жизни он сознательно и серьезно почувствовал, что любит, что ему кровно дорога женщина, называющаяся его женою.

Подавляя в себе признаки внутреннего волнения, бледный и пасмурный, выступил он вперед и попросил у собрания слова.

Почти все благосклонно приготовились выслушать его.

— Благодарю вас за честь, господа, которую вы мне сделали вашим выбором, — начал он не совсем-то твердым голосом. — Честь эта слишком велика для меня, но... потому-то я и не чувствую себя вполне достойным ее... Я готов служить нашему делу, но только не там, а здесь, в Петербурге... Я прошу у вас позволения остаться... прошу назначить мне здесь какой-либо род деятельности, и я постараюсь выполнить его добросовестно. Еще раз: увольте меня, господа, от этого назначения!

Слова его были совсем неожиданны и показались странными. Каждый глядел на него с недоумением, не понимая его целей и побуждений. Чарыковский был изумлен не менее прочих.

— Конечно, не чувство расчета и самохранения говорит вашими устами? — проговорил он хотя и сквозь зубы, но очень явственно.

Бейгуш вспыхнул и гордо поднял голову.

— Надеюсь, капитан, что никак не оно! Вы, кажется, достаточно меня знаете.

Капитан молча поклонился в знак своего согласия.

— Вы, поручик, принадлежите к организации, — сказал он, — и потому не имеете права отказываться от общего выбора.

— Но я прошу о снисхождении… Я не отказываюсь от служения делу, но неужели же здесь, в Петербурге, не найдется для меня никаких полезных занятий.

— Что заставляет вас просить об этом?

Бейгуш несколько смутился: "Как сказать им настоящую, сокровенную причину? Поймет ли, уважит ли ее чужое, нелюбящее сердце?"

— Вы спрашиваете, что заставляет меня? — проговорил он наконец; — заставляют мои семейные обстоятельства.

Чарыковский с изумлением поглядел на него.

— Вы ли это говорите, Бейгуш! Вас ли я слышу?! — пожал он плечами. — Разве в таком деле могут что-нибудь значить какие бы то ни было семейные обстоятельства? Что это вы сказали! Опомнитесь!

Бейгуш поник головою. Он чувствовал, что на него внимательно устремлены теперь все взоры, и чувствовал, что в этих взорах уже просвечивает нечто враждебное и презрительное.

— Как друг, как солдат, как поляк, умоляю вас еще раз: опомнитесь! возьмите назад свои слова! — с чувством и убедительно, положив руку на грудь, проговорил Чарыковский.

— Повторяю вам, я не отказываюсь от дела! — тихо сказал Бейгуш. — Но, господа, как знать чужое сердце и как судить его!.. Берите от меня все, что я могу дать, но оставьте же мне хоть один маленький уголок моей личной, исключительно мне принадлежащей жизни! Неужели ж от этого может сколько-нибудь пострадать дело моей родины? Я не герой, а простой работник… Перемените на шахматной доске две рядом стоящие пешки, поставьте одну на место другой — разве от этого ваша игра хоть сколько-нибудь изменится?

— Слишком много скромности с вашей стороны, господий поручик! — не без едкости заметил Чарыковский. — Вы не пешка, а офицер, и потому на шахматной доске имеете свои особые ходы. Впрочем… как вам угодно!

Чарыковский сухо поклонился и сел, явно показывая, что считает оконченными все дальнейшие прения на эту тему.

Между членами организации пошел смутный шепот. Да слуха Бейгуша, как будто долетело слово "изменник". — Вся кровь хлынула ему в голову. Удаляясь из собрания, он прошел в некотором роде, сквозь строй беспощадно-враждебных и холодно-презрительных взглядов.

XXVII. Fatum[108]

Какой страшный разлад между идеей, делом и своим сердцем почувствовал Бейгуш! Согласить одно с другим было невозможно: этот разлад, по самой сущности своей, являлся непримиримым. Надо было чем-нибудь одним пожертвовать: или отказаться от дела, которому был предан душой и убеждением, в которое веровал, отказаться с тем, чтобы потом уже всю жизнь нести на себе клеймо отвержения, имя «изменника»; или же ради дела жертвовать

любовью, грезами мирного, покойного счастья. "Как согласить одно с другим?" пытался Бейгуш задавать себе трудную задачу. "Взять с собой Сусанну, ехать с нею вместе? — Но моя идея для нее не своя, а чужая! Положим, она пойдет за мной, но ведь она не одна, у нее здесь же, в Петербурге, двое сыновей воспитываются. По какому праву я отыму у них мать? Как оставить их на произвол судьбы? И наконец, можно ли взять на совесть судьбу этой женщины, заставить ее, быть может, скитаться с собою по лесам, обречь ее на тысячи лишений, на темное будущее... А если... если придется сложить свою голову — что с ней тогда? Если дело не удастся, если и меня, и ее вместе со мной поймают, захватят, тогда что? — Тюрьма, ссылка, Сибирь, и опять-таки тысячи всяческих лишений... И это все в награду за ее самоотвержение, за ее любовь!.. И из-за чего? Из-за моего лишь эгоистического побуждения, из-за того что я полюбил ее!.. Нет, не возьму я этого на совесть!" решил себе Бейгуш. "Гибнуть одному, а не четырем вместе, из которых трое совсем чужды этому делу!"

Он провел бессонную, мучительную ночь. Свежее воспоминание о сцене, разыгравшейся вечером в «кружке», воспоминание об этих взглядах и улыбках, об этом безмолвном, но уничтожающем презрении давило ему грудь, истерическими спазмами душило горло и словно железными тисками стягивало голову. Он встал с постели полубольной, с какой-то моральной и физической тяжестью во всем организме. Хотелось бы на воздух — освежиться, рассеяться, — и Бейгуш ушел из дому. В этот день случайно он встретился на улице с двумя своими короткими приятелями. Оба были офицеры, оба принадлежали к той же организации и оба присутствовали во вчерашнем собрании. Бейгуш, по всегдашней привычке, кивнул им головою, но те не ответили на поклон, и не то чтобы отвернулись от него, не то чтобы сделали вид будто не узнают его, напротив, оба прямо и твердо глядели ему в глаза, и в их взрое он ясно прочел то же самое презрение, то же самое имя "изменника".

Бейгуш смутился и потупил взгляд. Эта встреча словно обожгла его. — "Нет, жить так далее, продолжать бесконечно выносить такие взгляды... Нет, это невозможно!" — решил он сам с собою. "Если бы ты не верил в дело, не сочувствовал ему, — ну, тогда куда б ни шло еще!.. Но любя их всех, страдая с ними одною болью, деля их мысли, их убеждения, молясь одному Богу, слыть между ними «изменником», добровольно лишить себя честного имени поляка... нет, это невозможно!" повторил себе еще раз Бейгуш.

Эти взгляды двух его приятелей показались ему знаменательными. Поняв их значение, он уже знал, что могут они предвещать ему в будущем. Как поляк и притом до вчерашнего дня столь деятельный член петербургской организации, он знал чему подвергается, не говоря уже об изменнике, простой ослушник предписаний высшего революционного комитета. Он слишком близко стоял к делу, чтобы не знать этого. Он мог теперь ожидать всяких неприятностей и несчастий по службе, в обществе, в жизни. Ловкие "воротилы дела" могли путем тайной интриги подвести под него такую каверзу, что начальство, считавшее его доселе одним из лучших и благонадежнейших офицеров, вдруг могло бы найти его весьма неблагонадежным, могло придраться к какому-нибудь случайному упущению по службе (а мало ли их!), чтобы отдать его под суд, могло найти вредным его образ мыслей или какие-нибудь его поступки и исключить из службы. Но это все было бы еще самым легким и ничтожным в сравнении с тем что могло угрожать ему. В обществе — того и гляди — о нем могли пойти самые дурные слухи, могла быть замарана его репутация, подорван его нравственный кредит, он легко мог быть сделан молвою и мошенником, и негодяем, и шпионом, и лжецом, и вором и всем, всем, чем угодно. Наконец, он знал, что власть и сила польского ржонда велика, что корни ее на огромное пространство разветвляются под землей, а ползучие побеги, незаметно, но цепко поднимаются очень высоко, что в этом ржонде существует верховный тайный трибунал, который судит безапелляционно и неуклонно приводит в исполнение своя приговоры над ослушниками и отступниками. В этих приговорах бывали и нож из-за угла, и яд в куске хлеба

или в стакане воды. Исполнение этих приговоров не могло быть стесняемо ни временем, ни пространством. Все это очень хорошо понимал Бейгуш и при этом чувствовал, что если над ним будет произнесен подобный приговор, то для него он будет суровее и беспощаднее, чем для многих других, потому что Бейгуш стоял слишком близко к делу, ему было известно много такого, что являлось весьма важным и существенным для успеха и для многих лиц петербургской организации, которые теперь весьма легко станут опасаться, что отступничество столь деятельного члена может иметь и для них, и для дела очень вредные, а быть может, и непоправимые последствия. Ясно, что эти люди постараются теперь избавиться от него как можно скорее и притом самым радикальным образом.

И между тем Бейгуш не чувствовал в себе отступника. Он все-таки горячо любил и этих людей, и дело, но столь же горячо любил и Сусанну.

"Да, вот она, казнь за черный умысел, за воровское подлое намерение! — горько раздумывал он. — Ты сделал ее своею женою, с тем чтобы ограбить и бросить, как старую перчатку… а вместо того, и сам не знаю как, полюбил ее, пуще самого дорогого, самого заветного!.. Какая ирония! Какая отместка!"

Бейгуш, давая себе строгий отчет о своих мыслях и побуждениях, сознавал, что почти не чувствует ни малейшего страха пред возможностью подпольной казни: смерть тем или другим способом страшила его не столько, как это проклятое имя Иуды, изменника. — "Изменник своим братьям, Иуда идеи, отступник своей родины, своей матери-Польши… бррр!.. Вот что ужасно! вот что невыносимо! вот что скажут о тебе и вот какую память по себе ты оставишь!" думал Бейгуш — и при одной этой мысли его обдавало холодом и дрожью. Он чувствовал, что над ним тяготеет какой-то страшный fatum, который — хочешь не хочешь — подчиняет себе его волю, его поступки, его помышления, который словно бы говорит ему: иди или умри с именем Иуды! — И этот fatum является в лице того же «кружка», того же тайного комитета "святой справы", этот, вершащий все и вся Deux ex machina есть его же собственное личное сопричастие к делу, к «организации». И никаких выходов нет из этого положения!

"Если б еще одна женщина, одна любовь могла все заменить собою человеку", мыслил он в самом мучительном состоянии духа. "Пусть даже будет так! Я верю в это!.. Что бы с тобой ни случилось, каким бы именем тебя ни заклеймили, пусть тебя навеки похоронят в Сибири, в каком-нибудь Обдорске, пусть сошлют в каторгу, в рудники: пусть все это так; но если ты беспредельно любишь, если она, твоя любовь с тобою, — тут, пожалуй, можно бы еще все перенести, все выстрадать! Как бы страшно ни заклеймили тебя эти люди, твои же братья, но зная, что есть на Божьем свете хоть одна бедная душа, которая тебя любит и верит в тебя, которая для тебя на все готова, — о! зная это, можно стать выше всех этих людей и всей слепой злобы их! Можно бы уйти внутрь себя, жить своим сердцем, своей душою… Да; все это можно, если бы только так!.. Но если тебя не сегодня завтра ждет заугольная смерть, тогда что? Какой результат? — Лучшие люди твоей родины с ненавистью и презрением скажут про тебя: собаке и смерть собачья! Умереть с именем Иуды, изменника — и только!.. Нет, видно, великое дело требует и жертв великих!.. Иди, иди — и нет тебе другой дороги, другого выхода!"

В нервном и возбужденном состоянии Бейгуш, после непродолжительной, но страшной и роковой борьбы с самим собою, поехал вечером к капитану Чарыковскому.

Тот встретил его сухо, одним лишь вопросительным взглядом.

— Я прошу вас забыть все прошлое, — трудно дыша, смущенным, но решительным тоном начал Бейгуш. — Я виноват пред общим делом… виноват тем, что допустил себя увлечься своим личным чувством, но… теперь я приехал сказать вам, что с этой минуты я по-прежнему ваш…

весь ваш!.. Забудьте и протяните мне честно вашу руку!

Лицо его дрожало внутренним волнением, на глазах блистали слезы.

Чарыковский ступил шаг вперед, горячо обнял его, и оба они расцеловались.

С этой минуты мир с «кружком» был восстановлен; но далеко еще не было такого же мира с самим собою в наболевшей душе Бейгуша.

XXVIII. Alea jacta est[109]

В несколько дней официальная сторона дела, долженствовавшая служить ему благоприличной и легальной маской, была обработана: Бейгуш получил от военного ведомства экстренную командировку в Литву, по одному из тех дел третьестепенной важности, на которые во всяком ведомстве зачастую и притом самым обыкновенным образом случаются командировки. Все это очень легко и очень быстро обработал ему Чарыковский, который в то время пользовался хотя косвенным, но весьма значительным влиянием, как дельный, умный, ученый и необыкновенно способный человек. И труды, и мнения его по военно-специальным вопросам очень уважались, да и вообще он пользовался хорошим авторитетом и не в одних лишь "кружках организации". Точно таким же образом, при его посредстве, под разными служебными предлогами были отправлены, подобно Бейгушу, и все остальные организаторы в разные места Западного края.

У Бейгуша все уже было готово к отъезду: инструкция и подорожная вместе с прогонами в кармане, субсидия от организации тоже, вещи, то есть самое лишь необходимое, исподволь, понемногу перенесены к Чарыковскому, так что теперь оставалось только садиться в вагон и ехать. А как не хотелось бы ехать! Как томительно просить собственное сердце остаться, помедлить… хоть несколько бы дней еще помедлить!..

Бейгуш скрывал от Сусанны и свои приготовления, и свой отъезд. Он знал, что она настойчиво стала бы просить его отказаться под каким бы то ни было предлогом от казенного поручения, что в крайнем случае сама решилась бы ехать с ним, убедила бы, умолила бы его своею любовью согласиться на это. Но рассудок громко и твердо говорил ему, что едучи на такое рисковое дело, было бы и опасно да и грешно тащить ее за собою. В уме своем он уже решил, что этому не бывать ни под каким условием; но в то же время боялся, что слишком тепло любит ее для того, чтоб ее просьбы и слезы не поколебали его решимости, и потому он делал все это втайне.

Под влиянием мысли о необходимости близкой и может быть вечной разлуки, он невольно стал еще добрее и нежнее к этой женщине, он чувствовал, будто теперь она стала ему еще дороже, будто полюбилась ему еще более. Сусанна, в простоте сердечной, в эти дни просто была наверху блаженства. Ей уже, действительно, не хотелось более ни новых шляпок, ни лож в театре, ни дачи в Павловске: ласки мужа, его внимательная и какая-то болезненно-задушевная нежность заменили ей все посторонние помыслы и желания. Отчасти смущало ее порою только то, что среди ласкового, веселого разговора, муж ее вдруг, ни с того, ни с сего, на несколько мгновений становился как-то тоскливо угрюм и озабочен, или вдруг нападала на него то непонятная рассеянность, то какая-то глубокая подавляющая дума. Сусанна попросту думала себе, что это он все о проигранных деньгах, и потому в благодарность за его ласки еще живее старалась всячески развлечь, приголубить и успокоить его.

Бейгуш жадно впивал теперь жизнь, полную любви, наслаждения и тихих семейных радостей. Ему так сильно хотелось взять от этой жизни все, что только можно взять, все, что только может она дать ему, хотелось до последней капли осушить эту чашу, чтобы потом разбить ее

вдребезги, но зато чтобы впоследствии, при иной, грядущей, темной и одинокой жизни, было чем помянуть эти немногие, но хорошие, светлые минуты!

Хотелось ему открыть Сусанне, что деньги ее целы и что именно вся комедия была разыграна им для одного лишь испытания, но... сил не хватало на это. Его нравственное чувство, возрожденное и очищенное силой любви, решительно возмущало его против новой уловки, новой лжи. "К чему хитрить и притворяться! К чему еще раз обманывать эту детски-наивную, простую душу, которая и без того ничего не хочет, ничего не требует, кроме доброго слова да теплой ласки!" думалось Бейгушу, и он молчал, решившись внутренно открыть ей на прощанье всю горькую правду.

Наконец наступил канун отъезда. Завтрашнее утро — крайний, последний срок. Дело не ждет, Чарыковский нетерпеливо и настойчиво понукает. Надо ехать, надо кончить все и беззаветно махнуть на все рукою!

В течение последнего вечера Бейгуш несколько раз пытался высказать Сусанне правду о ее деньгах, и все-таки сил не хватало. Жалко и больно было, пока сам еще здесь налицо, хоть на мгновенье помутить счастливое чувство мира и покоя, чувство ее безграничной веры в его нравственную личность.

Он выждал пока, наконец, Сусанна заснула, и тихо, осторожно вышел из спальни.

Был уже в исходе четвертый час ночи. Бледный рассвет петербургской белой ночи глядел в окна.

Бейгуш долго просидел в глубоком и тяжком раздумьи пред своим кабинетным столом, но наконец встрепенулся, смутно провел по лицу рукою и стал писать.

"Все кончено, Сусанна! Надо, наконец, сказать тебе всю горькую правду, писал он. Я женился на тебе ради самого гнусного обмана, с намерением обокрасть тебя и бросить. Но не знаю, сама ли судьба, или безграничная любовь твоя отомстили мне за мою низость. Задумав надругаться над тобою, я кончил тем, что глубоко полюбил тебя, побежденный твоею же любовью. Деньги твои целы почти сполна, за исключением двух тысяч, отданных по условию моему достойному сообщнику. Они лежат в банке, а билеты ты найдешь в среднем ящике моего стола. Ключ я оставляю".

Затем Бейгуш подробно рассказал всю историю мнимого проигрыша.

"Теперь уже не ради комедии, как в том письме, продолжал он, а взаправду скажу тебе: *прости меня, если можешь!* Мы не увидимся больше; разве счастливая судьба сведет нас как-нибудь впоследствии. И как бы желал я этой счастливой судьбы! Как страстно желал бы!.. Не спрашивай, не допытывай ни у кого и никогда, почему я расстаюсь с тобой так странно, так внезапно. Предупредить этого ничем нельзя: *это так должно.* Расспрашивая и разглашая об этом, ты можешь только повредить мне самым страшным образом. Почему это так, — я в настоящее время не имею права сказать тебе. Впоследствии, и даже быть может скоро, сама все узнаешь из дела, без справок и расспросов. Скажу пока одно: я уезжаю в Литву по экстренному поручению моего начальства. Так ты это и знай, так и говори знакомым, буде станут спрашивать. Но вообще, если любишь меня, то не распространяйся и как можно менее говори обо мне. Я наказан вдвойне: и тем, что полюбил тебя, и тем, что должен расстаться.

"Да, как поляк, я не имел права полюбить русскую женщину. Какое жестокое, ужасное положение!.. Будь проклята и эта пламенная, историческая вражда, и то, что породило ее! Благодаря ей, вся моя личная жизнь (да и одна ли моя только!) построена на фальши, на

противоестественном умерщвлении в себе самых лучших, самых святых и заветных чувств во имя одной идеи.

"И это необходимо! Отказаться от этого не в моей власти, не в моей воле, если только я хочу сохранить себе честное польское имя, если я не сделаюсь изменником Польши. А я им никак и никогда не сделаюсь!.. Что ж делать мне, если я люблю и *ее,* и *тебя!* Но которую же больше?.. Сердце шепчет: *тебя,* а долг и клятва кричат мне: Польшу! Польшу! ее одну и никого и ничего более!.. Такова наша суровая, историческая заповедь. Нужно только бесконечно жалеть и сокрушаться о том, что есть в жизни народа такие непримиримые положения, когда отдельная личность, даже помимо собственной воли, насильственно принуждена разрывать самые дорогие свои связи и отношения. Так точно и со мною. Пожалей же обо мне, моя Сусанна!

"Я не хотел тебе говорить и объяснять причин, а вышло вот как-то, что сказалось даже гораздо более, чем бы следовало. Не оставляй у себя этого письма и никому не говори про него. Самое лучшее: прочти, пойми его сердцем и сожги, чтоб и следов не осталось. Это моя последняя просьба. А *последние* просьбы всегда исполняются строго.

"Нет, есть и еще одна: прости, благослови заочно и люби меня, как умела любить до этой минуты. Авось еще и не все кончено! Авось еще встретимся, но только дай Бог, чтоб на радость и счастие!"

Он дописал. Был седьмой час. Лакей уже проснулся и подметал в столовой. Бейгуш, со всевозможною осторожностью, прошел в спальню и положил письмо на туалете, так что оно прежде всего должно было кинуться в глаза жене, когда она встанет с постели.

Сусанна спала тихо и безмятежно, сладким утренним сном, подложив обнаженную красивую руку под свою розовую щеку.

Затаив дыхание, без малейшего движения, Бейгуш глядел и любовался на нее влюбленными глазами.

Наконец-таки не осилил себя: приблизился к постели и с жутким чувством в душе приник трепещущими губами к щеке жены.

Сусанна нехотя раскрыла глаза, увидела мужа, и думая, что он уже встал затем, чтобы по обыкновению отправляться в свою батарею, улыбнулась ему и, повернувшись на другой бок, тотчас же снова заснула.

После этого Бейгуш спешно оделся у себя в кабинете и ушел из дому. Он отправился к Чарыковскому, который лично хотел проводить его на железную дорогу.

Утро стояло светлое и свежее. Ночью шел дождик, и разорванные тучи плавали еще по небу, но солнце блистало ярко и радостно, словно приветствуя и маня своим блеском отходящего в трудный и темный путь.

— Ну!.. alea jacta est! — с глубоким и полным вздохом сказал себе Бейгуш. — Да, жребий брошен! Подготовительный период наш кончен. Теперь — борьба! На арену выступают две силы… Что-то будет? Что-то выйдет?.. Но… вернуться уже нельзя, невозможно: alea jacta est.

1889

[1] Волей-неволей, вынужденно (лат.).

[2] Вообразите, представьте себе (фр.)

[3] В конце концов (фр.).

[4] Один Бог ведает, что именно (фр.)

[5] Отсюда гнев (лат.).

[6] Но… знаете ли, мой дорогой (фр.).

[7] Видите ли, свобода и все эти реформы (фр.).

[8] Пока еще слишком рано (фр.).

[9] Произвести нужное впечатление (фр.).

[10] Вообразите (фр.)

[11] Господин (фр.).

[12] Госпожа (фр.).

[13] Поскольку положение обязывает… (фр.).

[14] Как видите сами (фр.).

[15] Говорят что меня поколотили!.. Что меня поколотили! (фр.).

[16] В тесном кругу (фр.).

[17] Высокого полета (ирон., фр.).

[18] Шалун (фр.).

[19] Госпожа генеральша (фр.).

[20] Как! И вы тоже! (фр.).

[21] Очаровательный человек (фр.).

[22] Но как (фр.).

[23] Вот в чем вопрос! (фр.).

[24] Как дворянин (фр.).

[25] Но почему бы и нет? (фр.).

[26] Галифе (фр.).

[27] Но, мадемуазель… мои симпатии… мои убеждения (фр.).

[28] И у месье тоже есть убеждения? (фр.).

[29] Неразлучные друзья (фр.).

[30] О, да! Абсолютно порядочный человек (фр.).

[31] По убеждению (фр.).

[32] Мое положение (фр.).

[33] Но... однако, пора уходить... Прощайте, мадемуазель! Мое почтение, мадам! (фр.).

[34] Закуски (фр.).

[35] Светского общества (фр.).

[36] Жажда, тоска по чему-либо (нем.).

[37] Вот эти трусливые фразы, которые вы нам говорите! (фр.).

[38] Кирпич большого строительства (польск.).

[39] План, ландкарта.

[40] Pakciarz — еврей, арендующий панских коров.

[41] Да благословит вас отец, сын и дух святой. Аминь (лат.).

[42] Cegla — кирпич. Wieikie budovanie — великое строение, — стародавний, специальный термин, для обозначения конспиратной деятельности польской справы. Возник он первоначально от "белых".

[43] С дымом пожара (польск.).

[44] Долой свистуна! (фр.).

[45] О, да! Розг, и в карцер, и вигани-и... и все, что вам угодно! О, он большой шутник, этот Чичкин!.. (фр.)

[46] Все, что вам угодно, господин директор! И вигани, и карцер, и розги — вот мое мнение! (фр.).

[47] Волей-неволей (лат.).

[48] Пойдет! Пойдет! (фр.).

[49] В пользу наших бедняков (фр.).

[50] Порядочный, приличный (фр.).

[51] Мадам Вуазо (фр.).

[52] Прелестно! Прелестно! (фр.).

[53] Железному фонду (польск.).

[54] Во имя Отца и Сына и Святого Духа (лат.).

[55] В последнем польском заговоре были приняты системы троек и десятков. Каждый член заговора избирал себе двух товарищей и составлял с ними тройку. Избиравший составлял звено с тем лицом, которое самого его выбрало, и т. д. Таким образом тройка (в России) и десяток (в Польше и Западном крае) являлись вполне самостоятельными, изолированными и в то же время непрерывно связанными звеньями заговорной цепи. Член, принадлежащий к тройке, знал только лиц входящих в ее состав; лица же других троек известны ему не были. Показания и сообщения передавались последовательно от избравших к избранным и т. д.

[56] Грубость! (фр.).

[57] Но... представьте себе, господин барон (фр.).

[58] Незнакомая область знаний (лат.).

[59] Прощайте, моя дорогая! (фр.).

[60] Не забывайте! (фр.).

[61] До свидания, мой любимый! До свидания! (нем.).

[62] Скажите принцессе, когда она вернется... (фр.).

[63] И немедленно? У вас много театров, концертов и, главное, у вас есть высшее общество! Говорят, что это совсем европейский город! (смесь фр. с нем.).

[64] Сущие (фр.).

[65] Разделять и властвовать, а как властвовать... (лат.).

[66] Слава (фр.).

[67] См. «Колокол» 1861 г., лист 116, стр. 966. "Материалы для истории, гонения студентов".

[68] В "Официальной записке по делу о беспорядках в С.-Петербургском университете" читаем: "В деле комиссии находится акт о зарестовании студента Колениченко. Пристав Выборгской части, Ф., арестовавший его, выразился в официальном акте следующим образом: "Хотя в списке студентов, подлежащих аресту, Колениченко и не значится, но он, пристав, счел не лишним и его арестовать!" Колениченко жил в отдельной квартире, один, и у него никто не проживал из лиц, подлежавших аресту. Таким же образом один из надзирателей 3-й части арестовал одного гимназиста за то, что он, по мнению его, надзирателя, разделяет образ мыслей студентов".

[69] Отель «Париж» (фр.).

[70] Боже, смилуйся над нами! (польск.).

[71] Демонстрация в Варшаве 27-го марта (8-го апреля) 1861 г.

[72] Непременное условие (лат.).

[73] Или Цезарь, или ничто (лат.).

[74] Боже, храни Польшу (польск.).

[75] Цезарь (лат.).

[76] Моя тетушка (фр.).

[77] И так далее (лат.).

[78] Страстное стремление, тоска по чему-либо (нем.).

[79] Навязчивая мысль (фр.).

[80] "Современник", март 1872 года. "Литературная собственность".

[81] "Современник", март 1872 г. "Русская литература", стр. 70.

[82] "Библиотека для Чтения", май 1862. "Не в бровь, а в глаз".

[83] "Современник", март 1862. "Русская литература".

[84] "Русское Слово", март 1862. "Русская литература".

[85] Н. И. Костомаров. "Мешать или не мешать учиться". Май 1862.

[86] "Подношение Санкт-Петербургу" (фр.).

[87] "Поцелуй" (ит.).

[88] "Игривая" (фр.).

[89] Из принципа русской свободы (фр.).

[90] "Варшавского курьера" (польск.).

[91] "Это Меркурий из отеля Ламбэр" (фр.).

[92] Черт возьми! (фр.).

[93] Ах, так!.. Нигилистка! (фр.).

[94] Право, это пикантно — маленькая нигилистка!.. (фр.).

[95] Вот точное слово (фр.).

[96] Ни стыда, ни совести (фр.).

[97] Простите! (фр.).

[98] Да здравствует! (лат.)

[99] Отцы миссионеры были прямыми преемниками и наследниками отцов иезуитов. В их руках до 1863 года, главнейшим образом, сосредоточивалось воспитание юношества в Польше и в Западной России. В Варшаве им принадлежал богатый монастырь Св. Креста — один из важнейших приютов повстанской организации.

[100] Чему лекарства не помогут — поможет меч, чему меч не поможет — поможет огонь (лат.).

[101] Сведения о пожарах и большая часть подробностей и отдельных эпизодов заимствованы из некоторых официальных записок и документов, а также из газет и журналов 1862 года. Впрочем, многое из того, что в этих последних источниках являлось как факты, необходимо должно было теперь подвергнуться строгому анализу и критике, а потому все то, что не имеет фактической достоверности автор передает, как слухи и толки, ходившие в обществе того времени, ибо все эти слухи и толки имеют ту особенность, что необыкновенно рельефно характеризуют напряженную и во многих отношениях замечательную эпоху 1862 года.

[102] Факт этот засвидетельствован официально несколькими лицами. С какою целью и почему были вынесены из этих лавок все товары? О цели, конечно, судить трудно; но почему? — это другой вопрос. О предстоявшем пожаре Апраксина и Толкучки уже заранее ходили темные слухи, а 26-го мая были подброшены извещательные письма.

[103] Чему лекарство не поможет — железо поможет, чему железо не поможет — огонь поможет (лат.).

[104] Огонь поможет (лат.).

[105] Огонь не поможет (лат.).

[106] "Век" (фр.).

[107] "Журнал Санкт-Петербург" (фр).

[108] Судьба (лат.).

[109] Жребий брошен (лат.).

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch